

ПУШКИНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

ПУШКИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА



ВОЕННАЯ ПРОЗА

I

СЛОВО/SLOVO

Александр Суворов
М. Лермонтов
В. Кюхельбекер
В. Кюхельбекер
В. Кюхельбекер
В. Кюхельбекер
В. Кюхельбекер

ВОЕННАЯ ПРОЗА
I

Александр Суворов
М. Лермонтов
В. Кюхельбекер
В. Кюхельбекер
В. Кюхельбекер
В. Кюхельбекер
В. Кюхельбекер
В. Кюхельбекер
В. Кюхельбекер

СЛОВО/SLOVO

Меганпроект

«Пушкинская
библиотека»



Институт

«Открытое
общество»

ИНСТИТУТ
«ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО»
«ПУШКИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

М. Л. Гаспаров

•

Б. В. Дубин

•

Д. С. Лихачев

•

Н. Н. Скотов

•

В. Н. Топоров

Москва
СЛОВО/SLOVO
1999

ИНСТИТУТ
«ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО»
«ПУШКИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

ВОЕННАЯ ПРОЗА

Виктор Некрасов
•
Андрей Платонов
•
Валентин Катаев
•
Эммануил Казакевич
•
Василий Гроссман
•
Михаил Шолохов
•
Константин Симонов
•
Владимир Богомолов
•
Юрий Бондарев

Москва
СЛОВО/SLOVO
1999

ИНСТИТУТ
«ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО»
«ПУШКИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

•

Издание финансируется:

Институтом
«ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО»

Издательством
СЛОВО/SLOVO

ОАО
Московский кредитный
банк

•

Издание осуществляется
издательством
СЛОВО/SLOVO

Главный редактор
Д. В. Тевекелян

•

Составитель
Л. И. Лазарев

•

Художник

В. В. Медведев

НЕЗАТИХАЮЩЕЕ ЭХО ВОЙНЫ

В одном выступлении Александр Твардовский заметил, что действительность — даже героическая действительность, — чтобы сохраниться в памяти народной, нуждается в подтверждении и закреплении искусством, без этого «она как бы еще не совсем полна и не может с полной силой воздействовать на сознание людей». И в качестве примера привел сначала «Войну и мир»: «Разве война и победа русского оружия в 1812 году означала бы столько для национального патриотического самосознания русских людей, если бы, допустим на минуту, не было гениального творения «Война и мир», отразившего этот исторический момент в жизни страны, показавшего в незабываемых по своей силе образах величие народного подвига тех лет?»

Строгая взыскательность литературных оценок Твардовского достаточно известна, поэтому отнесемся со всей серьезностью к тому, что в качестве второго примера он назвал нашу литературу о Великой Отечественной войне, без всяких оговорок поставив ее рядом с толстовской эпопеей: «То же самое можно сказать о литературе, которую вызвал к жизни беспримерный подвиг советских народов в Отечественной войне 1941–1945 годов. Он подтвержден и закреплён в нашем сознании, в том числе в сознании самих непосредственных носителей этого подвига, средствами правдивого художественного слова».

Кажется, в нашей истории — да и не только в нашей — не было еще случая, когда литература таким широким фронтом на протяжении столь долгого времени — больше чем полвека — без заметных перерывов и пауз занималась столь углубленно, столь заинтересованно одной исторической эпохой, одним историческим событием. Время в этом случае словно бы не властно над прошлым.

Конечно, дело здесь прежде всего в масштабах пережитой народом трагедии, в масштабах совершенного им подвига — воспользуюсь эпитетом Твардовского, — действительно беспримерной трагедии, действительно беспримерного подвига. Нет семьи, которую бы не опалила война, до сих пор видны оставшиеся после нее ужасные зияния — двадцать семь миллионов погибших (вряд ли эти официальные данные преувеличены)

означают, что каждый десятый житель страны сложил в те годы голову. Вот та скорбная почва, которая питала военную литературу.

Даниил Гранин, по существу повторив Твардовского, как-то заметил, что «наша военная литература — лучшие ее книги — это великая литература». Чтобы не смущать нашу скромность, скажу по-иному: создана *целая* литература о войне, большой массив произведений, сохраняющих живую силу эстетического воздействия, привлекающих читателей (данные библиотек свидетельствуют, что эти книги и ныне пользуются наибольшим спросом). И представляемая читателям трехтомная антология «Военная проза» — повести и рассказы двадцати восьми авторов, — несмотря на ее солидный объем, вобрала в себя только часть вещей, завоевавших признание читателей и критиков. Она не могла, к сожалению, вместить произведения крупных форм: «Волоколамское шоссе» Александра Бека, «Спутники» Веры Пановой, первую часть дилогии Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» — роман «За правое дело», трилогию Константина Симонова «Живые и мертвые», дилогию Алеся Адамовича «Война под крышами» и «Сыновья уходят в бой», «Тяжелый песок» Анатолия Рыбакова, «Нагрудный знак ОСТ» Виталия Семина и другие. Не осталось места и для очень значительных по содержанию, но тоже внушительного объема книг, которые весьма условно называют художественно-документальными, — это двухтомные фронтовые (позднее прокомментированные автором) дневники Константина Симонова «Разные дни войны», «Я из огненной деревни» Алеся Адамовича, Янки Брыля, Владимира Колесника, «Блокадная книга» Алеся Адамовича и Даниила Гранина, «За чертой милосердия» Дмитрия Гусарова. Единственное исключение: в антологию включена приемлемая по объему и уникальная по взгляду на кровавую реальность фронтовой действительности документальная повесть Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо».

Состав предлагаемой читателю антологии, как и всех подобного рода изданий, неизбежно субъективен, вместо или, если бы у составителя была такая возможность, рядом с «Двое в степи» Эммануила Казакевича вполне могла стоять его «Звезда», рядом с «Убиты под Москвой» Константина Воробьева — «Крик», с «Июлем 41 года» Григория Бакланова — «Пядь земли», с «Нашим комбатом» Даниила Гранина — «Еще заметен след», с «Круглянским мостом» Василия Быкова — «Атака с ходу», «Сотников» или «Знак беды» и т. д., перечень этот может быть значительно расширен...

Да, книги о Великой Отечественной войне — это целая литература. Стоит для сравнения напомнить, что гениальный толстовский роман ничего, кроме немногочисленных мемуаров, не подпирало и Толстой как бы закрыл тему — ничего достойного внимания после него не было написано о войне 1812 года. Наша же литература о войне стала очень значительным явлением общего литературного развития, существенно подняла планку правды в литературе.

Если обратиться к биографическим справкам об авторах, чьи произведения вошли в антологию, можно убедиться, что эти повести и рассказы создавались (за очень редкими исключениями) писателями, о которых Твардовский сказал, что они на фронте «выше лейтенантов не поднимались и дальше командиров полка не ходили» и «видели пот и кровь войны на своей гимнастерке». Они рассказывают о пережитом, которое все еще жжет их. Это о них строки из стихотворения Константина Симонова о беде, обрушившейся на страну в самый длинный день в году:

Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.

А вот еще одно сопоставление. В 1831 году — не прошло и двадцати лет после войны с наполеоновской Францией — Михаил Загоскин написал роман «Рославлев, или Русские в 1812 году». Автор был участником Отечественной войны, правда, как мы бы нынче сказали, не воевал на главных направлениях, но вступил в петербургское ополчение, был ранен под Полоцком, участвовал в осаде Данцига. Но его личный опыт, как ни странно, почти не отразился в «Рославлеве». Это был стереотипный для той поры исторический роман, своей художественной структурой повторяющий его предыдущую книгу, написанную за два года до этого, — «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Но первый роман Загоскина был встречен горячо — именно как исторический роман, а вот «Рославлев» гораздо прохладнее. Читателей охлаждало то, что события, которые многие из них еще хорошо помнили, изображены как далекая история, — реальная Отечественная война 1812 года не пробивалась через литературные каноны жанра, я уж не говорю о том, как далек был этот исторический роман от подлинного историзма.

В конце января 45-го Илья Эренбург писал: «Будущий историк изучит освобождение Польши и сражение за Восточную Пруссию. Если нашим детям повезет, будущий Толстой покажет и душу молодого советского офицера, который сейчас умирает под зимними звездами». Слова Эренбурга имеют самое непосредственное отношение к большинству авторов антологии, писателей фронтового поколения, к их творчеству, о котором они тогда, в дни войны, конечно, и думать не думали.

Вот один, но выразительный пример. Конец января сорок пятого, тяжелые бои в Венгрии, о которых вспоминают двое авторов антологии. Василь Быков: «Мы поспешно развернули «сорокапятку» на неширокой проселочной дороге, обросшей редким кустарником, и сквозь него открыли огонь. Но танки по отношению к нам находились наискосок в поле, так называемый «угол встречи» снаряда с броней оказался ничтожно мал, и все наши бронебойные снаряды, ярко сверкая трассерами, разлетались от танков в стороны. Как всегда, сторяча нам казалось, что виноват наводчик, что он неточно наводит, «мажет», мы зло кричали на него, а он, не менее зло матерясь, посылал снаряд за снарядом, и все напрасно. После десятка выстрелов я бросился из канавы к пушке, как вдруг под самым стволом грохнул разрыв, и пушка, подскочив, завалилась на бок. Поднявшись, я тут же обнаружил, что ранен, из рукава по пальцам густо полилась кровь. Минуту спустя из шести человек расчета смогли подняться лишь двое...» Григорий Бакланов: «Мы брали Секешфехервар, и отдавали, и снова брали, и однажды я даже позавидовал убитым. Мела поземка, секло лицо сухим снегом, мы шли сторбленные, вымотанные до бесчувствия. А мертвые лежали в кукурузе — и те, что недавно убиты, и с прошлого раза, — всех заметало снегом, равняло с белой землей. Словно среди сна очнувшись, я подумал, на них глядя: они лежат, а ты еще побегаешь, а потом будешь лежать так».

Только пережив такое, можно было без прикрас рассказать о том, что было на душе у молодого офицера, умиравшего на поле боя под «зимними звездами». Пережитое требовало правдивого рассказа — без румян и пудры. Эта —

не только эстетическая, но и нравственная — программа была сформулирована еще в годы войны, в «Василии Теркине»:

А всего иного пуще
Не прожить наверняка —
Без чего? Без правды сущей,
Правды, прямо в душу бьющей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька.

Но, как очень скоро выяснилось, Сталин не намерен был терпеть горькую правду о войне. Сколько бы ни писали тогда о его полководческом гении, сколько бы ни курили ему фимиам, разумеется, по команде и сценариям вышколенных, изо всех сил старавшихся угодить власти идеологических служб, он не забывал пережитого в 41-м году страха и унижения. И совсем не жаловал фронтовиков. Видимо, боялся, что они могут предъявить счет за тяжелые, позорные поражения, за миллионы зря загубленных жизней. Он, беспощадно каравший всех, кто мог усомниться в его непогрешимости, выступил с таким заявлением: «У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941–1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой». Впрочем, в эти же первые послепобедные дни он уже торжественно вещал, что «наша социалистическая экономика укрепляется и растет, а хозяйство освобожденных областей, разграбленное и разрушенное немецкими захватчиками, успешно и быстро возрождается». А возрождались в первую очередь — очень активно и целеустремленно — и в отношении к итогам войны, и к только-только наступившей мирной жизни все те же государственное имперское самодовольство, шапкозакачалательство и казенное единомыслие, что привели нас к катастрофе в 41-м. Поэтому заявление Сталина о допущенных ошибках на самом деле было предостережением — в свойственной ему иезуитской манере — тем, кто вздумал бы заняться настоящим исследованием причин и обстоятельств трагедии, пережитой народом, расплатившимся за несостоятельность руководителей страны. Не случайно и при жизни Сталина, и в первое время после его смерти эти слова нельзя было даже цитировать. Да, Сталин боялся, что воздух свободы, которым надышались солдаты и офицеры переднего края, будет кружить им головы и в мирное время. И старался это пресечь в корне. Прекрасно понимавший, сколь важен ритуал для создания и поддержания казарменного порядка, он пошел даже на то, чтобы отменить День Победы как государственный праздник.

Все это имеет самое непосредственное отношение к литературе о войне. Трудно приходилось в ту пору тем, кто был переполнен пережитым и увиденным на фронте и хотел правдиво рассказать об этом. Идеологический и литературный климат был для этого малоподходящий. Тон задавали сочинения художественно беспомощные, сознательно пренебрегавшие реалиями войны, — они выдвигались властями как эталон высокой граж-

данственности и художественного совершенства и становились серьезной преградой — и цензорской, и издательски-редакторской, и даже психологически-творческой — для той правды о войне, которую хотели рассказать ее участники. Виктор Астафьев вспоминал, как его обескураживало это кричащее противоречие между тем, что он видел на фронте собственными глазами, и сочиняемой авторами, находившимися в фаворе, образцово-показательной войной: «...Я послужил не в одном полку. Бывал я и в госпиталях, и на пересылках, и на всяких других военных перекрестках встречал фронтовиков. Разные они, слов нет, но есть в них такое, что роднит всех, объединяет, но и в родстве они ничем не похожи на тех, которые кочуют по страницам книг, выкрикивают лозунги, всех бьют, в плен берут, а сами, как Иван-царевич, остаются красивыми и невредимыми. Нет, не такими были мужики и ребята, с которыми я воевал». И Василь Быков признавался: «За перо взялся, как теперь сам понимаю, скорее из литературно-полемических побуждений. Читал некоторые произведения о войне, и они выводили меня из себя своей «красивостью», своей «литературщиной». А мне хотелось правды». Не ошибусь, если скажу, что все авторы антологии были движимы теми же чувствами, что и Астафьев и Быков, всем им хотелось правды.

Но вот в 1946 году появилась повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Она послужила для многих писателей-фронтовиков нравственным и эстетическим ориентиром, критерием честности писательского слова. Она имела принципиальное значение для дальнейшего развития нашей военной литературы (и не только военной). Воздействие ее на литературный процесс было куда более широким. Литература вообще не делится на автономные, непроницаемые тематические отсеки — завоеванный писателем уровень правды общезначим. Повесть Некрасова обращала на себя внимание непререкаемой достоверностью, несочиненностью, потоком точных, выразительных подробностей, в ней отразился жестокий, дорогой ценой оплаченный опыт солдат и офицеров с «передка». Она была у истоков столь заметно заявившей о себе на рубеже 50-х — 60-х годов литературы фронтового поколения, которую потом стали называть «лейтенантской литературой». Некрасов был ее общепризнанным лидером. «Все мы вышли из гоголевской «Шинели»», — было сказано в прошлом веке. Столь же многозначитель формулой определили писатели роль книги Некрасова: «Все мы вышли из некрасовских окопов».

Из произведений писателей фронтового поколения читатели наконец узнали о тяжелом, кровавом опыте «окопников». Их проза не всегда была строго автобиографична, но насквозь пропитана воспоминаниями о фронтовой юности. Правда, которую она несла, была встречена официальной, «охранительной» критикой в штыки, хотя происходило это уже в хрущевские, «оттепельные», относительно либеральные времена. «Лейтенантская литература» разрушала утвердившийся сталинский миф о войне как об историческом спектакле, хорошо отрепетированном, разыгрываемом по «гениальному сценарию» величайшего полководца всех времен и народов, персонажами, вызубрившими наизусть незамысловатые роли, с заранее известным праздничным — «гром победы, раздавайся» — апофеозом в финале. (Разве что после XX съезда КПСС на место обожествленного Верховного главнокомандующего ставилась всевидящая, всезнающая и всемогущая Партия.)

Эта принципиально антикультовая, антимилитаристская литература, опрокидывавшая многие идеологические и эстетические каноны изображения войны, вызвала яростные нападки придворных агитпроповцев, ревнителей глянца и ретуши. Ее клеймили за «окопную правду» (что, мол, мог видеть из окопа солдат или командир роты?) — хотя на самом-то деле неудобна была вообще правда как таковая. К этому присоединялась еще целая обойма грозных обвинений, представлявших собой бывшие тогда в ходу политические ярлыки: «дегероизация», «абстрактный гуманизм», «пацифизм», «ремаркизм». За такого рода проработками обычно следовали соответствующие «оргмеры»: не публиковали, а если и печатали, то кромсали в цензуре, запрещали книжное издание, не переиздавали и т. д. и т. п.

Как бы ни отличались друг от друга книги писателей фронтового поколения (со временем индивидуальность их авторов проявлялась все определеннее и резче), одно объединяло всех их без исключения: убеждение, что войну выиграл не Сталин, как бы его ни превозносили, не группа талантливых полководцев, как бы велики ни были их заслуги, а Народ. Он был подлинным героем трагического времени, на своих плечах вынес его неимоверную тяжесть, заплатив и по тем счетам, которые возникли из-за банкротства сталинского руководства, подставившего разваленную, деморализованную массовыми репрессиями армию под сокрушительный удар хорошо отлаженной гитлеровской военной машины.

Выступая в феврале 1978 года в Минске на «круглом столе», посвященном военной документалистике, Константин Симонов сказал (потом на эти его слова множество раз ссылались), что никто из писателей не имеет права считать, что знает всю войну, всю войну знает только народ. Стоит это иметь в виду, читая антологию. Каждое из произведений, включенных в трехтомник «Военной прозы», освещает какую-то одну грань войны, но вместе они образуют поразительного размаха фреску, запечатлевшую обрушившуюся на страну беду и величайшее мужество народа.

Внушительна даже география мест, где разворачивается действие повестей и рассказов: Подмоскowie и Крым, Ленинград и Сталинград, Ржев и безвестное село в тылу, оккупированная Одесса и поверженный Берлин, партизанские районы в Белоруссии и Карелии. Герои — солдаты и офицеры разных родов войск: пехотинцы Гранина и Кондратьева, саперы Некрасова, артиллеристы Бакланова, танкисты Курочкина, разведчики Богомолова, партизаны Быкова и Адамовича — и обездоленные дети военной поры Горенштейна. Самые обыденные и самые невыносимые обстоятельства фронтовой жизни становились объектом изображения.

Произведения размещены в антологии в соответствии с хронологией их выхода в свет. Это помогает понять, как в сознании писателей-фронтовиков менялись акценты в восприятии войны. Со временем задача, рассматривавшаяся писателями как главная, — рассказать о войне неприкрашенную, неотцеженную правду — дополняется еще одной не менее важной и трудной — выяснить, почему так случилось, почему в считанные дни в руках врага оказались вся Прибалтика, Белоруссия, вслед за этим Украина и Крым, почему фашисты оказались от столицы на расстоянии пушечного выстрела, блокадным кольцом сжали Ленинград, обрекая его жителей на голод и вымирание, почему отступать (тогда в армии это называлось более грубым и обидным словом «драпать») нам пришлось до Волги и Кавказа? И

какой ценой заплачено за победу — почему цифры потерь достигли шокирующих величин? Кто виноват в этом, кто должен за это отвечать?

Закономерно поэтому, что в поисках ответа на многие большие вопросы писатели (Симонов в «Пантелееве», Бакланов в «Июле 41 года», Балтер в «До свидания, мальчики») обратились к предвоенной поре, когда были заложены те мины, на которых с началом войны мы стали подрываться. Но тогда же выкристаллизовались и те жизненные и духовные ценности, защита которых и породила могучий дух сопротивления народа гитлеровскому нашествию и привела нас после всех испытаний к победе.

Сейчас историю войны нередко как бы помещают в «дворцовые» интерьеры: верил ли Сталин Гитлеру, оказался ли Гитлер хитрее Сталина, кто кого переиграл, кто кого обманул. Что говорить, бесчеловечная, кровавая политика и фюрера, и вождя советских народов принесла бесчисленные беды всем — и своим, и чужим. Но война не была схваткой «гигантов» — Сталина и Гитлера, при которой народы и армии превращаются в пешки на шахматной доске истории. Советский народ встал на защиту Родины, он был главным действующим лицом исторической трагедии. Мы сражались против фашизма, потому что, как написал Василий Гроссман в «Жизни и судьбе», «фашизм и человек не могут сосуществовать», «когда побеждает фашизм, перестает существовать человек». Перед нами был только один выбор — или победа над фашизмом, или рабство. Об этом часто цитировавшиеся, но не потускневшие строки «Теркина» Твардовского:

Страшный бой идет, кровавый,
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.

Страшно колебались тогда весы истории. Только сознание абсолютной справедливости войны, которую нам пришлось вести, помогло, несмотря на первоначальное сокрушительное превосходство фашистской армии, выстоять. Борис Пастернак писал тогда, что «правота была такой оградой, которой уступал любой доспех».

Вся литература о войне была литературой последовательно и яростно антифашистской. Со временем (особенно в связи с возникшей угрозой ядерной войны) все громче начинают звучать в ней и мотивы антивоенные, пацифистские (давно, кстати, пора снять коммунистическое табу с этого термина). Через двадцать лет после войны Константин Симонов точно сказал о закономерности этих антивоенных мотивов: «...Как бы ни были высоки наши побуждения, война все равно оставалась для нас человеческой трагедией от своего первого и до своего последнего дня, и в дни поражений, и в дни побед. Она все равно оставалась противоестественным состоянием для каждого человека, не потерявшего людской облик. И если забыть об этом, то правды о войне не напишешь».

Надо ли напоминать, что литература не только отражает события народной жизни, она исследует духовный мир человека, его нравственные представления и внутренние побуждения. Многое здесь открывалось писателям, писавшим о войне: война ставила людей в экстремальные условия, испытывала их на излом, обнажала их подлинную сущность. Как писал один из поэтов фронтового поколения Борис Слуцкий:

Плохие времена тем хороши,
что выявлению качества души
способствуют и казни, и война,
и голод, и мор — плохие времена.

Это вечная и всегда новая для литературы проблема: человек и окружающие его обстоятельства, иногда закаляющие его, пробуждающие мощную душевную энергию, чаще разлагающие, уродующие личность. Рассматривая то и другое, литература стремится высветлить момент истины.

Пожалуй, именно литература о войне первой поставила под сомнение, а потом и отвергла так называемую классовую мораль (нравственно то, что служит пролетарскому делу и коммунистической партии), десятилетиями пропагандировавшуюся как высшее достижение общественной истории и социального опыта. Вспомним слова К. Чапека: «Правда — это то, что выгодно партии». Вольно или невольно, литература о войне развенчивала этот идеологический фетиш, проникший, подобно метастазам, во все клетки нашей духовной жизни.

В мыслях своих мы до сих пор возвращаемся к той кровавой войне. И не только по праздникам... Такого безжалостного экзамена, обнаруживавшего силу и слабость, честь и бесчестье, человечность и жестокость, не было ни до, ни после этого. Уроки, которые тогда получили и каждый из нас, и все мы вместе — а они бывали и нестерпимо тяжелыми, — надо до конца осознать и крепко помнить, не утратили они своего смысла и действенной силы и сегодня. Нравственные и гуманистические уроки эти аккумулировала литература о войне, которая адресована уже читателям нового тысячелетия.

Л. Лазарев

ВИКТОР НЕКРАСОВ

В окопах Сталинграда

Повесть

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Приказ об отступлении приходит совершенно неожиданно. Только вчера из штаба дивизии прислали развернутый план оборонительных работ — вторые рубежи, ремонт дорог, мостики. Затребовали у меня трех саперов для оборудования дивизионного клуба. Утром звонили из штаба дивизии — приготовиться к встрече фронтового ансамбля песни и пляски. Что может быть спокойнее? Мы с Игорем специально даже побрились, постриглись, вымыли головы, заодно постирали трусы и майки и в ожидании, когда они просохнут, лежали на берегу полувысохшей речушки и наблюдали за моими саперами, мастерившими плотики для разведчиков.

Лежали, курили, били друг у друга на спинах жирных, медленных оводов и смотрели, как мой помкомвзвода, сверкая белым задом и черными пятками, кувyrкается в воде, пробуя устойчивость плотика.

Тут-то и является связной штаба Лазаренко. Я еще издали замечаю его. Придерживая рукой хлопающую по спине винтовку, он рысцой бежит через огороды, и по этой рыси я сразу понимаю, что не концертом сейчас пахнет. Опять, должно быть, какой-нибудь поверяющий из армии или фронта... Опять тащись на передовую, показывай оборону, выслушивай замечания. Пропала ночь. И за все инженер отдувайся.

Хуже нет — лежать в обороне. Каждую ночь поверяющий. И у каждого свой вкус. Это уж обязательно. Тому окопы слишком узки, раненых трудно носить и пулеметы таскать. Тому — слишком широки, осколком заденет. Третьему — брустверы низки: надо ноль сорок, а у вас, видите, и двадцати нет. Четвертый приказывает совсем их скрыть — демаскируют, мол. Вот и угоди им всем. А дивизионный инженер и бровью не поводит. За две недели один

раз только был, и то галопом по передовой пробежал, ни черта толком не сказал. А я каждый раз заново начинай и выслушивай — руки по швам — нотации командира полка: «Когда же вы, уважаемый товарищ инженер, научитесь по-человечески окопы рыть?..»

Лазаренко перепрыгивает через забор.

— Ну? В чем дело?

— Начальник штаба до себе кличуть, — сияет он белозубым ртом, вытирая пилоткой взмокший лоб.

— Кого? Меня?

— І вас, і начхіма. Щоб через пять минут були, сказав.

Нет, значит, не поверяющий.

— А в чем дело, не знаешь?

— А біс його знає. — Лазаренко пожимает пропотевшими плечами. — Хіба зрозумієш... Всіх связних розігнали. Капітан як раз спати лягли, а тут офіцер связи...

Приходится натягивать на себя мокрые еще трусы и майку и идти в штаб. Командиров взводов тоже вызывают.

Максимова — начальника штаба — нет. Он у командира полка. У штабной землянки командиры спецподразделений, штабники. Из комбатов только Сергиенко — командир третьего батальона. Никто ничего толком не знает. Офицер связи, долговязый лейтенант Зверев, возится с седлом. Сопит, чертыхается, никак не может затянуть подпругу.

— Штадив грузится. Вот и все...

Больше он ничего не знает.

Сергиенко лежит на животе, стругает какую-то щепочку, как всегда, ворчит:

— Только дезокамеру наладили, а тут срывайся к дьяволу. Жизнь солдатская, будь она проклята! Скребутся бойцы до крови. Никак не выведешь...

Белобрысый, с водянистыми глазами Самусев — командир ПТР¹ — презрительно улыбается:

— Что дезокамера... У меня половина людей с такими вот спинами лежит. После прививки. Чуть не по стакану всадили чего-то. Кряхтят, охают...

Сергиенко вздыхает:

— А может, на переформировку, а?

— Ага... — криво улыбается Гоглидзе, разведчик. — Позавчера Севастополь сдали, а он формироваться собрался... Ждут тебя в Ташкенте не дождутся.

Никто ничего не отвечает. На севере все грохочет. Над горизонтом далеко-далеко, прерывисто урча, все туда же, на север, медленно плывут немецкие бомбардировщики.

¹ ПТР — противотанковое ружье. (Прим. автора.)

— На Валуйки прут, сволочи, — Самусев в сердцах сплевывает, — шестнадцать штук...

— Накрылись, говорят, уже Валуйки, — заявляет Гоглидзе: он всегда все знает.

— Кто это — «говорят»?

— В восемьсот пятьдесят втором вчера слышал.

— Много они знают...

— Много или мало, а говорят...

Самусев вздыхает и переворачивается на спину.

— А в общем зря землянку ты себе рыл, разведчик. Фрицу на память оставишь.

Гоглидзе смеется.

— Верная примета. Точно. Как вырочю, так, значит, в поход. Третий уже раз рою, и ни разу переночевать даже не удавалось.

Из майоровой землянки вылезает Максимов. Прямыми, точно на параде, шагами подходит к нам. По этой походке его можно узнать за километр. Он явно не в духе. У Игоря, оказывается, расстегнуты гимнастерка и карман. У Гоглидзе не хватает одного кубика. Сколько раз нужно об этом напоминать! Спрашивает, кого не хватает. Нет двух комбатов и начальника связи — вызвали еще вчера в штадив.

Ничего больше не говорит, садится на край траншеи. Подтянутый, сухой, как всегда застегнутый на все пуговицы. Попыхи-вает трубкой с головой Мефистофеля. На нас не смотрит.

С его приходом все умолкают. Чтобы не казаться праздным — инстинктивное желание в присутствии начальника штаба выглядеть занятым, — копошатся в планшетах, что-то ищут в карманах.

Над горизонтом проплывает вторая партия немецких бомбардировщиков.

Приходят комбаты: коренастый, похожий на породистого бульдога, немолодой уже Каппель — комбат-два, и лихой, с золотым чубом и в заливчатски сдвинутой на левую бровь пилотке командир первого батальона Ширяев. В полку у нас его называют Кузьма Крючков.

Оба козыряют: Каппель по-граждански — полусогнутой ладонью вперед, Ширяев с особым кадрово-фронтовым фасоном — разворачивая пальцы кулака у самой пилотки с последними словами доклада.

Максимов встает. Мы тоже.

— Карты у всех есть? — Голос у него резкий, неприятный. Трубка погасла. Но он продолжает машинально посасывать. — Попрошу вынуть.

Мы вынимаем. Максимов разворачивает свою мягкую замусоленную пальцами пятиверстку. Жирная красная линия ползет через всю карту слева направо, с запада на восток.

— Записывайте маршрут.

Записываем. Маршрут большой — километров на сто. Конечный пункт — Ново-Беленькая. Там должны сосредоточиться через шестьдесят часов, то есть через двое с половиной суток.

Максимов выбивает о каблук трубку, ковыряет в ней веточкой, опять набивает табаком.

— Ясна картина?

Никто не отвечает.

— По-моему, ясна. Выступаем в двадцать три ноль-ноль. Первый переход — тридцать шесть километров. Дневка в Верхней Дуванке. Идти будем походной колонной. С дозорами и охранением, конечно. Порядок движения узнаете через десять минут у Корсакова. Он сейчас составляет.

Слова у Максимова отточены. В каждом слове звучит каждая буква. Он был бы неплохим диктором.

— Первый батальон останется на месте. Понятно? Будет прикрывать. Предупреждаю — поднять надо все. И чтоб никаких отстающих. Переход большой. Просмотрите обувь, портянки...

Тонкими пальцами придерживая трубку, он выпускает короткие, энергичные струйки дыма. Прищурившись, смотрит на Ширяева.

— У тебя что есть, комбат?

Ширяев встает, одергивает гимнастерку.

— Активных штыков двадцать семь. А всего с ездовыми и больными — человек сорок пять.

— Вооружение?

— Два «максима». «Дегтярева» — три. Минометов восьмидесяти двух — три.

— А мин?

— Штук сто.

— А пятидесяти?

— Ни одной. И патронов не очень. По две ленты на станковый и дисков по пять-шесть на ручной.

Ширяев говорит спокойно, не торопясь. Чувствуется, что он волнуется, но старается не показать волнения. На него приятно смотреть. Подтянутый ремень. Плечи развернуты. Крепкие икры. Руки по швам, слегка сжаты в кулаки. Из-за расстегнутого воротника выглядывает голубой треугольник майки. Странно, что Максимов не делает ему замечания.

— Та-ак... — Старательно сложив, Максимов прячет карту в планшетку. — Ясно... С тобой останется Керженцев, инженер. Понятно? Продержитесь два дня. Восьмого с наступлением темноты начнете отход.

— По тому же маршруту? — сдержанно спрашивает Ширяев. Он не сводит глаз с Максимова.

— По тому же. Если нас не застанете... Ну, сам знаешь, что тогда... Всё...

Ширяев понимающе наклоняет голову. Все молчат. Кто-то, кажется, Каппель, прерывисто вздыхает.

— Я сказал всё! — круто поворачивается в его сторону Максимов. — По местам!

— Людей сейчас снимать? — тихо спрашивает близорукий, похожий на ученого, комбат-три.

Лицо Максимова сразу из бледного становится красным.

— Вы на фронте или где? Хотите, чтобы всех людей перебило? Нужно же в конце концов голову иметь на плечах...

Все встают, отряхивая песок и траву.

— А вы ко мне зайдите. — Это относится ко мне и Ширяеву.

В блиндаже тесно и сыро, пахнет землей. На столе лежат схемы нашей обороны — моя работа. Все утро я их делал, торопился с отправкой в штадив. Срок был к двадцати ноль-ноль.

Максимов аккуратно складывает листочки, подгоняет уголки, разрывает крест-накрест, клочки поджигает коптилкой. Бумага съезживается, шевелится, чернеет.

— Немец к Воронежу подошел, — говорит он глухо, растирая носком сапога черный хрупкий пепел. — Вчера вечером.

Мы молчим.

Максимов вытягивает из-под стола алюминиевую фляжку, обшитую сукном, с привинчивающейся кружкой. Поочередно пьем из этой кружки. Самогон крепкий — градусов на шестьдесят. Спирает в горле. Закусываем соленым огурцом, потом выпиваем еще по одной.

Максимов долго трет двумя пальцами переносицу.

— Ты отступал в сорок первом, Ширяев?

— Отступал. От самой границы.

— От самой границы... А ты, Керженцев?

— Я — нет. В запасном был.

Максимов с рассеянным видом жует огурец.

— Дело дрянь, в общем... «Колечка» нам не миновать. — Он прямо в упор смотрит Ширяеву в глаза. — Береги патроны... Будешь здесь сидеть эти два дня — много не стреляй. Так, для виду только. И в бой не вступай. Ищи нас. Ищи... Где-нибудь да мы будем. Не в Ново-Беленькой, так где-нибудь рядом. Но помни и ты, Керженцев, — он строго глядит на меня, — до восьмого ни с места. Понятно? Хоть бы земля под вами проваливалась. Майор так и сказал: «Оставь Ширяева, а в помощь Керженцева ему дай». Это что-нибудь да значит... Да! С обозами ты как решил?

Ширяев улыбается.

— Да ну их к черту, эти обозы! Забирайте! Три повозки только оставляю для боеприпасов. И то много...

— Ладно. Заберем.

В землянку заглядывает штабной писарь — рыхлый, круглолицый сержант. Спрашивает, как с зеленым ящиком быть — воз-

ти или сжигать. Капитан говорил как-то, что сжечь бы не мешало, — там нет ничего нужного.

— Сжигай к аллаху! Полгода возим за собой это барахло. Сжигай!

Писарь уходит.

— Вы в сны верите, Керженцев? — спрашивает вдруг Максимов, почему-то на «вы», хотя обычно обращается ко мне, как и ко всем, на «ты». Не дожидаясь ответа, добавляет: — У меня сегодня во сне два передних зуба выпали.

Ширяев смеется. У него плотные, в линеечку, зубы.

— Бабы говорят, близкий кто-то умрет.

— Близкий? — Максимов рисует что-то кудрявое на обрывке газеты. — А вы женаты?

— Нет! — почти в один голос отвечаем мы.

— Напрасно... Я вот тоже не женат и теперь жалею. Жена необходима. Как воздух необходима. Именно теперь...

Кудрявое превращается в женскую головку с длинными ресницами и ротиком сердечком. Над левой бровью родинка.

— Вы не москвич, Керженцев?

— Нет, а что?

— Да ничего. Знакомая у меня была Керженцева... Когда-то, до войны... Зинаида Николаевна Керженцева. Не родственница?

— Нет, у меня в Москве никого нет.

Максимов ходит по землянке взад и вперед. Землянка низкая, ходить приходится нагнув голову. У меня такое впечатление, что ему хочется что-то рассказать, но он или стесняется, или не решается.

Ширяев взглядывает на часы — маленькие, на черной тоненькой тесемочке. Максимов замечает, останавливается.

— Да-да... Идите, — скороговоркой говорит он, — идите, времени мало.

Мы встаем и выходим из землянки. Он идет вслед за нами. Канонады не слышно. Только лягушки квакают.

Мы несколько минут стоим, прислушиваясь к лягушкам. Тени от сосен доходят уже до самой землянки. Две мины, одна за другой, свистя, медленно пролетают над нами и разрываются где-то далеко позади, — батальонные, по-видимому. Ширяев ухмыляется.

— Все по круглой роще жарит. А батареи уже три дня как нет там.

Мы прислушиваемся, не летят ли еще мины. Но их больше нет.

— Ну, идите, — говорит Максимов, протягивая руку. — Смотрите же...

Делает движение, будто хочет обнять, но не обнимает, а только крепко пожимает руки.

— Патроны береги, Ширяев, не транжирь.

— Есть, товарищ капитан!

— Смотри же... — И он уходит твердой походкой к кустам, где мелькают связисты, сматывающие провода.

С Ширяевым мы улаживаемся — я приду к нему часа через полтора-два, когда улажу свои дела.

2

Не везет нашему полку. Каких-нибудь несчастных полтора месяца только воюем, и вот уже ни людей, ни пушек. По два-три пулемета на батальон... И ведь совсем недавно только в бой вступили — двадцатого мая, под Терновой, у Харькова. Прямо с ходу. Необстрелянных, впервые попавших на фронт, нас перебрасывали с места на место, клали в оборону, снимали, передвигали, опять клали в оборону. Это было в период весеннего харьковского наступления. Мы терялись, путались, путали других, никак не могли привыкнуть к бомбежке.

Перекинули нас южнее, в район Булацеловки, около Купянска. Пролежали и там недельки две. Копали эскарпы, контрэскарпы, минировали, строили дзоты. А потом немцы перешли в наступление. Пустили танков видимо-невидимо, забросали нас бомбами. Мы совсем растерялись, дрогнули, начали пятиться. Короче говоря, нас вывели из боя, сменили гвардейцами и отправили в Купянск. Там опять дзоты, опять эскарпы и контрэскарпы, до тех пор, пока не подперли немцы. Мы недолго обороняли город — два дня только. Пришел приказ: на левый берег отходить. Взорвали железнодорожный и наплавной мосты и окопались в камышах.

Вот тут-то уж, думалось нам, долгонько полежим. Черта с два немца через Оскол пустим.

А он и не лез. Постреливал в нас из минометов, а мы отвечали. Вот и вся война. По утрам появлялась «рама» — двухфюзеляжный рекогносцировщик «фокке-вульф», и мы усиленно и всегда безрезультатно стреляли по нему из ручных пулеметов. Спокойно урча, проплывали куда-то в тыл косяки «юнкерсов».

Саперы мои копали блиндажи для штаба, деревенские девчата рыли второй рубеж вдоль Петропавловки. А мы, штабные командиры, составляли донесения, рисовали схемы и время от времени ездили в штадив на инструктивные занятия.

Жизнь текла спокойно. Даже «Правда» стала до нас добираться. Потерь не было никаких.

И вдруг как снег на голову — приказ...

На войне никогда ничего не знаешь, кроме того, что у тебя под самым носом творится. Не стреляет в тебя немец — и тебе кажется, что во всем мире тишь и гладь; начнет бомбить — и ты

уже уверен, что весь фронт от Балтийского до Черного задвигался.

Вот и сейчас так. Разнежились на берегу сонного, погрязшего в камышах Оскола и в ус не дули — сдержали, мол, врага... Громыхает там на севере, — ну и пусть громыхает, на то и война.

И вот как гром среди ясного неба в двадцать три ноль-ноль шагом марш...

И без боя... Главное, что без боя. У Булацеловки тоже пришлось покидать насиженные окопы. Но там хоть силой заставили нас это сделать, а здесь... Только вчера мы с Ширяевым проверяли оборону. Ну, честное же слово, неплохая оборона. Даже командир дивизии похвалил за расстановку пулеметов и прислал инженеров из 852-го и 854-го учиться, как мы дзоты под домами делаем.

Неужели немец так глубоко вклинился? Воронеж... Если он действительно туда прорвался, положение наше незавидное... А по-видимому, прорвался-таки, иначе не отводили бы нас без боя. Да еще с такого рубежа, как Оскол. А до Дона, кажется, никаких рек на нашем участке нет. Неужели до Дона уходить...

— Товарищ лейтенант, повозку чем грузить будем?

Новоиспеченный командир взвода, молоденький, с чуть-чуть пробивающимися усиками, вопросительно смотрит на меня.

— Мины будем грузить? — спрашивает.

— Машины не дали из штадива?

— Не дали.

— Закапывай тогда. На берегу остались еще?

— Остались. Штук сто.

— Ладно. Десятка два возьми с собой на всякий случай, остальные закапывай.

— Ясно.

— Лопаты все?

— В третьем батальоне тридцать штук.

— Топай за ними. Живо!

Ловко повернувшись, он бежит к повозке, придерживая рукой планшетку. Славный мальчуган — старательный, только слишком старшины боится.

Да... Надо еще карту поменять. Так и не воспользовались мы той новенькой, хрустящей, с большим, разлапистым, как спрут, пятном Харькова в левом углу...

В двенадцать, тихо погромыхивая котелками, уходит в сторону Петропавловки последняя рота нашего полка.

Всю ночь мы с Ширяевым ползаем по передовой. Приходит-ся совсем по-новому расставлять пулеметы. Вчера ушли уровцы — укрепрайон, забрали все свои пулеметы. На нашем участке их было пятнадцать, сейчас осталось только пять: два «максима» и три «дегтярева». Особенно не разгуляешься. Ставим «максимы»

на флангах, ручные между ними. Бойцов тоже приходится расставлять по-новому: фронт батальона увеличился больше чем в три раза. На километр выходит по десять — двенадцать бойцов, один от другого на восемьдесят — сто метров. Не густо, что и говорить!..

Следующий день проходит спокойно. Противник не догадывается, по-прежнему бьет по дороге и северной окраине Петропавловки — редко и неохотно. Две или три мины разрываются у нас во дворе — ширяевский КП¹ находится в подвале четырехэтажного, изрешеченного снарядами дома, по-видимому в прошлом какого-то общежития. Осколком ранит рыжую кошку, живущую со своими котятками у нас в подвале. Санинструктор ее перевязывает. Она мяучит, смотрит на всех желтыми испуганными глазами, забирается в ящик с котятками. Те пищат, лезут друг на друга, тыкаются мордочками в повязку и никак не могут найти сосков.

3

Ночью минируем берег. Валег, мой связной, копает ямки. Бойко, сержант, закладывает и маскирует мины.

Снаряжает их маленький, юркий, похожий на жучка боец из батальона, в прошлом сапер. Его дал мне Ширяев.

Ночь темная. Иногда накрапывает дождик, теплый и приятный. Я даже не накрываюсь плащ-палаткой. Взлетают ракеты — одна за другой. Лениво строчат пулеметы. Я лежу в лопухах. Приятно пахнет ночной влагой и сырой землей.

Ни Валег, ни Бойко не видно. Изредка, осторожно шурша камышами, проходит боец с минами. Они лежат около меня, и он берет их сразу по четыре штуки, связывая ремнем.

Я смотрю на противоположный берег, на группы склонившихся ив, освещаемых дрожащим светом ракет.

Вспоминается наша улица — бульвар с могучими каштанами; деревья разрослись и образовали свод. Весной они покрываются белыми и розовыми цветами, точно свечками. Осенью дворники жгут листья, а дети набивают полные карманы каштанами. Я тоже когда-то собирал. Мы приносили их домой целыми сотнями. Аккуратненькие, лакированные, они загромождали ящики, всем мешали, и долго еще выметали их из-под шкафов и кроватей. Особенно много их всегда было под большим диваном. Хороший был диван — мягкий, просторный. Я на нем спал. В нем было много

¹ КП — командный пункт. (Прим. автора.)

клопов, но мы жили дружно, и они меня не трогали. После обеда на нем всегда отдыхала бабушка. Я укрывал ее старым пальто, которое только для этого и служило, и давал в руки чьи-нибудь мемуары или «Анну Каренину». Потом искал очки. Они оказывались в буфете, в ящике с ложками. Когда находил, бабушка уже спала. А старый кот Фракас с обожженными усами жмурился из-под облезшего воротника...

Бог ты мой, как все это давно было!.. А может, никогда и не было, только кажется...

Направо большой гардероб. В нем мы прятались, когда в детстве играли в прятки. Тогда он стоял еще в коридоре. Потом прорубили в коридоре дверь и его перенесли в комнату. На гардеробе картонки со шляпами. На них много пыли, ее сметают только перед Новым годом, Первым мая и мамиными именинами — двадцать четвертого октября.

За гардеробом комод с овальным зеркалом и бесчисленными вазочками и флакончиками. Я не помню, когда в этих флакончиках были духи, но их почему-то не позволяют убрать. Если вынуть пробку и сильно втянуть носом, то можно еще уловить запах духов.

Дальше идет ночной столик... Нет, голубое кресло с подвезанной ножкой. Садиться на него нельзя, и гостей всегда об этом предупреждают. А затем уже ночной столик. Он набит мягкими клетчатыми туфлями, а в его ящике — коробочки с бабушкиными порошками и пилюлями. В них давно уже никто не может разобраться. Там же и стаканчик для валерианки — чтоб кот не нашел...

И все это сейчас там... у них.

Последнюю открытку от матери я получил через три дня после сообщения о падении Киева. Датирована она была еще августом. Мать писала, что немцев отогнали, канонады почти не слышно, открылся цирк и музкомедия. А в общем: «Пиши чаще, хотя я и знаю, что у тебя мало времени, — хоть три слова...»

С тех пор прошло десять месяцев. Иногда я вынимаю из бокового кармана открытку и смотрю на тонкие неразборчивые буквы. Они расплылись от дождей и пота. В одном месте, в самом низу, нельзя уже разобрать слов. Но я их знаю наизусть. Я всю открытку знаю наизусть... На адресной стороне, слева, реклама Резинотреста: какие-то ноги в высоких ботиках. А справа — марка: станция метро «Маяковская».

В детстве я увлекался марками и просил всех друзей и знакомых наклеивать на конверты красивые новые марки. Вот и сейчас мать наклеила красивую марку, как в детстве... Они у нас лежали в маленькой длинной коробочке, слева на столе. И мать, вероятно, долго выбирала, пока остановилась на этой — зеленой и красивой. Стояла, склонившись над столом, и, сняв пенсне, рассматривала их близорукими, сощуренными глазами...

Неужели я уже никогда ее не увижу? Маленькую, подвижную, в золотом пенсне и с крохотной бородавкой на носу. Я любил ее целовать в детстве — эту бородавку.

Неужели никогда больше не будем сидеть за кипящим самоваром с помятым боком, пить чай с любимым маминым малиновым вареньем... Никогда уж она не проведет рукой по моим волосам и не скажет: «Ты что-то плохо выглядишь сегодня, Юрок. Может, спать раньше ляжешь?» Не будет по утрам жарить мне на примусе картошку большими круглыми ломтиками, как я люблю...

Неужели никогда не буду я больше бегать за угол за хлебом, бродить по тонущим в аромате цветущих лип киевским улицам, ездить летом на пляж, на Труханов остров...

Милый, милый Киев!.. Как соскучился я по твоим широким улицам, по твоим каштанам, по желтому кирпичу твоих домов, темно-красным колоннам университета. Как я люблю твои откосы днепровские! Зимой мы катались там на лыжах, летом лежали на траве, считали звезды и прислушивались к ленивым гудкам ночных пароходов... А потом возвращались по затихшему, с погасшими уже витринами Крещатику и пугали тихо дремлющих в подворотне сторожей, закутанных даже летом в мохнатые тулупы...

Я и теперь иногда гуляю по Крещатику. Завернусь в плащ-палатку, закрою глаза и иду от Бессарабки к Днепру. Останавливаюсь около Шанцера — это самый лучший в мире кинотеатр. Так казалось нам в детстве. Какие-то трубящие в длинные трубы скульптуры вокруг экрана, жертвенники с трепещущими, словно пламя, красными ленточками и какой-то особый, возбуждающий кинематографический запах. Сколько счастливых минут пережил я в этом Шанцере!.. «Индийская гробница», «Багдадский вор», «Знак Зерро»... Бог ты мой, даже дух захватывает!.. А чуть подальше, около Прорезной, в тесном, с нумерованными местами «Корсо» шли ковбойские фильмы. Погони, перестрелки, мустанги, кольты, женщины в штанах, злодеи с тонкими усиками и саркастическими улыбками.... А в «Экспрессе» — потом он почему-то стал прозаическим «Вторым Госкино» — шли салонные фильмы с Полой Негри, Астой Нильсен и Ольгой Чеховой. Мы их не очень любили, эти фильмы, но у нас в «Экспрессе» был знакомый билетер, и мы обязательно ходили туда каждую пятницу.

Сворачиваю на Николаевскую. Это самая эффектная из всех киевских улиц. Аккуратно подстриженные липы, окруженные решеточками. Большие молочно-белые фонари на толстых цепях, перекинутых от дома к дому. Ослепительные «линкольны» у «Континенталья». А около цирка толпы мальчишек ждут выхода Яна Цыгана и держат пари о сегодняшней встрече Данилы Пасунько с Маской смерти.

А дальше Ольгинская, Институтская, надстроенное здание банка с не то готическими, не то романскими башенками по углам... Тихие сонные Липки, прохладные даже в жаркие июльские полдни. Уютные особнячки с запыленными окнами... Столетние вязы дворцового сада... Шуршащие под ногами листья... И — стоп! — обрыв. Дальше — Днепр, и синие дали, и громадное небо, и плоский, ошестинившийся трубами Подол, и стройный силуэт Андреевской церкви, нависшей над самой пропастью, шлепающие колесами паромы, звонки дарницкого трамвая...

Милый, милый Киев...

Как все это сейчас далеко. Как давно все это было, боже, как давно! И институт когда-то был, и чертежи, и доски, и бессонные, такие короткие ночи перед экзаменами, и сопроматы, и всякие там теории архитектурной композиции, и еще двадцать каких-то предметов, которые я уже все забыл...

Нас было шестеро неразлучных друзей — Анатолий Сергеев, Руденский, Вергун, Люся Стрижева и веселый маленький Шурка Грабовский. Его почему-то все «Чижиком» звали. Вместе учились, вместе всегда за город ездили. Во всех конкурсах всегда вместе участвовали. Кончили институт — в одну мастерскую пошли. Только-только принялись за работу, новые рейшины, готовальни купили, и...

Чижик под Киевом погиб — в Голосееве. Мне еще мама об этом писала. Он лежал у нее в госпитале — обе ноги оторвало. Об остальных ничего толком не знаю. Вергун, кажется, в окружение попал. Руденского, как близорукого, не мобилизовали, и он, кажется, эвакуировался. Он провожал меня еще на вокзал. Анатолий связистом будто стал — кто-то говорил, не помню уже кто.

А Люся?.. Может быть, она все-таки эвакуировалась? Вряд ли... У нее старая больная мать, я писал ее тетке в Москву, и та ничего не знает. Два года тому назад, как сейчас помню, пятого июня, в день Люсиного рождения, мы были с ней на Днепре. Взяли полутриггер, легкий, быстрый, с подвижными сиденьями, и поехали туда, далеко, на Наталку, за стратегический мост. У нас там было излюбленное местечко — маленький, затерявшийся среди камышей и ракит очаровательный пляжик. Этого места никто не знал, и там никогда никого не бывало. Вода там прозрачная, как стекло, а с высокого бережка хорошо было прыгать с разбегу... Потом, усталые, со свежими мозолями от весел на ладонях, мы сидели в дворцовом парке и слушали Пятую симфонию Чайковского. Мы сидели сбоку, на скамейке, и рядом были какие-то яркие, красные декоративные цветы, и у дирижера был тоже какой-то цветок в петлице...

— Третий ряд будем делать? — спрашивает кто-то над самым моим ухом.

Я вздрагиваю.

Валега, сидя на корточках, вопросительно смотрит на меня своими маленькими, блестящими, как у кошки, глазами.

— Третий ряд... Нет, третий ряд не будем делать. Переходите на четвертый участок, у пристани.

Мы перетаскиваем оставшиеся мины к пристани и начинаем минировать. Осталось еще около сорока штук.

4

Утром над нашим расположением долго кружится «мессершмитт». Мы огня не открываем — экономим боеприпасы. Две большие партии «хейнкелей» и одна «юнкерсов-88» на большой высоте проплывают на северо-восток.

Часов в семь вечера к нам на КП приходит молоденький лейтенантик, в новенькой фуражке с красным околышем, от нашего правого соседа — третьего батальона 852-го полка. Расспрашивает, как и что у нас и что собираемся делать. У них тоже все спокойно. Народу человек шестьдесят. Пулеметов пять. Зато нет минометов. Мы кормим его обедом и отправляем обратно.

С наступлением темноты начинаем сворачиваться. Нагружаем две повозки, третью бросаем. Ширяевский старшина, одноглазый Пилипенко, никак не может расстаться со своими запасами — старыми ботинками, седлами, мешками с тряпьем. Ворча и ругая и немцев, и войну, и спокойно отмахивающегося от мух вороного мерина Сиреньку, он пристраивает свои мешки со всех сторон повозки. Ширяев выкидывает. Пилипенко с безразличным видом жует козью ножку, а когда Ширяев уходит, старательно запихивает мешки под ящики с патронами.

— Такие ботинки бросать! Бога побоялся бы. Впереди еще столько колесить. — И он прикрывает рваной рогожей выглядывающие из-под ящиков мешки.

Часов в одиннадцать начинаем снимать бойцов. Они поодиночке приходят и молча ложатся на зеленом когда-то газоне двора. Украдкой покуривая, укладываются, перематывают портянки.

Ровно в двенадцать даем последнюю очередь. Прямо отсюда, со двора, и уходим.

Некоторое время белеет еще сквозь сосны силуэт дома, потом исчезает.

Обороны на Осколе более не существует. Все, что вчера еще было живым, стреляющим, оцетинившимся пулеметами и винтовками, что на схеме обозначалось маленькими красными дужками, зигзагами и перекрещивающимися секторами, на что было потрачено тринадцать дней и ночей, вырытое, перекрытое в три или четыре наката, старательно замаскированное травой и ветками, — все это уже никому не нужно. Через несколько дней все это превратится в заплывшее илом жилище лягушек, заполнит-

ся черной, вонючей водой, обвалится, весной покроется зеленой, свежей травкой. И только детишки, по колено в воде, будут бродить по тем местам, где стояли когда-то фланкирующего и кинжального действия пулеметы, и собирать заржавленные патроны. Все это мы оставляем без боя, без единого выстрела...

Мы идем сосновым лесом, реденьким, молоденьким, недавно, должно быть, посаженным. Проходим мимо штабных землянок. Так и не докопали мы землянки для строевой части. Зияет недорытый котлован. Смутно белеют в темноте свежееобструганные сосенки. На плечах таскали мы их из соседней рощицы для перекрытия.

Петропавловка — бесконечно длинная, пыльная. Церковь с дырой в колокольне. Полусгнивший мостик, который я по плану как раз сегодня должен был чинить.

Тихо. Удивительно тихо. Даже собаки не лают. Никто ничего не подозревает. Спят. А завтра проснутся и увидят немцев.

И мы идем молча, точно сознавая вину свою, смотря себе под ноги, не оглядываясь, ни с кем и ни с чем не прощаясь, прямо на восток по азимуту сорок пять.

Рядом шагает Валега. Он тащит на себе рюкзак, две фляжки, котелок, планшетку, полевую сумку и еще сумку от противогаза, набитую хлебом. Я перед отходом хотел часть вещей выкинуть, чтоб легче было нести. Он даже не подпустил меня к мешку.

— Я лучше вас знаю, что вам нужно, товарищ лейтенант. Прошлый раз сами укладывались, так и зубной порошок, и помазок, и стаканчик для бритья — все забыли. Пришлось к химикам ходить.

Мне нечего было возразить. У Валеги характер диктатора, и спорить с ним немислимо. А вообще это замечательный паренек. Он никогда ничего не спрашивает и ни одной минуты не сидит без дела. Куда бы мы ни пришли — через пять минут уже готова палатка, уютная, удобная, обязательно выстланная свежей травой. Котелок его сверкает всегда, как новый. Он никогда не расстается с двумя фляжками — с молоком и водкой. Где он это достает, мне неизвестно, но они всегда полны. Он умеет стричь, брить, чинить сапоги, разводить костер под проливным дождем. Каждую неделю я меняю белье, а носки он штопает почти как женщина. Если мы стоим у реки — ежедневно рыба, если в лесу — земляника, черника, грибы. И все это молча, быстро, без всякого напоминания с моей стороны. За все девять месяцев нашей совместной жизни мне ни разу не пришлось на него рассердиться.

Сейчас он шагает рядом мягкой, беззвучной походкой охотника. Я знаю — будет привал, и он расстелет плащ-палатку на самом сухом месте, и в руках у меня окажется кусок хлеба с маслом и в чистой эмалированной кружке — молоко. А он будет лежать рядом, маленький, круглоголовый, молча смотреть на звезды и

попыхивать крохотной уродливой трубочкой, делающей его похожим на старика, хотя ему всего восемнадцать лет.

О себе он ничего не говорит. Я знаю только, что отца и матери у него нет. Есть где-то замужняя сестра, которую он совсем почти не знает. За что-то он судился, за что — не говорит. Сидел. Досрочно был освобожден. На войну пошел добровольцем. Фамилия его по-настоящему Волегов, с ударением на первом «о». Но зовут его все Валега. Вот и все, что я о нем знаю.

Мы редко с ним разговариваем — он молчалив и замкнут. Один только раз он чуть-чуть приоткрылся. Это было весной, месяца три тому назад. Мы дьявольски промокли и устали. Сушились у костра. Я выкручивал портянки, он в консервной банке варил пшеничный концентрат. Мы уже две недели сидели на этом концентрате и не могли на него равнодушно смотреть.

Кругом было темно и холодно. Промокшая плащ-палатка топорщилась и нисколько не согревала. Мы были вдвоем.

С трубкой во рту, освещенный красноватым пламенем костра, он был похож на гнома, готовящего волшебное варево.

— Когда кончится война, — сказал он, — я поеду домой и построю себе дом в лесу. Бревенчатый. Я люблю лес. И вы приедете ко мне и проживете у меня три недели. Мы будем ходить с вами на охоту и рыбу ловить...

Я улыбнулся.

— Почему именно три недели?

— А сколько же? — Валега удивился, но лицо его ни на йоту не изменилось. Он все так же попыхивал трубочкой и равнодушно мешал кашу. — Вы больше не сможете. Вы будете работать. А на три недели приедете. Я знаю такие места, где есть медведи, и лоси, и щуки по пятнадцать фунтов весом. У нас хорошие места на Алтае. Не такие, как здесь. Сами увидите. — Он вынул и облил ложку. — И пельменями я вас угощу. Я умею делать пельмени. По-особому, по-нашему.

На этом разговор и кончился.

Сейчас я смотрю на него и спрашиваю:

— Ну как, Валега, когда же мы твоих пельменей попробуем? Он даже не улыбается.

— Мяса такого нет. И приготовить его здесь по-настоящему нельзя.

— Значит, до конца войны ждать будем?

Он ничего не отвечает и продолжает шагать. Ботинки ему непомерно велики — носки загнулись кверху, а пилотка мала: торчит на самой макушке. Я знаю, что в нее воткнуты три иглы — с белой, черной и защитного цвета ниткой.

Часов в семь делаем большой привал. На карте село называется Верхняя Дуванка. Здесь же его называют Вершиловкой. От Петропавловки оно в двадцати двух километрах. Значит, прошли мы около тридцати. Это неплохо, дорога трудная.

Бойцы с непривычки устали. Скинув мешки, лежат в тени фруктового сада, задрав ноги. Наиболее проворные тащат в котелках молоко и ряженку. Валега тоже раздобыл где-то буханку белого хлеба и мед в сотах.

Я ем и хвалю, хотя у меня нет аппетита. Нельзя обижать Валегу.

Ноги гудят. Левая пятка немного натерта. Вообще с сапогами дело дрянь, совсем разваливаются. Так и не дождался я брезентовых. Прямо хоть проволокой обматывай. Надо было послушаться Валегу и походить один день в ботинках — были бы отремонтированы сапоги. А теперь кто его знает когда с вещевым складом встретишься. Полк, вероятно, уже далеко, километров за семьдесят — восемьдесят. Если они эти два дня шли, то никак не меньше. Возможно, они где-нибудь стали в обороне или пробиваются через немцев. Местное население говорит, что «ранком в неділю проходили солдати. А увечері пушки йшли». Должно быть, наши дивизионки. «Тільки годину постояли і далі подались. Такі заморені, невеселі солдати».

А где фронт? Спереди, сзади, справа, слева? Существует ли он? На карте его обычно обозначают жирной красной линией; противника — синей. Вчера еще эта синяя линия была по ту сторону Оскола. А сейчас?

Пожалуй, до утра немцы ничего не предпринимали. Разведчиков они, вероятно, не раньше двух часов послали, заметив, что мы молчим. Часа в три-четыре начали переправлять пехоту. Даже позже: сборы, приказы и тому подобное — часов в пять. Сейчас восемь, без пяти восемь. Моторазведка, конечно, могла бы уже нас догнать. Вероятно, ее нет у них. А пехота не догонит. Танки и автомашины раньше вечера, а то и завтрашнего утра на эту сторону не переберутся. Все зависит от того, есть ли у них понтонные парки.

Немцы подошли к Воронежу. Возможно, они его уже взяли. Почему не слышно стрельбы? Позавчера еще канонада доносилась с севера. Потом стала тише и передвинулась на северо-восток. Сейчас вообще ничего не слышно. Тишина.

Солдаты толкуются у котла с кулешом. Как всегда, ворчат, что мало наливают. Трясут яблони. Я встаю и подхожу к Ширяеву. Он сидит и чистит пистолет. Рядом сохнут портянки.

— Будем трогаться, что ли?

Сощурился, Ширяев рассматривает на свет ствол пистолета.

— Вот хлопцы покушают, и двинем. Минут двадцать, не больше.

— Сколько до Ново-Беленькой осталось?

— Километров шестьдесят — семьдесят. Вон карта лежит.

Я меряю по карте. Выходит шестьдесят пять километров.

— Два перехода еще.

— Если поднажмем — завтра к обеду будем.

— Быть-то будем, но застанем ли мы там кого. Боюсь, что не того, кого нужно. Не нравится мне эта тишина...

Подходит адъютант старший, весь красный от веснушек, лейтенант Саврасов. У него озабоченный вид. Подсаживается, закуривает.

— Двух человек уже не хватает.

Ширяев кладет пистолет на портянку и поворачивается к Саврасову.

— Как не хватает?

— А черт его знает как... Сидоренко из первой роты и Кваст из второй. Вечером еще были...

— Куда же они делись?

Саврасов пожимает плечами.

— Может, ноги потеряли? А?

— Не думаю.

— Давай сюда командиров рот.

Ширяев быстро собирает пистолет и наматывает портянки. Приходят командиры рот.

Оказывается, что Сидоренко и Кваст односельчане. Откуда-то из-под Двуречной. К одному из них даже жена приезжала, когда мы в обороне стояли. Всегда держались вместе, хотя были в разных ротах. Раньше за ними ничего не замечалось.

Ширяев слушает молча, плотно сжав губы. Смотрит куда-то в сторону. Не вставая и не глядя на командиров рот, говорит медленно, почти без выражения:

— Если потеряется еще хоть один человек — расстреляю из этого вот пистолета. — Он хлопает себя по кобуре. — Понятно?

Командиры рот ничего не отвечают, стоят и смотрят в землю. У одного дергается веко.

— Этих двух уже не найти. Дома, защитнички... Отвоевались... — Он ругается и встает. — Подымайте людей.

Глаза у него узкие и колючие. Я никогда не видал его таким. Он оправляет гимнастерку, убирает складки с живота, — все это резкими, короткими движениями, — ставит пистолет на предохранитель и прячет в кобуру.

Бойцы выходят на дорогу. На ходу заматывают обмотки. В руках котелки с молоком. У ворот стоят женщины — молчаливые, с вытянутыми вдоль тела тяжелыми, грубыми руками. У каждого дома стоят, смотрят, как мы проходим мимо. И дети смотрят. Никто не бежит за нами. Все стоят и смотрят.

Только одна бабушка в самом конце села подбегает маленьким старушечьим шажком. Лицо в морщинах, точно в паутине. В руках горшочек с ряженкой. Кто-то из бойцов подставляет котелок. «Спасибо, бабуся». Бабуся быстро-быстро крестит его и так же быстро ковыляет назад не оборачиваясь.

Мы идем дальше.

С Игорем сталкиваемся совершенно неожиданно. Он и Лазаренко — связной штаба, оба верхами, вырастают перед нами, точно из-под земли. Кони взмыленные, храпят. Игорь без пилотки, черный от пыли, на щеке царапина.

— Воды!

Впивается в фляжку. Запрокинув голову, долго пьет, двигая кадыком. Вода льется за воротник, оставляя белые дорожки на шее и подбородке. Мы ничего не спрашиваем.

— Перевяжи кобылу, Лазаренко...

Лазаренко отводит лошадей. Большая рыжая кобыла — по моему, комиссарова — хромает. Пуля пробила левую заднюю ногу. Кровь запеклась, липнут мухи.

Игорь вытирает ладонью губы и садится на обочину.

— Дела дермовые, — коротко говорит он, — полк накрылся... Мы молчим.

— Майор убит... комиссар тоже...

Игорь кусает нижнюю губу. Губы у него совершенно черные от пыли, сухие, потрескавшиеся.

— Второй батальон неизвестно сейчас где... От третьего — рожки да ножки. Артиллерии нет. Одна сорокапятимиллиметровка осталась, и та с подбитым колесом... Дайте закурить... Портсигар потерял.

Закуриваем все трое. Газеты нет, рвем листочки из блокнота.

— Максимов сейчас за командира полка... Тоже ранен. В левую руку... в мякоть. Велел вас разыскать и повернуть.

— Куда?

— А кто его знает теперь, куда... Карта есть? У меня ни черта не осталось. Ни карты, ни планшетки, ни связного. Пришлось Лазаренко с собой взять.

— А Афонька что, убит?

— Ранен... Может, и умер уже... В живот попало... Направил в медсанбат, а тот тоже вдребезги...

— И медсанбат?

— И медсанбат. И рота связи дивизионная, и тылы все... Дай еще воды...

Он делает еще несколько глотков, полощет рот. Сейчас я только замечаю, как сильно он похудел за эти два дня. Щеки провалились. Цыганские глаза блестят, волосы спиральками прилипли ко лбу.

— Короче говоря, в полку сейчас человек сто, не больше. Вернее, когда я уезжал, было сто. Это вместе со всеми — с кладовщиками и поварами. Саперы твои пока целы. Один, кажется, только ранен.... У тебя горит?

Он прикуривает, придерживая пальцами мою сигарку. Глубоко затягивается. Выпускает дым толстой, сильной струей.

— В общем, Максимов сказал — разыскать вас и на соединение с ним идти.

Ширяев вытаскивает карту.

— На соединение с ним? В каком месте?

— Со штадивом связь потеряли. — Игорь скребет затылок мундштуком. — Максимов сам принял решение. По-видимому, штадив от нас отрезан. Последнее место его было километров двадцать от Ново-Беленькой. Но до Ново-Беленькой мы так и не дошли.

— А где сейчас немцы?

— Немцы? Яичницу жрут километрах в десяти — двенадцати отсюда. И шнапсом запивают...

— Много их?

— Хватит! Машин сорок насчитали. Все пятитонки, трехосные. Считай по шестнадцать человек — уже шестьсот пятьдесят.

— И куда движутся?

— Мне не докладывали. Оттуда две дороги. Одна сюда, другая — вроде грейдера — на юг...

— Максимов куда приказал?

— Максимов? — Игорь тычет пальцем в карту. — На Кантемировку. Вернее, до села Хуторки. Если там не застанем, тогда строго на юг, на Старобельск.

Мы поднимаем бойцов.

С большой дороги сворачиваем. Идем проселком. Кругом, насколько хватает глаз, высокие, стигающие под тяжестью зерен хлеба. Бойцы срывают колосья, растирают ладонями и жуют спелые, золотистые зерна. Высоко в небе поют жаворонки. Идем в одних майках — в гимнастерках жарко.

Оказывается, все произошло совершенно неожиданно. Пришли в какое-то село, расположились. Игорь был с третьим батальоном. Второй где-то впереди, километрах в пяти. Стали готовить обед. Проходящие через село раненые бойцы говорили, что немец далеко — километрах в сорока, сдержали как будто.

И вдруг оттуда, из села, где второй батальон расположился, — танки. Штук десять — двенадцать. Никто ничего не понял. Поднялась стрельба, суматоха. Откуда-то появились немецкие автоматчики. Во время перестрелки убило майора и комиссара. Три танка подбили. Автоматчиков из села выгнали. Заняли круговую оборону. Тут-то Максимов и послал Игоря за нами. Как раз когда он выезжал из села, немцы перешли в атаку — десятка два танков и мотопехота, машин с полсотни. По пути Игоря обстреляли, ранили лошадь. Откуда у него царапина на щеке, он и сам не знает, он ничего не чувствовал.

Пересекаем противотанковый ров. Громадными зигзагами тянется он по полю, теряясь где-то за горизонтом. Земля еще свежая, — видно, недавно работали. Траншеи чистенькие, акку-

ратные, растрассированные по всем правилам, старательно замаскированные травой. Трава зеленая, не успела еще высохнуть.

Все это остается позади — громадное, ненужное, никем не использованное.

Так идем целый день. Иногда присаживаемся где-нибудь в тени под дубом. Потом опять поднимаемся, шагаем по сухой, серой дороге. Воздух дрожит от жары. Одолевает пыль. Проведешь рукой по лбу — рука черная. Тело все чешется от пота. Гимнастерки у бойцов мокрые насквозь, портянки тоже. Даже курить не хочется. Неистово звенят кузнечики.

В каком-то селе бабы говорят, что час тому назад проехали немцы. Машин двадцать. А вечером мотоциклистов видимо-невидимо. И все туда, за лес.

Положение осложняется. С повозками приходится расстаться. Снимаем пулеметы, патроны раздаем бойцам на руки. Часть продуктов тоже оставляем, ничего не поделаешь.

Ночью идет дождь, мелкий, противный.

6

На рассвете наталкиваемся на полуразрушенные сараи — каменные, без крыш, только стропила торчат. По-видимому, здесь когда-то была птицеферма: кругом полно куриного помета. День начинается пасмурный, сырой. Мы озябли, в сапогах хлюпает, губы синие. Но костров разжигать нельзя, сараи просматриваются издалека.

Я не успеваю заснуть под натянутой Валегой плащ-палаткой, как кто-то носком сапога толкает меня в ноги.

— Занимай оборону, инженер... Фрицы.

Из-под палатки видны только сапоги Ширяева, собранные в гармошку, рыжие от грязи. Моросит дождь. Сквозь стропила видно серое, скучное небо.

— Какие фрицы?

— Посмотри — увидишь.

Ширяев протягивает бинокль. Цепочка каких-то людей движется параллельно нашим сараям километрах в полтора от нас. Их немного — человек двадцать. Без пулеметов, должно быть разведка.

Ширяев кутается в плащ-палатку.

— И чего их сюда несет? Дороги им мало, что ли? Вот увидишь, сюда попрут, к сараям...

Подходит Игорь.

— Будем жесткую оборону занимать? А? Комбат?

Он тоже, по-видимому, спал, — одна щека красная и вся в полосках. Ширяев не поворачивает головы, смотрит в бинокль.

— Уже... Подумали, пока вы изволили дрыхнуть. Люди расположены, пулеметы расставлены. Так и есть... Остановились.

Беру бинокль. Смотрю. Немцы о чем-то совещаются, стекла бинокля мокры от дождя, видно плохо. Приходится все время протирать. Поворачивают в нашу сторону. Один за другим спускаются в балочку. Возможно, решили идти по балке. Некоторое время никого не видно, потом фигуры появляются. Уже ближе. Вылезают из оврага и идут прямо по полю.

— Огня не открывать, пока не скажу, — вполголоса говорит Ширяев. — Два пулемета я в соседнем сарае поставил, оттуда тоже хорошо...

Бойцы лежат вдоль стен сарая у окон и дверей. Кто-то без гимнастерки, в голубой майке и накинутой плащ-палатке взгромоздился на стропила.

Цепочка идет прямо на нас. Можно уже без бинокля разобрать отдельные фигуры. Автоматы у всех за плечами, — немцы ничего не ожидают. Впереди высокий, худой, в очках, — должно быть, командир. У него нет автомата и на левом боку пистолет; у немцев он всегда на левом боку. Слегка переваливается при ходьбе, видно устал. Рядом — маленький, с большим ранцем за спиной. Засунув руки за лямки, он курит коротенькую трубку и в такт походке кивает головой, точно клюет. Двое отстали. Наклонившись, что-то рассматривают.

Игорь толкает меня в бок.

— Смотри... видишь?

В том месте, где появилась первая партия немцев, опять что-то движется. Пока трудно разобрать что — мешает дождь.

И вдруг над самым ухом:

— Огонь!

Передний, в очках, тяжело опускается на землю. Его спутник тоже. И еще несколько человек. Остальные бегут, падают, спотыкаются, опять поднимаются, сталкиваются друг с другом.

— Прекратить!

Ширяев опускает автомат; щелкают затворы. Один немец пытается переползти. Его укладывают. Он так и застывает на четвереньках, потом медленно валится на бок. Больше ничего не видно и не слышно. Так длится несколько минут.

Ширяев поправляет сползшую на затылок пилотку.

— Дай закурить.

Игорь ищет в кармане табак.

— Сейчас опять полезут.

Он вытягивает рыжую круглую коробку с табаком. Немцы в таких носят масло и повидло.

— Ничего, перекурить успеем. С сигаркой все-таки веселее. — Ширяев скручивает толстенную, как палец, сигарку. — Интересно, есть ли у них минометы? Если есть, тогда...

Разорвавшаяся в двух шагах от сарая мина не дает ему окончить фразу. Вторая разрывается где-то за стеной, третья прямо в сарае.

Обстрел длится минут пять. Ширяев сидит на корточках, прислонившись спиной к стенке. Игоря мне не видно. Мины летят сериями по пять-шесть штук. Рядом кто-то стонет высоким, почти женским голосом. Потом вдруг сразу тишина.

Я приподнимаюсь на руках и выглядываю в окно. Немцы бегут по полю прямо на нас.

— Слушай мою команду!..

Ширяев вскакивает и одним прыжком оказывается у пулемета. Три короткие очереди. Потом одна подлиннее.

Немцы исчезают в овраге. Мы выводим бойцов из сараев, они окапываются по ту сторону задней стенки. В сараях оставляем только два пулемета, — этого пока достаточно. У нас уже четверо раненых и шестеро убитых.

Опять начинается обстрел. Под прикрытием минометов немцы вылезают из оврага. Они успевают пробежать метров двадцать, не больше. Местность совершенно ровная, укрыться им негде. Поодиночке убегают в овраг. Большинство так и остается на месте. На глинистой, поросшей бурьяном земле одиноко зеленеют бугорки тел.

После третьего раза немцы прекращают атаки. Ширяев вытирает рукавом мокрый от дождя и пота лоб.

— Сейчас окружать начнут... Я их уже знаю.

В окно влезает Саврасов. Он страшно бледен. Мне даже кажется, что у него трясутся колени.

— В том сарае почти всех перебило... — он с трудом переводит дыхание. — Осколком повредило пулемет... По-моему... — он растерянно переводит глаза с комбата на меня и опять на комбата.

— Что — «по-моему»? — резко спрашивает Ширяев.

— Надо что-то... этого самого... решать...

— Решать! Решать! И без тебя знаю, что решать... Сколько человек вышло из строя?

— Я еще... не... не считал.

— Не считал...

Ширяев встает, подходит к задней стене сарая. Сквозь разрушенное окно видно ровное, однообразное поле без единого куста.

— Ну что ж? Двигаться будем, а? Здесь не даст житья...

Поворачивается. Он несколько бледнее обычного.

— Который час? У меня часы стали.

Игорь смотрит на часы.

— Двадцать минут двенадцатого.

— Давайте тогда... — Ширяев жует губами. — Только пулеметом одним придется пожертвовать. Прикрывать нас надо.

Оказывается, из пулеметчиков один Филатов остался. Кругликов убит, Севастьянов ранен. Ширяев обводит глазами сарай.

— А Седых. Где Седых?

— Вон, на стропилах сидит.

— Давай сюда!

Парень в майке, ловко повиснув на руках, легко спрыгивает на землю.

— Пулемет знаешь?

— Знаю, — тихо отвечает парень, почти не шевеля губами.

Он смотрит прямо на Ширяева не мигая. Лицо у него совсем розовое, с золотистым пушком на щеках. И глаза совсем детские — веселые, голубые, чуть-чуть раскосые, с длинными, как у девушки, ресницами. С таким лицом голубей еще гонять и с соседскими мальчишками драться. И совсем не вяжутся с ним, — точно спутал кто-то, — крепкая шея, широкие плечи, тугие, вздрагивающие от каждого движения бицепсы. Он без гимнастерки. Ветхая, вылинявшая майка трещит под напором молодых мускулов.

— А где гимнастерка? — Ширяев сдерживает улыбку, но спрашивает все-таки по-комбатски грозно.

— Вшей бил, товарищ комбат... А тут как раз эти... фрицы... Вон она, за пулеметом... — И он смущенно ковыряет мозоль на широкой загрубелой ладони.

— Ладно, а немецкий знаешь?

— Что? Пулемет?

— Конечно, пулемет. О пулеметах сейчас говорим.

— Немецкий хуже... но думаю, как-нибудь... — и запинается.

— Ничего, я знаю, — говорит Игорь. — Все равно надо кому-нибудь из командиров остаться.

Он стоит, засунув руки в карманы, слегка раскачиваясь из стороны в сторону.

— А я думал, Саврасова. Впрочем, ладно. — Ширяев не договаривает и поворачивается к Седых: — Ясно, орел? Останешься здесь со старшим лейтенантом. Лазаренко тоже останется, — ребята боевые, положиться можно. Сам видишь, один Филатов остался. Будете прикрывать. Понятно?

— Понятно, — тихо отвечает Седых.

— Что понятно?

— Прикрывать останусь со старшим лейтенантом.

— Тогда по местам. — Ширяев застегивает воротник гимнастерки — становится совсем холодно. — Вот на тот садись, только перетащи его. Тут, где «максим», лучше. Готовь людей, Саврасов.

Саврасов отходит. Я не могу оторваться от его колен. Они все время дрожат мелкой противной дрожью.

— Долго не засиживайтесь, — говорит Ширяев Игорю. — Час — не больше. И за нами топайте. Строго на восток. На Кантемировку.

Игорь молча кивает головой, раскачиваясь с ноги на ногу.
— Пулемет бросайте. Затвор выкиньте. Ленты, если останутся, забирайте.

Через пять минут сарай пустеет. Я с Валегой тоже остаюсь, Ширяев уходит с четырнадцатью человеками. Из них четверо раненых, один тяжело. Его тащат на палатке.

Дождь перестал. Немцы молчат. Воняет раскисшим куриным пометом. Мы лежим с Игорем около левого пулемета. Валега попыхивает трубочкой. Седых, установив пулемет, поглядывает в окно. Потом Валега вытаскивает сухари и фляжку с водкой. Пьем по очереди из алюминиевой кружки. Опять начинается дождь.

— Товарищ лейтенант, а правда, что у Гитлера одного глаза нет? — спрашивает Седых и смотрит на меня ясными, детскими глазами.

— Не знаю, Седых, думаю, что оба глаза есть.

— А Филатов, пулеметчик, говорил, что у него одного глаза нет. И что он даже детей не может иметь...

Я улыбаюсь. Чувствуется, что Седых очень хочется, чтоб действительно было так. Лазаренко снисходительно подмигивает одним глазом.

— Його газами ще в ту війну отруїли. І взагалі, він не німець, він австріяк, і фамілія в нього не Гітлер, а складна якась — на букву «ш». Правильно, товарищ лейтенант?

— Правильно. Шикльгрубер — его фамилия. Он тиролец...

— Тиролец... — задумчиво повторяет Седых, натягивая на себя гимнастерку. — А его немцы любят?

Я рассказываю, как и почему Гитлер пришел к власти. Седых слушает внимательно, чуть приоткрыв рот, не мигая. Лазаренко — с видом человека, который давно все это знает. Валега курит.

— А правда, что Гитлер только ефрейтор? Нам политрук говорил.

— Правда.

— Как же это так?... Самый главный — и ефрейтор.

Он смущается и принимается за мозоль. Мне нравится, как он смущается.

— Ты давно уже воюешь, Седых?

— Давно-о... С сорок первого... с сентября...

— А сколько же тебе лет?

Он задумывается и морщит лоб.

— Мне? Девятнадцать, что ли. С двадцать третьего года я.

Оказывается, он еще под Смоленском был ранен в лопатку осколком. Три месяца пролежал, потом направили на Юго-Западный. Звание сержанта он уже здесь получил, в нашем полку.

— Ну и что же, нравится тебе воевать?

Он смущенно улыбается, пожимает плечами:

— Пока ничего... Драпать вот только неинтересно.

Даже Валега и тот улыбается.

— А домой не хочешь? Не соскучился?

— Чего? Хочу... Только не сейчас.

— А когда ж?

— А чего ж так приезжать? Надо уже с кубарем, как вы.

Валега вдруг приподнимается и смотрит в окно.

— Что такое?

— Фрицы, по-моему... Во-он, за бугорком...

Левее нас, в обход, движутся немцы. Перебежками, по одному. Игорь наклоняется к пулемету. Короткая очередь. Спина и локти у него трясутся. Немцы скрываются.

— Сейчас из минометов начнет шпарить, — вполголоса говорит Лазаренко и отползает к своему пулемету.

Минуты через две начинается обстрел. Мины ложатся вокруг сарая, внутрь не попадают. Немцы опять пытаются перебежать. Видно, как они выскакивают, пробегают несколько шагов и ложатся, потом бегут обратно. Пулемет подымает только небольшую полоску пыли, и дальше этой полоски немцы не идут. Так повторяется три или четыре раза.

Лента приходит к концу. Мы выпускаем последние патроны и поочередно вылезаем в заднее окно — Седых, Игорь, Валега, потом я, за мной Лазаренко.

Когда я сползаю с окна, рядом разрывается мина. Я прижимаюсь к земле. Что-то тяжелое сзади наваливается на меня и медленно сползает в сторону. Лазаренко ранен в живот. Я вижу его лицо, ставшее вдруг таким белым, и стиснутые крепкие зубы.

— Капут, кажется... — Он пытается улыбнуться. Из-под рубашки вываливается что-то красное. Он судорожно сжимает это пальцами. На лбу выступают крупные капли пота.

— Я... товарищ лейт... — Он уже не говорит, а хрипит. Одна нога загнулась, и он не может её выпрямить. Запрокинув голову, он часто-часто дышит. Руки не отрывает от живота. Верхняя губа мелко дрожит. Он хочет еще что-то сказать, но понять ничего нельзя. Он весь напрягается. Хочет приподняться и сразу обмякает. Губа перестает дрожать.

Мы вынимаем из его карманов перочинный ножик, сложенную для курева газету, потертый бумажник, перетянутый красной резинкой. В гимнастерке комсомольский билет и письмо — треугольник с кривыми буквами.

Мы кладем Лазаренко в щель, засыпаем руками, прикрыв плащ-палаткой. Он лежит с согнутыми в коленях ногами, как будто спит. Так всегда спят бойцы в щелях.

Потом мы поодиночке перебегаем к небольшому бугорку. От него к другому — побольше. Немцы всё обстреливают сарай. Некоторое время виднеются еще стропила, потом и они скрываются.

7

Ночью натыкаемся на наших. Кругом тьма кромешная, дождь, грязь. Какие-то машины, повозки. Чей-то хриплый, надсадистый голос покрывает общий гул голосов.

— Н-но, холера!.. Н-но-н-но... Щоб тебе, паразита!.. Но... Холера...

И эти «холера» и «паразит», однообразные и без всякого выражения, с небольшими паузами, чтоб набрать воздух в легкие, сейчас лучше всякой музыки. Свои!

Какой-то мостик. Большая, крытая брезентом повозка провалилась одним колесом сквозь настил. Две жалкие кобыленки — кожа да кости, бока окровавлены, шеи вытянуты — скользят подковами по мокрым доскам. Сзади машины. В свете вспыхивающих фар — мокрые фигуры. Здоровенный детина в телогрейке хлещет лошадей по глазам и губам.

— Холера паразитова... Н-но... Щоб тебе!

Кто-то копошится у колес, ругаясь и кряхтя.

— Да ты не за эту держи... А за ту... вот так...

— Вот тебе и вот так... Не видишь — прогнила.

— А ты за ось.

— За ось... Смотри, сколько ящиков навалено!.. За ось...

Кто-то в капюшоне задевает меня плечом.

— Сбросить ее к чертовой матери!

— Я те сброшу, — поворачивается здоровенный детина.

— Вот и сброшу... Из-за тебя, что ли, машины стоять будут?

— Ну и постоят.

— Серега, заводи машину. — Человек в капюшоне машет рукой.

Здоровенный детина хватает его за плечо. Из-под повозки вылезают еще трое. В воздухе повисает тяжелый, однообразный мат. Разобрать уже ничего нельзя. Подходят шоферы, еще несколько человек. В свете фар мелькают мокрые спины, усталые, грязные лица, сдвинутые на затылок пилотки. В человеке с капюшоном узнаю начальника наших оружейных мастерских Копырко. Капюшон лезет все время ему на глаза, страшно мешает. Меня Копырко не узнает.

— Чего вам еще надо?

— Не узнаешь? Керженцев, инженер.

— Елки-палки! Откуда?.. Один?

И, не дожидаясь ответа, опять накидывается на детину с кнутом. Все наваливаются на подводу и с криком и руганью вытаскивают застрявшее колесо. Валега и Седых принимают деятельное участие.

— Садись на машину, — говорит Копырко подходя, — подвезу.

— А ты куда путь держишь?

— Как куда?

— Куда подвезешь? Мне в Кантемировку надо. Хуторки какие-то там есть.

— На фрицев посмотреть, что ли? — Копырко устало улыбается. — Я еле-еле оттуда машину выгнал.

— А сейчас куда?

— Куда все. На юг. Миллерово, что ли... Ну, давай на машину!

— Я не один. Нас четверо.

Он колеблется, машет рукой.

— Ладно. Садитесь. Все равно горючего не хватит. А кто с тобой?

— Свищерский и двое бойцов — связные.

— Залезайте в кузов. Вон в тот «форд». Впрочем, мы с тобой в кабине поместимся. Черт его знает, с этим мостом, выдержит ли...

Но мост выдерживает. Кряхтит, но выдерживает. Машина идет тяжело, хрипя и кашляя. Мотор капризничает.

— Ширяева не встречал? — спрашиваю я.

— Нет. А где он?

— Со мной был, а сейчас не знаю где.

— Слышал, что майора и комиссара убило?

— Слышал. А Максимова?

— Не знаю, я с тылами был.

Копырко круто тормозит. Впереди затор.

— Вот так все время.... Три шага проедем — час стоим... И дождь еще этот.

Спрашиваю, кто еще из полка есть.

— Да никого. Ни черта не разберешь. Тут и наша армия, и соседние. Штадив куда-то на север пошел, а там немцы. Ни карт, ни компаса...

— А немцы?

— А черт их знает, где они сейчас... Два часа назад в Кантемировке были... Бензин на исходе. А тут еще простудился. Слышишь, какой голос, — он проводит рукой по глазам. — Две ночи не спали... Шофер и оружейный мастер куда-то провалились во время бомбежки... Два бачка бензина сперли. Одним словом, сам понимаешь...

Впереди стоящая машина трогается. Едем дальше. В кабине тепло, греет радиатор, я раскисаю и начинаю клевать носом, не то бодрствую, не то сплю. На ухабах просыпаюсь. Опять засыпаю. Снится какая-то нелепость.

К утру кончается бензин. Еле дотягиваем до села.

Забираемся в какую-то хату и валимся на пол на храпящие тела, семечную шелуху.

За день немножко подсыхает. Тучи рваными клочьями бегут куда-то на восток. Изредка выглядывает солнце, торопливо и неохотно. Дорога запружена — «форды», «газики», «зисы», крытые громадные «студебеккеры». Их, правда, немного. И повозки, повозки, повозки. Проползает дивизионная артиллерия. На длинных стволах гроздьями болтаются гуси. Неистово визжит где-то поросенок. Какие-то тележки, самодельные повозки, пустые передки. Много верховых. Двое обозников на коровах. Прикрутили обмотки к рогам и едут.

И все это с криком, гиком, шелканьем бичей движется куда-то вперед, вперед, на юго-восток, туда, за горизонт, мимо рощи, мимо мельницы, мимо тригонометрической треноги в поле. Громадная пестрая гусеница ползет, извивается, останавливается, вздрагивает, опять ползет...

Мы сидим на длинной корявой колоде у дороги и курум последний табак. У Валеги в мешке есть еще пачка махорки, но это все, а нас четверо. Копырко куда-то исчез со своей машиной, — раздобыл, вероятно, где-нибудь горючее и уехал, не дожидаясь нас. Бог с ним... Хорошо, что хоть ночью подвез.

Повозки сворачивают к колодцу. Там давка и крики. В колодце уже почти нет воды. Лошади отворачиваются от мутной, горохового цвета жижи. И все-таки все лезут и кричат, размахивая ведрами.

— Ну... — говорит Игорь и смотрит куда-то в сторону.

— Что — «ну»?

— Дальше что?

— Идти, по-видимому.

— Куда?

Я сам не знаю, куда идти, но все-таки отвечаю:

— Своих искать.

— Кого своих — Ширяева, Максимова?

— Ширяева, Максимова, полк, дивизию, армию...

Игорь ничего не отвечает, насвистывает. Он здорово осунулся за эти дни — нос лупится, кокетливые когда-то — в линейку — усики обвисли, как у татарина.. Что общего сейчас с тем изящным молодым человеком на карточке, которую он мне как-то показывал. Шелковая рубашечка, полосатый галстук с громадным узлом, брючки-чарли... Дипломант художественного института. Сидит на краю стола в небрежной позе, с палитрой в руках и с папиросой в зубах. А сзади большое полотно с какими-то динамичными, устремленными куда-то фигурами...

А на другой карточке славенькая, с чуть-чуть раскосыми глазами девушка в белом свитере. На обороте трогательная надпись не окрепшим еще почерком.

Всего этого нет... И полка нет, и взвода, и Ширяева, и Максимова. А есть только натертая пятка, насквозь пропотевшая гимнастерка в белых разводах, «ТТ» на боку и немцы в самой глубине России, прущие лавиной на Дон, и вереницы машин, и тяжело, как жернов, ворочающиеся мысли.

У колодца огромная толпа, какие-то крики. Люди безумеют от жажды. В воздух взлетает ведро. Со всех сторон бегут на крик. Толпа растет, растет, перекачивается к дороге.

...А художник из Игоря получился бы неплохой. Рука у него твердая, линия смелая, рисует хорошо. Он нарисовал как-то меня и Максимова на листочках блокнота. Они хранятся у меня в сумке.

Знакомство наше началось с ругани. В Серафимовиче, на формировке еще, я снял его солдат с газоубежища и заставил рыть окопы. Он прилетел расстегнутый, в ушанке набекрень, полный справедливого гнева. Его только что прислали начхром в полк, в котором я уже две недели был инженером. На правах старика я отчитал его. Дней десять после этого мы не разговаривали.

Потом уже, чуть ли не под Харьковом, я совершенно случайно увидел у него в планшетке альбом с зарисовками. С этого и началась дружба.

Мимо проезжает длинная колонна машин с маленькими, подпрыгивающими на ухабах противотанковыми пушчонками. У машин необычайно добротный вид и на дверцах толстые, аккуратные цифры: Д-3-54-27, Д-2-54-26. Это не наши. У нас — Д-1. Свешиваются ноги из кузовов, выглядят загорелые, обросшие лица.

— Какой армии, ребята?

— А вам какую нужно?

— Тридцать восьмую.

— Не туда попали. В справочном спросите, — и смеются.

А машины идут — одна за другой, одна за другой, желтые, зеленые, бурые, пестрые. Конца и края им нет.

— Ну что, пошли?

Игорь встает и каблуком вдавливают в землю окурки.

— Пошли.

Мы вливаемся в общий поток.

8

— Эй вы, орлы!

Кто-то машет рукой с проезжающей повозки. Как будто Калужский — помощник по тылу. Сидит на повозке и машет рукой.

— Давайте, давайте сюда!

Подходим. Так и есть — Калужский. От него пахнет водкой, гимнастерка расстегнута, гладкое лицо с подбритыми бровями красно и лоснится.

— Залазьте в мой экипаж! Подвезу домой. Трамвая все равно не дождетесь. — Он протягивает нам руку, чтобы помочь влезть. — Водки хотите? Могу угостить.

Мы отказываемся, не хочется что-то.

— Напрасно. Водка хорошая. И закусить есть чем, дополнительный паек не успели раздать. Масло, печенье, консервы рыбные. — Он весело подмигивает и хлопает дружески по плечу. — А хлопцев своих на те повозки сажайте. Со мной весь склад вещевого едет, пять подвод.

— А вы куда путь держите? — спрашиваю я.

— Наивняк. Кто такие вопросы теперь задает? Едем и все. А тебе куда надо?

— Я серьезно спрашиваю.

— А я серьезно отвечаю. До Сталинграда как-нибудь доберемся.

— До Сталинграда?

— А тебя что, не устраивает? В Ташкент хочешь? Или в Алматы?

И он бурно хохочет, сияя золотыми коронками. Смех у него заразительный и сочный. И весь он какой-то добротный, не ущипнешь...

— Наших не встречал? — спрашивает Игорь.

— Нет. Бойцов только, и то мало. Говорят, что майора и комиссара убило. Максимов будто в окружение попал. Жаль парня, с головой был. Инженер все-таки...

— А где твои кубики? — перебивает Игорь, указывая глазами на его воротник.

— Отвалились. Знаешь, как их теперь делают? — Калужский прищуривает глаз. — Наденешь, а через три дня уже нет. Эрзац...

— И пояс у тебя как будто со звездой был.

— Был. Хороший, с портупеей. Пришлось отдать. Фотограф дивизионный выклянчил. Вы знаете его — хромым, с палочкой. Неловко отказывать как-то. Уж больно канючил. Может, все-таки по сто грамм налить?

Мы отказываемся.

— Жаль. Хорошая, московская. — И он отхлебывает из фляжки, закусывает маслом, просто так, без хлеба.

— Мировая закуска. Никогда не опьянеешь. Обволакивает стенки желудка. Мне наш врач говорил. Тоже головастый. Два факультета кончил. В Харькове. Я даже диплом видел.

— А он где, не знаешь?

— Не знаю. Вырвался, вероятно. Не дурак, куда не надо не лезет. — Калужский опять подмигивает.

И он долго еще говорит, отхлебывая время от времени из фляжки и облизывая короткие, жирные от масла пальцы. Иногда он прерывает свой рассказ и переругивается с соседними подводами, с застрявшими и мешающими проехать машинами, с ездовыми, потерявшими кнут или прозевавшими колодез. Все это мимоходом, хотя и не без увлечения и определенного даже мастерства.

А вообще на вещи он смотрит так. Дело, по-видимому, приближается к концу. Весь фронт отступает, — он это точно знает. Он говорил с одним майором, который слышал это от одного полковника. К сентябрю немцы хотят все кончить. Это очень грустно, но это почти факт. Если под Москвой нам удалось сдерживать немцев, то сейчас они подготовились «дай бог как»... У них авиация, а авиация сейчас это все... Надо трезво смотреть в глаза событиям. Главное — через Дон прорваться. Вёшенская, говорят, уже занята, — вчера один лейтенант оттуда вернулся. Остается только Цимлянская. Говорят, зверски бомбит. В крайнем случае повозки можно бросить и переправиться где-нибудь выше или ниже. Между прочим, — но это под большим секретом, — он выменял вчера в селе три гражданских костюма, рубахи, брюки и какие-то ботинки. Два из них он может уступить нам — мне и Игорю. Чем черт не шутит. Все может случиться. А себя надо сохранить — мы еще можем пригодиться родине. Кроме того, у него есть еще один план...

Но ему так и не удастся рассказать нам свой план. Сидящий рядом со мной и молча ковыряющий ножом подошву своего сапога Игорь поднимает вдруг голову. Похудевшее, небритое лицо его стало каким-то бурым под слоем загара и пыли. Пилотка сползла на затылок.

— Знаешь, чего сейчас мне больше всего хочется, Калужский?

— Вареников со сметаной, что ли? — смеется Калужский.

— Нет, не вареников... А в морду тебе дать. Вот так вот размахнуться и дать по твоей самодовольной роже... Понял теперь?

Калужский несколько секунд не знает, как реагировать — рассердиться или в шутку все превратить, но сразу же берет себя в руки и с обычным своим хохотком хлопает Игоря по колену.

— Нервы все, нервы... Бомбежки боком вылезают...

— Иди ты знаешь куда со своими бомбежками и нервами! — Игорь с треском закрывает складной нож и кладет его в карман. — Командир тоже называется... Я вот места себе найти не могу от всего этого. А ты — «мы еще можем пригодиться родине». Да на кой ляд такое дермо, как ты, нужно родине! Ездового хоть постыдился бы — такие вещи говорить!

Ездовой делает вид, что не слышит. Калужский соскакивает с повозки и бежит ругаться с шофером. На его счастье, здоровенный «додж» преградил нам дорогу.

Мы с Игорем перебираемся на другую подводу.

Общий поток несколько редее. Часть сворачивает все-таки на Вешенскую, часть на Калач, минуя Морозовскую, остальные — и их большинство — на Цимлянскую.

Степь голая, мучительно ровная, с редкими бородавками курганов. Сухие выжженные овраги. Однообразный, как гудение телеграфных проводов, звон кузнечиков. Зайцы выскакивают прямо из-под ног. По ним стреляют из автоматов, пистолетов, но всегда мимо. Пахнет полынью, пылью, навозом и конской мочой.

Едем. Днем и ночью едем, останавливаясь только, чтоб лошадей покормить и обед сварить. Немцев не видно. Раза два пролетает «рама», сбрасывает листовки. Один раз у нас ломается колесо, и полдня мы его чиним. Серую слепую кобылу меняем на гнедого жеребчика. Он доставляет массу хлопот, брыкается, фыркает, не хочет везти. И его тоже меняют на какое-то старье, мирное и старательное, с отвисшей мокрой губой.

Настроение собачье. Хотя бы сводку где-нибудь достать и узнать, что на других фронтах все-таки лучше, чем у нас. Хоть бы немцы где-нибудь появились. А то ни немцев, ни войны, а так, какая-то нудная тоска.

Какой-то майор-связист, — мы ему помогаем «виллис» из канавы вытащить, — говорит, что бои идут сейчас где-то между Ворошиловградом и Миллеровом, и это слово — бои — на какой-то промежуток времени утешает нас: значит, дерутся армии.

— А вообще добирайтесь до Сталинграда, если армии своей не найдете. Там сейчас новые части формируются. Скорее на фронт попадете... — И, хлопнув дверцей, исчезает в облаке пыли.

Мы, ругаясь, взбираемся на свои подводы, будь они трижды прокляты!

Опять степь, пыль, раскаленное бесцветное небо.

Бабы спрашивают, где же немцы и куда мы идем. Мы молча пьем холодное, из погребца, молоко и машем рукой на восток.

Туда... За Дон...

Я не могу смотреть на эти лица, на эти вопросительные, недоумевающие глаза. Что я им отвечу? На воротнике у меня два кубика, на боку пистолет. Почему же я не там, почему я здесь, почему трясусь на этой скрипучей подводе и на все вопросы только машу рукой? Где мой взвод, мой полк, дивизия? Ведь я же командир...

Что я на это отвечу? Что война — это война, что вся она построена на неожиданности и хитрости, что у немцев сейчас больше самолетов и танков, чем у нас, что они торопятся до зимы закончить всю войну и поэтому лезут на рожон. А мы хотя и

вынуждены отступать, но отступление — еще не поражение, — отступили же мы в сорок первом году и погнали потом немцев от Москвы... Да, да, да, все это понятно, но сейчас, сейчас-то мы все-таки идем на восток, не на запад, а на восток... И я ничего не отвечаю, а машу только рукой на восток и говорю: «До свидания, бабуся, еще увидимся, ей-богу, увидимся...»

И я верю в это. Сейчас это единственное, что у нас есть, — вера.

* * *

Минуем Морозовскую — пыльную, забитую обозами, с дымящимися развалинами вокзала, бесконечными вереницами застрявших вагонов.

Потом Дон. Маленький, желтенький, затерявшийся среди колес, радиаторов, кузовов, голых, полуголых и одетых тел, среди пыли, гудков, сплошного, ни на минуту не прекращающегося гула ревуших машин и человеческих глоток. Сплошное облако пыли. Воронки. Вздувшиеся лошадиные туши с растопыренными ногами, расщепленные деревья, перевернутые вверх брюхом машины.

Лица красные, потные, осатанелые, голоса хриплые. Белесый лейтенант с инженерскими топориками на петлицах, осипший, расстегнутый, без пилотки, пытается что-то организовать. Его никто не слушает, сбивают с ног...

В перерыве между двумя бомбежками проскакиваем мост. Калужского с двумя повозками теряем. Седых царапнуло икру осколком. Под шумок кто-то стащил Валегин рюкзак. Он ругается, чешет затылок, бродит между воронок и разбитых повозок. Подумать только — ведь там такой роскошный бритвенный прибор...

За Доном опять степи, безрадостные, тоскливые степи. Сегодня, как вчера, завтра, как сегодня. Солнце и пыль — больше ничего. Одурающая, разжижающая мозги жара.

Появляются первые части, идущие на фронт, хорошо одетые, с автоматами, касками. Командиры в желтых, скрипучих ремнях, с хлопающими по бокам новенькими планшетками. На нас смотрят чуть-чуть иронически. Сибиряки.

В каком-то селе нас задерживают. Училище едет на фронт. Оружия не хватает, отбирают у встречных. Два лейтенанта грузина, в свеженьких пехотинских фуражках, хотят забрать у нас автоматы и пистолеты. Сначала ругаемся, потом закуриваем легкий листовой табак.

— На фронт топаете?

— На фронт. Вчера еще учились, а сегодня уже в бой. — И оба улыбаются.

— Ну, не сегодня еще. Надо до фрицев еще дойти.

— А где фрицы? — осторожно, чтоб, упаси бог, не подумали, что они боятся, спрашивают лейтенанты.

— А мы у вас хотели узнать. Вы газеты читаете.

— А газеты что... Бои в излучине Дона. Вот и все. Тяжелые бои. Ворошиловград оставили.

— А Ростов?

— Ростов нет. Не писали еще.

— Не писали?

— Нет, не писали.

Лейтенанты мнутя. Один из них спрашивает, небрежно, как бы мимоходом:

— Ну а как там, на фронте... здорово драпают?

— Кто драпает? — Игорь делает удивленное лицо.

— Ну, наши...

— Никто не драпает. Бои идут. Оборонительные бои.

Лейтенанты недоверчиво посматривают на нас, оборванных и запыленных, на повозки с вихляющимися колесами.

— А вы?

— Что мы?

— Не драпали?

— Зачем? На формировку едем.

Лейтенанты смеются, как будто услышав удачную шутку, и пересыпают в наши кисеты золотистый кавказский табак.

— Возьмите нас с собой, а, хлопцы? — говорит вдруг Игорь и хлопает себя по кобуре. — Пистолеты у нас есть, что еще надо...

Лейтенанты переглядываются.

— Ей-богу, ребята... До точки уже дошли.

— Да что мы... — мнутя лейтенанты, — мы люди маленькие. Сходите к начальнику штаба. Может, возьмет. А может... В общем, сходите. Майор Сазанский. Вон хибарка, где повозка с зелеными колесами.

Мы застегиваемся на все пуговицы, подтягиваем ремни, пистолеты оставляем, на всякий случай, чтоб не отобрал. Идем.

— По всем правилам подходите, — кричат вдогонку лейтенанты, — он у нас все уставы наизусть знает. Каблуки не жалеите.

Майор сидит в крохотной халупке, ест борщ со сметаной прямо из котелка. Рядом, на столе, пенсне.

— Ну, чего вам? — спрашивает, не поднимая головы и старательно прожевывая жесткое, видимо, мясо.

Объясняем, вытянув руки по швам, — так, мол, и так. Он дожевывает мясо, кладет ложку на стол и надевает пенсне. Долго смотрит на нас, ковыряя в зубах отколупленным кусочком спичечной коробки.

— Что же я вам скажу, друзья? — говорит он низким, каким-то рокочущим басом. — Ничего хорошего не скажу. Вы, дума-

ете, у меня первые? Черта с два. Человек десять, да какое там десять, человек пятнадцать таких же, как вы, приходили ко мне. А куда я всех дену? Солдатами вы не пойдете, а командиров у меня и так по два на взвод. Да в резерве человек десять. Понятно теперь?

Мы молчим.

— Так что, как видите... И рад бы, как говорится, да... — Он опять берется за ложку.

— Ну а все-таки, товарищ майор...

— Что все-таки? — он повышает голос. — Что это значит — все-таки? Вы в армии или не в армии? Сказал вам нет, и точка. У меня полк, а не биржа для безработных. Понятно? Кругом, шагом марш! — И уже более мягким голосом добавляет: — В Сталинград держите путь. В Сталинграде, говорят, сейчас все начальство. Вы из какой армии?

— Тридцать восьмой, товарищ майор.

— Тридцать восьмой... Тридцать восьмой... — Он чешет мизинцем переносицу. — Кто-то мне говорил, не помню уже кто, но кто-то, ей-богу, говорил. В общем, попытайтесь еще в Котельниково ткнуться. Это по дороге. Ваша армия, кажется, там. Посмотрите, посмотрите...

Мы козыряем и уходим.

В Котельникове нам говорят, что штаб в Абганерове. В Абганерове его не оказывается. Направляют в Карповку. Там тоже нет. Какой-то капитан говорит, что слышал, будто наша армия в Котлубани. Едем в Котлубань. Никаких следов. У коменданта говорят, что был какой-то майор из тридцать восьмой и поехал в Дубовку. На станции Лог встречаем трех лейтенантов из Дубовки. Тридцать восьмой там нет. Все едут в Клетско-Почтовую.

Машины идут на Калач. Там, говорят, бои сильные. С питанием дрянь. В какой-то проходящей части, неизвестно почему, дали хлеба и концентратов. Валега и Седых раздобыли где-то мешок овса...

А в общем... Едем в Сталинград...

10

Сталинград встречает вылезавшим из-за крыш солнцем и длинными прохладными тенями.

Повозка весело грохочет по булыжной мостовой. Дребезжат навстречу обшарпанные трамваи. Вереницы тупорылых «студебеккеров». На них длинные, похожие на гробы ящики, «катюши-

ны» снаряды. В лысых, покрытых щелями скверах — задранные к небу, настороженные зенитки. На базаре горы помидоров и огурцов. Громадные бутылки с золотистым топленым молоком. Мелькают пиджаки, кепки, даже галстуки. Я давно не видел этого. Женщины по-прежнему красят губы.

Сквозь пыльную витрину видно, как парикмахер в белом халате намыливает чей-то подбородок. В кино идет «Антон Иванович сердится». Сеансы в двенадцать, два, четыре и шесть. Дворник подбирает навоз в большой совок. Из черной пасти репродуктора на трамвайном столбе кто-то очень проникновенно, непонятно только кто, мужчина или женщина, рассказывает о Ваньке Жукове, девятилетнем мальчике, в ночь под Рождество пишущем своему дедушке на деревню.

А над всем этим — голубое небо. И пыль... И тоненькие акацийки, и деревянные домики с резными петушками, и «Не входить — злые собаки». А рядом большие каменные дома с поддерживающими что-то на фасадах женскими фигурами. Контора «Нижеволгокоопромсбыта», «Заливка калаш», «Починка примусов», «Прокурор Молотовского района»...

Улица сворачивает вправо, вниз к мосту. Мост широкий, с фонарями. Под ним несуществующая речушка. У нее пышное название — Царица. Виден кусочек Волги — пристани, баржи, бесконечные плоты. Мы сворачиваем еще вправо и поднимаемся в гору. Мы едем к сестре бывшего Игорева командира роты в запасном полку. «Золото она, а не женщина — сами увидите».

Останавливаемся у одноэтажного каменного дома с обвалившейся штукатуркой и заклеенными крест-накрест бумажными полосками окнами. Белая глазастая кошка сидит на ступеньках и неодобрительно осматривает нас.

Игорь исчезает в воротах. Через минуту появляется — веселый, без пилотки и в одной майке.

— Давай сюда, Седых, заводи! — И мне на ухо: — Все в порядке. Как раз к завтраку попали.

Маленький уютный дворик. Стеклянная веранда с натянутыми веревочками. На веревочках что-то зеленое. Бочка под водосточной трубой. Сохнет белье. Привязанный за ногу к перилам гусь. И опять кошка, на этот раз уже черная, моется лапкой, нас зазывает.

Потом мы сидим на веранде, за столом, покрытым скатертью, и едим сверхъестественно вкусный суп из фасоли. Нас четверо, но нам все подливают и подливают. У Марьи Кузьминичны огрубевшие, потрескавшиеся от кухни руки, но фартук на ней белоснежный, а примус и висящий на стене таз для варенья, по-видимому, ежедневно натираются мелом. На макушке у Марьи Кузьминичны седой узелок, очки на переносице обмотаны ваткой.

После супа мы пьем чай и узнаем, что Николай Николаевич, ее муж, будет к обеду, он работает на автоскладе, что гуся прислал ей брат, — он все еще в запасном полку. Что если мы хотим с дороги по-настоящему умыться, то во дворе есть душ, только надо воды в бочку налить, а белье наше она сегодня постирает, ей это ничего не стоит.

Мы выпиваем по три стакана чаю, потом наливаем в бочку воды и долго с хохотом плещемся в тесном, загороженном досками закутке. Трудно передать, какое это счастье.

К обеду приходит Николай Николаевич — маленький, лысый, в чесучовом допотопном пиджаке, с чрезвычайно живым лицом и все время постукивающими по столу или перебирающими что-нибудь пальцами.

Он всем очень интересуется. Расспрашивает нас о положении на фронте, о том, как нас питают, и о чем думает Черчилль, не открывая второго фронта, — «Ведь это просто безобразие, сами посудите», — и как, по-вашему, дойдут ли немцы до Сталинграда, и если дойдут, то хватит ли у нас сил его оборонять. Сейчас все ходят на окопы. И он два раза ходил, и какой-то капитан ему там говорил, что вокруг Сталинграда три пояса есть, или, как он их называл, три обвода. Это, по-видимому, здорово. Капитан на него очень солидное впечатление произвел. Такой зря не будет «трепаться», как теперь говорят.

После чая Николай Николаевич показывает нам свою карту, на которой он маленькими флажками отмечает фронт. Металлической линейкой меряет расстояние от Калача, Котельниково до Сталинграда, и вздыхает, и качает головой. Ему не нравятся последние события. Он очень внимательно читает газеты, — получает не только сталинградскую, но и московскую «Правду». Они у него все сложены в две стопочки на шкафу, и если Марье Кузьминичне нужно завернуть селедку, то приходится бегать к соседям, — эти газеты неприкосновенны.

Потом мы спим во дворе, в тени акаций, закрывшись полотенцами от мух.

Вечером мы собираемся в оперетту на «Подвязку Борджиа». Чистим во дворе сапоги, не жалея слюны.

На противоположном крылечке сидит девушка, пьет молоко из толстого граненого стакана. Ее зовут Люся, и она врач. Мы это уже знаем: нам Марья Кузьминична сказала. У девушки невероятно черные, блестящие, как две бусинки, глазки, черные брови и совершенно золотые, по-мужски подстриженные волосы. Легонькое ситцевое платье-сарафан. Руки и шея бронзовые от загара. Игорь поворачивается так, чтобы держать ее в поле зрения.

— Совсем неплохие ножки, а, Юрка? Да и вообще...
Неистово плюет на щетку.

Девушка пьет молоко, смотрит, как мы чистим сапоги, потом ставит стакан на ступеньку, уходит в комнату и возвращается с кремом для чистки сапог.

— Это хороший крем — эстонский. Пожалуй, лучше, чем слюна, — и протягивает баночку.

Мы благодарим, берем крем. Да, он действительно лучше, чем слюна. Как новые заблестят сапоги. Теперь не стыдно и в театре показаться. А мы что, в театр собираемся? Да, в театр, на «Подвязку Борджиа». Может, она нам компанию составит? Нет, она не любит оперетту, а оперы в Сталинграде нет. Неужели нет? Нет. А она любит оперу? Да, особенно «Евгения Онегина», «Травиату» и «Пиковую даму». Игорь в восторге. Оказывается, Люся училась в музтехникуме, — это еще до института было, — и у нее есть рояль. Оперетта откладывается до следующего раза.

— Зайдите к нам, мама чай приготовит.

— С удовольствием, мы так отвыкли от всего этого.

Сидя в гостиной на бархатных креслах с гнутыми ножками, мы все боимся, что они затрещат под нами — такие они хрупкие и изящные, и такие грубые и неловкие мы. На стене бёклиновский «Остров мертвых». Рояль с бюстиком Бетховена. Люся играет «Кампанеллу» Листа.

Две толстые свечи медленно оплывают в подсвечниках. Диван мягкий и удобный, с покатою спинкой. Я подкладываю под спину расшитую бисером подушку и вытягиваю ноги.

У Люси аккуратно подстриженный затылок. Пальцы ее быстро бегают по клавишам; вероятно, в техникуме она за эту быстроту всегда пятерки имела. Я слушаю «Кампанеллу», смотрю на Бёклина, на гипсового Бетховена, на вереницу уткнувшихся друг другу в зад уральских слоников на буфете, но почему-то все это мне кажется чужим, далеким, точно затянутым туманом.

Сколько раз на фронте я мечтал о таких минутах: вокруг тебя ничего не стреляет, не рвется, и сидишь ты на диване, и слушаешь музыку, и рядом с тобой хорошенькая девушка. И вот я сижу сейчас на диване и слушаю музыку... И почему-то мне неприятно. Почему? Не знаю. Я знаю только, что с того момента, как мы ушли с Оскола, — нет, позже, после сараев, — у меня все время на душе какой-то противный осадок. Ведь я не дезертир, не трус, не ханжа, а вот ощущение у меня такое, как будто я и то, и другое, и третье.

Несколько дней назад, где-то около Карповки кажется, мы сидели с Игорем на обочине и курили. Валега и Седых готовили ужин на костре. Мимо проходила артиллерийская часть — новенькая, идущая на фронт. Молодые, веселые бойцы, с красными от загара лицами, тряслись по пыльной дороге на передках, смеясь и перебрасываясь шутками. И кто-то из них, не то сер-

жант, не то просто боец, на сытой буланой лошадке весело крикнул звонким, как у запевалы, голосом:

— Здорово окопались, господа военные. Ни пуля, ни мина не достанет...

И все заржали вокруг него, а он, батарейный заводила, еще подкинул:

— Самоварчик бы еще да вареньице...

И все опять засмеялись.

Я понимаю, что ни он, ни смеявшиеся бойцы не хотели нас обидеть, но, что и говорить, особого удовольствия эта шутка нам не доставила. Валега даже выругался и пробормотал что-то вроде того: «Посмотрим, что вы неделки через две запоете...»

Да, самое страшное на войне — это не снаряды, не бомбы, ко всему этому можно привыкнуть; самое страшное — это бездеятельность, неопределенность, отсутствие непосредственной цели. Куда страшнее сидеть в щели в открытом поле под бомбежкой, чем идти в атаку. А в щели ведь шансов на смерть куда меньше, чем в атаке. Но в атаке — цель, задача, а в щели только бомбы считаешь, попадет или не попадет.

Люся встает из-за рояля.

— Пойдемте чайку напьемся. Самовар, вероятно, уже закипел.

Стол покрыт белой хрустящей скатертью с квадратами заглаженных складок. В хрустальных блюдечках густое варенье из вишен без косточек — мое любимое варенье. Мы пьем чай из тонких стаканов, не знаем, куда девать свои руки, огрубевшие, неотмывающиеся, в ссадинах и царапинах, с бахромой на обшлагах, и боимся капнуть вареньем на скатерть.

Люсины мать, томная дама в черепаховом пенсне и стоячем, как у классных наставниц, воротничке, подкладывает нам варенье и все вздыхает, и все вздыхает.

— Кушайте, кушайте. На фронте-то вас не балуют, плохо на фронте, я знаю, мой муж в ту войну воевал, рассказывал, — и опять вздыхает. — Несчастное поколение, несчастное поколение...

От третьего стакана мы отказываемся. Сидим для приличия еще минут пять, потом откланиваемся.

— Заходите, заходите, голубчики. Всегда вам рады.

Потом мы лежим во дворе под пыльными акациями и долго не можем заснуть. Рядом со мной спит Седых. Он чмокает во сне и закидывает на меня руку. Игорь ворочается с боку на бок.

— Ты не спишь, Юрка?

— Нет.

— О чем ты думаешь?

— Да так... Ни о чем...

Игорь ищет в темноте табак.

— У тебя есть курево?

— В сапоге посмотри, в мешочке.

Игорь шарит в сапоге, достает мешочек и скручивает сигарку.

— Надоело все это, Юрка.

— Что все?

— Да болтание это. Как цветок в проруби...

— Что ж, завтра перестанем болтаться. В отдел кадров пойдём. С утра прямо, до завтрака.

— Тоже счастье — отдел кадров. Запрут куда-нибудь в резерв, шагистикой и приветствиями заниматься. Или в запасной полк — еще лучше.

— Не пойду в запасной полк.

— Не пойдешь? А учиться тоже не пойдешь? В Алма-Ату или Фрунзе? Всех лейтенантов и старших лейтенантов, говорят, в школу сейчас посылают.

— Ну и пускай посылают. Все равно не поеду.

Несколько минут мы молчим. Игорь мигает сигаркой.

— А с ребятами что делать будем?

— С какими? С Валегой и Седых?

— Их ведь надо на пересыльный отправлять.

— Ни на какой пересыльный не пойдут. Мы сами с тобой сдадим повозку и лошадей. А их я не отдам. Я с Валегой девять месяцев воюю. И до конца войны будем вместе, пока не убьет кого-нибудь.

Игорь смеется.

— Смешной он, твой Валега. Вчера они с Седых поссорились. Как картошку готовить. Седых хотел просто так, в мундирах варить, а Валега ни в какую. Лейтенант, мол, — это ты — не любят шелуху чистить, любят чистую. Минут десять препирались.

— Ну что ж, настоящий, значит, ординарец, — говорю я и переворачиваюсь на другой бок. — Спи, завтра вставать рано.

Игорь протяжно зевает, сплевывает и тушит сигарку о землю.

Где-то очень далеко стреляют зенитки, бродят прожектора по небу, вздыхает во сне Валега. Он лежит в двух шагах от меня, свернувшись комочком и прикрыв лицо рукой. Он всегда так спит.

Маленький, круглоголовый мой Валега! Сколько исходили мы с тобой за эти месяцы, сколько каши съели из одного котелка, сколько ночей провели, завернувшись в одну плащ-палатку... А как ты не хотел идти в ординарцы ко мне. Три дня пришлось уламывать. Стоял потупясь и мычал что-то невнятное — не умею, мол, не привык. Тебе стыдно было от своих ребят уходить. Вместе с ними по передовой лазил, вместе горе хлебал, а тут вдруг к начальнику в связные. На теплое местечко. Воевать я, что ли, не умею, хуже других?

Привык я к тебе, лопоухому, чертовски привык... Нет, не привык. Это не привычка, это что-то другое, гораздо большее. Я никогда не думал об этом. Просто не было времени.

Ведь у меня и раньше были друзья. Много друзей было. Вместе учились, работали, водку пили, спорили об искусстве и прочих высоких материях... Но достаточно ли всего этого? Выпивок, споров, так называемых общих интересов, общей культуры?

Вадим Кастрицкий — умный, талантливый, тонкий парень. Мне всегда с ним интересно, многому я у него научился. А вот вытащил бы он меня, раненого, с поля боя? Меня раньше это и не интересовало. А сейчас интересуется. А Валега вытащит. Это я знаю... Или Сергей Веледницкий. Пошел бы я с ним в разведку? Не знаю. А с Валегой — хоть на край света.

На войне узнаешь людей по-настоящему. Мне теперь это ясно. Она — как лакмусовая бумажка, как проявитель какой-то особенный. Валега вот читает по складам, в делении путается, не знает, сколько семью восемь, и спроси его, что такое социализм или родина, он, ей-богу ж, толком не объяснит: слишком для него трудно определяемые словами понятия. Но за эту родину — за меня, Игоря, за товарищей своих по полку, за свою покосившуюся хибарку где-то на Алтае, за Сталина, которого он никогда не видел, но который является для него символом всего хорошего и правильного, — он будет драться до последнего патрона. А кончатся патроны — кулаками, зубами... Вот это и есть русский человек. Сидя в окопах, он будет больше старшину ругать, чем немцев, а дойдет до дела — покажет себя. А делить, умножать и читать не по складам всегда научится, было б время и желание...

Валега что-то ворчит во сне, переворачивается на другой бок и опять сжимается комочком, поджав колени к подбородку.

Спи, спи, лопоухий... Скоро опять окопы, опять бессонные ночи. Валега — туда! Валега — сюда! Дрыхни пока. А кончится война, останемся живы, придумаем что-нибудь.

11

Утром в отделе кадров сталкиваемся нос к носу с Калужским, свежим, выбритым, как будто даже поправившимся.

— Деточки... Живы, здоровы? Куда топаете? — Он сует свою теплую, влажную руку.

— Туда, откуда ты.

— Одну минуточку. Не торопитесь. У вас табак есть?

— Есть.

— Необходимо перекурить. И мозгой заодно шевельнуть. Вот скамейка симпатичная.

Он тащит нас к трехногой скамейке в пыльном скверике.

— Незачем прыгать очертя голову. Понимаете? Здесь дело простое. Или резерв, или передовая. Чик-чик — и ваших нет.

— Ну?

— Вас это устраивает? — подбритые брови его удивленно приподымаются. — На передовой знаете что творится сейчас? И не спрашивайте... С бору по сосенке. Я с раненым лейтенантом говорил сегодня. Вчера только из Калача. Комсостав почти весь вышел. Тыкают на первое попавшееся место. Вот тебе люди, вот рубеж — держи. Понимаете? «Мессера» по головам ходят. Одним словом...

Толстым коротким пальцем он чертит в воздухе крест.

— А резерв? Пшенная каша, хлеб, как глина. Ну, может быть, селедка. И занятия с утра до вечера, уставы, БУПы¹, ручной пулемет... Семечек хотите?

Не дожидаясь ответа, сыплет нам в ладони мелкие, пережаренные семечки.

— Теперь дальше... — Он слегка наклоняется и говорит загадочным полупшепотом: — Встретился я здесь с одним капитаном, я вас с ним познакомлю. Хороший парень. Работал помощником по разведке в штабе одной дивизии. Разговорились. Оказались общие знакомые. Короче, дней через пять-шесть, максимум десять, будет здесь подполковник Шуранский. Вы его знаете? Золото, а не человек. Я с ним на «ты». Вместе выпивали. Так он, этот самый Шуранский, устроит. Сейчас он в Москве, в командировке. Через неделю будет здесь. В общем, мой совет, поворачивайте-ка вы пока оглобли. У вас есть где жить? А я вас буду держать в курсе событий.

Он вдруг вскакивает и сует семечки в карман.

— Одну минуточку. Вы подождите. Вон с тем майором пару слов только...

И, поправив фуражку, он скрывается за углом.

Мы заходим в дом с грязными окнами. Бесцветный лейтенант, в начищенных сапогах, сообщает, что инженерный отдел находится на Туркестанской улице и там берутся на учет все саперы. А прочие специальности — стрелки, минометчики, артиллеристы — в пятой комнате с одиннадцати до пяти.

Едем на Туркестанскую. Игорь решает выдать себя за сапера.

— К черту эти противогазы. Надоели. А ты меня за три дня всем премудростям научишь.

На Туркестанской опять лейтенант, только уже черный и в брезентовых сапогах. Потом майор. Потом пять анкет и — «приходите завтра к десяти».

¹ БУП — Боевой устав пехоты. (Прим. автора.)

На другой день в десять заполняем еще какие-то карточки и с бумажкой — «Майору Забавникову, зачислить в резерв» — шагаем на Узбекскую, 16.

Там человек двадцать командиров-саперов. Пьют чай, сидя на подоконниках, курят, ругают резерв. Майора нет. Потом он приходит — маленький, желчный, зеленый, со слезящимися глазами. Опять — кто, что да откуда. Распорядок: с девяти до часу занятия, потом обед, с трех до восьми опять занятия. Записываемся в список для питания в какой-то гидророте. Уходим домой.

* * *

Вечером мы бродим с Люсей по набережной. Небо красное, зловещее. Над горизонтом облака, точно густой, черный дым. Волга от ветра шершавая, без всякого блеска. И плоты, плоты без конца. Обмотанные зеленью, точно сегодня Троица, буксиры. На том берегу домики, церквушка, колючие журавли в каждом дворе.

Мы идем об руку, иногда останавливаемся около каменного парапета, облакачиваемся на него и смотрим вдаль. И Люся что-то говорит, кажется, о Блоке и Есенине, и спрашивает меня что-то, и я что-то отвечаю, и почему-то мне не по себе и не хочется говорить ни о Блоке, ни о Есенине.

Все это когда-то интересовало и волновало меня, а сейчас отошло далеко, далеко... Архитектура, живопись, литература... Я за время войны ни одной книжки не прочел. И не хочется. Не тянет.

Все это потом, потом...

А завтра опять этот резерв, по двадцать раз разбирай и собирай пулемет Дегтярева. И послезавтра, и послепослезавтра. И опять этот желчный, со слезящимися глазами майор Забавников будет говорить нам, что надо ждать, что когда прикажут, тогда и отправят на фронт, что есть на то люди, которые об этом думают, и пойдет, пойдет, пойдет...

Мы проходим мимо памятника Хользунову, Герою Советского Союза. К стыду своему, я не знаю, что он сделал. Бронзовый, тяжелый, в кожанке, он стоит уверенно, прочно и ни на кого не смотрит. Мы читаем надпись, рассматриваем барельефы на пьедестале.

Выходим на центральную площадь. Серый, с черными аккумулятивными крестами и средневековым львом на геральдическом щите стоит подбитый «хейнкель». Он похож на злую раненую птицу, припавшую к земле и вцепившуюся в нее когтями. Мальчишки ползают по перебитым крыльям, залезают в кабину,ковыряются в приборах. Взрослые угрюмо и внимательно рассматривают из-за натянутой веревки разбитые моторы и торчащие пулеметы.

— Весь бронированный, сволочь...

— Да, металла не жалеют.

— Вот и суйся к ним с фанерой.

— А сколько у него пулеметов?

— Два. И две пушки.

— И бомбы?

— И бомб две тонны.

— Две тонны?

Люся тянет меня за рукав.

— Идемте. Мне надоело на него смотреть. Поедем на Мамаев курган.

— Куда?

— На Мамаев курган. Оттуда весь Сталинград как на ладони. И Волга. И за Волгу далеко-далеко видно. Там хорошо. Честное слово.

Мы едем на Мамаев курган.

Он плоский и некрасивый. Молоденькие деревца, насаженные рядами. Люся говорит, что здесь предполагалось разбить парк культуры и отдыха. Возможно, когда-нибудь здесь и будет красиво, но пока что мало привлекательно. Какие-то водонапорные башни, сухая трава, редкий, колючий кустарник.

Но вид отсюда действительно замечательный.

Большой город прижался к самой реке. Каменное нагромождение новых домов, возвышающееся над деревянными постройками, облепившими его со всех сторон. Покосившиеся, подслеповатые, они лепятся вдоль оврагов, ползут к реке, вылезают наверх, втискиваются между железобетонными корпусами заводов. Заводы большие, дымные, грохочущие кранами, паровозными гудками. «Красный Октябрь», «Баррикады» и совсем далеко на горизонте корпуса Тракторного. Там свои поселки — белые, симметричные корпуса, маленькие, поблескивающие этернитовыми крышами коттеджи.

И за всем этим Волга — спокойная, гладкая, такая широкая и мирная, и кудрявая зелень на том берегу, и выглядывающие из нее домики, и фиолетовые совсем уже дали, и каким-то дураком брошенная ракета, рассыпающаяся красивым зелено-красным дождем.

Мы сидим на краю оврага, извилистого и голого, и смотрим, как ползет поезд вниз. Он страшно длинный, на платформах у него что-то покрытое брезентом, должно быть танки. Короткотрубый, точно надувшийся паровоз тяжело и недовольно пыхтит. Он не жалеет дыма, тянет медленно, с упорством привыкшего к тяжести битюга.

— О чем вы думаете? — спрашивает Люся.

— О пулемете. Здесь хорошее место для пулемета.

— Юра... Как вы можете?

— А другой вон там вот поставить. Он прекрасно будет простреливать ту сторону оврага.

— Неужели вам не надоело все это?

— Что «это»?

— Война, пулеметы...

— Смертельно надоело.

— Зачем же вы об этом говорите? Если есть возможность об этом не говорить, зачем же...

— Просто привычка. Я теперь и на луну смотрю с точки зрения ее выгоды и полезности. Одна зубная врачиха говорила мне, что когда ей говорят о ком-нибудь, она прежде всего вспоминает его зубы, дупла и пломбы.

— А я вот, когда я не в госпитале, стараюсь не думать о всех этих культях, трепанациях и прочих ужасах.

— Вы недавно работаете в госпитале — вот и все.

— Второй уж месяц.

— А я второй уж год. А военный год — это добрых три мирных. А то и пять.

Люся опирается рукой на мое колено и смотрит мне в глаза. У нее маленькая родинка у левого глаза и ресницы такие, как у Седых, — длинные и загибающиеся кверху.

— А какой вы до войны были, Юра?

Ну что ей ответить? Такой же, как теперь, только немножко иной. Любил на луну смотреть, и шоколад любил, и в третьем ряду партера сидеть, и сирень, и выпить с ребятами.

Некоторое время мы сидим и молча смотрим на противоположный берег.

— Красиво, правда? — говорит Люся.

— Красиво, — говорю я.

— Вы любите так сидеть и смотреть?

— Люблю.

— Вы в Киеве тоже, вероятно, сидели с кем-нибудь на берегу Днепра вечером и смотрели?

— Сидели и смотрели.

— У вас там жена, в Киеве?

— Нет. Я не женат.

— А с кем же вы сидели?

— С Люсей сидел.

— С Люсей? Смотрите, как смешно, — тоже Люся.

— Тоже Люся. И она так же, как и вы, коротко подстригала волосы. На рояле, правда, не играла.

— А где она сейчас?

— Не знаю. Она осталась у немцев. Многие остались у немцев. Мои родители тоже у немцев.

— А у вас есть ее карточка?

— Есть.

— Можно посмотреть?

Я вынимаю из бумажника карточку. Мы сняты с Люсей вдвоем. Плохонькая любительская карточка на дневной бумаге, почти совсем выцветшая. Люся берет ее в руки и наклоняется так низко, что ее волосы касаются моего лица. От них пахнет душистым, свежим мылом.

— А у вашей Люси лицо несимметричное. Вы не замечали?

— Нет, не замечал.

— А вы любите ее? Или только так?

— Мне кажется, что да. Во всяком случае — скучаю.

— Очень?

— Пожалуй, очень.

— Почему «пожалуй»?

— Ну, просто — очень.

Люся опускает глаза.

И вдруг вся краснеет. Даже уши, маленькие, с дырочками от серег ушей ее, становятся красными.

Внизу проползает еще один поезд, такой же длинный и пылящий. Дребезжит где-то трамвай, но его не видно. На небе появляются звездочки — бледные и робкие.

Я смотрю на звезды, на маленькое розовое ухо с дырочкой, на тонкую Люсину руку — на мизинце колечко с зеленым камешком. Она симпатичная и славненькая, Люся, и мне сейчас приятно с ней, а через несколько дней мы расстанемся и больше никогда не увидимся. И еще с другими Люсями встречусь я за время войны и так же, может быть, буду с ними сидеть, а потом и они уплывут куда-то, и я забуду их лица и имена, и сольются они все во что-то одно, большое, расплывчатое, приятное, создающее иллюзию чего-то минувшего, далекого и такого заманчивого.

И я даю ей на всякий случай адрес моего московского друга, по которому она, когда кончится война, если захочет, может написать. Она записывает адрес в маленькую записную книжечку и говорит, что обязательно, обязательно напишет.

Через час мы уходим. Люся молчит и крепко, двумя руками, держится за меня, и я чувствую, как бьется ее сердце, и руки у нее теплые и мягкие, и вся она какая-то уютная и трогательная.

12

Нам дают работу. Мне, Игорю и еще двум лейтенантам из резерва. Именуемся группой особого назначения. Наш начальник — майор Гольдштаб, страшно интеллигентный, лысый и близорукий. Руководитель группы — угрюмый, дергающий носом капитан Самойленко, тоже из резерва.

Работа несложная. Промышленные объекты города на всякий случай подготавливаются к взрыву. Надо составить схему распределения зарядов, подсчитать необходимое количество их, определить способ взрыва и проинструктировать специально выделенные на заводе команды подрывников. И это все.

На мою долю выпадают мясокомбинат, холодильник, четвертая мельница и хлебозавод. Игорю — пивзавод, другая мельница и завод «Метиз».

Поселяемся в новой квартире, большой, пустой и неудобной, с балконом, выходящим на привокзальную площадь. Обстановки почти никакой. Стол, четыре стула, три продавленные кровати и кем-то забытая электрическая спиралька-кипяtilьник.

Мы с Игорем захватываем две койки, кладем на них свои шинели. Третью занимает старший лейтенант со странной фамилией Пенгаунис, должно быть латыш. Четвертый — Шапиро, располагается на стульях. Валега и Седых — в соседней комнате, на полу. Угрюмый капитан где-то на частной квартире. Раз в день он приходит, дергает носом, спрашивает, что мы сделали, выкуривает папиросу и уходит.

На заводах мнутса директора, разводят руками, говорят, что не из кого команды составлять — одни женщины остались. Рабочие косятся: чего это военные зачастили. Разыгрываю пожарного специалиста — щупаю огнетушители.

На холодильнике угощают мороженым в больших тарелках. На мясокомбинате — колбасой и охотничьими сосисками.

Дни стоят ясные, жаркие, ночи — душные.

Марья Кузьминична жалуется, что на базаре все дорожает и молока и масла совсем уже достать нельзя. Николай Николаевич вздыхает около своей карты. Сводки малоутешительны. Майкоп и Краснодар оставлены.

В городе много раненых. С каждым днем все больше и больше. Обросшие, бледные, сверкая бинтами на пыльном, окровавленном обмундировании, движутся они вереницами к Волге. Госпитали эвакуируются. По городу и квартирам ходят патрули, проверяют документы. Дороги на Калач и Котельниково забиты машинами. Во всех дворах усиленно роют щели и какие-то большие, глубокие ямы, — говорят, бассейны для воды на случай пожара. Изредка прилетают «юнкерсы», роняют две-три бомбы где-нибудь на окраине и улетают. Зениток в городе много.

В Москву прилетает Черчилль. Коммюнике весьма неопределенное.

Где бои, тоже точно не знаем. В сводках расплывчатое — «северо-восточнее Котельникова», «излучина Дона»... Говорят, Абганерово уже у немцев. Это шестьдесят пять километров отсюда. На базаре, основном центре распространения слухов, Марья Кузьминична слыхала, что наши оставили Калач и отошли к

Карповке. Раненые в основном из Калача. Разводят руками — «танки... авиация... что поделаешь...»

Приказа об эвакуации еще нет, но Люсины соседи, зубной врач с женой и двумя детьми, вчера выехали в Ленинск — «погостить к сестре».

А в оперетте — «Сильва», «Марица», «Роз-Мари». В буфетах, кроме волжской воды — пять копеек стакан, — пустота. На сцене цилиндры, манишки, обольстительные улыбки, сомнительные каламбуры.

В зоопарке по-прежнему грустит слон, неистовствуют мартишки, толстый ленивый удав дремлет в углу своего террария, на старой соломе.

В городской библиотеке, с балконом прямо на Волгу, симпатичная старушка в прическе восьмидесятых годов выдает Бальзака и просит не загибать страницы. Мальчишки стреляют из рогаток по воробьям, воюют в «фашистов» и в «наших». Девочки играют в классы, прыгая на одной ножке.

У Дома Красной Армии регулярно в витринах, затянутых металлической сеткой, вывешиваются «Известия» и «Сталинградская правда».

Так ползет август — душный, безоблачный, пыльный.

Как-то встречаю Калужского, в новенькой гимнастерке и в фуражке с малиновым околышем. Он устроился в одном из эвакуогоспиталей начпродом. Сейчас госпиталь эвакуируется в Астрахань, и у него по горло работы — раненых миллион, транспорта нет, одним словом, ей-богу, на фронте лучше... Кстати, если мне нужен сахар, он может мне уступить с десятков кило — все равно всего вывезти не удастся, придется сдавать фронту.

Я знаю, что Валега будет меня ругать, но говорю, что у меня нет времени. Разговор на этом кончается. Бодро махнув ручкой, он укатывает на груженном доверху бараньими тушами «газике» куда-то в сторону Волги. Я провожаю его взглядом и захожу на почту, авось есть что-нибудь «до востребования».

13

В воскресенье я просыпаюсь раньше обычного. Откуда-то появились блохи, и я никак не могу больше заснуть. Игорь и те двое еще спят.

Встаю и иду на кухню. Седых готовит на примусе оладьи. Валега ковыряется в репродукторе, он давно мечтает о радио.

Сквозь окно ослепительно сверкает залитая солнцем стена противоположного дома и кусок бледного, точно выцветшего от жары неба.

На заводы сегодня не пойду, — схемы сделаны, количество взрывчатки подсчитано, инструктаж со дня на день откладывается, до сих пор не составлены еще группы подрывников.

Сдергиваю с Игоря шинель.

— Вставай! Идем на Волгу купаться.

Он недовольно морщится, пытается натянуть шинель на лицо, ворчит, но все-таки встает. Моргает сонными глазами.

Седых вносит шипящие на сковородке оладьи.

— Сегодня утром сбили одного. — Он ставит сковородку на кирпич. — Сам видел. Сначала задымился, длинный такой черный хвост пустил, потом стал крениться — больше, больше и свалился куда-то за город. Должно быть, в мотор попали.

— В городе много зениток, — говорит Шапиро и слезает со своих стульев, — батарей двадцать пять будет.

Он очень любит цифры и всякие подсчеты.

— Если они одновременно откроют огонь, то за минуту выпустят по меньшей мере семьсот пятьдесят снарядов.

— А сколько у немцев самолетов? — спрашивает Игорь. Он всегда над ним посмеивается, но Шапиро не обращает внимания.

— К началу войны было около десяти тысяч. Сейчас, вероятно, больше.

— Почему?

— Простая арифметика. Если считать, что у них сто авиазаводов и каждый выпускает по одному самолету в день, — я беру невероятный минимум, — то выходит три тысячи в месяц. Потерь у них таких быть не может. Значит...

— Ты купаться пойдешь? — перебивает Игорь.

— Нет. У меня чирей выскочил. Шестой чирей за этот месяц. И на самом неудобном месте.

Пляжа в Сталинграде нет. Прыгаем прямо с плотов в жирные, перламутровые от нефти волны. Вода теплая, точно подогретая.

Потом лежим на бревнах и, сощурившись, смотрим на Волгу. Она ослепительно блестит. Она не похожа на Днепр. Совсем не похожа. Последний раз я его видел за несколько дней до войны. Он легкомысленнее и веселее. Громадная дуга пляжа, заваленного голыми, черными от солнца телами, какие-то грибки, киоски, кокетливо-ажурные водные станции. И бесконечное количество лодок — байдарок, шлюпок, полутригеров, стройных гоночных скифов, дубков и плоскодонок, белоснежных стремительных яхт. Все это снует, шевелится, мелькает белым, желтым и синим, дрожит в раскаленном полуденном солнце.

Здесь не то. Здесь деловитее и серьезнее. Здесь плоты и баржи, закопченные, озабоченные катера, простуженно гудящие, хлопающие по воде тросами буксиры. До войны здесь тоже, вероятно, были и яхты, и шлюпки, но до войны я здесь не бывал.

А сейчас это широкое, сияющее, затянутое плотами, обсаженное по берегам кранами и длинными, скучными сараями обилие воды напоминает цех какого-то особенного, не похожего на другие, завода.

Но все же это Волга. Можно часами лежать вот так на животе и смотреть, как плывут куда-то вниз плоты, как блестят и переливаются нефтяные разводы, как пыхтит против течения допотопный пароходик, шлепая колесами. И я лежу и смотрю, а Игорь что-то говорит о том, что ему надоело это безделье, надоел Шапиро со своими чирьями, Пенгаунис, каждый день стирающий и развешивающий на балконе подворотнички, надоели заводские директора и вся эта бумажная волокита.

Я слушаю его одним ухом, смотрю на пыхтящий катерок, пристающий к тому берегу, и стараюсь не думать о том, что, может быть, через неделю или две здесь будет фронт и на месте, где мы сейчас лежим, будут немцы, а там, в кудрявой зелени, на том берегу, — мы, и бомбы будут вздывать белые фонтаны воды, и вздувшиеся тела поплывут по этой сверкающей поверхности куда-то вниз, к Астрахани, к Каспийскому морю.

Игорь с размаху хлопает меня между лопаток.

— Полезли в воду... Вон пароход плывет.

С разгону, оттолкнувшись ногами от толстого, скользкого бревна, он вонзается в воду. Несколько секунд его не видно. Потом фыркающая голова его появляется далеко от берега. Сильными, короткими взмахами — почти вся спина наружу — плывет он наперерез пароходу. Голова в воде. Только иногда из-под руки появляется, чтоб набрать воздуха. Он хорошо плавает. Люся тоже так плавала. Не так сильно и резко, но тоже хорошо.

Этот стиль называется кроль. У меня он пока еще не получается. С дыханием что-то не выходит, и ноги устают. Они должны все время работать, быстро и ровно, как ножницы.

Пароход проходит — приземистый, с длинной трубой и целым хвостом барж позади. Игорь возвращается запыхавшись.

— Сердце что-то сдает. Старею. И вообще не река, а нефтехранилище какое-то. — Он весь блестит и переливается от нефти. — Идем-ка лучше в библиотеку.

Я не возражаю. От лежания на бревнах болит спина.

В библиотеке Игорь наслаждается «Аполлоном» за 1911 год. Я — какими-то новеллами перуанского происхождения в «Интернациональной литературе». Плетеные кресла удобны. В комнате тихо, уютно. Портреты Тургенева, Тютчева и еще кого-то с усами и булавкой в галстуке. Большие стенные часы мелодично бьют каждые четверть часа. Двое ребятишек давятся от смеха над иллюстрациями Доре к Мюнхгаузену. У меня тоже когда-то была эта книга в красном с золотом переплете и такими

же рисунками. Я мог ее раз по двадцать на день рассматривать. Особенно мне нравилось, как барон сам себя за косу из болота тащит. И другая картинка — ворота разрезали коня пополам, а он стоит, спокойно пьет воду из фонтана, а сзади хлещет целый водопад.

Мы сидим до тех пор, пока библиотekarша не намекает нам, что в шесть часов библиотека закрывается. У них теперь только одна смена, и они от двенадцати до шести работают.

— Приходите завтра. С двенадцати до шести мы всегда открыты. А «Аполлон» еще есть за тысяча девятьсот двенадцатый и тысяча девятьсот семнадцатый годы.

Мы прощаемся и уходим. Валега, вероятно, уже ворчит — все остыло.

У входа в вокзал квадратный черный громкоговоритель протуженно хрипит:

— Граждане, в городе объявлена воздушная тревога. Внимание, граждане, в городе объявлена...

Последние дни по три-четыре раза в день объявляют тревоги. На них никто уже не обращает внимания. Постреляют, постреляют, самолета так и не увидишь, и дадут отбой.

Валега встречает нас насупленным взглядом исподлобья.

— Вы же знаете, что у нас духовки нет. Два раза уже разогревал. Картошка вся обмякла и борщ совсем... — Он безнадежно машет рукой, разматывает борщ, завернутый в шинель. Где-то за вокзалом начинают хлопать зенитки.

Борщ действительно замечательный. Мясной, со сметаной. И откуда-то даже тарелки — красивые, с розовыми цветочками.

— Совсем как в ресторане, — смеется Игорь, — еще бы подставки под ножи и треугольные салфеточки в стакане.

И вдруг все летит. Тарелки, ложки, стекла, висящий на стене репродуктор...

Что за черт!

Из-за вокзала медленно, торжественно, точно на параде, плывут самолеты. Я еще никогда не видел такого количества. Их так много, что трудно разобрать, откуда они летят. Они летят стаями, черные, противные, спокойные, на разных высотах. Все небо усеяно плевками зениток.

Мы стоим на балконе и смотрим в небо. Я, Игорь, Валега, Седых. Невозможно оторваться.

Немцы летят прямо на нас. Они летят треугольником, как перелетные гуси. Летят низко — видны желтые концы крыльев, обведенные белым кресты, шасси, точно выпущенные когти. Десять... двенадцать... пятнадцать... восемнадцать штук... Выстраиваются в цепочку. Как раз против нас. Ведущий переворачивается через крыло колесами вверх. Входит в пике. Я не свожу с

него глаз. У него красные колеса и красная головка мотора. Включает сирену. Из-под крыльев вываливаются черные точки. Одна... две.... три... четыре... десять... двенадцать... Последняя белая и большая. Я закрываю глаза, вцепляюсь в перила. Это инстинктивно. Нету земли, чтобы в нее врыться. А что-то надо. Слышно, как «певун» выходит из пике. Потом ничего нельзя уже разобрать.

Сплошной грохот. Все дрожит мелкой противной дрожью. На секунду открываю глаза. Ничего не видно. Не то пыль, не то дым. Все затянуто чем-то сплошным и мутным. Опять свистят бомбы, опять грохот. Я держусь за перила. Кто-то сжимает мне руку, точно тисками, выше локтя. Лицо Валеги — остановившееся, точно при вспышке молнии. Белое, с круглыми глазами и открытым ртом. Исчезает.

Сколько это длится? Час, два или пятнадцать минут? Ни времени, ни пространства. Только муть и холодные шершавые перила. Больше ничего.

Перила исчезают. Я лежу на чем-то мягком, теплом и неудобном. Оно движется подо мной. Я цепляюсь за него руками. Оно ползет.

Мысли нет. Мозг выключился. Остается только инстинкт — животное желание жизни и ожидание. Даже не ожидание, а какое-то — скорей бы, скорей, что уютно, только скорей.

Потом мы сидим на кровати и курим. Как это произошло, я уже не помню. Кругом пыль, точно туман. Пахнет толом. На зубах, в ушах, за шиворотом — везде песок. На полу осколки тарелок, лужи борща, капустные листья, кусок мяса. Глыба асфальта посреди комнаты. Стекла выбиты все до одного. Шея болит, точно по ней кто-то палкой ударил.

Мы сидим и курим. Я вижу, как дрожат пальцы у Валеги. У меня, вероятно, тоже. Седых потирает ногу. У Игоря большой синяк на лбу. Пытается улыбнуться.

Выхожу на балкон. Вокзал горит. Домик правее вокзала горит. Там, кажется, была редакция какая-то или политотдел. Не помню уже. Левее, в сторону элеватора, сплошное зарево. На площади пусто. Несколько воронок с развороченным асфальтом. За фонтаном лежит кто-то. Брошенная повозка, покосившаяся, точно на задние лапы присела. Бьется лошадь. У нее распорот живот и кишки розовым студнем разбросаны по асфальту. Дым становится все гуще и чернее, сплошной пеленой плывет над площадью.

— Кушать будете? — спрашивает Валега. Голос у него тихий, не его, срывающийся.

Я не знаю, хочу ли я есть, но говорю, — буду. Мы едим холодную картошку прямо со сковороды. Игорь сидит против меня. Лицо его серо от пыли, точно статуя. Синяк расплылся по всему лбу ядовито-фиолетовый.

— Ну ее... — машет рукой, — не лезет в глотку... — И выходит на балкон.

Пенгаунис и Шапиро приходят бледные и запыленные. Бомбежка застала их на центральной площади. Пересидели в щели. Бомбы попали в Дом Красной Армии и угловой дом напротив, где был госпиталь. Южная часть города вся горит. Попало в машину с боеприпасами, и они до сих пор еще рвутся. У одной женщины голову оторвало. Из кино выходила. Там человек двадцать погребло. Как раз сеанс кончился.

Я спрашиваю, который час. Пенгаунис смотрит на часы. Без четверти девять. Из библиотеки мы пришли около семи. Значит, бомбежка длилась почти два часа.

Игорь возвращается с балкона.

— А где наш капитан живет?

Никто не знает. Положение идиотское. Может быть, к Гольдштабу сходить? Хотя он знает наш адрес и сообщит, если надо. Нет. Лучше все-таки сходить. Невозможно сидеть. Туда не больше получаса ходьбы.

На улицах люди с тюками, тележками. Бегут, спотыкаются. С тележек все валится. Останавливаются, переключиваются, молча, без ругани, с расширенными, остановившимися глазами. Дым, едкий, скребущий горло, вылезает из домов, расплзается по улицам. Хрустит стекло под ногами. Кирпичи, куски бетона, столы, перевернутый шкаф. Кого-то несут на одеяле. Старушка в клетчатом платке тащит табурет и гигантских размеров узел.

— Господи, Боже... Пресвятая Богородица...

Узел сползает. Платок свалился с головы и волочится по земле.

На углу Гоголевской громадная воронка — целый дом влезет. Бойцы убирают глыбы асфальта, разбросанные во все стороны. Воздух дрожит от пронзительного, раздирающего уши вопля пожарных машин.

Люди бегут, бегут, бегут...

Дым расплзается по всему городу, заслоняет небо, щиплет глаза, першит в горле. Длинные желтые языки пламени вырываются из окон, лижут стены углового дома. Пожарные разматывают шланги.

В здание нас не пускают. Мы долго звоним из будки Гольдштабу. Никак не можем дозвониться. Мешает чей-то разговор. Что-то хрипит и хлюпает. Голос Гольдштаба доносится откуда-то издалека, точно с того света.

— Идите домой... ждите.

Мы идем домой. Люди всё бегут, бегут, бегут... Из нижней квартиры вытаскивают большой зеркальный шкаф.

Пытаемся заснуть. Ворочаемся с боку на бок. Почему-то жестко и неудобно. Света нет. Радио молчит. Всю ночь бушуют пожары.

Капитан является на рассвете. Дергает носом. Через пять минут будет полуторка, поедет на Тракторный.

— На Тракторный? Зачем?

— Не знаю. Приказано.

— Кто приказал?

— Гольдштаб. Он тоже выезжает на Тракторный.

— А что там делать?

— Я сказал, что не знаю. Собирайте, говорит, свою группу и ждите машину.

— И больше ничего?

— Ничего. Вышел на минутку из кабинета начальника, сказал про машину и обратно ушел.

— А так что слышно?

Капитан пожимает плечами — разве поймешь?..

Седых отзывает меня в сторону.

— Там склад на вокзале разбомбило. Может, сходить?

— Я те схожу!

— Водка, говорят, есть.

— Ты слышал, что я тебе сказал?

— Слышал.

— Иди складывай свои манатки.

Я сворачиваю рулоны синьки и всовываю их в сумку. Шапиро прислушивается.

— Опять летят...

Тишина. Валега с ножом в одной руке, с консервной банкой в другой. Низкий, далекий еще, знакомый гул моторов. Летит много.

— Надо в подвал идти, — дергает носом капитан и направляется к дверям. В дверях сталкивается с человеком в кожанке, потным и красным.

— Вы Самойленко? — голос хриплый, задышающийся.

— Я...

— Где ваши люди? Я с машиной. Давайте скорей. Гудят уже.

Валега с ножом и банкой в руках вопросительно смотрит на меня.

— Давай на машину... Слыхал?

Когда мы влезает в машину, сыплются первые бомбы. Где-то сзади, в железнодорожном поселке. Самолеты летят над головой, медленно заворачивают вправо.

Я снимаю пилотку, чтоб ее не сорвало ветром. Выезжаем за город. Теперь хорошо видно, как самолеты пикируют на вокзал, центр, пристань. Над городом сплошное облако пыли. Откуда-то с реки подымается высокий, расплзающийся вверх, как гриб, столб густого, черного дыма. Должно быть, горят нефтебаки.

Дорога забита людьми. Куда-то идут, идут, идут, оборачиваясь на город, — полуголые, в шубах, закопченные.

Гольдштаб сидит в подвале. Народу — не протиснуться. Ящики, тюки, сваленные шинели. Кто-то кричит по телефону хриплым голосом. Гольдштаб бледен, небрит, прищурившись, смотрит на нас, не узнает.

— Вы к кому?

— К вам. Саперы.

— Ага... Саперы. Чудесно! Кладите шинели сюда, на ящик. На машине приехали? Хорошо. Давайте сюда.

Он говорит отрывисто, торопливо, потирая маленькие, покрытые черными волосами, сухонькие ручки.

— Времени в обрез. Немцы по ту сторону оврага, — он что-то ищет в карманах, не находит, машет рукой. — Метров пятьдесят — не больше. Стреляют по Тракторному из минометов. Десант. По-видимому, небольшой. Наших регулярных частей еще нет. Сдерживают рабочие. — Смотрит на маленькие, изящные золотые часики-браслет. — Сейчас шесть пятнадцать. К восьми ноль-ноль завод должен быть подготовлен к взрыву. Ясно? Саперы там есть, армейского батальона, но маловато. Заряды, шнур, капсюли — все есть. Нужно помочь. Свяжитесь с лейтенантом Большовым, — вы его там найдете, — в синей шинели и синей пилотке. С ним все уточните. В восемь ноль-ноль я буду там.

Он задумывается, прикусив губу.

— Ну ладно.

Вынимает из бокового кармана крохотный сафьяновый блокнотик с подоткнутым карандашиком. Записывает.

— Керженцев — ТЭЦ¹. Свицерский — литейный. Самойленко — сборочный цех и т. д. — Кладет блокнот обратно в карман и застегивает пуговицу. — Больше не задерживаю. Вещи и шинели можете оставить пока здесь.

Едем дальше.

Большова находим довольно быстро — по синей шинели и пилотке. Худощавый, бледный, глаза слегка навекате, иронические и умные. В углу рта окуроч. Руки в карманах.

— Помощники, да? — улыбается углом рта.

— Да. Помощники.

— Ну что ж, в добрый час. Часика б на два раньше — было б лучше. А сейчас... — он зевает и сплевывает окуроч, — основное уже сделано. Омметра нет?

— Нет. А что?

— Капсюли не калиброваны. Вообще, если скажут сегодня, — навряд ли выйдет. Что, бомбит город?

¹ ТЭЦ — теплоэлектроцентраль. (Прим. автора.)

— Бомбит. А почему не выйдет?

— Почему? — Большов лениво улыбается. — Взрывчатка дермовая. Тола кот наплакал. Остальное аммонит. Отсыревший, в грудках. Ну и капсюли не калиброваны. Цепь проверять нечем. Омметра нет...

— А детонирующего шнура? — спрашивает Игорь.

— Обещают завтра дать. И омметр завтра. Все завтра. А взрывать сегодня.

— Сегодня?

— Говорят. Если не отгонят, то сегодня.

Он вынимает из кармана аккуратно сложенную газету, отрывает ровненький прямоугольничек.

— Махорка есть?

Закуриваем. Мимо по широкой, обсаженной деревьями, асфальтированной аллее проходят отряды рабочих. Несут пулеметы — танковые, снятые с машин. У некоторых ни винтовок, ничего. Идут сосредоточенно, молча.

Я спрашиваю:

— Где немцы?

— А вон, за цехами. Там овраг. Мечётка или Нечётка, черт его знает. Шпарят из минометов. Штук десять танков. Даже не танков, а танкеток. С той вышки хорошо видно.

— А где наши объекты?

— А у вас что?

— ТЭЦ, — отвечаю я.

— ТЭЦ? В двух шагах. За этим корпусом налево. Четыре трубы большие. Сержанта моего найдете. Ведерников. Спит, вероятно, где-нибудь там в конторе. Всю ночь работал. Советую и вам вздремнуть.

Сержант действительно спит, уткнувшись головой в угол дивана, раскинув ноги по полу. Видно, бросился на диван и сразу заснул.

— Эй, друг!

Сержант переворачивается, долго трет глаза. Они маленькие, сидят глубоко и совсем теряются на большом скуластом лице. Никак не может проснуться.

— Вас что, лейтенант прислал?

— Да. Большов.

— Принимать будете?

— Пока что ознакомьте меня с тем, что сделано.

— Опять ознакомить? Тут один уже ознакомился. Капитан какой-то, Львович кажется...

— А теперь я.

Сержант, потянувшись, встает.

— Ну что ж, пошли... — Ищет в кармане махорку. — Всю ночь мешки таскали, будь оно неладно. Спины не чувствуешь. Бумажные, сволочи, все рвутся...

— И много?

— Да с сотню будет, если не больше. Трехпудовые. От этого ТЭЦа один пшик останется.

— Сеть готова?

— Готова. Электрическая только. Аккумуляторов натаскали чертову гибель, а омметра нет. Электрик тут один мне помогал, говорит, у них что-то в этом роде есть, но никак найти не могут. А так все готово. Детонаторы болтаются. Только всовывай и рубильник нажимай.

— А где подрывная станция?

Сержант машет в сторону окна.

— Метров триста отсюда щель. Там все хозяйство. И капитан там. И электрик, вероятно.

Мы обходим станцию. Она чистая и большая. Восемь генераторов, под каждым заряд — три-четыре мешка. Кроме того, заряды под котлами, на масляных переключателях и на трансформаторной — метров триста от самой станции. Цепь длинная, километра два. Сделана аккуратно — концевики тщательно обмотаны изоляционной лентой, по два капсюля на заряд. За ночь действительно сделано много.

Где-то, по ту сторону электростанции, слышно, как разрываются мины.

— По окраине бьет, — говорит сержант. — Из ротных всё бьет. Чепуха. В щель пойдете?

— А где телефон?

— В щели. Все там. Вроде КП устроили.

15

В щели набито битком. Игорь, Седых, высокий курчавый brunet в военной форме, с маленькими бачками, какие-то рабочие в спецовках, щуплый, чахоточного вида субъект в лоснящемся пиджаке и кепке с пуговкой. Военный оказывается Львовичем, в кепке с пуговкой — инженер-электрик ТЭЦ. Зовут его все Георгий Акимович.

Все сидят и курят при свете «летучей мыши». Щель неплохая, обшита досками, с накатником, герметическими дверями, нарами. Такая, как в наставлении по инженерному делу, в виде буквы Н, с двумя входами.

— Что без омметра делать будем? — спрашиваю я.

Георгий Акимович искоса поглядывает на меня.

— У нас мостик Уитстона есть.

— Что же вы молчите?

— Вот и говорю. Только он в сейфе, а ключ у Пучкова — главного инженера. А Пучков со вчерашнего вечера в штабе.

— Надо послать, значит.

— Посылали уже. Они, видите ли, на «Красный Октябрь» уехали. Три часа тому назад еще звонили, что едут. И вот всё едут.

У Георгия Акимовича очень подвижное лицо. Когда он говорит, движутся не только рот, но и нос, лоб, впалые щеки с лихорадочным румянцем. Во рту у него не хватает одного зуба, как раз переднего, и от этого он шепелявит. Возраст его трудно определить, — по-видимому, ему лет тридцать.

— Две ночи кряду не спишь, и толку никакого.

Он нервно комкает папиросу и раздавливает ее каблуком.

— Вот позвонят сейчас по телефону — действуйте... А дальше что?

— Действовать, — отвечаю я.

— Рубильник включать? Да? Так, по-вашему?

Большие, с темными веками глаза его сердито сверлят меня.

— По-моему, так.

— А рабочие на станции? Вместе с машинами к чертовой матери? Кто их оповещать будет? Мы с вами? У нас и так работы вот по сих пор будет, — он рукой быстро проводит по горлу. — Вообще ни плана, ни организации.

— Георгий Акимович, — перебивает его Львович. Он сидит в стороне, на запасных аккумуляторах, и сгибает и разгибает какую-то проволочку.

— Что — Георгий Акимович? Нужно все-таки мало-мальски мозгами шевелить. На ТЭЦ сейчас шестьдесят человек работает. Куда им деваться, если это... если придется все-таки тар-рарах устроить. Куда? Врассыпную? Куда глаза глядят? Потом... Есть какая-нибудь очередность у цехов? Нету. Литейный будет рваться, а мы только собираться, или наоборот... Вообще... — Он машет рукой и длинными сухими пальцами мнет папиросу. — Вот немец лупит сейчас из минометов, попал осколок в провод — и точка. Вся наша сеть ни к дьяволу не годится. Сколько раз говорил — идиотство держать Уитстона в сейфе. Нет. Воров бояться. Единственный, видите ли, аппарат во всем Сталинграде. А вот теперь сиди и жди у моря погоды.

Он делает несколько коротких, быстрых затыжек, тушит папиросу о стенку и встает.

— Может, приехал уже... По телефону никак не дозвонишься. Не коммутатор, а горе.

Игорь тоже встает.

— Ко мне в литейный не сходим? А? Посмотришь.

Мы идем в литейный.

— Как тебе этот тип? — спрашивает Игорь.

— Как сказать, не завидую его жене. Чахотка, плюс несварение желудка, должно быть. Впрочем, все, что он говорит, сущая правда.

— А меня раздражает.

— Ты неврастеником стал, ей-богу, — все раздражает. Шапиро раздражает, Пенгаунис подворотнички стирает — раздражает, этот тоже не угодил. Какого же тебе рожна надо?

— Не люблю ворчунов, что поделаешь. А это уж такая экспансивность, что того и гляди полные штаны будут.

— Поживем — увидим. Надо вот Седых и Валегу на капсюлях натренировать. Чтоб как часы втыкали и не боялись.

Седых улыбается.

— А чего там бояться. Я таких вот сазанов толком глушил, когда в Купянске стояли. Там рыбы знаете сколько? Вот завтра, если взрывать не будем, я вам осетров притащу — двумя руками не подымете. Я уже видал, тут челнок за забором лежит.

У входа в литейный группа рабочих окружила здорового парня с перевязанной рукой. Рукав от плеча разорван, на повязке красные пятна.

— До института, сволочи, добрались. Тр-р, тр-р из автоматов... А у нас — винтовки. Только ко входу подходим, а они из окон тр-р-р, тр-р-р... Хорошо КВ¹ подошел, ахнул прямо в дом. Они так и посыпались, как тараканы. Сейчас на той стороне Мечетки.

Глаза у парня блестят. Ему нравится, что его слушают, что он уже ранен, что он стрелял в немцев, и ему не хочется кончать своего рассказа.

— Только один выстрел КВ дал. Во второй этаж угодил. Так и полетели камни. А фрицы с заднего хода — от дерева к дереву.

— А много их, фрицев-то? — спрашивает кто-то из толпы.

— На нас с тобой хватит. Дивизии две будет, а то и больше.

— А ты что, считал?

— Считал... — парень презрительно плюет и встает, придерживая правой рукой левую. — Пойди посчитай. Там только арифметикой и заниматься, — машет он здоровой рукой. — Где медпункт, хлопцы? С вами наговоришься.

На обратном пути опять встречаем раненых — старика и мальчика. Один в руку, другой в голову. Оба легко. Немцы все еще за оврагом. Стреляют из минометов. В атаку не идут. Наши тоже. Паршиво, что нет настоящих командиров. Говорят, завтра должны стрелковые части подойти с артиллерией. Два раза немецкие танки подъезжали к оврагу, немного постреляли и ушли. Наши тоже мало стреляют, боеприпасов, вероятно, нет. А в общем ничего — жить еще можно. Тракторозаводцы сумеют постоять за свой завод. И совсем по-молодому подмигнув глазом, старик вместе с мальчиком идет искать медпункт. Прибли-

¹ КВ — танк «Клим Ворошилов». (Прим. автора.)

тая к фонарному столбу дощечка с наспех нарисованным красным крестом указывает в сторону Волги. Когда мы шли в цех, ее не было.

В щели Георгий Акимович уже ковыряется со своим мостиком. Он большой, красивый, весь лакированный, с массой контактов. Георгий Акимович в хорошем настроении. Сеть исправна.

— Видите, как стрелка роскошно прыгает? Не мостик, а сказка. Другого нет такого в Сталинграде. Даже из центральной электростанции за ним присылали. Чувствительный, как черт. Сейчас все детонаторы ваши перекалибруем. Есть запасные?

— Хоть пруд пруди, — отвечает Ведерников, — сотни две или три.

Только-только заканчиваем калибровку — подбор капсюлей с одинаковым сопротивлением — и заменяем капсюли на зарядах, как начинается обстрел. Длится около часу. Через каждые две-три минуты по снаряду. Большинство ложится вокруг станции. Несколько попадает в машинный зал, два в котельную. Их называют минами, но это не мины. У мины нет пробивной силы, а в машинном зале зияют дыры в потолке.

Стрелка прибора беспомощно сваливается на ноль. Цепь порвана. Георгий Акимович ищет свою кепку с пуговкой.

— Закопать надо провод, от осколков житья не будет.

И, не дождавшись конца обстрела, вылезает из щели. Найти порыв не так просто. Цепь у нас последовательная, и при малейшем порыве она выключается целиком. При параллельном соединении порыв найти легче — цепь разбивается на участки и каждый участок можно проверять в отдельности.

Мы проходим по всему проводу, щупая его руками. Валега с нами, с мостиком в руках. Георгий Акимович все время на него кричит, чтоб он был осторожней, другого такого теперь не сыщешь. Два порыва находим быстро, с третьим возимся довольно долго, но и его находим в конце концов. Георгий Акимович быстро и ловко обматывает липучкой раненое место.

До вечера закапываем провод и переводим сеть на параллельную. Немцы два раза повторяют налет. Георгий Акимович не сводит глаз с Уитстона, но все проходит благополучно — порывов нет.

Часов в восемь приезжает Гольдштаб. Привозит омметр. Это нам значительно облегчает проверку порывов. Спрашивает, как у нас обстоят дела. Мешки со взрывчаткой надо будет перетаскать из машинного зала в подвальные камеры, под каждый генератор. Это безопасней и не так будет нервировать рабочих. Потом надо, чтоб обязательно кто-нибудь из нас или бойцов дежурил на самой станции. А в общем — быть готовым к ночи.

Гольдштаб отводит меня и Львовича в сторону. Потирает руки.

— Помните, что после предварительной команды — более получаса у вас не будет. За полчаса все должно быть закончено и подготовлено. За эвакуацию рабочих отвечаете вы, Львович. Керженцев — за взрыв.

— Ясно. А очередность?

— Никакой очередности. И первая, и вторая команды подаются во все цехи одновременно. Взрывать, значит, тоже одновременно. После взрыва соберетесь у пристани. Вы знаете, Львович, где. Будет моторка.

— Ясно.

— Все ясно?

— Все.

Гольдштаб уезжает. Где-то совсем рядом, за литейным, взлетают ракеты. Трещат автоматы, изредка пулеметы.

Рядом с дверью прямо к стенке прибит рубильник. Маленький, обыкновенный, с черной ручкой. Такие точно на счетчиках в квартирах. Я смотрю на него. Два провода тянутся от него: один к аккумуляторам — их восемь черных ящиков, закопанных в яму; другой к зарядам — восьмидесяти мешкам с аммонитом по три пуда каждый. Один провод откручен, торчит. Ручка рубильника откинута, привязана веревочкой, на всякий случай. А через час или два, а может и раньше, позвонят по телефону, и я соединю провода, отвязу веревочку, еще раз проверю сеть и двумя пальцами осторожно включу рубильник. И тогда... Ни генераторов, ни котлов, ни машинного зала с белоснежными, как в операционной, метлахскими плитками. Ничего...

Сидим и курим. Валега штопает брюки, Седых с сержантом на станции. Поблескивает в углу телефон. Георгий Акимович поминутно включает мостик. Игорь лежит на нарах и смотрит в потолок.

В двенадцать звонит Гольдштаб — проверить сеть и не спать.

В щели так накурено, что лиц разобрать нельзя, как на плохо проявленном негативе. В три опять звонок. Мы все вздрагиваем. Звонит Большов — нет ли десятков двух лишних капсюлей калиброванных. Есть. Он пришлет тогда сержанта за ними. Ладно.

— Ну а вообще как, спокойно?

— Спокойно. А у вас?

— Как будто. За оврагом постреливают, а так ничего.

Опять курим. Выходим на двор, смотрим на звезды, ракеты, четырехтрубную громаду ТЭЦ. Возвращаемся. Садимся. Курим. Включаем мостик. Выключаем. Молчим.

В пять снова звонок. Можно ложиться спать. Говорит Гольдштаб.

Слава тебе господи...

Ложимся прямо на голые нары, сдвинув пистолеты на живот. Напрасно мы свои шинели у Гольдштаба оставили.

То же самое повторяется и во вторник, и в среду, и в четверг. Обстрелы, порывы, дежурства, ожидание звонка — и в пять часов можно спать.

Атмосфера разряжается.

Дни проходят один за другим, ясные, голубые, с летающими паутинами.

Приказа все нет.

От города, по-видимому, ничего уже не осталось. Немцы бомбят его с утра до вечера. Над ним непроходящее облако дыма и пыли. Горят нефтехранилища. Черный, как копоть, дым иногда застилает солнце, и тогда на него можно смотреть не шурясь, как сквозь закопченное стекло во время затмения.

Бои идут в южной части города, у элеватора, и в северной — на Мамаевом кургане.

В нашем овраге без перемен. Как-то ночью прошли две дивизии. Шли долго, беспрерывно, всю ночь напролет, батальон за батальоном. С артиллерией, обозами. Раза два немцы пытались перебраться через овраг, и тогда начиналась автоматная трескотня — обычно ночью, и Гольдштаб звонит: «Будьте готовы», а утром все успокаивается, и мы ложимся спать.

Начинаем обживатьсь в своей щели. Проводим электричество, готовим еду на плитке, стены завешиваем великолепным ватманом из заводского техотдела. У Валеги и Седых, в их углу, даже портрет Сталина и две открытки: Одесский оперный театр и репродукция репинских «Запорожцев».

Седых приволакивает откуда-то учебник географии Крубера, письма Чехова, «Ниву» за двенадцатый год.

По вечерам, усиленно сжывая палец, читает. Морщит лоб, шевелит губами. Иногда спрашивает, что значит «тезоименитство» или «генерал от инфантерии», или откуда у цесаревича Алексея столько орденов, если ему только семь лет. Мне нравится Седых, нравится его курносая детская физиономия, его чуть раскосые, смеющиеся глаза, брызжущая из него молодость. Даже смешная привычка ковырять ладонь, когда он смущен, тоже нравится.

Он как-то все делает с удовольствием и с аппетитом. Моется так, что, глядя на него, самому хочется мыться, отчаянно фыркающая, брызгаясь на версту и шумно шлепая себя по плечам и животу. Скажешь ему — принеси немного дров, он притащит чуть ли не кубометр. Молодые мышцы его рвутся в бой. Гайки он откручивает просто пальцами. С Игорем он затевает борьбу, и Игорь после этого два дня не может повернуть шеи. А Игорь считает себя мастером французской борьбы и до тонкости знает всякие там тур-де-бра и тур-де-теты.

Любознателен Седых до смешного. Подсядет, обхватит руками колени и слушает, слегка приоткрыв рот, как дети сказку. Вопросы его неожиданны и по-детски наивны. Почему немцы не могут разгадать секрет «катюши», и почему компасная стрелка на север показывает, и правда ли, что у Рузвельта ноги не работают.

Вечером однажды идет разговор о героях и наградах. Седых слушает внимательно, сосредоточенно, обхватив руками колени — его любимая поза.

— А что нужно сделать, чтоб орден Ленина получить? — спрашивает он.

Все смеются.

— Ну, не Ленина, другой какой-нибудь, поменьше.

Я объясняю, говорю, что не так это просто. Он слушает молча, смотря куда-то в угол. На губе прилипший окурочок.

— Тогда всё, — тихо говорит он.

— Что «всё»?

— Будет у меня орден.

И говорит об этом страшно просто и убедительно, как о чем-то уже совершившемся. Встает и идет за щепками. Я смотрю на его широкую спину, так не вяжущуюся с золотистым пушком на щеках, вспоминаю, как он тер тряпочкой автомат перед атакой, каждый винтик, каждую щелочку, и я верю тому, что он сказал.

Валега ревнует меня к нему. Это видно по всему.

— У старшего лейтенанта Свицерского нет ординарца — иди к нему, — угрюмо говорит Валега и забирает у него из рук кружку, из которой он мне поливает.

Седых приносит откуда-то охапку соломы. Валега щупает, морщится: «Лейтенант не будут на такой дряни спать», — и приносит другую, ничем не отличающуюся от предыдущей охапку.

Но, в общем, живут дружно, варят вместе обед. Валега немного покрикивает, критикует недоваренную кашу. Седых весело смеется, передразнивает Валегу и называет его почему-то «шнапсом».

По вечерам Валега и Седых вяжут заряды. У нас в резерве ящиков пять тола. Утром глушат рыбу и приходят с трепещущими в ведрах осетрами и стерлядями.

Сержанта Ведерникова переводят куда-то в другой цех, и мы его больше не видим. Шапиро и Пенгауниса тоже редко встречаем. Иногда заходит к нам Большов, и мы, подложив толстую «Ниву», режемся в «козла» или «двадцать одно». Георгий Акимович не выносит этого, хватает письма Чехова и демонстративно уходит в свой угол. Он спит на двери, положенной между двумя нарами.

Мне он начинает нравиться, несмотря на свой сварливый характер и вечное недовольство чем-нибудь. Работает он не

покладая рук и не жалея себя. Цепь проверяет и поправляет всегда сам, а рвется она у нас по три-четыре раза на день. Ворчит, ругается, кипитится, обвиняет всех в безделье, но ТЭЦ свою и каждую машину, каждый винтик в ней обожает как живое существо. Вообще в нем мирно уживаются пессимизм и брюзжание с невероятной энергией и активностью.

— Куда нам с немцами воевать, — говорит он, нервно подергивая галстук и собирая лоб в морщины. — Немцы от самого Берлина до Сталинграда на автомашинах доехали, а мы вот в пиджаках и спецовках в окопах лежим с трехлинейкой образца девяносто первого года.

Игорь вспыхивает. Он вечно цепляется с Георгием Акимовичем.

— Что вы хотите этим сказать?

— Что воевать не умеем.

— А что такое уметь, Георгий Акимович?

— Уметь? От Берлина до Волги дойти — вот что значит уметь.

— Отойти от границы до Волги тоже надо уметь.

Георгий Акимович смеется мелким сухим смешком. Игорь начинает злиться.

— Чего вы смеетесь? Смешного ничего нет. Франция фактически за две недели распалась. Нажали — и развалилась, рассыпалась, как песок. А мы второй год воюем одни как перст.

— Что вы с Францией сравниваете. Сорок миллионов и двести миллионов. Шестьсот километров и десять тысяч километров. И кто там у власти стоял? Петены, лавали, спокойненько работающие теперь с немцами. Нет. Воевать мы не умеем. Это факт.

— Вот-вот-вот... — горячится Игорь. — Петены и лавали. Именно петены и лавали. А у нас их нет. Это главное. Вы понимаете, что это главное? Что люди у нас немножечко другого сорта. И поэтому-то мы и воюем. До сих пор воюем. Даже здесь, на Волге, потеряв Украину и Белоруссию, воюем. А какая страна, скажите мне, какая страна, какой народ выдержал бы это?

Георгий Акимович улыбается уголком рта.

— Никакой.

— Ага! Никакой? Вы сами признаете, что никакой.

— Признаю. Но разве от этого легче? Разве от сознания того, что другие страны менее, чем мы, способны к сопротивлению, — разве от этого легче? Это называется убаюкивать себя. А нам это не нужно. Надо на все трезво смотреть. Одним геройством ничего не сделаешь. Геройство геройством, а танки танками.

— Наши танки не хуже немецких. Они лучше немецких. Один танкист мне говорил...

— Не спорю, не спорю. Возможно, что и лучше, я в этом не разбираюсь. Но одним хорошим танком не уничтожить десять посредственных. Как, по-вашему?

- Подождите... Будет и у нас много танков.
 - Когда? Когда мы с вами на Урале уже будем?
- Игорь вскакивает как ужаленный.

— Кто будет на Урале? Я, вы, он? Да? Черта с два! И вы это сами прекрасно знаете. Вы это все так, из какого-то упрямства, какого-то дурацкого желания спорить, обязательно спорить.

Георгий Акимович дергает носом, бровями, щеками.

— Чего вы злитесь? Сядьте. Ну, сядьте на минуточку. Можно ж обо всем спокойно. — Игорь подсаживается. — Вот вы говорите, что и отступать надо уметь. Верно. Перед Наполеоном мы тоже отступали до самой Москвы. Но тогда мы теряли только территорию, да и то это была узкая полоска. И Наполеон, кроме снегов и сожженных сел, ничего не приобрел. А сейчас? Украины и Кубани нет — нет хлеба. Донбасса нет — нет угля. Баку отрезан, Днепрострой разрушен, тысячи заводов в руках немцев. Какие перспективы? Экономика сейчас — это все. Армия должна быть обута, одета, накормлена, снабжена боеприпасами. Я не говорю уже о мирном населении. Не говорю о том, что добрых пятидесяти миллионов, находящихся под сапогом у фашистов, мы недосчитываемся. В силах ли мы все это преодолеть? По-вашему, в силах?

— В силах... В прошлом году еще хуже было. Немцы до Москвы дошли, и все-таки отогнали...

— А я вот не уверен, что хуже. Донбасс, Ростов, Кубань, Майкоп были наши. Сейчас их нет. Волжская коммуникация фактически перерезана. Вы представляете себе, какой путь должна теперь делать бакинская нефть? Вы скажете — Кузбасс, Урал весь. Верно. Это мощные промышленные узлы. Но до начала войны, кроме них, были еще Кривой Рог, Никополь, Запорожье, Мариуполь, Керчь, Харьков. И все-таки не сдержали. Часть заводов мы эвакуировали, но эвакуировать еще не значит пустить в ход. А тем временем видите, что делается...

Над нами как раз проходит отбомбившаяся партия «Ю-88». Медленно заворачивает и идет на другой заход.

— Они даже без истребителей ходят... Безнаказанно, сволочи, как у себя дома...

Некоторое время мы молчим и следим за плывущими в небе черными, противными, такими спокойными и уверенными в своей силе желтокрылыми самолетами. Георгий Акимович курит одну папиросу за другой. Вокруг него уже с десяток окурков. Смотрит в одну точку, туда, где скрылись самолеты.

Игорь сидит и бросает камешки в лежащую неподалеку банку из-под консервов. Камни ложатся совсем рядом, но никак не могут угодить в банку. Кажется, будто он с головой ушел в это занятие.

И вдруг встает.

— Нет, не может этого быть. Не пойдут они дальше. Я знаю, что не пойдут.

И уходит.

* * *

Не может быть... Это все, что пока мы можем сказать.

Не может быть...

Был же когда-то семнадцатый год. И восемнадцатый и девятнадцатый. Ведь хуже было. Тиф, разруха, голод. «Максим» и трехдюймовка — это все. И выкрутились все-таки. И Днепрогэс потом построили. И Магнитогорск, и вот этот самый завод, который я должен теперь взрывать.

Георгий Акимович на это только улыбнется, я знаю. Снисходительно улыбнется. Когда он говорит об этом, он всегда говорит так, как будто мы маленькие дети. Улыбнется и скажет что-нибудь о том, что это был четвертый год войны, вымотавший не только нас, но и всех, что французские, английские и немецкие солдаты не хотели уже воевать. И еще что-нибудь в этом роде.

Он как-то сказал:

— Мы будем воевать до последнего солдата. Русские всегда так воюют. Но шансов у нас все-таки мало. Нас может спасти только чудо. Иначе нас задавят. Задавят организованностью и танками.

Чудо?..

Недавно ночью шли мимо солдаты. Я дежурил у телефона и вышел покурить. Они шли и пели, тихо, вполголоса. Я даже не видел их, я только слышал их шаги по асфальту и тихую, немного даже грустную песню про Днипро и журавлей. Я подошел. Бойцы расположились на отдых вдоль дороги, на примятой траве, под акациями. Мигали огоньками сигарок. И чей-то молодой, негромкий голос доносился откуда-то из-под деревьев.

— Нет, Вась... Ты уж не говори... Лучше нашей нигде не сыщешь. Ей-богу... Как масло земля — жирная, настоящая. — Он даже причмокнул как-то по-особенному. — А хлеб взойдет — с головой закроет...

А город пылал, и красные отсветы прыгали по стенам цехов, и где-то совсем недалеко трещали автоматы то чаще, то реже, и взлетали ракеты, и впереди неизвестность и почти неминуемая смерть.

Я так и не увидел того, кто это сказал. Кто-то крикнул: «Приготовиться к движению!» Все зашевелились, загревели котелками. И пошли. Пошли медленным, тяжелым солдатским шагом.

Пошли к тому неизвестному месту, которое на карте их командира отмечено, должно быть, красным крестиком.

Я долго стоял еще и прислушивался к удалявшимся и затихшим потом совсем шагам солдат.

Есть детали, которые запоминаются на всю жизнь. И не только запоминаются. Маленькие, как будто незначительные, они въедаются, впитываются как-то в тебя, начинают прорастать, вырастают во что-то большое, значительное, вбирают в себя всю сущность происходящего, становятся как бы символом.

Я помню одного убитого бойца. Он лежал на спине, раскинув руки, и к губе его прилип окурок. Маленький, еще дымившийся окурок. И это было страшней всего, что я видел до и после на войне. Страшнее разрушенных городов, распоротых животов, оторванных рук и ног. Раскинутые руки и окурок на губе. Минуту назад была еще жизнь, мысли, желания. Сейчас — смерть.

А вот в песне той, в тех простых словах о земле, жирной, как масло, о хлебах, с головой закрывающих тебя, было что-то... Я даже не знаю, как это назвать. Толстой называл это скрытой теплотой патриотизма. Возможно, это самое правильное определение. Возможно, это и есть то чудо, которого так ждет Георгий Акимович, чудо более сильное, чем немецкая организованность и танки с черными крестами.

Я смотрю сейчас на Георгия Акимовича. Маленький, желчный, в лоснящемся пиджаке, он, скрючившись, сидит на ступеньках, поджав колени, худые и острые. У него тонкие, бледные руки с голубыми жилками и такие же жилки на висках. У него дома, вероятно, страшный беспорядок, дети его раздражают, и с женой он ругается. Он и до войны, вероятно, многое находил плохим, и все его раздражало.

А вот вчера на моих глазах около него разорвался снаряд. Шагах в двадцати, не больше, разорвался. Он только слегка наклонился и продолжал искать порыв. Обмотал поврежденное место и потом еще проверил весь провод на участке, вокруг места разрыва.

— Вы понимаете, — говорил он мне потом, — с этим заводом связана вся моя жизнь. Я пришел сюда практикантом, когда по этим местам ходили еще люди с теодолитом. На моих глазах выросла ТЭЦ и все эти цехи. Я пять ночей не спал, когда устанавливали генератор номер шесть, вы его знаете, второй от окна. Я их знаю как облупленных. Характер, привычки каждого. Вы понимаете, что значит для меня взрыв? Нет, вы не понимаете. Вы военные, — вам просто жалко завод — и всё. А для меня...

Он не договорил и ушел к своему мостику.

Полтора месяца тому назад мы сидели с Игорем на корявой колоде у дороги, смотрели, как отступали наши войска. Фронта не было. Были дороги, по которым ехали куда-то машины. И люди шли. Тоже куда-то...

Это было полтора месяца тому назад — в июле.

Сейчас сентябрь. Мы уже десятый день на этом заводе. Десятый день немцы бомбят город. Бомбят — значит, там еще наши. Значит, идут бои. Значит, есть фронт. Значит, лучше сейчас, чем в июле.

Около ТЭЦ разрывается снаряд. Начинается обеденный обстрел. С трех до половины четвертого, с точностью хронометра. Через полчаса надо идти чинить сеть. Валега и Седых с котелками бегут за обедом.

17

Дня через два, рано утром, является в нашу щель Гольдштаб. С ним не менее десятка командиров.

Мы сидим на ступеньках щели и мастерим целлулоидовые портсигары. В заводской лаборатории тонны разнообразнейшего целлулоида и красиво переливающаяся в больших, аптекарского вида, бутылках грушевая эссенция. Вот мы и занимаемся портсигарами. Пилим, режем, скребем, клеим, отрываясь только на восстановление сети и на обед.

— Ну что ж, будем прощаться, — говорит Гольдштаб, вертя в руках миниатюрный игоревский портсигар с выдвигающейся крышкой. — Пришла ваша смена. Саперы двести семнадцатого АИБ¹.

— А нам куда?

— На ту сторону. В штаб фронта — инженерный отдел.

Ну что ж, тем лучше. Мы сдаем свои объекты и через полчаса уже шагаем по зыбким доскам штурмового мостика, перекинутого через рукав Волги на остров.

С Георгием Акимовичем мы почему-то даже целуемся прощаясь. Он цепко трясет мою руку и говорит, моргая глазами и собирая в морщины кожу лба:

— Часто буду вспоминать я наши беседы на этих ступеньках. Надеюсь, все, что я пытался вам доказать, никогда не сбудется. Мы после войны встретимся, и вы мне скажете: «Ну, кто был прав?» И я скажу: «Вы».

¹ АИБ — армейский инженерный батальон. (Прим. автора.)

Он провожает нас до тропинки, сбегающей по рыжим обрывам до самой Волги, и долго еще машет нам своей кепкой с пуговкой.

Еще один человек прошел через жизнь, оставил свой небольшой, запоминающийся след и скрылся, по-видимому навсегда.

Потом мы сидим на левом берегу на опрокинутой разошедшейся лодке и смотрим на дымящиеся трубы Тракторного. Он ни на минуту не прекращал работы. И Шапиро рассказывает нам, что в июле завод выпускал по тридцать танков в сутки, а в августе даже до пятидесяти, сейчас же занимается исключительно ремонтом поврежденных машин, и что часть оборудования уже вывезена на Урал, а другую собираются вывезти, если только удастся отогнать немцев откуда-то, где есть не то мост, не то причалы какие-то.

Ночуем мы в небольшой избушке прямо в лесу. Весь следующий день проводим в поисках дома лесника — ориентир, по которому можно найти инженерный отдел фронта.

Штабов и тылов так много, в каждой рощице и лесочке, что найти нужный нам отдел совсем не просто. Везде часовые, колючая проволока, таблички: «Прохода нет».

К вечеру все-таки находим. Отдел, но не домик. Домика давно уже не существует. Только на карте — черный прямоугольник с косой веточкой сбоку. Отдел состоит из четырех землянок. В одной из них, — она так замаскирована, что мы минут десять топчемся вокруг нее, — сидит майор в страшно толстых очках без оправы и целлулоидовом воротничке. Он пробегает глазами содержание пакета и сразу оживает.

— Замечательно! Просто замечательно! А я уже не знал, что делать. Садитесь, друзья... Или нет, лучше выйдем. Тут и одному-то негде развернуться.

Оказывается, только что перед нами — «вы не встретились?» — был капитан из инженерного отдела 62-й армии. У них нехватка полковых инженеров. Сегодня ночью должна переправляться 184-я дивизия, а утром, во время бомбежки, вышли из строя инженер и командир взвода. И в действующих дивизиях сейчас недобор — сержанты вместо полковых инженеров. В резерве — ни души. Сколько уже с этим Тракторным возятся, два раза запрос делали.

— Короче говоря... вы, вероятно, голодны? Сходите в нашу столовую, прямо по этой тропиночке, поужинайте и возвращайтесь сюда. А я заготовлю документы. Вы успеете поймать еще дивизию на этой стороне.

Поев рисовой каши с повидлом, заходим к майору. Он мелким женским почерком, с изящно завивающимися хвостиками у «д», надписывает конверты.

— Кто из вас Керженцев?

— Я.

— Вам отдельно. В сто восемьдесят четвертую. Советую поймавать ее здесь. Часов с восьми они будут двигаться на переправу из Бурковского. А то завтра всю передовую исползаете и не найдете. — Он протягивает мне конверт, склеенный из топографической карты.

— Постарайтесь увидеть дивизионного инженера, а потом уже в полк. Впрочем, вам виднее.

Остальные получают общее направление в штаб инженерных войск 62-й армии.

— Он на той стороне. Вчера был в Банном овраге. Сейчас куда-то, кажется, перебрался. Но где-то в том же районе. Поищите.

— А в сто восемьдесят четвертую больше не нужно саперов? — спрашивает Игорь. — Вы говорили, что там командир взвода вышел из строя.

Майор смотрит на Игоря сквозь толстые стекла очков, и глаза его от этого кажутся большими и круглыми, как у птицы.

— Вы старший лейтенант. Мы вас инженером посылаем. С инженерами у нас сейчас хуже всего, — и, почесав карандашом переносицу, добавляет: — Вам всем, между прочим, кроме товарища, который в сто восемьдесят четвертую направляется, имеет смысл подождать здесь. Ночью из шестьдесят второй представитель приедет за лопатами, вы с ним и поедете. Расположитесь пока где-нибудь здесь, под осинками.

Мы уходим под осинки.

— Ты пешком пойдешь? — спрашивает Игорь.

— Дойду до регулировщика, а там посмотрю.

— Я тебя провожу.

Я прощаюсь с Шапиро, Пенгаунисом и Самойленко. Седых долго мнет своей шершавой ладонью мою руку.

— Мы еще встретимся, товарищ лейтенант.

— Обязательно, — нарочито бодро, как всегда при прощаниях, отвечаю я. Я бы с удовольствием взял его в свой взвод.

Через несколько минут он догоняет нас.

— Возьмите мой портсигар, товарищ лейтенант. Вы свой так и не успели кончить. А у меня хороший — двойной.

Он сует мне в руку прозрачный желтый портсигар, таких размеров, что я даже не уверен, влезет ли он в карман, — в него добрых полфунта табаку войдет. Опять жмет руку. Потом Валеге, потом опять мне.

Мы молча доходим до регулировщика.

— Сто восемьдесят четвертая еще не проходила. Какой-то саперный батальон недавно шел, а так всё машины, — говорит регулировщик, немолодой уже, с рыжими жидкими усами и большими торчащими запыленными ушами.

Мы садимся в кузов разбитой машины и закуриваем. Солнце зашло, но еще светло. На западе, над Сталинградом, небо совсем красное, и трудно сказать, отчего это — от заходящего солнца или от пожара. Три черных дымовых столба медленно расплываются в воздухе. Внизу они тонкие, густые и черные, как сажа. Чем выше, они все больше расплываются, а совсем высоко сливаются в сплошную, длинную тучу. Она плоская и неподвижная, и хотя в нее поступают все новые и новые порции дыма, она не удлиняется и не утолщается. Вот уже более двух недель стоит она такая — спокойная и неподвижная — над горящим городом.

А кругом золотые осинки на черном фоне, тонкие, нежные. По дороге проезжают машины. Останавливаются, спрашивают, как проехать на 62-ю переправу или хутор Рыбачий, и едут дальше. Дорога широкая, разъезженная, вся в ромбиках и треугольниках от шин. Трудно понять, где ее края и куда она заворачивает. Ощетинившийся указательный столб когда-то, должно быть, стоял на обочине. Сейчас он на самом фарватере, и кто-то на него уже наехал. Он накренился, и табличка с надписью «Сталинград — 6 км» указывает прямо в небо.

— Дорога в рай, — мрачно говорит Валега. Оказывается, он тоже не лишен юмора. Я этого не знал.

Подходит регулировщик.

— Во-он журавли полетели, — и тычет грязным корявым пальцем в небо. — Никакой войны для них нет. Табачком не богаты, товарищи командиры?

Мы даем ему закурить и долго следим за бисерным, точно вышитым в небе треугольником, плывущим на юг. Слышно даже, как курлычут журавли.

— Совсем как «юнкерсы», — говорит регулировщик и сплевывает, — даже смотреть противно.

Эта ассоциация промелькнула, по-видимому, у всех нас, и мы смеемся.

— Что, туда или оттуда? — спрашивает регулировщик, придерживая мою руку, чтобы прикурить.

— Туда.

Он качает головой и делает несколько затяжек.

— Да.... Невесело там, что и говорить... — и отходит.

Проходят раненые. Поодиночке, по двое. Серые, запыленные, с утомленными лицами. Один подсаживается, спрашивает — нет ли напитка. Валега дает ему молока из фляжки. Он пьет долго и медленно, обливаясь молоком. Он ранен в грудь, и сквозь рваную гимнастерку сереют грязные, замазанные кровью бинты на костлявой, покрытой черными волосами груди.

— Ну а как там, не передовой?

— Паршиво, — равнодушно отвечает он, с трудом вытирая

запекшиеся губы грязной, запачканной кровью рукой. В глазах его, серых, как и весь он, кроме страшной, смертельной усталости, ничего нет.

— Здорово жмет?

— Куда там, головы не подымеешь.

Он хочет встать, но закашливается, и на губах у него появляется розовая пена. Опять садится, тяжело дышит. В горле или груди у него что-то хлюпает.

— Народу мало... Вот что погано...

— А в городе кто? Они или мы?

— А кто его знает, где там город... Горит все... Бомбит с утра вот до сих пор... Дай-ка еще глотнуть, сынок.

Он вяло, будто нехотя, прижимается губами к горлышку фляжки, и из углов рта его тоненькой струйкой бежит розовое от крови молоко. Потом он встает и уходит, с трудом волоча ноги, опираясь на сучковатую кривую палку.

К регулировщику подъезжают трое верховых. Я посылаю Валегу узнать — не из нужной ли они нам дивизии. Он идет к ним и что-то спрашивает, держась рукой за повод. Возвращается.

— Говорят, сто восемьдесят четвертая напрямик к переправе пошла. Они не из нее, но видали бойцов.

Всадники скачут дальше, поднимая облако пыли.

— Ну что ж, я пойду, — говорит Игорь.

— Ну что ж, иди, — отвечаю я и протягиваю руку.

Кажется, надо еще что-то сказать, но у нас не получается.

— Я не прощаюсь, — говорит Игорь.

— Я тоже.

Мы трясем друг другу руки.

— Будь здоров, Валега. Смотри за лейтенантом хорошенько.

— Обязательно... Как же.

— Ну, я пошел.

— Всего, Игорек.

— Да... У меня твой нож перочинный, кажется, остался.

— Разве?

— Вчера я у тебя брал, когда хлеб резали, — он шарит по карманам. — Вот он, за подкладку завалился.

Игорь протягивает нож — Валегин трофей, золингеневский роскошный нож с двумя лезвиями, штопором, шилом, отверткой и еще целой кучей непонятных инструментов.

— Ну, теперь все. Будь здоров.

— Будь здоров.

И он уходит своей обычной, непринужденно ленивой походкой, сдвинув пилотку на затылок и засунув руки в карманы.

Неужели я и с ним уже никогда не увижусь?

На переправе, как и всегда, трудно что-либо понять. Лошади, повозки, пушки с передками, пятящиеся в темноте машины. И люди. Людей больше всего — ругающихся, сталкивающихся, отнимающих друг у друга что-то. Кто-то на кого-то наехал. Забыли какие-то ящики. Ищут какого-то Стеценко. Ждут катера. Ругают его. Уже давно должен быть и все нет.

Грузятся сразу две дивизии — 184-я и еще какая-то, 29-я, кажется.

И во всей этой суматохе надо найти какого-то дивинженера, или командира дивизии, или начальника штаба, вручить пакет и ждать дальнейших распоряжений. А распоряжений, вероятно, никаких и не будет. У всех и так голова кругом идет: и пушки все надо погрузить, и боеприпасы, и лошадей, и людей не растерять, и вообще какого черта вы сейчас лезете, когда видите, что делается.

Я нахожу инженера, но не того, командира полка, но тоже не того.

Кто-то дергает меня за рукав.

— Слушай, друг, фонарика нет?

— Есть.

— Посвети, дорогой. А то с ног сбился. Карту дали, а что в этой темноте увидишь...

Я различаю только массивную фигуру в телогрейке с болтающимся на груди автоматом.

— Давай под лодку залезем. Две минуты только... Ей-богу.

Под лодкой тесно и пахнет гнилым деревом. Я зажигаю фонарик. Горит он тускло — батарея кончается. У человека оказывается крупное, тяжелое лицо с широко расставленными глазами и мясистыми губами. На воротничке шпала. С трудом вытягивает из лопающейся от бумаг перетянутой резинкой планшетки карту.

— Вот иди разбери, — тычет он грязным ногтем в красный неровный треугольник на карте. — Карта называется! Белый квадрат вместо завода. Что тут поймешь! — и он длинно и заковыристо ругается. — Должны дивизию менять. Говорили, на переправе представитель будет. Ни души. Теперь ищи этот треугольник в городе. КП ихнее — дивизионное. Ни ориентира тебе, ничего.

Я спрашиваю, из какой он дивизии. Оказывается, комбат 1147-го полка 184-й дивизии.

— Не у вас сегодня инженера убило?

— У нас. Цыгейкина. А что?

— Я на его место прислан.

— Ну!.. — крупнолицый капитан даже удивился. — Вот и хорошо. Поедешь с нами. Я один как перст остался. Комиссар в медсанбате, а начальник штаба ночью ничего не видит.

Мы вылезаем из-под лодки.

— Подожди минутку. Лошадей только проверю. А то знаешь этих старшин.

Он исчезает, точно растворяется в толпе и крике. Я ищу Валегу. Он примостился уже около каких-то ящиков и мирно спит, поджав ноги, чтоб не оттоптали. Поразительная у него способность спать в любой обстановке. Сажусь рядом. С реки тянет легкой, успокаивающей прохладой. Пахнет рыбой и нефтью. Топчутся рядом кони, позвякивая сбруей. Где-то, совсем уже далеко, все еще ищут Стеценко.

Город горит. Даже не город, а весь берег на всем охватываемом глазом расстоянии. Трудно даже сказать — пожар ли это. Это что-то большее. Так, вероятно, горит тайга — неделями, месяцами на десятки, сотни километров. Багровое клубящееся небо. Черный, точно выпиленный лобзиком силуэт горящего города. Черное и красное. Другого нет. Черный город и красное небо. И Волга красная. «Точно кровь», — мелькает в голове.

Пламени почти не видно. Только в одном месте, ниже по течению, короткие прыгающие языки. И против нас измятые, точно бумажные цилиндры нефтебаков, опавшие, раздавленные газом. И из них пламя — могучие протуберанцы отрываются и теряются в тяжелых, медленно клубящихся фантастических облаках свинцово-красного дыма.

В детстве я любил рассматривать старый английский журнал периода войны четырнадцатого года. У него не было ни начала, ни конца, зато были изумительные картинки — большие, на целую страницу: английские томми в окопах, атаки, морские сражения с пенящимися волнами и таранящими друг друга миноносцами, смешные, похожие на этажерки, парящие в воздухе «блерио», «фарманы» и «таубе». Трудно было оторваться.

Но страшнее всего было громадное, на двух средних страницах, до дрожи мрачное изображение горящего от немецких бомбардировок Лувена. Тут было и пламя, и клубы дыма, похожие на вату, и бегущие люди, и разрушенные дома, и прожекторы в зловещем небе. Одним словом, это было до того страшно и пленительно, что перевернуть страницу не было никаких сил. Я бесконечное количество раз перерисовывал эту картинку, раскрашивал цветными карандашами, красками, маленькими мелками и развешивал потом эти картинки по стенам.

Мне казалось, что ничего более страшного и величественного быть не может.

Сейчас мне вспоминается эта картинка. Она неплохо была исполнена. Я до сих пор помню в ней каждую деталь, каждый завиток клубящегося дыма, и мне вдруг становится совершенно ясно, как бессильно, беспомощно искусство. Никакими клубами дыма, никакими лижущими небо языками пламени и зловещи-

ми отсветами не передашь того ощущения, которое испытываю я сейчас, сидя на берегу перед горящим Сталинградом.

На том берегу идет бой. Трансирующие очереди пулеметов и автоматов стелются по самому берегу. Неужели немец уже до воды добрался? Несколько длинных очередей перелетает через Волгу и теряется на этой стороне.

Откуда-то из-за спины стреляет «катюша». Мы видели машины — восемь штук, — когда шли сюда. Раскаленные снаряды, не торопясь, плывут, обгоняя друг друга в дрожащем от зарева небе, и ударяют куда-то на противоположном берегу. Разрывов не видно. Видны только вспышки. Потом доносится и треск.

Кто-то рядом со мной плюет и удовлетворенно побряхтывает. Только сейчас замечаю, что рядом с нами, растянувшись, лежат бойцы.

— Ты мерина успел подковать? — спрашивает кто-то.

— Успел. А ты?

— Лютика успел, а вороному только две передние. У него какая-то рана. Никак не дается.

Приходит комбат. Тяжело дышит.

— Ей-богу, с ума сойдешь от этих переправ. Лет на пять постареешь. — Он громко сморкается. — Был генерал. Ясно сказал: сейчас мы, а потом двадцать девятая. Только на минуту отошел от причала, а они свои ящики уже навалили. Артиллерию, видишь ли, переправили, а боеприпасы на этой стороне оставили. А кто им мешал? Я вот с каждой пушкой снаряды везу. Господи, опять этот черт.

Комбат снова скрывается. Слышно, как кого-то ругает. Возвращается.

— Ну ладно, все это чепуха. На ту сторону как-нибудь переберемся. Важно, как там...

Выясняется, что полк получил приказ к двум ноль-ноль закончить переправу, а к четырем ноль-ноль сменить почти не существующую уже на том берегу дивизию в районе «Метиз» — Мамаев курган. Сейчас уже час, а ни один батальон еще не переправился. На той стороне только саперы, разведчики и опергруппа штаба. Командир полка и начальник штаба, кажется, тоже там. Главное, надо всю артиллерию — сорока пяти и семидесяти шести, приданную батальону, к рассвету перетащить на передовую, на прямую наводку.

— Хорошо, — говорю я, — дашь мне две роты и пэтээровцев, а сам, с одной ротой, занимайся артиллерией. У тебя по сколько человек в роте?

— Человек по сто.

— Роскошно. Договорились, значит. Мне только точно место назначения дай.

— Да вот этот треугольник проклятый на карте. Откровенно говоря, я думаю, что там никого уже нет. В той дивизии человек сто, не больше. Две недели на том берегу уже дерутся.

И он опять убегает с кем-то ругаться. Голос у него такой, что, вероятно, на той стороне слышно.

Приходит катер. Он маленький, низенький, будто нарочно спрятавшийся в воду, чтобы его не было видно. На буксире разлапистая, неуклюжая баржа с длинным торчащим рулем.

Катер долго не может пристать, пятится, фырчит, брызгается винтом. Наконец сбрасывает сходни. Длинной, осторожной цепочкой спускаются раненые. Их много. Очень много. Сперва ходячие, потом на носилках. Их уносят куда-то в кусты. Слышны гудки машин.

Потом грузят ящики. Закатывают пушки. Топчутся лошади по сходням. Одна проваливается, ее вытаскивают из воды и опять ведут. Против ожидания все идет спокойно и организовано. Даже комбата моего не слышно.

Мы отчаливаем, когда уже начинает светать, и сплошная масса, как казалось раньше чего-то неопределенного, за нашей спиной превращается в легкое кружево осинника. Мы стоим, вплотную прижавшись друг к другу. Кто-то дышит мне прямо в лицо чесноком. Глухо стучит где-то под ногами машина. Кто-то грызет семечки, шумно сплевывая. Валега, облокотившись на шинель, перекинутую через борт, смотрит на горящий город.

— Большой он все-таки, — говорит кто-то за моей спиной, — как Москва.

— Не большой, а длинный, — поправляет чей-то мальчишеский голос, — пятьдесят километров в длину. Я был до войны.

— Пятьдесят?

— Тютелька в тютельку, от Сарепты до Тракторного.

— Ого!

— Что «ого»?

— Войск много надо, чтоб удержать. Дивизий десять. А то и пятнадцать.

— А ты думаешь, тут меньше? Каждую ночь перебрасывают.

Катер огибает острую, почти незаметную в темноте косу. Где-то над нами пролетают со свистом мины. Ударяются позади в воду.

— Не нравится фрицу, что едем, в Волгу спихнуть хочет.

Мальчишеский голос смеется:

— А чего же ему хотеть? Конечно, спихнуть. Рус буль-буль, — и опять смеется.

— Фрицу многое чего хочется, — вступает кто-то третий, по-видимому пожилой, судя по голосу, — а нам никак уже дальше нельзя... До точки уже допятились. До самого края земли. Куда уж дальше...

Слышно, как кто-то кого-то хлопает по шинели.

— Правильно, папаша. Вот это по-нашему, по-моряцки. Сами уж никак купаться не полезем. Больно вода холодная... Правда?

И все смеются.

Я стараюсь повернуть голову. Это очень трудно, — я сжат со всех сторон. Скошенным глазом вижу только белесые пятна лиц и чье-то ухо. Мы подъезжаем к берегу.

19

Катер опять никак не может подойти вплотную к причалу. Соскакиваем прямо в воду, мутную и холодную.

На берегу тащат какие-то ящики. Ими завален весь берег. Под ногами путаются цепи, тросы. На ящиках и просто на земле раненые — молчаливые и угрюмые, прижавшиеся друг к другу.

Берег у реки плоский, песчаный. Дальше — высокий, почти вертикальный обрыв. И над всем красное, заваленное дымом небо. Стреляют совсем рядом, как будто за спиной. Становится прохладно, и я надеваю шинель.

Комбат — оказывается, его фамилия Клишенцов — кричит на кого-то, не так повернувшего пушку:

— Ну, чего ты ее лафетом вперед тычешь. Мозги, что ли, не варят, телячья голова...

Бойцы шлепают по воде с пулеметами, минометами, болтающимися на спине и груди минами. Собираются кучками на берегу. Конечно, закуривают. Клишенцов подбегает ко мне. Он совсем уже охрип.

— Бери четвертую и пятую и двигай! А я пушки сгружу. И сразу за вами... Связного только пришлешь, чтоб зря не шататься. Сидорко такой у меня есть. Все найдет. Спросишь у Фарбера, командира пятой роты. — И, притянув к себе за борт шинели, шепчет в ухо: — Говорят, от той дивизии ничего не осталось. Постарайся наших разведчиков найти. Они где-то там... В бой без меня не впутывайся, — сует мне в руку фляжку. — На, подкрепишься на дорогу.

Водка приятно обжигает горло и горячей струйкой пробегает внутри.

Командиры собирают людей. Один долговязый, сутулый, в короткой, по колено, шинели, в очках. Его фамилия Фарбер. Повидимому, из интеллигентов — «видите ли», «собственно говоря», «я склонен думать». Другой, Петров, тоненький, щупленький, совсем мальчик. Меня это не очень радует.

Идем вдоль берега, в сторону города. Ноги вязнут в песке. Иногда приседаем, когда свистят мины. Бойцы идут молча, с трудом передвигая ноги, тяжело дыша, придерживая руками болтающиеся мины. Они сегодня прошли около сорока километров.

Навстречу — вереницы раненых, по двое, по трое или в одиночку, опираясь на винтовки. Спрашивают, где переправа.

Пули свистят над самой головой. Шлепают в воду. Транссирующие высоко подпрыгивают и гаснут в воздухе.

— Где немцы? — спрашивают бойцы у встречных. Те неопределенно машут в ту сторону, куда мы идем.

— Недалеко... Ближе, чем до дому...

Проходим мимо белой постройки, должно быть водокачки; от нее тянутся трубы. Потом дорога подымается вверх. По ней на руках тащат вниз пушку.

— Куда? — спрашиваю.

Никто не отвечает.

— Куда пушку тащите?

— А ты кто такой? Не видишь, что делается? Немцам, что ли, оставлять.

Я вынимаю пистолет.

— Поворачивай назад...

— Куда?

Кто-то в расстегнутой шинели, в съехавшей на затылок пилотке толкает меня в грудь.

— Видали мы таких... Герой!.. Не обращай внимания, Кацура! Тащи!

Я чувствую, что мне вдруг не хватает воздуха и что-то сжимает горло.

Пули ударяют уже по самому берегу.

Наверху дороги, — отсюда виден только задранный шлагбаум, поваленный столб и мотки сваленной проволоки, — появляется несколько фигур. Приткнувшись к столбу, они стреляют, потом бегут вниз.

Кто-то задевает меня плечом и чертыхается.

Я поворачиваюсь и ударяю с размаху в белое прыгающее передо мною лицо.

— Назад!.. — кричу я во все горло так, что у меня в ушах звенит, и бегу вверх по дороге.

Немцы оказываются сразу же за железной дорогой. Пути идут почти по самому краю высокого берега. Застывшие вереницы цистерн на фоне чего-то горящего. Строчит наш пулемет откуда-то справа, из-под колес.

Я пролезаю под вагоном. Шинель цепляется за что-то и третит. Ужасно мешает, путается между ног. Прижавшись лицом к рельсу — он приятный и холодный, — стараюсь рассмотреть, где немцы. Перпендикулярно к путям — улица. Мощёная, страшно прямая. Налево нефтебаки. Из одного валит дым. В стене три большие дыры от снарядов с рваными краями. Точно раны. Направо обгоревшие сараи, огороженные колючей проволокой.

Немцы, по-видимому, сидят в баках, — красные, белые, зеленые точки несутся оттуда. Цокают по цистернам.

Мысль работает невероятно отчетливо. Пулеметов у них, по-видимому, два и, по-моему, ручные. Минометов нет. Это хорошо. Фарберу надо ударить слева — прямо на баки. Мне — по дороге — в обход баков справа. Пулеметы стреляют в лоб. Надо успеть пробежать через дорогу и дальше вдоль каменной стенки.

Фарбер отползает. Ползет неловко, как-то бочком, припадая на правую сторону.

Несколько пуль щелкает в цистерну, над самой головой. Тонкая, изогнутая струйка керосина бьет в рельс передо мной, и я чувствую на лице мелкие, как из пульверизатора, брызги. Взлетает ракета. Освещает баки, сарай, каменную стенку. Неестественно пляшут тени, укорачиваясь и удлиняясь. Ракета падает где-то за нами, слышно, как шипит.

Пора... Я закладываю пальцы в рот, — свисток свой я потерял еще под Купянском. Мне почему-то кажется, что свистит кто-то другой, находящийся рядом.

Бегу прямо на бак с тремя дырками. Справа и слева кричат. Трещат автоматы. Бьют по колену засунутые в карман шинели магазины автомата. Кто-то с развевающимися ленточками бескозырки бежит впереди меня. Я никак не могу его догнать. Баки куда-то исчезают, и я вижу только ленточки. Они страшно длинные, вероятно до пояса.

Я тоже что-то кричу. Кажется, просто «а-а-а-а». Бежать почему-то легко и весело. И мелкая дрожь в животе — от автомата. Указательный палец до боли в суставах прижимает крючок.

Опять появляются баки, но другие — поменьше, с трубами, извивающимися как змеи. Труб много, и через них надо прыгать.

За баками немцы. Они бегут навстречу нам и тоже кричат. Черные ленточки исчезают. Вместо них серая шинель и раскрытый рот. Тоже исчезает. В висках начинает стучать, и почему-то болят челюсти.

Немцев больше не видно.

Впереди белые с железной решеткой ворота. Вот до них добегу и сяду, а потом дальше.... Но я не могу остановиться. Ворота уже позади, а передо мной асфальтовая дорожка и какие-то корпуса.

Потом я лежу на животе и никак не могу всунуть новый магазин в автомат. Руки трясутся. В пазу что-то застряло.

— Перебило автомат... Возьмите этот...

Это, кажется, Валега, но у меня нет времени оборачиваться.

Сквозь сетку — я лежу у низенькой каменной стенки, с мелкой, как в птичниках, натянутой сеткой — опять видны бегущие немцы. Их много. Они бегут через заводской двор, стреляют из своих черных автоматов, прижимая их к животам, и это похоже

на какой-то нелепый фейерверк. Немцы даже днем стреляют трассирующими пулями.

Я выпускаю целый магазин, потом другой. Фейерверк исчезает. Становится вдруг сразу тихо. Я пью воду из чьей-то фляжки и никак не могу оторваться.

— Селедку, что ли, ели, товарищ лейтенант? — говорит кто-то, придерживающий фляжку, чубатый, в тельняшке и матросской бескозырке, маленькой и мятой.

Я допиваю воду. Никогда такой, кажется, вкусной, холодной не пил. Ищу Валегу. Он тут же, набивает магазин. Маленькой золотой кучкой лежат сбоку патроны. Рядом с ним круглолицый парень торопливо, затяжка за затяжкой, докуривает бычок. Плюет на него и вдавливая в землю.

Впереди двор — асфальтированный, совершенно гладкий заводской двор. За ним свалка железа, паровоз с разбитыми вагонами и какое-то белое строение вроде железнодорожного блокпоста с балкончиком. Сзади тоже двор — пустой и большой.

Место дрянное: ни окопаться, ни укрыться — один низенький каменный заборчик.

Надо захватить будку и железо, это ясно. Здесь нам не усидеть. Я передаю приказание Фарберу и Петрову. Они тоже возле стенки, справа и слева от меня. Парень в тельняшке втыкает капсюли в круглые с крупными насечками гранаты.

— Во... правильно... — подмигивает он черным сощуренным глазом. — Я эту будку знаю. Мировая будка. И подвальчик что надо!

— Ты был там?

— Всю ночь просидели. Пока фриц не выгнал. С вечера еще пришли. Разведка. КП искали.

Сует гранату в карман, одну втыкает за пояс.

Фарбер подает знак, что у него все готово. Несколько позже — Петров. Немцы начинают стрелять из пулеметов откуда-то слева. Окопались уже, значит, сволочи. Надо торопиться, пока другие не заработали.

Парень в тельняшке, пригнувшись, точно на старте, — одна нога отставлена, другая согнута, — уголком глаза, напряженно-го, немигающего, смотрит на меня. На левой руке, чуть пониже локтя, что-то наколото, кажется, имя.

Я даю сигнал.

Что-то мелькает — темное и быстрое, обдающее ветром. Со стенки сыплется штукатурка. Парень в тельняшке бежит прямо к будке, размахивая автоматом. До будки метров шестьдесят, и двор абсолютно гладкий.

И вдруг весь он заполняется людьми, бегущими, кричащими, зелеными, черными, полосатыми. Парень в тельняшке уже у будки. Исчезает в дверях. Немцы беспорядочно стреляют. Потом пере-

стают. Видно, как они бегут за будкой. Их легко узнать по широким, без поясов, шинелям.

Все это происходит так быстро, что я ничего не успеваю сообразить. Вокруг пусто. Я и Валега. И чья-то пилюлька на сером асфальте.

Перелезаем через сетку. Согнувшись, бежим к будке. Посреди двора трое или четверо убитых. Все ничком. Лиц не видно.

Около будки длинная, теряющаяся где-то в железе траншея. Спрыгиваю туда. Кто-то роется в карманах убитого немца.

— Ты что делаешь?

Боец, не подымаясь, поворачивает голову. Два серых маленьких глаза на угреватом, смуглом лице удивленно смотрят на меня.

— Как что?.. Трофеи беру...

Он засовывает что-то в карман, торопливо, путаясь в цепочке. По-видимому, часы.

— Шагом марш отсюда, чтоб духу твоего не было!

Кто-то толкает меня в плечо.

— Да это же мой разведчик, лейтенант. Потихе немножко.

Я оборачиваюсь. С сигарой во рту парень в тельняшке. Глаза у него узкие и недобрые. Блестят из-под челки.

— А ты кто?

— Я? — глаза его еще больше суживаются, и на шершавых загорелых щеках прыгают желвачки. — Командир пешей разведки — Чумак.

Каким-то неуловимым движением губ сигара перебрасывается в другой угол рта.

— Сейчас же прекрати этот кабак. Понятно?

Я говорю медленно и неестественно спокойно.

— Собери своих людей, расставь посты. Через пятнадцать минут придешь и доложишь. Ясно?

— А вы кто такой, что приказываете?

— Ты слыхал, что я сказал? Я лейтенант, а ты старшина. Вот и все. И чтоб никаких трофеев, пока не разрешу.

Он ничего не отвечает. Смотрит. Лицо у него узкое, губы тонкие, плотно сжатые. Косая челка свисает прямо на глаза. Стоит, расставив ноги, засунув руки в карманы и слегка раскачиваясь взад и вперед.

Так мы стоим и смотрим друг на друга. Если он сейчас не повернется и не уйдет, я вытащу пистолет.

Цвик-цвик... Две пули ударяют прямо в стенку окопа между мной и им. Я приседаю на корточки. Одна из пуль волчком крутится у моих ног. Ударилась о что-то твердое. Разведчик даже не шевельнулся. Тонкие губы его чуть вздрагивают, и в глазах светится насмешка.

— Не понравилось, лейтенант, а?

И ленивым, привычным движением сдвинув крохотную бескозырку свою с затылка на самые глаза, он медленно, не торо-

пясь, поворачивается и уходит, слегка покачиваясь. Зад у него плотно обтянут и слегка оттопырен.

Двое бойцов тащат по траншее пулемет. Траншея узкая, и пулемет с трудом продвигается.

— Какого черта вы здесь возитесь, дорогу только загромождаете! — кричу я на них, и меня раздражает, что они молчат и только глазами моргают.

Чтобы меня пропустить, они встают и жмутся к стенке.

— Ну чего стали? Тащите дальше.

Они оба сразу хватаются за станину и стараются протиснуть пулемет дальше. Я перелезаю через него и иду по траншее.

— Точно с цепи сорвался... — доносится до меня голос одного из них.

Я сворачиваю вправо. Бойцы уже копаются в земле. Петров суетится, покрикивает на бойцов, никак не может установить пулемет, — он почему-то скатывается.

Петров еще очень молод. Недавно, по-видимому, из училища. Тоненькая шейка. Широченные, болтающиеся на ногах сапоги.

— Ну как, по-вашему, хорошо, товарищ лейтенант? — спрашивает он, подсунув под пулемет какой-то ящик. Смотрит вопросительными, невыносимо голубыми глазами.

— Ладно, сойдет.

— А второй у меня там, за тем заворотом. Хотите посмотреть? Оттуда всю насыпь видно.

Мы идем туда. Оттуда действительно хорошо видно. Немцы сидят за насыпью. Иногда мелькают каски.

Присев на корточки, я пишу донесение. Четвертая и пятая роты и взвод пеших разведчиков заняли оборону по западной окраине завода «Метиз». Людей столько-то, боеприпасов столько-то. Последнюю цифру я несколько преуменьшаю, хотя так или иначе рассчитывать сегодня на подкидку боеприпасов трудно-вато.

Сидорко, тот самый, которого рекомендовал мне Клишенцов, юркий, раскосый, похожий на китайчонка, только успевает засунуть донесение в пилотку, как немцы начинают атаку.

Откуда-то появляются танки. Шесть штук. Ползут справа. Из-за насыпи. Там, кажется, мост есть — от нас не видно. А у нас только четыре противотанковых ружья и десятка два гранат. Это все. Куда делась пушка? Я совсем забыл о ней. Неужели опять удрали.... Вся надежда теперь на железо. Может, и не перелезут танки...

Рядом со мной загорелый бронебойщик с русыми, придающими молодцеватый вид, закрученными усами. Ему жарко. Он по очереди сбрасывает с себя все — телогрейку, гимнастерку, рубашку. Остается голый, сверкая невероятно белой, гладкой спиной.

В траншее тесно и неудобно. Все время переползают, ударяют коленями, чертыхаются.

Танки идут прямо на нас...

Плохо, что нет телефона. Трудно понять, что где делается.

Танки, остановившись у железа, открывают огонь. Снаряды ложатся где-то сзади. Вероятно, болванки, разрывов не слышно. Откуда-то справа доносится голос Чумака, резкий и гортанный. Кричит какому-то Ванюшке, чтоб гранат ему дали противотанковых.

— В подвале, в углу, где чайник стоит...

Один танк перебирается все-таки через железо. Лязгает гусеницами. Переваливаясь с боку на бок, ползет прямо на нас. Хорошо виден черный, противный крест. Полуголый бронебойщик целится, расставив ноги и упершись задом в стенку траншеи. Пилотка свалилась, и на бритой голове белый, как спина его, незагоревший кружок.

Подобьет или не подобьет?

Крест все приближается...

Кто-то кричит мне в самое ухо. Ничего не могу разобрать.

— Что такое?

— Немцы обходят слева. Пехота их левой паровоза пошла...

Почему же пулеметы молчат? Ведь там два пулемета.

Я бегу вдоль траншеи. У пулемета Петров и еще кто-то. Заело. Не пролезает лента.

— Почему второй пулемет молчит?

Голубые детские глаза готовы заплакать.

— Ей-богу, не знаю. Пять минут тому назад...

— Гранаты! Давай гранаты!

Пули свистят над самой головой.

Я бросаю гранаты одну за другой. Немецкие, с длинными ручками. Дергаю за шнурок и бросаю через бруствер. Немцы уже у самых окопов. Кричат...

Почему пулемет не работает?

— А-а-а-а-а...

Что-то валится на меня... Я отскакиваю, с размаху ударяю гранатой... Больше у меня ничего нет в руках. Что-то грузно оседает на дно траншеи. Я бросаю еще четыре гранаты. Это последние — больше нет. Где автомат, черт возьми?

Хочу выдернуть из кобуры пистолет, ремешок зацепился. Никак не вылезает... Черт!

И вдруг... Тишина...

У ног моих кто-то в серой шинели, уткнувшись лицом в угол траншеи. Перед окопами никого. Пусто. Неужели отбили?

Я бегу по траншее назад. Бойцы щелкают затворами. Все, как было. Петров у пулемета.

— Все в порядке, товарищ лейтенант. Работает.

Голубые глаза смеются весело, по-детски.

— Видали, как отсекли? Сразу побежали.

Повернувшись к пулемету, он дает очередь. Худенькая шейка его трясется. Какая она тоненькая и жалкая! И глубокая впадина сзади. И воротник широк. Шея в нем болтается, как былинка. Вот так вот, вероятно, еще недавно стоял он у доски и моргал добрыми, голубыми глазами, не зная, что ответить учителю.

— А почему тот не работал? Он, по-моему, к вам тоже имеет кое-какое отношение.

Голубые глаза смущенно опускаются вниз.

— Я сейчас пойду узнаю, товарищ лейтенант.

Он подымается, опираясь на ствол пулемета. Руки у него тоже тоненькие, детские, с веснушками.

— Мне кажется...

Глаза его вдруг останавливаются, точно он увидел что-то необычайно интересное, и весь он медленно, как-то боком, садится на дно.

Мы даже не слышали выстрела. Пуля попала прямо в лоб, между бровями.

Его оттаскивают. Беспомощно подпрыгивают по земле ноги — тоненькие, в больших болтающихся сапогах. На пулемете уже другой. И шея у него толстая и красная. Командиром роты назначают политрука. Иду к белой будке.

Немцы молчат. По-видимому, готовятся к следующей атаке. По траншее волокут убитых. Они мешают сейчас живым. Складывают в боковую щель. Двое бойцов, согнувшись, несут кого-то. Я сторонюсь. Белые гладкие руки с загорелыми, точно в перчатках, кистями волочатся по земле. Лица не видно. Оно в крови. Голова мотается. На макушке белый, как тюбетейка, кружок от пилотки. Бронебойщик — тот самый. Также кладут в щель на кого-то в замазанных кровью штанах и с выглядывающей из-за обмотки алюминиевой ложкой.

Я не успеваю дойти до белой будки. Немцы опять атакуют. Отбиваем. Потом снова...

Так длится до обеда. Двадцать — тридцать минут отдыха — перекур, набивка патронов, кусок хлеба за щеку — и опять. Опять серые фигуры, крик, трескотня, неразбериха.

Один раз «хейнкели» высоко, из поднебесья, — мы даже их не замечаем, — бомбят нас. Но бомбы падают на немцев. Бойцы смеются.

Сидорко все еще нет. И двух других, посланных позже, тоже нет. Возможно, попали под бомбежку. В воздухе ни на минуту не прекращается гудение моторов. С вышки хорошо видно, как стелется белое облако над берегом.

После обеда откуда-то начинает стрелять наша артиллерия. Бьет по насыпи. Несколько шальных снарядов попадает и в наши окопы. Немцы не унимаются. Танков не пускают. Тот, с крестом,

так и застрял на железе — подбили. Одолевают минометы. У нас много убитых и раненых. Легких отправляем на берег. Тяжелых переносим в подвал будки, просторный, с железобетонным перекрытием.

Часам к девяти немцы выдыхаются. В десять всё успокаивается. Изредка только пулеметы пофыркивают.

20

В подвале невыносимо накурено. Дым стелется пластами. Коптит фитиль в тарелочке. Раненые — ими забит весь подвал — просят воды. А воды нет. Приходится с Волги носить, а по дороге всё распивают.

Валега дает кусок хлеба и сала. Ем без всякого аппетита.

Чумак приходит в разодранной тельняшке, растрепанный. Садится на стол. На меня не смотрит. Стягивает через голову тельняшку. На груди его, мускулистой и загорелой, синий орел с женщиной в когтях. Под левым соском сердце, проткнутое кинжалом, на плече — череп и кости. Ниже локтя — маленькая сквозная дырочка, почти без крови. Кость, по-видимому, цела, кисть работает. Маруся — санинструктор, румяная, толстощекая, с двумя завязанными сзади желтенькими косичками — перевязывает рану.

Разведчики сегодня подбили два танка. Один Чумак, другой — тот самый угреватый разведчик, из-за которого у нас стычка произошла.

Я спрашиваю Чумака, почему он ни о чем не докладывает.

— А о чем докладывать?

— О сегодняшнем дне. О потерях. Существует в армии такой порядок — докладывать после боя.

Чумак медленно поворачивается. Я не вижу его лица. Блестит потная, с глубокой ложбинкой вдоль позвоночника, спина.

— День, сами видали, солнечный, а потери — ну какие же потери? Бескозырку потерял, вот и все. Будут еще вопросы?

— Будут. Только не здесь. Выйдем на минутку.

— А там пули. Убить может.

Я проглатываю пилюлю и направляюсь к выходу. Он тоже.

Прислонившись плечом к косяку двери, жует папиросу.

— Знаете что, товарищ лейтенант? Давайте по-мирному. Не трогайте разведчиков. Ей-богу, лучше будет.

— Лучше или хуже, другой вопрос. Сколько у вас людей?

— Двадцать четыре. Как было, так и осталось. А разведчиков, советую...

- Танк кто подбил?
- А кто бы ни подбил, не все ли равно?
- Вы подбили?
- Ну, я... Не вы же...
- Расскажите, как вы его подбили.
- Ей-богу, спать охота. После войны о танках поговорим.
- Рекомендую вам запомнить, что я сейчас за комбата.
- А я откуда знаю?
- Вот я вам и говорю.
- Комбат — Клишенцов. Кроме того, я подчиняюсь только командиру полка и начальнику разведки.
- Их сейчас нет, поэтому вы подчиняться должны мне. Я заместитель командира полка по инженерной части.
- Чумак искоса смотрит на меня своим острым глазом.
- Вместо Цыгейкина, что ли?
- Да, вместо Цыгейкина.
- Пауза. Плевков через губу.
- Что ж... Мы с саперами обычно душа в душу.
- Надеюсь, что и впредь так будет.
- Надеюсь.
- А теперь расскажите о танках. Как фамилия того второго, который подбил?
- Корф.
- Рядовой?
- Рядовой.
- Это его первый танк?
- Нет, четвертый. Первые три у Касторной.
- Награжден?
- Нет.
- Почему?
- А хрен его знает почему. Материал подавали...
- Через час дадите мне новый материал. О нем. И о других тоже. Ясно?
- На этом разговор кончается. Идет он в самых сдержанных тонах.
- Разрешите идти, товарищ заместитель командира полка по инженерной части?
- Я ничего не отвечаю и спускаюсь вниз. Все тело ломит. Режет глаза. Вероятно, от дыма — страшно все-таки накурено.
- Составляю донесение. Рядом, положив голову на руки, спит Фарбер. Он забежал на минутку за табаком и доложить о потерях. И так и заснул над раскрытым портсигаром с недокуренной сигаркой в руке. В углу кто-то тихо разговаривает, попыхи-вая папиросой. Доносятся только отдельные фразы.
- А у меня как раз заело. Каблуком пришлось отбивать. Потом у Павленко прошу патронов. А он лежит, уткнувшись лицом в землю, и серое что-то течет...

Потом вдруг появляется Игорь. Стоит передо мной и смеется. И усики его не маленькие, черненькие, а как у того броневой бойщика, заливчатски закрученные у углов рта. Я спрашиваю, как он сюда попал. Он ничего не отвечает и только смеется. И на груди у него синий орел с женщиной в когтях. Прямо на гимнастерке. И у орла прищуренные глаза, и он тоже смеется. Надо, чтобы он перестал смеяться. Надо сорвать его с гимнастерки. Я протягиваю руку, но меня кто-то держит за плечо. Держит и трясет.

— Лейтенант... А лейтенант...

Я открываю глаза.

Небритое лицо. Серые холодные глаза. Прямой, костистый нос. Волосы зачесаны под пилотку. Самое обыкновенное, усталое лицо. Немного слишком холодные глаза.

— Проснись, лейтенант, волосы сожжешь.

Тарелка с фитилем у самой моей головы невыносимо коптит.

— Что вам надо?

Человек с серыми глазами снимает пилотку и кладет ее рядом на стол.

— Моя фамилия Абросимов. Я начальник штаба полка.

Я встаю.

— Сидите, — переходит он вдруг на «вы». — Вы лейтенант Керженцев? Новый инженер вместо Цыгейкина, так я понял из вашего донесения?

— Да.

Он проводит рукой по лицу, по глазам, некоторое время не мигая смотрит на коптящий фитиль. Чувствуется, что он так же, как и мы, смертельно устал.

Я докладываю обстановку. Он слушает внимательно, не перебивая, ковыряя ногтем доску стола.

— Петрова, говорите, значит, убило?

— Да. Снайпер, должно быть. Прямо в лоб.

— Так-с... — Нижними зубами покусывает верхнюю губу.

— Потери вообще довольно значительные. Убитых двадцать пять. Раненых около полусотни. Один пулемет вышел из строя. Осколком ствол перебило.

— А соседи кто?

— Слева второй батальон нашего же полка. Справа же...

Я задумываюсь. Фарбер мне говорил, но у меня выпало из памяти.

— Справа сорок пятый, товарищ капитан, — вставляет Чумак. Он стоит тут же рядом, засунув руки в карманы. — От них представитель приходил. Мы с ним стык уточняли.

— Сорок пятый... — задумчиво говорит Абросимов и встает. Застегивает телогрейку.

— Ну что ж, Керженцев. Пройдемся по обороне, а потом, потом придется тебе батальон принимать.

Он пристально, точно оценивая, смотрит на меня. Застегивает пуговицы. Они большие и никак не пролезают в петли.

— Клишенцова — комбата — убило. Бомбой. Прямое попадание. Придется временно покомандовать батальоном. Ничего не поделаешь...

И повернувшись в сторону Чумака:

— Химику ногу оторвало. На ту сторону повезли. Ну, пошли, инженер. Или комбат, вернее.

Только когда мы выходим, я замечаю, что в углу копошатся связисты, двое, с желтенькими, вырезанными из консервной банки звездочками на пилотках.

Подымаемся наверх. У входа часовой. Я его уже знаю. Его фамилия Калабин. У него большое родимое пятно на щеке. Хороший стрелок. На моих глазах четверых убил. Он из-под Костромы, и дома у него жена ожидает ребенка.

На дворе прохладно. Я вдыхаю полной грудью свежий ночной воздух. Небо чистое и звездное. Большая Медведица над Мамаевым курганом — косая и яркая. Где-то над головой однообразно, как мотоцикл, тарахтит «кукурузник». Точно на месте топчется. Присмотревшись, различаю силуэт. Он летит к Мамаеву кургану. Справа, вероятно над «Красным Октябрем», висят ракеты, около десятка, осыпающиеся золотым дождем искр. Стрельбы никакой. Тишина.

Идем по траншее. Закутанные в шинели фигуры. Винтовки на брустверах. «Кукурузник» бомбит уже где-то за Мамаевым курганом, — видны вспышки. Щупают небо немецкие прожекторы. Подбитые танки, — три штуки все-таки подожгли за день, — все еще горят, и противный едкий дым стелется над нашими окопами. Ветер в нашу сторону.

Я прощаюсь с капитаном на самом нашем левом фланге, у пробоины в стене. Дальше идет второй батальон.

— Ну, смотри, комбат, не подкачай. Завтра опять «сабантуй»... А патронов пришлем. И к утру уже пушки будут. С ними все-таки веселей.

И уходит вместе со своим связным в сторону полуразрушенного корпуса. Там, кажется, КП соседа.

Некоторое время видно еще, как они перепрыгивают через железо. Потом скрываются.

Прислонившись к брустверу, смотрю в сторону немцев. Там тихо и темно. В одном только месте что-то вроде огонька. Вспыхивает и гаснет. Неосторожный наблюдатель, должно быть. Курит. А может, так, тлеет что-нибудь.

До чего тихо.

А завтра опять «сабантуй». Самолеты, крик, трескотня.

Сегодня сдержали все-таки. Только в одном месте потес-

нили нас немцы. У Фарбера. На самом правом фланге. Метров на сорок. Придется перекинуть туда горбоносого лейтенанта с его взводом. Рамов, что ли, его фамилия. Боевой как будто парень. Мне он сегодня понравился. А часика в три — контра-такуем...

Я иду в подвал.

У будки уже другой часовой — маленький, в волочащейся по земле плащ-палатке. Его я не знаю.

Бранятся в телефон связисты:

— Мрамор! Я — Гранит. Как слышишь? Мрамор, Мрамор! Сукин сын, опять прикуривать пошел. Мрамор, Мрамор, ядри твою бабушку...

Желтеет солома в углу. Валега, конечно, позаботился. Зава-люсь сейчас. Два часа, целых два часа буду спать. Как убитый.

— В два разбудишь, Валега. В четверть третьего.

Ответа не слышу. Уткнувшись в чей-то мягкий, теплый, пах-нувший потом живот, я уже сплю.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

За всю свою жизнь не припомню я такой осени. Прошел сентябрь — ясно-голубой, по-майскому теплый, с обворожительными утрами и задумчивыми фиолетовыми закатами. По утрам плещется в Волге рыба, и большие круги расходятся по зеркальной поверхности реки. Высоко в небе, курлыча, пролетают запоздалые журавли. Левый берег из зеленого становится желтым, затем красновато-золотистым. На рассвете, до первых залпов нашей артиллерии, затянутый предрассветным прозрачным туманом, беззаботно спокойный и широкий, с еле-еле прорисовывающимися только полосками дальних лесов, он нежен, как акварель.

Медленно и неохотно рассеивается туман. Некоторое время держится еще застывшей молочной пеленой над самой рекой, потом исчезает, растворившись в прозрачном утреннем воздухе.

И задолго до первых лучей солнца ударяет первая дальнотбойка. Переливисто раскатывается эхо над непроснувшейся Волгой. Затем вторая, третья, четвертая, и, наконец, все сливается в сплошном, торжественном гуле утренней канонады.

Так начинается день. А с ним...

Ровно в семь, бесконечно высоко, сразу глазом и не заметишь, появляется «рама». Поблескивая на виражах в утренних косых лучах стеклами кабины, долго, старательно кружит она над нами. Назойливо урчит своим особым, прерывистым по звуку мотором и медленно, точно фантастическая двуххвостая рыба, уплывает к себе на запад.

Это вступление.

За ним — «певуны». «Певуны», или «музыканты» — по-нашему, «штукасы» — по-немецки, красноносые, лапчатые, точно готовые схватить что-то птицы. Бочком как-то, косо цепочкой плывут они в золотистом осеннем небе среди ватных разрывов зенитных снарядов.

Едва протерев глаза, покашливая от утренней папиросы, вылезаем мы из своих землянок и, сощурившись, следим за первой десяткой. Она определит весь день. По ней мы узнаем, какой у немцев по расписанию квадрат, где сегодня земля будет дрожать, как студень, где солнца не будет видно из-за дыма и пыли, на каком участке всю ночь будут хоронить убитых, ремонтировать поврежденные пулеметы и пушки, копать новые щели и землянки взамен исчезнувших, стертых с лица земли.

Когда цепочка проплывает над нашей головой, мы облегченно вздыхаем, скидываем рубашки и поливаем друг другу воду на руки из котелков.

Когда же передний, не долетев еще до нас, начинает сваливаться на правое крыло, мы забиваемся в щели, ругаемся, смотрим на часы — господи, боже мой, до вечера еще целых четырнадцать часов! — и, скосив глаза, считаем свистящие над головой бомбы. Мы уже знаем, что каждый из «певунов» тащит у себя под брюхом от одиннадцати до восемнадцати штук, что сбросят они их не все сразу, сделают еще два или три захода, психологически распределяя дозы, и что в последнем заходе особенно устрашающе загудят сирены, а бомбы сбросит только один, а может, даже и не сбросит, а только кулаком помашет.

И так будет длиться целый день, пока солнце не скроется за Мамаевым курганом. Или нас, или соседей. Если не соседей, так нас. Если не бомбят, так лезут в атаку. Если не лезут в атаку — бомбят.

Время от времени прилетают тяжелые «юнкерсы» и «хейнкелы». Их отличают по крыльям и моторам. У «хейнкелей» крылья закругляющиеся, у «юнкерсов» — обрубленные и моторы с фюзеляжем в одну линию, как гребешок.

Плывут высоко, углом вперед, и бомбы свои, светлые и тяжелые, роняют лениво, вразнобой, не снисходя до пикировки. Поэтому мы их не любим — эти тяжелые «юнкерсы»: никогда не знаешь, куда уронят бомбы. И залетают всегда со стороны солнца, чтоб глаза слепить.

Целый день звенят в воздухе «мессеры», парочками рыская над берегом. Стреляют из пушек. Иногда сбрасывают по четыре небольшие аккуратненькие бомбочки, по две из-под каждого крыла, или длинные, похожие на сигару, ящики с трещотками — противопехотными гранатами. Гранаты рассыпаются, а футляр долго еще кувыркается в воздухе, а потом мы стираем в нем белье — две половинки, совсем как корыто.

По утрам, с первыми лучами солнца, неистово гудя, проносятся над головами наши «илюши» — штурмовики, и почти сейчас же возвращаются, продырявленные, бесхвостые, чуть не задевая нас колесами. Возвращается половина, а то и меньше. «Мессеры» долго еще кружатся над Волгой, а где-то далеко, за Ахтубой, чернеет печальный черный гриб горящего самолета.

Задравши до боли в позвоночнике головы, мы следим за

воздушными боями. Я никак не могу угадать, где наши и где немцы — маленькие, черненькие самолеты вертятся, как сумасшедшие, высоко в поднебесье — иди разбери. Один Валега никогда не ошибается, глаз у него острый, охотничий — на любой высоте «миг» от «мессера» отличит.

А дни стоят один другого лучше, голубые, безоблачные, самые что ни на есть летные. Хотя бы туча появилась, хоть бы дождь когда-нибудь пошел. Мы ненавидим эти солнечные, ясные дни, этот застывший в своей голубизне воздух. Мы мечтаем о слякоти, тучах, дожде, об осеннем хмуром небе. Но за весь сентябрь и октябрь мы только один раз видали тучу. О ней много говорили, подняв кверху обслюенный палец, гадали, куда она пойдет, но она, проклятая, прошла стороной, и следующий день по-прежнему был ясный, солнечный, жужжащий самолетами.

Один только раз, в начале октября, немцы дали нам отдых — два дня: материальную часть, должно быть, чистили. Кроме «мессеров», самолетов не было. В эти два дня купали в корытах бойцов и меняли белье. Потом опять началось.

Немцы рвутся к Волге. Пьяные, осатанелые, в пилотках набекрень, с засученными рукавами. Говорят, перед нами эсэсовцы — не то «Викинг», не то «Мертвая голова», не то что-то еще более страшное. Кричат как оглашенные, поливают нас дождем из автоматов, откатываются, опять лезут.

Дважды они чуть не выгоняют нас из «Метиза», но танки их путаются в железном хламе, разбросанном вокруг завода, и это нас спасает.

Так длится... кто его знает, сколько... пять, шесть, семь, а может быть, и восемь дней.

И вдруг — стоп. Тишина. Перекинулись правее — на «Красный Октябрь». Долбят его и с воздуха, и с земли. А мы смотрим, высунув головы из щелей. Только щепки летят. А щепки — это десятитонные железные балки, фермы, станки, машины, котлы. Третий день не проходит оранжево-золотистое облако пыли над заводом. Когда дует северный ветер, все это облако наваливается на нас, и тогда мы выгоняем всех бойцов из землянок, так как немецкой передовой не видно, а они, сукины сыны, могут ударить под шумок.

Но в общем спокойно, только минометы работают да наша артиллерия с того берега. И мы сидим у своих землянок, курим, ругаем немцев, войну, авиацию и тех, кто ее придумал. «Посадил бы я этих изобретателей Райтов в соседнюю щель — интересно, что бы запели». Потом гадаем, когда же свалится последняя труба на «Красном Октябре». Позавчера их было шесть, вчера три, сегодня осталась одна — продырявленная, с отбитой верхушкой. Стоит себе и не падает назло всем...

Так проходит сентябрь.

Идет октябрь.

Меня вызывают из «Мрамора» по телефону к «тридцать первому» — командиру полка майору Бородину. Я его еще не видал. Он на берегу, где штаб. Во время высадки ему помяло пушкой ногу, и на передовой он еще не бывал.

Я знаю только, что у него густой, низкий голос и немцев он почему-то называет турками. «Держись, Керженцев, держись, — гудит он в телефон, — на давай туркам завод, понатужься, но не давай». И я тужусь изо всех сил и держу, держу, держу. Временами и сам не понимаю, почему еще держусь, — с каждым днем людей становится все меньше и меньше.

Но сейчас это позади. Третий день отдыхаем. Даже сапоги снимаем на ночь. Надолго ли только?

Впрочем, чего гадать! Захватив Валегу, иду на берег.

Майор живет в крохотной, как курятник, подбитой ветром землянке. Немолодой уже, с седыми висками, добродушно-отеческого вида. В одном сапоге и калоше на другой ноге, пьет чай с хлебом и чесноком. Покряхтывает. Такие любят детей. И дети их любят. И мешают им, и теребят, и заставляют раскачивать себя на коленях.

Майор внимательно слушает меня, шумно отхлебывая чай из большой раскрашенной кружки. Здоровой ногой отодвигает стоящий рядом стул. Протягивает большую мягкую руку.

— Вот ты какой, значит. А я почему-то думал, что большой, косая сажень. — Голос у него вовсе не такой раскатистый и тяжелый, как в телефонной трубке. — Чаю хочешь?

Я соглашаюсь, давно не пил настоящего чая.

Ординарец приносит чайник и чашку, такую же большую и пеструю. Складным ножом отрезает ломтик лимона. У меня даже слюнки текут. Майор подмигивает маленьким, глубоко сидящим глазом.

— Видишь, как живем. Не то что вы на передовой. Лимончиком встречаем.

Некоторое время мы молча пьем чай, похрустывая сахаром. Потом майор переворачивает кружку кверху дном, кладет на нее крохотный оставшийся кусочек сахара и, отодвинув в сторону, аккуратно сметает со стола крошки.

— Ну так как же у тебя там? А, комбат?

— Да ничего, товарищ майор, держимся пока.

— Пока?

— Пока.

— И долго, ты думаешь, это «пока» протянется?

В голосе его появляется какая-то другая интонация, не совсем уже отеческая.

— Пока люди и боеприпасы есть, думаю, будем держаться.

— Думаю, пока... Это нехорошие слова. Не военные. Про птицу знаешь, которая думала много?

— Про индюка, что ли?

— Вот именно, про индюка. — Он смеется уголком глаза. — Куришь? Кури. Хороший. «Гвардейский», что ли, называется.

Он пододвигает лежащую на столе пачку и рассматривает рисунок. Под красной косой надписью бегут красные солдаты в касках, за ними красные танки, а над головой красные самолеты.

— Так, что ли, в атаку ходите? А?

— А мы больше отбиваем, чем ходим, товарищ майор.

Майор улыбается, потом лицо его становится вдруг серьезным и мягкие, немного вялые губы — жесткими и резкими.

— Штыков сколько у тебя?

— Тридцать шесть.

— Это активных?

— Да, активных. Кроме того, связисты, связные, хозвзвод на берегу, человек шесть на том берегу с лошадьми. Всего с полсотни наберется. Ну, еще минометчики. Человек семьдесят всего будет.

— Тридцать шесть и семьдесят. Ловко получается. Половинка на половинку. Нехорошо.

— Нехорошо, — соглашаюсь. — Я уже хотел ту шестерку к себе взять, а лошадей медсанбату подкинуть, да ваш помощник не разрешил — за сеном, говорит, ехать должны.

Майор грызет наконечник трубки. Трубка у него большая, изогнутая, вся изгрызенная.

— Инженер по образованию? Да?

— Архитектор.

— Архитектор... Дворцы, значит, разные, музеи, театры... Так, что ли?

— Так.

— Вот и мне дворец построишь... Сапер наш — Лисагор... Ты его еще не знаешь? Познакомлю. Один дворец построил уже было, да Чуйков, командующий, занял. Вот и живу в этой дыре, после каждой бомбы землю из-за шивороты выколупываю. — Майор опять улыбается, собрав морщины вокруг глаз. — Ну а мины и тому подобные спирали Бруно знаешь, конечно?

— Знаю.

— Этим и будем сейчас заниматься. Придут комбаты, поговорим. А пока кури, — он щелчком подталкивает мне пачку. — Комбата на твое место уже запросил, да вот не шлют, сукины сыны. А без инженера как без рук. Лисагор — парень ничего, да в чертежах и схемах — ни бе ни ме... Бывает такое.

Где-то рвутся бомбы. Звука не слышно, только в ушах что-то неприятное давит, и пламя в лампе тревожно мигает.

Потом приходят комбаты и другие командиры.

Совещание длится недолго, минут двадцать, не больше. Бородин говорит. Мы слушаем, смотрим на карту.

Оказывается, участок нашей дивизии самый глубокий — километра полтора в глубину. Левее нас узенькая полоска вдоль самого берега — 13-я гвардейская, родимцевская. Тянется почти до самого города, до пристаней, тоненькой, не шире двухсот метров, извилистой ленточкой. Правее, на «Красном Октябре», — 39-я гвардейская и 45-я. Это им, значит, сейчас достается. Красная линия фронта проходит как раз по белому на карте пятну завода. Правее еще две-три дивизии, и конец. Это все. Все, что осталось на этом берегу. Пять или шесть километров на полтора. И полтора — это еще в самом широком месте. В центре города — немцы. Тракторного на карте нет, но где-то там, говорят, еще одна наша дивизия прилепилась. Гороховская, кажется.

Ночью сегодня должна переправиться 92-я бригада. Она уже дралась в Сталинграде. Сейчас возвращается после десятидневной формировки. Место ее между нами и Родимцевым. Нам надо потесниться немного вправо и несколько сжаться. Это неплохо.

Но с «Метизом» мне придется распрощаться. Там будет 3-й батальон. Мне попадается участок между «Метизом» и восточным концом извилистого, как буква S, оврага на Мамаевом. Самый паршивый участок. Ровный и почти без траншей. Подходы все простреливаются. Днем о связи с берегом не может быть и речи. На прежнем моем участке подходы тоже простреливались, но там было много траншей и всяких баков и строений. Это все-таки облегчало связь.

Да, повезло Кандиди, командиру 1-го батальона. На готовенькое садится. А мне... Кто его знает, где и КП себе выбрать. Ничего похожего на нашу симпатичную белую будку с подвалом нет.

Майор говорит медленно, спокойно, чуть даже ворчливо. Не выпускает трубки изо рта. Водит большим пальцем с коротко обстриженным ногтем по карте.

— Задача простая — врыться, опутаться проволокой, обложиться минами и держаться. Месяц, два, три, пока не скажут, что дальше делать. Понятно? Мамаев занять полностью мы не в силах. Но то, что есть, отдавать нельзя.

Майор отрывается от карты и устремляет на меня свои маленькие глубоко запавшие глаза.

— У тебя труднее всего, Керженцев. Основание выступа в твоих руках. Другая сторона — у сорок пятого полка. В этих двух местах немцы и будут рваться, отрезать наш первый батальон. И два батальона сорок пятого заодно. Они тоже на Мамаевом. А людей больше не будет. Рассчитывайте на то, что есть. Пополнение — только заплаты. Да и что это за пополнение — мальчишки.

Вынув изо рта трубку, он сплевывает на пол.

— У тебя стариков сколько осталось, Керженцев?

— Человек пятнадцать, не больше. Из них человек десять матросов.

— Неплохо еще. У Синицына и Кандиди и того нет. А это ваш костяк. Учтите. Зря не гробьте. Лопаты есть?

С лопатами дело дрянь. Уезжая с формировки, дивизия не успела получить инженерное имущество. А то, что по пути в селах взяли, ржавое, негодное, в первые же два дня поломалось. Кирко-мотыг совсем нет. Со дня на день ждем инженерную летучку-склад, но она застряла где-то на том берегу, и мы ковыряемся найденным среди развалин старьем.

— Обещают сегодня мины подкинуть, товарищ майор, — подымается из угла небритый лейтенант в расстегнутой телогрейке. — Я вчера с начальником армейского склада говорил. С тысячу противопехотных нам дадут. А противотанковые не раньше чем через неделю.

Майор машет на него рукой, — знаю, мол, садись.

— Нажимайте на окопы сейчас. Пока нет саперных лопат, выкручивайтесь пехотинскими, ничего не поделаешь. У тебя, Синицын, больше, чем у остальных, я помню, и участок полегче. Отдашь половину Керженцеву. Все. Да, Лисагор. — Лейтенант в телогрейке вытягивается. — Сегодня к вечеру план оборонительных работ чтоб у меня был. А ты, Керженцев, поможешь. Через пару деньков с тебя требовать буду.

И он встает, показывая этим, что толочься нам больше здесь незачем: и так накурили — не продохнешь.

3

На берегу Лисагор подходит ко мне.

— Разрешите представиться, — лейтенант Лисагор, командир саперного взвода тысяча сто сорок седьмого стрелкового полка сто восемьдесят четвертой стрелковой дивизии.

Голос звучный, привычный к рапортам. Приветствие по всем правилам — пальцы вместе, предплечье и ладонь в одну линию, сильный рывок вниз. Лицо несколько потрепанное, небритое. Глаза умные, с хитрецей. Сам коренастый, крепкий. На вид — лет тридцать.

— Строительством моим интересуетесь? Метрострой настоящий. Пятый день долбаем.

И берет меня за локоть.

Шагах в двадцати от землянки майора саперы роют туннель в крутом волжском обрыве — длинный, метров в десять, никак не меньше. В виде буквы Т.

— Справа для майора, слева для начштаба, — объясняет Лисагор. — Три на четыре, представляете? А там, левее, еще один — для

опергруппы и комиссара. А людей всего восемнадцать. Вместе с сержантами. И чтоб к послезавтрашнему дню готово было. Ловко?

Бойцы долбят кирками твердый, как камень, грунт. Двое долбят, двое выносят землю ведрами, двое крепят лес. На земле стоит коптилка. Пахнет копотью, потом и сырой землей.

Лисагор садится на корточки, прислоняется спиной к деревянному креплению. Закуривает.

— Одну такую же выкопали. Досками обшили. Пол, потолок. Фанерой стенки. Печурку в углу поставили. Вот этот вот усаж, помкомвзвода мой, все своими руками сделал — печь, трубы. На все руки мастер. Лампу двухлитровую с зеленым абажуром достали. Майор уже кровать намечал где ставить. А Чуйков пришел, сел на стул, спросил, сколько земли над головой, а ее метров двенадцать, и пришлось нашему майору распрощаться с квартиркой, а саперщикам все сначала начинать. Вот оно как на войне, товарищ лейтенант. А людей — кот наплакал.

— А я вот тоже хотел у тебя попросить. Человек этак пять.

Лисагор настораживается.

— Зачем?

— Слышал, что майор говорил давеча насчет мин?

— Это пускай дивизионные делают. На то они и существуют. А наше дело КП, НП. Их сто, а нас восемнадцать. И так по целым суткам не спят. Да и мины эти знаешь когда будут...

— Ты сам говорил, что тысячу предлагали.

— Говорил, говорил... Чего только не наговоришь. На то он и начальник склада, чтоб врать. Не знаешь, что ли, их.

— Ладно. Не будем спорить. Организуй мне на завтрашнюю ночь пять человек, хоть своих, хоть чужих, остальное меня не интересует.

Лисагор сопит, ковыряет финкой землю между ног.

— Вот всегда так — организуй, сделай, завтра к утру, сегодня к вечеру... А кем и как — никто не спрашивает. За ночь я батальона не рожу. Видишь, спины какие у людей, хоть выжимай.

Я встаю.

— Ну что ж, придется майору доложить — саперы на блиндажах заняты, оборону укреплять нечем.

Лисагор тоже встает.

— Вот упорный какой... Ладно, не ходи. Пришлю людей. Да делать-то им там нечего будет. Тебе еще недели две траншеи копать.

— Траншеи — траншеями, а мины — минами. Завтра вечером пришлю людей.

— За чем? За минами?

— Ну а то за чем.

Лисагор ничего не отвечает. Согнувшись, вылезает из туннеля.

— Пошли на воздух, пока тихо.

Солнце слепит глаза. На берегу точно муравейник. Что-то копают, тащат, строят. Дымят прилепившиеся к обрыву кухни. Сохнет белье — рубашки какие-то, кальсоны. Сияют медные горы снарядов — маленьких, средних, больших, с красными, синими, желтыми головками. Ящики с патронами. Мешки. Опять ящики. Исковерканная пушка без ствола. Распухшая лошадиная туша, облепленная мухами. Задние ноги уже отрезаны.

Левее — полузатонувшая баржа. Одни ребра торчат. Обшив-ка на костры пошла. И на них, на этих ребрах, как куры на насесте, четверо бойцов рубахи стирают. Весело смеются, брызгаются, сверкая спинами.

А небо голубое, ослепительное, без единого облачка. И белоснежная церквушка с зеленым остроконечным куполом выглядывает из золотеющего осинника на том берегу. Там тоже много людей. Копшатся и ползают по совсем белому от яркого солнца пляжу. Время от времени беззвучно распускаются белоснежные букеты минных разрывов. Потом доносится звук. Люди разбегаются. Переждав несколько минут, опять сползаются, опять копшатся.

Небольшая шлюпка, точно водяной жучок, барахтается у берега. Течение сильное, и ее сносит вправо. Быстро, быстро мелькают весла.

— Сейчас стрелять начнут, — говорит Лисагор и вынимает из кармана коробку из-под зубного порошка. Скручивает сигарку.

Минуты через две недалеко от лодки взлетает белый, точно гейзер, фонтан воды.

— Вот чудак, напрямик прут, — говорит Лисагор, аккуратно зализывая сигарку и всыпая в нее рассыпавшуюся по ладони махорку. — Только вымотаются и немцам работу облегчат. Плы-ли б по течению, прицел пришлось бы все время менять.

— По течению плыть — к фрицам попадешь, — говорит кто-то за моей спиной. Саперы, облокотившись на лопаты, тоже следят за лодкой.

Фонтанов становится все больше и больше. Лодка неистово машет веслами.

— Плохой минометчик, — авторитетно заявляет тощий узкогрудый боец, стоящий рядом. — Вчера с третьего раза в щепки разнес.

— Вчера и лодка в пять раз больше была, — отвечает кто-то другой хриплым, медленным басом, — и грузу гора, еле двигалась.

Одна мина разрывается почти у самой лодки. Лодка только прыгает на волнах, и на несколько секунд прекращается махание весел. Гребцы пригнулись, должно быть.

— А это не наша? А? Не коробковская? Часа два назад поехали.

— Может, и наша, разве разберешь. В ней тоже четыре весла.

— Коробковская давно уже на берегу сохнет. И у Коробкова не шлюпка, а плоскодонка. Моряки из вас.

— Сейчас пулемет начнет, — спокойно говорит Лисагор, затягиваясь сигаркой и пуская кольца. — Как пить дать застрочит.

И почти сразу же вокруг лодки появляется целая серия маленьких, иногда сливающихся фонтанчиков.

Все вокруг умолкают. Лодка перестает махать веслами.

— Вот сволочи... — вырывается у кого-то за моей спиной, — доконают-таки...

На берегу и вокруг нас почти все следят за лодкой. Весла опять начинают мелькать. Но не четыре, а два. По-видимому, одного ранило или убило.

Шлюпка достигла уже середины реки. Сейчас она как раз против нас. Опять начинает миномет.

— Метров пятьдесят осталось, а там уже не видно с Мамаева будет.

— Ну, нажимай, нажимай, хлопцы!

Густота разрывов достигает своего предела. Просто непонятно, как лодка еще цела. Правда, ее сильно несет, и фонтаны все время отстают.

Кто-то на самом берегу орет во все горло:

— Давай, давай, давай!..

И машет пилоткой над головой.

И вдруг, точно по команде, фонтаны исчезают. Две или три мины хлопают еще по воде, но лодка уже далеко от них. Бойцы расходятся, добродушно и довольно ругаясь.

Лисагор швыряет окурок.

— Вот так вот и доставляют нам еду и боеприпасы. Видал? А вы там на передовой — давай, давай патроны...

На весь правый берег, оказывается, работает только одна переправа, 62-я — два катера с баржами. За ночь успевают максимум по шесть ходок сделать, от силы — семь, а что это для восьми или десяти дивизий, сидящих на этом берегу, — капля в море. Приходится собственными средствами доставлять.

— В нашем полку целая флотилия есть, — говорит Лисагор, — пять шлюпок, три плоскодонки и понтон. Было штук пятнадцать, да повыходили из строя. Старье. Текут. И осколками сечет. Понтон совсем как решето. Трое моих все время сидят, конопатят, — он искоса поглядывает на меня. — А ты говоришь, мины ставить. Сегодня ночью еще людей в сорок пятый посылать надо. Вчера у нас две шлюпки сперли. Эх! И надоело же все это... Пойдем, что ли, ко мне...

Мы на четвереньках забираемся в крохотную, как собачья конура, Лисагорову землянку.

— Видишь, как живем. Сапожник — без сапог. Сам рыл.

Косой луч солнца узенькой стрелкой вонзается в шинель, освещает закопченные котелки, консервные банки и приклепленную к стенке фотографию полной девицы в берете.

Откуда-то из-под прибитого к стенке столика, вроде вагонного, появляется четвертушка водки.

— Что ж, чокнемся по случаю знакомства, — подмигивает Лисагор.

Мы чокаемся кружкой о бутылку. Лисагор прямо из горлышка хлещет.

— А мы на передовой только один раз водку получали, — говорю я.

Лисагор ухмыляется и ладонью трет небритый подбородок.

— До передовой полтора километра, а у меня склад под бомбом. Да и бойцов у меня человек пять непьющих. Вообще рассчитывайся ты скорей со своим батальоном и принимайся за инженерство. Увидишь, как заживем. Со мной не пропадешь. Майора нашего я как облупленного знаю. С полслова понимаю. Мировой старик. Вспыльчивый иногда, правда, но через полчаса отходит. Землянки только хорошие любит — есть такой грех. Чуть ли не ковры ему кладут. А так — жить можно. Еще будешь?

Он достает еще одну четвертушку.

— Вот закончу эти два туннеля и собственный начну делать. Куда это годится. Люди прямо на берегу спят, а через месяц — зима. К твоему приходу увидишь, какие хоромы будут. Пальчики оближешь...

Я смотрю на ходики, висящие на стенке, с замком вместо гири.

— Правильные?

— Правильные. Да ты не торопись, товарищ лейтенант. Успеешь еще насладиться передовой. — Он похлопывает меня по колену: — Ты не обижаешься, что я с тобой на «ты»? Фронтовая привычка. Я даже с Абросимовым на «ты», а он капитан. Между прочим, — Лисагор понижает голос, наклоняется ко мне и дышит прямо в лицо, — опасный парень. Людей не жалеет. По виду спокойный, а в деле — кипятик. Совсем голову теряет. Бурлит и сплеча рубит. Но ты не поддавайся. Умей держать себя.

Откинувшись назад, он вытягивает ноги. Хрустит пальцами. По очереди каждым. Я задаю несколько специальных вопросов. Он отвечает без запинки. Смеется. Два передних зуба у него выщерблены.

— Проверяешь? Да? Ну, на этом деле я собаку съел. Кадровик все-таки. Халхин-Гол, Финляндия... Эх, лейтенант, лейтенант, не знаешь ты еще меня. Ей-богу, переходи скорей на берег. Увидишь, как со мной жить. Апельсин хочешь? У меня целый ящик. И печенье есть... Все, что хочешь, есть.

Я перебиваю его:

— Сколько, ты говоришь, у тебя человек во взводе?

— У меня? Восемнадцать, я девятнадцатый. Молодец к молодцу. Плотники, столяры, печники. Даже портной и парикмахер. А сапожник — в Москве такого не сыщешь. Вот сапоги на мне, что

скажешь? Каблучок, носок, подъемчик... загляденье. И часовщик есть. Вот тот, с усами, сержант. И краснодеревщик.

— А с минным делом как они?

— И с минным, конечно, как ты думаешь! Но вообще это не наше дело. НП, КП — наше, а мины хай батальон ставит. А взвод — дай бог. Не жалуюсь. Поработаешь, увидишь. Сам на формировке отбирал. В армии такого не сыщешь. Честное слово...

Я встаю.

— Людей твоих, значит, завтра жду.

Лисагор тоже встает, слегка покачиваясь.

— Ну и упрямый же ты, лейтенант. Дались тебе эти минные поля. Свои только подрываться будут. Ну да ладно уж, пришло.

— Неплохо было бы, если бы и сам заглянул.

— Это не обещаю. Не обещаю. Сам видишь, сколько работы. Туннели, лодки... Мины вот еще сегодня получать надо. Я помкомвзвода пошлю, Гаркушу — мировой парень. С закрытыми глазами мины тебе натычет.

— Мне-то не надо, а вот первый и третий батальоны совсем без саперов...

Придерживаясь рукой за столик, Лисагор несколько секунд смотрит на меня уже слегка осолопевшими глазами.

— Знаешь, что я тебе скажу, товарищ лейтенант, головы у комбатов есть, пускай и думают ими. А мое дело маленькое — приказания выполнять. Тоже дети маленькие. Лягут в оборону — сапер минируй! В наступление — сапер разминируй! В разведку — сапер вперед, мины ищи! А ну их к черту...

— Как знаешь. Ты пока инженер. Сам решай, как лучше. Будь здоров.

— Бувай... Возьми на дорогу пару витаминчиков.

Он сует мне в карман телогрейки два холодных шершавых, ослепительно ярких апельсина.

— Жду, значит, на днях.

И смеется мелким рассыпчатым смехом.

4

Ночью меняю позиции. Я тороплюсь закончить все до двенадцати, до восхода луны. Но немцы поджигают два сарая — весь мой участок освещен, как днем. Это затягивает переход на всю ночь. Пулемет из-под моста стреляет почти без передышки. Чувствую, что много хлопот будет с этим пулеметом, он пересекает все мои коммуникации. К утру там появляется еще пушка. А отвечать мне нечем, патронов еле-еле на день хватит. Так и перебираюсь, прикрываясь ротными минометами. У восьмиде-

сяти двух нет мин. Прошу поддержки у нашей полковой артиллерии. Но и у них с боеприпасами туго — раза три только за всю ночь стреляют.

Участок отвратительный. Перерезан высокой железнодорожной насыпью. Она извивается вдоль подножья кургана. Заставлена вагонами. С левого фланга почти не видно правого, только верхняя часть оврага. Окопов, траншей — никаких. Уступающие нам место бойцы 1-го батальона ютятся по каким-то ямкам и воронкам, прикрывшись всяким железным хламом. Вдоль оврага, по ту сторону насыпи, кое-какое подобие окопов все-таки есть, правда, без малейших признаков соединительных ходов.

Да, это не «Метиз». Там с одного конца до другого почти не согнувшись пройти можно.

Участок сам по себе не велик для нормального батальона, каких-нибудь шестьсот метров, но у меня всего тридцать шесть человек. Было четыреста, а стало тридцать шесть. И насыпь эта проклятая разрезает участок на две неравные части — правый фланг на кургане раза в два длиннее левого. А у меня две роты по восемнадцать человек, фактически два отделения. Плюс два командира роты и три командира взвода. Пулеметчики и минометчики не в счет. Вот и управляй ими всеми без ходов сообщения. Днем каждый боец превращается в отдельную, отрезанную от всех огневую точку. Участок вдоль и поперек простреливается немцами.

Ищу себе КП, хотя бы временное, чтобы установить телефон. Сплошные развалины, обгорелые сараи, подвалов никаких. Выручает Валег. Находит трубу под насыпью, хорошо замаскированную, железобетонную. Но в ней какие-то артиллеристы.

Долговязый лейтенант, с маленькой торчащей во все стороны отдельными волосиками бородкой, встречает меня в штыки.

— Не пуцу — и все. Нас и так тут пять человек. А ты еще целый штаб тащишь.

Но я не расположен к дипломатическим переговорам. Приказываю ставить телефон, адъютанту старшему писать донесение. Артиллеристы ругаются, не хотят сдвигать свои ящики, говорят, что пожалуются Пожарскому, начальнику артиллерии.

— Ну и жалуйся! Располагайся, хлопцы, и все... Ни с места, пока не скажу.

Связистам больше ничего и не надо. Протянув нитку, они устраиваются прямо на каменном полу и вызывают уже какие-то свои «незабудки» и «тюльпаны».

Харламов, адъютант старший, близорукий, потерял, конечно, самую нужную папку и всем мешает, роясь под ногами.

— Должно быть, там забыл, на старом КП, — бормочет он себе под нос, растерянно оглядываясь по сторонам.

Удивительная черта у этого человека — всегда и везде что-нибудь забывать. За время нашего знакомства он успел потерять

шинель, три каски и собственный бумажник. О карандашах и ручках говорить уж нечего.

Часам к пяти приходят командиры рот.

— Ну как? — спрашиваю.

Карнаухов, командир четвертой роты вместо убитого Петрова, пожимает своими широченными плечами.

— Растыкал пока. Пулеметы еще ничего, а бойцы... Придется день пересидеть как-нибудь, светает уже, а ночью за лопаты браться. В таких окопах долго не продержишься.

У Карнаухова низкий, слегка глуховатый голос. Говорит, немного запинаясь. Может быть, просто слова подбирает. А в общем мне он нравится.

Пришел он к нам дней десять тому назад. Большой, косолапый, с густыми, сросшимися на переносице бровями, сероглазый, с мешком за плечами. Согнувшись, протиснулся в узенькую, низкую дверь.

Мы как раз обедали. Суп из сушеной картошки и сухари. Он отказался и попросил воды. Выпил с аппетитом большую, чуть ли не с ведро, кружку, вытер губы, улыбнулся.

— Весь ваш запас, должно быть, выдул.

И спросил, где его рота находится.

— Да вы посидите, очухайтесь сперва.

Он опять улыбнулся, точно извиняясь, и вытер ладонью намоченный, с красной полоской от фуражки лоб.

— Целый месяц в госпитале очухивался. Три кило даже прибавил. Табаку вот на дорогу не дали. А без табаку сами знаете как...

Харламов дал ему закурить. Он скрутил сигарку совершенно невероятных размеров и стал молча курить.

Я задал несколько обычных при первом знакомстве вопросов. Он спокойно, немногословно ответил, присев в углу на собственный мешок. Потом встал, поискал глазами, куда бросить окуроч, и, так и не найдя подходящей пепельницы, выбросил его за дверь.

— Ну? Кто меня поведет?

Вечером я получил от него аккуратное донесение с приложением стрелковых карточек на каждый пулемет и схемой расположения огневых средств противника.

На следующий день он отбил у немцев потерянный нами накануне участок траншеи, потеряв при этом только одного человека. Когда я вечером забрался к нему в блиндаж, не пофронтовому чистенький, с зеркальцем, бритвенным прибором и зубной щеткой на полочке, он сидел и писал что-то на положенной на колени тетрадке.

— Письмо на родину, что ли?

— Нет. Так... Чепуха... — смутился и попытался встать, нагнув голову. Тетрадку он торопливо сунул в карман.

«Должно быть, стихи», — подумал я и больше не спрашивал.

В эту же ночь его рота выкрала у немцев пулемет и шесть ящиков с патронами. Бойцы говорили, что он сам за пулеметом ходил, но когда я его спросил, он только улыбнулся и, не глядя в глаза, сказал, что все это выдумки, что он никогда не позволит себе этого и что вообще командир роты за пулеметами не ходит.

Сейчас он стоит передо мной, слегка ссутулившийся, небритый. Я знаю, что ему, так же как и мне, больше всего хочется спать. Но он еще будет, высунув кончик языка, рисовать схему своей обороны или побежит проверять, принесли ли старшины ужин.

Фарбер, комроты пять, сидит на кончике ящика из-под патронов — усталый, как всегда рассеянно безразличный. Смотрит в одну точку, поблескивает толстыми стеклами очков. Глаза от бессонницы опухли. Щеки, и без того худые, еще больше ввалились.

Я до сих пор не могу раскусить его. Впечатление такое, будто ничто на свете его не интересует. Долговязый, сутуловатый, правое плечо выше левого, болезненно бледный, как большинство рыжих людей, и страшно близорукий, он почти ни с кем не разговаривает. До войны он был аспирантом математического факультета Московского университета. Узнал я об этом из анкеты, сам он никогда не говорил.

Несколько раз я пытался завести с ним разговор о прошлом, о настоящем, о будущем, старался расшевелить его, возбудить какими-нибудь воспоминаниями. Он рассеянно слушает, иногда односложно отвечает, но дальше этого не идет. Все как-то проходит мимо, обтекает его, не за что зацепиться. Я ни разу не видел его улыбающимся, я даже не знаю, какие у него зубы.

Чувство любопытства, так же как и чувство страха, у него просто атрофировано. Как-то, на «Метизе» еще, я застал его в одной из траншей. Он стоял, прислонившись к брустверу, в своей короткой, до колен, солдатской шинели спиной к противнику и рассеянно ковырял носком ботинка осыпавшуюся стенку траншеи. Две или три пули цвякнули где-то неподалеку. Потом разорвалась мина. Он продолжал ковырять землю.

— Вы что здесь делаете, Фарбер?

Он медленно, точно нехотя, повернулся, и глаза его с бесцветными ресницами и тяжелыми, слегка припухшими веками вопросительно остановились на мне.

— Так просто... Ничего...

— Ведь вас тут немцы в два счета ухлопают.

— Пожалуй... — спокойно согласился он и присел на корточки.

Трудно его назвать неаккуратным, он всегда выбрит, и подворотничок у него всегда свежий, но это, по-видимому, привычка или воспитание, внешности же своей он не придает никакого значения. Шинель на два номера меньше, хлястик под лопатками, на ногах обмотки, пилотка с растопыренным верхом, петлиц нет.

Я сказал ему как-то:

— Вы бы пришили себе кубики, Фарбер.

Он, как всегда, удивленно посмотрел на меня.

— Для большого авторитета, что ли?

— Просто положено в армии носить знаки различия.

Он молча встал и ушел. На следующий день я заметил на воротнике его шинели два матерчатых кубика, пришитых вкривь и вкось белыми нитками.

— Плохой у вас связной, Фарбер. С кубиками определенно не справился.

— У меня нет связного. Я сам пришивал.

— А почему нет связного?

— В роте восемнадцать человек, а не сто пятьдесят.

— Ну вот, один пускай и будет по совместительству вашим связным.

— Излишняя роскошь, пожалуй.

— Не излишняя и не роскошь. Вы — командир роты.

Он ничего не возразил, он вообще никогда не возражает и не возмущается, но связного, по-моему, у него до сих пор нет.

Станный человек. В его обществе я всегда чувствую себя натянуто, поэтому никогда не задерживаю его. Получил приказание и будь здоров — выполняй. Он молча, рассеянно, смотря куда-то в сторону, выслушает, кивнет головой или скажет «постарайся» и уйдет.

Сейчас он сидит, безучастный, сгорбленный, с вылезающими из коротких рукавов бледными, костистыми руками, барабанит пальцами по столу.

— Помните, Фарбер, — говорю я ему, — участок у вас неважный. На артиллерию особенно не рассчитывайте. Все от пулеметов зависит. Не увлекайтесь фронтальным огнем. Кроме трескотни, никакого толку.

Он молча кивает головой. Длинные пальцы его барабанят по столу беспрерывно, монотонно.

На дворе, сквозь щели видно, совсем уже рассвело. Я отпускаю командиров рот. Звоню в штаб, что передислокация окончена, и прямо-сдаточные документы посылаю со связным.

Артиллеристы примирились с нашим пребыванием. Выкрикивают на другом конце трубы какие-то свои координаты по телефону. По-видимому, скоро заговорят наши пушки.

5

Утром мы все ожидаем атаки, немцы не могли не заметить нашей ночной возни. Против всех ожиданий день оказывается настолько тихим, что даже обед удастся притащить с берега днем.

После круглосуточных суматох, бесконечных атак, бомбежек и артналетов трудно даже поверить этой тишине. Все время ждешь какого-то подвоха. Но пока спокойно. Обычная перестрелка, довольно вялая и редкая. В семь, как всегда, — «рама». Вереницы «певунов» над «Красным Октябрем»...

Валега приволакивает с Волги два ведра воды, разогревает их на примусе, потом скребет мне спину рогожей. Вода с меня черная, как чернила. А сам я красный, и все тело чешется. Валега смеется.

— Я вам сейчас немецкое белье дам. Шелковое. Ни за что вошь не заведется. Скользит — не держится.

Я натягиваю тонкие лазоревые кальсоны и рубаху, бреюсь и иду к Карнаухову. Сидя на корточках и скосив глаза в крохотный осколок зеркала, приткнутый к полуразрушенной стенке, он скребет подбородок.

— Ну, как жизнь?

Карнаухов улыбается сквозь пену, встает.

— Так и до конца войны жить можно... Забастовал что-то фриц. Я присаживаюсь рядом.

Кругом одни трубы. Домов нет. Черные, дымящиеся еще кое-где балки и трубы, трубы, зловещие черные трубы на прозрачном, почти крымской чистоты, небе. Почему-то трубы всегда сохраняются. Будто нарочно их кто-то оставляет, чтобы напомнить, что был здесь когда-то дом, поселок, город, а сейчас вот что осталось.

Я сижу на столе. По-видимому, это когда-то были ворота. Еще фонарь с номером сохранился. Треугольный синий фонарь и надпись — «Косой пер., № 24. Дом принадлежит Агарковой И. Н.». На куске стены, неизвестно почему сохранившейся, вывеска: «Мужский и дамский портной Авербух. Прием заказов». Розовощекий субъект в глаженных брюках и котелке сосредоточенно равнодушно смотрит с высоты на меня, точно гипнотизирует. У них всегда такой взгляд, у этих вывесочных красавцев, куда бы вы ни шли, они все время на вас смотрят.

— А у вас тут спокойно, — говорю я.

— Это сейчас только. А вообще не очень. Я побриться только выскочил, в норе повернуться негде, весь изрежешься.

Мучительно сморщившись, Карнаухов добривает верхнюю губу. Я подчищаю ему затылок, и, захватив бритвенные принадлежности, мы вползаем в нору. В норе печка, стол с подрезанными ножками, два стула. В углу связист с привязанной к голове телефонной трубкой. Еще двое бойцов. Чадит лампа, сплюснутая из артиллерийской гильзы. На стенке — календарь с зачеркнутыми днями, список позывных, вырезанный из газеты портрет Сталина и еще кого-то — молодого, кудрявого, с открытым симпатичным лицом.

— Это кто?

Карнаухов, перехватив мой взгляд, конфузится.

— Джек Лондон.

— Джек Лондон?

Карнаухов стоит против света, я не вижу его лица, но по просвечивающим ушам вижу, что он покраснел.

— Почему вдруг Джек Лондон?

— Да так... Уважаю его... Вот и... Молока хотите?

— Молока? Здесь? Откуда?

— Сгущенного... Американского. Ребята достали.

Я с удовольствием облизываю ложку густого, приторно-сладкого, похожего на липовый мед молока.

— А все-таки откуда у вас этот портрет?

— Откуда? — смеется Карнаухов. — Из госпиталя, конечно. Я там всю библиотеку перечитал. А «Мартина Идена» не успел. Ну и... взял с собой на время.

— Вы любите Джека Лондона?

— Да. Я его несколько раз перечитывал.

— Я тоже люблю.

— А его все любят. Его нельзя не любить.

— Почему?

— Настоящий он какой-то... Его даже Ленин любил. Крупская ему читала.

— Дадите мне потом почитать?

— Ладно.

— А кого вы еще любите из писателей?

Он опять смущается.

— Я мало читал. У учительницы нашей только Лондон был, не знаю, откуда она его взяла, знаете, в коричневых обложках, приложение. И еще какая-то чепуха — Мельников-Печерский и еще кто-то, не помню уже, иностранный.

— Ну, это в школе. А потом?

— Потом? Потом времени не было. Я на шахте работал. В Сучане. Знаете? Около Владивостока.

— Знаю.

— Я пацаном когда был, в Америку совсем уже бежать собрался, золото в Клондайке искать. Стащил двустволку у отца, сухарей набрал. Даже на норвежскую шхуну забрался. Мы во Владивостоке тогда жили. Отец грузчиком в порту работал.

— Ну?

Карнаухов улыбается, разглядывая ногти.

— Как видите. За шиворот домой приволокли. Как щенка. Дней пять потом отлеживался. Ручка у бати, сами понимаете.

И он опять смеется.

Потом появляется откуда-то патефон, старенький, дребезжащий, и мы больше догадываемся, чем наслаждаемся Козловским,

Давыдовой и дуэтом из «Запорожца за Дунаем». Иголка только одна, и мы попеременно точим ее о разбитую тарелку.

— Ну, вот и все, что у меня есть, — почесывая затылок, говорит Карнаухов. — Разве что передовую вам еще показать... Только к самым окопам сейчас не пройти. Придется отсюда, из развалин.

Мы устраиваемся у низенькой каменной стенки. Вероятно, здесь была квартира. Скрученная огнем железная кровать, швейная машина, мясорубка.

Впереди овраг. Он начинается чуть левее нас и тянется изгибом вверх, к самой вершине кургана. Против нас подбитая пушка. Ствол разорван, и края его, точно у какого-то фантастического цветка, завились локонами. Это придает пушке какой-то удивленный, недоумевающий вид. Рядом разбитый в щепки передок.

На противоположной стороне оврага — немецкие окопы. Совсем рядом, рукой подать.

— А наших не видно, — шепчет Карнаухов, — склон мешает. Метров семьдесят от противника по прямой. Видите, сволочи, даже днем копают.

В одном месте действительно видно, как что-то рыжее вылетает из земли и иногда поблескивает лопата.

— Эх, снарядов нет. Показал бы я им, как рыть у нас под носом. А я вот попытался утром покопаться, сразу из минометов шпарить стали. И откуда у них столько боеприпасов?

Мы лежим долго, наблюдая за немцами. Пытаемся засечь их огневые точки. Они хорошо замаскированы, и мы не сразу их находим. Два или три пулемета торчат где-то на вершинке, похожей на горб верблюда, как раз против нас. Еще один прилепился повыше, в овраге, и простреливает его вдоль. А один мы так и не можем найти, хотя пули его цокают совсем рядом, около нас.

Да... Не такой представлял я себе до войны передовую. Зигзаги колючей проволоки в три-четыре ряда, бесконечная паутина траншей, маскировочные сети, амбразуры для стрельбы. А тут? Под самым носом нарыто что-то неопределенное, пушка подбитая и что-то вроде бочки из-под горячего, насквозь изрешеченной пулями.

Была у меня когда-то книга — «Герои Малахова кургана». С картинками, конечно. Четвертый бастион, какие-то там редуты, люнеты, апроши. Горы мешков с песком, плетеные, как корзины, туры, смешные на зеленых деревянных платформах пушки с длинными фитилями, круглые, блестящие мячики бомб с тоненькими струйками дыма.

Почти девяносто лет прошло. Танки и самолеты за это время придумали. А вот сидим сейчас в каких-то ямочках и обороной это называем.

Сегодня же ночью начну мины ставить. Сотни три на первых порах разбросаю. Противотанковые здесь не нужны, танк не пролезет, а вот там, за насыпью, у Фарбера...

Карнаухов лежит, насупив черные, сросшиеся, как будто случайно попавшие на сероглазое добродушное лицо его, брови.

— А все-таки хорошая у них система огня, черт возьми. Вы посмотрите только. С того верблюжьего горба весь третий батальон наш простреливают. Из-под моста — нам в спину. А сверху оврага — вдоль всей передовой...

И, точно иллюстрируя его слова, как будто сговорившись, начинают стрелять все три пулемета.

— Ох и насолили бы мы им, забрав тот горбок. Но что сделаешь с восемнадцатью человеками.

Карнаухов прав. Будь та высотка в наших руках, мы б и третьему батальону жизнь облегчили, и мост парализовали, и имели бы фланкирующие первый батальон огневые точки.

Но как это сделать?

6

Вечером я отправляю всех не занятых на передовой за минами. Хорошо, что у меня есть повозка. В темноте на ней все-таки можно мины подвезти почти к самой насыпи. Рискуя, конечно, но все-таки можно. А оттуда на руках не так уж трудно.

Часам к десяти у меня уже около трехсот штук. Свалены возле трубы. К этому же времени приходят и саперы — четыре бойца и сержант, тот самый, с усами — Гаркуша.

Сидят в углу, грызут семечки, изредка перебрасываются словами. Вид усталый.

— Целый день кайлим в туннеле, а утром придем — опять за кирку. Ни спины, ни рук не чувствуешь.

Гаркуша протягивает руку, жесткую, заскорузлую, точно рогом покрытую сплошной мозолью.

Бойцы молча грызут семечки, сосредоточенно и серьезно, глядя немигающими глазами в одну точку.

Когда из четвертой роты сообщают, что уже штук сто мин перетащено, Гаркуша встает. Стряхивает с колен шелуху.

— Ну что ж. Пойдем, пока луны нет. Кто нам покажет?

Цепляясь руками за кустарник и колючую, сухую траву, мы спускаемся к самой передовой. Окопы отдельными щелями по два-три метра тянутся как раз посредине ската.

Какой дурак это мог придумать? Почему не расположить их метров на двадцать позади и выше? И обстрел лучше, и сообщение легче, и немцам труднее до них добраться. А бойцы копают. В темноте не видно, но слышно, как звякают лопаты.

— Какого лешего вы здесь копаете, Карнаухов? Ведь здесь же как на ладони...

Я невольно раздражаюсь. Это бывает всегда, когда чувствуешь, что не только другие, но и сам виноват. Забываю даже, что здесь разговаривать можно только шепотом.

Карнаухов ничего не отвечает. Потом только узнаю, что копать начал по своей инициативе командир взвода Сендецкий — «Замерзли бойцы, вот я и велел копать, чтоб согрелись».

Приказываю сейчас же перевести людей выше. Пускай там окапываются. Все равно грош цена этим щелям. А тут двух-трех бойцов как охранение оставить.

Бойцы, кряхтя и матерясь вполголоса, ползут наверх, волоча лопаты, мешки, шинели...

— Начальнички называется...

Это по моему адресу. Но я делаю вид, что не слышу. Счастье, что луны нет. Была бы — доброй половины недосчитался бы...

Спускаемся еще ниже. Скат крутой, и твердая, начинающая уже подмерзать глина все время сыплется из-под ног. Саперы тащат на себе по два десятка мин в мешках. Время от времени строчит дежурный немецкий пулемет, тот самый, что вверху оврага. Но очереди пролетают высоко, пощелкивая над головой. Разрывные.

Угодили в грязь. По-видимому, ручей — дождей давно не было. Чавкает под ногами. Взлетает ракета. Плюхаемся лицом, руками, животом прямо в вязкую, холодную жижу. Уголком глаза из-под локтя слежу за медленно плывущей в черном небе ослепительно дрожащей звездой.

— Ну, где будем?

Навалившись на меня плечом, сержант дышит мне в самое ухо. После яркого света кругом ничего не видно. Даже лица не видно. Только теплое, пахнущее семечками дыхание.

— Как вспыхнет ракета, смотри налево... — От напряжения голос у меня слегка дрожит. — Увидишь бочку железную. Начнешь от нее... И вправо метров на пятьдесят... В три ряда... В шахматном... Как говорили.

Слова вылезают с трудом, и каждое из них приходится чуть ли не силой выталкивать.

Гаркуша ничего не отвечает. Отползает в сторону. Я это только слышу, но не вижу. Через минуту опять чувствую на своем лице его дыхание.

— Товарищ лейтенант...

— Что?

— Я немножко выше возьму. А то замерзнет вода, и тогда...

Опять ракета. Гаркуша наваливается прямо на меня. Вдавливаюсь лицом в землю. Стараюсь не дышать. Рот, нос, уши полны воды и грязи. Ракета гаснет. Я подымаю голову и говорю:

— Хорошо.

За минное поле я уже спокоен.

Вытираю рукавом лицо.

Собачья работа все-таки саперская. Темнота, грязь, в тридцати шагах немцы, а свои где-то там, наверху... И каждой мине надо выкопать ямку, вложить МУВ¹ — трубочка такая с пружинкой, острым, как гвоздь, бойком и капсюлем, — проверить, положить в ямку, засыпать землей, замаскировать. И все время прислушивайся, не лезут ли немцы, и в грязь бултыхайся и не шевелись при каждой ракете.

Слышно, как бойцы осторожно вываливают мины из мешков. За час они, по-моему, управятся.

А мне сейчас же на свежую память за формуляры и отчетные карточки на минные поля браться надо. Будет у меня этой писанины каждую ночь. В трех экземплярах, да еще схему с азимутами и привязками, и бланков вдобавок нет — все сам, от руки.

Взбираюсь на гору. Два или три раза чуть не обрываюсь. Ничего не видно, хоть глаз выколи. Все руки об кустарник колючий какой-то, в шипах, исколол.

Бойцы молча копают. Слышно только, как лопатой о землю ударяют. Кто-то, совсем рядом со мной — в темноте ничего не видно — хрипло, вполголоса, точно упрямую лошадь, ругает твердо, как камень, землю:

— Хоть бы пару кирок на батальон дали. А то лопаты называется. Масло ими резать.

Кирки... Кирки... Где же их достать! Чего бы только я не дал за два десятка кирок! Кажется, никогда в жизни ни о чем я так не мечтал, как сейчас о них. А сколько их в Морозовской на станции валялось. Горы целые. И никто на них смотреть не хотел. Все водки и масла искали.

Так и за месяц не окопаемся.

В начале первого появляется луна. Косощекая, оранжевая, выползает откуда-то со стороны Волги. Заглядывает в овраг. Через полчаса там нельзя уже будет работать. А их всего четверо и сто мин...

А луна ползет, ползет, становится желтой, затем белой. На все ей плевать. По-моему, она даже быстрее обычного сегодня подымается, точно спешит куда-то или с выходом опоздала. И как назло немецкая сторона в тени, а наша с каждой минутой все светлее, светлее. Последние остатки тени медленно, точно нехотя, отступая, сползают вниз, один за другим оставляя кусты, прижимаясь ко дну.

Кто-то ищет меня. Молодой, почти детский срывающийся голос. Связной Карнаухова, кажется.

¹ МУВ — тип взрывателя. (Прим. автора.)

— Лейтенанта, комбата, не видали?

— Це якого? Що з биноклем ходити? — отвечает чей-то голос откуда-то снизу, верно из щели.

— Да нет. Не с биноклем. Комбата. Командира батальона. В пилотке синей.

— А-а. В пілотці синій... Ну, так би і сказав, що в пілотці. А то — комбат... Хіба всіх їх за день начальників запам'ятаєш...

— Ну так где он?

— А я не бачив, — добродушно отвечает голос. — Не було його, їй-богу, не бачив.

— Фу ты, дура какая.

— Може, Фесенко бачив... Фесенко, а Фесенко...

Я направляюсь в сторону разговора. Фесенко из другой щели так же добродушно и неторопливо отвечает, что «якийсь тут був з начальників, на командира роти ще й кричав, що не так копаємо, але куди він подався — біс його знає...»

— Кто меня ищет?

— Это вы, товарищ лейтенант? — вытягивается передо мной маленькая, тоненькая фигурка.

— Я... И не вытягивайся, ложись.

Садится на корточки.

— Ну, в чем дело?

— С КП вашего звонили, чтоб шли туда срочно.

— Меня? Срочно? Кто звонил?

— А не знаю... Полковник, что ли, какой-то.

Какой полковник, откуда он взялся? Ничего не понимаю.

— И срочно, сказали, в три минуты чтобы...

Не доходя карнауховского подвала, наталкиваюсь на Валегу. Бежит сломя голову. Запыхался.

— Полковник ждут вас. Командир дивизии, что ли... С орденом... И еще какие-то с ним... Харламов, младший лейтенант, чего-то путают там. А они ругаются...

Вечно этот Харламов, будь он проклят. Навязался на мою шею. Адъютант старший называется, — начальник штаба... На кухне ему, а не в штабе работать.

Немцы вдруг поднимают стрельбу, и мы добрых пятнадцать минут лежим, уткнувшись в землю носами.

Полковник, невысокого роста, щупленький, точно мальчик, с ввалившимися, как будто нарочно втянутыми щеками и вертикальными, напряженными морщинами между бровями, сидит, подперев голову рукой. Шинель с золотыми пуговицами расстег-

нута. Рядом — наш майор. Между колен — палочка. Еще двое каких-то.

Харламов — навытяжку, застегнутый и подтянутый. Впервые его таким вижу. Моргает глазами.

Прикладываю руку к козырьку. Докладываю — батальон оккупывается, ставим мины. Два больших черных глаза не мигая смотрят на меня с худого лица. Сухие тонкие пальцы слегка постукивают по столу.

Все молчат.

Я опускаю руку.

Пауза несколько затягивается. Слышу, как Валега учащенно дышит за моей спиной.

Черные глаза становятся вдруг меньше, суживаются, и бескровные, в ниточку, губы как будто улыбаются.

— Вы что? Дрались с кем-нибудь? А?

Молчу.

— Дайте-ка ему зеркало. Пускай полюбуется.

Кто-то подает толстый, облупившийся осколок. С трудом узнаю себя. Кроме глаз и зубов, ничего разобрать нельзя. Руки, телогрейка, сапоги — все в грязи.

— Ну ладно, — смеется полковник, и смех у него неожиданно веселый и молодой. — Все случается... Я однажды командующему округом в трусах докладывал, и ничего, сошло. Десять суток только получил — к пустой башке руку поднес.

Улыбка исчезает, точно ее кто-то стер с лица. Черные большие глаза опять устремляются на меня. Умные, немного усталые, с треугольными мешками.

— Ну что ж, комбат, похвастай, что сделал за сутки? Если на передовой то же самое, что в бумагах творится, — не завидую тебе.

— Мало сделано, товарищ полковник.

— Мало? Почему? — глаза не мигают.

— Людей жидковато и с инструментом плохо.

— Сколько у тебя людей?

— Активных тридцать шесть.

— А бездельников, связных и тому подобное?

— Всего около семидесяти.

— А знаешь, сколько в сорок третьем полку? По пятнадцать — двадцать человек, и ничего — воюют.

— Я тоже воюю, товарищ полковник.

— Он «Метиз» держал, товарищ полковник, — вставляет майор. — Прошлой ночью мы его передвинули вправо.

— А ты не защищай, Бородин. Он сейчас не на «Метизе» сидит, и немцы его не с «Метиза» выгонять будут... — и опять ко мне: — Окопы есть?

— Копают, товарищ полковник.

— А ну, покажи.

Я не успеваю ответить. Он стоит уже в дверях и быстрыми, нервными движениями застегивает пуговицы.

Я пытаюсь сказать, что там сильно стреляют и что, пожалуй, не стоит ему.

— А ты не учи. Сам знаю.

Бородин, тяжело опираясь на палку, тоже приподымается.

— Нечего тебе с нами ходить. Последнюю ногу потеряешь. Что я буду тогда делать. Пошли, комбат.

Мы — я, Валега и адъютант комдива, молодой парень с невероятно круглым и плоским лицом, — еле поспеваем за ним. Мелким, совсем не военным шагом, слегка покачиваясь, он идет быстро и уверенно, будто не раз уже ходил здесь.

У карнауховского подвала я останавливаюсь. Полковник нетерпеливо оборачивается:

— Чего стал?

— КП ротное здесь.

— Ну и пускай здесь... Где окопы?

— Дальше. Вот за теми трубами.

— Веди!

Окопы сейчас хорошо видны — и наши и немецкие. Луна светит всю.

— Ложись.

Ложимся. Полковник рядом. Объясняю, где раньше были и где сейчас я рою окопы. Он ничего не говорит. Спрашивает, где пулеметы. Показываю. Где минометы. Показываю. Молчит, изредка сдержанно, стараясь подавить, покашливает.

— А где мины ставишь?

— Вон там, левее, в овраге.

— Прекрати. Людей назад.

Я ничего не понимаю.

— Ты слышал, что я сказал? Назад людей...

Посылаю Валегу вниз. Пускай отметят колышками правый фланг и возвращаются. Валега беззвучно, на брюхе, сползает вниз.

Молчим. Слышно, как тяжело дышат копающие землю бойцы. Где-то за курганом противно скрежещет «ишак» — шестиствольный миномет. Шесть красных хвостатых мин, точно кометы, медленно проплывают над головой и с оглушительным треском рассыпаются где-то позади, в районе мясокомбината. Воздушная волна даже до нас доходит. Полковник и головы не подымает. Покашливает.

— Видишь его пулеметы? На сопке.

— Вижу.

— Нравятся они тебе?

— Нет.

— И мне тоже.

Пауза. Не понимаю, к чему он клонит.

— Очень они мне не нравятся, комбат. Совсем не нравятся.

Я ничего не отвечаю. Мне они тоже не нравятся. Но артиллерии-то у меня нет. Чем я их подавлю?

— Так вот... Завтра чтоб ты был там.

— Где там?

— Там, где эти пулеметы. Ясно?

— Ясно, — отвечаю, но мне совершенно неясно, как я могу там оказаться.

Полковник легко, по-мальчишески, вскакивает, оттолкнувшись рукой от земли.

— Пошли.

Так же легко, быстро, ни за что не зацепляясь и не спотыкаясь, идет через развалины назад. На КП закуривает толстую ароматную папиросу, «Нашу марку», по-моему, перелистывает лежащего на столе «Мартина Идена». Заглядывает в конец. Недовольно морщит брови.

— Дурак. Ей-богу, дурак.

И подняв глаза на меня:

— Твоя?

— Командира четвертой роты.

— Прочел?

— Времени нет, товарищ полковник.

— Прочтешь, дашь мне. Читал когда-то, да забыл. Помню только, что упорный был парень. Конец вот только не нравится. Плохой конец. А, Бородин?

Бородин смущенно улыбается мясистыми, тяжелыми губами.

— Не помню... Давно читал, товарищ полковник.

— Врешь. Вообще не читал. После меня возьмешь. Авось к Новому году кончу. А потом экзамен устрою. Как по уставу. Многому нам у этого Мартина учиться надо. Упорству, настойчивости.

Захлопнув шумно книгу, переводит глаза на меня. Соображает что-то, собрав морщины на переносице.

— Артподготовки давать не будем. Как стемнеет, пустишь разведку. У вас как будто ничего ребята, — слегка поворачивает голову в сторону майора.

— Боевые, товарищ полковник.

— Ну так вот. Пустите разведку, как только стемнеет. Затем... Луна когда встанет?

— В начале первого.

— Хорошо. Часов в пол-одиннадцатого пустим «кукурузников». Чуйков обещал мне, если надо. В одиннадцать начнешь атаку. Понятно?

— Понятно. — Тон у меня не очень уверенный.

— Никаких «ура». Без единого шороха. На брюхе все. Как пластуны. Только неожиданностью взять сможешь. Ты понимаешь меня? Матросы есть еще?

— Есть. Человек десять.

— Ну, тогда возьмишь.

И тонкие бесцветные губы его опять как будто улыбаются.

Я совсем не могу понять, как я с тридцатью шестью, нет, даже не с тридцатью шестью, а максимум с двадцатью человеками смогу атаковать высоту, защищенную тремя основными, не считая вспомогательных, пулеметами и, наверное, еще заминированную. Я не говорю уже о том, что захватить — это еще полдела, надо и закрепить.

Но я ничего не говорю. Стою, руки по швам, и молчу. Лучше провалиться сквозь землю, чем...

— Человек с десятков подкинешь ему с берега, Бородин, — всяких там портных, сапожников и других лодырей. Пускай привыкают. А потом заберешь.

Майор молча кивает головой, посасывая все время хрипящую и хлюпающую трубку. Полковник постукивает костяшками пальцев по столу. Смотрит на часы, непомерно большие на тонкой, сухой руке. На них четверть третьего... Встает резким, коротким движением.

— Ну, комбат... — и протягивает руку. — Керженцев, кажется, твоя фамилия?

— Керженцев.

Рука у него горячая и сухая.

В дверях он поворачивается.

— А этого... как его... что утопился под конец... Мартина Иде-на... никому не давай... Если сам не принесешь, к тебе на сопку за ним приду.

Майор выходит вслед за ним. Треплет слегка меня по плечу.

— Крутой у нас комдив. Но умница, сукин сын... — и сам улыбается не совсем удачному своему выражению. — Зайдешь утром ко мне, помозгуем.

* * *

Возвращаются саперы. Вволакивают что-то внутрь — тяжелое и неуклюжее. Гаркуша вытирает лоб, тяжело дышит.

— Бояджиева ранило, — грузно опускается на койку. — Челюсть оторвало.

Бойцы молча, тяжело дыша, усаживают раненого напротив, на другой койке. Он, как неживой, валится на нее, обмякший, с бессильно упавшими на колени руками, с опущенной головой. Она обмотана чем-то красным. Гимнастерка в крови.

— Назад возвращались... Увидел... Из минометов начал. Кольцова убило... Следов даже не нашли. А ему вот — челюсть.

Раненый мычит. Мотает головой. У него уже небольшая, круглая лужица крови. Маруся снимает повязку. Сквозь ее мель-

кающие руки видны нос, глаза, щеки, лоб с прилипшей прядью черных волос. А внизу ничего, черное и красное. Руки беспомощно цепляются за колени, за юбку. И мычит, мычит, мычит...

— Лучший боец был, — устало говорит Гаркуша. Пилотка с головы его свалилась и так и лежит на полу. — Пятьдесят штук сегодня поставил. И слова не сказал...

И немного помолчав:

— Зря, значит, всё ставили?

Я ничего не отвечаю.

Раненого уводят.

Саперы, выкурив по папиросе, тоже уходят.

Я долго не могу заснуть.

8

С утра меня все раздражает почему-то. С левой ноги, должно быть, встал. Блоха ползает в портянке, и никак ее не выгонишь. Харламов опять сводку потерял: стоит передо мной, моргает черными армянского типа глазами, разводит руками: «Положил в ящик, а теперь нету...» И тухлый пшеничный суп надоел — каждый день, утром и вечером. И табак сырой, не тянется. И газет уже три дня московских нет. И людей с берега всего восемь калек дали.

Все злит.

У Фарбера двух бойцов прямым попаданием в блиндаж убило. Говорил я ему — перекрыть землянки рельсами, на «Метизе» их целый штабель лежит, а он вот провозился, пока людей не потерял. Я даже кричу на него, и когда молча поворачивается и уходит, возвращаю и заставляю повторить приказание.

Харламова отправляю на берег за какими-то формами, которые мне совсем не нужны. Просто чтобы не болтался перед глазами.

Валюсь на койку. Чего-то голова трещит. Связист в углу читает толстую истрепанную книгу.

— А ну, давай сюда! Нечего чтением заниматься.

Беру у него книгу. «Севастопольская страда», III том. Без начала и конца. На курево, должно быть, пошла. Раскрываю наудачу.

«...Убыль в полках была велика, пополнения же, если и были, то ничтожны, так что и самые эти названия — полк, батальон, рота — потеряли свое привычное значение.

В таком, например, боевом полку, как Волынский, вместо четырех тысяч человек оставалось уже не больше тысячи; во всех полках одиннадцатой дивизии: Камчатском, Охотском, Селин-

гинском, Якутском, так же как и в полках 16-й — Владимирском, Суздальском, Углицком, Казанском, — не насчитывалось уже больше, как по полторы тысячи в каждом...»

Полторы тысячи. Тысяча. А у нас? Если у меня в батальоне восемьдесят человек, а в полку три батальона — двести сорок. Плюс артиллеристы, химики, связисты, разведчики, еще человек сто. Всего триста пятьдесят. Ну, четыреста. Ну, пятьсот. А комдив говорил, в других полках еще меньше. А воюет из них сколько? Не больше трети. Что если немцам надоест «Красный Октябрь» долбать? Если опять на нас полезут? Бросят танки на Фарбера? Там, правда, насыпь мешает. Но они свободно могут под мостом пройти, там, где у него пулемет и пушка. Что я тогда буду делать? Шестнадцать человек сидят по ямочкам. Мин никаких. Бородин говорит — через три дня будут, где-то разгружают их... Допустим, не надуют. Еще две или даже три ночи ставить их надо. А пять дней этих жди и моли Бога, чтоб немцы паиньками сидели.

Перелистываю дальше.

«Бойчей же всех шли дела рестораторов, которые выстроили в ряд свои вместительные палатки. Эти палатки посещали теперь, после штурма, офицеры, приезжавшие несколько повеселиться из города, с бастиона... В гостеприимных палатках, в которых помещался и буфет с большим выбором вин, водок, закусок, и дюжина столиков для посетителей, и даже скрытая за буфетом кухня, пили, ели, сыпали остротами, весело хохотали...»

Скрытая за буфетом кухня. Дюжина столиков для посетителей...

Я откладываю книгу в сторону. Натягиваю шинель на уши и пытаюсь заснуть.

Возится и кряхтит в углу связист. Тикают с перебоем ходики, — Валега уже где-то достал, — маленькие, синенькие, с самодельными стрелками из консервной банки.

Съел бы я сейчас свиную отбивную в сухариках с тоненькой, нарезанной ломтиками, хрустящей картошкой. Последний раз я, по-моему, свиную ел... я даже не помню когда. В Киеве, что ли? Или где-то уже в армии. Хотя нет, то не свинная была, а так, просто поджаренное мясо.

Я переворачиваюсь на другой бок. Режет глаза коптящая лампа.

В половине одиннадцатого прилетит «кукурузник». В одиннадцать я должен начать атаку. В начале первого появится луна. Значит, в моем распоряжении будет час пятнадцать минут. За эти час пятнадцать минут я должен спуститься в овраг, подняться по противоположному склону, выбить немцев из траншей и закрепиться. А если «кукурузник» опоздает? Или их будет не один, а два или три? Комдив, я хорошо помню, сказал «кукурузники», а не «кукурузник». Вот дурак я, не спросил точно, сколько их будет. Первый отбомбится, я полезу, а тут второй прилетит. А атако-

вать надо сразу же, после него, пока не очухались немцы. Надо позвонить майору, чтоб узнал точно у комдива.

Какие у него черные и пронизывающие насквозь глаза, у комдива. В них трудно долго смотреть.

Говорят, летом, где-то под Касторной, он выводил дивизию из окружения с винтовкой в руках в первых рядах.

Смелый, дьявол!

А по передовой как ходит... Ни пуль, ни мин, ничего для него не существует. Что это — показное, пусть молодежь учится? Наполеон тоже, говорят, ничего не боялся. Аркольский мост, чумные лазареты... Когда его хоронили, на теле его нашли рубцы, о которых никто никогда не знал. Это, кажется, у Тарле я вычитал.

И что такое вообще храбрость? Я не верю тем, которые говорят, что не боятся бомбежек. Боятся, только скрыть умеют. А другие — нет. Максимов, помню, говорил как-то: «Людей, ничего не боящихся, нет. Все боятся. Только одни теряют голову от страха, а у других, наоборот, все мобилизуется в такую минуту и мозг работает особенно остро и точно. Это и есть храбрые люди».

Вот таким именно и сам Максимов был. Был... Сейчас его, вероятно, уже в живых нет. С ним в самую страшную минуту не страшно было. Чуть-чуть побледнеет только, губы сожмет и говорит медленнее, точно взвешивая каждое слово.

Даже во время бомбежек, — а под Харьковом, во время неудачного нашего майского наступления, мы впервые узнали, что значит это слово, — он умел в своем штабе поддерживать какую-то ровную, даже немного юмористическую атмосферу. Шутил, смеялся, стихи какие-то сочинял, рассказывал забавные истории. Хороший мужик был. И вот нет его уже. И многих нет.

Где Игорь? Ширяев? Седых? Может, тоже уже в живых нет...

Жили, учились, о чем-то мечтали — тр-рах! — все полетело — дом, семья, институт, сопроматы, история архитектуры, Парфеноны.

Парфенон... как сейчас помню — 454–438 гг. до н. э. Замкнутая колоннада — периптер, 8 колонн спереди, 17 по бокам. А у Тезейона — 6 и 13... Дорический, ионический, коринфский стиль. Я больше люблю дорический. Он строже, лаконичнее.

Ордер состоит из стилобата, колонны и антаблемента. Колонна из фуста, эхина и абака. Нет, не забыл еще. А атаблемент — архитрав, фриз, карниз. Или, наоборот, карниз и фриз. А как эти штуки называются, что по краям? Акро... акро... тьфу ты пропась, забыл-таки... Да... Акротеры.

А кто собор св. Петра строил в Риме? Первый — Браманте. Потом, кажется, Сангалло или Рафаэль. Потом еще кто-то, еще кто-то, потом Микеланджело. Он купол сделал. А колоннаду? Бернини, что ли.

Что за чепуха в голову лезет. Кому это нужно. Мне вот сопку нужно взять, а я о куполе. Прилетит тонная бомба — и нету купола...

Что делать с Фарбером, если я все-таки сопку возьму? Получится разрыв. Четвертая рота впереди, а пятая уступом назад. Прикажут, вероятно, мост взять. А может, третьему батальону? Отрежут мост и соединятся с нами на сопке. Вот это было бы здорово.

А странно... Недавно сидел я на этом кургане с Люсей и на Волгу смотрел, на товарный поезд вниз. И о пулемете говорили. Может, как раз с того места и стреляет сейчас по нас пулемет.

Люся спрашивала тогда, люблю ли я Блока. Смешная девочка. Надо было спросить, любил ли я Блока, в прошедшем времени. Да, я его любил. А сейчас я люблю покой. Больше всего люблю покой. Чтоб меня никто не вызывал, когда я спать хочу, не приказывал...

Кто-то тянет за шинель.

— Товарищ лейтенант... Товарищ лейтенант... Из политотдела пришли, вас спрашивают.

Выглядываю из-под полы. Двое в телогрейках, с набитыми бумагами полевыми сумками. Поверяющие, должно быть, или представители штаба к ночной атаке.

Надо вставать.

Ходики показывают два часа. Впереди еще девять.

9

Разведчики приходят еще засветло. Тельняшки, бушлаты, бескозырки — все как полагается. На спинах немецкие автоматы с торчащими магазинами.

Чумак козыряет — прибыли в ваше распоряжение. Глаза блестят из-под челки. С тех пор, со дня нашей стычки, мы не встречались, его отозвали на берег.

Разговор у нас строго официальный — задача, срок, пункт отправки. Все это он и без меня знает, и говорим мы об этом только потому, что надо об этом говорить. И вообще больше нам не о чем с ним говорить. Он нисколько не старается это скрыть. Тон холодный, сухой, безразличный. Глаза при встрече с моими скучающие и чуть-чуть насмешливые. Ребята его — их трое, как и он, чубатые, расстегнутые, руки в карманы, — стоят в стороне, поглядывают на нас, на губах окурки.

— Маскхалаты возьмете?

— Нет.

— Почему? У меня как раз четыре есть.

— Не надо.

— Водки дать?

- Мы свою пьем. Чужой не любим.
- Ну, как знаете.
- Можете за наше здоровье выпить.
- Спасибо.
- Не стоит.

И они уходят к Карнаухову. Когда я туда прихожу, их уже нет.

В подвале тесно, негде повернуться. Двое представителей политотдела. Один из штадива. Начальник связи из полка. Это все наблюдатели. Я понимаю необходимость их присутствия, но они меня раздражают. Курят все почти беспрерывно. Это уж всегда перед важным заданием. Представитель штадива, капитан, записывает что-то в блокнот, слюнявя карандаш.

— Вы продумали ход операции? — спрашивает он, подымая бесцветные глаза. У него длинные, выдающиеся вперед зубы, налезавшие на нижнюю губу.

— Да, продумал.

— Командование придаст ей большое значение. Вы это знаете?

— Знаю.

— А как у вас с флангами?

— С какими флангами?

— Когда вы выдвинетесь вперед, чем вы прикроете фланги?

— Ничем. Меня будут поддерживать соседние батальоны. У меня не хватает людей. Мы идем на риск.

— Это плохо.

— Конечно, плохо.

Он записывает что-то в блокнот.

— А какими ресурсами вы располагаете?

— Я располагаю не ресурсами, а кучкой людей. В атаку пойдет четырнадцать человек.

— Четырнадцать?

— Да. Четырнадцать. А четырнадцать на месте. Всего двадцать восемь.

— Я бы на вашем месте не так сделал...

Он заглядывает в свой блокнот.

Я не свожу глаз с его зубов. Интересно, скрываются ли они когда-нибудь или всегда так торчат.

Я медленно вынимаю из кармана портсигар.

— Вот когда вы будете на моем месте, тогда и будете поступать так, как вам нравится, а пока что разрешите мне действовать по своему усмотрению.

Он поджигает губы, насколько зубы позволяют ему это. Политотдельщики, наклонив головы, что-то старательно записывают в свои полевые книжки. Они, славные ребята, понимают, что вопросы сейчас неуместны, и молча занимаются своим делом.

Больше никто ничего не говорит.

Время ползет мучительно медленно. Поминутно звонят из штаба, не вернулись ли разведчики. Капитан переключается на Карнаухова. Тот спокойно, изредка улыбаясь и перекидываясь со мной взглядами, обстоятельно на все отвечает — чем вооружены бойцы, и сколько у них гранат, и по сколько патронов у каждого. Адское терпение у этого человека. А капитан все записывает.

Сейчас я, кажется, попрошу их всех уйти отсюда. Могут и на батальонном КП посидеть. В конце концов здесь им совершенно нечего делать. Узнали, что надо, проверили, а за ходом боя могут и оттуда следить.

Часы показывают четверть десятого. Я начинаю нервничать. Разведчики могли бы уже вернуться. Пришедший с передовой боец говорит, что они уже давно уползли и сейчас ничего не слышно. Немцы бросают ракеты, стреляют, как всегда. Не похоже, чтобы их поймали или заметили.

Я выхожу на двор.

Ночь темная-темная. Где-то далеко, за «Красным Октябрем», что-то горит. Чернеют тонкие, точно тушью прорисованные, силуэты исковерканных ферм. На том берегу одиноко ухает пушка — выстрелит и помолчит, выстрелит и помолчит, точно прислушивается. Постреливают пулеметы. Взлетают ракеты. Сегодня почему-то желтые. Белые, вероятно, кончились у немцев. Пахнет горелым деревом и керосином. В двух шагах от нас состав с горючим, днем его хорошо видно отсюда. Все время тонкими струйками из пулевых пробоин в цистерне сочится керосин. Бойцы бегут туда по ночам наполнять лампы.

По старой, с детства еще, привычке ищу в небе знакомые созвездия. Орион — четыре яркие звезды и поясик из трех поменьше. И еще одна — совсем маленькая, почти незаметная. Какая-то из них называется Бетельгейзе, не помню уже какая. Где-то должен быть Альдебаран, но я уже забыл, где он находится.

Кто-то кладет мне руку на плечо. Я вздрагиваю.

— О чем задумался, комбат?

С трудом различаю в темноте массивную фигуру Карнаухова.

— Да так... Ни о чем. На звезды смотрю.

Он ничего не отвечает. Мы стоим и смотрим, как мигают звезды. Выползают откуда-то затерянные обычно в подвалах сознания мысли о бесконечности, космосе, о каких-то мирах, существовавших и погибших, но до сих пор подмигивающих нам из черного, беспредельного пространства. Звезды гаснут, зажигаются. А мы ничего не знаем. И никто никогда не узнает, что в эту темную октябрьскую ночь умерла звезда, прожившая миллионы лет, или родилась новая, о которой тоже через миллионы лет узнают.

- А в Сибири уже снег, — говорит Карнаухов.
- Должно быть, — отвечаю я.
- И морозы.
- И молоко льдинами продают. Кусками. Правда?
- А во Владивостоке еще купаются.
- Там, говорят, море холодное.
- Холодное. Но все-таки купаются.

Где-то далеко-далеко, за Волгой, еле уловимо трещит «кукурузник». Не нашли? А разведчиков все еще нет. Прислушиваемся к приближающемуся звуку. Он идет где-то правее. Приближается, потом удаляется. Не наш. Глухие разрывы далеко на Тракторном. Тревожно мечутся по небу немецкие прожекторы. Расширяются, суживаются, потухают, опять вспыхивают.

И мы стоим и смотрим на прожекторы, на извивающиеся в воздухе красно-желто-зеленые цепочки немецких зениток, на медленно гаснущие в овраге ракеты. И так уж привыкли мы к этому зрелищу, что, прекратись оно вдруг, нам стало бы как-то не по себе, чего-то не хватало бы.

— Ну как, возьмем сопку, комбат? — совсем тихо спрашивает Карнаухов.

— Возьмем, — отвечаю я.

— И по-моему, возьмем, — и он слегка сжимает мне плечо рукой.

— Вас как зовут? — спрашиваю я.

— Николаем.

— А меня Юрием.

— Юрий. У меня брат Юрий — моряк.

— Жив?

— Не знаю. В Севастополе был. На подводной лодке.

— Вероятно, жив, — почему-то говорю я.

— Вероятно, — несколько помедлив, отвечает Карнаухов, и больше мы уже не говорим.

Высоко в небе срывается звезда. Душа в другой мир ушла, говорили в старину. Мы спускаемся вниз. В клубах табачного дыма трудно разобрать лица. Политотдельщики, сидя на корточках, едят консервы. Начальник связи спит, прислонившись к стенке и свесив набок голову. Капитан читает газету, пристроившись к коптилке. Увидев нас, он подымает голову.

— Без четверти десять.

— Без четверти десять...

— А разведчиков нет?

— Нет.

— Это плохо.

— Возможно.

Английской булавкой я выковыриваю фитиль. Коптилка почти не светит, воздуху не хватает.

— Я попрошу всех, не принимающих непосредственного участия в операции, перебраться на батальонное КП.

Глаза у капитана становятся круглыми, он откладывает газету.

— Почему?

— Потому...

— Я прошу вас не забывать, что вы разговариваете со старшим.

— Я ничего не забываю, я прошу вас уйти отсюда. Вот и все.

— Я вам мешаю?

— Да. Мешаете.

— Чем же?

— Своим присутствием. Табаком. Видите, что здесь творится? Дохнуть нечем.

Я чувствую, что начинаю говорить глупости.

— Мое место на батальонном наблюдательном пункте. Я должен следить за вашей работой.

— Значит, вы собираетесь все время при мне находиться?

— Да. Намерен.

— И сопку со мной атаковать будете?

Несколько секунд он пристально, не мигая, смотрит на меня. Потом демонстративно встает, аккуратно складывает газету, засовывает ее в планшетку и, повернувшись ко мне, медленно, старательно выговаривая каждое слово, произносит:

— Ладно. В другом месте поговорим.

И выползает в щель. По дороге цепляется сумкой за гвоздь и долго не может ее отцепить. Политотдельщики смеются. Доедают свои консервы. Я против них ничего не имею. Но не мог же я одного только капитана выставить. Они понимающе смеются и, пожелав успеха, тоже уходят.

В подвале сразу становится свободнее. Можно хоть ноги протянуть и не сидеть все время на корточках.

Я не знаю, почему я сказал капитану, что пойду на сопку. Я не собирался сам участвовать в атаке. Еще утром с майором у нас был разговор по этому поводу. Он показал мне передовицу в «Красной звезде» — «Место командира в бою». В ней осуждались командиры, ведущие лично свои подразделения в атаку. Командир должен все видеть и управлять. В первых рядах он ничего не увидит. Это, пожалуй, верно.

Но вот сейчас, в разговоре с капитаном, эта фраза о сопке вырвалась у меня как-то сама по себе. Впрочем, кто его знает, как ночью управлять боем на расстоянии. Связь каждую минуту может оборваться. И сиди, как крот в норе, — без глаз, без ушей.

Стрелки часов соединяются и застывают около десяти.

Опять звонят из штаба, вернулись ли разведчики. Спрашивает помощник по тылу Коробков, оперативный дежурный. Когда он дежурит, никогда покоя нет: «Доложите обстановочку, хвата-

ет ли семечек, не нужны ли огурчики?» Семечки — это патроны (черные — винтовочные, белые — автоматные), огурчики — мины...

Голова Чумака появляется в щели, как раз когда я отдаю трубку связисту. За Чумаком остальные. Грязные, запыхавшиеся, с мокрыми от пота лицами. Сразу заполняют все помещение.

Я ничего не спрашиваю. Жду.

Чумак молча, вразвалку, подходит к столу, садится на ящик. Большими глотками пьет воду из котелка. Не торопясь вытирает губы, лоб, шею. Вынимает из кармана несколько пачек немецких папирос в зеленых коробках. Бросает на стол.

— Закуривайте.

Всовывает в прозрачный из плексигласа мундштук сигарету с золотым обрезом.

— Можете начинать. Семафор открыт, — и кивнув своим разведчикам: — Шабашьте. До утра не трону.

Я спрашиваю:

— Мины есть?

— В одном только месте. Против пушки с развороченным стволом. Чуть повыше.

— Много?

— Не считал. Штук пять мы выкинули. С усиками. Противопехотные, что ли, шрапнельные.

В руке его блестит медный немецкий взрыватель от мины с тремя торчащими кверху проволочками. Саперы их называют усиками. Тело мины закапывается в землю, и только усики на поверхности земли остаются. Наступишь, боек ударит в капсюль, капсюль воспламенит порох, порох — вышибной заряд, мина подпрыгивает над землей, взрывается в воздухе, рассеивая шрапнельные шарики во все стороны. Паршивая мина.

— Так что левее пушки не идите. А правее — метров двести прощупали — ничего нет.

— А немцев много?

— Черт его знает... Как будто не очень... В блиндажах сидят. Патефон крутят. «Катюшу» нашу...

Чумак шарит что-то по карманам.

— Стихов не пишете?

Черный глаз с золотистым ободком насмешливо смотрит на меня из-под челки.

— Нет. А что?

— Ручку хотел самопишущую подарить. Хорошая ручка. И чернила специальные, в пузырьке.

— Нет. Не пишу.

— Жаль. А я думал, пишете. Вид у вас такой, поэтический.

И, повертев в руках красивую, с малахитовыми разводами ручку, сует ее в карман.

— Немца там одного кокнули, в охране сидел.

Звоню в штаб. Сообщаю, что вернулись разведчики. Валега предлагает водки. Мне не очень хочется, но я все-таки граммов сто выпиваю. Чумак иронически улыбается.

— Чтоб солдатам веселее было?

Я ничего не отвечаю. Ищу автомат. Карнаухов тоже собирается. Чумак грызет мундштук.

— Далеко?

— Нет. Не очень.

— Если на сопку, не рекомендую. Тут уютнее.

Бужу начальника связи. Он так и не ушел. Моргает непонимающими, затынутыми еще сном глазами.

— Покомандуй здесь вместо меня, а я пошел.

— Куда?

— Туда.

— Ага...

По глазам его вижу, что ничего не понимает.

— Вместе с моим начальником штаба, Харламовым, заворачивайте. Увидите, что плохо, открывайте огонь.

Он встает и торопливо кулаками протирает глаза.

— Хорошо... Хорошо...

Я его почти не знаю, только раз на совещании у Бородина видал. Говорит, что парень толковый. Старший лейтенант. Какие-то курсы при Академии кончил.

Валега тоже хочет идти. Но ему, пожалуй, не стоит. Он подвернул ногу и дня три уже похрамывает.

— Как же это так... — недоумевающе смотрит он на меня маленькими, недовольными глазками из-под круглого, выпуклого лба.

Я вставляю магазин в автомат.

— Может, покушаете на дорожку? Консервы есть. Тушенка. Вы ж и обедать-то не обедали как следует. Я открою.

Нет. Мне есть не хочется. Когда вернусь, поем. Он все-таки всовывает мне в карман краюху хлеба и кусок сала, завернутый в газету. Когда я в школу еще ходил, мать тоже на ходу мне завтрак всовывала. Только тогда это была французская булочка или бублик, разрезанный пополам и намазанный маслом.

«Кукурузник» опаздывает. Минут на десять. Они мне кажутся вечностью. В окопе курить нельзя. Просто не знаешь, чем заняться. Окопчик тесный. От неудобного положения млеют ноги. Никак не могу устроиться удобно. Рядом со мной боец, немолодой уже, сибиряк, грызет сухарь. Сегодня вместо хлеба опять выдали су-

хари. При свете ракет видно, как двигаются желваки на впалых небритых щеках.

Карнаухов на правом фланге. Здесь же командует командир взвода Сендецкий — не очень умный, но смелый паренек. На «Метизе» он неплохо отражал немцев. Был даже ранен, легко, правда, но в санчасть не пошел.

Сосед мой перестает хрустеть.

— Слышите?

— Что?

— Не «кукурузник» ли?

Со стороны Волги тархтит. Очень далеко еще. Стараемся не дышать. Звук приближается. Да. Это наш. Летит прямо на нас. Лишь бы только сюда не высыпал. Между нами и немцами метров семьдесят — не больше. Может и в нас угодить. Говорят, они просто руками сбрасывают мины — обыкновенные минометные мины.

Звук приближается. Назойливый, какой-то домашний, совсем не военный... «Кукурузник», «русс-фанер»... В газетах его называют легкомоторный ночной бомбардировщик. Точно жук больший гудит. Есть такие монотонные ночные жуки — гудят, гудят, и никак их не увидишь.

«Кукурузник» уже над самой головой. Делает круг, уточняет, должно быть. Немцы начинают стрелять из-за кургана. Проекторов нет, прожектором его не поймашь, слишком низко.

Сейчас сбросит...

— Ну!

Можно подумать, что он нарочно испытывает наше терпение.

Майор звонил, что прилетит только один самолет. Бомбить будет два раза. Потом минут пять-десять покружится, чтобы дать нам возможность подползти.

«Кукурузник» делает второй круг. Мне кажется, что боец слышит, как у меня колотится сердце. До тошноты хочется курить. Будь я один, я сел бы на корточки и закурил.

«Кукурузник» сбрасывает бомбы. Они тархтят, как хлопушки. Немножко высоко. Немецкие окопы ближе. Впрочем, там, кажется, пулеметы.

Еще один круг... Зажатый в зубах свисток сводит челюсти и нагоняет слюну. Такими свистками, похожими на свирель, футбольные судьи засекают голы.

«Кукурузник» опять сбрасывает. На этот раз по самым окопам. Мы прячем головы. Несколько осколков с характерным свистом проносятся над нашей щелью. Один долго жужжит над нами, точно шмель. Падает совсем рядом, на бруствер, между мной и бойцом. Он такой горячий, что его нельзя взять в руки. Маленький, зазубренный. У меня почему-то мурашки пробегают по спине.

«Кукурузник» строчит из пулемета беглыми, короткими очередями, точно отплеываясь.

Пора...

Даю сигнал, чуть-чуть прикрывая рукой свисток. Прислушиваюсь. Слышно, как справа сыплются комья глины.

Возьмем или не возьмем? Нельзя не взять. Я помню глаза комдива, когда он сказал: «Ну, тогда возмешь».

Снимаю с шеи автомат. Ползу вниз. Минное поле остается позади. Пушка. Она в стороне — метрах в двадцати. Левее меня еще трое бойцов. Они знают, что туда нельзя. Я их предупредил. Я их не вижу, слышу только, как ползут.

«Кукурузник» все еще кружится. Ракет нет. Немцы боятся себя выдать. Это хорошо.

А может, он еще бомбить будет? Может, кто-нибудь напутал? Не два, а три раза... Бывает, что напутают. Или летчик забудет. Давай-ка, мол, сброшу еще, чтоб противнику веселее было...

Переползаю дно оврага. Цепляюсь за кусты. Подымаюсь по противоположному склону. Не напороться бы... Правда, Чумак говорил, что окопы их только за кустами начинаются. Справа хрустят ветки — кустарник сухой. Неосторожный все-таки народ.

Ползу. Все выше и выше. Стараюсь не дышать. Зачем — не знаю. Как будто кто-нибудь услышит мое дыхание. Прямо перед мной звезда, большая, яркая, немигающая. Вифлеемская звезда. Я ползу прямо на нее.

И вдруг — трах-тах-тах-тах... — над самым ухом. Я вдавливаюсь в землю. Мне кажется, что я даже чувствую ветер от пули. Откуда же этот пулемет взялся?

Приподымаю голову. Ничего не разберешь... Что-то темнеет... Кругом тишина. Ни хруста, ни шороха. «Кукурузник» уже где-то за спиной. Сейчас немцы начнут передний край освещать.

Хочется чихнуть. Изо всех сил сжимаю нос пальцами. Тру переносицу. Ползу дальше. Кустарник уже позади. Сейчас будут окопы. Немецкие окопы. Еще пять, еще десять метров. Ничего нет. Я ползу осторожно, щупая перед собой рукой. Немцы любят случайные мины разбрасывать. Откуда-то, точно из-под земли, доносятся звуки фокстрота — саксофон, рояль и еще что-то, не пойму что.

Трах-тах-тах-тах...

Опять пулемет. Но уже сзади. Что за чертовщина? Неужели пролез? Сдавленный крик. Выстрел. Опять пулемет. Началось.

Я бросаю гранату наугад вперед, во что-то чернеющее. Брошаюсь рывком. Чувствую каждую мышцу в своем теле, каждый нерв. Мелькают в темноте, точно всполохнутые птицы, фигуры. Отдельные вскрики, глухие удары, выстрелы, матерщина сквозь зубы. Траншея. Осыпающаяся земля. Путаются под ногами пулеметные ленты. Что-то мягкое, теплое, липкое... Что-то вырастает перед тобой. Исчезает...

Ночной бой. Самый сложный вид боя. Бой одиночек. Боец здесь все. Власть его неограниченна. Инициатива, смелость, инстинкт, чутье, находчивость — вот что решает исход. Здесь нет массового, самозабвенного азарта дневной атаки. Нет чувства локтя. Нет «ура», облегчающего, все закрывающего, возбуждающего «ура». Нет зеленых шинелей. Нет касок и пилоток с маленькими мишенями кокард на лбу. Нет кругозора. И пути назад нет. Неизвестно, где перед, где зад.

Конца боя не видишь, его чувствуешь. Потом трудно что-либо вспомнить. Нельзя описать ночной бой или рассказать о нем. Наутро находишь на себе ссадины, синяки, кровь. Но тогда ничего этого нет. Есть траншея... заворот... кто-то... удар... выстрел... гашетка под пальцем, приклад... шаг назад, опять удар. Потом тишина.

Кто это? Свой... Где наши? Пошли. Стой!.. Наш, наш, чего орешь...

Неужели заняли сопку? Не может быть. С какой же стороны немцы? Куда они делись? Мы с той стороны ползли. Где Карнаухов?

— Карнаухов! Карнаухов!

— А они там — впереди.

— Где?

— Там, у пулемета.

Где-то далеко впереди строчит уже наш пулемет.

11

Карнаухов потерял пилотку. Шарит в темноте под ногами.

— Хорошая, суконная. Всю войну воевал в ней. Жаль.

— Утром найдешь. Никто не заберет.

Он смеется.

— Ну что, товарищ комбат? Взяли все-таки сопку?

— Взяли, Карнаухов. Взяли! — И я тоже смеюсь, и мне хочется обнять и расцеловать его.

На востоке желтеет. Через час будет совсем уже светло.

— Пошлите кого-нибудь на КП, пускай связь тянут.

— Послал уже. Через полчаса сможем с майором разговаривать.

— Людей не проверяли?

— Проверял. Налицо пока десять. Четырех еще нет. Пулеметчики все. Ручных я уже расположил. А станковый — вот здесь, по-моему, неплохо. Второй же...

— Второй — туда, правее. Видите? — говорю я.

— Может, сходим посмотрим?

— Сходим.

Мы идем вдоль траншеи. Наклоняясь, рассматриваем, нет ли пулеметных ячеек. Оборона у немцев, по всему видно, круговая. Самих немцев не видно и не слышно. Стреляют где-то правее и левее — на участке первого и третьего батальонов. Глаза привыкли уже к темноте. Кое-что можно уже разобрать. Раза два на-талкиваемся на трупы убитых немцев. За «Красным Октябрем» все еще что-то горит.

— А где Сендецкий?

— Я здесь, — неожиданно раздается в темноте голос. Потом появляется и фигура.

— Мотай живо на КП. Скажи Харламову, чтоб срочно снимал людей со старых окопов и соединялся с нашим правым флангом. По дороге уточни его фланг. По-моему, за тем кустом уже конец. Так, что ли, Карнаухов?

— Да, дальше никого уже нет.

— Понятно, Сендецкий? Давай! Одна нога здесь, другая — там. Сендецкий исчезает. Мы находим место для пулемета и возвращаемся назад. В темноте натыкаемся на кого-то.

— Комбат?

— Комбат. А что?

— Блиндаж мировой нашел. Идемте посмотрим. Такого еще не видали.

Голос Чумака.

— Ты что здесь делаешь?

— То же, что и вы.

— А ты ж шабашить собирался.

— Мало ли что собирался...

Чумак вдруг останавливается, и я с разгону налетаю на него.

— Ну... Чего стал?

— Слушайте, комбат... Ведь вы же, оказывается...

— Что?

— Я думал, вы поэт, стишки пишете... А выходит...

— Ну ладно, води.

Он ничего не отвечает. Мы идем дальше. Подымается легкий ветерок. Приятно шевелит волосы, забирается через воротник под гимнастерку, к самому телу. Голова слегка кружится, и в теле какая-то странная легкость. Так бывает весной, ранней весной, после первой прогулки за город. Пьянеешь от воздуха, ноги с непривычки болят, все тело слегка ломит, и все-таки не можешь остановиться и идешь, идешь, идешь куда глаза глядят, расстегнутый, без шапки, вдыхая полной грудью теплый, до обалдения ароматный весенний воздух.

Взяли все-таки сопку. И не так это сложно оказалось. Видно, у немцев не очень-то густо было. Оставили заслон, а сами за «Красный Октябрь» взялись. Но я их знаю, так не оставят. Если не сейчас, то с утра обязательно отбивать начнут. Успеть бы только

сорокапятимиллиметровки сюда перетащить и овраг оседлать. Начнет сейчас Харламов возиться — искать, укладывать, раскачиваться. Там, правда, начальник связи с ним. Вдвоем осилят, не так уж и сложно. Лопаты синицынские все еще у меня, до утра бойцы окопаются, а завтра ночью начну мины ставить.

Вифлеемская звезда сейчас уже над самой головой. Зеленоватая, немигающая, как глаз кошачий. Привела и стала. Вот здесь — и никуда больше.

Луна выползла, болтается над самым горизонтом, желтая, не светит еще. Кругом тихо, как в поле. Неужели правда, что здесь бой был?

* * *

Потом мы сидим в блиндаже. Глубокий, в четыре наката, и сверху еще земли с полметра. Дощатые стены, оклеенные бумагой вроде клеенки. Над ломберным столиком с зеленым сукном и гнутыми ножками открытки веером — еловая веточка с оплившей свечкой, круглоглазый мопс, опрокинувший чернильницу, гном в красном колпаке и ангел, плывущий по небу. Чуть повыше — фюрер, экзальтированный, с поджатыми губами, в блестящем плаще.

На столе лампа с зеленым абажуром. Штук пять бутылок. Шпроты. Лайковые перчатки, брошенные на койку.

Чумак чувствует себя хозяином, наливает коньяк в тонконогие с монограммами бокалы.

— Позаботился все-таки фюрер о нашем желудке... Спасибо ему.

Коньяк хороший, крепкий, так и захватывает дух.

Карнаухов выпивает и сейчас же уходит. Чумак с любопытством рассматривает переплетающиеся виноградные лозы на бутылочных этикетках.

— А рука у вас тяжелая, лейтенант. Никогда не думал.

— Какая рука?

Золотистые глаза смеются.

— Да вот эта, в которой папироса у вас.

Ничего не понимаю.

— А у меня вот до сих пор левое плечо как чужое.

— Какое левое плечо?

— А вы не помните? — И он весело хохочет, запрокинув голову. — Не помните, как огрели меня автоматом? Со всего размаху. По левой лопатке.

— Постой... Постой... Когда же это?

— Когда? Да с полчасика тому назад. В окопе. За немца приняли. И как ахнули!.. Круги только и пошли. Хотел со зла ответить. Да тут фриц настоящий подвернулся. Ну, дал ему...

Я припоминаю, что действительно кого-то бил автоматом, но в темноте не разобрал — кого.

— За такой удар и часики не жалко, — говорит Чумак, роясь в кармане. — Хорошие. На камнях. Таван-Вач.

Мы оба смеемся.

В блиндаж вваливаются связисты с ящиками, с катушками. Дышат как паровозы.

— Еле добрались. Чуть к фашистам в гости не попали.

— Как так?

Белесый с водянистыми глазами связист, отдуваясь, снимает через голову аппарат.

— Да они там по оврагу, как тараканы, ползают.

— По какому оврагу?

— По тому самому... где передовая у нас шла.

Глаза у Чумака становятся вдруг маленькими и острыми.

— Ты один или с хлопцами? — спрашиваю я.

— А хлопцы ни при чем. Я и сам сейчас...

Схватив автомат и забыв даже бушлат надеть, исчезает в дверях. Неужели отрезали? Связисты тянут сквозь дверь провод.

— Это точно, что немцы в овраге?

— Куда уж точнее, — отвечает белесый, — нос к носу столкнулись. Человек пять ползло. Мы еще по ним огонь открыли.

— Может, то наши новую оборону занимали?

— Какое там наши! Наши еще в окопах сидели, когда мы пошли. Командира взвода еще по пути встретили, что с горлом перевязанным ходит. Начальника штаба искал.

— А ну давай, соедини с батальоном.

Белесый навешивает на голову трубку.

— Юпитер... Юпитер... Алло... Юпитер...

По бесцветным, с белыми ресницами, глазам его вижу, что никто не отвечает.

— Юпитер... Юпитер... Это я — Марс...

Пауза.

— Все. Перерезали, сволочи. Лешка, сходи проверь...

Лешка, красноносый, лопоухий, в непомерно большой пилотке, ворчит, но идет.

— Перерезали. Факт... — спокойно говорит белесый и вынимает из-за уха загодя, должно быть еще на месте скрученную сигарку.

Я выбираюсь наружу. Со стороны оврага доносится автоматная стрельба и одиночные ружейные выстрелы.

Потом появляется Чумак.

— Так и есть, комбат, — колечко.

— Угодили, значит?

— Угодили. В окопах, что по этому склону, расположились фрицы.

- И много?
 - Разве разберешь? Отовсюду стреляют.
 - А где Карнаухов?
 - Пулемет переставляет. Придет сейчас.
- Чумак вынимает зеленую пачку сигарет.
- Закуривайте. Трофейные.

Закуриваем.

- Да, Чумак, влопались. Что и говорить!

— Влопались, — смеется Чумак. — Но ничего, комбат. Выкрутимся. Мои хлопцы тоже здесь. Пулеметы есть. Запасов хоть отбавляй, они все побросали. В термосах даже ужин горячий. Чего еще надо?

Подходит Карнаухов. Он уже занял круговую оборону. Нашел два немецких пулемета. Гранат тоже много. Ящиков десять нетронутых. И кроме того, в каждой ячейке, в нишах лежат.

— Паршиво только, что с нашей стороны ихние окопы не простреливаются. Круто больно.

- А сколько людей всего у нас?

— Пехоты — двенадцать. Двоих так и не нашел. Два пулемета станковых. Два ручных. Немецких еще два. Шесть, значит.

— Моих ребят еще трое, — вставляет Чумак, — да нас трое. Да двое связистов. Жить можно.

- Двадцать шесть выходит, — говорю я.

Карнаухов подсчитывает в уме.

— Нет, двадцать два. Ручные пулеметчики не в счет, они в числе тех двенадцати.

Со стороны оврага стрельба не прекращается. То вспыхивает, то замирает. Стреляют, по-видимому, наши — с той стороны. Немцы отвечают. Трассирующие пули, точно нити, перебрасываются с одной стороны оврага на другую. По нас стрелять немцам из оврага неудобно. Положение у них тоже не очень-то — зажаты с двух сторон.

Потом стрельба начинается где-то левее. Немцы подтягиваются. Обкладывают нас. Ракет, правда, не бросают; трудно определить точно, где теперь их передний край проходит.

Мы идем проверять огневые точки.

Глупо все получилось. Незачем было мне в атаку ходить. Комбат должен управлять, а не в атаку ходить. Вот и науправлял. Положился на первый батальон. А ведь точно договорился с Синицыным: как дам красную ракету, открыть огонь из всех видов оружия, устроить маленькую демонстрацию, чтоб дать возмож-

ность моим остаткам занять новые позиции. Впрочем, они, кажется, стреляли. Это Харламов с начальником связи провозились. А зубастый капитан, точно предчувствовал, о флангах спрашивал. Вот злится сейчас, должно быть. Или торжествует. Он, по моему, из такой породы людей. Звонит, вероятно, уже по всем телефонам: «Говорил я, предупреждал... а он даже слушать не хотел. Прогнал. Вот и довоевался...»

Можно, конечно, прорваться сейчас к своим. Но к чему это приведет? Сопку потеряем и черта с два уже получим. Сидеть без дела, отстреливаться — тоже глупо. Но не будут же наши лежать там, на той стороне оврага, сложа руки. И третьему батальону сейчас самый раз начать действовать, отрезать мост и соединиться с нами.

Дня на два боеприпасов у нас хватит. Даже если все время придется отражать атаки. Почти весь вчерашний день наши пулеметы нарочно молчали, патроны сэкономили. Гранаты тоже есть. Людей вот только маловато. И все на пятакке. От мин немецких отбоя не будет.

В начале пятого немцы переходят в атаку. Пытаются проползти незаметно. Пулеметы наши еще не пристреляны, но отражаем мы эту первую атаку довольно легко. Немцы даже до окопов не дошли.

В двух местах наши траншеи соединяются с немецкими. Два длинных соединительных хода правильными зигзагами тянутся в сторону водонапорных башен. Глубокие, почти в полный рост. С нашей стороны их совсем не было видно. Я приказываю их перекопать в нескольких местах.

Опять оплошность. Саперных лопат с собой не захватили, а среди трофейных нашли только три, правда, крепкие, стальные, с хорошо обтесанными рукоятками.

Только мы приступаем к копке, как начинается минометный обстрел. Сначала одна, потом две, а к вечеру даже три батареи. Мины рвутся непрерывно, одна за другой. С чисто немецкой методичностью обрабатывают нас. Сидим в блиндажах, выставив только наблюдателей.

Два человека выходят из строя. Одному перебивает ногу, другому вышибает глаз. Перевязываем индивидуальными пакетами, другого у нас ничего нет.

После полудня опять начинаются атаки. Три подряд. Роты две, никак не меньше. Пока есть пулеметы, это меня не страшит. Четырьмя пулеметами мы и целый полк удержим. Хуже будет, если появятся танки. Местность со стороны баков ровная, как стол. А у нас всего два противотанковых ружья — симоновских. Может, наши догадаются установить сорокапятимиллиметровки на той стороне оврага.

Часа в три начинает работать наша дальнобойная с того берега. Около часа стреляют. Довольно метко. Мы успеваем даже

пообедать. Снаряды рвутся совсем недалеко, метрах в ста от нашей передовой. Одна партия совсем близко — осколки через нас перелетают. Часа два немцы нас не тревожат.

Потом, под самый вечер, еще две атаки, артналет — и все. Воцаряется тишина. Появляются первые ракеты.

13

Развалившись на деревянной койке, Чумак рассказывает о какой-то госпитальной Мусе.

Мы с Карнауховым чистим пистолеты.

Удивительно мирно светит лампа из-под зеленого абажура.

— Порядки знаешь какие там? — говорит Чумак. — В Куйбышеве. Ворота на запор. Часовой. Как в тюрьме. Только по дворику гуляй. А дворик — как пятачок. Со всех сторон стены, а посредине асфальт, скамеечки, мороженое продают. Вот и гуляй по этому дворику и сестер обсуждай. А сестры ничего — боевые. Только начальства боятся. Посидят рядом на лавочке или к койке подсядут, но чтоб чего-нибудь — ни в какую... Нельзя — и все... Пока лежачим был — ничего, не тянуло. Даже пугаться начал. А потом, как стал ходить, вижу — оживаю, начинает кровь играть. Но играть-то играет, а толку никакого. «Нельзя, товарищ больной. Не разрешается. Отдыхать вам надо. Поправляться...» Нечего сказать, хорош отдых. Валяйся на койке да в кино по вечерам ходи. А картины все старые — «Александр Невский», «Пожарский», «Девушка с характером». И рвутся, как тряпки. И гипсом воняет. Бррр-р...

Карнаухов улыбается уголком рта.

— Ты ближе к делу, о Мусе какой-то начал.

— И о Мусе будет. Не перебивай. А не нравится — не слушай. Иди пулеметы свои проверяй. Я лейтенанту расскажу. Лейтенант еще не лежал никогда. Научить надо.

Тянется за другой сигаретой.

— Слабые, сволочи. Не накуришься... — и, демонстративно повернувшись в мою сторону, продолжает: — Рука, значит, в гипсе. Лучевую кость раздробило — левую. Ночью спишь, никак нестроишь. Торчит крючок — и все. Хорошо еще, ниже локтя разбило. А у тех, что выше или ключица, — совсем дрянь. Через всю грудь панцирь такой гипсовый, и рука на подставке. Их в госпитале «самолетами» называют. Ходят, а рука на полметра впереди. А вторая рана в задницу. Так и сидит до сих пор там осколок. Сейчас ничего не чувствую. А тогда — на ведро сходить, и то событие. И Муси стесняюсь... А бабеч — что надо! Косищи — во какие. И халатик в обтяжку. Сам понимаешь. Подсядет на койку, — я еще не

ходил, — яичницей порошковой кормит с ложечки, а я как на иголках... Потом стали мы в окна вылазить... Из ванны там хорошо прыгать было. Метра два, не больше. Станешь на отопление и как раз подбородком в подоконник. Капитан там один со мной лежал. Инженер — как ты. Культурный парень, с образованием, до войны на заводе главным инженером работал. Так мы с ним, в одних кальсонах и ночных рубашках с госпитальным клеймом, пикировали. А за углом дом был знакомый. Там передевались — и в город. Капитан был в живот ранен, но поправлялся уже. Вылезал первым, потом за крючок гипсовый меня подтягивал. Так и сигали. А когда забили окно, — заведующая пропускником увидела, — наловчились по водосточной трубе слезать. И как еще слезали!.. Один безногий у нас там был. Нацепит костыли на одну руку, и — как мартышка, только штукатурка сыплется. Приспосабливается народ. Под землю зарой, и то спикирует.

Карнаухов смеется.

— У нас в Баку во время кино пикировали. Только и слышно за окном — хлоп-хлоп-хлоп, один за другим. Кончится сеанс, а в зале только лежащие на койках.

— Что кино... — не поворачиваясь, перебивает его Чумак, — мы в шестой палате лестницу веревочную сделали. Все честь-честью, с перекладинами, как надо. Недели две пользовались. Толстенное дерево там под окном стояло, никто не видел. А потом стали окна мыть, начальство какое-то ждали, и сорвали нашу лестницу. Всю палату к начальнице отделения вызывали. Да что толку. На следующий день из седьмой палаты запикировали...

Скребутся между бревен мыши. Где-то далеко, наверху, потрескивают редкие ночные мины.

Желтобородый гном сидит на мухоморе и курит длинную заковыристую трубку с крышкой. Ангел летит по густому чернильному небу. Удивленно смотрит на опрокинутую чернильницу мопс. Гитлеру кто-то приделал бороду и роскошные мопассановские усы, и он похож сейчас на парикмахерскую вывеску.

В соседнем блиндаже лежат раненные. Все время пить просят. А воды в обрез, два немецких термоса на двадцать человек.

За день мы отбили семь атак и потеряли четырех человек убитыми, четырех ранеными и один пулемет.

Я смазываю пистолет маслом и кладу его в кобуру. Вытягиваюсь на койке.

— Что — спать, лейтенант? — спрашивает Чумак.

— Нет, просто так, полежу.

— Слушать надоело?

— Нет, нет, рассказывай. Я слушаю.

И он продолжает рассказывать. Я лежу на боку, слушаю эту вечную историю о покоренной госпитальной сестре, смотрю на лениво развалившуюся на койке фигуру в тельняшке, на ковы-

ряющиеся в пистолете крупные, блестящие от масла пальцы Карнаухова, на падающую ему на глаза прядь волос. Сгибом руки, чтоб не замазать лица маслом, он поминутно отбрасывает ее назад. И не верится, что час или два назад мы отбивали атаки, волокли раненых по неудобным, узким траншеям, что сидим на пяточке, отрезанные от всех.

— А хорошо все-таки в госпитале, Чумак? — спрашиваю я.

— Хорошо.

— Лучше, чем здесь?

— Спрашиваешь. Лежишь, как боров, ни о чем не думаешь, только жри, спи да на процедуры ходи.

— А по своим не скучал?

— По каким своим?

— По полку, ребятам.

— Конечно, скучал. Потому и выписался на месяц раньше. Свищ еще не прошел, а я уже выписался.

— А говорил, в госпитале хорошо, — смеется Карнаухов, — жри и спи...

— Чего зубы скалишь? Будто сам не знаешь, не лежал. Хорошо, где нас нет. Сидишь здесь — в госпиталь тянет, дурака там повалить, на чистеньких простынках понежиться, а там лежишь — не знаешь, куда деться, на передовую тянет, к ребятам.

Карнаухов собирает пистолет, — у него большой, с удобной для ладони рукояткой, трофейный «вальтер», — впихивает его в кобуру.

— Ты сколько раз в госпитале лежал, Чумак?

— Три. А ты?

— Два.

— А я три. Два раза в армейских, а раз в тыловом.

Карнаухов смеется.

— А странно как-то, когда назад, на фронт возвращаешься. Правда? Заново привыкать надо.

— Из армейских еще ничего, там недолго лежишь. А вот из тыловых... Из Куйбышева я ехал. Даже неловко было. Хлопнет мина, а ты на корточки.

Оба смеются, и Чумак, и Карнаухов.

— Удивительная вот штука, товарищ лейтенант, — говорит Карнаухов, вытирая замасленные руки прямо о ватные штаны, — когда сидишь в окопах, так кажется, ничего нет лучше и спокойнее твоей землянки. Наше КП батальонное совсем уже тыл. А полковое или дивизионное... Бойцы так и называют всех, кто на берегу живет, тыловиками.

— А таких ты не видал, — перебивает Чумак; он вообще не может молча сидеть, — что за сто километров от передовой сидят, а в грудь себя кулаком бьют — фронтовики, мол? У нас вот в госпитале был один...

Он вдруг останавливается, и глаза его застывают на двери.

— Ты откуда это?

Карнаухов тоже смотрит на дверь.

Валег... Самый настоящий Валег — головастый, крутолобий, в невероятных башмаках своих с загнутыми носками. Стоит в дверях. В шинели, кажется моей, до самых пят. Мнется.

— Ты откуда взялся, Валег?

— Оттуда... От нас...

Неловко козыряет. Это у него всегда плохо получается. Снимает из-за спины мешок...

— Тушенку принес, шинель...

— Ты с ума спятил?

— Зачем спятил? Вовсе не спятил. Вот и записка вам.

— От кого?

— Харламов дали, начальник штаба.

— Это он тебя и послал?

— Вовсе не он. Я сам пришел... — Валег вынимает из мешка консервные банки и две буханки хлеба. — Я мешок укладывал, а они с тем, что из штаба полка, чего-то толковали, с вами связаться, говорили, надо. Я и сказал, что иду как раз к вам. Они тут стали что-то искать, потом эту записку дали.

Он достает из набитого, как у всякого солдата, бумажками и письмами бокового кармана сложенную вчетверо блокнотную страничку. Протягивает мне. Аккуратным харламовским почерком написано:

«5.10.42.12.15 КП Ураган.

Товарищ лейтенант. Ввиду поступившего приказа 31-го, доношу, что сегодня в 4.00 нами будет предпринята атака с целью соединения с вами правым флангом с задачей отрезать группировку противника, просочившуюся в овраг, и уничтожения ее. Сообщаю, что получили пополнение 7 (семь) человек и звонили из Бури, что прибыл новый командир нашего хозяйства на ваше место. Мы его еще не видели. Как у вас там, товарищ лейтенант. Приходил капитан Абросимов рано утром и еще несколько человек из большого хозяйства. Держитесь, товарищ лейтенант. Выручим.

Л-т Харламов (Харламов)».

Подпись министерская, размашистая, косая, с великолепно-барочным «Х» и целой стаей завитушек, скобок и точек, точно птицы, порхающие вокруг нее.

Разрываю записку. Ключки сжигаю. Придет же в голову через передовую такую записку посылать. Ох, Харламов, Харламов! Неплохой он в сущности и старательный даже парень, только больно уж...

Валега сопит и никак не может открыть немецким ключом с колесиком на конце консервную банку. Он даже не спрашивает, голоден ли я. Я вопросов не задаю, чувствую, что могу сорваться с нужного тона. Их задают другие — Карнаухов, Чумак. Валега отвечает неохотно.

— Шинель только мешала, не по росту. А так ничего. Там, левее чуть — разрыв у них. Между окопами. Днем высмотрел, а ночью... Может, подогреть, товарищ лейтенант?

— Нет, не надо. Да и подогревать не на чем.

— Примуса ты не догадался притащить? — смеется Чумак. Валега вместо ответа вытягивает из шинели карманную немецкую спиртовку и горсть беленьких, похожих на сахар, плиток сухого спирта. Молча, без тени улыбки, кладет на стол.

— Не стоит, Валега. И так слопаем.

И мы, все четверо, с аппетитом опорожняем банку. Замечательная все-таки вещь — тушенка!

14

Часы показывают половину четвертого. Без четверти четыре. Четыре. Мы ждем. Половина пятого... Пять... Тишина... Шесть, семь... Светает. Мы перестаем ждать.

Еще один день, значит.

Всю первую половину дня немцы поливают нас из минометов — средних и даже тяжелых. Часам к трем из шестнадцати человек нас остается двенадцать. Четверо раненых, из вчерашних еще, умирают. По-моему, от заражения крови. У одного столбняк. Это страшная штука. Он умирает на моих глазах — немолодой уже, лет сорока. Его ранило разрывной пулей в правую руку, чуть ниже локтя. Он все время боялся, что ему ампутируют руку. До войны он был токарем по металлу.

— Як же це так — без руки? — говорил он, осторожно укладывая привязанную к дощечке от патронного ящика руку на колесо. — Без руки в нашому ділі ніяк не можна. Краще б ногу вже.

Он вопросительно посматривал то на меня, то на Карнаухова, будто мнение наше чего-нибудь стоило. Мы утешали его, что кости срастаются быстро, и мясо тоже нарастает, и что нерв у него цел, раз он шевелит пальцами. Это его успокоило. Он даже стал рассказывать о каком-то усовершенствовании, которое он сделал еще до войны в своем токарном станке. Потом у него начало подергиваться лицо. Рот растянулся в страшную напряженную улыбку. Судороги захватили все тело. Он выгибался дугой, упершись пятками и затылком в землю. Кричал. Его невозможно было разогнуть.

— Это столбняк, — сказал Карнаухов, — у нас в медсанбате умер один от этого.

Через два часа раненый умер.

Его фамилия Фесенко. Я узнаю это из красноармейской книжки. Где я слышал эту фамилию? Потом вспоминаю. Это один из тех двух бойцов, которые копали ночью, когда я возвращался с минного поля. Они никак не могли объяснить связному тогда, где комбат.

В наш блиндаж попадает мина — стодвадцатимиллиметровая. Теоретически он должен выдержать — четыре наката из двадцатипятисантиметровых бревен и земля еще сверху. Практически же он выходит из строя, перекрытие выдерживает, но взрывом срывает обшивку и заваливает землей.

Перебираемся в соседний блиндаж, где лежат раненые. Их четыре человека. Один бредит. Он ранен в голову. Говорит о каких-то цинковых корытах, потом зовет кого-то, потом опять о корытах. У него совершенно восковое лицо, и глаза все время закрыты. Он, вероятно, тоже умрет.

Убитых мы не закапываем. Мины свистят и рвутся кругом без передышки. В течение одной минуты я насчитал шесть разрывов. Бывают перерывы. Но не больше пяти — семи минут. В эти семь минут мы успеваем только оправиться и проверить, живы ли еще наблюдатели.

Последнюю цигарку, собранную из всех карманов, — наполовину махорка, наполовину хлебные крошки, — выкуриваем вдвоем — я, Карнаухов и Чумак. Больше табаку нет. Бычки тоже все собраны.

Вода приходит к концу. В один термос попал осколок. Мы заметили это, когда уже почти вся вода вытекла: я наклонился, чтоб поднять карандаш, и попал рукой в лужу. В другом литров десять, не больше. А раненые все время просят пить. Мы не знаем, можно ли им давать. Один ранен в живот, ему никак нельзя. Он все время просит: «Хоть капельку, товарищ лейтенант, хоть капельку, рот сухой...» — и смотрит такими глазами, что хоть сквозь землю провалиться. Пулеметы тоже просят пить.

После трех немцы начинают атаки. Это длится до вечера. Переменяясь. Атака, обстрел, атака, опять обстрел.

Последнюю атаку мы отражаем, совсем уже выбившись из сил. Пулеметы шипят, как чайники.

Где достать воды? Если не будет воды, пулеметы завтра умолкнут. А это значит...

Вечером мы подводим итог.

Людей — одиннадцать. Я, Чумак, Карнаухов, Валега, два связиста, четыре пулеметчика — по два на пулемет, и один рядовой боец, тот самый сибиряк, старик, с которым мы в окопе сидели. Ему перебило мизинец на правой руке, но держится он бодро. Кроме того, трое раненых. Бредивший — к вечеру уми-

рает. Мы выносим его в траншею. Там мы складываем всех убитых.

Пулеметов у нас четыре. Два вышли из строя. К трофейным боеприпасов достаточно, у отечественных — от силы на полдня хватит.

Но главное — вода. Без воды грош цена всем патронам. Неужели наши этой ночью не пойдут на соединение с нами? Не может быть, чтобы не пошли. Они же понимают, что мы не в силах держаться вечно. И что если нас перебьют, с высоткой полку придется распрощаться.

Курить хочется до головокружения. Валега находит где-то у убитого немца мокрую, измятую сигарету. Мы курим ее поочередно, глубоко затягиваясь, закрывая глаза, обжигая пальцы. Часа через два мы начнем так же думать о воде. В термосе не больше двух литров, — пулеметный НЗ¹.

Связисты выволакивают откуда-то из недр блиндажа дюжину аппетитных, жирных селедок, завернутых в пергамент. Я невольно глотаю слюну. Серебристые, гладкие, с мягкими спинками и маленькими, как роса, капельками жира у самых голов. Так бы и вцепился зубами. Я вылезаю в траншею и бросаю их как можно дальше в сторону немцев. Потом возвращаюсь назад.

Раненые утихли. Дышат только тяжело. Лежат прямо на земле. Мы им подстелили шинели. Это куда менее устроенный блиндаж. Сбитое из досок подобие стола, покрытое газетой, — и все. На фоне сырой, обсыпавшейся стенки нелепо выглядит наша лампа с зеленым абажуром. Мы ее перенесли из того блиндажа. Трудно даже понять, почему она сохранилась.

Карнаухов рисует огрызком карандаша какие-то цветочки на полях газеты. Он осунулся, и под глазами у него большие черные круги. Чумака, скинув тельняшку, просматривает швы.

— Надо будет побаниться, — устало говорит он, почесываясь. — Соединимся, устрою баню. Натаскаем ночью воды с Волги и выкупаемся. Все тело зудит.

— Пока война не кончится, все равно не избавишься, — успокаивает Карнаухов. — Белье не прожаривают. Постирают в Волге — и все. А что толку от такой стирки.

Я слежу за вздрагивающими под натянутой кожей, как мячики, бицепсами Чумака. По нему хорошо анатомию изучать.

— Вот кончится война, посадим Гитлера в бочку со вшами и руки свяжем, чтоб чесаться не мог, — говорит он, не отрываясь от своей работы.

Сидящий в углу белобрысый связист весело смеется. Ему, по видимому, нравится такой вариант наказания. Откровенно го-

¹ НЗ — неприкосновенный запас. (Прим. автора.)

воя, мне он тоже нравится. Вши, пожалуй, самое мучительное на фронте.

Чумак натягивает на себя тельняшку. Встает.

— Эх, закурить бы...

— Да, неплохо бы. Хотя бы «Мотор» за тридцать пять копеек.

Одну на троих.

— «Мотор»... Что «Мотор»? Мечтать так уж мечтать...

— Вы что до войны курили, товарищ лейтенант?

— «Беломор» и «Труд». В Киеве такие были, тоже два рубля.

— И я «Беломор»... Толстые, хорошие. Ленинградские особенно.

— Что вы после этого в папиросах понимаете, — говорит Чумак. — О «Беломоре» мечтают. «Казбек» — вот это папиросы. Я по две пачки выкуривал в день. Было времечко.

Он ходит взад и вперед по блиндажу. Два шага туда, два шага сюда. Потягивается, закинув руки за голову.

— Наденешь чарли — тридцать сантиметров, кепку на брови, бабу под руку, — пошел по Примбулю.

— Ты кем до войны был?

— Я? Шофером. «ЗИС» водил. Потом на «Червоной Украине» служил. По Примбулю в Севастополе хиза ж так гулял, в беленьких брючках и с лентами до пояса. Надраишь мелом бляху, гюйс выгладишь, чистенький — «форма раз», только черноморская, белые брюки с клинушками, и па-ашел в город.

— Ты до войны думал о чем-нибудь, кроме баб? А, Чумак?

Чумак останавливается. Как будто даже задумывается.

— О водке еще думал. О чем же еще. Денег — завались. Научным работником становиться не собирався... — Пауза. — А вот сейчас...

— Неужели простыл?..

Чумак отвечает не сразу. Засунув руки в карманы и расставив ноги, он старается подобрать слова.

— Не то чтоб простыл... Но вот на войне... — Опять пауза. — Понимаешь, до войны я сам себе царь и Бог был. Была у меня шпана. Вместе выпивали, вместе морды били таким вот... — он слегка улыбается и обычным хитрым глазом подмигивает мне, — таким вот субчикам. Но в общем не в этом дело.

Он садится на край стола. Раскачивает ногой. Ему трудно сформулировать свою мысль. Вертится где-то, а в точку попасть не может.

— В Севастополе, например, такой случай. Еще в самом начале осады. В декабре, что ли, или в конце ноября? Не помню уже. Был у меня товарищ. Даже не товарищ, а просто вместе на «Червоной» служили. Терентьев. Тоже матрос. Потом вместе на берег в окопы попали. Около Французского кладбища. До войны мы с ним как кошка с собакой жили. Бабу одну все хотел отбить у меня. А паренек ничего — складный. У меня все кулаки чесались выбить ему пару зубчиков...

В углу начинает ворочаться раненый. Просит пить. Мы даем ему пососать мокрую тряпочку — все, что сейчас в наших силах. Он натягивает на лицо шинель и успокаивается. Я стараюсь не смотреть в ту сторону, где стоит термос с водой. Чумак кладет на него мокрую тряпочку и опять садится на край стола.

— В общем, не любил я его. Да и он меня...

Карнаухов сидит, подперев руками голову. Не сводит серых глаз с Чумака. Чумак раскачивает ногой.

— Выбил я ему-таки парочку. А он мне ребра помял. Недельки две, а то и три вздохнуть по-настоящему не мог. Но не в этом дело... Короче говоря, фрицы мне всю спину разрывной изодрали. Шагах в пятнадцать от их окопов. Я думал, что совсем конец уже. Пузыри стал пускать. И, хрен его знает, не пошел ли бы совсем ко дну... А утром в нашем окопе очнулся. Оказывается, этот самый Терентьев приволок.

Несколько секунд мы сидим молча. Чумак ковыряет ногтем край стола. Карнаухов как сидел, так и сидит, подперев голову руками. Дрожит язычок пламени в лампе. Один кончик у него, длинный и тонкий, черной струйкой лижет стекло.

— Умер он потом, этот Терентьев. Обе ноги оторвало. В Гаграх, в госпитале, узнал я. Мне его карточку передали. Просил перед смертью... В общем — нету Терентьева, что говорить...

Он соскакивает со стола и опять начинает ходить по блиндажу взад и вперед. Карнаухов, не поворачивая головы, следит за ним глазами.

— Понимаешь, до войны для меня ребята были, ну, как бы это сказать, ну, чтобы пить не скучно одному было. А сейчас... Вот есть у меня разведчик один. Да ты его знаешь, комбат, тот самый, из-за которого мы с тобой поругались вроде. Так я за него, знаешь, зубами горло перегрызу. Или Гельман — еврей. Куда хочешь посылай, все сделает. У него семью, в местечке где-то, всю целиком фашисты вырезали...

Он прерывает себя на полуслове и, круто повернувшись, выходит из блиндажа. Слышно, как скрипят ступеньки от его шагов. Карнаухов опять принимается за свой рисунок.

— Вы что, не в ладах с Чумаком были, товарищ лейтенант? — деликатно спрашивает он, не поднимая головы.

— Да. Что-то в этом роде, — отвечаю я.

Карнаухов улыбается.

— Рассказывал мне давеча. Из-за какого-то убитого. Так, что ли?

— Да. С немца началось.

— Не понравились вы ему тогда, говорит.

— Что ж делать, на всех не угодишь.

— А теперь как? Наладилось?

— Что наладилось?

— Помирились?

— А разве мы ссорились? Просто характер у него строптивый. Приказаний не любит. Я люблю таких. То есть не тех, которые приказаний не выполняют, а таких, как Чумак, задиристых.

— В этом ему не откажешь.

— Не только в этом.

— А мне казалось, не такие вам нравиться должны.

— Не такие? А какие же?

— Ну, как вам сказать... Не одного поля вы ягоды, так сказать.

— А может...

Но на этом разговор кончается. Входит Чумак.

— А где бачок пустой? Из-под воды.

— Какой бачок?

— Ну термос. Не все ли равно. Он у входа стоял.

— А что — нет?

— Нет.

— Куда ж он делся?

— Вот я и спрашиваю.

— Я выходил, он у входа стоял, — говорит Карнаухов, — споткнулся еще.

— А теперь нет. Я все обшарил.

— Валега, вероятно, взял. Штопать дырку от осколка.

— А где Валега?

— Тут был. Недавно. Автомат чистил. А тебе зачем?

— Да надо ж с водой что-то соображать. И пить хочется, и пулеметы эти чертовы.

— Что ж ты сообразишь? — не понимаю я.

— Чего-нибудь... Старик вот говорит, будто журчит что-то. Он слева у оврага стоит. Говорит — журчит. Может, ключ какой.

— Какой там ключ. Керосин из цистерн течет. Ночью знаешь как слышно? До путей метров двести, не больше.

— А почему не проверить?

— Проверяй, если охота.

Мы разливаем оставшуюся воду по котелкам. Даже на два котелка не хватает. Взмахнув термос на спину, Чумак уходит. Минут через пять объявляется Валега. Сидит в углу и чистит автомат, как будто и не уходил никуда.

— Ты где пропадал?

— Я не пропадал, — отвечает он, выковыривая грязь щепочкой из автомата.

— Бачок брал? Термос?

— Брал.

— Какого дьявола! Мы тут с ног сбились.

Валега смотрит на меня с укоризной.

— Вы же сами говорили, что воды нет.

— Ну?

— Вот я и пошел за ней.

- За водой?
- Ну да — за водой.
- На Волгу, что ли?
- Нет. До Волги не дошел.
- Да ты говори толком. Принес, что ли, воды?
- Воды не принес. Вина принес. — И он опять углубляется в затыльник своего автомата.

Постепенно картина выясняется. Еще днем он наметил себе путь движения. Какую-то тропинку правее моста, в сторону третьего батальона.

- Отчего ж ты ничего не сказал?
- А вы б не пустили. Чего ж говорить.

Короче говоря, до третьего батальона он не добрался, наткнулся на какую-то кухню немецкую.

— Там, около насыпи. Ночью, должно быть, приезжает. На конях. Здоровые такие, битюги. Я и подполз. А там как раз бачка, канавка. Они туда помои выливают. Два фрица сидят и курят. В темноте только огоньки видать. И вполголоса что-то посвоему — хау, хау, хау... Потом один зажигалку зажег. Вижу, около кухни термоса стоят. Такие, как этот. Шагах в пяти. Наверное, чай или кофе, думаю. А они все лопочут, лопочут. Потом один ушел, другой остался. Сидит и курит. А я жду. Минут десять прождал. Все брюхо от помоев промокло. Потом он оправиться пошел. За кухню зашел. Я тут и взял один термос. А тот, наш, оставил. Пустой... Ругаться будут.

И Валега улыбается чуть-чуть, уголком рта. Это с ним редко случается.

- Вино — дрянь, кислятина... Как раз для пулемета.

Мы выпиваем каждый по полстакану. Маленькими глотками, растягивая удовольствие, полоща рот. Потом ложимся спать.

Мне снится Черное море. Я ныряю со скалы в прозрачную, дрожащую солнечными иглами воду. А вокруг медузы — большие и маленькие, точно зонтики.

15

Атака наших не удастся. Мы стоим в траншеях и следим за перестрелкой. Немцы сыпят из пулеметов без всякой передышки. Очереди сталкиваются, перекрещиваются, взлетают высоко в небо. То тут, то там на той стороне оврага вспыхивают минные разрывы. Потом все утихает. Минут десять еще постреливают минометы. Потом и они умолкают. Остаются дежурные методического огня. Мы возвращаемся в землянку.

До утра уже не спим. Разговор не клеится. Отсутствие табака делает нас раздражительными. Раненые все время просят пить. К утру еще один умирает.

В семь прилетает «рама». Урчит, урчит без конца, выворачиваясь, поблескивая стеклами. Потом без всякой подготовки немцы переходят в атаку.

Мы отстреливаемся четырьмя пулеметами. На двух — пулеметчики, на двух — Чумак с Карнауховым и я с Валегой. Связисты со стариком держат фланги.

Солнце светит из-за спины. Стрелять хорошо.

Потом обстрел. Мы снимаем пулеметы и садимся на корточки. Осколки летят через голову. Только сейчас замечаю, как осунулся Валега. Щеки совсем ввалились и покрылись какими-то лишаями. А глаза большие и серьезные. Колени его почти касаются ушей.

Одна мина разрывается в проходе в нескольких шагах от нас.

— Сволочи! — говорит Валега.

— Сволочи! — повторяю я.

Обстрел длится минут двадцать. Это очень утомительно. Потом мы вытягиваем пулемет на площадку и ждем.

Чумак машет рукой. Я вижу только его голову и руку.

— Двоих левых накрыло, — кричит он.

Мы остаемся с тремя пулеметами.

Отражаем еще одну атаку. У меня заедает пулемет. Он немецкий, и я в нем плохо разбираюсь. Кричу Чумаку.

Он бежит по траншее. Хромает. Осколок задел ему мягкую часть тела. Бескозырка над правым ухом пробита.

— Угробило тех двоих, — говорит он, вынимая затвор. — Одни тряпки остались.

Я ничего не отвечаю. Чумак делает что-то неуловимое с затвором и вставляет его обратно. Дает очередь. Все в порядке.

— Патронов хватит, комбат?

— Пока хватит.

— Там еще один ящик лежит, у землянки. Последний, кажется...

— В него мина попала.

Он смотрит мне прямо в глаза. Я вижу в его зрачках свое собственное изображение.

— Не уйдем, лейтенант? — губы его почти не шевелятся. Они сухие и совсем белые.

— Нет! — говорю я.

Он протягивает руку. Я жму ее. Изо всех сил жму.

Потом убивает старика сибиряка.

Опять стреляем. Пулемет трясется, как в лихорадке. Я чувствую, как маленькие струйки пота текут у меня по груди, по спине, под мышками...

Впереди противная серая земля. Только один корявый, точно рука с подагрическими пальцами, кустик. Потом и он исчезает — срезает пулемет.

Я уже не помню, сколько раз появляются немцы. Раз, два, десять, двенадцать. В голове гудит. А может, то самолеты над головой? Чумака что-то кричит. Я ничего не могу разобрать. Валега подает ленты одну за другой. Как быстро они пустеют. Кругом гильзы, ступить негде.

Давай еще! Еще... Еще... Валега! Он тащит ящик. У него смешно дрыгает зад — вправо, влево. Пот заливает глаза, теплый, липкий.

Давай!.. Давай!..

Потом какое-то лицо — красное, без пилотки, лоснящееся.

— Разрешите, товарищ лейтенант.

— Уйди...

— Да вы ж ранены...

— Уйди...

Лицо исчезает, вместо него что-то белое, или желтое, или красное. Одно на другое находит. В кино бывает такое: расплывающиеся круги, а сверху надпись. Круги расширяются, становятся бледнее, бесцветнее. Дрожат. Потом вдруг нашатырь. Круги исчезают. Вместо них лицо. Золотой чуб, расстегнутый ворот, глаза, смеющиеся голубые глаза. Ширяевские глаза. И чуб ширяевский. И лампа с зеленым абажуром. И нашатырем воняет так, что плакать хочется.

— Узнаешь, инженер?

И голос ширяевский. И кто-то трясет, обнимает меня, и чей-то воротник лезет в рот — шершавый и колючий.

Ну конечно, это же наш блиндаж. И Валега. И Харламов. И Ширяев. Настоящий, живой, осязаемый, золоточубый Ширяев.

— Ну, узнаешь?

— Господи, боже мой, конечно же!

— Ну, слава богу.

— Слава богу.

Мы трясем друг другу руки и смеемся и не знаем, что еще сказать. И все кругом почему-то смеются.

— Вы осторожнее, товарищ старший лейтенант, они же ранены. Совсем растрясете.

Это, конечно, Валега. Ширяев отмахивается.

— Какое там раненый. Сорвало кожу и все. Завтра заживет.

Я чувствую слабость. Голова кружится. Особенно при поворотах.

— Пить хочешь?

Я не успеваю ответить, в зубах моих кисловатая жестянка, и что-то холодное, приятное разливается по всему телу.

— Откуда взялся, Ширяев?

— С луны свалился.

— Нет. Серьезно.

— Как — откуда? Получил назначение и все. Комбатом в твой батальон. Недоволен?

Он ничуть не изменился. Даже не похудел. Такой же крепкий, ширококостый, подтянутый, в пилотке на одну бровь.

— А тебя малость того... подвело, — говорит он, и широкая белозубая улыбка никак не может сойти с его лица. — Не очень-то отдыхаете.

— Да, насчет отдыха слабовато... Но погоди, погоди. Сейчас-то вы откуда взялись?

— Не все ли равно откуда. Взялись и все.

— А фрицы?

— Фрицы — фрицами. Из оврага убежали. Двух пленных даже оставили.

— А вас много?

— Как сказать. Два батальона. Твой и третий. Человек пятьдесят.

— Пятьдесят?

— Пятьдесят.

— Врешь!

Он опять смеется. И все окружающие смеются.

— Чего же врать. По-твоему, много?

— А по-твоему?

— Как сказать...

— Стой... А мост? Мост как?

— Сидят еще там человек пять, — вставляет Харламов, — но не долго уж им.

— Здорово. Просто здорово. А Чумак, Карнаухов?

— Живы, живы...

— Ну, слава богу. Дай-ка еще водицы.

Я выпиваю еще полторы кружки. Ширяев встает.

— Приводи себя в порядок, а я того, посмотрю, что там делается. Вечером потолкуем — Оскол, Петропавловку вспомним. Помнишь, как на берегу с тобой сидели? — Он протягивает руку. — Да, Филатова помнишь? Пулеметчика. Пожилой такой, ворчун.

— Помню.

— Немецким танком раздавило. Не отошел от пулемета. Так и раздавило их вместе.

— Жаль старика.

— Жаль. Мировой старик был.

— Мировой.

Несколько секунд мы молчим.

— Ну, я пошел.

— Валяй. Вечером, значит.

И он уходит, надвинув пилотку на левую бровь.

Валега вынимает из кармана завернутый в бумажку табак и протягивает мне.

* * *

Вечером мы сидим с Ширяевым на батальонном КП — в трубе под насыпью.

Рана у меня чепуховая — сорвало кожу на лбу и дорожку в волосах сделало. Я могу даже пить. Правда, не много. И мы пьем какой-то страшно вонючий не то спирт, не то самогон. Закусываем селедкой. Это та самая, которую я выкинул на сопке. Валега, конечно, не мог перенести этого.

— Разве можно выбрасывать. Прошлый раз выпивали, сами говорили: «Вот селедочки бы, Валега...» — и раскладывает ее аккуратненькими ломтиками, без костей, на выкраденной из харламовского архива газете. Из-за этого у них всегда возникают ссоры.

Мы сидим и пьем, вспоминаем июнь, июль, первые дни отступления, сарайчики, в которых расстались. После этого Ширяев почти весь батальон потерял. Немцы их около Кантемировки окружили. Сам он чуть в плен не попал. Потом с четырьмя оставшимися бойцами двинулся на Вешенскую. Там опять чуть к немцам не попали. Выкрутились. Перебрались через Дон. За Доном в какую-то дивизию угодил, собранную из остатков разбитых. Воевал под Калачом. Был легко ранен. Попал в Сталинград — в резерв фронта. Там около месяца проторчал и вот сейчас получил назначение в наш полк комбатом.

Лежа на деревянной, сбитой из досок койке, я рассматриваю Ширяева. Стараюсь найти в нем хоть какую-нибудь перемену. Нет, все тот же — даже голубой треугольник майки выглядит из-за расстегнутого ворота.

— О Максимове ничего не слышал? — спрашиваю я.

— Нет. Говорил мне кто-то, не помню уже кто, будто видел его где-то по эту сторону Дона. Но маловероятно. Я всю эту сторону исколесил — ни разу не встретил.

— А из наших с кем встречался?

— Из наших? — Ширяев морщит нос. — Из наших... кое-кого из командиров рот. Начальника разведки — Гоглидзе. На машине проехал. Рукой махал. Ну, кого еще? Из медсанбата девчат. Парторга Быстрицкого... Да! — Он хлопает ладонью по столу. — Как же! Друга твоего, химика, как его?

— Игоря? Где? — Я даже приподымаюсь.

— На этой уже стороне. Дней пять тому назад.

— Врешь.

— Опять врешь. На «Красном Октябре» он. В тридцать девятой.

— В тридцать девятой?

— И не химик почему-то, а тоже инженер, как ты. Какие-то минные поля, фугасы, тому подобная хреновина.

— А ты что в тридцать девятой делал?

— Да ничего. Случайно совсем вышло. Штаб армии искал. Какой-то дурак сказал мне, что он в Банном овраге. Я и двинул туда. А там знаешь что делается? За три шага ничего не видно. Дым, пыль, — черт-те что... «Певуны» как раз налетели. Я — в щель. Даже не в щель, а так что-то. Потом вижу дверь деревянную. Давай туда, хоть от осколков спасет. Влезаю внутрь. Потом, когда они уже улетели, хочу уходить, а меня кто-то за руку. Смотрю — Игорь твой. Не узнал даже сначала. Усики сбрил. Черный весь, закопченный. По глазам только и узнал.

— Ну, живой, здоровый?

— Живой, здоровый. О тебе, конечно, спрашивал. А что я мог сказать? Не знаю — и все. Пожалели мы, пожалели, а потом он и говорит, будто в сто восемьдесят четвертой ты. Боялся только, что цифру перепутал. Но я записал все-таки. Решил обязательно к тебе попасть. Вакантных мест теперь в дивизии знаешь сколько. В штабе армии и попросился в сто восемьдесят четвертую. Они с распростертыми объятиями. А в дивизии узнал, в каком ты полку.

— Молодчина, ей-богу!

— Вот так-то оно и вышло...

— А Седых не видал?

— Нет, не видал. И спросить забыл. Мы всего минут десять разговаривали.

— Его портсигар до сих пор у меня хранится. На прощанье мне подарил.

Я вынимаю из кармана целлулоидовый портсигар.

— Хороший, — говорит Ширяев.

— Хороший. Сами делали. На Тракторном когда сидели. Там этого целлулоида знаешь сколько было?

— Здорово сделано. Неужели сами делали?

— Сами.

— А выцарапал на крышке кто?

— Я. Это монограмма. Просто ножом выцарапал.

— Здорово. У тебя только один?

— Один. Свой я подарил. А это от Седых — на память. Славный паренек был.

— Славный.

— Никак только поверить не мог, что земля вокруг солнца вертится, а не наоборот.

Ширяев еще наливает.

— Мне больше не надо, — говорю я, — у меня уже голова кружится.

Потом приходит Абросимов — начальник штаба полка. Бледный. Вид недовольный. Говорит, что комдив чуть не снял его за то, что в прошлую, не в эту, а в прошлую ночь атаку сорвал. Но что он мог поделаться, — полк опять собирались передислоцировать. Затем отменили.

Они с Ширяевым уходят на передовую, а мы с Харламовым подготавливаем материалы для передачи батальона.

Часов в двенадцать Ширяев возвращается. Я сдаю батальон, и с восходом луны мы с Валегой отправляемся на берег. Карнаухов и Чумак все еще на передовой, я с ними так и не попрощался.

Харламов протягивает руку.

— Если скучно на берегу будет, заглядывайте к нам, — и смотрит на меня добрыми глазами.

Мне немножко грустно. Привык я уже к батальону. Боец у входа, фамилия у него какая-то длинная и заковыристая, никак не упомнишь, даже козыряет, перехватив винтовку из правой руки в левую.

— Уходите от нас, товарищ комбат?

— Ухожу.

Он покашливает и опять козыряет, на этот раз уже прощаясь.

— Заходите, не забывайте.

— Обязательно, обязательно, — говорю я и, опершись на плечо Валеги, выбираюсь из траншеи. Боец с заковыристой фамилией деликатно подталкивает меня под зад.

16

Три дня я бездельничаю. Ем, сплю, читаю. Больше ничего. Новый блиндаж Лисагора великолепен — чудо подземного искусства. Семиметровый туннель — прямо в откосе. В конце направо комната. Именно комната. Только окон нет. Все аккуратно обшито досками: тоненькими, подогнанными, ножа не воткнешь. Пол, потолок, две коечки, столик между ними. Над столиком овальное, ампирное зеркало с толстощеком амуром. В углу примус, печка-колонка. Тюфяки, подушки, одеяла. Что еще надо? Напротив, через коридорчик, саперы все еще долбят. Уже для себя.

— Как боги заживем, — говорит Лисагор. — Нары в два этажа сделаем, пирамиду для винтовок и инструмента, стол, скамейку, угол кухонный. В коридоре склад для взрывчатки. Знаешь, сколько над нами земли? Четырнадцать метров! И все глина. Твердая, как гранит. В общем, всерьез и надолго.

Мне все это нравится. Хорошее безопасное помещение на фронте если не половина, то во всяком случае четверть успеха. И я три дня наслаждаюсь этой четвертушкой.

Утром Валега кормит меня макаронным супом, жирным и густым — ложку не провернешь, потом чаем из собственного самовара. Он уютно шумит в углу. Подложив подушку под спину, я решаю кроссворды из старых «Красноармейцев» и наслаждаюсь чтением московских газет.

На земном шаре спокойно.

В Новой Зеландии объявлен новый призыв в армию. На Египетском фронте активность английских патрулей. Мы восстановили дипломатические отношения с Кубой и Люксембургом. Авиация союзников совершила небольшие налеты на Лаэ, Саламауа, Буа на Новой Гвинее и на остров Тимор. Бои с японцами в секторе Оуэн-Стэнли стали несколько более интенсивными.

В Монровию, столицу Либерии, прибыли американские войска.

На Мадагаскаре английские войска тоже куда-то движутся, что-то занимают, с кем-то — трудно понять с кем — воюют и даже пленных захватывают.

В Большом театре идет «Дубровский». В Малом — «Фронт» Корнейчука. У Немировича-Данченко — «Прекрасная Елена»...

А здесь, на глубине четырнадцати метров, в полутора километрах от передовой, о которой говорит сейчас весь мир, я чувствую себя так уютно, так спокойно, так по-тыловому. Неужели же есть еще более спокойные места? Освещенные улицы, трамваи, троллейбусы, краны, из которых, повернешь вентиль, и вода потечет? Странно...

И я лежу, уставившись в потолок, и размышляю о высоких материях, о том, что все в мире относительно, что сейчас для меня идеал — эта вот землянка и котелок с лапшой, лишь бы горячая только была, а до войны мне какие-то костюмы были нужны и галстуки в полоску, и в булочной я ругался, если недостаточно поджаренный калач за два семьдесят давали. И неужели же после войны, после всех этих бомбежек, мы опять... и так далее, в том же духе.

Потом мне надоедает рассматривать потолок и думать о будущем. Я выбираюсь наружу.

По-прежнему летают на «Красный Октябрь» самолеты, по-прежнему рвутся мины на Волге, на том, а иногда и на этом берегу, снуют лодки по реке, и немцы их обстреливают. Но мало уже кто обращает на это внимание. Даже когда парочка шальных «мессеров» обстреливает берег и «юнкерсы» для разнообразия сбрасывают бомбы не на «Красный Октябрь», а на нас, никто особенно не волнуется. Заберутся куда-нибудь под бревна или в щели и выглядывают оттуда. Потом вылезают и, если кого-нибудь убило, закапывают тут же на берегу, в воронках от бомб.

Раненых ведут в санчасть. И все это спокойно, с перекурами, шуточками.

Примостившись на какой-то тянущейся вдоль берега, неизвестного для меня происхождения толстой трубе, я болтаю ногами. Курю сногшибательную, захватывающую дух смесь, наслаждаясь последними теплыми солнечными лучами, голубым небом, церквушкой на том берегу, и думаю... нет — пожалуй, ни о чем не думаю. Курю и болтаю ногами.

Подходит Гаркуша, усатый помкомвзвода. Я ему показываю часы, останавливаться что-то стали. Он их рассматривает, встряхивает, говорит, что дрянь — цилиндр, и тут же у моих ног, положив на колени дощечку, начинает чинить их. Движения у него поразительно точные, хотя, казалось, часы должны были бы сразу раздавиться и смяться от одного прикосновения здоровенных мозолистых ручищ.

Профессии его довоенной я так и не могу уловить. Ему двадцать шесть лет, а он успел уже и часовщиком, и печником, и водолазом в ЭПРОНе, и даже акробатом в цирке побывать, и три раза жениться, и со всеми тремя регулярно переписываться, хотя у двух из них уже новые мужья.

В разговоре он сдержан, но на вопросы отвечает охотно. От нечего делать я задаю их много. Он отвечает обстоятельно, будто анкету заполняет. От часов не отрывается ни на минуту. Один только раз уходит в туннель проверить саперов.

Потом появляется Астафьев, помощник начальника штаба по оперативной части, — ПНШ-1, по-нашему. Молодой, изящный, с онегинскими бачками и оловянным взглядом. Он чуть-чуть картавит на французский манер. По-видимому, думает, что ему идет. Мы с ним знакомы только два дня, но он уже считает меня своим другом и называет Жоржем. Его же зовут Ипполитом. По-моему, очень удачно. Чем-то неуловимым напоминает он толстовского Ипполита Курагина. Так же недалек и самоуверен. Он доцент истории Свердловского университета. Куря папиросу, оттопыривает мизинец и дым выпускает, сложив губы трубочкой.

Профессия обязывает, и он уже собирает материалы для будущей истории.

— Вы понимаете, как это интересно, Жорж? — говорит он, изящно прислонившись к трубе и предварительно сдунув с нее пыль. — Как раз сейчас, в разгар событий, нельзя об этом забывать. Именно нам, участникам этих событий, людям культурным и образованным. Пройдут годы, и за какую-нибудь полуистлевшую стрелковую карточку вашего командира взвода будут платить тысячи и рассматривать в лупу. Не правда ли?

Он берет меня за пуговицу и слегка покручивает указательным и большим пальцами.

— И вы мне поможете, Жорж. Правда? Рассчитывать на Абросимова или других, ему подобных, не приходится, вы сами понимаете. Кроме выполнения приказа или захвата какой-нибудь сопки, их ничего не интересует.

И он слегка улыбается с видом человека, ни минуты не сомневающегося, что не согласиться с ним нельзя.

Как сказать, может быть, он и прав. Но меня сейчас это не интересует. Вообще он меня раздражает. И бачки эти, и «Жорж», и розовые ногти, которые он все время чистит перочинным ножом.

Над обрывом появляется вереница желтокрылых «юнкеров». Скосив на них глаз, Астафьев делает грациозный жест рукой.

— Ну, я пошел... Формы совсем заели. По двадцать штук в день. Совсем обалдели в штадиве. Заходите, Жорж, — и скрывается в своем убежище.

«Юнкеры» выстраиваются в очередь и пикируют на «Красный Октябрь».

Высунув кончик языка, Гаркуша старательно впихивает пинцетом какое-то колесико в мои часы.

На командирской кухне стучат ножи. На обед, должно быть, котлеты будут.

17

К концу третьего дня меня вызывают в штаб. Прибыло инженерное имущество. Я получаю тысячу штук мин. Пятьсот противотанковых ЯМ-5 — здоровенные шестикилограммовые ящики из необструганных досок, и столько же маленьких противопехотных ПМД-7 с семидесятипятиграммовыми толовыми шашками. Сорок мотков американской проволоки. Лопат — двести, кирок — тридцать. И те и другие дрянные. Особенно лопаты. Железные, гнутся, рукоятки неотесанные.

Все это богатство раскладывается на берегу против входа в наш туннель. Поочередно кто-нибудь из саперов дежурит — на честность соседей трудно положиться.

Утром двадцати лопат и десяти кирок-мотыг мы недосчитываемся. Часовой Тутиев, круглолицый, здоровенный боец, удивленно моргает глазами. Вытянутые по швам пальцы дрожат от напряжения.

— Я только оправиться пошел, товарищ лейтенант... Ей-богу... А так никуда...

— Оправиться или не оправиться, нас не касается, — говорит Лисагор, и голос и взгляд у него такие грозные, что пальцы

Тугиева начинают еще больше дрожать. — А чтобы к вечеру все было налицо...

Вечером, при проверке, лопат оказывается двести десять, кирок — тридцать пять. Тугиев сияет.

— Вот это воспитание! — весело говорит Лисагор и, собрав на берегу бойцов, читает им длинную нотацию о том, что лопата — та же винтовка, и если только, упаси бог, кто-нибудь потеряет лопату, кирку или даже ножницы для резки проволоки, сейчас же трибунал. Бойцы сосредоточенно слушают и вырезают на рукоятках свои фамилии. Спать ложатся, подложив лопаты под головы.

Я тем временем занимаюсь схемами. Делаю большую карту нашей обороны на кальке, раскрашиваю цветными карандашами и иду к дивизионному инженеру.

Он живет метрах в трехстах — четырехстах от нас, тоже на берегу, в саперном батальоне. Фамилия его Устинов. Капитан. Немолодой уже — под пятьдесят. Очкастый. Вежливый. По всему видать — на фронте впервые. Разговаривая, вертит в пальцах желтый, роскошно отточенный карандаш. Каждую сформулированную мысль фиксирует на бумаге микроскопическим кругленьким почерком — во-первых, во-вторых, в-третьих.

На столе в землянке груды книг: Ушакова «Фортификация», «Укрепление местности» Гербановского, наставления, справочники, уставы, какие-то выпуски Военно-инженерной академии в цветных обложках и даже толстенный синий «Нутте».

Устиновские планы укрепления передовой феноменальны по масштабам, по разнообразию применяемых средств и детальности проработки всего этого разнообразия.

Он вынимает карту, сплошь усеянную разноцветными скобками, дужками, крестиками, ромбиками, зигзагами. Это даже не карта, а ковер какой-то. Аккуратно разворачивает ее на столе.

— Я не стану вам объяснять, насколько это все важно. Вы, я думаю, и сами понимаете. Из истории войн мы с вами великолепно знаем, что в условиях позиционной войны, а именно к такой войне мы сейчас и стремимся, — количество, качество и продуманность инженерных сооружений играют выдающуюся, я бы сказал, даже первостепенную роль.

Он проглатывает слюну и смотрит на меня поверх очков небольшими, с нависшей над веками кожей глазами.

— Восемьдесят семь лет назад именно потому и стоял Севастополь, что собратья наши — саперы — и тот же Тотлебен сумели создать почти неприступный пояс инженерных сооружений и препятствий. Французы и англичане и даже сардинцы тоже уделяли этому вопросу громадное внимание. Мы знаем, например, что перед Малаховым курганом...

Он подробно, с целой кучей цифр, рассказывает о севастопольских укреплениях, затем перескакивает на русско-японскую

войну, на Верден, на знаменитые проволочные заграждения под Каховкой.

— Как видите, — он аккуратно прячет схемы расположения севастопольских ретраншементов и апрошей в папку с надписью «Исторические примеры», — работы у нас непочатый край. И чем скорее мы сможем это осуществить, тем лучше.

Он пишет на листочке бумаги цифру «1» и обводит ее кружком.

— Это первое. Второе. Покорнейше буду вас просить ежедневно к семи ноль-ноль доставлять мне донесения о проделанных за ночь работах: А — вашими саперами, В — дивизионными саперами, С — армейскими, если будут, а я надеюсь, что будут, саперами, D — стрелковыми подразделениями. Кроме того...

Бумажка опять испещряется цифрами — римскими, арабскими, в кружочках, дужках, квадратиках или совсем без оных.

Прощаясь, он протягивает узкую руку с подагрическими вздутиями в суставах.

— Особенно прошу вас не забывать каждого четырнадцатого и двадцать девятого присылать формы — 1, 1-б, 13 и 14. И месячный отчет — к тридцатому. Даже лучше тоже к двадцать девятому. И еженедельно сводную нарастающую таблицу проделанных работ. Это очень важно...

Ночью за банкой рыбных консервов Лисагор весело и громко хохочет.

— Ну, лейтенант, пропал ты совсем. Целую проектную контору открывать надо. Тут за три дня и прочесть-то не успеешь, что он написал. А с этими лопатами и шестнадцатью саперами за три года не сделаешь. Ты не спрашивал — он не из Фрунзе? Не из Инженерной академии приехал?

18

Дни идут.

Стреляют пушки. Маленькие, короткостволые, полковые — прямо в лоб, в упор с передовой. Чуть побольше — дивизионные — с крутого обрыва над берегом, приткнувшись где-нибудь между печкой и разбитой кроватью. И совсем большие — с длинными, задранными из-под сетей хоботами, — с той стороны, из-за Волги. Заговорили и тяжелые — двухсоттрехмиллиметровые. Их возят на тракторах: ствол отдельно, лафет отдельно. Приехавший с той стороны платить жалованье начфин, симпатичный, подвижной и всем интересующийся Лазарь, — его все в полку так и называют, — говорит, что на том берегу плюнуть негде, под каждым кустом пушка.

Немцы по-прежнему увлекаются минометами. Бьют из «ишаков» по переправе, и долго блеснит после этого Волга серебристыми брюшками глушеной рыбы.

Гудят самолеты — немецкие днем, наши «кукурузники» — ночью. Правда, у немцев тоже появились «ночники», и теперь по ночам совсем не поймешь, где наш, где их. Мы роемся, ставим мины, пишем длиннейшие донесения. «За ночь сделано окопов стрелковых столько-то, траншей столько-то, минометных позиций, блиндажей, минных полей столько-то, потери такие-то, за это время разрушено то-то и то-то...»

На берегу у нас открываются мастерские. Два сапера, из хвоях, крутят деревянный барабан, изготавливают спирали Бруно — нечто среднее между гармошкой и колбасой из колючей проволоки. Потом их растягивают на передовой перед окопами дивизионные саперы. Каждый вечер приходит взвод второй роты саперного батальона. Мои же ставят мины и руководят вторыми рубежами. Работают на них так называемые «лодыри» — портные, парикмахеры, трофейщики и не получившие еще своего вооружения огнемётчики. Минированием занимается, конечно, Гаркуша и командир второго отделения Агнивцев, энергичный, исполнительный, но не любимый бойцами за грубость.

Лисагор по-прежнему деятелен и руглив. У него всегда какое-то неотложное задание командира полка: то склад обозно-вещевого снабжения построить, то оружейную мастерскую, то еще что-нибудь. Водкой от него несет, как из бочки, но держится в общем хорошо.

Днем мы отдыхаем, оборудуем блиндажи, конопатим лодки. С первыми звездами собираем лопаты и кирки и отправляемся на передовую. Пожаров уже мало. Дорогу освещают ракеты.

После работы, покуривая махорку, сидим с Ширяевым и Карнауховым, — во втором батальоне я чаще всего бываю, — в тесном, жарко натопленном блиндаже, ругаем солдатскую жизнь, завидуем тыловикам. Иногда играем в шахматы, и Карнаухов систематически обыгрывает меня. Я плохой шахматист.

Утром, чуть начинает сереть, отправляемся домой. Утра уже холодные. Часов до десяти не сходит иней. В блиндаже ждет чай, оставшиеся с вечера консервы и уютно потрескивающая в углу печурка.

На языке сводок все это вместе взятое называется: «Наши части вели огневой бой с противником и укрепляли свои позиции». Слова «ожесточенный» и «тяжелый» дней десять уже не попадают в сводке, хотя немцы по-прежнему бомбят с утра до вечера и стреляют, и лезут то тут, то там. Но нет уже в них того азарта и самоуверенности, и все реже и реже сбрасывают они на наши

головы тучи листовок с призывами сдаться и бросить надежды на идущего с севера Жукова.

Ноябрь начинается со все усиливающихся утренних заморозков и с зимнего обмундирования, которое нам теперь выдают. Ушанки, телогрейки, стеганые брюки, суконные портянки, меховые рукавицы — мохнатые, кроличьи. На днях, говорят, валенки и жилетки меховые будут. Мы переносим звездочки с пилоток на серые ушанки и переключаемся на зимний распорядок — не ходим уже мыться на Волгу и начинаем считать, сколько до весны осталось.

Устинов одолевает меня целым потоком бумажек. Маленькие, аккуратно сложенные и заклеенные, с обязательными «Сов. секретно» и «Только Керженцеву» наверху в правом углу, они настойчиво и в различных выражениях требуют от меня то недосланной формы, то запоздавшего отчета, то предупреждают о необходимости подготовить минные поля к зимним условиям — смазать маслом взрыватели и выкрасить в белую краску плохо замаскированные мины.

Приносит эти бумажки веселый, рябенький и страшно курносый сапер, устиновский связной. Из-за дверей еще кричит молодым, звонким голосом:

— Отворяйте, товарищ лейтенант! Почта утренняя.

С Валегой они дружны и, перекуривая обязательную папироску, усевшись на корточки у входа, обсуждают своих и чужих командиров.

— Мой все пишут, все пишут, — сквозь дверь доносится голос связного. — Как встанут, так сразу за карандаш. Даже в уборную и то, по-моему, не ходят. Мин уж больно боятся. Велели щит из бревен перед входом сделать и уборную рельсами покрыть.

— А мой нет, писать не любят, — басит Валега. — Все твоего ругают, что писулек много шлют. Зато подавай им книжки. Все прочтут. Щи хлебают и то одним глазом в книжку или газету смотрят. Уж очень они образованные.

— Ну, уж не больше моего, — обижается связной. — Видал, сколько у нас на столе книжек лежит? В одной, я сам смотрел, пятьсот страниц. И все меленько, меленько, без очков и не разберешь.

— А на передовой твой бывает? — спрашивает вдруг Валега.

— Куда уж им. Старенькие больно. Да и не видят ничего ночью.

Валега торжествующе молчит. Связной уходит, забрав мои донесения.

Иногда приходит к нам Чумаков, он живет рядом, в десяти шагах, приносит с собой карты, и мы дуемся в «очко». Иногда мы с Лисагором к нему ходим — слушать патефон.

Время от времени приезжает с того берега Лазарь, начфин. Живет у нас. Валега расстилает ему шинель между койками, а сам

устраивается у печки. Лазарь рассказывает левобережные новости — нас, мол, на формировку собираются отводить. Не то в Ленинск, не то чуть ли не в Сибирь. Мы знаем, что все это чепуха, что никуда нас не отведут, но мы делаем вид, что верим, верить куда приятнее, чем не верить, и строим планы мирной жизни в Красноуфимске или Томске.

Один раз в расположение нашего полка падает «мессершмитт». Кто его подбил — неизвестно, но в вечерних донесениях всех трех батальонов значится: «Метким ружейно-пулеметным огнем подразделений нашего батальона сбит самолет противника». Он падает недалеко от мясокомбината, и к нему, несмотря на обстрел и крики командиров, начинается буквальное паломничество. Через полчаса после падения Чумак приносит очаровательные часики со светящимися стрелками и большой кусок плексигласа. Через неделю мы все щеголяем громадными прозрачными мундштуками гаркушинского производства. У него нет отбоя от заказчиков. Даже майор, у которого три трубки и который никогда не курит папирос, заказывает себе какой-то особенный, с металлическим ободком мундштук.

19

Шестого вечером Карнаухов звонит мне по телефону:

— Фрицы не лезут. Скучаю. А у меня котлеты сегодня. И праздник завтра. Приходи.

Я не заставляю себя ждать. Приходим. Я, Ширяев, потом Фарбер.

— Помнишь, — говорит Ширяев, — как мы с тобой под Купянском тогда пили? В последнюю ночь... У меня в подвале. И картошечкой жареной закусывали. Филипп мой мастер был картошку жарить. Помнишь Филиппа? Потерял я его. Под Кантемировкой. Неплохой парнишка был... — Он вертит кружку в руках.

— О чем ты думал тогда? А? Юрка? Когда мы на берегу сидели? Полк ушел, а мы сидели и на ракеты смотрели. О чем ты тогда думал?

— Да как тебе сказать...

— Можешь и не говорить. Знаю. Обидно было. Ужасно обидно. Правда? А потом в каком-то селе, помнишь, старик водой нас поил? Воевать, говорил, не хотите. Здоровые, а не хотите. И мы не знали, что ответить. Вот бы его сейчас сюда, старика этого однозубого.

Он вдруг останавливается, и глаза его становятся узкими и острыми. Такие у него были, когда он узнал, что двое бойцов сбежали.

— А скажи, инженер, было у тебя такое во время отступления? Мол, конец уже... Рассыпались... Ничего уже нет. Было? У меня один раз было. Когда через Дон переправлялись. Знаешь, что там творилось? По головам ходили. Мы вместе с одним капитаном, сапером тоже, — его батальон переправу там налаживал, — порядки стали наводить. Мост понтонный, хлипкий, весь в пробках и затычках после бомбежки. Машины в одиночку, по брюхо в воде проходили. Наладили кое-как. Построили очередь. А тут вдруг — на «виллисе» майор какой-то в танкистском шлеме. До самого моста на «виллисе» своим добрался, а там стал во весь рост и заорал на меня: «Какого черта не пускаешь! Танки немецкие в трех километрах! А ты тут порядки наводишь!» Я, знаешь, так и обомлел. А он с пистолетом в руке, рожа красная, глаза вылупил. Ну, думаю, раз уж майоры такое говорят — значит плохо. А машины уже лезут друг на друга. Капитана моего, вижу, с ног сшибли. И черт его знает, помутнение у меня какое-то случилось. Вскочил на «виллис» и хрясь! — раз, другой, третий, прямо по морде его паршивой. Вырвал пистолет и все восемь штук всадил... А танков, оказывается, и в помине не было. И шофер куда-то девался. Может, провокаторы? А?

— Может, — отвечаю я.

Ширяев умолкает. Смотрит в одну точку перед собой. Слышно, как в телефонной трубке кто-то ругается.

— А все-таки воля у него какая... — говорит Ширяев, не подымая глаз. — Ей-богу...

— У кого? — не понимаю я.

— У Сталина, конечно. Два таких отступления сдержать. Ты подумай только! В сорок первом и вот теперь. Суметь отогнать от Москвы. И здесь стать. Сколько мы уже стоим? Третий месяц? И немцы ничего не могут сделать со всеми своими «юнкерсами» и «хейнкелями». И это после прорыва, такого прорыва!.. После июльских дней... Каково ему было? Ты как думаешь? Ведь второй год лямку тянем. А он за всех думай. Мы вот каких-нибудь пятьсот — шестьсот метров держим и то ругаемся. И тут не так, и там плохо, и пулемет заедает. А ему за весь фронт... Газету и то, вероятно, прочесть не успевает. Ты как думаешь, Керженцев, успевает или нет?

— Не знаю. Думаю, все-таки успевает.

— Успевает, думаешь? Ой, думаю, не успевает. Тебе хорошо. Сидишь в блиндаже, махорку покуриваешь, а не понравится что, вылезешь, матюком покроешь, ну, иногда там пистолетом пригрозить... Да и всех наперечет знаешь и каждый бугорок, каждую кочку сам лично облазишь. А у него что? Карта? А на ней флажки. Иди разберись. И в памяти все удержи — где наступают, где стоят, где отступают. И вот смотри — держит же, держит... Весь фронт держит... И до победы доведет. Вот увидишь, что доведет. — Ширяев встает. — Сыграй-ка чего-нибудь, Карнаухов.

Карнаухов снимает со стенки гитару. Вчера батальонные разведчики нашли ее в каком-то из разрушенных домов.

— Что-нибудь такое... знаешь... чтоб за душу...

Ширяев поудобнее устраивается на койке, вытянув туго обтянутые хромовыми голенищами ноги.

— Как там на передовой, Лешка? Спокойно?

— Все спокойно, товарищ старший лейтенант, — нарочито бодро, чтобы не подумали, что он заснул, отвечает Лешка. — В пятую ужин привезли. Ругаются, что жидкий.

— Я этому старшине покажу когда-нибудь, где раки зимуют. Если придет ночью — разбудишь меня. Ну, давай, Карнаухов.

Карнаухов берет аккорд. У него, оказывается, очень приятный грудной голос, средний между баритоном и тенором, и замечательный слух. Поет он негромко, но с увлечением, иногда даже закрывает глаза. Песни все русские, задумчивые, многие из них я слышу в первый раз. Хорошо поет. И лицо у него хорошее, какое-то ясное, настоящее. Мохнатые брови. Голубые глаза. Неглупые, спокойные. И всегда такие. С какой-то глубокой, никогда не проходящей улыбкой. Даже там, на сопке, они улыбались.

Фарбер сидит, закрыв глаза ладонью. Сквозь пальцы пробиваются рыжие кудрявые волосы. О чем он думает сейчас? Я даже приблизительно не могу себе представить. О жене, детях, интегралах, бесконечно малых величинах? Или вообще ничто на свете его не интересует? Иногда мне кажется, что даже смерть его не пугает, — с таким отсутствующим, скучающим видом покури-вает он под бомбежкой.

Карнаухов устает, или ему просто надоедает петь. Вешает гитару на гвоздь. Некоторое время мы сидим молча. Ширяев приподымается на одном локте.

— Фарбер... Ты и до войны таким был?

Фарбер подымает голову.

— Каким таким?

— Да вот таким, какой ты сейчас.

— А какой я сейчас?

— Да черт его знает какой... Не пойму я тебя. Пить не любишь, ругаться не любишь, баб не любишь... Ты вот на инженера нашего посмотри. Тоже ведь с высшим образованием.

Фарбер чуть-чуть улыбается.

— Я не совсем понимаю связи между вином, и женщинами, и высшим образованием.

— Дело не в связи. — Ширяев садится на койку, широко раздвинув ноги. — Карнаухов тихий, скромный парень — ты не слушай, Карнаухов, — а и то как загнет, так только держись.

— Да, в этой области я не силен, — отвечает Фарбер.

Ширяев смеется.

— Ты не подумай, что я хочу тебя испортить. Или ругаться научить. Упаси бог. Просто я не понимаю, как это могло случиться... А плавать ты умеешь?

— Плавать? Нет, не умею плавать.

— А на велосипеде?

— И на велосипеде не умею.

— Ну а в морду давал кому-нибудь?

— Да что ты пристал к человеку, — вступается Карнаухов. — Ты с Чумаком на эту тему поговори. Он-то уж тебе порасскажет.

— В морду давал, — спокойно говорит Фарбер и встает.

— Давал? Кому?

— Я пойду, — не отвечает на вопрос Фарбер, застегивая шинель.

— Нет, кому ты давал?

— Неинтересно... Разрешите идти.

И уходит.

— Странный парень, — говорит Ширяев и встает.

Карнаухов улыбается. У него, как у ребенка, две ямочки на щеках.

— Вчера я заходил к нему. С берега шел. Сидит и пишет. Письмо, должно быть. Четвертую страницу тетрадочную кончал, мелким, мелким почерком. Ужасно хотелось мне прочесть.

Ширяев еле заметно подмигивает мне.

— А может, то не письмо?

— А что же?

— Может, стихи.

Карнаухов краснеет.

— Ты чего краснеешь?

— Я не краснею, — и краснеет еще больше.

Ширяев, сдерживая улыбку, молчит. Не сводит глаз с Карнаухова.

— Ну а твои как?

— Что — мои?

— Стихи, конечно.

— Какие стихи?

— Думаешь, не знаем? В тетрадке которые. В клеенчатой. Как там у него, Керженцев, не помнишь?

Карнаухов приперт к стенке.

— Да это так... От нечего делать.

— От нечего делать... Все вы так — от нечего делать. Пушкин, вероятно, тоже от нечего делать.

Через полчаса мы с Карнауховым уходим. У семафора расстаемся — он направо, я налево.

— А стихи все-таки прочитаешь, — говорю я ему прощаясь.

— Когда-нибудь... — неопределенно как-то отвечает он и скрывается в темноте.

Ночь темная. Звезд не видно. Кое-где только мутные, расплывчатые пятна. Кругом тихо. Слегка постреливают на бугре.

Ноги цепляются за всякий хлам. Один раз я чуть не падаю, путаясь в какой-то проволоке.

Около разрушенного мостка кто-то сидит. Вспыхивает огонек папиросы.

— Кой черт курит?

— А отсюда все равно не видно, — отвечает из темноты глуховатый голос.

Голос Фарбера.

— Вы что здесь делаете?

— Ничего... Воздухом дышу.

Я подхожу ближе.

— Воздухом дышите?

— Воздухом дышу.

Я зачем-то сажусь. Фарбер больше ничего не говорит. Сидит и курит. Я тоже закуриваю. Молчим. Я не знаю, о чем можно с ним говорить.

— Сейчас концерт будет, — говорит вдруг Фарбер.

— Не думаю, — отвечаю я. — «Ишаки» у них уже два дня почему-то молчат.

— Нет, я не о таком, а о настоящем концерте говорю. На той стороне громкоговоритель установили. Последние известия передают. А потом концерт. Вчера в это время передавали.

— Из Москвы, что ли?

— Должно быть, из Москвы.

Проходят бойцы. Человек десять, один за другим, цепочкой. Несут мины и боеприпасы. Слышно, как сыплется щебенка у них из-под ног, как поругиваются они спотыкаясь. Минут через двадцать они вернутся. Еще через полчаса будут идти, спотыкаясь и ругая темноту, разбросанное железо, Гитлера и старшину, заставляющего по четыре батальонные мины зараз нести. За ночь они сделают шесть или восемь ходок. Днем все будет израсходовано. А как только зайдет солнце, опять на берег, с берега на передовую, с передовой на берег.

— Как дела в роте? — спрашиваю я.

— Ничего, — равнодушно отвечает Фарбер. — Без особых перемен.

— Сколько человек у вас теперь?

— Да все столько же. Больше восемнадцати — двадцати никак не получается. Из стариков, что высадились, почти никого не осталось.

— А пополнение?

— Да что пополнение...

— Юнцы желторотые?

— Винтовку в первый раз видят. Одного убило вчера. Разорвалась граната в руках.

— М-да... — говорю я. — Невеселая штука война...

Фарбер ничего не отвечает. Вынимает из кармана коробку с табаком, скручивает сигарку, прикуривает от собственного бычка. На миг озаряется худое с впалыми щеками лицо, костистый нос, складки у рта.

— Вам никогда не казалось, что жизнь нелепая штука? — спрашивает Фарбер. Он никак не может прикурить — бычок маленький, высыпается.

— Жизнь или война? — спрашиваю я.

— Именно жизнь.

— Сложный вопрос. Нелепого, конечно, порядочно. А в связи с чем, собственно говоря, вы...

— Да без всякой связи. Философствую. Некое подведение итогов.

— Не рано ли?

— Конечно, рановато, но кое-что все-таки можно подытожить.

Он медленно вдавливая окурок каблуком в землю. Огонек долго еще тлеет у его ног.

— Вы никогда разве не задумывались о прошлой своей жизни?

— Ну?

— Не кажется ли вам, что мы с вами до какой-то степени вели страусовский образ жизни?

— Страусовский?

— Если проводить параллели, пожалуй, это будет самое удачное. Мы почти не высывали головы из-под крыла.

— Расшифруйте.

— Я говорю о войне. О нас и о войне. Под нами я подразумеваю себя, вас, вообще людей, непосредственно не связанных с войной в мирное время. Короче — вы знали, что будет война?

— Пожалуй, знал.

— Не пожалуй, а знали. Более того — знали, что и сами будете в ней участвовать.

Он несколько раз глубоко затягивается и с шумом выдыхает дым.

— До войны вы были командиром запаса. Так ведь? ВУС-34... Высшая вневойсковая подготовка или что-нибудь в этом роде.

— ВУС-34... ВВП... Командир взвода запаса.

Ни разу я еще не слышал, чтоб Фарбер так много говорил.

— Раз в неделю у вас был военный день. Вы все старательно пропускали его. Летом — лагеря, муштра. Напра-во, нале-во, кругом, шагом марш. Командиры требовали четких поворотов, ве-

селых песен. На тактических занятиях, спрятавшись в кусты, вы спали, курили, смотрели на часы, сколько до обеда осталось. Думаю, что я мало ошибаюсь.

— Откровенно говоря, мало.

— Вот тут-то собака и зарыта... На других мы с вами полагались. Стояли во время первомайских парадов на тротуаре, ручки в брючки, и смотрели на проходящие танки, на самолеты, на шагающих бойцов в шеренгах... Ах, как здорово, ах, какая мощь! Вот и все, о чем мы тогда думали. Ведь правда? А о том, что и нам когда-то придется шагать, и не по асфальту, а по пыльной дороге, с мешком за плечами, что от нас будет зависеть жизнь — ну, не сотен, а хотя бы десятков людей... Разве думали мы тогда об этом?

Фарбер говорит медленно, даже лениво, с паузами, затягиваясь после каждой фразы. Внешне он совершенно спокоен. Но по частым затяжкам, по неравномерным паузам, по освещаемым сигаркой сдвинутым бровям чувствуется, что ему давно уже хотелось обо всем этом поговорить, но то ли не было собеседника, то ли случая подходящего, то ли времени, то ли не знаю чего. И мне ясно, что он волнуется, но, как у многих людей его типа, замкнутых и молчаливых, волнение это почти не выражается внешне, а, наоборот, делает его еще более сдержанным.

Я молчу. Слушаю. Курю. Фарбер продолжает:

— На четвертый день войны передо мной выстроили в две шеренги тридцать молодцов — плотников, слесарей, кузнецов, трактористов — и говорят: командуй, учи. Это в запасном батальоне было.

— В саперном, что ли?

— В саперном.

— А вы разве сапер?

— Сапер. Вернее, был сапером.

— А почему же вдруг стрелком стали?

— Я до этого еще и минометчиком был. А после харьковского путешествия пришлось стрелком стать.

— А я и не знал. Коллега, значит.

— Коллега, — улыбается Фарбер и продолжает: — Командуй, значит, говорят, учи. А в расписании: подрывное дело — четыре часа, фортификация — четыре часа, дороги и мосты — четыре часа. А они стоят. Переминаются с ноги на ногу, поглядывают на свои сидора, сваленные под деревом, стоят и ждут, что я им скажу. А что я им могу сказать? Я знаю только, что тол похож на мыло, а динамит на желе, что окопы бывают полного и неполного профиля и что, если меня спросят, из скольких частей состоит винтовка, я буду долго чесать затылок, а потом выпалю первую попавшуюся цифру...

Он делает паузу. Ищет в кармане коробку с табаком. Я раньше не замечал, что он так много курит — одну за другой.

— А кто во всем этом виноват? Кто виноват? Дядя — как говорит мой старшина? Нет, не дядя... Я сам виноват. Мне просто было до войны неинтересно заниматься военным делом. На лагерные сборы смотрел как на необходимую, — так уж заведено, ничего не поделаешь, — но крайне неприятную повинность. Именно повинность. Это, видите ли, не мое призвание. Мое дело, мол, математика и тому подобное. Наука...

Фарбер шарит по карманам.

— Чем прикуривать будем? — говорит он. — У меня спички кончились.

— И бычок погас?

— Погас.

— Придется бойцов ждать. Они сейчас на берег пойдут.

— Придется.

И мы ждем. Помолчав, Фарбер продолжает все тем же спокойным усталым голосом:

— Четыре месяца я их учил. Вы представляете, что это за учение было? И чему я мог их научить? У нас на весь батальон одно только наставление по подрывному делу было. И это все. Другой литературы никакой. Я по ночам штудировал. А утром рассказывал бойцам, как устроена подрывная машинка, ни разу в жизни не держа ее в руках. Бр-р... От одного воспоминания в дрожь бросает.

Проходят бойцы. Просим прикурить. Присев на корточки, один из бойцов высекает огонь из своего кресала. Прикуриваем поочередно от фитиля. Потом бойцы уходят. Одна за другой исчезают в темноте их неуклюжие, одетые в шинели поверх телогреек фигуры.

Фарбер поворачивает голову.

— Нытик? Да? — говорит он совсем тихо.

До сих пор он говорил не поворачиваясь, смотря куда-то в пространство впереди себя. Сейчас в темноте я чувствую на себе взгляд его близоруких глаз.

— Кто нытик? — спрашиваю я.

— Да я. Это вы, вероятно, так думаете. Ворчит чего-то, жалуются. Правда?

Я не сразу нахожу, что ответить. Он во многом прав.

Но стоит ли вообще говорить о том, что прошло. Анализировать прошлое, вернее — дурное в прошлом, имеет смысл только в том случае, когда на основании этого анализа можно исправить настоящее или подготовить будущее.

— По-моему, трудно жить, если все время думать о своих прошлых ошибках и ругать себя за это. Руганью не поможешь. А винтовку, я думаю, вы уже знаете и научить бойца с нею обращаться тоже сможете.

Фарбер смеется.

— Пожалуй, вы правы. — Пауза. — Но вы знаете... Если б я, например, встретился до войны, ну, хотя бы с Ширяевым, я никогда бы не поверил, что буду ему завидовать.

— А вы завидуете?

— Завидую. — Опять пауза. — Я неплохо разбираюсь в вопросах высшей математики. Восемь лет все-таки проучился. Но такая вот элементарная проблема, как разоблачить старшину, который крадет продукты у бойцов, для меня почти непреодолимое препятствие.

— Вы склонны к самокритике, — говорю я.

— Возможно. Думаю, что и вы этим занимаетесь, только не говорите.

— Но почему же вы все-таки завидуете Ширяеву?

— Почему?..

Он встает, делает несколько шагов, опять садится. Кругом удивительно тихо. Где-то только очень далеко, за «Красным Октябрем», изредка, без всякого увлечения, пофыркивает пулемет.

— Потому что, смотря на него, я особенно остро чувствую свою неполноценность. Вам кажется это смешным. Но это так. Он человек простой, цельный, ему ничего не стоит спросить, умею ли я плавать или кататься на велосипеде. Он не чувствует, что этими вопросами попадает мне не в бровь, а в глаз. Ведь я соврал, когда говорил, что давал в физиономию кому-то. Никому я никогда не давал. Я не любил драк, не любил физических упражнений. А теперь вот...

Он вдруг умолкает. Посапывает носом. Это, очевидно, у него нервное. Постепенно я начинаю его понимать. Понимать эту сдержанность, замкнутость, молчаливость.

— Ничего, — говорю я, стараясь придумать что-нибудь утешительное. Я вспоминаю, как кричал на него, когда был еще комбатом. — Всем тяжело на войне.

— Господи боже мой! Неужели вы так меня поняли? — голос его даже вздрагивает и срывается от волнения. — Ведь мне предлагали совсем не плохое место в штабе фронта. Я знаю языки. В разведотделе предлагали с пленными работать. А вы говорите — всем тяжело на войне.

Я чувствую, что действительно сказал неудачно.

— У вас жена есть? — спрашиваю я.

— Есть. А что?

— Да ничего. Просто интересуюсь.

— Есть.

— И дети есть?

— Детей нет.

— А сколько вам лет?

— Двадцать восемь.

— Двадцать восемь. Мне тоже двадцать восемь. А друзья у вас были?

— Были, но... — Он останавливается.

— Вы можете не отвечать, если не хотите. Это не анкета. Просто... Одиноки вы как-то, по-моему, очень.

— Ах, вы об этом...

— Об этом. Мы с вами скоро уже полтора месяца знакомы. А впервые за все это время только сегодня, так сказать, поговорили.

— Да, сегодня.

— Впечатление такое, будто вы сторонитесь, чуждаетесь людей.

— Возможно... — И опять помолчав: — Я вообще туго схожусь с людьми. Или, вернее, люди со мной. Я в сущности малоинтересная личность. Водки не люблю, песен петь не умею, командир в общем неважный.

— Напрасно вы так думаете.

— Вы у Ширяева спросите.

— Ширяев вовсе не плохо к вам относится.

— Дело не в отношении. Впрочем, все это малоинтересно.

— А по-моему, интересно. Скажу вам откровенно, когда я в первый раз вас увидел, — помните, там, на берегу, ночью, после высадки?

Фарбер останавливает меня движением руки.

— Стойте! — и касается рукой колена. — Слышите?

Я прислушиваюсь. С той стороны Волги торжественно, то удаляясь, то приближаясь, перебиваемые ветром, медленно плывут хрипловатые звуки флейт и скрипок. Плывут над рекой, над разбитым, молчаливым сейчас городом, над нами, над немцами, за окопы, за передовую, за Мамаев курган.

— Узнаете?

— Что-то знакомое... Страшно знакомое, но... Не Чайковский?

— Чайковский. *Andante cantabile* из Пятой симфонии. Вторая часть.

Мы молча сидим и слушаем. За спиной начинает стучать пулемет — назойливо, точно швейная машина. Потом перестает.

— Вот это место... — говорит Фарбер, опять прикасаясь рукой к моему колену. — Точно вскрик. Правда? В финале не так. Та же мелодия, но не так. Вы любите Пятую?

— Люблю.

— Я тоже... Даже больше, чем Шестую. Хотя Шестая считается самой, так сказать... Сейчас вальс будет. Давайте помолчим.

И мы молчим. До конца уже молчим. Я опять вспоминаю Киев, Царский сад, каштаны, липы, Люсю, красные, яркие цветы, дирижера с чем-то белым в петлице...

Потом прилетает бомбардировщик, тяжелый, ночной, трехмоторный. Его у нас почему-то называют «туберкулез».

— Странно, правда? — говорит Фарбер, подымаясь.

— Что странно?

— Все это... Чайковский, шинель эта, «туберкулез».

Мы встаем и идем по направлению фарберовской землянки. Бомбардировщик топчется на одном месте. Из-за Мамаева протягиваются щупальца прожектора.

Я на берег не иду. Остаюсь ночевать у Фарбера.

21

Седьмого вечером приходят газеты с докладом Сталина. Мы его уже давно ждем. По радио ничего разобрать не удастся — трещит эфир. Только — «и на нашей улице будет праздник» — разобрали.

Фразу эту обсуждают во всех землянках и траншеях.

— Будет наступление, — авторитетно заявляет Лисагор; он обо всем очень авторитетно говорит. — Вот увидишь. Не зря Лазарь говорил прошлый раз, — помнишь? — что какие-то дивизии по ночам идут. Ты их видишь? Нет. И я не вижу. Вот и понимай...

Сталин выступал шестого ноября.

Седьмого союзники высаживаются в Алжире и Оране. Десятого вступают в Тунис и Касабланку.

Одиннадцатого ноября в семь часов утра военные действия в Северной Африке прекращаются. Подписывается соглашение между Дарланом и Эйзенхауэром. В тот же день и в тот же час германские войска по приказу Гитлера пересекают демаркационную линию у Шалон-сюр Саон и продвигаются к Лиону. В пятнадцать часов итальянские войска вступают в Ниццу. Двенадцатого ноября немцы занимают Марсель и высаживаются в Тунисе.

Тринадцатого же ноября немцы в последний раз бомбят Сталинград. Сорок два «Ю-87» в три захода сбрасывают бомбы на позиции нашей тяжелой артиллерии в районе Красной Слободы на левом берегу Волги. И улетают. В воздухе воцаряется непонятная, непривычная, совершенно удивительная тишина.

После восьмидесяти двух дней непроходимого грохота и дыма, после сплошной, с семи утра до семи вечера, бомбежки наступает что-то непонятное. Исчезает облако над «Красным Октябрем». Не надо поминутно задирать голову и искать в безоблачном небе противные треугольники. Только «рама» с прежней точностью появляется по утрам и перед заходом солнца, да «мессеры» иногда пронесутся со звоном над головой и почти сразу же скроются.

Ясно — немцы выдохлись. И в окопах идут оживленные дискуссии — отчего, почему и можно ли считать африканские

события вторым фронтом. Политработники нарасхват. Полковой агитатор наш, веселый, подвижной, всегда возбужденный Сенечка Лозовой, прямо с ног сбивается. Почти не появляется на берегу, только забежит на минутку в штаб радио послушать и опять назад. А там, на передовой, только и слышно: «Сенечка, сюда!», «Сенечка, к нам!» Его так все и называют — «Сенечка». И бойцы и командиры. Комиссар даже отчитал его как-то:

— Что же это такое, Лозовой? Ты лейтенант, а тебя все — «Сенечка». Не годится так.

А он только улыбается смущенно.

— Ну что я могу поделаться. Привыкли. Я уж сколько раз говорил. А они забывают... И я забываю.

Так и осталось за ним — Сенечка. Комиссар рукой махнул.

— Работает как дьявол... Ну как на него рассердишься?

Работает Сенечка действительно как дьявол. Инициативы и фантазии в нем столько, что не поймешь, где она у него, такого маленького и щупленького, помещается. Одно время все с трубой возился. Сделали ему мои саперы здоровенный рупор из жести, и он целыми днями через этот рупор, вместе с переводчиком, немцев агитировал. Немцы злились, стреляли по ним, а они трубу под мышку — и в другое место. Потом листовками увлекся и карикатурами на Гитлера. Совсем не плохо они у него получались. Как раз тогда в полк прибыла партия агитснарядов и агитмин. Когда они кончились, он что-то долго соображал с консервными банками, специальный какой-то самострел из резины делал. Но из этой затеи ничего не вышло, банки до немцев не долетали. Принялся он тогда за чучело. После него во всех дивизиях такие чучела стали делать. Это очень забавляло бойцов. Сделал из тряпок и немецкого обмундирования некое подобие Гитлера с усиками и чубом из выкрашенной пакли, навесил на него табличку: «Стреляйте в меня!» — и вместе с разведчиками как-то ночью поставил его на «ничейной» земле, между нами и немцами. Те расвирепели, целый день из пулемета по своему фюреру стреляли, а ночью украли чучело. Украсть-то украли, но трех человек все-таки потеряли. Бойцы наши животы надрывали: «Ай да Сенечка!» Очень любили его бойцы.

К сожалению, вскоре его у нас забрали. Как лучшего в дивизии агитатора послали в Москву учиться. Долго ждали от него письма, а когда оно наконец пришло, целый день на КП первого батальона, — он там чаще всего бывал, — строчили ответ. Текста вышло не больше двух страничек, и то больше вопросов («а у нас все по-прежнему, воюем понемножку»), а подписи еле-еле на четырех страницах уместились: что-то около ста подписей получилось.

Долго и хорошо вспоминали о нем бойцы.

— И когда же это учеба его кончится? — спрашивали они и все мечтали, что Сенечка обратно к нам в полк вернется. Но он так и не вернулся, на Северный фронт, кажется, попал.

22

Девятнадцатое ноября для меня день памятный. День моего рождения. В детстве он отмечался пирогами и подарками, попозже — вечеринками, но так или иначе отмечался всегда. Даже в прошлом году в запасном полку в этот день мы пили самогон и ели из громадного эмалированного таза кислое молоко.

На этот раз Валега и Лисагор тоже что-то затевают. Валега с вечера заставляет меня пойти в баню, покосившуюся, без крыши хибарку на берегу Волги, выдает чистое, даже глаженое белье, потом целый день где-то пропадает и появляется только на минуту — озабоченный, с таинственными свертками под мышкой, кого-то ищет. Лисагор загадочно улыбается. Я не вмешиваюсь.

Под вечер я ухожу к Устинову. Он уже третий день вызывает меня к себе. Сначала просто «предлагает», потом «приказывает» и, наконец, «в последний раз приказываю во избежание неприятностей». Я заранее уже знаю, о чем пойдет речь. Я не выслал своевременно плана инженерных работ по укреплению обороны, списка наличного инженерного имущества с указанием потерь и поступлений за последнюю неделю, схемы расположения предполагаемых НП. Меня ожидает длинная и нудная нотация, пересыпанная историческими примерами, верденами, порт-артурами, тотлебенами и клаузевицами. Меньше часа это никак у меня не отнимет. Это я уже знаю.

Встречает Устинов меня необычайно торжественно. Он любит форму и ритуал. Вообще люди интеллигентного труда, попавшие на фронт, делятся в основном на две категории. Одних гнетет и мучает армейская муштра, на них все сидит мешком, гимнастерка пузырится, пряжка ремня на боку, сапоги на три номера больше, шинель горбом, язык заплетается. Другим же, наоборот, вся эта внешняя сторона военной жизни очень нравится — они с удовольствием, даже с каким-то аппетитом козыряют, поминутно вставляют в разговор «товарищ лейтенант», «товарищ капитан», щеголяют знанием устава и марок немецких и наших самолетов, прислушиваясь к полету мины или снаряда, обязательно говорят — «полковая летит» или «из 152-х начали». О себе иначе не говорят, как «мы — фронтовики, у нас на фронте».

Устинов относится ко второй категории. Чувствуется, что он слегка гордится своей четкостью и буквальным следованием всем правилам устава. И выходит это у него совсем не плохо, несмотря на преклонный возраст, очки и любовь к писанию. С кем бы он ни здоровался, он обязательно встанет, разговаривая со старшим по званию, держит руки по швам.

Сейчас он встречает меня с какой-то особой торжественностью. Все в нем сдержанно: замкнутое выражение лица, нарочито насупленные брови, плавный актерский жест, которым он указывает мне на табуретку, — все говорит о том, что разговор сегодня не ограничится сводными таблицами и планами.

Сажусь на табуретку. Он напротив. Некоторое время мы молчим. Потом он подымает глаза и взглядывает на меня поверх очков.

— Вы уже в курсе последних событий, товарищ лейтенант?

— Каких событий?

— Как? Вы ничего не знаете? — брови его недоумевающе подымаются. — КСП вам ничего не сказал? — «КСП» на его излюбленном языке донесений — это «командир стрелкового полка», в данном случае майор Бородин.

— Нет, не говорил.

Брови медленно, точно колеблясь, опускаются и занимают свое обычное положение. Пальцы крутят длинный, аккуратно оточенный карандаш с наконечником.

— Сегодня в шесть ноль-ноль мы переходим в наступление.

Карандаш рисует на бумажке кружок и, подчеркивая значительность фразы, ставит посредине точку.

— Какое наступление?

— Наступление по всему фронту, — медленно, смакуя каждое слово, произносит он. — И наше в том числе. Вы понимаете, что это значит?

Пока что мне понятно только одно: до начала наступления осталось десять часов, и обещанный мною на сегодняшнюю ночь отдых бойцам, первый за последние две недели, безнадежно срывается.

— Задача нашей дивизии ограничена, но серьезна, — продолжает он, — овладеть баками. Вы понимаете, сколько ответственности ложится сейчас на нас? В четыре тридцать начнется арт-подготовка. Вся артиллерия фронта заговорит, весь левый берег. В вашем распоряжении — сейчас семь минут девятого — весьма ограниченный срок, каких-нибудь десять часов. Полку вашему придана рота саперного батальона. Вам надлежит каждому стрелковому батальону придать по одному взводу этой роты с целью инженерной разведки и разминирования полей противника. Полковых саперов поставьте на проходы в собственных полях.

Лежащий перед ним лист бумаги понемногу заполняется ровными, аккуратными строчками.

— Ни на одну минуту не забывайте об учете. Каждая снятая мина должна быть учтена, каждое обнаруженное минное поле зафиксировано, привязано к ориентиру, и обязательно к постоянному, — вы понимаете меня? — не к бочкам, не к пушкам, а к постоянному. Донесения о проделанной работе присылайте каждые три часа специальным посыльным.

Он еще долго и пространно говорит, не пропуская ни одной мелочи, чуть ли не на часы и минуты разбивая все мое время. Я молча записываю. Дивизионные саперы готовятся уже к заданию, чистят инструмент, вяжут снаряды, мастерают зажигательные трубки.

Я слушаю, записываю, поглядываю на часы. В девять ухожу. С командиром приданной мне второй роты — это та самая рота, которая у меня постоянно работает, — договариваюсь, что придут они ко мне в два часа ночи.

Лисагор встречает меня злой и всклокоченный. Маленькие глазки блестят.

— Как тебе это нравится? А? Лейтенант?

От волнения он захлебывается, не может усидеть на месте, вскакивает, начинает расхаживать по блиндажу взад и вперед.

— Окопались мы, мин наставили видимо-невидимо, сам черт ногу сломит. Все устроили. Нет — мало этого! Делай проходы, убирай Бруно... Все, вся работа псу под хвост летит. Сидели б в окопах и постреливали б, раз не лезет немец. Что еще нужно?

Меня начинает раздражать Лисагор.

— Давай прекратим этот идиотский разговор. Не нравится — не воюй, дело твое.

Лисагор не унимается. В голосе у него появляется даже жалобная нотка.

— Но обидно же, господи, обидно же! Ты посмотри на стол. В кои-то века собрались по-человечески именины отпраздновать, и все теперь в тартарары летит!

Стол действительно неузнаваем. Посредине четыре уже раскупоренные поллитровки, нарезанная тонкими эллиптическими ломтиками колбаса, пачка печенья «Пушкин», шоколад в коричневой с золотом обертке, селедка и гвоздь всего угощения — дымящееся в котелке, заливающее всю землянку ароматом мясо.

— Ты понимаешь, зайца, настоящего зайца Валега достал. На ту сторону специально ездил. Чумак должен был прийти. Молоко сгущенное, твое любимое... Ну, что теперь делать? На Новый год оставлять? Так, что ли?

Что и говорить — куда приятнее сидеть и жевать зайца, запивая его вином, чем лезть на передовую под пули. Но ничего не поделаешь — оставим пока зайца. Слишком долго ждали мы этого

наступления, почти полтора года, шестнадцать месяцев ждали... Вот и пришел он, наконец, этот день...

Мы наливаем себе по полстакана и, не чокнувшись, выпиваем. Закусываем зайцем. Он немного жестковат, но это в конце концов неважно. Важно, что заяц. Настроение несколько улучшается. Лисагор даже подмигивает.

— Торопись, лейтенант, пока не вызвали. Два раза уже за тобой присылали.

Через минуту является связной штаба. Зовет Абросимов.

Майор и Абросимов сидят над картой. В землянке негде повернуться — комбаты, штабники, командиры спецподразделений. Чумак в неизменной своей бескозырке, расстегнутый, сияющий тельняшкой.

— Ну что, инженер, сорвалось?

— Сорвалось...

— Ладно. В буфет спрячь. Вернемся — поможем, — и весело хохочет, сверкая глазами.

Протискиваюсь к столу. Ничего утешительного. До начала наступления нужно новое НП командиру полка сделать. Старое не годится — баков не видно. Я так и знал. Ну и, конечно, разминирование, проходы, обеспечение действий пехоты.

— Смотри, инженер, не подкачай, — попыхивает трубкой Бородин, — картошек своих вы там на передовой понасажали, кроме вас, никто и не разберет. Поподрываются еще наши. А каждый человек на счету, сам понимаешь...

Чувствуется, что он волнуется, но старается скрыть. Трубка поминутно гаснет, а спички никак не зажигаются — коробки никуда не годятся.

— А НП рельсами покрой. И печка чтоб была. Опять ревматизмы мои заговорили. В пять ноль-ноль — минута в минуту буду. Если не кончишь, ноги повырываю. Понял? Давай нажимай.

Я ухожу.

Лисагор сидит и меняет портянку.

— Ну?

— Бери отделение, и к пяти ноль-ноль чтоб новое НП было готово.

— Новое? К пяти? Обалдели они...

— Обалдели не обалдели, а в твоём распоряжении семь часов.

Лисагор в сердцах впихивает ногу в сапог так, что отрывается ушко.

— На охоту ехать — собак кормить! Говорил я, что из того НП не будет баков видно. Ничего, говорят, баки не нам, а сорок пятому дадут. А нам левее. Вот тебе и левее.

— Ладно. Ворчать завтра будешь, а сейчас не канителься. Используешь наблюдательный пункт разведчиков. А разведчиков к

артиллеристам посадишь. Скажешь, Бородин приказал. Понятно?

— Все понятно. Чего же непонятно. И рельсы, конечно, велел положить? Да?

— И рельсы положишь, и печку поставишь. Трубу только в нашу сторону пустишь. Амбразуру уменьши, а левую совсем можешь заделать.

— А дощечками тесаными не приказал обшивать?

— Твое дело. Можешь и диван поставить, если хочешь. Возьмешь с собой Новохатько с отделением.

— У него куриная слепота.

— Для НП сойдет. Гаркуша с Агнивцевым пойдут проходы делать.

— Пускай дома тогда сидит, лопаты стережет.

— Как знаешь. К пяти чтоб НП было готово.

Лисагор натягивает второй сапог. Кряхтит.

— И кто войну эту придумал. Лежал бы сейчас на печи и семечки грыз. Эх, жизнь солдатская...

И, запихнув в рот половину лежащей на столе колбасы, он уходит.

Я остаюсь ждать дивизионных саперов.

23

К четырем часам иду на передовую. Немцы, точно предчувствуя что-то, почти непрерывно строчат из пулеметов и освещают передний край.

Обхожу батальоны. Агнивцев и Гаркуша кончили с проходами, греются в блиндажах, курят. Иду на НП. Еще издали слышу шепот Лисагора. Сидя верхом на блиндаже, он вместе с Тутиевым укладывает рельсы перекрытия. Оба кряхтят, ругаются. Немецкие пули свистят почти над самыми их головами. Пулемет стоит метрах в пятидесяти, поэтому пули перелетают и ударяются где-то далеко позади.

Я забираюсь в блиндаж. Там уже связисты и адъютант командира полка. Амбатура затянута одеялом, чтобы не было видно света. Коптящая гильза стоит прямо на полу. Один из связистов дополнительными минометными зарядами растапливает печку. Ему, по-видимому, доставляет удовольствие смотреть, как вспыхивает порох, маленькими горсточками он все время подбрасывает его в печку.

Минут через десять вваливается Лисагор. Все лицо в росинках пота. Руки красные от ржавчины и глины.

— Смотри на часы, инженер.

— Двадцать минут пятого.

— Видал темпы? Тютелька в тютельку к началу артподготовки. Табак есть?

Я даю ему закурить. Он вытирает рукавом лицо. Оно становится полосатым, как тюфяк.

— Ну и медведь этот Тугиев. Взвалит полрельса на плечо и хоть бы хны. Знаешь, откуда таскали? Почти от самого мясокомбината. Порвали их толлом на части — и на собственных плечах. На, пощупай, как подушка стало. Курортник что надо — Сочи, Мацеста...

— Накатов сколько положил?

— Рельсов два, да старый еще, деревянный был.

— Бугор получился?

— Да тут их, знаешь, сколько бугров? Что ни шаг, то землянка, а что ни землянка, то бугор.

— Раненых нет?

— Тугиевская шинель. Три дырочки. А парень золото. Отметить надо. Точно огород дома копает. Постой!.. Началось, что ли?

Мы прислушиваемся. Верно. Из-за Волги доносятся первые залпы. Я смотрю на часы. Четыре тридцать.

— Па-а-а щелям! — кричит Лисагор. — Прицел ноль пять, по своим опять. Крикни там, связист, саперам, чтоб сюда залазили.

Саперы втискиваются в блиндаж. Закуривают, цепляются друг за друга винтовками и лопатами.

— А где Тугиев?

— Там еще. Наверху.

— Видал? Песочком сыпает. Красоту наводит. Давай его сюда, Седельников. Снарядом голову еще сорвет.

Канонада усиливается. Сквозь плохо пригнанную дверь слышно, как шуршат снаряды над блиндажом. Гул разрывов заглушает выстрелы. Землянка дрожит. С потолка сыплется земля.

Лисагор толкает меня в бок.

— Ну что? Людей домой пошлем? Пока не поздно. А то придет Абросимов, тогда точка. Всех в атаку погонит.

Людей, пожалуй, действительно надо отсылать, пока идет подготовка и немцы молчат. Так и делаем.

Только они уходят, как являются майор, Абросимов и начальник разведки. Майор тяжело дышит: сердце, вероятно, не в порядке.

— Ну как, инженер, не угробят нас здесь? — добродушно собрав морщинки вокруг глаз, спрашивает майор и лезет уже за своей трубкой.

— Думаю, нет, товарищ майор.

— Опять — думаю... Штрафовать буду. По пятерке за каждое «думую». Рельсы положил?

— Положил. В два ряда.

Подходит Абросимов. Губы сжаты. Глаза сощурены.

— А где Лисагор твой?

— Отдыхать пошел. С людьми.

— Отдыхать? Надо было здесь оставить. Нашли время отдыхать...

Я ничего не отвечаю. Хорошо, что я их вовремя на берег отправил.

— А остальные где?

— По батальонам.

— Что делают?

— Проходы.

— Проверял?

— Проверял.

— А дивизионные что делают?

— В разведке.

— Почему вчера не разведали?

— Потому что сегодня приказ получили.

Абросимов жует губами. Глаза его, холодные и острые, смотрят неприветливо. Левый уголок рта слегка подергивается.

— Смотри, инженер, подорвутся, плохо тебе будет.

Мне не нравится его тон. Я отвечаю, что проходы отмечают колышками и комбаты поставлены в известность. Абросимов больше ничего не говорит. Звонит по телефону в первый батальон.

Пушки грохочут все сильнее и сильнее. Разрывы и выстрелы сливаются в сплошной, ни на минуту не прекращающийся гул. Дверь поминутно хлопает. Ее привязывают проволокой.

— Хорошо работают, — говорит майор.

Где-то совсем рядом разрывается снаряд. С потолка сыплется земля. Лампа чуть не гаснет.

— Что и говорить, хорошо... — принужденно улыбается начальник разведки. — Вчера один из ста двадцати двух чуть к самому Пожарскому, начальнику артиллерии, в блиндаж не залетел.

Майор улыбается. Я тоже. Но ощущение вообще не из приятных. Немецкая передовая метрах в пятидесяти от нас, для дальнобойной артиллерии радиус рассеивания довольно обычный.

Мы сидим и курим. В такие минуты трудно не курить.

Потом приходит дивизионный сапер-разведчик. Обнаружили и сняли восемнадцать мин-эсок. Вывинтили взрыватели. Мины оставили на месте. Уходит.

Абросимов не отрывается от трубки.

Неужели немцы удержатся после такой подготовки?

Становится жарко. Бока у печки оранжево-красные. Я растегаиваюсь.

— Брось подкидывать, — говорит связисту майор. — Рассветает, по дыму стрелять будут.

Связист отползает в свой угол.

К шести канонада утихает. Каждую минуту смотрим на часы. Без четверти. Без десяти. Без пяти.

Абросимов прилип к трубке.

— Приготовиться!

Последние разрозненные выстрелы. Затем тишина. Страшная и неестественная тишина. Наши кончили. Немцы еще не начали.

— Пошли! — кричит в трубку Абросимов.

Я прилипаю к амбразуре. На сером предрассветном небе смутно выделяются водонапорные баки, какие-то трубы, немецкие траншеи, подбитый танк. Правее — кусок наших окопов. Птица летит, медленно взмахивая крыльями. Говорят, птицы не боятся войны.

— Пошли, ядри вашу бабушку! — орет в телефон Абросимов. Он бледен, и уголок его рта все время подергивается.

Левее меня майор. Тоже у амбразуры. Сопит трубкой. Меня почему-то знобит. Трясутся руки, и мурашки по спине бегут. От волнения, должно быть. Отсутствие дела страшнее всего.

Над нашими окопами появляются фигуры. Бегут... Ура-а-а-а! Прямо на баки... А-а-а-а...

Я даже не слышу, как начинает работать немецкий пулемет. Вижу только, как падают фигуры. Белые дымки минных разрывов. Еще один пулемет. Левее.

Разрывов все больше и больше. Белый, как вата, дым стелется по земле. Постепенно рассеивается. На серой обглоданной земле люди. Их много. Одни ползут. Другие лежат. Бегущих больше нет.

Майор сопит трубкой. Покашливает.

— Ни черта не подавили... Ни черта...

Абросимов звонит во второй, в третий батальоны. Та же картина. Залегли. Пулеметы и минометы не дают головы поднять.

Майор отходит от амбразуры. Лицо у него какое-то отекшее, усталое.

— Полтора часа громыхали и не взять... Живучие, дьяволы.

Абросимов так и стоит с трубкой у уха, нога на ящике, перебирает нервными, сухими пальцами провод.

— Глянь-ка в амбразуру, инженер. Убитых много? Или по воронкам устроились?

Смотрю. Человек двенадцать лежат. Должно быть, убитые. Руки, ноги раскинуты. Остальных не видно. Пулемет сечет прямо по брустверу, только пыль клубится. Дело дрянь.

— Керженцев, — совсем тихо говорит майор.

— Я вас слушаю.

— Нечего тебе тут делать. Иди-ка в свой батальон бывший. К Ширяеву. Помоги... — и посопев трубкой: — Там у вас немцы еще

вырыли ходы сообщения. Ширяев придумал, как их захватить. Ставьте пулеметы и секите им во фланг.

Я поворачиваюсь.

— Вы что, к Ширяеву его посылаете? — спрашивает Абросимов, не отходя от телефона.

— Пускай идет. Нечего ему тут делать. В лоб все равно не возьмем.

— Возьмем! — неестественно как-то взвизгивает Абросимов и бросает трубку. Связист ловко хватается ее на лету и пристраивает к голове. — И в лоб возьмем, если по ямкам не будем прячется. Вот давай, Керженцев, во второй батальон, организуй там. А то думают, гадают, а толку никакого. Огонь, видишь ли, сильный, подняться не дает.

Обычно спокойные, холодные глаза его сейчас круглы и налиты кровью. Губа все дрожит.

— Подыми их, подыми! Залежались!

— Да ты не кипятись, Абросимов, — спокойно говорит майор и машет мне рукой — иди, мол.

Я ухожу. До ширяевского КП бегу стремглав, лавируя между разрывами. Немцы озлились, стреляют без разбора, лишь бы побольше. Ширяева нет. На передовой. Бегу туда. Нос к носу сталкиваюсь с ним у входа в землянку — ту самую, где тогда сидели в окружении.

— Как дела?

Ширяев машет рукой.

— Дела... Половины батальона уже нет.

— Перебили?

— А черт его знает. Лежат. С Абросимовым повоюешь!

— А что?

У Ширяева на шее надуваются жилы.

— А то, что майор свое, а Абросимов свое... Договорились как будто с майором. Объяснил я ему все честь честью. Так, мол, и так. Ходы сообщения у меня с немцами общие...

— Знаю. Ну?

— Ну и подготовил все ночью. Заложил заряды, чтоб проходы проделать. Те самые, что ты еще заделал. Расставил саперов. И — бац! Звонит Абросимов — никаких проходов, в атаку веди. Объясняю, что там пулеметы... «Плевать, артиллерия подавит, а немцы штыка боятся».

— А у тебя сколько народу?

— Стрелков — шестьдесят с чем-то. Тридцать в атаку, тридцать оставил. Еще будет ругаться Абросимов. Ты, говорит, масированный удар наноси... Пулеметчиков и минометчиков только оставь. Саперов тоже гони.

— А майор в курсе дела?

— Не знаю.

Ширяев с размаху плюхается на табуретку. Она трещит и готова рассыпаться.

— Ну, что теперь делать? Половина перебита, половина до вечера проваливается, — не даст им враг подняться. А этот опять сейчас начнет в телефон...

Я объясняю Ширяеву, что мне сказал майор. У него даже глаза загораются. Вскрикивает, хватается за плечи и трясет меня.

— Мирово! Ты тут посиди, а я сейчас с Карнауховым и Фарбером... Эх, как бы людей из воронок выковырять!

Хватает шапку.

— Если звонить будет — молчи! Пускай связист отвечает. Лешка, скажешь — на передовой. Понял? Это — если Абросимов позвонит.

Лешка понимающе кивает головой.

Только Ширяев дверью хлопнул, звонит Абросимов. Лешка лукаво подмигивает.

— Ушли, товарищ капитан. Только что ушли. Да, да, оба. Пришли и ушли.

Прикрыв рукой микрофон, смеется.

— Ругаются... Почему не позвонили ему, когда пришли.

Через полчаса у Ширяева все готово. В трех местах наши траншеи соединяются с немецкими — на сопке в двух и в овраге. В каждой из них по два заминированных завала. Ночью Ширяев с приданными саперами протянул к ним детонирующие шнуры. Траншеи от нас до немцев проверены, снято около десятка мин.

Все в порядке. Ширяев хлопает себя по коленке.

— Тринадцать гавриков приползло обратно. Живем! Пускай отдыхают пока, стерегут. Остальных по десять человек на проход пустим. Не так уж плохо. А?

Глаза его блестят. Шапка, мохнатая, белая, на одно ухо, волосы прилипли ко лбу.

— Карнаухова и Фарбера по сопке пуцу, а сам по оврагу.

— А управлять кто будет?

— Ты.

— Отставить! Я теперь не комбат, а инженер, представитель штаба.

— Ну так что из того, что представитель? Вот и командуй.

— А ты Сендецкого в овраг пусти. Смелый парень, ничего не скажешь.

— Сендецкого? Молод все-таки. Впрочем...

Мы стоим в траншее у входа в блиндаж. Глаза у Ширяева вдруг сощуриваются, нос морщится. Хватает меня за руку.

— Елки-палки... Лезет уже.

— Кто?

По скату оврага, хватаясь за кусты, карабкается Абросимов. За ним связной.

— Ну, теперь все...

Ширяев плюет и сдвигает шапку на бровь.

Абросимов еще издали кричит:

— Какого черта я послал тебя сюда? Лясы точить, что ли?

Запыхавшийся, расстегнутый, в углах рта пена, глаза круглые, готовы выскочить.

— Звоню, звоню... Хоть бы кто подошел. Думаете вы воевать или нет?

Он тяжело дышит. Облизывает языком запекшиеся губы.

— Я вас спрашиваю — думаете вы воевать или нет, мать вашу...

— Думаем, — спокойно отвечает Ширяев.

— Тогда воюйте, черт вас заберет... Какого дьявола ты здесь торчишь? Инженер еще. А я как мальчик бегай...

— Разрешите объяснить, — все так же спокойно, сдержанно, только ноздри дрожат, говорит Ширяев.

Абросимов багровеет.

— Я те объясню...

Хватается за кобуру.

— Шагом марш в атаку!

Я чувствую, как во мне что-то закипает. Ширяев тяжело дышит, наклонив голову. Кулаки сжаты.

— Шагом марш в атаку! Слышал? Больше повторять не буду!

В руках у него пистолет. Пальцы совершенно белы. Ни кровинки.

— Ни в какую атаку не пойду, пока вы меня не выслушаете, — стиснув зубы и страшно медленно выговаривая каждое слово, произносит Ширяев.

Несколько секунд они смотрят друг другу в глаза. Сейчас они сцепятся. Никогда я еще не видел Абросимова таким.

— Майор мне приказал завладеть теми вон траншеями. Я договорился с ним...

— В армии не договариваются, а выполняют приказания, — перебивает Абросимов. — Что я вам утром приказал?

— Керженцев только что подтвердил мне...

— Что я вам утром приказал?

— Атаковать.

— Где ваша атака?

— Захлебнулась, потому что...

— Я не спрашиваю почему... — И, вдруг опять расвирепев, машет в воздухе пистолетом. — Шагом марш в атаку! Пристрелю, как трусов! Приказание не выполнять!..

Мне кажется, что он сейчас повалится и забьется в конвульсиях.

— Всех командиров вперед! И сами вперед! Покажу я вам, как свою шкуру спасти... Траншеи какие-то придумали себе. Три часа, как приказание отдано...

Я больше не могу слушать. Поворачиваюсь и ухожу.

Пулеметы нас почти сразу же укладывают. Бегущий рядом со мной боец падает как-то сразу, плашмя, широко раскинув перед собой руки. Я с разгону вскакиваю в свежую, еще пахнущую разрывом воронку. Кто-то через меня перескакивает. Обсыпает землей. Тоже падает. Быстро-быстро перебирая ногами, ползет куда-то в сторону. Пули свистят над самой землей, ударяются в песок, взвизгивают. Где-то совсем рядом рвутся мины.

Я лежу на боку, свернувшись комком, поджав ноги к самому подбородку. В правой руке у меня пистолет. Он весь в песке. Вечером Валега его густо смазал маслом. Утром я забыл его обтереть.

Никто уже не кричит «ура».

Где Ширяев? Мы почти одновременно выскочили из окопов. Я споткнулся и ухватился левой рукой за что-то железное, торчавшее из земли. Потом я видел его шинель впереди, чуть правее. На ней большое желтое пятно, она сразу бросается в глаза.

Немецкие пулеметы ни на секунду не умолкают. Совершенно отчетливо можно разобрать, как пулеметчик поворачивает пулемет — веером — справа налево, слева направо.

Прижимаюсь изо всех сил к земле. Воронка довольно большая, но левое плечо, по-моему, все-таки выглядывает. Руками копаю землю. От разрыва она мягкая, поддается довольно легко. Но это только верхний слой, дальше пойдет глина. Я лихорадочно, как собака, скребу землю.

Тр-рах! Мина. Меня всего обсыпает землей.

Тр-рах! Вторая. Потом третья, четвертая. Закрываю глаза и перестаю копать. Заметили, вероятно, как я выкидываю землю.

Лежу, затаив дыхание. Рядом кто-то стонет. А-а-а-а... Больше ничего, только а-а-а-а... Равномерно, без всякой интонации, на одной ноте. Я не знаю, сколько времени так лежу. Боюсь шелохнуться. Во рту полно земли. Скрипит на зубах. И кругом земля. Кроме земли, я ничего не вижу. Сверху — серая, мелкая, как пудра, а ниже глина — красновато-бурая, потрескавшаяся, отдельными грудками. Ни травы, ни сучка, ничего, только пыль и глина. Хоть бы червяк какой-нибудь появился. Если повернуть голову, видно небо. Оно тоже какое-то гладкое, серое, неприветливое. Вероятно, снег или дождь пойдет. Скорее снег, у меня мерзнут пальцы на ногах.

Пулемет начинает стрелять с перерывами, но все еще низко, над самой землей. Совершенно не могу понять, почему я цел — не ранен, не убит. За пятьдесят метров лезть на пулемет — верная смерть. Первыми выскочили Ширяев, Карнаухов, Сендецкий и я. И еще один, командир взвода, из новеньких. Я запомнил

только, что у него из-под шапки выбивалась совершенно седая прядь волос. Фарбера я что-то не видел.

Очевидно, я очень немного пробежал и сразу лег. Никак не могу вспомнить, что заставило меня лечь. Как-то сразу все опустело кругом. Было много — и вдруг никого. Должно быть, инстинкт. Страшно стало одному. Впрочем, не помню, было ли мне страшно. Даже не помню, как и почему я оказался в этой воронке.

От неудобного положения правую ногу схватывает судорога. Сначала икру, потом ступню, потом длинное сухожилие, идущее из-под колена вдоль бедра вверх. Переворачиваюсь на другой бок. Пытаюсь вытянуть ногу. Но ее некуда вытянуть, из воронки я боюсь высовываться. Я растираю ладонями, шевелю пальцами. Икра никак не проходит, мешает голенище.

Раненый все еще стонет. Без всякого перерыва, но уже тише.

Немцы переносят огонь в глубину обороны. Разрывы слышны уже далеко за спиной. Пули летят значительно выше. Нас решили оставить в покое. Я высовываю слегка шапку из воронки. Не стреляют. Еще немножко. Не стреляют. Опершись на руки, выглядываю одним глазом. До немцев рукой подать. Можно камнем докинуть до стоящих перед их окопами рогаток. Пулемет как раз против меня — черная полоска амбразуры.

Делаю из земли небольшой валик в сторону немцев. Теперь можно и кругом и назад посмотреть, меня не увидят.

До наших окопов дальше, чем до немецких. Метров тридцать, а то и больше. Кто-то пробегает по ним согнувшись, видны только мотающиеся сверху наушники. Скрывается. Бежавший рядом со мной боец так и лежит, раскинув руки. Лицо его повернуто ко мне. Глаза раскрыты. Кажется, что он приложил ухо к земле и прислушивается к чему-то. В нескольких шагах от него — другой. Видны только ноги в толстых суконных обмотках и желтых ботинках.

Всего я насчитываю четырнадцать трупов. Некоторые, вероятно, от утренней атаки остались. Ни Ширяева, ни Карнаухова среди них не видно. Я бы их сразу узнал. Вокруг много воронок — больших и маленьких. В одной что-то чернеет. Потом исчезает.

Раненый все стонет. Он лежит в нескольких шагах от моей воронки, ничком, головой ко мне. Шапка рядом. Волосы черные, вьющиеся, страшно знакомые. Руки согнуты, прижаты к телу. Он ползет. Медленно, медленно ползет, не подымая головы. На одних локтях ползет. Ноги беспомощно волочатся. И все время стонет. Совсем уже тихо.

Не отрываю от него глаз. Не знаю, как ему помочь. У меня даже пакета индивидуального нет с собой.

Он совсем уже рядом. Рукой можно дотянуться.

— Давай, давай сюда, — шепчу я и протягиваю руку.

Голова приподымается. Черные, большие, затянутые уже предсмертной мутой глаза. Харламов... Мой бывший начальник штаба... Смотрит и не узнает. На лице никакого страдания. Какое-то оупение. Лоб, щеки, зубы в земле. Рот приоткрыт. Губы белые.

— Давай, давай сюда...

Упираясь локтями в землю, он подползает к самой воронке. Утыкается лицом в землю. Просунув руки ему под мышки, вволакиваю его в воронку. Он весь какой-то мягкий, без костей. Валится головой вперед. Ноги совершенно безжизненны.

С трудом укладываю его. Двоим тесно в воронке. Приходится его ноги класть на свои. Он лежит, закинув голову назад, смотрит в небо. Тяжело и редко дышит. Гимнастерка и верхняя часть брюк в крови. Я расстегиваю ему пояс. Подымаю рубаху. Две маленькие аккуратные дырочки в правой стороне живота. Я понимаю, что он умрет.

Он поворачивает голову в мою сторону. Губы его шевелятся, что-то говорят. Я могу разобрать только: «Товарищ лейтенант... товарищ лейтенант...» Мне кажется, он все-таки узнал меня. Потом откидывает голову и больше уже не подымает. Умирает он совершенно спокойно. Просто перестает дышать.

Я закрываю ему глаза. Строгое, вытянувшееся сразу лицо его прикрываю шапкой.

Начинает идти снег. Сначала мелкий, не то снег, не то крупа, потом большие мохнатые хлопья. Все вокруг становится сразу белым — земля, лежащие люди, брустверы окопов. Руки и ноги начинают мерзнуть. Уши тоже. Я подымаю воротник.

Немцы стреляют. Наши отвечают. Пули то и дело свистят над головой.

Так мы лежим — я и Харламов, холодный, вытянувшийся, с не тающими на руках снежинками. Часы остановились. Я не могу определить, сколько времени мы лежим. Ноги и руки затекают. Опять схватывает судорога. Сколько можно так лежать? Может, просто вскочить и побежать. Тридцать метров — пять секунд, самое большее, пока пулеметчик спохватится. Выбежали же утром тринадцать человек.

В соседней воронке кто-то ворочается. На фоне белого, начинающего уже таять снега шевелится серое пятно ушанки. На секунду появляется голова. Скрывается. Опять показывается. Потом вдруг сразу из воронки выскакивает человек и бежит. Быстро, быстро, прижав руки к бокам, согнувшись, высоко подкидывая ноги.

Он пробегает три четверти пути. До окопов остается каких-нибудь восемь-десять метров. Его скашивает пулемет. Он делает еще несколько шагов и прямо головой падает вперед. Так и остается лежать в трех шагах от наших окопов. Некоторое время еще темнеет шинель на снегу, потом и она становится белой. Снег все идет и идет...

Потом еще трое бегут. Почти сразу все трое. Один в короткой фуфайке. Шинель, должно быть, скинул, чтоб легче бежать было. Его убивает почти на самом бруствере. Второго — в нескольких шагах от него. Третьему удается вскочить в окоп. С немецкой стороны пулемет долго еще сажает пулю за пулей в то место, где скрылся боец.

Я каблуками вырываю углубление в воронке. Теперь можно вытянуть ноги. Еще одно углубление для харламовских ног. Они уже окостенели и не разгибаются в коленях. Кое-как я их все-таки впикиваю туда. Теперь мы лежим рядом, вытянувшись во весь рост. Я на боку, он на спине. Похоже, что он спит, прикрыв лицо шапкой от снега.

Работа меня немного согревает. Укладываюсь на левый бок, чтобы не видеть Харламова. Под бедром тоже немножко раскапываю — так удобнее лежать. Теперь хорошо. Лишь бы только наши дальнобойки не открыли огня по немецкой передовой. И покурить бы... Хоть три затяжки. Табак я забыл у Ширяева в блиндаже. Только спички тарахтят в кармане.

Меня клонит ко сну. Снег подо мной тает. Серая пыль превращается в грязь. Колени промокли. И голова мерзнет. Я снимаю с Харламова шапку и накрываю лицо ему носовым платком. Чищу пистолет. Это — чтоб не заснуть. В нем оказывается всего четыре патрона. Запасной обоймы тоже нет.

Который сейчас может быть час? Вероятно, уже больше двенадцати. А темнеет только в шесть. Еще шесть часов лежать. Шесть часов — целая вечность.

Я опускаю наушники и закрываю глаза. Будь что будет.

Сон не идет. Мне все время кажется, что Харламов за моей спиной шевелится. Я вспоминаю, что надо у него забрать документы. Это не так легко, они у него в заднем брючном кармане. Я помню, что он вынимал кандидатскую карточку, когда платил членские взносы, из заднего кармана. Я вожусь долго. Харламов стал тяжелым, точно прирос к земле. Но все-таки достаю. В маленькую клееночку аккуратно завернуты и зашпилены английской булавкой кандидатская карточка, два письма, какая-то почти совсем истлевшая справка с расплывшимися чернилами и несколько фотографий. Фотографии завернуты отдельно. Я никогда не думал, что Харламов такой аккуратный. У меня в штабе он всегда все терял и забывал.

Я рассматриваю карточки. На одной Харламов с какой-то женщиной. У нее длинные выющиеся волосы и широко расставленные глаза. Должно быть, жена. На руках ребенок, такие же черные большие глаза, как у отца. На другой — та же женщина, только одна и в берете. На третьей — компания на берегу реки. Смеются. Один парень с гитарой. Харламов в трусах, лежит на животе. Вдали поле и стога сена. На обороте написано: «Черкизово, июнь 1939 г. Вторая слева Мура».

Я заворачиваю все опять в клеенку, закалываю булавкой и кладу в карман.

Маленький комочек глины ударяет меня в ухо. Я вздрагиваю. Второй падает рядом, около колена. Кто-то кидает в меня. Я приподымаю голову. Из соседней воронки выглядывает широкоскулое, небритое лицо.

— Браток... Спички есть?

— Есть.

— Кинь, бога ради...

— «Сорок» оставишь?

— Ладно.

Я кидаю коробок. Он не долетает шага на два. Фу ты, черт! Сидящий в воронке протягивает руку. Нет, не дотянулся. Мы оба не сводим с коробка глаз. Маленький, чернобокий, он лежит на снегу и точно смеется над нами. Потом появляется винтовка. Медленно, осторожно высовывается из воронки, движется по снегу, тычется в коробок. Вся эта операция тянется целую вечность. Коробок скользит, отодвигается, никак не хочет за мушку цепляться. У хозяина винтовки от напряжения даже рот раскрывается. В конце концов он все-таки зацепляет ее. Голова и винтовка исчезают. Над воронкой появляется легкий дымок.

— Поосторожней... — шепчу я, но, по-моему, он меня не слышит.

Он курит добрых полчаса, никак не меньше. У меня даже голова кружится от желания и зависти. Потом спичечная коробка возвращается ко мне с крохотным, обслоненным окурком внутри. Я его сосу, сосу что есть мочи. Все губы обжигаю.

— Боец! Часов нет у тебя? — спрашиваю шепотом.

— Без четверти двенадцать, — доносится из воронки.

Я ушам не верю. Думал, что уже два или три, а тут еще двенадцати нет. В довершение всего опять начинается обстрел. Наш или немецкий, кто его знает. Снаряды рвутся совсем рядом. Минут десять или пятнадцать. Потом перерыв. Потом опять налет.

Надо бежать. Ждать еще шесть часов! Не выдержу. Убьют так убьют — от смерти не спасешься.

Из воронки опять хрипит:

— Друг... э-э-э... друг...

— Что тебе?

— Давай побежим.

Тоже не выдержал.

— Давай, — отвечаю я.

Мы идем на маленькую хитрость. Предыдущих трех убило почти у самого бруствера. Надо, не добегая до наших окопов, упасть. К моменту очереди мы будем лежать. Потом одним рывком прямо в окопы. Может, повезет. Переворачиваюсь в сторону наших окопов. Лишь бы опять судорога не схватила. Мест-

ность впереди ровная, только одна воронка небольшая и убитый рядом.

— Ну, готов?

— Готов.

Упираюсь левой ногой, правая согнута в колене. Последний раз смотрю на Харламова. Он спокойно лежит, согнув колени. Руки на животе. Ему уже ничего не нужно.

— Пошел!

— Пошел.

Снег... Воронка... Убитый... Опять снег... Валюсь на землю. И почти сразу же — та-та-та-та-та... Не дышу. Та-та-та-та... Лежу. Та-та-та-та-та...

— Жив?

— Жив.

Лежу лицом в снегу. Руки раскинул. Левая нога под животом. Легче вскакивать будет. До окопов пять шагов или шесть. Уголом глаза пожираю этот клочок земли.

Надо выждать минуты две или три, чтобы успокоился пулеметчик. Сейчас он уже в нас не попадет, мы слишком низко.

Слышно, как кто-то ходит по окопам, разговаривает. Слов не слышно.

— Ну — пора.

— Приготовься, — не подымая головы, в снег говорю я.

— Есть, — отвечает слева.

Я весь напрягаюсь. В висках стучит.

— Давай!

Отталкиваюсь. Три прыжка и — в окопе.

Мы долго потом еще сидим прямо в грязи, на дне окопа и смеемся. Кто-то дает окурок.

Оказывается, уже пять часов. Часы у бойца тоже стали. Мы пролежали в воронке с семи до пяти — девять часов. Только сейчас чувствую, что бешено, сверхъестественно хочу есть.

Утром мы хороним товарищей — Харламова, Сендецкого и командира взвода с седой прядью. Ночью их тела выносят с поля боя санитары. Карнаухова так и не нашли. Говорят, видали, как он с четырьмя бойцами ворвался в немецкие окопы. Там, по видимому, и погиб.

Ширяев приполз сам, залитый кровью, с беспомощно болтающейся рукой. Приполз, еле через бруствер перевалился и сразу сознание потерял. Отправили в санчасть. Я зашел туда. Полчаса тому назад его отвезли в медсанбат на ту сторону.

Всего батальон потерял двадцать шесть человек, почти половину, не считая раненых.

Команду над батальоном принял Фарбер. Он единственный из всех командиров не участвовал в атаке. Абросимов оставил его при себе.

Мы хороним товарищей над самой Волгой.

Простые гробы из сосновых необструганных досок. Свинцовые, тяжелые тучи бегут над головой. Хлопает полами шинели ветер. Мокрый, противный снег забивается за воротники. Плывут льдины по Волге — осеннее сало.

Темнеют три ямы.

Просто как-то это все здесь, на фронте. Был вчера — сегодня нет. А завтра, может, и тебя не будет. И так же глухо будет падать земля на крышку твоего гроба. А может, и гроба не будет, а занесет тебя снегом и будешь лежать, уткнувшись лицом в землю, пока война не кончится.

Три маленьких рыженьких холмика вырастают над Волгой. Три серые ушанки. Три колышка. Салют — сухая, мелкая дробь автомата. Точно эхо гудят дальнобойки за Волгой. Минута молчания. Саперы собирают лопаты, подправляют могилы.

И это все. Мы уходим.

Ни одному из них не было больше двадцати четырех лет. Карнаухову — двадцать пять. Даже похоронить его не удалось: его тело там — у немцев.

Так и не прочел он мне стихи свои. Они у меня сейчас в кармане, вместе с письмом матери и Люсиной карточкой. Простые, ясные, чистые — такие, каким он сам был.

...Ты от этой землянки низкой
Так далеко, как мир иной,
Мне ж такую видишься близкой,
Будто вот — держусь рукой.
Вижу, как шевелятся ветви,
Молодой шумит березняк,
Как твоими косами ветер
Оплетает, вяжет меня.

Портрет Лондона я вешаю над столиком ниже зеркала. Они немного даже похожи — Лондон и Карнаухов.

В последний раз я говорил с Карнауховым за три минуты до начала атаки. Он сидел на корточках в углу траншеи и прилаживал капсюли к гранатам. Я что-то спросил у него — не помню уже что. Он поднял голову, и впервые не увидел я в глазах его улыбки, глубокой, где-то на самом дне глаз, тихой улыбки, которая мне так нравилась. Он что-то ответил, и я ушел. Больше я его не видел.

Я долго лежу, уткнувшись лицом в подушку.

Приходит Лисагор. Садится на свою койку, подобрав ноги. Сопит. Не ругается. Молча курит, опершись подбородком о колени.

— Судить, говорят, Абросимова будут, — мрачно говорит он.
— Кто сказал?

- Писарь Ладыгин слышал.
- Брехун...
- Брехун, да не всегда. Трется все-таки около начальства.
- Ты что, в штабе был?
- В штабе.
- Что там?
- Ничего. Как всегда. Астафьев схемы разрисовывает. Спрашивал, сколько у нас человек. Я соврал, что двенадцать. С ним тоже надо ухо остро держать. Чернильная душа.
- Майора не видел?
- Заскочил на минутку. Сумрачный, невеселый, список потерь у Ладыгина взял.
- Эх... напиться бы сейчас... До чертиков...
- Вечером в комсоставской столовой майор останавливает меня.
- Подготовься к завтраму, инженер.
- Я не понимаю.
- К чему?
- Майор попыхивает трубкой, не слышит. Осунулся, побледнел.
- К чему? — повторяю я.
- Он медленно поднимает голову.
- Расскажешь того... как это все было... там, на сопке, — и уходит, опираясь на палку. Он до сих пор еще прихрамывает.
- Я ничего больше не спрашиваю. Все ясно.
- Ладыгин, штабной писарь, первый сплетник в полку, рассказывает, что майора и Абросимова вызывали в штадив и что они три часа там пропадали. Потом Абросимов как заперся в своем блиндаже, так до сих пор не выходит. Обед и ужин назад отослал.
- Связной его на продскладе чего-то околачивается. Потом рысью в блиндаж его — все карманы руками придерживал. Утром как раз водку получили.
- И он подмигивает наглым зеленым глазом.

25

На суд я опаздываю. Прихожу, когда уже говорит майор. В трубе второго батальона, — это самое просторное помещение на нашем участке, — накурено так, что лиц почти не видно. Абросимов сидит у стенки. Губы сжаты, белые, сухие. Глаза — в стенку.

Астафьев, секретарь, шуршит бумагами, перекладывает, пробует чернила на уголке. Рядом с ним еще двое — начальник разведки и командир роты ПТР. Майор стоит у стола. За эти сутки постарел лет на десять. Время от времени подносит к губам

стакан с чаем и пьет маленькими нервными глотками. Говорит тихо. Так тихо, что из конца трубы не слышно. Я пробираюсь вперед.

— Нельзя на войне без доверия, — говорит он, — мало одной храбрости. И знаний мало. Нужна еще и вера. Вера в людей, с которыми ты вместе воюешь. Без этого никак нельзя.

Он расстегивает воротник. В трубе жарко. Мне кажется, что у него слегка дрожат пальцы, отстегивающие крючки.

— С Абросимовым мы прошли большой путь... Большой боевой путь. Орел, Касторная, Воронеж... Здесь вот уже сколько сидим. И я верил ему. Знал, что он молод, неопытен, может быть, на войне только учится, знал, что может ошибки делать, — кто из нас не ошибался, — но верить — я ему верил. Нельзя не верить своему начальнику штаба.

Повернув голову, он долгим, тяжелым взглядом смотрит на Абросимова.

— Я знаю, что сам виноват. За людей отвечаю я, а не начальник штаба. И за эту операцию отвечаю я. И когда комдив кричал сегодня на Абросимова, я знал, что это он и на меня кричит. И он прав. — Майор проводит рукой по волосам, обводит всех нас усталым взглядом. — Не бывает войны без жертв. На то и война. Но то, что произошло во втором батальоне вчера, — это уже не война. Это истребление. Абросимов превысил свою власть. Он отменил мой приказ. И отменил дважды. Утром — по телефону, и потом сам, погнав людей в атаку.

— Приказано было атаковать баки... — сухим, деревянным голосом прерывает Абросимов, не отрывая глаз от стенки. — А люди в атаку не шли...

— Врешь! — Майор ударяет кулаком по столу, так что ложка в стакане дребезжит. Но тут же сдерживается. Отхлебывает чай из стакана. — Шли люди в атаку. Но не так, как тебе этого хотелось. Люди шли с головой, обдумавши. А ты что сделал? Ты видел, к чему первая атака привела? Но там нельзя было иначе. Мы рассчитывали на артподготовку. Нужно было сразу же, не давая противнику опомниться, ударить его. И не вышло... Противник оказался сильнее и хитрее, чем мы думали. Нам не удалось подавить его огневые точки. Я послал инженера во второй батальон. Там был Ширяев — парень с головой. Он с ночи еще все заготовил, чтоб захватить немецкие окопы. И по-умному заготовил. А ты... А Абросимов что сделал?

У Абросимова начинает подергиваться губа.

Обычно добродушное, мягкое лицо Бородина становится красным, щеки трясутся.

— Я знаю, как ты кричал там... Как пистолетом размахивал. Он отпивает еще глоток чаю из стакана.

— Приказ на войне свят. Невыполнение приказа — преступ-

ление. И выполняется всегда последнее приказание. И люди его выполнили и лежат сейчас перед нашими окопами. А Абросимов сидит здесь. Он обманул своего командира полка. Он превысил свою власть. А люди погибли. Все. По-моему, достаточно.

Майор тяжело опускается на табуретку.

Абросимов как сидел, так и сидит, — руки на коленях, глаза в стенку. Астафьев, наклонив голову, что-то старательно и быстро пишет.

Говорят еще несколько человек. Потом я. За мной — Абросимов. Он краток. Он считает, что баки можно было взять только массированной атакой. Вот и все. И он потребовал, чтобы эту атаку осуществили. Комбаты берегут людей, поэтому не любят атак. Баки можно было только атакой взять. И он не виноват, что люди недобросовестно к этому отнеслись, струсили.

— Струсили?.. — раздается откуда-то из глубины трубы.

Все оборачиваются. Неуклюжий, на голову выше всех окружающих, в короткой, смешной шинелишке своей, протискивается к столу Фарбер.

— Струсили, говорите вы? Ширяев струсил? Карнаухов струсил? Это вы о них говорите?

Фарбер задыхается, моргает близорукими глазами — очки он вчера разбил, — щурится.

— Я все видел... Собственными глазами видел... Как Ширяев шел... И Карнаухов, и... все как шли... Я не умею говорить... Я их недавно знаю... Карнаухова и других... Как у вас только язык поворачивается. Храбрость не в том, чтоб с голой грудью на пулемет лезть. Абросимов... капитан Абросимов говорил, что приказано было атаковать баки. Не атаковать, а овладеть. Траншеи, придуманные Ширяевым, не трусость. Это прием. Правильный прием. Он сберег бы людей. Сберег, чтоб они могли воевать. Сейчас их нет. И я считаю... — Голос у него срывается, он ищет стакан, не находит, машет рукой. — Я считаю, нельзя таким людям, нельзя им командовать...

Фарбер не находит слов, сбивается, краснеет, опять ищет стакан и вдруг сразу выпаливает:

— Вы сами трус! Вы не пошли в атаку! И меня еще при себе держали. Я все видел... — И, дернув плечом, цепляясь крючками шинели за соседей, протискивается назад.

Я выхожу вслед за ним во двор. Он стоит, прислонившись к трубе.

— Хорошо говорили, Фарбер.

Он вздрагивает.

— Какое там хорошо. Все спуталось в голове. Как посмотрю на него, так, знаете... И сидит себе спокойно, огрызается еще. Нет... Нет. Не то все это.

Он тяжело дышит.

— Последних моих двух стариков убило. Ермака и Переверзева. Вы их не помните? Один моряк, другой комбайнер, кажется. Неразлучные друзья. Спали, пили, ели вместе. Да вы знаете их. Фокусник один из них был.

— А тот молоденький командир взвода, забыл его фамилию, с седой прядью, ваш был?

— Калабин? Командир пульроты. Мальчик совсем еще. И недели у нас не пробыл. Из госпиталя прибыл — все рассказывал, как манной кашей их там закармливали.

— Новых командиров не прислали еще?

— Командиров рот из первого и третьего батальона прислали. А на взводы сержантов пока поставил. Адъютанта старшего пока нет.

— Без адъютанта трудновато, — соглашаюсь я.

Почему-то я совершенно спокоен сейчас за Фарбера. В его манере говорить, в общем тоне появились какие-то новые, твердые нотки. Их раньше не было.

— А что с Ширяевым? Так и не узнали точно?

— Кажется, не очень серьезно. Череп цел, а с рукой не знаю что. Крови мало было, но болталась, как тряпка.

— Правая?

— Нет, левая...

— И то хорошо...

— Не хотел уходить. Ругался. Все равно, говорит, вернусь. Хотите или не хотите, а вернусь. А с Абросимовым хоть на краю света, а встречусь.

— Не завидую Абросимову, кулачок у Ширяева — дай бог...

Мы еще некоторое время разговариваем, потом Фарбер возвращается в трубу. Я ухожу к себе. Мне не хочется больше на суд.

Валега жарит хлеб на сковородке. В углу шумит самовар.

Я скидываю сапоги, гимнастерку, вытягиваюсь на койке.

— Вы чай или кофе будете? — спрашивает Валега.

— А кофе с чем?

— С молоком стуженным.

— Тогда кофе.

Валега уходит толочь зерна. Шипит масло на сковородке. Я вынимаю и перечитываю стихи Карнаухова.

Потом приходит Лисагор. Хлопает дверью. Заглядывает в сковородку. Останавливается около меня.

— Ну? — спрашиваю я.

— Разжаловали и — в штрафную.

Больше об Абросимове мы не говорим. На следующий день он уходит, ни с кем не простившись, с мешком за плечами.

Больше я никогда его не видел и никогда о нем не слышал.

Ночью приходят танки. Шесть стареньких, латаных и перелатанных «тридцатьчетверок». Долго фырчат, лязгают гусеницами по берегу, маскируются. Сразу как-то веселей становится.

Мы их давно уже ждем. Дней десять носят слухи. Говорили, целая дивизия танковая идет из тыла, прямо с завода. Потом уменьшили до полка, до батальона. Приходит же всего шесть выдавших виды старушек, и не из тыла, а с «Красного Октября», где они чуть ли не с первого дня обороны воюют. Но все это чепуха. Все же танки, техника... И вид у них довольно грозный...

К утру они должны быть уже на передовой. Майор приказывает мне просмотреть и подготовить дорогу для них. Придется подорвать две железнодорожные платформы, загораживающие дорогу у шлагбаума. Посылаю туда Лисагора и Агнивцева.

Трое танкистов заходят ко мне погреться — два лейтенанта и сержант, — черные, грязные, промасленные с головы до ног.

— Поесть ничего нет? — спрашивает старший из них, с испещренным шрамами лицом, — обгорел, должно быть. — С утра во рту ничего не было...

Валега подает на стол остатки именинного зайца. Лейтенанты с аппетитом уплетают его за обе щеки.

— Ну как? Воюете? — спрашивают.

— Воюем понемножку, — отвечаю я.

— Баков до сих пор не взяли?

— Баков не взяли. Голыми руками не очень-то...

Танкисты пересмеиваются.

— На нас надеетесь?

— А на кого ж? Без техники все-таки...

Лейтенант с густой, небритой, чуть не до глаз бородой смеется.

— А знаешь, где эта техника только не пребывала?

— По машинам видно, что поработали основательно. На Юго-Западном были?

— Ты спроси, где мы не были.

— Под Харьковом были?

— Под Харьковом? А ты что, был там?

— Был.

— Непокрытую, Терновую знаешь?

— Еще бы. Мы там в наступление шли.

— Тоже мне — шли... Из-за вас, пехтуры, и Харьков прозевали. Мы на Тракторном уже были... Зайца нет больше?

— Весь. Шкура только осталась.

— Жаль. А то спирт у нас есть...

— А мы сообразим чего-нибудь.

Я посылаю Валегу к Чумаку.

— Скажи, чтоб приходил. И закуску тащил с собой. У вас сколько спирту?

— Хватит. Не беспокойся.

Валега уходит. Сержант тоже.

— А вы как боги живете, — говорит лейтенант со шрамами, указывая глазами на толстого амурчика на зеркале. — Как паны...

— Да, на жилплощадь пожаловаться не можем.

— И книжечки почитываете.

— Бывает.

Он перелистывает «Мартина Идена».

— Я уже и не помню, когда читал. В Перемышле, что ли? В субботу перед войной. Читать, вероятно, уже разучился, — и смеется. — После войны придется заново учиться.

Потом приходит Чумак. Заспанный, почесывается, в волосах пух.

— Инженер называется... Посреди ночи водку пить... Придет же в голову. На, бери.

Он вынимает из-под бушлата два круга колбасы и буханку хлеба.

— Валега твой пошел за старшиной моим. Тушенки пару банок притащит.

Смотрит на танкистов.

— Ваши коробки на берегу?

— А чьи же?

— Я б и сесть на них постыдился. До передовой не доберутся — рассыплются.

Бородатый обижается.

— А это уж наше дело.

— Конечно ж, не мое. Мое дело водку пить и танкистов ругать, что воюют плохо.

— А ты кто?

— Я? А ты инженера спроси. Он тебе скажет.

— Разведчик, должно быть. По морде видать.

— По какой морде? — Чумак сжимает кулаки.

— Поосторожнее, малый. Спирт-то чей будешь пить?

— А что? Ваш?

— Наш.

— Тогда все. Молчу. И про танки беру обратно. Возьмете завтра баки. На таких машинах и не взять...

Танкисты смеются. Чумак потягивается, хрустит пальцами. Бородатый смотрит на часы.

— Куда же это Приходько запропастился?

— Бачки отвязывает, должно быть. Или посуду ищет. А вода у тебя есть, инженер? А то крепкий, девяносто шесть...

— За водой остановки не будет. Волга под боком.

— Вы что — завтра в атаку? — спрашивает Чумак.

— Бог его знает. Велено стать на исходные, а там посмотрим.

— Наверяд ли завтра. Нам ничего еще не говорили.

— Скажут еще.

— Если не завтра, — задумчиво ковыряя ножом стол, говорит Чумак, — немцы вас за день прямой наводочкой знаешь как раз-делают...

— Там, говорят, склон, не видно будто.

— Говорят, говорят... А «мессеры» зачем?

— А противотанковой артиллерии много у них? — настораживается бородатый.

— На вас хватит.

В коридоре что-то с грохотом летит. Кто-то ругается. Потом вваливается сержант, нагруженный фляжками.

— Какой дурак у вас там лопаты раскидал. Чуть все фляжки не пококал.

Он кладет фляжки на койку. Поворачивается, сияющий, веселый.

— Что мне за новость будет?

— Какую новость?

— Мировую. Скажите, что будет, — расскажу.

— Сто грамм лишних, — морщится Чумак, пробуя спирт на язык. — Силен, черт...

— Мало.

— Тогда держи при себе. Все равно после первой стопки разболтаешь. Давай кружки, инженер.

Я подаю кружки. Их всего две. Придется по очереди. Чумак разливает. Льет воду из чайника.

— Ну — что за новость? — спрашивает лейтенант со шрамами.

— Сказал, что мировая. В шестнадцатой машине передачу только что слушал.

— Гитлер сдох, что ли?

— Почище...

— Война кончилась?

— Наоборот. Началась только... — и выдержав паузу: — Наши Калач заняли. Потом эту, как ее, Кривую... Кривую...

— Кривую Музгу?

— Музгу... Музгу. И еще что-то на Г...

— Неужто Абганерово?

— Вот, вот... Абганерово...

— А ты не врешь?

— Зачем вру? Тринадцать тысяч пленных... Четырнадцать тысяч убитых!

— Елки-палки!..

— Когда же это?

— Да вот за эти три дня. Калач, Абганерово и еще что-то. Целая куча названий.

— Ну, все. Фашистам капут!

Чумак так ударяет меня ладонью промеж лопаток, что я чуть не проглатываю язык.

— За капут, хлопцы!

И мы пьем все сразу из кружек и фляжек, запивая водой прямо из носика чайника.

— Вот дела! Вино хлещут...

В дверях Лисагор. Даже рот раскрыл от удивления.

— Я там вагоны рву, а они водку дуют.

Я протягиваю ему кружку. Он залпом выпивает. Закрывает глаза. Крякает. Ощупью берет корку хлеба. Нюхает.

— Разлагаетесь здесь, а в пять наступление. Знаете? Батальонам уже завтрак повезли.

— Врешь...

— Посмотрите, что на берегу делается.

Танкисты срываются, не дожевав колбасы.

— Ширяев ругается, что с проходами задерживаем.

— Какой Ширяев?

— Как — какой? Начальник штаба. Старший лейтенант.

— Господи... Откуда ж он взялся?

— Всю войну так прозеваετε... — смеется Лисагор. — Из медсанбата прибежал. Разоряется уже там на берегу.

Я натягиваю сапоги. Ищу пистолет. Смотрю на часы. Без четверти три.

— Проходы сделал?

— Сделал.

— На всю ширину?

— На всю. Как миленькие проедете.

Танкисты уже заводят моторы, суетятся. Весь берег белый. Опять снег пошел. Откуда-то слева доносится голос Ширяева. Кричит на кого-то:

— Чтoб через пять минут пришел и доложил... Понятно? Раз-два...

Пробегает Чумак, застегивая на ходу бушлат.

— Дает дрозда новый начальник штаба. Держись только, инженер...

Ширяев стоит у входа в штабную землянку. Рука забинтована, в косынке. Белеет бинт из-под ушанки. Увидев меня, машет здоровой рукой.

— Галопом на передовую, Юрка! Танкистам помогать... Никто не знает, где там проходы ваши...

— Как рука? — спрашиваю.

— Потом, потом... Топай... Два часа осталось.

— Есть, товарищ старший лейтенант. Разрешите идти?

— Топай... А Лисагора ко мне...

Я козыряю, поворачиваюсь через левое плечо, прицеливая каблуком, руку от козырька отрываю с первым шагом.

— Отставить! Два часа строевой...

Холодный крепкий снежок вlepляется мне прямо в затылок. Рассыпается, забирается за шиворот.

Я вскакиваю на переднюю машину. Валега уже там, прицепляет фляжку к поясу.

Один за другим вытягиваются танки вдоль берега. Минуют шлагбаум, взорванные платформы. Выезжают на брусчатку. Сейчас немцы огонь откроют — танки неистово громяхают.

Медленно кружась в воздухе, падают снежинки.

Громадной тяжелой глыбой белеет впереди Мамаев курган. До наступления осталось час сорок минут.

27

Атака назначена на пять. Без двадцати пять прибегают запыхавшийся Гаркуша.

— Товарищ лейтенант...

— Ну, чего еще?

Он тяжело дышит, вытирает взмокший лоб ладонью.

— Разведчики вернулись.

— Ну?

— На мины напоролись.

— Какие мины?

— Немецкие. Как раз против левого прохода. Метров за пятьдесят. Какие-то незнакомые.

— Тьфу ты, черт! Чего же они вчера смотрели?

— Говорят, не было вчера.

— Не было?.. Где этот... Бухвостов?

— В петеэровской землянке сидит.

— Ширяев, позвони в штаб, чтоб сигнал задержали. Я сейчас.

Бухвостов, рябой, щупленький командир разведвзвода саперного батальона, разводит руками.

— Сегодня ночью, очевидно, поставили. Ей-богу, сегодня ночью. Вчера собственными руками все обшарил — ничего не было. Ей-богу...

— Ей-богу, ей-богу! Чего раньше не доложил? Всегда в последнюю минуту. Много их там?

— Да штук десять будет. И какие-то незнакомые, первый раз вижу. Вроде наших помзов, но не совсем. Взрыватель где-то сбоку.

— Гаркуша, тащи маскхалаты. А ты... поведешь.

На наше счастье, луны нет. Ползем через танковый проход, отмеченный колышками. Рябой сержант, Гаркуша, я. Мелькают перед носом подбитые подковами гаркушинские каблучки. Проползаем за линию наших минных полей. Кругом бело-

бело. Темнеет впереди линия немецких траншей. Сержант останавливается. Молча указывает рукавицей на что-то чернеющее в снегу. Помза! Самая обыкновенная помза — насеченная болванка, взрыватель и шнурок. А сбоку добавочный колышек, чтоб крепче стояла. А он его за взрыватель принял. Шляпа, а не разведчик.

Гаркуша, лежа на животе, ловко один за другим выкручивает взрыватели. У меня замерзли руки, и я с трудом отвинчиваю только два. Сержант сопит.

Пш-ш-ш-ш... Ракета...

Замираем. Моментально пересыхает во рту. Сердце начинает биться как бешеное. Увидят, сволочи.

Пш-ш-ш-ш... Вторая... Уголком глаза вижу, что сержант уже отполз от меня метров на десять. Ну что за человек! Сейчас увидят немцы.

Короткая очередь из пулемета.

Увидели.

Опять очередь.

Что-то со страшной силой ударяет меня в левую руку, потом в ногу. Зарываю голову в снег. Он холодный, приятный, забивается в рот, нос, уши. Как приятно... Хрустит на зубах... Как мороженое... А он говорил, что не помзы... Самые обыкновенные помзы... Только колышек сбоку. Чудак сержант. Все... Больше ничего... Только снег на зубах...

28

«Ну и сукин же ты сын, Юрка. После записки из медсанбата два месяца ни слова. Просто хамство. Если бы еще в правую руку был ранен, тогда была б отговорка, а то ведь в левую. Нехорошо, ей-богу, нехорошо. Меня тут каждый день о тебе спрашивают, а я так и отвечаю — разжирел, мол, на госпитальных харчах, с санитарками романы разводит, куда уж о боевых друзьях вспоминать. А они, настоящая ты душа, не забывают. Чумак специально для тебя замечательный какой-то коньяк трофейный бережет (шесть звездочек!), никому пробовать не дает. Я уж подбирался, подбирался — ни в какуюю.

А вообще надоело. Сидение надоело. До чертиков надоело. Другие наступают, вперед на запад, а мы все в тех же окопах, в тех же землянках. Враг, правда, не тот, что раньше. Но прошлый месяц все-таки туговато пришлось. Людей почти всех повывело из строя, а рассчитывать на пополнение, сам знаешь... После того как тебя кокнуло, еще раз ходили в танковую атаку, но баков так и не взяли, а танки потом на другой участок перебросили.

Один немцы подбили, и мы из-за него добрый месяц воевали. Комдив велел под ним огневую точку сделать, и немецкий комдив, вероятно, то же самое решил, вот и дрались из-за этого танка как скаженные. В лоб не выходило — в батальонах по пять-семь активных штыков. Пришлось подкопаться. А грунт как камень, и взрывчатки нет. Волга недели две никак стать не могла. Сухари и концентрат «кукурузники» сбрасывали.

В конце концов взяли все-таки танк. Вырыли туннель в двадцать два метра длиной, заложили толу килограммов сто и ахнули. В атаку через воронку полезли. Вот какие мы! Я Тугиева, Агнивцева (он сейчас в медсанбате — ранен) и твоего Валегу к Звездочке представил — молодцы хлопцы, а остальных — к Отваге. Сейчас под танком фарберовский пулемет, — сечет немцев напропалую. Баки пока еще у них. Врылись в землю, как кроты, ни с какой стороны не подлезешь. Бойцов не хватает, вот в чем закавыка. Артиллерией в основном воюем. Ее всю, кроме тяжелой, на правый берег перетянули. Около нашей землянки батарею дивизионок поставили, спать не дает. Родимцева и 92-ю правее нас перекинули, в район Трамвайной улицы. А 39-я молодцом. «Красный Октябрь» почти полностью очистила.

Во взводе нас сейчас трое — я, Гаркуша и Валега. Тугиев с лошадьми на левом берегу вместо Кулешова. Проворовался Кулешов с овсом и угодил в штрафной. Чепурного, Тимошку и того маленького, что все время жевал, забыл его фамилию, потеряли на Мамаевом. Мы недели две держали там оборону с химиками и разведчиками. Двоих похоронили, а от Тимошки только ушанку нашли. Жалко парнишку. И баян его без дела валяется. Уразов подорвался на мине, оторвало ступню. И троих еще отправил в медсанбат, из новеньких, ты их не знаешь. Из штабников накрылся начхим Турин и переводчик. «Любимцу» твоему с бакенбардами, Астафьеву, немцы вlepили осколок прямо в задницу (как он его поймал, никак не пойму, — из землянки он не вылезал), лежит теперь на животе и архив свой перебирает.

А мы сейчас все НП строим. Каждый день новое. Штук пять уже сделали — все не нравится майору. Ты ведь знаешь его. Одно в трубе фабричной сделали — около химзавода, где синьки много. Другое — на крыше, как голубятня. Видно хорошо, но майор говорит — холодно, сквозит, велел под домиком сделать в поселке, что около выемки, где паровоз «ФД» стоит. А артиллеристы 270-го приперли туда свои пушки и огонь противника на себя притягивают. Снаряды рвутся совсем рядом — куда ж майора туда тянуть.

А в общем, приезжай скорей, вместе подыщем хорошее местечко. Да и копать поможешь (ха-ха!), а то у меня такие уже волдыри на ладонях, что лопаты в руки не возьмешь. Устинов твой, дивинженер, плотно поселился в моих печенках — все схемы

да схемы требует, а для меня это, сам знаешь, гроб. Ширяев передает поклон, рука у него совсем прошла.

Да... Во втором батальоне новый военфельдшер. Вместо Бурлюка, он на курсы поехал. Приедешь — увидишь. Чумак целыми днями там околачивается, пряжку свою каждый день мелом чистит. А в общем — приезжай скорей. Ждем.

Твой А. Лисагор

Р. С. Нашел, наконец, взрыватель «LZZ» обрывнонатяжной, о котором ты все мечтал. Без тебя не разбираю. Теперь у нас уже совсем неплохая трофейная коллекция — мины «S» и «ТМІ-43», есть совсем новенькие, пять типов взрывателей в мировых коробочках (на порттабачницы пойдут) и замечательная немецкая зажигательная трубка с терочным взрывателем.

А. Л.»

На оборотной стороне приписка большими, кривыми, ползущими вниз буквами:

«Добрый день или вечер, товарищ лейтинант. Сообщаю вам, что я пока живой и здоровый, чего и вам желаю. Товарищ лейтинант, книги ваши в порядке, я их в чимодан положил. Товарищ командир взвода достали два окумулятыря, и у нас в землянке теперь свет. Старший лейтинант Ширяев хотят отобрать для штаба. Товарищ лейтинант, приезжайте скорей. Все вам низко кланяются, и я тоже.

Ваш ординарец А. Валегов».

Засовываю письмо в сумку, натягиваю халат и иду к начмеду: он малый хороший, договориться всегда можно. И к завскладом, чтоб новую гимнастерку дал. У моей весь рукав разодран.

Наутро в скрипучих сапогах, в новой солдатской шинели, с кучей писем в карманах — в Сталинград, прощаюсь с ребятами.

Они провожают меня до ворот.

— Паулюсу там кланяйся!

— Обязательно.

— Мое поручение не забудь, слышишь?

— Слышу, слышу.

— Это совсем рядом. Второй овраг от вашего. Где «катюша» подбитая стоит.

— Если увидишь Марусю, скажи, что при встрече расскажу что-то интересное. В письме нельзя.

— Ладно... Всего... «Следопыт» в шестую палату отдайте. И физкультурнице привет.

— Есть — привет.

- Ну, бувайте.
- Пиши... Не забывай...
- Шофер уже машет рукой.
- Кончай там, лейтенант.
- Я жму руки и бегу к машине.

29

До хутора Бурковского добираемся к вечеру. В Бурковском тылы дивизии и Лазарь — начфин. У него и ночью в маленькой, населенной старухами, детьми и какими-то писарями хибарке.

- Ну как там, в тылу? — спрашивают.
- Обыкновенно...
- Ты в Ленинске лежал?
- В Ленинске. Незавидный госпиталишко. С моей землянкой на берегу не сравнишь.
- Лазарь смеется.

— Ты и не узнаешь теперь свою землянку — электричество, патефон, пластинок с полсотни, стены трофейными одеялами завешаны. Красота!

- А ты давно оттуда?
- Вчера только вернулся. Жалованье платил.
- Сидят еще немцы?
- Какое там! С Мамаева уже драпанули, за Долгим оврагом окопались. На ладан дышат. Жрать нечего, боеприпасов нет, в землянках обглоданные лошадиные кости валяются. Капут в общем...

Ночью я долго не могу заснуть, ворочаюсь с боку на бок.

Рано утром на штабном «газике» еду дальше.

К Волге подъезжаем без всякой маскировки, прямо к берегу. Широченная, белая, ослепительно яркая. На том берегу чернеет что-то. КПП, должно быть. Красный флажок на белом фоне... Фу ты черт, как время летит! Совсем недавно, ну вот вчера как будто бы, была она, эта самая Волга, черно-красной от дыма и пожара, всклокоченной от разрывов, рябой от плывущих досок и обломков. А сейчас обсаженная вежами ледовая дорога стрелой вонзается в противоположный берег. Снуют машины туда-сюда, грузовики, «виллисы», пестренькие, камуфлированные «эмочки». Кое-где редкие, на сотни метров друг от друга, пятна минных разрывов. Старые еще следы. Рыжеусый регулировщик с желтым флажком говорит, что недели две уже не бьют по переправе — выдохлись.

Проезжаем КПП.

- Ваши документики.

— А без них нельзя, что ли?

— Нельзя, товарищ лейтенант. Порядочек нужен.

Вот это да. Вокруг чуйковского штаба проволочный забор, у калиток часовые по стойке смирно, дорожки посыпаны песком, над каждой землянкой номер — добротный, черный, на специальной дощечке.

Указатель на полосатом столбике: «Хоз-во Бородина — 300 метров», и красным карандашом приписано: «Первый переулок налево». Переехали, значит. Переулок налево, по-видимому, овраг, где штадив был.

Волнуюсь. Ей-богу, волнуясь. Так всегда бывает, когда домой возвращаешься. Приедешь из отпуска или еще откуда-нибудь, и чем ближе к дому, тем скорее шаги. И все замечаешь на ходу, каждую мелочь, каждое новшество. Заасфальтировали тротуар, новый папиросный киоск на углу появился, перенесли трамвайную остановку ближе к аптеке, на 26-м номере надстроили этаж. Все видишь, все замечаешь.

Вот здесь мы высаживались в то памятное сентябрьское утро. Вот дорога, по которой пушку тащили. Вот белая водокачка. В нее угодила бомба и убила тридцать лежавших в ней раненых бойцов. Ее отстроили, залатали, какая-то кузница теперь в ней. А здесь была щель, мы в ней как-то с Валегой от бомбежки прятались. Закопали, что ли, — никакого следа. А тут кто-то лестницу построил, не надо уже по откосам лазить. Совсем культура, даже перила тесаные.

Над головой проплывает партия наших «петляковых». Спокойно, уверенно. Как когда-то «хейнкели». Торжественно, один за другим, пикируют...

— Вот это да — черт возьми!

В овраге пусто. Куча немецких мин в снегу. Мотки проволоки, покосившийся станок для спирали Бруно. Наш станок, узнаю, Гаркуша делал. Около уборной человек двадцать немцев — грязных, небритых, обмотанных какими-то тряпками и полотенцами. Увидев меня, встают.

— Вы кого ищете, товарищ лейтенант? — раздается откуда-то сверху.

Что-то вихреподобное, окруженное облаком снега, налетает на меня и чуть с ног не сбивает.

— Живы-здоровы, товарищ лейтенант?

Веселая, румяная морда. Смеющиеся, совсем детские глаза. Седых!.. Провалиться мне на этом месте!.. Седых!..

— Откуда ты взялся... черт полосатый?!

Он ничего не отвечает. Сияет. Весь сияет, с головы до ног. И я сияю. И мы стоим друг перед другом и трясем друг другу руки. Мне кажется, что я немножко пьян.

— Все тут смешалось, товарищ лейтенант. Немца гоним — пух

летит. Наше КП тут же в овраге. Все на передовой. А меня царапнуло. Здесь оставили. Пленных стеречь.

— А Игорь?

— Жив-здоров.

— Слава богу!

— Приходите сегодня к нам. Ох и рады же будут!.. А вы из госпиталя? Да? Ребята мне говорили.

— Из госпиталя, из госпиталя. Да ты не вертись, дай рассмотреть тебя.

Ей-богу, он ничуть не изменился. Нет — возмужал все-таки. Колочие волосики на подбородке. Чуть-чуть запали щеки. Но такой же румяный, крепкий, как и прежде, и глаза прежние — веселые, озорные, с длинными закручивающимися, как у девушки, ресницами.

— Стой, стой!.. А что это у тебя там под телогрейкой блестит?

Седых смущается. Начинает ковырять мозоль на ладони — старая привычка.

— Ну и негодяй!.. И молчит. Дай лапу. За что получил?

Еще пуще краснеет. Пальцы мои трещат в его могучей ладони.

— Не стыдно теперь в колхоз возвращаться?

— Да чего ж стыдиться-то... — И все ковыряет, ковыряет ладонь. — А вы этот самый... портсигарчик мой сохранили или?..

— Как же, как же. Вот он, закуривай.

И мы закуриваем.

— Огонь есть?

— Ганс, огня лейтенанту! Живо! Фейер, фейер... Или как там по-вашему?..

Щупленький немец в роговых очках, должно быть из офицеров, моментально подскакивает и щелкает зажигалкой-пистолетиком.

— Битте, камрад.

Седых перехватывает зажигалку:

— Ладно, битый, сами справимся, — и подносит огонь. — Ох и барахольщики! Все карманы барахлом забиты. В плен сдаются и сейчас же — зажигалку. У меня уже штук двадцать их. Дать парочку?

— Ладно, успею еще. Расскажи-ка лучше... Как-никак — четыре месяца, кусочек порядочный.

— Да что рассказывать, товарищ лейтенант. Одно и то же... — И все-таки рассказывает обычную, всем нам давно знакомую, но всегда с одинаковым интересом выслушиваемую историю солдатскую... Тогда-то минировали и почти всех накрыло, а тогда-то сутки в овраге пролежал, снайпер ходу не давал, в трех местах пилотку прострелил, а потом в окружении сидели недели две в литейном цехе, и немцы бомбили, и есть было нечего и, главное, пить, и он четыре раза на Волгу за водой ходил, а потом... потом опять минировали, разминировали, Бруно ставили...

— В общем, сами знаете... — и улыбается своей ясной, славной улыбкой.

— Не подкачал, значит. Я так и знал, что не подкачаешь. Давай-ка еще по одной закурим, и пойду наших искать. Где они, не знаешь?

— Да там все... На передовой. За Долгим оврагом, должно быть. Один я остался — хромой.

— И никого больше?

— Штабной командир ваш еще какой-то. Вот в той землянке. Раненый.

— Астафьев, что ли?

— Ей-богу, не знаю. Старший лейтенант.

— В той землянке, говоришь? — И я направляюсь к землянке.

— Вечером, значит, в гости ждем, товарищ лейтенант, — кричит вдогонку Седых, — Игорю Владимировичу ничего говорить не буду. Второй за поворотом блиндаж. Налево. Три ступеньки и синяя ручка на дверях.

Астафьев лежит на кровати, подложив под живот подушку, что-то пишет. Рядом на табуретке телефон.

— Жорж! Голубчик! Вернулись! — Он расплывается в улыбке и протягивает свою нежную, пухлую руку. — Здоровы как бык?

— Как видите.

— А мне вот не повезло. Полк немцев гонит, а я телефонным мальчиком, донесения пишу.

— Что ж, не так уж плохо. Спокойнее историю писать.

— Как сказать... Да вы садитесь, телефон на пол поставьте, рассказывайте. — Он пытается повернуться, но морщится и ругается. — Седалищный нерв задет, боль адская.

— Война, ничего не поделаешь. А где наши?

— В городе, Жорж, в городе, в самом центре. Первый батальон к вокзалу прорывается. Фарбер только что звонил — гостиницу блокируют около мельницы. С полсотни эсэсовцев засели там, не сдаются. Да вы садитесь.

— Спасибо. А Ширяев, Лисагор где?

— Там. Все там. С утра в наступление перешли. Курить не хотите? Немецкие, трофейные... — Он протягивает аккуратную зеленую коробочку с сигаретами.

— Не люблю. В горле першит от них. А это что — тоже трофей? — На столе громадный, сияющий перламутром аккордеон.

— Трофей. Ширяеву Чумак подарил. Там их знаете сколько!

— Ну ладно, я пойду.

— Да вы посидите, расскажите, как там в тылу.

— В другой раз как-нибудь. Мне Ширяев нужен.

Астафьев улыбается.

— Трофеи боитесь прозевать?

— Вот именно.

Астафьев приподнимается на локте.

— Жоржик, голубчик... Если попадется фотоаппарат, возьми-те на мою долю.

— Ладно.

— «Лейку» лучше всего. Вы понимаете в фотографии? Это вроде нашего «феда».

— Ладно.

— И бумаги... И пленку... Там, говорят, много ее. И часики, если попадутся. Хорошо? Ручные лучше...

30

К вечеру я совсем уже пьян. От воздуха, солнца, ходьбы, встреч, впечатлений, радости. И от коньяка. Хороший коньяк! Тот самый, чумаковский, шесть звездочек.

Чумак наливает стакан за стаканом.

— Пей, инженер, пей! Отучился небось за два месяца. Манные кашки все там жевали, бульончики. Пей, не жалея... Заслужили!

Мы лежим в каком-то разрушенном доме, — не помню уже, как сюда попали, — я, Чумак, Лисагор, Валега, конечно. Лежим на соломе, Валега в углу курит свою трубочку, сердитый, насупившийся. Моим поведением он положительно недоволен. Что ж это такое в конце концов — шинель командирскую, перешитую, с золотыми пуговицами, в госпитале оставил, а взамен какую-то солдатскую, по колено, принес. Куда ж это годится! И сапоги кирзовые, голенища широкие, подошвы резиновые.

— Я вам хромовые там достал, — мрачно заявил он при встрече, неодобрительно осмотрев меня с ног до головы. — В блиндаже... Подъем только низкий...

Я оправдывался как мог, но прощения так, кажется, и не заслужил.

— Пей, пей, инженер, — подливает Чумак, — не стесняйся...

Лисагор перехватывает кружку:

— Ты мне его не спаивай. Мы сегодня в тридцать девятую приглашены. Налегай, Юрка, на масло. Налегай.

И я налегаю.

Сквозь вывалившуюся стенку виден Мамаев, труба «Красного Октября», единственная так и не свалившаяся труба. Все небо в ракетах. Красные, синие, желтые, зеленые... Целое море ракет. И стрельба. Целый день сегодня стреляют. Из пистолетов, автоматов, винтовок, из всего, что под руку попадется. Тра-та-та-та, тра-та-та-та, тра-та-та-та...

Ну и день, бог ты мой, какой день! Откинувшись на солому, я смотрю в небо и ни о чем уже не в силах думать. Я переполнен,

насыщен до предела. Считаю ракеты. На это я еще способен. Красная, зеленая, опять зеленая, четыре зеленых подряд.

Чумак что-то говорит. Я не слушаю его.

— Отстань.

— Ну что тебе стоит... Просят же тебя люди. Не будь свиньей.

— Отстань, говорят тебе, чего пристал.

— Ну прочти... Ну что тебе стоит. Хоть десять строчек...

— Каких десять строчек?

— Да вот. Речуху его. Интересно же... Ей-богу, интересно.

Он сует мне прямо в лицо грязный обрывок немецкой газеты.

— Что за мура?

— Да ты прочти.

Буквы прыгают перед глазами, непривычные, готические. Дегенеративная физиономия Гитлера — поджатые губы, тяжелые веки, громадный идиотский козырек.

«Фелькишер Беобахтер». Речь фюрера в Мюнхене 9 ноября 1942 года.

Почти три месяца тому назад...

«Сталинград наш! В нескольких домах сидят еще русские. Ну и пусть сидят. Это их личное дело. А наше дело сделано. Город, носящий имя Сталина, в наших руках. Величайшая русская артерия — Волга — парализована. И нет такой силы в мире, которая может нас сдвинуть с этого места.

Это говорю вам я — человек, ни разу вас не обманывавший, человек, на которого провидение возложило бремя и ответственность за эту величайшую в истории человечества войну. Я знаю, вы верите мне, и вы можете быть уверены, я повторяю со всей ответственностью перед богом и историей, — из Сталинграда мы никогда не уйдем. Никогда. Как бы ни хотели этого большевики...»

Чумак весь трясется от смеха.

— Ай да Адольф! Ну и молодец! Ей-богу, молодец. Как по-писаному вышло.

Чумак переворачивается на живот и подпирает голову руками.

— А почему, инженер? Почему? Объясни мне вот.

— Что «почему»?

— Почему все так вышло? А? Помнишь, как долбали нас в сентябре? И все-таки не вышло. Почему? Почему не спихнули нас в Волгу?

У меня кружится голова, после госпиталя я все-таки слаб.

— Лисагор, объясни ему почему. А я немножко того, прогуляюсь.

Я встаю и, шатаюсь, выхожу в отверстие, бывшее, должно быть, когда-то дверью.

Какое высокое, прозрачное небо — чистое, чистое, ни облачка, ни самолета. Только ракеты. И бледная, совсем растерявшаяся звездочка среди них. И Волга — широкая, спокойная, гладкая, в

одном только месте, против водокачки, не замерзла. Говорят, она никогда здесь не замерзает.

Величайшая русская артерия... Парализована, говорит... Ну и дурак! Ну и дурак! В нескольких домах сидят еще русские. Пусть сидят. Это их личное дело...

Вот они — эти несколько домов. Вот он — Мамаев, плоский, некрасивый. И точно прыщи, два прыща на макушке — баки... Ох и измучили они нас. Даже сейчас противно смотреть. А за теми вот красными развалинами, — только стены как решето остались, — начинались позиции Родимцева — полоска в двести метров шириной. Подумать только — двести метров, каких-нибудь несчастных двести метров! Всю Белоруссию пройти, Украину, Донбасс, калмыцкие степи и не дойти двести метров... Хо-хо!

А Чумак спрашивает почему. Не кто-нибудь, а именно Чумак. Это мне больше всего нравится. Может быть, еще Ширяев, Фарбер спросят меня почему? Или тот старичок пулеметчик, который три дня пролежал у своего пулемета, отрезанный от всех, и стрелял до тех пор, пока не кончились патроны? А потом с пулеметом на берег приполз. И даже пустые коробки из-под патронов приволок. «Зачем добро бросать — пригодится». Я не помню даже его фамилии. Помню только лицо его — бородатое, с глазами-щелочками и пилоткой поперек головы. Может, он тоже спросит меня почему? Или тот пацан-сибирячок, который все время смолку жевал. Если б жив остался, тоже, вероятно, спросил бы — почему? Лисагор рассказал мне, как он погиб. Я его всего несколько дней знал, его прислали незадолго до моего ранения. Веселый, смышленный такой, прибауточник. С двумя противотанковыми гранатами он подбежал к подбитому танку и обе в амбразуру бросил.

Эх, Чумак, Чумак, матросская твоя душа, ну и глупые же вопросы ты задаешь, и ни черта, ни черта ты не понимаешь. Иди сюда. Иди, иди... Давай обнимемся. Мы оба с тобой выпили немножко. Это вовсе не сентиментальность, упаси бог. И Валегу давай. Давай, давай... Пей, оруженосец!.. Пей за победу! Видишь, что фашисты с городом сделали... Кирпич и больше ничего... А мы вот живы. А город... Новый выстроим. Правда, Валега? А немцам капут. Вот идут, видишь, рюкзаки свои тащат и одеяла. О Берлине вспоминают, о фрау своих. Ты хочешь в Берлин, Валега? Я хочу. Ужасно как хочу. И побываем мы там с тобой — увидишь. Обязательно побываем. По дороге только в Киев забежим на минутку, на стариков моих посмотреть. Хорошие они у меня старики, ей-богу... Давай выпьем за них, — есть там еще чего, Чумак?

И мы опять пьем. За стариков пьем, за Киев, за Берлин и еще за что-то, не помню уж за что. А кругом все стреляют и стреляют, и небо совсем уж фиолетовое, и визжат ракеты, и где-то совсем рядом наявливает кто-то на балалайке «Барыню».

- Товарищ лейтенант, разрешите обратиться.
- Чего там еще?
- Начальник штаба вызывает.
- А ты кто такой?
- Связной штаба.
- Ну?
- Велено всех к восемнадцати ноль-ноль собрать. На КП в
овраге...
- С ума спятил!.. Какого лешего. Сегодня выходной, праздник.
- Мое дело маленькое, товарищ лейтенант. Начальник штаба приказал, я и передал.
- Да ты толком объясни. А то — приказал, передал... На банкет, что ли, вызывают? По случаю победы?
- Связной смеется.
- Северную группировку, слышал, завтра будут доканчивать на «Баррикадах». Нашу и тридцать девятую бросают туда.
- Вот те на!..
- Чумак ищет в темноте бушлат, пояс. Шарит по земле. Лисагор отряхивает солому с шинели.
- Валега, собирай манатки и живо за Гаркушей. Во втором дворе отсюда, в подвале. Раз-два...
- Валега срывается.
- Лопаты чтоб не забыл, смотри, — и повернувшись ко мне: — Ну что ж, инженер, пошли НП копать. С места в карьер — мозоли наращивать.
- Лопат хватит?
- Хватит. Каждому по лопате. Мне, тебе, Гаркуше, Валеге. За ночь сделаем — факт. А может, и в доме где-нибудь пристроимся из окна... Пошли.
- На улице слышен зычный чумаковский голос:
- В колонну по четыре... Стр-р-роевым. С места песню... Ша-а-гом марш!
- А во взводе у него всего три человека.
- Лисагор хлопает меня по плечу.
- Не вышло нам к Игорю твоему сходить. Всегда у нас с тобой так... Завтра придется. Даст бог, живы останемся.
- Где-то высоко-высоко в небе тарахтит «кукурузник» — ночной дозор. Над «Баррикадами» зажигаются «фонари». Наши «фонари», не немецкие.
- Некому уже у немцев зажигать их. Да и незачем. Длинной зеленой вереницей плетутся они к Волге. Молчат. А сзади сержантик — молоденький, курносый, в зубах длинная изогнутая трубка с болтающейся кисточкой. Подмигивает нам на ходу.
- Экскурсантов веду... Волгу посмотреть хотят.
- И весело, заразительно смеется.

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

Возвращение

Рассказ

Алексей Алексеевич Иванов, гвардии капитан, убывал из армии по демобилизации. В части, где он прослужил всю войну, Иванова проводили, как и быть должно, с сожалением, с любовью, уважением, с музыкой и вином. Близкие друзья и товарищи поехали с Ивановым на железнодорожную станцию и, попрощавшись там окончательно, оставили Иванова одного. Поезд, однако, опоздал на долгие часы, а затем, когда эти часы истекли, опоздал еще дополнительно. Наступала уже холодная осенняя ночь; вокзал был разрушен в войну, ночевать было негде, и Иванов вернулся на попутной машине обратно в часть. На другой день сослуживцы Иванова снова его провожали; они опять пели песни и обнимались с убывающим в знак вечной дружбы с ним, но чувства свои они затрачивали уже более сокращенно, и дело происходило в узком кругу друзей.

Затем Иванов вторично уехал на вокзал; на вокзале он узнал, что вчерашний поезд все еще не прибыл, и поэтому Иванов мог бы, в сущности, снова вернуться в часть на ночлег. Но неудобно было в третий раз переживать проводы, беспокоить товарищей, и Иванов остался скучать на пустынном асфальте перрона.

Возле выходной стрелки станции стояла уцелевшая будка стрелочного поста. На скамейке у той будки сидела женщина в ватнике и теплом платке; она и вчера там сидела при своих вещах, и теперь сидит, ожидая поезда. Уезжая вчера ночевать в часть, Иванов подумал было: не пригласить ли и эту одинокую женщину, пусть она тоже переночует у медсестер в теплой избе, зачем ей мерзнуть всю ночь, неизвестно — сможет ли она обогреться в будке стрелочника. Но пока он думал, попутная машина тронулась, и Иванов забыл об этой женщине.

Теперь та женщина по-прежнему неподвижно находилась на вчерашнем месте. Это постоянство и терпение означали верность и неизменность женского сердца, — по крайней мере, в отношении вещей и своего дома, куда эта женщина, вероятно, возвращалась. Иванов подошел к ней: может быть, ей тоже не так будет скучно с ним, как одной.

Женщина обернулась лицом к Иванову, и он узнал ее. Это была девушка, ее звали «Маша — дочь пространщика», потому что так она себя когда-то назвала, будучи действительно дочерью служащего в бане, пространщика. Иванов изредка за время войны встречал ее, наведываясь в один БАО, где эта Маша, дочь пространщика, служила в столовой помощником повара по вольному найму.

В окружающей их осенней природе было уныло и грустно в этот час. Поезд, который должен увезти отсюда домой и Машу и Иванова, находился неизвестно где в сером пространстве. Единственное, что могло утешить и развлечь сердце человека, было сердце другого человека.

Иванов разговорился с Машей, и ему стало хорошо. Маша была миловидна, проста душою и добра своими большими рабочими руками и здоровым, молодым телом. Она тоже возвращалась домой и думала, как она будет жить теперь новой гражданской жизнью; она привыкла к своим военным подругам, привыкла к летчикам, которые любили ее, как старшую сестру, дарили ей шоколад и называли «просторной Машей» за ее большой рост и сердце, вмещающее, как у истинной сестры, всех братьев в одну любовь и никого в отдельности. А теперь Маше непривычно, странно и даже боязно было ехать домой к родственникам, от которых она уже отвыкла.

Иванов и Маша чувствовали себя сейчас осиротевшими без армии; однако Иванов не мог долго пребывать в уныло-печальном состоянии; ему казалось, что в такие минуты кто-то издали смеется над ним и бывает счастливым вместо него, а он остается лишь нахмуренным простачком. Поэтому Иванов быстро обращался к делу жизни, то есть находил себе какое-либо занятие или утешение либо, как он сам выражался, простую подручную радость, — и тем выходил из своего уныния.

Он придвинулся к Маше и попросил, чтобы она по-товарищески позволила ему поцеловать ее в щеку.

— Я чуть-чуть, — сказал Иванов, — а то поезд опаздывает, скучно его ожидать.

— Только поэтому, что поезд опаздывает? — спросила Маша и внимательно посмотрела в лицо Иванова.

Бывшему капитану было на вид лет тридцать пять; кожа на лице его, обдута ветрами и загоревшая на солнце, имела коричневый цвет; серые глаза Иванова глядели на Машу скромно, даже

застенчиво, и говорил он хотя и прямо, но деликатно и любезно. Маше понравился его глухой, хриплый голос пожилого человека, его темное грубое лицо и выражение силы и незащитности на нем. Иванов погасил огонь в трубке большим пальцем, нечувствительным к тлеющему жару, и вздохнул в ожидании разрешения. Маша отодвинулась от Иванова. От него сильно пахло табаком, сухим поджаренным хлебом, немного вином, — теми чистыми веществами, которые произошли из огня или сами могут родить огонь. Похоже было, что Иванов только и питался табаком, сухарями, пивом и вином.

Иванов повторил свою просьбу.

— Я осторожно, я поверхностно, Маша... Вообразите, что я вам дядя.

— Я вообразила уже... Я вообразила, что вы мне папа, а не дядя.

— Вон как... Так вы позволите...

— Отцы у дочерей не спрашивают, — засмеялась Маша.

Позже Иванов признавался себе, что волосы Маши пахнут, как осенние павшие листья в лесу, и он не мог их никогда забыть... Отошедши от железнодорожного пути, Иванов разжег небольшой костер, чтобы приготовить яичницу на ужин для Маши и для себя.

Ночью пришел поезд и увез Иванова и Машу в их сторону, на родину. Двое суток они ехали вместе, а на третьи сутки Маша доехала до города, где она родилась двадцать лет тому назад. Маша собрала свои вещи в вагоне и попросила Иванова поудобнее заправить ей на спину мешок, но Иванов взял ее мешок себе на плечи и вышел вслед за Машей из вагона, хотя ему еще оставалось ехать до места более суток.

Маша была удивлена и тронута вниманием Иванова. Она боялась сразу остаться одна в городе, где она родилась и жила, но который стал теперь для нее почти чужбиной. Мать и отец Маши были угнаны отсюда немцами и погибли в неизвестности, а теперь остались у Маши на родине лишь двоюродная сестра и две тетки, и к ним Маша не чувствовала сердечной привязанности.

Иванов оформил у железнодорожного коменданта остановку в городе и остался с Машей. В сущности, ему нужно было бы скорее ехать домой, где его ожидала жена и двое детей, которых он не видел четыре года. Однако Иванов откладывал радостный и тревожный час свидания с семьей. Он сам не знал, почему так делал, — может быть, потому, что хотел погулять еще немного на воле.

Маша не знала семейного положения Иванова и по девичьей застенчивости не спросила его о нем. Она доверилась Иванову по доброте сердца, не думая более ни о чем.

Через два дня Иванов уезжал далее, к родному месту. Маша провожала его на вокзале. Иванов привычно поцеловал ее и любезно обещал вечно помнить ее образ.

Маша улыбнулась в ответ и сказала:

— Зачем меня помнить вечно? Этого не надо, и вы все равно забудете... Я же ничего не прошу от вас, забудьте меня.

— Дорогая моя Маша! Где вы раньше были, почему я давно-давно не встретил вас?

— Я до войны в десятилетке была, а давно-давно меня совсем не было...

Поезд пришел, и они попрощались. Иванов уехал и не видел, как Маша, оставшись одна, заплакала, потому что никого не могла забыть, ни подруги, ни товарища, с кем хоть однажды сводила ее судьба.

Иванов смотрел через окно вагона на попутные домики городка, который он едва ли когда увидит в своей жизни, и думал, что в таком же подобном домике, но в другом городе, живет его жена Люба с детьми Петькой и Настей и они ожидают его; он еще из части послал жене телеграмму, что он без промедления выезжает домой и желает как можно скорее поцеловать ее и детей.

Любовь Васильевна, жена Иванова, три дня подряд выходила ко всем поездом, что прибывали с запада. Она отпрашивалась с работы, не выполняла нормы и по ночам не спала от радости, слушая, как медленно и равнодушно ходит маятник стенных часов. На четвертый день Любовь Васильевна послала на вокзал детей — Петра и Настю, чтобы они встретили отца, если он придет днем, а к ночному поезду она опять вышла сама.

Иванов приехал на шестой день. Его встретил сын Петр; сейчас Петрушке шел уже двенадцатый год, и отец не сразу узнал своего ребенка в серьезном подростке, который казался старше своего возраста. Отец увидел, что Петр был малорослый и худощавый мальчуган, но зато головастый, лобастый, и лицо у него было спокойное, словно бы уже привычное к житейским заботам, а маленькие карие глаза его глядели на белый свет сумрачно и недовольно, как будто повсюду они видели один непорядок. Одет-обут Петрушка был аккуратно: башмаки на нем были поношенные, но еще годные, штаны и куртка старые, переделанные из отцовской гражданской одежды, но без прорех — где нужно, там заштопано, где потребно, там положена латка, и весь Петрушка походил на маленького, небогатого, но исправного мужичка. Отец удивился и вздохнул.

— Ты отец, что ль? — спросил Петрушка, когда Иванов его обнял и поцеловал, приподнявши к себе. — Знать, отец!

— Отец... Здравствуй, Петр Алексеевич!

— Здравствуй... Чего ехал долго? Мы ждали-ждали.

— Это поезд, Петя, тихо шел... Как мать и Настя: живы-здоровы?

— Нормально, — сказал Петр. — Сколько у тебя орденов?

— Два, Петя, и три медали.

— А мы с матерью думали — у тебя на груди места чистого нету. У матери тоже две медали есть, ей по заслуге выдали... Что ж у тебя мало вещей — одна сумка!

— Мне больше не нужно.

— А у кого сундук, тому воевать тяжело? — спросил сын.

— Тому тяжело, — согласился отец. — С одной сумкой легче. Сундуков там ни у кого не бывает.

— А я думал — бывает. Я бы в сундуке берег свое добро — в сумке сломается и помнется.

Он взял вещевой мешок отца и понес его домой, а отец пошел следом за ним.

Мать встретила их на крыльце дома; она опять отпросилась с работы, словно чувствовало ее сердце, что муж сегодня придет. С завода она сначала зашла домой, чтобы потом пойти на вокзал. Она боялась — не явился ли домой Семен Евсеевич: он любит заходить иногда днем; у него есть такая привычка — являться среди дня и сидеть вместе с пятилетней Настей и Петрушкой. Правда, Семен Евсеевич никогда пустой не приходит, он всегда принесет что-нибудь для детей — конфет, или сахару, или белую булку, либо ордер на промтовары. Сама Любовь Васильевна ничего плохого от Семена Евсеевича не видела; за все эти два года, что они знали друг друга, Семен Евсеевич был добр к ней, а к детям он относился, как родной отец, и даже внимательнее иного отца. Но сегодня Любовь Васильевна не хотела, чтобы муж увидел Семена Евсеевича; она прибрала кухню и комнату, в доме должно быть чисто и ничего постороннего. А позже, завтра или послезавтра, она сама расскажет мужу всю правду, как она была. К счастью, Семен Евсеевич сегодня не явился.

Иванов приблизился к жене, обнял ее и так стоял с нею, не разлучаясь, чувствуя забытое и знакомое тепло любимого человека.

Маленькая Настя вышла из дома и, посмотрев на отца, которого она не помнила, начала отталкивать его от матери, упершись руками в его ногу, а потом заплакала. Петрушка стоял молча возле отца с матерью, с отцовским мешком за плечами; обождав немного, он сказал:

— Хватит вам, а то Настька плачет, она не понимает.

Отец отошел от матери и взял к себе на руки Настю, плакавшую от страха.

— Настька! — окликнул ее Петрушка. — Опомнись, — кому я говорю! Это отец наш, он нам родня!..

В доме отец умылся и сел за стол. Он вытянул ноги, закрыл глаза и почувствовал тихую радость в сердце и спокойное довольство. Война миновала. Тысячи верст исходили его ноги за эти годы, морщины усталости лежали на его лице, и глаза резала

боль под закрытыми веками — они хотели теперь отдыха в сумраке или во тьме.

Пока он сидел, вся его семья хлопотала в горнице и на кухне, готовя праздничное угощение. Иванов рассматривал все предметы дома по порядку — стенные часы, шкаф для посуды, термометр на стене, стулья, цветы на подоконниках, русскую кухонную печь... Долго они жили здесь без него и скучали по нем. Теперь он вернулся и смотрел на них, вновь знакомясь с каждым, как с родственником, жившим без него в тоске и бедности. Он дышал устоявшимся родным запахом дома — тлением дерева, теплом от тела своих детей, гарью на печной загнетке. Этот запах был таким же и прежде, четыре года тому назад, и он не рассеялся и не изменился без него. Нигде более Иванов не ощущал этого запаха, хотя он бывал за войну по разным странам в сотнях жилищ; там пахло иным духом, в котором, однако, не было свойства родного дома. Иванов вспомнил еще запах Маши, как пахли ее волосы; но они пахли лесною листвою, незнакомой заросшей дорогой, не домом, а снова тревожной жизнью. Что она делает сейчас и как устроилась жить по-граждански, Маша — дочь пространщика? Бог с ней...

Иванов видел, что более всех действовал по дому Петрушка. Мало того, что он сам работал, он и матери с Настей давал указания, что надо делать, и что не надо, и как надо делать правильно. Настя покорно слушалась Петрушку и уже не боялась отца, как чужого человека; у нее было живое сосредоточенное лицо ребенка, делающего все в жизни по правде и всерьез, и доброе сердце, потому что она не обижалась на Петрушку.

— Настька, опорожни кружку от картошечной шкурки, мне посуда нужна...

Настя послушно освободила кружку и вымыла ее. Мать меж тем поспешно готовила пирог-скородум, замешенный без дрожжей, чтобы посадить его в печку, в которой Петрушка уже разжег огонь.

— Поворачивайся, мать, поворачивайся живее! — командовал Петрушка. — Ты видишь, у меня печь наготове. Привыкла копать, стахановка!

— Сейчас, Петруша, я сейчас, — послушно говорила мать. — Я изюму положу, и все, отец ведь давно, наверно, не кушал изюма. Я давно изюм берегу.

— Он ел его, — сказал Петрушка. — Нашему войску изюм тоже дают. Наши бойцы, гляди, какие мордастые ходят, они харчи едят... Настька, чего ты села — в гости, что ль, пришла? Чисть картошку, к обеду жарить будем на сковородке... Одним пирогом семью не укормишь!

Пока мать готовила пирог, Петрушка посадил в печь большим рогаком чугунок со щами, чтобы не горел зря огонь, и тут же сделал указание и самому огню в печи:

— Чего горишь по-лохматому — ишь, во все стороны ерзаешь! Гори ровно. Грей под самую еду, даром, что ль, деревья на дрова в лесу росли... А ты, Настька, чего ты щепу как попало в печь насовала, надо уложить ее было, как я тебя учил. И картошку опять ты чистишь по-толстому, а надо чистить тонко — зачем ты мясо с картошки стругаешь: от этого у нас питание пропадет... Я тебе сколько раз про то говорил, теперь последний раз говорю, а потом по затылку получишь!

— Чего ты, Петруша, Настю-то все теребишь, — кротко произнесла мать. — Чего она тебе? Разве сноровится она столько картошек очистить и чтоб тебе тонко было, как у парикмахера, нигде мяса не задеть... К нам отец приехал, а ты все серчаешь!

— Я не серчаю, я по делу... Отца кормить надо, он с войны пришел, а вы добро портите... У нас в кожуре от картошек за целый год сколько пищи-то пропало?.. Если б свиноматка у нас была, можно б ее за год одной кожурой откормить и на выставку послать, а на выставке нам медаль бы дали... Видали, что было бы, а вы не понимаете!

Иванов не знал, что у него вырос такой сын, и теперь сидел и удивлялся его разуму. Но ему больше нравилась маленькая кроткая Настя, тоже хлопочущая своими ручками по хозяйству, и ручки ее уже были привычные и умелые. Значит, они давно приучены работать по дому.

— Люба, — спросил Иванов жену, — ты что же мне ничего не говоришь — как ты это время жила без меня, как твое здоровье и что на работе ты делаешь?..

Любовь Васильевна теперь стеснялась мужа, как невеста: она отвыкла от него. Она даже краснела, когда муж обращался к ней, и лицо ее, как в юности, принимало застенчивое, испуганное выражение, которое столь нравилось Иванову.

— Ничего, Алеша... Мы ничего жили. Дети болели мало, я растила их... Плохо, что я дома с ними только ночью бываю. Я на кирпичном заводе работаю, на прессу, ходить туда далеко...

— Где работаешь? — не понял Иванов.

— На кирпичном заводе, на прессу. Квалификации ведь у меня не было, сначала я во дворе разнорабочей была, а потом меня обучили и на пресс поставили. Работать хорошо, только дети одни и одни... Видишь — какие выросли. Сами всё умеют делать, как взрослые стали, — тихо произнесла Любовь Васильевна. — К хорошему ли это, Алеша, сама не знаю...

— Там видно будет, Люба... Теперь мы все вместе будем жить, потом разберемся — что хорошо, что плохо...

— При тебе все лучше будет, а то я одна не знаю — что пра-

вильно, а что нехорошо, и я боялась. Ты сам теперь думай, как детей нам растить...

Иванов встал и прошелся по горнице.

— Так, значит, в общем ничего, говоришь, настроение здесь было у вас?

— Ничего, Алеша, все уже прошло, мы протерпели. Только по тебе мы сильно скучали, и страшно было, что ты никогда к нам не приедешь, что ты погибнешь там, как другие...

Она заплакала над пирогом, уже положенным в железную форму, и слезы ее закапали в тесто. Она только что смазала поверхность пирога жидким яйцом и еще водила ладонью руки по тесту, продолжая теперь смазывать праздничный пирог слезами.

Настя обхватила ногу матери руками, прижалась лицом к ее юбке и исподлобья сурово посмотрела на отца.

Отец склонился к ней.

— Ты чего?.. Настенька, ты чего? Ты обиделась на меня?

Он поднял ее к себе на руки и погладил ей головку.

— Чего ты, дочка? Ты совсем забыла меня, ты маленькая была, когда я ушел на войну...

Настя положила голову на отцовское плечо и тоже заплакала.

— Ты что, Настенька моя?

— А мама плачет, и я буду.

Петрушка, стоявший в недоумении возле печной загнетки, был недоволен.

— Чего вы все?.. Настроеньем заболели, а в печке жар прогорает. Сызнова, что ль, топить будем, а кто ордер на дрова нам новый даст! По старому-то все получили и сожгли, чуть-чуть в сарае осталось — поленьев десять, и то одна осина... Давай, мать, тесто, пока дух горячий не остыл.

Петрушка вынул из печи большой чугунок со щами и разгреб жар на поду, а Любовь Васильевна торопливо, словно стараясь поскорее угодить Петрушке, посадила в печь две формы пирогов, забыв смазать жидким яйцом второй пирог.

Странен и еще не совсем понятен был Иванову родной дом. Жена была прежняя — с милым, застенчивым, хотя уже сильно утомленным лицом, и дети были те самые, что родились от него, только выросшие за время войны, как оно и быть должно. Но что-то мешало Иванову чувствовать радость своего возвращения всем сердцем, — вероятно, он слишком отвык от домашней жизни и не мог сразу понять даже самых близких, родных людей. Он смотрел на Петрушку, на своего выросшего первенца-сына, слушал, как он дает команду и наставления матери и маленькой сестре, наблюдал его серьезное, озабоченное лицо и со стыдом признавался себе, что его отцовское чувство к этому мальчугану, влечение к нему как к сыну, недостаточно. Иванову было еще более

стыдно своего равнодушия к Петрушке от сознания того, что Петрушка нуждался в любви и заботе сильнее других, потому что на него жалко сейчас смотреть. Иванов не знал в точности той жизни, которой жила без него его семья, и он не мог еще ясно понять, почему у Петрушки сложился такой характер.

За столом, сидя в кругу семьи, Иванов понял свой долг. Ему надо как можно скорее приниматься за дело, то есть поступать на работу, чтобы зарабатывать деньги, и помочь жене правильно воспитывать детей, — тогда постепенно все пойдет к лучшему, и Петрушка будет бегать с ребятами, сидеть за книжкой, а не командовать с рогачом у печки.

Петрушка за столом съел меньше всех, но подобрал все крошки за собою и высыпал их себе в рот.

— Что ж ты, Петр, — обратился к нему отец, — крошки ешь, а свой кусок пирога не доел... Ешь! Мать тебе еще потом отрежет.

— Поесть все можно, — нахмурившись, произнес Петрушка, — а мне хватит.

— Он боится, что если он начнет есть помногу, то Настя тоже, глядя на него, будет много есть, — простосердечно сказала Любовь Васильевна, — а ему жалко.

— А вам ничего не жалко, — равнодушно сказал Петрушка. — А я хочу, чтоб вам больше досталось.

Отец и мать поглядели друг на друга и содрогнулись от слов сына.

— А ты что плохо кушаешь? — спросил отец у маленькой Насти. — Ты на Петра, что ль, глядишь?.. Ешь как следует, а то так и останешься маленькой...

— Я выросла большая, — сказала Настя.

Она съела маленький кусок пирога, а другой кусок, что был побольше, отодвинула от себя и накрыла его салфеткой.

— Ты зачем так делаешь? — спросила ее мать. — Хочешь, я тебе маслом пирог помажу?

— Не хочу, я сытая стала...

— Ну, ешь так... Зачем пирог отодвинула?

— А дядя Семен придет. Это я ему оставила. Пирог не ваш, я сама его не ела. Я его под подушку положу, а то остынет...

Настя сошла со стула и отнесла кусок пирога, обернутый салфеткой, на кровать и положила его там под подушку.

Мать вспомнила, что она тоже накрывала готовый пирог подушками, когда пекла его Первого мая, чтобы пирог не остыл к приходу Семена Евсеевича.

— А кто этот дядя Семен? — спросил Иванов жену.

Любовь Васильевна не знала, что сказать, и сказала:

— Не знаю, кто такой... Ходит к детям один, его жену и его детей немцы убили, он к нашим детям привык и ходит играть с ними.

— Как играть? — удивился Иванов. — Во что же они играют здесь у тебя? Сколько ему лет?

Петрушка проворно посмотрел на мать и на отца; мать в ответ отцу ничего не сказала, только глядела на Настю грустными глазами, а отец по-недоброму улыбнулся, встал со стула и закурил папиросу.

— Где же игрушки, в которые этот дядя Семен с вами играет? — спросил затем отец у Петрушки.

Настя сошла со стула, влезла на другой стул у комода, достала с комода книжки и принесла их отцу.

— Они книжки-игрушки, — сказала Настя отцу, — дядя Семен мне вслух их читает: вот какой забавный Мишка, он игрушка, он и книжка...

Иванов взял в руки книжки-игрушки, что подала ему дочь: про медведя Мишку, про пушку-игрушку, про домик, где бабушка Домна живет и лен со внучкой прядет...

Петрушка вспомнил, что пора уже выюшку в печной трубе закрывать, а то тепло из дома выйдет.

Закрыв выюшку, он сказал отцу:

— Он старей тебя — Семен Евсеич!.. Он нам пользу приносит, пусть живет...

Глянув на всякий случай в окно, Петрушка заметил, что там на небе плывут не те облака, которые должны плыть в сентябре.

— Чтой-то облака, — проговорил Петрушка, — свинцовые плывут — из них, должно быть, снег пойдет! Иль наутро зима спозаранку станет? Ведь что ж тогда нам делать-то: картошка вся в поле, заготовки в хозяйстве нету... Ишь положение какое!..

Иванов глядел на своего сына, слушал его слова и чувствовал свою робость перед ним. Он хотел было спросить у жены более точно, кто же такой этот Семен Евсеевич, что ходит уже два года в его семейство, и к кому он ходит — к Насте или к его миловидной жене, — но Петрушка отвлек Любовь Васильевну хозяйственными делами:

— Давай мне, мать, хлебные карточки на завтра и талоны на прикрепление. И еще талоны на керосин давай — завтра последний день, и уголь древесный надо взять, а ты мешок потеряла, а там отпускают в нашу тару, ищи теперь мешок, где хочешь, иль из тряпок новый шей, нам жить без мешка нельзя. А Настька пускай завтра к нам во двор за водой никого не пускает, а то много воды из колодца черпают: зима вот придет, вода тогда ниже опустится, и у нас веревки не хватит бадью опускать, а снег жевать не будешь, а растапливать его — дрова тоже нужны.

Говоря свои слова, Петрушка одновременно заметал возле печки и складывал в порядок кухонную утварь. Потом он вынул из печи чугуны со щами.

— Закусили немножко пирогом, теперь щи мясные с хлебом будем есть, — указал всем Петрушка. — А тебе, отец, завтра с утра

надо бы в райсовет и военкомат сходить, станешь сразу на учет — скорей карточки на тебя получим.

— Я схожу, — покорно согласился отец.

— Сходи, не позабудь, а то утром проспишь и забудешь.

— Нет, я не забуду, — пообещал отец.

Свой первый общий обед после войны, щи и мясо, семья съела в молчании, даже Петрушка сидел спокойно, точно отец с матерью и дети боялись нарушить нечаянным словом тихое счастье вместе сидящей семьи.

Потом Иванов спросил у жены:

— Как у вас, Люба, с одеждой — наверно, пообносились?

— В старом ходили, а теперь обновки будем справлять, — улыбнулась Любовь Васильевна. — Я чинила на детях, что было на них, и твой костюм, двое твоих штанов и все белье твое перешила на них. Знаешь, лишних денег у нас не было, а детей надо одевать...

— Правильно сделала, — сказал Иванов, — детям ничего не жалея.

— Я не жалела, и пальто продала, что ты мне купил, теперь хожу в ватнике.

— Ватник у нее короткий, она ходит — простудиться может, — высказался Петрушка. — Я кочегаром в баню поступлю, получку буду получать и справлю ей пальто. На базаре торгуют на руках, я ходил — приценялся, там есть подходящие...

— Без тебя, без твоей получки обойдемся, — сказал отец.

После обеда Настя надела на нос большие очки и села у окна штопать материны варежки, которые мать надевала теперь под рукавицы на работе, — уже холодно стало, осень во дворе.

Петрушка глянул на сестру и осерчал на нее:

— Ты что балуешься, зачем очки дяди Семена одела?..

— А я через очки гляжу, я не в них.

— Еще чего! Я вижу! Вот испортишь глаза и ослепнешь, а потом будешь иждивенкой всю жизнь проживать и на пенсии. Скинь очки сейчас же, — я тебе говорю! И брось варежки штопать, мать сама заштопает или я сам возьмусь, когда отделаюсь. Бери тетрадь и пиши палочки, — забыла уж, когда занималась!

— А Настя что — учится? — спросил отец.

Мать ответила, что нет еще, она мала, но Петрушка велит Насте каждый день заниматься, он купил ей тетрадь, и она пишет палочки. Петрушка еще учит сестру счету, складывая и вычитая перед нею тыквенные семена, а буквам Настю учит сама Любовь Васильевна.

Настя положила варежку и вынула из ящика комода тетрадь и вставочку с пером, а Петрушка, оставшись доволен, что все исполняется по порядку, надел материн ватник и пошел во двор колоть дрова на завтрашний день; наколотые дрова Петрушка обыкновенно

приносил на ночь домой и складывал их за печь, чтобы они там подсохли и горели затем более жарко и хозяйственно.

Вечером Любовь Васильевна рано собрала ужинать. Она хотела, чтобы дети пораньше уснули и чтобы можно было наедине посидеть с мужем и поговорить с ним. Но дети после ужина долго не засыпали; Настя, лежавшая на деревянном диване, долго смотрела из-под одеяла на отца, а Петрушка, легший на русскую печь, где он всегда спал, и зимой и летом, ворочался там, кряхтел, шептал что-то и не скоро еще утомился. Но наступило позднее время ночи, и Настя закрыла уставшие глядеть глаза, а Петрушка захрапел на печке.

Петрушка спал чутко и настороженно: он всегда боялся, что ночью может что-нибудь случиться и он не услышит — пожар, залезут воры-разбойники или мать забудет затворить дверь на крючок, а дверь ночью отойдет, и все тепло выйдет наружу. Нынче Петрушка проснулся от тревожных голосов родителей, говоривших в комнате рядом с кухней. Сколько было времени — полночь или уже под утро — он не знал, а отец с матерью не спали.

— Алеша, ты не шуми, дети проснутся, — тихо говорила мать. — Не надо его ругать, он добрый человек, он детей твоих любил...

— Не нужно нам его любви, — сказал отец. — Я сам люблю своих детей... Ишь ты, чужих детей он полюбил! Я тебе аттестат присылал, и ты сама работала, — зачем тебе он понадобился, этот Семен Евсеич? Кровь, что ль, у тебя горит еще... Эх ты, Люба, Люба! А я там думал о тебе другое. Значит, ты в дураках меня оставила...

Отец замолчал, а потом зажег спичку, чтобы раскурить трубку.

— Что ты, Алеша, что ты говоришь! — громко воскликнула мать. — Детей ведь я выходила, они у меня почти не болели и на тело полные...

— Ну и что же!.. — говорил отец. — У других по четверо детей оставалось, а жили неплохо, и ребята выросли не хуже наших. А у тебя вон Петрушка что за человек вырос — рассуждает, как дед, а читать небось забыл.

Петрушка вздохнул на печи и захрапел для видимости, чтобы слушать дальше. «Ладно, — подумал он, — пускай я дед, тебе хорошо было на готовых харчах!»

— Зато он все самое трудное и важное в жизни узнал! — сказала мать. — А от грамоты он тоже не отстанет.

— Кто он такой, этот твой Семен? Хватит тебе зубы мне заговаривать, — серчал отец.

— Он добрый человек.

— Ты его любишь, что ль?

— Алеша, я мать твоих детей...

— Ну дальше! Отвечай прямо!

— Я тебя люблю, Алеша. Я мать, а женщиной была давно, с тобою только, уже забыла когда.

Отец молчал и курил трубку в темноте.

— Я по тебе скучала, Алеша... Правда, дети при мне были, но они тебе не замена, и я все ждала тебя, долгие страшные годы, мне просыпаться утром не хотелось.

— А кто он по должности, где работает?

— Он служит по снабжению материальной части на нашем заводе.

— Понятно. Жулик.

— Он не жулик. Я не знаю... А семья его вся погибла в Могилеве, трое детей было, дочь уже невеста была.

— Неважно, он взамен другую готовую семью получил — и бабу еще не старую, собой миловидную, так что ему опять живется тепло.

Мать ничего не ответила. Наступила тишина, но вскоре Петрушка расслышал, что мать плакала.

— Он детям о тебе рассказывал, Алеша, — заговорила мать, и Петрушка расслышал, что в глазах ее были большие остановившиеся слезы. — Он детям говорил, как ты воюешь там за нас и страдаешь... Они спрашивали у него: а почему? А он отвечал им: потому, что ты добрый...

Отец засмеялся и выбил жар из трубки.

— Вот он какой у вас — этот Семен-Евсей! И не видел меня никогда, а одобряет. Вот личность-то!

— Он тебя не видел. Он выдумывал нарочно, чтоб дети не отвыкли от тебя и любили отца.

— Но зачем, зачем ему это? Чтоб тебя поскорее добиться? Ты скажи, что ему надо было?

— Может быть, в нем сердце хорошее, Алеша, — поэтому он такой. А почему же?

— Глупая ты, Люба. Прости ты меня, пожалуйста. Ничего без расчета не бывает.

— А Семен Евсеич часто детям приносил что-нибудь, каждый раз приносил, то конфеты, то муку белую, то сахар, а недавно валенки Насе принес, но они не годились — размер маленький. А самому ему ничего от нас не нужно. Нам тоже не надо было, мы бы, Алеша, обошлись без его подарков, мы привыкли, но он говорит, что у него на душе лучше бывает, когда он заботится о других, тогда он не так сильно тоскует о своей мертвой семье. Ты увидишь его — это не так, как ты думаешь...

— Все это чепуха какая-то! — сказал отец. — Не задуривай ты меня... Скучно мне, Люба, с тобою, а я жить еще хочу.

— Живи с нами, Алеша...

— Я с вами, а ты с Сенькой-Евсейкой будешь?

— Я не буду, Алеша. Он больше к нам никогда не придет, я скажу ему, чтобы он больше не приходил.

— Так, значит, было, раз ты больше не будешь?.. Эх, какая ты, Люба, все вы женщины такие.

— А вы какие? — с обидой спросила мать. — Что значит — все мы такие? Я не такая... Я работала день и ночь, мы огнеупоры делали для кладки в паровозных топках. Я стала на лицо худая, страшная, всем чужая, у меня нищий милостыни просить не станет. Мне тоже было трудно, и дома дети одни. Я приду, бывало, дома не топлено, не варено ничего, темно, дети тоскуют, они не сразу хозяйствовать сами научились, как теперь, Петрушка тоже мальчиком был... И стал тогда ходить к нам Семен Евсеевич. Придет — и сидит с детьми. Он ведь живет совсем один. «Можно, — спрашивает меня, — я буду к вам в гости ходить, я у вас отогреюсь?» Я говорю ему, что у нас тоже холодно и у нас дрова сырые, а он мне отвечает: «Ничего, у меня вся душа продрогла, я хоть возле ваших детей посижу, а топить печь для меня не нужно». Я сказала — ладно, ходите пока: детям с вами не так боязно будет. Потом я тоже привыкла к нему, и всем нам бывало лучше, когда он приходил. Я глядела на него и вспоминала тебя, что ты есть у нас... Без тебя было так грустно и плохо; пусть хоть кто-нибудь приходит, тогда не так скучно бывает и время идет скорее. Зачем нам время, когда тебя нет!

— Ну дальше, дальше что? — поторопил отец.

— Дальше ничего. Теперь ты приехал, Алеша.

— Ну что ж, хорошо, если так, — сказал отец. — Пора спать.

Но мать попросила отца:

— Обожди еще спать. Давай поговорим, я так рада с тобой.

«Никак не угомонятся, — думал Петрушка на печи, — помирились, и ладно; матери на работу надо рано вставать, а она все гуляет — обрадовалась не вовремя, перестала плакать-то».

— А этот Семен любил тебя? — спросил отец.

— Обожди, я пойду Настю накрою, она раскрывается во сне и зябнет.

Мать укрыла Настю одеялом, вышла в кухню и приостановилась возле печи, чтобы послушать — спит ли Петрушка? Петрушка понял мать и начал храпеть. Затем мать ушла обратно, и он услышал ее голос:

— Наверно, любил. Он смотрел на меня умильно, я видела, а какая я — разве я хорошая теперь? Несладко ему было, Алеша, и кого-нибудь надо было ему любить.

— Ты бы его хоть поцеловала, раз уж так у вас задача сложилась, — по-доброму произнес отец.

— Ну вот еще! Он меня сам два раза поцеловал, хоть я и не хотела.

— Зачем же он так делал, раз ты не хотела?

— Не знаю. Он говорил, что забылся и жену вспомнил, а я на жену его немножко похожа.

— А он на меня тоже похож?

— Нет, не похож. На тебя никто не похож, ты один, Алеша.

— Я один, говоришь? С одного-то счет и начинается: один, потом два.

— Так он меня только в щеку поцеловал, а не в губы.

— Это все равно — куда.

— Нет, не все равно, Алеша... Что ты понимаешь в нашей жизни?

— Как что? Я всю войну провоевал, я смерть видел ближе, чем тебя...

— Ты воевал, а я по тебе здесь обмирала, у меня руки от горя тряслись, а работать надо было с бодростью, чтоб детей кормить и государству польза против неприятелей-фашистов.

Мать говорила спокойно, только сердце ее мучилось, и Петрушке было жалко мать: он знал, что она научилась сама обувать себе и ему с Настей, чтобы дорого не платить сапожнику, и за картошку исправляла электрические печки соседям.

— И я не стерпела жизни и тоски по тебе, — говорила мать. — А если бы стерпела, я бы умерла, я знаю, что я бы умерла тогда, а у меня дети... Мне нужно было почувствовать что-нибудь другое, Алеша, какую-нибудь радость, чтоб я отдохнула. Один человек сказал, что он любит меня, и он относился ко мне так нежно, как ты когда-то давно...

— Это кто, опять Семен-Евсей этот? — спросил отец.

— Нет, другой человек. Он служит инструктором райкома нашего профсоюза, он эвакуированный...

— Ну черт с ним, кто он такой! Так что случилось-то, утешил он тебя?

Петрушка ничего не знал про этого инструктора и удивился, почему он не знал его. «Ишь ты, а мать наша тоже бедовая», — прошептал он сам себе.

Мать сказала отцу в ответ:

— Я ничего не узнала от него, никакой радости, и мне было потом еще хуже. Душа моя потянулась к нему, потому что она умирала, а когда он стал мне близким, совсем близким, я была равнодушной, я думала в ту минуту о своих домашних заботах и пожалела, что позволила ему быть близким. Я поняла, что только с тобою я могу быть спокойной, счастливой и с тобою отдохну, когда ты будешь близко. Без тебя мне некуда деться, нельзя спасти себя для детей... Живи с нами, Алеша, нам хорошо будет!

Петрушка расслышал, как отец молча поднялся с кровати, закурил трубку и сел на табурет.

— Сколько раз ты встречалась с ним, когда бывала совсем близкой? — спросил отец.

— Один только раз, — сказала мать. — Больше никогда не было. А сколько нужно?

— Сколько хочешь, дело твое, — произнес отец. — Зачем же ты говорила, что ты мать наших детей, а женщиной была только со мной, и то давно...

— Это правда, Алеша...

— Ну как же так, какая тут правда? Ведь с ним ты тоже была женщиной?

— Нет, не была я с ним женщиной, я хотела быть и не могла... Я чувствовала, что пропадаю без тебя, мне нужно было — пусть кто-нибудь будет со мной, я измучилась вся, и сердце мое темное стало, я детей своих уже не могла любить, а для них, ты знаешь, я все стерплю, для них я и костей своих не пожалею!..

— Обожди! — сказал отец. — Ты же говоришь — ошиблась в этом новом своем Сеньке-Евсейке, ты никакой радости будто от него не получила, а все-таки не пропала и не погибла, целой осталась.

— Я не пропала, — прошептала мать, — я живу.

— Значит, и тут ты мне врешь! Где же твоя правда?

— Не знаю, — шептала мать. — Я мало чего знаю.

— Ладно. Зато я знаю много, я пережил больше, чем ты, — проговорил отец. — Стерва ты, и больше ничего.

Мать молчала. Отец, слышно было, часто и трудно дышал.

— Ну вот я и дома, — сказал он. — Войны нет, а ты в сердце ранила меня... Ну что ж, живи теперь с Сенькой и Евсейкой! Ты потеху, посмешище сделала из меня, а я тоже человек, а не игрушка...

Отец начал в темноте одеваться и обуваться. Потом он зажег керосиновую лампу, сел за стол и завел часы на руке.

— Четыре часа, — сказал он сам себе. — Темно еще. Правду говорят, баб много, а жены одной нету.

Стало тихо в доме. Настя ровно дышала во сне на деревянном диване. Петрушка приник к подушке на теплой печи и забыл, что ему нужно храпеть.

— Алеша! — добрым голосом сказала мать. — Алеша, прости меня!

Петрушка услышал, как отец застонал и как потом хрустнуло стекло; через щели занавески Петрушка видел, что в комнате, где были отец и мать, стало темнее, но огонь еще горел. «Он стекло у лампы раздавил, — догадался Петрушка, — а стеклом нету нигде».

— Ты руку себе порезал, — сказала мать. — У тебя кровь течет, возьми полотенце в комод.

— Замолчи! — закричал отец на мать. — Я голоса твоего слышать не могу... Буди детей, буди сейчас же!.. Буди, тебе говорят! Я им расскажу, какая у них мать! Пусть они знают!

Настя вскрикнула от испуга и проснулась.

— Мама! — позвала она. — Можно, я к тебе?

Настя любила приходить ночью к матери на кровать и греться у нее под одеялом.

Петрушка сел на печи, спустил ноги вниз и сказал всем:

— Спать пора! Чего вы разбудили меня? Дня еще нету, темно во дворе! Чего вы шумите и свет зажгли?

— Спи, Настя, спи, рано еще, я сейчас сама к тебе приду, — ответила мать. — И ты, Петрушка, не вставай, не разговаривай больше.

— А вы чего говорите? Чего отцу надо? — заговорил Петрушка.

— А тебе какое дело — чего мне надо! — отозвался отец. — Ишь ты, сержант какой!

— А зачем ты стекло у лампы раздавливаешь? Чего ты мать пугаешь? Она и так худая, картошку без масла ест, а масло Настьке отдает.

— А ты знаешь, что мать делала тут, чем занималась? — жалобным голосом, как маленький, вскричал отец.

— Алеша! — кротко обратилась Любовь Васильевна к мужу.

— Я знаю, я все знаю! — говорил Петрушка. — Мать по тебе плакала, тебя ждала, а ты приехал, она тоже плачет. Ты не знаешь!

— Да ты еще не понимаешь ничего! — рассерчал отец. — Вот вырос у нас отрок.

— Я все дочиста понимаю, — отвечал Петрушка с печки. — Ты сам не понимаешь. У нас дело есть, жить надо, а вы ругаетесь, как глупые какие...

Петрушка умолк; он прилег на свою подушку и нечаянно, неслышно заплакал.

— Большую волю ты дома взял, — сказал отец. — Да теперь уж все равно, живи здесь за хозяина...

Утерев слезы, Петрушка ответил отцу:

— Эх ты, какой отец, чего говоришь, а сам старый и на войне был... Вон пойдя завтра в инвалидную кооперацию, там дядя Харитон за прилавком служит, а он хлеб режет, никого не обвешивает. Он тоже на войне был и домой вернулся. Пойди у него спроси, он всем говорит и смеется, я сам слышал. У него жена Анюта, она на шофера выучилась ездить, хлеб развозит теперь, а сама добрая, хлеб не ворует. Она тоже дружила и в гости ходила, ее угощали там. Этот знакомый ее с орденом был, он без руки и главным служит в магазине, где по единичкам промтовар выбрасывают...

— Чего ты городишь там, спи лучше, скоро светать начнет, — сказала мать.

— А вы мне тоже спать не давали... Светать еще не скоро будет. Этот без руки сдружился с Анютой, стало им хорошо житься. А Харитон на войне жил. Потом Харитон приехал и стал ругаться с Анютой. Весь день ругается, а ночью вино пьет и закуску ест,

а Анюта плачет, не ест ничего. Ругался-ругался, потом уморился, не стал Анюту мучить и сказал ей: чего у тебя один безрукий был, ты дура баба, вот у меня без тебя и Глашка была, и Апроська была, и Маруська была, и тезка твоя Нюшка была, и еще на добавок Магдалинка была. А сам смеется. И тетя Анюта смеется, потом она сама хвалилась — Харитон ее хороший, лучше нигде нету, он фашистов убивал и от разных женщин ему отбоя нету. Дядя Харитон все нам в лавке рассказывает, когда хлеб поштучно принимает. А теперь они живут смирно, по-хорошему. А дядя Харитон опять смеется, он говорит: «Обманул я свою Анюту, никого у меня не было — ни Глашки не было, ни Нюшки, ни Апроськи не было и Магдалинки на добавок не было, солдат — сын отечества, ему некогда жить по-дурацки, его сердце против неприятеля лежит. Это я нарочно Анюту напугал...» Ложись спать, отец, потуши свет, чего огонь коптит без стекла...

Иванов с удивлением слушал историю, что рассказывал его Петрушка. «Вот сукин сын какой! — размышлял отец о сыне. — Я думал, он и про Машу мою скажет сейчас...»

Петрушка сморился и захрапел; он уснул теперь поправде.

Проснулся он, когда день стал совсем светлый, и испугался, что долго спал, ничего не сделал по дому с утра.

Дома была одна Настя. Она сидела на полу и листала книжку с картинками, которую давно еще купила ей мать. Она ее рассматривала каждый день, потому что другой книги у нее не было, и водила пальчиком по буквам, как будто читала.

— Чего книжку с утра пачкаешь? Положь ее на место! — сказал Петрушка сестре. — Где мать-то, на работу ушла?

— На работу, — тихо ответила Настя и закрыла книгу.

— А отец куда делся? — Петрушка огляделся по дому, в кухне и в комнате. — Он взял свой мешок?

— Он взял свой мешок, — сказала Настя.

— А что он тебе говорил?

— Он не говорил, он в рот меня и в глазки поцеловал.

— Так-так, — сказал Петрушка и задумался.

— Вставай с пола, — велел он сестре, — дай я тебя умою почище и одену, мы с тобой на улицу пойдем...

Их отец сидел в тот час на вокзале. Он уже выпил двести граммов водки и пообедал с утра по талону на путевое довольствие. Он еще ночью окончательно решил уехать в тот город, где он оставил Машу, чтобы снова встретить ее там и, может быть, уже никогда не разлучаться с нею. Плохо, что он много старше этой дочери пространщика, у которой волосы пахли природой. Однако там видно будет, как оно получится, вперед нельзя угадывать. Все же Иванов надеялся, что Маша хоть немного обрадуется, когда снова увидит его, и этого будет с него достаточно: значит, и у него есть новый близкий человек, и

притом прекрасный собою, веселый и добрый сердцем. А там видно будет!

Вскоре пришел поезд, который шел в ту сторону, откуда только вчера прибыл Иванов. Он взял свой вещевой мешок и пошел на посадку. «Вот Маша не ожидает меня, — думал Иванов. — Она мне говорила, что я все равно забуду ее и мы никогда с ней не увидимся, а я к ней еду сейчас навсегда».

Он вошел в тамбур вагона и остался в нем, чтобы, когда поезд пойдет, посмотреть в последний раз на небольшой город, где он жил до войны, где у него рожались дети... Он еще раз хотел поглядеть на оставленный дом; его можно разглядеть из вагона, потому что улица, на которой стоит дом, где он жил, выходит на железнодорожный переезд и через тот переезд пойдет поезд.

Поезд тронулся и тихо поехал через станционные стрелки в пустые осенние поля. Иванов взялся за поручни вагона и смотрел из тамбура на домики, здания, сараи, на пожарную каланчу города, бывшего ему родным. Он узнал две высокие трубы вдалеке: одна была на мыловаренном, а другая на кирпичном заводе; там работала сейчас Люба у кирпичного пресса; пусть она живет теперь по-своему, а он будет жить по-своему. Может быть, он и мог бы ее простить, но что это значит? Все равно его сердце ожесточилось против нее, и нет в нем прощения человеку, который целовался и жил с другим, чтобы не так скучно, не в одиночестве проходило время войны и разлуки с мужем. А то, что Люба стала близкой к своему Семену или Евсею потому, что жить ей было трудно, что нужда и тоска мучили ее, так это не оправдание, это подтверждение ее чувства. Вся любовь происходит из нужды и тоски; если бы человек ни в чем не нуждался и не тосковал, он никогда не полюбил бы другого человека.

Иванов собрался было уйти из тамбура в вагон, чтобы лечь спать, не желая смотреть в последний раз на дом, где он жил и где остались его дети; не надо себя мучить напрасно. Он выглянул вперед — далеко ли осталось до переезда, и тут же увидел его. Железнодорожный путь здесь пересекала сельская грунтовая дорога, шедшая в город; на этой земляной дороге лежали пучки соломы и сена, павшие с возов, ивовые прутья и конский навоз. Обычно эта дорога была безлюдной, кроме двух базарных дней в неделю; редко, бывало, проедет крестьянин в город с полным возом сена или возвращается обратно в деревню. Так было и сейчас: пустой лежала деревенская дорога; лишь из города, из улицы, в которую входила дорога, бежали вдалеке какие-то двое ребят; один был побольше, а другой поменьше, и бóльший, взяв за руку меньшего, быстро увлекал его за собою, а меньший, как ни торопился, как ни хлопотал усердно ножками, а не поспевал за большим. Тогда тот, что был побольше, волочил его за собою. У последнего дома города они остановились и поглядели в сто-

рону вокзала, решая, должно быть, идти им туда или не надо. Потом они посмотрели на пассажирский поезд, проходивший через переезд, и побежали по дороге прямо к поезду, словно захотев вдруг догнать его.

Вагон, в котором стоял Иванов, миновал переезд. Иванов поднял мешок с пола, чтобы пройти в вагон и лечь спать на верхнюю полку, где не будут мешать другие пассажиры. Но успели или нет добежать те двое детей хоть до последнего вагона поезда? Иванов высунулся из тамбура и посмотрел назад.

Двое детей, взявшись за руки, все еще бежали по дороге к переезду. Они сразу оба упали, поднялись и опять побежали вперед. Бóльший из них поднял одну свободную руку и, обратив лицо по ходу поезда в сторону Иванова, махал рукою к себе, как будто призывая кого-то, чтобы тот возвратился к нему. И тут же они снова упали на землю. Иванов разглядел, что у бóльшего одна нога была обута в валенок, а другая в калошу, — от этого он и падал так часто.

Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боли упавших обессилевших детей, и сам почувствовал, как жарко у него стало в груди, будто сердце, заключенное и томившееся в нем, билось долго и напрасно всю его жизнь и лишь теперь оно пробилось на свободу, заполнив все его существо теплом и содроганием. Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал другую жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем.

Он еще раз поглядел со ступенек вагона в хвост поезда на удаленных детей. Он уже знал теперь, что это были его дети, Петрушка и Настя. Они, должно быть, видели его, когда вагон проходил по переезду, и Петрушка звал его домой к матери, а он смотрел на них невнимательно, думал о другом и не узнал своих детей.

Сейчас Петрушка и Настя бежали далеко позади поезда по песчаной дорожке возле рельсов; Петрушка по-прежнему держал за руку маленькую Настю и волочил ее за собою, когда она не поспевала бежать ногами.

Иванов кинул вещевой мешок из вагона на землю, а потом спустился на нижнюю ступень вагона и сошел с поезда на ту песчаную дорожку, по которой бежали ему вослед его дети.

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

Отче наш

Рассказ

— Я хочу спать. Мне холодно.

— Господи! Я тоже хочу спать. Одевайся. И хватит капризничать. Довольно. Надевай шарф. Надевай шапку. Надевай валенки. Где варежки? Стой смирно. Не вертись.

Когда мальчик был одет, она взяла его за руку, и они вышли из дома. Мальчик еще не вполне проснулся. Ему было четыре года. Он ежился и шатался на ходу. Только что начало светать. На дворе стоял синий морозный туман. Мать потуже затянула шарф на шее мальчика, поправила воротник и поцеловала сонное, капризное лицо сына.

Сухие стебли дикого винограда, висевшие на деревянных галереях с выбитыми стеклами, казались сахарными от инея. Было двадцать пять градусов мороза. Из рта валил густой пар. Двор был залит обледеневшими помоями.

— Мама, куда мы идем?

— Я тебе сказала: гулять.

— А зачем ты взяла чемоданчик?

— Потому что так надо. И молчи. Не разговаривай. Закрой рот. Простудишься. Видишь, какой мороз. Лучше смотри под ноги, а то поскользнешься.

У ворот стоял дворник в тулупе, в белом фартуке, с бляхой на груди. Она, не глядя, прошла мимо дворника. Он молча закрыл за ними калитку и заложил ее большим железным крюком. Они пошли по улице, снегу не было. Всюду были только лед и иней. А там, где не было инея и льда, там был гладкий камень или земля твердая и гладкая, как камень. Они шли под голыми черными акациями, упруго потрескивающими на морозе.

Мать и сын были одеты почти одинаково. На них были довольно хорошие шубки из искусственной обезьяны, бежевые

валенки и пестрые шерстяные варежки. Только у матери на голове клетчатый платок, а у сына круглая обезьянья шапочка с наушниками. На улице было пусто. Когда они дошли до перекрестка, в рупоре уличного громкоговорителя так громко щелкнуло, что женщина вздрогнула. Но тут же она догадалась, что это начинается утренняя радиопередача. Она началась, как обычно, пеньем петуха. Чрезмерно громкий голос петуха музыкально проревел на всю улицу, возвещая начало нового дня. Мальчик посмотрел вверх на ящик громкоговорителя.

— Мамочка, это петушок?

— Да, детка.

— Ему там не холодно?

— Нет. Ему там не холодно. И не вертись. Смотри под ноги.

Затем в рупоре опять щелкнуло, завозилось, и нежный детский голос трижды произнес с ангельскими интонациями:

— С добрым утром! С добрым утром! С добрым утром!

Потом тот же голос, не торопясь, очень проникновенно прочитал по-румынски молитву:

— Отче наш, иже еси на небесех. Да святится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя...

На углу женщина повернулась от ветра и, увлекая за собой мальчика, почти побежала по переулку, словно ее преследовал этот слишком громкий и слишком нежный голос. Скоро голос смолк. Молитва окончилась. Ветер дул с моря по ледяным коридорам улиц. Впереди, окруженный багровым туманом, горел костер, возле которого грелся немецкий патруль. Женщина повернулась и пошла в другую сторону. Мальчик бежал рядом с ней, топая маленькими бежевыми валенками. Его щеки покраснелись, как клюква. Под носом висела замерзшая капелька.

— Мама, мы уже гуляем? — спросил мальчик.

— Да, уже гуляем.

— Я не люблю гулять так быстро.

— Потерпи.

Они прошли через проходной двор и вышли на другую улицу. Уже рассвело. Сквозь голубые и синие облака пара и инея хрупко просвечивала розоватая заря. Она была такая холодная, что от ее розового цвета сводило челюсти, как от оскомины. На улице показалось несколько прохожих. Они шли в одном направлении. Почти все несли с собой вещи. Некоторые везли вещи, толкая перед собой тележки, или тащили за собой нагруженные салазки, которые царапали полозьями голую мостовую.

В это утро со всех концов города медленно тащились в одном направлении, как муравьи, люди с ношей. Это были евреи, которые направлялись в гетто. Гетто было устроено на Пересыпи, в той скучной, низменной части города, где на уровне моря стояли обгоревшие нефтяные цистерны, похожие на палатки

бродячих цирков. Несколько грязных кварталов окружили двумя рядами ржавой колючей проволоки и оставили один вход, как в мышеловку. Евреи шли по улицам, спускавшимся на Пересыпь. Они шли под железнодорожными мостами. Они скользили по обледеневшим тротуарам. Среди них попадались старики, которые не могли идти, и больные сыпным тифом. Их несли на носилках. Некоторые падали и оставались лежать на месте, приклонившись спиной к фонарю или обняв руками уличную чугунную тумбу. Их никто не сопровождал. Они шли сами, без всякого конвоя. Они знали, что тот, кто останется дома, будет расстрелян. Поэтому они шли сами. За укрывательство еврея также полагался расстрел. За одного спрятанного еврея подлежали расстрелу на месте все жильцы квартиры без исключения. Евреи двигались в гетто со всего города по крутым спускам, под железнодорожными мостами, толкая перед собой тачки и ведя за руку закутанных детей. Среди домов и деревьев, покрытых инеем, они шли один за другим, как муравьи. Они шли мимо закрытых дверей и ворот, мимо дымных костров, у которых грелись немецкие и румынские солдаты. Солдаты не обращали на евреев внимания и грелись, притоптывая сапогами и растирая себе рукавицами уши.

Мороз был ужасный. Мороз был велик даже для северного города. Но для Одессы он был просто чудовищный. Такие морозы случаются в Одессе раз в тридцать лет. В клубах густого синего, голубого и зеленого пара слабо просвечивал маленький кружок солнца. На мостовой лежали твердые воробы, убитые на лету морозом. Море замерзло до самого горизонта. Оно было белое. Оттуда дул ветер.

Женщина была похожа на русскую. Мальчик тоже был похож на русского. У мальчика отец был русский. Но это ничего не значило. Мать была еврейка. Они должны были идти в гетто. Отец у мальчика был офицер Красной Армии. Женщина порвала свой паспорт и выбросила его утром в обледенелую уборную. Она вышла из дома с сыном, рассчитывая до тех пор ходить по городу, пока это все не уляжется. Она думала как-нибудь перебиться. Идти в гетто было безумием. Это означало верную смерть. И вот она стала ходить с мальчиком по городу, стараясь избегать наиболее людных улиц. Сначала мальчик, думая, что они гуляют, молчал. Но скоро он стал капризничать.

— Мама, зачем мы все время ходим?

— Мы гуляем.

— Так быстро никогда не гуляют. Я устал.

— Потерпи, маленький. Я тоже устала. Но ведь я не капризничаю.

Она заметила, что идет действительно слишком быстро, почти бежит, как будто бы за ней гонятся. Она заставила себя идти

медленной. Мальчик посмотрел на нее и не узнал. Он с ужасом увидел распухший искусанный рот, прядь волос, поседевших от мороза, которая некрасиво выбивалась из-под платка, и неподвижные, стеклянные глаза с резкими зрачками. Такие глаза он видел у игрушечных животных. Она смогрела на сына и не видела его. Сжимая маленькую ручку, она тащила мальчика за собой. Мальчику стало страшно. Он заплакал.

— Я хочу домой. Я хочу пипи.

Она поспешно отвела его за афишную тумбу, заклеенную немецкими приказами. Пока она его расстегивала и застегивала, прикрывая от ветра, мальчик продолжал плакать, дрожа от холода. Потом, когда они пошли дальше, он сказал, что хочет есть. Она повела его в молочную, но так как там завтракали два румынских полицейских в широких шубах с собачьими воротниками, а у нее не было документов и она боялась, что их арестуют и отправят в гетто, она сделала вид, что по ошибке попала не в тот магазин. Она извинилась и поспешно захлопнула дверь с колокольчиком. Мальчик бежал за ней, ничего не понимая, и плакал. В другой молочной никого не было. Они с облегчением переступили порог с прибитой подковой. Там она купила мальчику бутылочку кефира и бублик. Пока закутанный мальчик, сидя на высоком стуле, пил кефир, который он очень любил, и жевал бублик, она продолжала лихорадочно думать: что же делать дальше? Она ничего не могла придумать. Но в молочной топились железная печка, и можно было согреться. Женщине показалось, что хозяйка молочной смотрит на нее слишком внимательно. Она стала торопливо расплачиваться. Хозяйка тревожно посмотрела в окно и предложила женщине еще немного посидеть возле печки. Печка была раскалена. Она была почти вишневого цвета, немного темнее. По ней бегали искорки. Жара разморила мальчика. Его глаза слипались. Но женщина заторопилась. Она поблагодарила хозяйку и сказала, что торопится. Все-таки они просидели здесь почти час. Сонный и сытый мальчик с трудом держался на ногах. Она потрясла его за плечи, поправила ему воротник и легонько подтолкнула к двери. Он споткнулся о подкову, прибитую к порогу. Мальчик подал ей ручку, и она опять повела его по улице. Здесь росли старые платаны. Они пошли мимо пятнистых платанов с нежной, заиндевевшей корой.

— Я хочу спать, — сказал мальчик, жмурясь от ледяного ветра.

Она сделала вид, что не слышит. Она поняла, что их положение отчаянное. У них почти не было знакомых в городе. Она приехала сюда за два месяца до войны и застряла. Она была совершенно одинока.

— У меня замерзли коленки, — сказал мальчик, хныкая.

Она отвела его в сторону и растерла ему колени. Он успокоился. Вдруг она вспомнила, что в городе у нее все-таки есть одна

знакомая семья. Они познакомились на теплоходе «Грузия» по дороге из Новороссийска в Одессу. Потом они несколько раз встречались. Это были молодожены Павловские, он — доцент университета, она — только что окончила строительный техникум. Ее звали Вера. Обе женщины очень понравились друг другу и успели подружиться, пока теплоход шел из Новороссийска в Одессу. Раза два они побывали друг у друга в гостях. Мужчины тоже подружились. Однажды они даже вместе напились. Однажды все вместе — они с мужьями — ходили на футбольный матч Харьков — Одесса. Павловские болели за Одессу. Она с мужем болела за Харьков. Одесса выиграла. Боже мой, что делалось на этом громадном, новом стадионе над морем! Крики, вопли, драка, пыль столбом. Они тогда даже чуть не поссорились. Но теперь об этом приятно было вспомнить. Павловского в городе не было. Павловский был в Красной Армии. Но Вера застряла, не успела эвакуироваться. Недавно она видела Веру на Александровском рынке, и они даже немного поговорили. Но на рынке долго задерживаться было небезопасно. Немцы почти каждый день устраивали облавы. Женщины не поговорили и пяти минут. С тех пор они не встречались. Но, вероятно, Вера была в городе. Куда же ей было деться? Павловские были русские. Можно было попытаться переждать у Веры. В крайнем случае можно было оставить мальчика. Павловские жили довольно далеко, на Пироговской, угол Французского бульвара. Женщина повернула.

— Мама, куда мы идем? Домой?

— Нет, маленький, мы идем в гости.

— А к кому?

— Ты тетю Веру Павловскую помнишь? Мы идем в гости к тете Вере Павловской.

— Хорошо, — сказал мальчик, успокоившись. Он любил ходить в гости. Он повеселел.

Они перешли через Строгановский мост над улицей, которая вела в порт. Улица называлась Карантинный Спуск. Внизу стояли скучные прямоугольные дома из песочного камня. Некоторые из них были превращены в груды щебня. Некоторые обгорели. В конце спуска вырисовывались круглые арки другого моста. За арками виднелись угловатые развалины порта. Еще дальше, поверх обгорелых, провалившихся крыш лежало белое море, замерзшее до горизонта. На самом горизонте густо синела полоса незамерзшей воды. Во льду, вокруг белых развалин знаменитого одесского маяка, стояло несколько румынских транспортов, покрашенных свинцово-серой краской. Вдалеке, налево, на горе, сквозь клубы розоватого и нежно-голубого пара, над городом синел купол городского театра, похожий на раковину. Решетка Строгановского моста состояла из длинного ряда высоких железных пик. Пики были резко черные. Внизу, по Карантинному Спуску, поднимались люди

с ведрами. Вода выплескивалась из ведер и замерзала на мостовой, блестя, как стекло, при мутноватом свете розового солнца. Все вместе это было очень красиво. В конце концов можно было отсидеться у Павловской, а там будет видно.

Они шли очень долго. Мальчик устал, но не капризничал. Он торопливо топал маленькими бежевыми валенками, едва поспевая за матерью. Ему хотелось поскорее прийти в гости. Он любил ходить в гости. По дороге мать несколько раз растирала ему побелевшие щечки. Возле дома, где жили Павловские, на тротуаре горел костер и грелись солдаты. Дом был большой, в несколько корпусов. Ворота были закрыты на цепь. Здесь шла облава. У всех входивших и выходивших проверяли документы. Делая вид, что она торопится, женщина прошла мимо ворот. На нее никто не обратил внимания. Мальчик опять стал капризничать. Тогда она взяла его на руки и побежала, топая ногами по синим плиткам лавы, из которых был сложен тротуар. Мальчик успокоился. Она опять стала колесить по городу. Ей казалось, что она слишком часто появляется в одних и тех же местах и что на нее начали уже обращать внимание. Тогда ей пришла мысль, что можно несколько часов провести в кинематографе. Сеансы начинались рано, так как позже восьми часов появляться на улице запрещалось под страхом смерти.

Она чувствовала тошноту и головокружение в душном, вонючем зале, набитом солдатней и проститутками, которых, так же как и ее, мороз загнал сюда с улицы. Но, по крайней мере, здесь было тепло и здесь можно было сидеть. Она распустила у мальчика на шее шарф, и мальчик сейчас же заснул, обхватив обеими руками ее руку выше локтя. Она просидела, не выходя из зала, подряд два сеанса, с трудом понимая, что происходит на экране. Вероятно, это была военная хроника, а потом комедия или что-нибудь в этом роде: она не могла уловить нить. Все путалось. То весь экран занимала голова хорошенькой девушки с белокурыми рожками, которая прижималась щекой к плоской груди высокого мужчины без головы, и они в два голоса пели под музыку песенку, то эта же девушка садилась в низенький спортивный автомобиль, то взлетали черные фонтаны взрывов — один, два, три, четыре подряд — с жестяным грохотом, как будто бы одним махом раздирали кровельное железо на длинные полосы — одна, две, три, четыре полосы, — и градом падали черные куски земли, стуча по жестяному барабану, и по вспаханной снарядами земле ползли танки с траурными крестами, скрежеща и ныряя и выбрасывая из длинных пушек еще более длинные языки огня и крутящиеся струи белого дыма.

Немецкий солдат в подшитых валенках и русской меховой шапке-ушанке тяжело навалился на плечо женщины и большим нечистым пальцем щекотал мальчику шею, стараясь его разбудить. От него пахло чесноком и спиртом-сырцом. Он все время дружелюбно хохотал, бессмысленно повторяя:

— Не спи, бубе. Не спи, бубе.

Бубе по-немецки значило мальчик. Мальчик не просыпался, а только вертел головой и хныкал во сне. Тогда немец положил тяжелую голову на плечо женщине и, обняв ее одной рукой, стал другой рукой мять лицо мальчика. Женщина молчала, боясь рассердить солдата. Она боялась, что он потребует у нее документы. От немца пахло, кроме того, еще и копченой рыбой. Ее тошнило. Она делала страшные усилия, чтобы не вспылить и не сделать скандала. Она уговаривала себя быть спокойной. В конце концов немец не делал ничего особенно плохого. Просто хам. Вполне приличный немец. Можно потерпеть. Впрочем, скоро немец заснул у нее на плече. Она сидела не двигаясь. Немец был очень тяжелый. Хорошо, что он спал.

Девушка с белокурыми рожками опять передвигалась по экрану, и вместе с ней через весь зал передвигался длинный пучок белых и черных лучей. И с железным грохотом взлетали черные фонтаны, и ползли танки, и немецкие батальоны маршировали по пескам пустыни, и на Эйфелеву башню поднимался громадный фашистский флаг, и Гитлер с острым носиком и дамским подбородком лаял с экрана, отставив дамский зад, выкатив глаза и очень быстро закрывая и открывая рот. Он так быстро закрывал и открывал рот, что звук немного опаздывал: ав, ав, ав, ав...

Солдаты в темноте шупали девок, и девки визжали. Было чересчур жарко, душно, пахло чесноком, копченой скумбрией, спиртом-сырцом, потом, румынскими духами «шануар». Но все же здесь было лучше, чем на морозе. Женщина немного отдохнула. Мальчик выспался. Однако последний сеанс кончился, и пришлось опять выйти на улицу. Она взяла мальчика за руку, и они пошли. В городе было совершенно темно. Только плотный морозный пар клубился среди затемненных домов. От него слипались ресницы. На улицах горели дымные костры, почти задушенные морозом. Иногда где-то раздавались одиночные выстрелы. По улицам ходили патрули. Был девятый час. Она взяла на руки отяжелевшего от сна ребенка и побежала, почти теряя сознание от одной только мысли, что их может остановить патруль. Она выбирала самые глухие переулки. Платаны и акации, покрытые инеем, стояли вдоль улицы, как привидения. Город был пуст и темен. Иногда во тьме открывалась дверь, и вместе с яркой полосой света, вдруг освещавшей замерзшие у подъезда автомобили, из бадеги на миг вырывался страстный, пронзительный визг скрипки. Женщина благополучно добежала до парка культуры и отдыха имени Шевченко. Громадный парк тянулся вдоль моря. Здесь было глухо и тихо. Особенно тихо было внизу, под обрывом, над замерзшим до горизонта морем. Над морем стояла тишина, плотная, как стена. Несколько крупных звезд играло над белыми ветвями деревьев. По звездам скользил голубой луч прожектора.

Она пошла по широкой асфальтовой дороге. Слева был тот самый стадион, где они вместе смотрели матч Одесса — Харьков. За обломками стадиона было море. В темноте его не было видно, но его сразу можно было угадать по тишине. Справа тянулся парк. Широкая асфальтовая дорога мерцала при свете звезд, как наждачная бумага. Женщина шла и узнавала породы деревьев. Здесь были катальпы с длинными стручками, висящими почти до земли, как веревки. Здесь были пирамидальные акации, платаны, туи, уксусные деревья. Покрытые густым инеем, они сливались вместе и висели над самой землей, как облака; она перевела дух и уже более медленно пошла вдоль нескончаемо длинного ряда пустых скамеек. Впрочем, на одной скамейке кто-то сидел. Она прошла мимо с бьющимся сердцем. Черная фигура, склонившаяся головой на спинку скамьи, не пошевелилась. Женщина заметила, что человек был наполовину покрыт инеем, как дерево. Над черным куполом обсерватории, который возвышался среди белых облаков сада, дрожали граненые звезды Большой Медведицы. Здесь было очень тихо и совсем не страшно. Может быть, не страшно потому, что женщина слишком устала.

А на следующее утро, когда еще не вполне рассвело, по городу ездили грузовики, подбиравшие трупы замерзших ночью людей. Один грузовик медленно проехал по широкой асфальтовой дороге в парке культуры и отдыха имени Шевченко. Грузовик остановился два раза. Один раз он остановился возле скамейки, где сидел замерзший старик. Другой раз он остановился возле скамейки, где сидела женщина с мальчиком. Она держала его за руку. Они сидели рядом. Они были одеты почти одинаково. На них были довольно хорошие шубки из искусственной обезьяны, бежевые валенки и пестрые шерстяные варежки. Они сидели, как живые, только их лица, за ночь обросшие инеем, были совершенно белы и пушисты, и на ресницах висела ледяная бахрома. Когда солдаты их подняли, они не разогнулись. Солдаты раскачали и бросили в грузовик женщину с подогнутыми ногами. Она стукнулась о старика, как деревянная. Потом солдаты раскачали и легко бросили мальчика с подогнутыми ногами. Он стукнулся о женщину, как деревянный, и даже немного подскочил.

Когда грузовик отъезжал, в рупоре уличного громкоговорителя пропел петух, возвещая начало нового дня. Затем нежный детский голос произнес с ангельскими интонациями:

— С добрым утром! С добрым утром! С добрым утром!

Потом тот же голос, не торопясь, очень проникновенно прочел по-румынски молитву Господню:

— Отче наш, иже еси на небесех! Да святится имя твое, да приидет царствие твое...

ЭММАНУИЛ КАЗАКЕВИЧ

Двое в степи

Повесть

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Армия отступала по необозримым степям, и вчерашние крестьяне равнодушно топтали спелую пшеницу, которая валялась повсюду запыленная, избитая, изломанная.

Странную картину являл наблюдателю вид отступающих армий. Люди уходили с мрачными лицами, но как-то по-хозяйски медленно. В их глазах была тоска, но она не проявляла себя ни в горестных возгласах, ни в возбужденных жестах. Попросту говоря, знали, что придется возвращаться, а чем дальше уходишь на восток, тем длиннее будет путь обратно.

Если бы какой-нибудь прозорливый немецкий разведчик мог наблюдать происходящее и разобраться в природе этой угрюмой и упрямой уверенности, его затрясло бы от страха.

Лишь машины, отставшие от своих частей, да беженцы с детьми, подгоняющие хворостинами коров, придавали тяжеловесному ходу отступления черты сумятицы и растерянности. В станицах у плетней стояли бабы и старики. Некоторые из них плакали и бросали солдатам слова горькой укоризны. Солдаты же в ответ только отводили глаза, тая про себя думы о будущем и добела накаляясь той молчаливой яростью, которая сильнее самых сильных слов.

Лейтенант Огарков, верхом на белом коне, обогнал идущих по дороге солдат и вскоре миновал небольшую возвышенность, на склоне которой полуголые люди, обливаясь потом, рыли новый оборонительный рубеж.

Лейтенант был горд собой и своим белым конем. Несмотря на все, что творилось вокруг, и на гнетущую тревогу, витающую над степью, он не мог, по молодости лет, не любоваться тем, что именно он, Огарков, а не кто-нибудь другой, мчит по степи на белом коне, оставляя за собой струйку серой пыли. Лейтенант

старался придать своему румянному безусому лицу важный и серьезный вид, чтобы люди, идущие по дороге, не считали его испуганным и жалким беглецом, стремящимся оказаться подальше от немца, а понимали, что он едет с важным и ответственным поручением.

К вечеру он достиг своей цели — деревни, где расположился штаб армии. Ему указали избу оперативного отдела, и он, спешившись, вошел в темные сени, ощупью нашел щеколду, открыл дверь и очутился перед двумя майорами, из которых один говорил с кем-то по радио, а другой, с красной нарукавной повязкой, кричал в телефонную трубку. Лейтенант доложил о своем приезде. Майор с нарукавной повязкой, положив трубку, просмотрел документы Огаркова и сказал:

— Офицеры связи помещаются в соседней избе. Можете там отдыхать, но будьте наготове.

Огарков отправился в соседнюю избу. Она была битком набита офицерами связи и ординарцами. Все они сидели вокруг стола и ели кашу из пшенного концентрата, запивая молоком. Нового товарища офицеры встретили радушно, объяснили, куда утром сдать продаттестат, и пригласили ужинать. Один из офицеров, высокий тонколицый лейтенант с усиками, рассказывал об уничтожении группы немецких мотоциклистов, прорвавшихся было к самому штабу дивизии.

— Если на них поднажать, — с жаром говорил он, — они так бегут, что одно удовольствие.

— Танков у них много, — сказал кто-то из полутьмы.

— Только этим и берут, — отозвался еще кто-то.

Огарков, молодой и робкий, не участвовал в разговоре. Он посидел на лавке, пересчитал офицеров и ординарцев и пришел к горестному выводу, что только он один приехал без ординарца. Вспомнив о своем коне, привязанном к тыну возле избы, он тихонько встал, подошел к печи, у которой возилась старуха хозяйка, и спросил, есть ли у нее стойло, куда лошадь поставить. Старуха вытерла маленькие темные руки о передник и вышла с Огарковым во двор. Спускались сумерки, двор был полон запахов прелого сена и навоза. В темной конюшне позвякивали уздечками кони. Привязав там своего белого, Огарков подумал, что следует его напоить, и сказал об этом старухе. Та сочувственно спросила:

— Городской?

— Да, — ответил Огарков, недоумевая, почему хозяйка сразу поняла это. Он, наоборот, думал, что выглядит как заправский казак.

Она пошла в избу и вскоре вернулась с ведром. Пока он раскручивал ворот, опуская ведро в глубь пахнущего сыростью колодца, старуха тихо говорила:

— Неужто и сюда он дойдет? Господи, что же это такое? Неужто он такой сильный, что даже русские не в силах с ним сладить?

— Почему не в силах? — сказал Огарков. — Мы сладим.

Ответ его, видимо, не показался ей слишком убедительным, и она повторила, обращаясь не к нему, а к бескрайней степи с тем же трудным вопросом:

— Неужто дойдет?..

— Сам я недавно из военного училища, всего месяц, — сказал он, словно желая этим фактом объяснить причины отступления, и, помолчав, добавил: — Все равно им конец, при всех обстоятельствах. Даже если они пустят отравляющие вещества, газы...

— А зачем ему газы? — тоскливо сказала старуха, сжав на груди руки и глядя вдаль на зажигающиеся в небе звезды. — Ему газы ни к чему, раз он вас и так гонит...

Ведро, расплескивая воду, медленно подымалось вверх.

Разговор со старухой угнетающе подействовал на лейтенанта, однако он скоро о нем забыл. В избе офицеры связи все еще толковали о немцах, честили их по-всякому и предсказывали им решительное поражение на Дону. Наиболее оптимистически был настроен тот лейтенант с усиками, которого звали Синяевым.

— Они скоро выдохнутся, — говорил он убежденно, — силенок не хватит... Зарвались слишком.

Огарков лег на койку.

— Вы разуйтесь, лейтенант, — сказал ему Синяев. — Так разве отдохнешь?

— Дежурный майор приказал быть наготове, — смущенно ответил Огарков.

Офицеры сдержанно рассмеялись — наивность новичка позабавила их.

— Ничего, — дружески произнес кто-то, — если слушать дежурных майоров, всю войну в сапогах проспшишь.

Огарков послушно разулся и погрузился в свои мысли.

Приезд в штаб армии являлся для него крупным жизненным переворотом. Еще вчера вечером он числился начхимом полка и не подозревал, что его ожидает такая резкая перемена. Переменой этой он был доволен. Химическая служба больше не удовлетворяла его, хотя еще месяц назад он ехал из училища, непоколебимо уверенный в том, что химия едва ли не важнейшее дело в армии.

Он тогда был твердо убежден, что немцы в ближайшее время начнут химическую войну, и жаждал противопоставить им бдительную и умелую оборону. Он бредил противогазами, противоипритными костюмами, накидками, дегазацией оружия. Каждое отравляющее вещество он знал назубок — по запаху, внешнему виду и свойствам, каждый предмет табельного имущества

казался ему дорогим и полным глубокого и неповторимого смысла. Он был полон решимости передать свои знания всем солдатам без исключения и немедленно.

Однако, прибыв в часть, стоявшую тогда в обороне, он столкнулся, к своему удивлению, с довольно равнодушным отношением людей к противохимической защите. Ему поручали разные задания: он проверял бдительность в траншеях переднего края, состояние стрелкового оружия, боевую подготовку рот второго эшелона. Своим делом он, в сущности, занимался минометом.

Полное понимание он встретил, пожалуй, только в маленькой химинструкторше Вале, своей помощнице. Эта рыженькая веснушчатая девушка в больших сапогах одна только и поддерживала его высокое мнение о своей миссии. Целые дни ходила она по батальонам и ротам, проверяя химическое имущество, тихо и беззлобно упрекая командиров в нерадении к противогазам и противоипритным пакетам и настойчиво выбрасывая из противогазных сумок бойцов краюхи хлеба.

Ходила она как будто неторопливо, потихоньку, но за день успевала обойти всех и вся, заглядывала во все блиндажи и щели, бочком пробиралась среди лошадей и походных кухонь, а к вечеру обязательно появлялась в штабной землянке и исправно докладывала Огаркову о замеченных ею непорядках.

— Не дай бог, конечно, — говорила она, — но хоть разик нужно было бы Гитлеру газы пустить, тогда бы наши поняли, что такое химия...

Однако Гитлер к газовой войне не прибегал, и Огарков чувствовал себя лишним в полку.

В штабной землянке вместе с лейтенантом жили помощник начальника штаба по разведке старший лейтенант Кузин и начальник артиллерии капитан Дубовой. Кузин частенько посмеивался над Огарковым и каждый раз встречал его неизменными словами:

— Привет лейтенанту Ломоносову-Лавуазье!

Огарков иногда обижался, но чаще всего прощал Кузину его насмешки: Кузин целые дни пропадал на переднем крае, раза два лазил за «языком». В насмешках Кузина и сквозило чувство превосходства человека, делающего живое, опасное дело, над человеком, которого держат, так сказать, про запас. Он сразу забывал об Огаркове и тут же начинал оживленно рассказывать капитану Дубовому о том, что за день было замечено на немецком переднем крае. Он тыкал пальцем в различные точки на карте, говоря:

— Это у них НП, честное слово! Это обязательно накрой!

Или:

— Пойми, тут по меньшей мере два миномета у него. Дай им перцу, обязательно!

Молчаливый Дубовой наносил эти сведения на схему и уходил к своим пушкам.

Огаркова обижало, что его товарищи обращают на него так мало внимания. Ему хотелось доказать им, что и он не лыком шит и способен на настоящие дела.

Потом началось отступление.

Немцы нанесли удар не на участке полка, а где-то гораздо левее, и полку приказано было отойти, чтобы избежать окружения. Поэтому он снялся в полном порядке среди ночи и только через сутки начал отбивать атаки немецких подвижных частей. Основные силы немцев двигались далеко на юге, пробиваясь клином на восток и отмечая свое движение заревом пожаров. Иногда немецкий клин оказывался восточнее отходящих советских частей, и создавалась та неразбериха, тот так называемый «слоеный пирог», который в первый год войны сбивал с толку еще неискушенных штабных офицеров.

Военные действия полка и всей дивизии ограничивались арьергардными схватками с не очень сильно напиравшим противником. Наконец остановились на восточном берегу небольшой речки. К этому времени подоспели три «катюши», которые накрыли наступавших немцев, ошеломили их и снова ушли. Воспользовавшись замешательством в рядах противника, дивизия сумела окопаться, приняла бой, отразила несколько атак и закрепилась.

Вечером Огаркова вызвали в штаб полка.

Командир полка майор Габидуллин, ширококостый и немного брюзгливый татарин с узкими, раскосыми и беспощадными глазами, сказал, словно извиняясь:

— Ты, Огарков, уедешь ненадолго. Не то чтобы ты был нам не нужен. Но некого послать, а приказано выслать человека. Кого же пошлешь, а? — Огарков молчал, и майор, не дождавшись от него ответа, продолжал: — Передай пока дела Вале, она девушка хорошая, заменит тебя недели на две. А потом ты вернешься. А?

Огарков не понимал, что означает это странное вопросительное «а» командира полка и нужно ли отвечать на него. Значило же оно то, что Габидуллин сомневался в правильности своего решения. Собственно, он не имел права отсылать начхима. Есть ли химическая война или нет ее, но начхим есть и, следовательно, должен быть. Однако некого было послать. При этих обстоятельствах данный выход из положения казался наилучшим.

Приказание комдива гласило: «Выслать командира и бойца на двух верховых лошадях в распоряжение штаба дивизии». Габидуллин выполнил только половину приказа. Он не мог послать двух человек и пару лошадей: ему было жалко. Он всегда был крайне скуп на людей и лошадей и всячески старался обходить такого рода приказания. В представлении Габидулли-

на все вышестоящие начальники только и делали, что зарились на людей и лошадей из его полка.

Коня он дал Огаркову хотя и рослого, белого, как сметана, но недавно раненного в бедро и поэтому припадающего на левую заднюю ногу. Огаркову, однако, он показался чудесным, необыкновенным, сказочным.

Наскоро попрощавшись с сослуживцами и пожав руку опечаленной Вале, Огарков вскочил на коня и вдруг почувствовал небывалое доселе блаженство. Он впервые ощутил себя по-настоящему военным, командиром, словно поднялся не просто на спину коня, а на полтора метра выше трезвой окопной жизни.

В штабе дивизии его принял в своем листовенном шалаше сам начальник штаба подполковник Сомов. Подполковник оглядел высокого стройного лейтенанта и одобрительно прищурился — лейтенант был опрятен, гладко выбрит и внушал доверие своим открытым и красивым лицом.

— Недавно из училища? — спросил подполковник.

— Один месяц, товарищ подполковник.

— Поедешь офицером связи от дивизии в штаб армии. Тебе ясны твои обязанности? Вот они: быть в курсе всех военных событий, держаться при оперативном отделе штаба армии, всегда знать, где и в каком положении дивизия, и привозить нам распоряжения и приказы. — Переходя на «вы», чтобы подчеркнуть серьезность новых обязанностей лейтенанта, подполковник Сомов закончил, вставая: — Вам поручается весьма важное дело. Можете следовать.

Лежа на лавке в избе офицеров связи, лейтенант Огарков засыпал с довольной улыбкой на губах. Мир казался ему приветливым и правильным, несмотря на то что тихий голос старухи хозяйки все еще звенел в ушах, как упрек:

— Неужто и сюда он дойдет?..

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Подъем! — услышал Огарков спросонья громкий повелительный окрик.

Он вскочил. В полутьме избы суетились люди, вскакивая с лавок, натягивая сапоги и надевая ремни. Дверь была открыта настежь. Резкий ветер выдул из углов и простенков домовитый запах и накопленное тепло. В избе стало холодно и неудобно. Старуха хозяйка, сидя на печке, безмолвно глядела вниз на возбужденных, куда-то спешащих людей.

Огарков обулся, надел шинель и вместе со всеми остальными вышел во двор. Ординарцы пошли в конюшню седлать лоша-

дей, и Огарков с минуту стоял в нерешительности, не зная, куда раньше пойти: за офицерами или за ординарцами — седлать свою лошадь. Он пошел за офицерами.

Они гурьбой ввалились в избу оперативного отдела. У одного из столов, ярко освещенного большой лампой, над картой склонилось несколько человек, среди которых Огарков не без трепета увидел генерала. Генерал что-то вполголоса говорил. Огарков не слышал его слов. Наконец генерал поднялся со стула, осмотрел стоящих «смирно» офицеров связи и прошел мимо них в дверь, беглым и рассеянным движением приложив руку к козырьку фуражки. Лейтенант в шинели, сидевший за другим столом, поднялся одновременно с генералом и вышел вслед за ним.

Люди отошли от карты, и у стола остался только седой полковник в пенсне. В комнате с минуту длилась тишина. Потом полковник, сняв пенсне и глядя поверх людей большими близорукими глазами, заговорил:

— Товарищи офицеры связи, вы немедленно выедете в свои дивизии и развезете боевой приказ. Положение весьма серьезно, как вы сами, вероятно, знаете. Мы снова вынуждены отходить, да-с... — Последние слова он произнес глухо и скороговоркой, затем продолжал по-прежнему: — С некоторыми из дивизий потеряна связь... Дивизионные рации работают не все, неизвестно почему. Тем более важным является поручение, возлагаемое на вас.

Он стал выкликать офицеров связи по очереди и вручал каждому из них пакет, запечатанный сургучом. При этом он снова надел пенсне, и глаза его сразу оживились, приобрели остроту и проницательность.

— Передайте, чтобы они все время были на приеме. Рации должны работать непрерывно.

Эту фразу он произносил в качестве напутствия каждому офицеру в отдельности. С каждым таким напутствием он становился все злее, потому что отсутствие радиосвязи с некоторыми дивизиями бесило и мучило его, и последнему офицеру — то был Огарков — почти выкрикнул в лицо:

— Рация чтобы работала, черт их возьми! Воюют, как в турецкую войну!

— Есть, — пробормотал Огарков.

Он вышел из избы и направился к соседнему двору. Здесь уже стояли наготове кони, позвякивая уздечками и дожевывая вываченный из кормушки последний клоч сена.

Офицеры закуривали, вскакивали в седла. Огарков направился в конюшню и попытался здесь как можно быстрее заседлать своего коня, но в темноте и с непривычки у него ничего не получилось. По правде сказать, он волновался: ему хотелось

выехать вместе с остальными, хоть на дорогу выехать вместе со всеми.

Во тьме показалось белое пятно и послышался голос старухи хозяйки:

— Не управишься, сынок? Да ты выведи конька во двор, там посветлее будет...

Огарков с признательностью сказал:

— Спасибо.

Он вывел коня. Еще не все офицеры уехали. Четыре лошади стояли у тына, низко наклонив головы друг к другу, словно тоже о чем-то советуясь, как начальники над картой.

Заседлав лошадь, Огарков вошел в избу. Здесь сидели двое из офицеров, изучая карту. Огарков вынул из полевой сумки свою, обрадовавшись дельному примеру: поистине невредно было по карте изучить путь следования.

Лейтенант Синяев поднял глаза на Огаркова и сказал:

— Наши дивизии по соседству. До хутора Павловского мы едем, значит, вместе.

Огарков еле скрыл свою радость. Слова Синяева и та ухватка, с которой лейтенант с усиками поглядывал то на карту, то на свой компас, преисполнили сердце Огаркова уверенностью.

Они вышли из избы, сели на лошадей и поехали по деревенской улице.

— Почему вы без ординарца? — спросил Синяев.

— Не знаю, не дали, — ответил Огарков.

— Глупо, — сказал Синяев. — Разве офицеру связи можно без ординарца? Стрясется с ним что-нибудь такое — некому даже помочь или по начальству сообщить.

Огарков виновато промолчал.

Выехав в поле, они пустили лошадей рысью. Минут пятнадцать ехали в молчании, потом Синяев придержал коня и сказал:

— Вы обязательно потребуйте себе ординарца.

— Да, я скажу.

На юге и западе небо алело дальними пожарами.

— Обстановочка... — сказал Синяев и свистнул.

Второй, до сих пор молчавший, офицер сплюнул и злобно сказал:

— Когда уж мы им дадим по шее?

— Это Москва знает, — сказал Синяев.

Огарков спросил, кто этот генерал, которого он видел в оперативном отделе.

— Начальник штаба армии, — ответил Синяев, — генерал-майор Москалев. Дельный мужчина.

«Мужчина?» — подумал Огарков, удивляясь развязности синяевского тона и в то же время восхищаясь такой свободой.

— И полковник Воскресенский человек не плохой, — про-

должал Синяев, — только поговорить любит. Если напустится на кого, так точно играет пьесу, Шекспира какого-нибудь. Когда немцы прорвали оборону, он, говорят, плакал. Старик, конечно, ему уже лет сорок с гаком. А в общем, парень он хороший. У нас все тут хорошие люди, гонять понапрасну не любят, всегда выручат. Командарм — тот строгий, на днях был ранен в руку, так и ходит с завязанной рукой. Ему хуже, чем нам всем, — он за всех отвечает. С ним жена, тоже боевая женщина, она следователем работает, в армейской прокуратуре.

Болтовня Синяева, несложные армейские сплетни отвлекли Огаркова от тревожных мыслей. Он слушал эти истории, как любопытный провинциал — столичные новости.

Но лошади снова перешли на рысь. Синяев и другой офицер все время обгоняли Огаркова, и он скакал рядом с ординарцами. Вскоре пошел дождь, ветер бил по лицу дождевыми струями. Один из ординарцев сказал:

— Это ладно, что дождь. Кабы и днем был дождь! Хоть «юнкерсы» утихомирятся.

Но дождь скоро прошел, и на небе снова замерцали звезды, — звезды без конца и края.

На перекрестке отстал и исчез во мгле офицер с ординарцем. И Огарков вспомнил, что вскоре он и с Синяевым расстанется. Хорошо бы поехать с Синяевым в его дивизию, чтобы потом с Синяевым же захватить в свою. Так он всегда дельвал в детстве с братом Борисом, когда их посылали по двум разным поручениям.

Зарева пожаров заметно приблизились. По дороге брели подводы, шли машины с погашенными фарами. У обочин, а иногда и на самой дороге зияли воронки. На душе становилось все тревожней. Где-то правее, не очень далеко, гремели выстрелы орудий.

Хутор Павловский лежал в буераке, у извилистой речушки, вьющейся среди кустарника и камыша. Здесь Синяев придержал коня, сказал: «Ну, всего», — и ускакал налево. Огаркову стало обидно, что Синяев так кратко с ним простился. Цокот копыт синяевской лошади вскоре потерялся вдаль, и, точно не в силах терпеть такую полную тишину, где-то уж совсем близко послышались раскатыстые взрывы и вслед за ними треск пулеметов.

Постояв с минуту, Огарков тронул повод и двинулся вниз, к мосткам через речушку. Кругом лежали убитые лошади. На западном берегу сидели раненые солдаты, видимо присевшие отдохнуть. Огарков спросил, не из его ли они дивизии, но они оказались совсем из другой — и даже не дивизии, а бригады.

Огарков поехал дальше, всюду натываясь на группы идущих к востоку людей. Но и они были не из его дивизии, и это обеспокоило Огаркова. Он хлестнул коня, но конь, видимо, устал и упорно двигался шагом, заметно припадая на левую заднюю ногу.

Дорога вскоре потерялась в пшенице, затем повернула резко направо. Она завела Огаркова в лесок и тут внезапно оборвалась.

Он слез с коня, повел его на поводу, а сам побрел, низко пригибаясь к земле в поисках дороги. Потом понял, что не туда повернул, и пустился обратно, но лесок неожиданно оказался довольно обширным. Огарков шел, натыкаясь на пни, и наконец вышел к каким-то стогам, которые стояли, загадочные и темные, бесконечными прямыми рядами, теряющимися в ночи.

Он долго блуждал среди этих стогов и, уже потеряв всякую надежду выбраться куда-нибудь, услышал шум автомашин. Он вскочил на коня и через несколько минут очутился на шоссе.

Восемь машин промчались мимо, не удостоивая ответом его окрик. Тогда он двинулся на запад, потом дорога повернула на юг. Он знал, что на юг ему не надо. Но дорога шла именно на юг, к северу же тянулись необозримые поля пшеницы. Он некоторое время двигался по дороге, потом повернул обратно. Выстрелов уже не было слышно, только раздавался тяжелый и равномерный гуд.

Огарков решил ехать на север во что бы то ни стало, хотя бы напрямик. Конь заметно ослабел и повесил голову. Раздвигая грудью колосья, он медленно плелся по бескрайним полям. А колосья не редели, — наоборот, они становились все гуще и гуще. Конь еле двигался среди этой темной массы хлеба, время от времени срывая мягкими губами спелый колос.

Огаркову казалось, что это никогда не кончится. Привставши в стременах, он видел вокруг те же необозримые поля. Прошло немало времени, прежде чем он услышал человеческие голоса. Шагах в тридцати правее оказалась дорога, а возле нее располагались огневые позиции артиллерийской батареи. Люди цепляли пушки к машинам и перекинулись негромко, но возбужденно.

И артиллеристы понятия не имели о местонахождении дивизии. Они только что получили приказ сниматься и отходить на новый рубеж.

Лейтенант-артиллерист показал Огаркову на карте район немецкого прорыва. Это вполне могло быть на участке дивизии. Обескураженный долгими блужданиями по степи, Огарков совсем пал духом. Он поехал по дороге в северо-западном направлении и вскоре встретил целую кучу подвод.

— Какая дивизия! — крикнул в ответ на вопрос лейтенанта кто-то из темноты. — Нет уже там никакой дивизии! Все подались к Дону.

— Не знаем мы, где твоя дивизия, — сказал кто-то другой.

Подводы проехали, и Огарков застыл на месте, совершенно разбитый. Окружающий мир стал представляться ему все более

страшным. Дивизия, раньше казавшаяся огромным и сложным организмом, теперь песчинкой затерялась среди бесконечных нив и безымянных высоток.

Однако он продолжал упорно двигаться по дороге. Вскоре стрельба артиллерии и пулеметов разразилась с новой силой. Горели какие-то амбары. Послышался омерзительный свист, и одинокая мина взорвалась совсем близко. Тут же в ответ, захлебываясь, застрочили пулеметы, и трассирующие пули полетели по всем направлениям. И снова послышался прерывистый гуд. «Танки!» — подумал Огарков.

Поблизости упала вторая мина. Лейтенанта больно ударил по лицу твердый комок земли. И внезапно раздался спокойный и даже насмешливый голос недалеко от Огаркова:

— Ты чего стоишь, как памятник? Не видишь разве — сюда стреляют.

В окопах возле дороги сидели люди. Огарков подъехал к ним и дрожащим голосом спросил про свою дивизию.

Ему ответили:

— Там где-то... А точно где — кто знает. Такая там каша... Напирает немец.

Сплошной свист. Люди исчезли в окопах. Конь Огаркова подскочил и пустился галопом, забывши про усталость. Огарков еле удержался в седле. Мины рвались вокруг. Спрыгнув с коня, Огарков лег плашмя на землю. Он даже не заметил, как конь вырвался и умчался. Лейтенант остался один. Там, где, по всей видимости, находилась его дивизия, все гремело, пылало, тонуло в дыму. Огарков медленно пошел на выстрелы и вдруг услышал — уже позади себя — тот же равномерный и прерывистый гуд.

«Немцы прорвались», — подумал Огарков и нащупал на груди пакет.

Панический ужас объял Огаркова. Он побежал на восток, спотыкаясь, путаясь в траве, перелезая через канавы и траншеи, пока, обессиленный, не остался лежать в густом и горьком бурьяне. Небо по краям горело заревом. Красное зарево алело и на востоке, и Огарков решил, что и там немцы. А это занимался рассвет.

Вдруг Огарков услышал в темноте какие-то совсем уже непонятные звуки, которые заставили его задрожать. Что-то странное творилось совсем близко. Уловить природу этих звуков было невозможно. Треск, лепетание, звон, человеческий шепот, сопение, тяжелые шаги — Огарков чуть с ума не сошел от ужаса. Когда развиднелось, он увидел силуэт лошади, жующей траву. Она была оседлана и взнуздана. Повод тащился за ней по росистой траве.

— Трус проклятый, — сказал себе Огарков.

Он поднял голову и огляделся, но ничего не было видно: по степи стлался седой туман.

Лошадь ходила возле Огаркова, равнодушно жуя и прядая ушами. Время от времени она поглядывала на лейтенанта умными и ласковыми глазами. То была крупная лошадь гнедой масти с золотистым отливом. Оставшись без хозяина, она, может быть, обрадовалась человеку и ходила вокруг него, мирно поедая траву. Но когда Огарков подошел к ней, она отошла на несколько шагов, продолжая есть и только косясь на него умным глазом. Он снова пошел к ней, и снова она, уклоняясь, отошла на несколько шагов. Во всей ее повадке и в ласковом лукавстве большого глаза было что-то женское, гибкое, уклончивое. Ее вполне устраивало человеческое общество, но, по-видимому, нисколько не прельщала перспектива потерять свободу.

Все-таки Огаркову удалось ухватить ее за повод и вскочить в седло. Тут он заметил, что туман испарился, и, удивленный, увидел знакомую лошину, и речку, и домики на склоне лощины. Это был хутор Павловский, разоренный, покинутый.

Огарков стегнул лошадь, и она понеслась на восток, к штабу армии. Огарков тревожно озирался по сторонам, боясь неожиданно столкнуться с немцами, но тревога его оказалась напрасной; вскоре он догнал отходящие части, вереницу людей, упрямо и молчаливо идущих на восток.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Штаб армии еще на рассвете ушел дальше на восток, и Огарков разыскал его только на следующий день в большой станице. Усталый и голодный, лейтенант расспросил, где находится изба оперативного отдела, и поплелся туда.

Офицеры из оперативного отдела буквально накинудись на него. Почему так долго не приезжал? Где находится дивизия? Что с ней? Почему ее рация упорно молчит? Какие там потери?

Огарков, растерянно мигая, ответил:

— Я не смог туда пробиться. Там немцы прорвались, и я чуть к ним не попал. А дивизия, наверно, отошла. Я к ней не мог пробиться.

Штабные ошеломленно молчали, потом куда-то побежали докладывать, а Огарков стоял посреди комнаты, не зная, что делать.

Вскоре пришел полковник Воскресенский, начальник оперативного отдела. Он вначале напустился на Огаркова, потом, надев на нос пенсне и заметив растерянный вид лейтенанта, замолчал, сел на стул и начал его допрашивать со спокойствием вконец замученного человека.

Огарков, хлопая ресницами и чуть не плача, рассказал, как было дело. Конечно, картина, нарисованная им, была весьма далека от истины, но не потому, что он хотел утаить истину, а потому, что не знал ее. Например, он не знал, что слышанный им ночью гул был гулом нашей отходящей на восток танковой части, а не танков противника; что слова, брошенные обозниками насчет того, что все ушли на Дон, были словами до смерти напуганных людей, не знающих обстановки; что немцы действительно прорвались, но значительно севернее дивизии.

Полковник сидел как оглушенный. Весь ужас положения заключался в том, что несколько часов назад ему доложили о гибели майора, посланного в ту же дивизию с тем же поручением.

Теперь, когда оказалось, что и офицер связи вернулся ни с чем, с потрясающей ясностью, повергшей в трепет Воскресенского и всех штабных, выявился тот факт, что приказ об отходе на новый рубеж не был вручен дивизии и дивизия дерется с превосходящими силами немцев на прежнем рубеже. За последние сутки немцы прорвались еще в двух направлениях, видимо обтекая сражающуюся дивизию, и, может быть, уже окружили ее.

В свете этих страшных предположений какое значение имела судьба какого-то струсившего лейтенанта? О нем попросту забыли, и только часа через четыре начальник штаба армии отдал приказ об отдаче под суд Военного трибунала Огаркова, офицера связи от уже, может быть, не существующей дивизии.

Неожиданным защитником Огаркова оказался не кто иной, как полковник Воскресенский. Зная, однако, что генерал терпеть не может «слюней», он защищал лейтенанта несколько своеобразно, одновременно осыпая его проклятиями и презрительными эпитетами:

— Да он птенец, молокосос проклятый... Заблудился, болван... Безмозглая шляпа он, а не лейтенант... Послать его, дурачка, на передовую!

Перед глазами полковника стояло молодое растерянное лицо лейтенанта с хлопающими ресницами.

Может быть, генерал послушался бы своего заместителя, но тут в избу ввалился летчик Дорохов, только что прилетевший на своем У-2 с разведки: его посылали разыскать ту самую дивизию. Летчик был окровавлен и бледен. Судя по всему, дивизия сражалась на прежнем рубеже. По-видимому, немцы окружили ее. Сесть в расположении дивизии Дорохову не удалось: когда он начал снижаться, немцы стали его бешено обстреливать из пулеметов, пробили машину в семнадцати местах и ранили Дорохова в руку. Он еле долетел обратно.

— Под суд трибунала, — прохрипел генерал, подымаясь с места и ломая свои большие жесткие пальцы.

Только что заснувшего Огаркова разбудили, посадили в машину и повезли в соседнюю станицу, где располагались трибунал и прокуратура армии. Здесь у него отобрали пистолет и ввели в избу, где у маленького дощатого крестьянского стола сидела полная суровая женщина в гимнастерке с двумя «шпалами».

Это и была жена командующего армией, о которой Огаркову поведал Синяев. В ее глазах Огарков прочел нескрываемую враждебность, глубоко поразившую его.

Варвара Петровна, жена командующего, потеряла единственного сына полгода назад под Москвой. Сын ее тоже был лейтенантом, тоже светлым блондином. Он командовал десантным отрядом. Высадившись в тылу у немцев во время нашего зимнего наступления, этот отряд носился на лыжах по немецким тылам, рвал вражеские коммуникации в Подмоскowie, истреблял небольшие группы немцев и дождался-таки подхода наших войск. Однако Сережа был к тому времени смертельно ранен и умер среди своих, что было бы утешением для него самого, если бы он очнулся от беспамятства, но не могло служить утешением для матери. А он так и не очнулся.

Глядя на высокого белокурого молодого лейтенанта, Варвара Петровна на секунду ощутила ноющую боль, которую тотчас подавила. Она стала задавать обычные вопросы, стараясь игнорировать юношеское обаяние лейтенанта и принимать во внимание только факты. Факты же были недвусмысленны: лейтенант не выполнил боевого приказа. Теперь следовало выяснить: по трусости или по неумению? Можно было склониться ко второму. Но факты были таковы: Сергей (его тоже звали Сергеем) Леонидович Огарков окончил училище, — правда, специальное, да и краткосрочное, но там изучали и топографию, и тактику, и политграмоту. У него недоставало опыта? Да. Но опыта не было и у... и у других молодых лейтенантов, образцово выполнявших любые задания.

Тут Варвара Петровна поймала себя на том, что она все время думает о своем сыне и сравнивает с ним этого Огаркова. «Так нельзя, — строго одернула она себя. — Другие лейтенанты тут ни при чем».

И она стала спрашивать с самого начала, вдумчиво прислушиваясь к ответам, пристально приглядываясь к малейшим изменениям в выражении лица лейтенанта.

На вопрос о том, признает ли он себя виновным, он ответил, что признает, и, не читая, подписал все, что требовалось.

Огаркова отвели в землянку на окраину станицы, а Варвара Петровна приступила к допросу свидетелей. Их было только двое: лейтенант Синяев и майор из оперативного отдела. Но где-то бился с врагом третий свидетель — дивизия, и этот свидетель незримо присутствовал в деревенской избе.

После того как свидетели ушли, Варвара Петровна долго сидела в одиночестве над протоколами. Да, лейтенант Огарков был виновен. Виновен, независимо от других лейтенантов.

На следующий день утром дело поступило в трибунал.

Представ перед трибуналом, Огарков сразу как-то успокоился. Здесь была тихая и будничная обстановка. Члены трибунала сидели на потемневших от времени табуретках за таким же темным дощатым столом, под фотографиями усачей-солдат времен первой мировой войны. Из открытого окна доносился плач детей и голос хозяйки, то и дело повторявшей:

— А вот я вас ремнем!..

Огарков посмотрел на лица членов трибунала. То были спокойные, словно издавна знакомые русские лица с добрыми глазами. И ему показалось, что эти люди тоже сейчас скажут: «А вот мы тебя ремнем...»

— Фамилия? — спросил председатель.

— Огарков.

— Имя и отчество?

— Сергей Леонидович.

— Возраст?

— Двадцать лет.

— Звание?

— Лейтенант.

— Должность?

— Офицер связи при штабе армии.

— Образование?

— Десятилетка и военно-химическое училище.

Отвечая на эти вопросы и зная, что ответы на них заранее хорошо известны председателю, Огарков даже чуть-чуть повеселел.

— Вы знали, какой приказ вы везете в свою дивизию? — нетерпеливо вмешался один из членов трибунала.

— Да.

— Я спрашиваю о содержании приказа. Знали вы его содержание?

Огарков, помолчав, ответил:

— Да, знал.

Председатель спросил неожиданно мягко и совсем по-граждански:

— А кто был ваш отец, Огарков?

Слово «был» вырвалось произвольно и заключало в себе нечто необычайно грозное для Огаркова. Огарков этого не уловил, однако, и сказал:

— Он инженер на заводе в Горьком.

Вскоре были вызваны свидетели. Лейтенант Синяев, не по-обычному хмурый и сдержанный, избегая глядеть на Огаркова,

рассказал о том, как они ехали и где расстались. На вопрос о поведении Огаркова в пути следования он ответил:

— Дрейфил. Только я думал, что это от неопытности, молод еще...

— А вам-то сколько лет? — не удержался от вопроса председатель.

— Двадцать два года, — хмуро ответил Синяев, глядя в окно, и внезапно сказал: — И еще ординарца ему не дали. — Но, подумав мгновение, он жестко добавил: — Все равно сдрейфил. Ведь рядом со штабом дивизии был, у хутора Павловского...

Майор из оперативного отдела кратко изложил обстановку, сложившуюся вчера на фронте, в связи с этим оттенил значение проступка, совершенного обвиняемым, и закончил словами:

— Мы потеряли эту дивизию.

После допроса свидетелей заседание было прервано. Обвиняемого отвели в землянку. Трибуналу принесли обед. Принесли обед и Огаркову, но есть ему не хотелось. Он сидел и думал о словах Синяева и майора из оперативного отдела, и эти слова странно смешивались у него в голове: мы потеряли эту дивизию, а ему ординарца не дали. И почему ему не дали ординарца, раз дивизия все равно потеряна?

Вот такие и разные другие мысли услужливо лезли со всех сторон, чтобы прикрыть, затуманить главную и самую страшную мысль.

Сидя в оцепенении на полу, он не сразу заметил другого человека, который лежал в самой глубине землянки и крепко спал. Только тогда, когда человек задвигался и приподнялся, Огарков обратил на него внимание.

Человек этот был в гражданской одежде. Оказалось, что он приговорен к расстрелу за дезертирство. Во время отступления он в какой-то деревне переоделся и ушел в сторону, но его задержали.

То был пожилой, волосатый, мрачный и грязный человек. Он курил толстые махорочные скрутки и без конца тупо повторял:

— А мне какое дело?..

— Почему вы так? — спросил Огарков.

— Не хочу воевать, — ответил приговоренный. — Я баптист, понимаешь? — И добавил: — Пусть немец приходит. Все одно.

— Как же так «все одно»? — ужаснулся Огарков. — Что вы говорите? Ведь они фашисты! Просто странно, что вы это говорите! Еще русский человек...

— А мне какое дело?.. — сказал приговоренный.

«Сумасшедший он, что ли?» — подумал Огарков.

Вдруг глазки приговоренного по-звериному хитро засверкали, словно из глубин этого обезьяньего волосатого черепа с трудом и натугой вылучилась наконец одна человеческая мысль, и он спросил:

— А ты-то, советской, за что сюды попал?

Огарков растерялся. Сила и убедительность этого вопроса потрясли его.

Приговоренный, не дождавшись ответа, хрипло рассмеялся, потом быстро подполз к Огаркову и зашептал:

— Всех нас перебьют, — коли не немцы, то энти...

Тут Огаркова вызвали в трибунал. Стоя перед столом, он слушал слова приговора будто из далекой дали, и только последняя, заключительная фраза на секунду вывела его из состояния почти полного небытия. Фраза эта гласила:

«Приговорить бывшего лейтенанта Красной Армии Огаркова Сергея Леонидовича к высшей мере наказания — расстрелу».

Перед тем как отвести осужденного обратно в землянку, один из конвоиров, коренастый и молчаливый казах, сорвал с его петлиц кубики — знаки лейтенантского звания — и закинул их далеко в картофельные кусты.

Баптиста в землянке уже не было. Огарков сел на свою широкую, и долго его мысли вертелись вокруг да около той, главной мысли, которая еще не то что не доходила, а словно билась о его сознание, как волна о стеклянную перегородку. Эта спасительная стеклянная перегородка выросла вокруг самого центра сознания в момент, когда были произнесены те слова. Сквозь нее было видно, но она спасала от непосредственного взрыва боли, который неминуемо произошел бы при соприкосновении мягкой младенческой ткани сознания с бурлящей, горькой и смертельноедкой волной главной мысли.

Но сколько ни думай о чем угодно и, в сущности, ни о чем — все эти мысли завершаются здесь, в землянке, и все равно ставится во всю гигантскую, до неба, высоту вопрос: что ты делаешь тут?

Все стало ясно, когда вспомнилась мать. Мать не должна была проникнуть за перегородку, но как только она проникла, все сразу стало ясно. Перегородка обрушилась. Что будет с мамой, когда она узнает о своем сыне, — не о том, что он погиб, а о том, *как* он погиб, — вот что было важнее всего.

Он так зарыдал, что часовой, стоявший у входа в землянку, вздрогнул.

— Пустите меня! — крикнул Огарков вне себя. — Я должен им все сказать!

Он стал лихорадочно обдумывать, что такое ему нужно сказать своим судьям. Ведь он ничего им не сказал. Он ведь только бормотал что-то. Ведь нужно было ясно и понятно объяснить им, что он, Сережа Огарков, готов все отдать всем. И что он именно Сережа Огарков, а не кто-нибудь другой, посторонний. Они ведь не могут не понять, что это не то, что должно быть. Он требует, чтобы его выслушали, не так просто, в какой-то избе, а по-настоящему.

Они не имеют права не выполнить его требование. Здесь Советский Союз, где каждый человек имеет право быть выслуханным.

Лицо Огаркова просветлело.

Пусть они наконец запросят его полк.

В конце концов он не офицер связи, а начхим полка. Пусть спросят у майора Габидуллина, у Кузина, у Дубового, у Вали.

Вспомнив свой полк, Огарков совсем ободрился. И мысль о том, что ни Вали, ни Кузина, ни Дубового, ни майора Габидуллина уже, может быть, нет в живых, подкралась к нему как-то незаметно и ошеломила его. Так о них, значит, именно о них и говорил майор из оперативного отдела, сказав: «Мы потеряли эту дивизию».

Только теперь эти, как казалось ему раньше, отвлеченные слова наполнились понятным и страшным содержанием. «Значит, это я убил вас, мои дорогие?» — шепотом спросил Огарков у медленно вставшей перед его глазами вереницы лиц и имен. Сильная, неудержимая дрожь стала бить его. Дрожь, впрочем, скоро унялась, сменившись мертвой оцепенелостью. Нет, он ничего не имел сказать трибуналу. Все, что произойдет, — должно произойти, потому что это справедливо.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Солдат Джурабаев — тот самый, что сорвал с петлиц Огаркова кубики, — стоял на часах возле землянки осужденного и приглядывался к окружающему миру не просто так, а с точки зрения часового. Большая курица с цыплятами, гуляющая неподалеку, его не касалась. Вороне, пронзительно орущей на верхушке тополя, не мешало бы и помолчать, находясь так близко к объекту охраны. Ветер, шуршащий в траве, несколько раз привлекал его внимание, но покуда это был только ветер и за шуршанием ничего не крылось.

Он прислушался к «объекту» — там было тихо. Осужденный не подавал признаков жизни.

Джурабаев был один из тех исполнительных, до щепетильности точных солдат, которые иногда кажутся туповатыми. Он попал в армейскую роту охраны недавно, после легкого ранения, и считал это неожиданным счастьем, потому что жизнь при штабе армии была куда более легкой и безопасной, нежели жизнь на передовой. Однако он помнил об оставшихся на переднем крае товарищах, которые были ничем не хуже его, — поэтому он не мог считать справедливым постигшее его счастье и старался компенсировать свою совесть беззаветной преданностью

службе. Службе с большой буквы, выполняя устав до мельчайших тонкостей, не давая себе поблажек ни в чем.

Его неподкупность и молчаливая служебная исполнительность вошли у солдат в поговорку. Внешность его была под стать душе: он был приземист, сложен крепко и основательно, круглолиц и узкоглаз. Обладая силой буйвола, он был с товарищами кроток и обходителен той свободной и временами тонкой обходительностью, которая свойственна восточным людям и, может быть, берет свое начало в древней цивилизации Китая.

Он вполне прилично знал русский язык и любил читать русские книги — все равно какие: стихи так стихи, брошюры так брошюры, а попадется старая газета — так и газету. Однако он не ладил с грамматикой и, разговаривая, почти все слова склонял невпопад. Зная эту свою слабость, он был молчалив из самолюбия.

Заходило солнце, и Джурабаев определил, что смена ему будет приблизительно через час. Действительно, вскоре послышались шаги, и Джурабаев крикнул:

— Кто идет?

То не была смена. Подошедшую к землянке девушку Джурабаев несколько раз видел в трибунале и понимал, что она там служит. Но так как девушка шла одна, без разводящего, он не допустил ее близко.

— Товарищ часовой, — сказала она, — мне нужно вручить осужденному копию приговора. Я секретарь трибунала.

— Разводящий, — сказал Джурабаев.

— Да, — возразила секретарша, — но разводящий ведь при штабе в соседней станице...

— Разводящий, — повторил Джурабаев.

Секретарша стояла в нерешительности. Разводящий приезжает сюда на повозке для смены часовых не чаще одного раза в четыре часа, так как солдат в роте мало.

— Разве вы меня не знаете? — спросила она.

— Без разводящий нэльзя, — сказал Джурабаев, и она поняла, что спорить бесполезно.

Она уже собралась уходить, когда в небе раздался знакомый зловеющий гул моторов. «Воздух!» — послышались крики. Земля затрепетала от разрывов. Удары следовали один за другим с адской быстротой, словно кто-то огромный быстро-быстро хлопал по земле гигантскими железными ладонями все ближе и ближе.

Девушка припала к земле, и так как единственным убежищем здесь могла служить землянка с осужденным, девушка поползла к ней, но ее остановил тихий и решительный возглас:

— Стой!

Она подняла глаза и, встретившись со взглядом часового, сочла за лучшее остаться на месте.

Самолеты, отбомбившись, вразброд улетали обратно на запад. Девушка поднялась, отряхнулась, негодуя посмотрела на невозмутимое лицо часового и пошла в деревню. На полдороге она встретила разводящего, который ехал к Джурабаеву на повозке. Секретарша уселась на повозку и поехала обратно к землянке, горько жалуясь на Джурабаева. Разводящий усмехнулся:

— Этот у нас такой... Родную мать не пустит.

Она вручила осужденному приговор. Осужденный, против ожидания, был спокоен, хотя и очень бледен. За несколько часов он невероятно осунулся и даже чуть постарел, вернее — повзрослел. Когда он расписывался в получении приговора, его рука дрожала самую малость. Девушка вышла из землянки с тяжелым чувством.

Джурабаев сидел на корточках и ел кашу. Разводящий курил, виновато вздыхал — он не привез смены: двое заболели, двое уехали за продуктами. Джурабаеву предстояло отбывать службу часового еще полтора-два часа, пока вернутся люди, посланные за продуктами. Еду для осужденного разводящий также не привез: он думал, по его словам, что того «вот-вот кокнут».

— Когда его? Скоро? — спросил он.

— Еще не утвердил Военный совет. Без утверждения нельзя.

— И чего это с таким возятся! — сказал разводящий и посмотрел на Джурабаева.

Джурабаев разделил кашу на две части, отломил от своей «пайки» ломоть хлеба и, положив то и другое в крышку котелка, снес вниз, осужденному. Вернувшись, он быстро доел свой заметно уменьшившийся ужин и снова приступил к исполнению обязанностей часового. Разводящий же и секретарша уехали.

Через некоторое время снова появились над станицей немецкие самолеты и, сбросив несколько бомб, улетели. Воцарилась тишина.

Джурабаев чутко прислушивался к окружающему и вскоре уловил дальние выстрелы или, может быть, разрывы, хотя это было больше похоже на выстрелы. Ворона на тополе наконец замолчала, улетев или, возможно, заснув. Недалеко в густой пшенице раздавался тихий шорох — там возились суслики или полевые мыши. Все громче становилось стрекотание множества насекомых. Лунный серп выглянул из-за тополя и, с минуту помедлив, лениво пустился бежать мимо облаков, оставаясь на месте. Поскрипывали новые сапоги Джурабаева, на днях только полученные, — предмет его гордости и особых забот.

В деревне слышались встревоженные человеческие голоса, гудение автомашин, конское ржание, потом все умолкло окончательно, даже ветер затих.

Джурабаев вдруг испытал неизвестно чем вызванное чувство одиночества и полной покинутости. То было вначале инстинктивное чувство, которое он, однако, безуспешно старался пода-

вить в себе. Причину этого он понял несколько позднее: сколько ни приходилось ему стоять ночью часовым, ни разу вокруг не царила такая необычайная, полная тишина; всегда были слышны голоса, ржание лошадей, то тут, то там из открытой на секунду двери в ночь вырывался кусочек света; теперь же все словно вымерло.

Тревога Джурабаева усилилась еще и оттого, что прошло часа два, а смена все не появлялась. Джурабаев не принадлежал к разряду тех людей, для которых минута кажется часом. Раз он уже определил, что прошло два часа, значит, прошло наверняка не меньше двух с половиной. А разводящий был человек точный и приехал бы в любом случае, хотя бы для того, чтобы сообщить: люди не вернулись, надо стоять еще час или два или до рассвета.

Не допуская мысли о халатности разводящего, Джурабаев постарался успокоиться на том, что он ошибся, прошло не два часа, а час, и некоторым усилием воли заставил себя вернуться к обычным мыслям о службе, то есть о том, что он охраняет важного преступника, приговоренного к расстрелу, и ему поэтому надлежит быть начеку. Мысли посторонние — вроде мыслей о жене, детях, родных местах — он старался держать от себя на приличном расстоянии. Когда же он ловил себя на том, что думает именно об этих посторонних вещах, он сердито отряхивался и начинал еще внимательнее прислушиваться к ночным шорохам и дыханию осужденного в землянке.

Последний, условно второй, час Джурабаев старался растянуть как можно больше и таким образом простоял еще два часа. За это время случилось только одно происшествие: неподалеку, где-то за соседней деревней, где размещался штаб армии, слышалась ружейная и пулеметная стрельба и разрывы, частые и не очень громкие. Все это продолжалось минут десять с перерывами. Потом стало тихо.

Только тогда, когда над степью забрезжило утро, Джурабаев окончательно понял, что произошло нечто необычное. Солнце, вначале ярко-красное, постепенно стало раскаляться, белеть, и уже пригревало, когда Джурабаев услышал близкие человеческие голоса. Он востолбенел и крикнул:

— Стой! Кто идет?

Из пшеницы вышла группа красноармейцев, среди которых были и раненые. Остановившись при внезапном окрике и разглядев Джурабаева, шедший впереди боец сказал:

— Чего кричишь! Не видишь разве, кто идет?

— Стой! — повторил Джурабаев.

Солдаты переглянулись и пожали плечами. Хотя их было много, а Джурабаев стоял один, он являлся часовым, то есть лицом неприкосновенным, человеком почти не от мира сего. Каждый из них тоже не раз бывал часовым и изведал чувство отрешен-

ности и силы, даваемое часовому уставом. Поэтому они — правда, не без ворчания — послушно пошли вдоль полосы, обходя Джурабаева. Вскоре они исчезли.

Через некоторое время появилась еще одна группа, гораздо более многочисленная. Эта шла организованно, на повозках за ней следовали минометы, и шествие замыкала кухня. Впереди колонны шел ширококостый, немного брюзгливый майор с узкими раскосыми глазами, а за ним несли знамя, укутанное в серый чехол.

Остановленный окриком Джурабаева, майор пристально посмотрел на него и спросил:

— А что, тут в деревне часть какая стоит?

Джурабаев ничего не ответил, ибо знал устав.

— Что ты, глухой, что ли?

Джурабаев сказал:

— Проходи.

— Ты что здесь охраняешь? — не унимался майор.

Джурабаев угрожающе сжал шейку приклада.

Колонна прошла.

Тревога сдавила сердце Джурабаева. Он то отходил от землянки на несколько шагов ближе к станице, то снова подходил вплотную к черному отверстию землянки; он подымался на цыпочки, стараясь увидеть хоть что-нибудь за картофельным полем, за бахчой, полной арбузов и тыкв, за тополями, на которых уже снова орали вороны.

Потом, отчаявшись что-нибудь узнать и кого-нибудь дождаться, он замер, неподвижный и суровый, как изваяние, готовый ко всему и уже будто безразличный ко всему.

Он видел, как в станицу въехали пушки и тут же покинули ее, как поток людей уходил на восток, не задерживаясь. Проехали машины с ранеными. Пылили обозы. Люди то и дело показывались из пшеницы, брели по картофельным полям и пропадали из виду.

С запада, следом за уходящими войсками, медленно шло зарево: зажженные поля пшеницы и овса дымом и пламенем уходили к востоку, вослед пахарям и сеятелям своим. Тонкие дымки струились меж колосьев, обволакивали васильки, кружились вокруг подорожника и высоких стеблей бурьяна, а за дымками с негромким треском, похожим на треск лопающихся арбузов, шло пламя.

Джурабаев стоял, ожидая разводящего, который погиб уже несколько часов назад, отражая вместе со своими товарищами и штабными офицерами нападение прорвавшихся немецких танков. Танки эти дымились в семи километрах за станицей, но Джурабаев не мог их видеть. А штаб армии и все его отделы и управления были уже далеко и организовывали оборону на новом рубеже.

В полдень слышались короткие автоматные очереди, и Джурабаев увидел среди домов станицы перебегающих бойцов. Они бежали, падали, стреляли, вновь бежали и, наконец, исчезли.

Джурабаев спустился в землянку, поднял с полу крышку котелка, на которой лежала нетронутая каша и ломоть хлеба, положил все это в котелок, плотно закрыл его крышкой и сказал:

— Пошли.

Огарков медленно поднялся с земли и пошел к выходу.

— Шинель, — сказал Джурабаев.

Огарков послушно взял шинель, вышел из землянки и оглянулся на Джурабаева. Лицо солдата было сурово. Огарков вздрогнул, но взял себя в руки. Они вскоре очутились в небольшом яру. Здесь Огарков замедлил шаг, остановился и оглянулся.

— Иди, — сказал Джурабаев.

Огарков пошел дальше. Сначала он ни о чем не думал. Может быть, только удивлялся, почему его ведут так далеко. Потом он впервые обратил внимание на мир вокруг себя. Мир был прекрасен. Ветер шелестел в траве, над землей низко летали большие мохнатые бабочки. Вдали лаяла собака и пел петух. Вероятно, то был большой белый или черный, а может, и янтарного цвета петух с красным гребешком. Огарков вспомнил, что на свете есть петухи, собаки и бабочки.

— Иди, — сказал Джурабаев, заметив, что осужденный снова замешкался.

Солнце стояло посреди неба, и Огаркову, окоченевшему в сырой землянке, стало совсем тепло. Щебетали птицы.

Огарков вдруг подумал, что человек, идущий за ним, может выстрелить в любую минуту, — ведь не обязательно сначала остановиться, приготовиться, а потом уже кончать. Не смея оглянуться, Огарков все шел и шел, чуя холодок в затылке, словно под уже наведенным автоматом.

Но человек, шедший сзади, не стрелял. Они шли и молчали. Огарков шел все быстрее, с ужасом ожидая смертельного толчка. Наконец он услышал голос человека, шедшего сзади. Тот сказал:

— Стой.

«Конец», — не подумал, а почувствовал Огарков и остановился. Минута прошла в тягостном молчании.

— Стреляйте же! — крикнул вдруг Огарков, не владея больше собой, и обернулся к своему спутнику.

Но Джурабаев не обратил внимания на этот возглас. Он прислушивался к чему-то, потом быстро сказал:

— Налево марш!

Огарков остался на месте. Он решил, что никуда дальше не пойдет. Пусть кончают здесь.

— Немцы, — сказал Джурабаев.

Огарков одно мгновение стоял в глубокой растерянности, потом огляделся, посмотрел на Джурабаева и свернул с дороги в высокую пшеницу. Они долго шли, пригибаясь, по полю и выбрались наконец на заросшую кустарником возвышенность. Здесь они остановились. Джурабаев снова прислушался, свирепо посмотрел на Огаркова, вздохнул и сказал:

— Иди.

И они пошли.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Беспредельная степь не имела зримых границ, а только звуковые — она была словно окаймлена пулеметной дробью.

Пшеница и ковыль, типчак и подсолнечник, картофельные и свекловичные поля, обширные бахчи, заваленные арбузами и дынями, опустевшие совхозные поселки и одинокие громады сахарных заводов — все это дремало под жарким солнцем, дичало от безлюдья и тревожно прислушивалось к пулеметной дробью, доносящейся со всех сторон.

Двое шли по степи, отбрасывая на пшеницу уродливые волнистые тени — одну длинную, другую короткую. Над ними пролетали стаи взволнованно орущих птиц, гонимых войной на восток.

Джурабаев иногда останавливался, застывал на месте, весь превращаясь в слух, потом опять пускался в путь, строго на северо-восток. Он не нуждался в компасе — степь была его родной стихией. В степи его деды пасли стада баранов с незапамятных времен. С самого раннего детства он уже бродил с отцом по пастбищам «киргиз-кайсацкой орды», среди белой полыни и зарослей тамариска.

Огарков вскоре страшно устал — не так от ходьбы, как от мыслей о своей вине и близкой смерти, верней — от подсознательной, но непрерывной напряженности и скованности духа. Однако ему казалось нелепым просить об отдыхе, когда его вот-вот ожидал неминуемый отдых на веки вечные. И он шел, прихрамывая, впереди Джурабаева.

Так они шли, почти не останавливаясь, двое суток.

К вечеру, когда солнце оказывалось сзади, Огарков видел возле себя тень Джурабаева. К этой тени Огарков вскоре почувствовал глубокую антипатию, почти ненависть. Не к Джурабаеву, а именно к его тени. К самому Джурабаеву Огарков не питал неприязни — конвоир делал свое дело. Но тень его, широкая, коротенькая, не отстающая ни на шаг, словно накрепко привязанная,

приводила Огаркова в состояние бессильного раздражения, и он старался не смотреть на нее вовсе.

Во время кратких привалов Огарков спал, а Джурабаев сидел напротив него, положив автомат к себе на колени. Вначале это вызывало в Огаркове чувство досадливого презрения: солдат думает, что Огарков способен сбежать! Потом презрение сменилось удивлением. Солдат не спал. Его глаза — однажды Огарков осмелился посмотреть на Джурабаева в упор — покраснели и сделались еще уже.

«Он ведь может меня расстрелять, — подумал Огарков. — Почему он этого не делает?»

«Потому, что считает себя не вправе», — ответил сам себе Огарков и, почувствовав невольное уважение к своему конвоиру, сказал:

— Вы бы поспали, я не убегу... Обещаю вам.

Но Джурабаев продолжал сидеть неподвижно, словно не слышал сказанного.

К исходу вторых суток они начали обгонять мелкие группы отступающей пехоты и пристроились к хвосту одной из этих групп. Она приглянулась Джурабаеву потому, что шедший впереди лейтенант в немецкой плащ-накидке имел карту и вел себя спокойно и деловито.

Группа понемногу росла за счет присоединяющихся к ней одиночек и пар, и Джурабаев с Огарковым потерялись среди множества, не обращая на себя ничего внимания. Они шли, не разлучаясь ни на минуту, рядом дремали на привалах, ели из одного котелка перепадавшую им пищу и молчали, не отличаясь этим, впрочем, от всех остальных.

Впереди группы уверенной походкой, чуть вразвалку, шел лейтенант в немецкой плащ-накидке. Несмотря на жару, он не расставался с этой накидкой. Видимо, он придавал ей какое-то особое значение — она была снята с убитого немца и символизировала смертность и обреченность всех врагов вообще, несмотря на их нынешний успех. И лягушечьего цвета плащ-накидка развевалась впереди, как флаг, как знамя будущей расплаты.

Шли проселочными и полевыми дорогами, избегая больших, потому что немцы наступали где-то совсем рядом: был слышен гул их танков и хрипение автомашин.

Лейтенант разбил людей на отделения, выслал дозоры вперед и на фланги. Парные дозоры шли по бокам колонны, на отдалении в двести — триста метров, то мелькая в пшенице и высокой траве, то исчезая за пригорками.

Однажды в парный дозор был выделен Огарков. Джурабаев не счел нужным давать многословные объяснения, а просто пошел вслед, и дозор двигался втроем, пока его не сменили. Люди

привыкли видеть Джурабаева с Огарковым всегда рядом и иногда пошучивали по поводу такой нежной дружбы, что вызывало краску стыда на розовом лице Огаркова.

Джурабаев не спал. Он только дремал, очень чутко, ежеминутно приоткрывая узкие щелки глаз. Но это не могло продолжаться вечно. Однажды ночью он, забывшись, уснул. Огаркова разбудил его мощный храп. Стояла лунная ночь. В глубокой, поросшей орешником балке все спали, укрывшись шинелями. Только тихие голоса часовых раздавались неподалеку.

Огарков приподнялся, встал и посмотрел на освещенное луной лицо Джурабаева.

Нет, Огарков не испытывал неприязни к Джурабаеву. Он даже был благодарен часовому за то, что тот не выдавал его тайну, не позорил его перед людьми. Но в этот момент, глядя на неподвижное лицо спящего, Огарков ощутил страстное желание избавиться от вечного соглядатая, не видеть его больше.

Невдалеке раздались человеческие шаги, послышался тихий разговор. То подошла еще одна группа отступающих бойцов во главе с очень взволнованным и сильно охрипшим капитаном. Капитан поговорил с лейтенантом в немецкой плащ-накидке об общей обстановке. Огарков слышал их голоса. Капитан рассказал, что немецкая танковая колонна стоит поблизости, в двенадцати километрах, ожидая горючего.

— Разгромить ее, что ли? — спросил лейтенант, желая, кроме всего прочего, похвастаться перед капитаном боеспособностью своей группы и собственной решительностью.

Капитан не советовал. Танков было тринадцать штук, и при них человек сорок пехоты. Надо пробиваться к своим, не ввязываясь, по возможности, в бои.

Капитан и его люди пошли дальше. Вскоре послышался поблизости шелест раздвигаемых веток орешника, и возле Огаркова остановился лейтенант в немецкой накидке.

— Пойдешь в разведку? — спросил он Огаркова.

— Пойду, — сказал Огарков, прислушиваясь к ровному дыханию Джурабаева.

Лейтенант вынул из планшета карту и объяснил Огаркову задачу. Надо идти в ближайшую станицу за два километра, выяснить там обстановку, а главное — узнать, заняли ли уже немцы две крупные станицы по пути предполагаемого следования группы. А если заняли, то сколько их там, немцев.

— Почему без оружия? — вдруг спросил лейтенант.

Огарков пробормотал что-то, косясь на спящего. Ему очень хотелось, чтобы Джурабаев не проснулся и чтобы этот спокойный и храбрый лейтенант ничего не узнал. Лейтенант протянул Огаркову свой автомат и, уже уходя, неожиданно осведомился:

— Ты не лейтенант ли часом?

— Нет, — сдавленным голосом ответил Огарков. — Почему вы думаете?

Лейтенант усмехнулся:

— Следы от кубарей на петлицах... Да и выправка такая.

— Нет, — повторил Огарков. — Я не лейтенант. Гимнастерка только... лейтенантская...

— Ладно. Пошли.

Огарков пошел за ним, ступая тихо и осторожно и то и дело оглядываясь на Джурабаева. Треск каждого сучка болезненно отзывался в его душе.

Когда он очутился вне поля зрения Джурабаева и вместе с другим выделенным в разведку бойцом шагал по шляху к деревне, он испытал состояние, близкое к блаженству. Луна заливала степь ровным светом. Тень идущего сзади молодого солдата была совсем не похожа на тень Джурабаева. Да и сам этот солдатик — белесый, немного озадаченный возложенным на него ответственным делом и робко жмущийся к Огаркову, назначенному старшим, — как он был не похож на угрюмого и молчаливого Джурабаева!

— Как ваша фамилия?

— Тюлькин, — ответил солдатик.

— А меня зовут Огарков.

Они пошли рядом.

— Вы много раз ходили в разведку? — спросил Тюлькин.

— Бывало, — неопределенно сказал Огарков, который в качестве старшего счел необходимым играть роль многоопытного солдата.

Помолчав, Тюлькин спросил:

— Плохо нам, а?

— Почему плохо? — успокоил его Огарков и дословно повторил слышанные недавно слова Синяева: — Они скоро выдохнутся... Силенок не хватит... Зарвались слишком.

— А скоро мы их?.. — продолжал спрашивать Тюлькин.

— Это Москва знает, — ответил Огарков.

Они приближались к деревне. Заливисто лаяли собаки, раздавалось хлопанье дверей.

— Немцы в деревне, — прошептал Тюлькин.

Огарков угрюмо возразил:

— Не спешите делать выводы, пока не узнаете точно.

Они поползли задами к деревенским домам, обжигаясь крапивой и цепляясь за стебли огородных растений. Чем ближе подползали они, тем ясней становилось, что в деревне действительно есть чужие. Но Огарков упорно двигался вперед, пока они не ткнулись в плетень. Здесь они притаились и прислушались. Ржали кони, и раздавались мужские голоса.

— Немцы! — с отчаянием прошептал Тюлькин.

— Проверить надо, — сухо ответил Огарков.

Вдруг слышался девичий смех и потом громкий женский возглас:

— Вася, а Вася! Воды принеси!

Не похоже было, чтобы в деревне стояли немцы. Обрадованный Тюлькин хотел выскочить за плетень, но Огарков и тут повторил вполголоса:

— Проверить надо.

Они поползли вдоль плетня и очутились у сарайчика. Невдалеке белела мазанка. Огарков сказал:

— Ждите меня.

Он пополз к избе, держась в тени росших здесь кустов смородины. Притаился под одним из маленьких окон. Прислушался. Разговаривали по-русски.

— Лейтенант приказал строиться, — произнес мужской голос.

— Значит, пошли, — сказал другой.

— Дай вам бог дойти счастливо и возвратиться поскорее, — отозвался женский голос.

— Авось и возвратимся, мамаша, — сказал кто-то из мужчин.

«Свои», — понял Огарков. Очевидно, это была такая же группа красноармейцев, как и та, которой командовал выславший Огаркова лейтенант. Огарков смутно пожалел о том, что это не немцы. Окажись в деревне немцы, он вступил бы в неравный бой и был бы убит вражеской пулей. «Какое это счастье, — подумал он, — быть убитому не своей, а вражеской пулей».

Но ведь можно было просто уйти с этой группой. Раз Джурабаев все равно ему не верит, стережет его, как замышляющего побег преступника, — почему же ему действительно не уйти?

«Наверное, он уже проснулся, — подумал Огарков с ненавистью, — и бежит сюда по следам, как сторожевой пес...»

«Где он меня будет искать? — подумал Огарков минутой позже. — Уйти, растаять в степи, потеряться в ней, как пылинка... А Тюлькин? Что Тюлькин! Подождет и пойдет обратно».

Но при воспоминании о молоденьком солдате, который так верил в его непогрешимость и военный опыт, Огарков отказался от мысли об уходе. Нет, он не мог, не в силах был обмануть доверие Тюлькина и заслужить презрение лейтенанта в немецкой плащ-накидке.

Шаги солдат пропали в отдалении, а Огарков все еще лежал на траве возле окошка и не трогался с места. Снова вспомнив об ожидающей его участи и ощутив при этом страшный холодок в затылке, он опять начал колебаться. Какое ему дело, думал он, до Тюлькина и того лейтенанта, до их уважения и презрения? Кто они? Случайные люди, встреченные на этом мучительном пути и готовые снова кануть в неизвестность. И, однако, именно доверие к нему этих случайных людей в гораздо большей степени,

нежели страх перед степным чутьем и упорством Джурабаева, заставило Огаркова встать и вернуться к Тюлькину, который страшно обрадовался возвращению товарища.

Они снова двинулись задами параллельно деревенской улице, иногда перелезая через плетни и увязая сапогами в жирной земле огородов. У самой крайней избы, стоявшей немного на отлете, — позади нее выстроились низкие ульи, — Огарков остановился и сказал:

— Зайдем сюда.

Он постучал в окно и в ответ услышал стариковский сиплый голос:

— Кто стучит?

— Свои, — сказал Огарков. — Откройте, пожалуйста.

Вежливое обращение и робкий голос, видимо, успокоили хозяина. Заскрипела щеколда, и на пороге появился маленький, босоногий, сухой старичок, похожий, как показалось Огаркову, на Льва Толстого.

Нет, немцев в деревне не было. «Еще не было», — сказал старик, подчеркнув слово «еще» не без желания уколоть отступающих солдат. Со слов односельчан и пришлых людей он сообщил о том, что немцы находятся в станице за девять километров.

Что касается тех двух станиц, которые особенно интересовали лейтенанта в немецкой накидке, то и там уже стояли немцы, вернее, не немцы, а итальянцы, «итальяшки, — как их назвал старик, — черненькие такие, глазастьенькие, и откуда они только взялись, и зачем только сюда приперлись...».

— Вроде военное счастье на немца перешло, а? — спрашивал старик тревожно, однако ж выражаясь с витиеватостью, выдававшей в нем старого солдата или даже, может быть, унтер-офицера. — Имеет преимущества немец-то, а? — Заметив сумрачный вид молодых солдат и то ли пожалев их, то ли считая своим долгом более бывалого человека успокоить молодежь, он после краткого раздумья сказал поучающе: — Однако как муравью колоду не уволочи, так и немцу России не завоевать.

Он угостил их молоком и медом и, уловив глубокое уныние в глазах Огаркова, сказал, обращаясь к нему:

— Не горюй, парень. Ты еще так немцев будешь бить, мое почтение. Все твое еще впереди.

Мед показался горьким Огаркову. Он стремительно встал со стула и сразу же попрощался с бойким стариком. За ним поднялся и Тюлькин. Старик проводил их до крыльца, продолжая оживленный разговор.

Только тогда, когда молодые солдаты скрылись из виду, старик потерял свою живость и долго еще стоял на крыльце, маленький и печальный, горестно вздыхая и тревожно прислушиваясь. Ибо так или иначе, а немцы были близко.

Молодые солдаты тем временем быстро шагали к себе в лагерь, восхищаясь бодростью старика и радуясь успешной разведке.

Уже у самой балки Огарков встретил Джурабаева. Тот медленно шел ему навстречу, настороженный и взволнованный. Увидев Огаркова, он замер на месте, а встретившись с ним взглядом, опустил глаза. Он ничего не сказал. Его лицо, обычно суровое и спокойное, на мгновение приобрело наивное выражение удивления и признательности.

Доложив лейтенанту добытые им сведения и вернув ему автомат, Огарков с тяжелым сердцем возвратился к ожидавшему его Джурабаеву — снова под надзор. Но уже не тот был надзор и не тот Джурабаев. Теперь они шли рядом, и так же рядом шли их тени. Часто к ним присоединялся Тюлькин, сильно привязавшийся к Огаркову. Молодой солдат не уставал превозносить решительность и воинское умение Огаркова, не обращая внимания на то, с каким странным выражением лица, недоуменным и тревожным, слушает его молчаливый казах.

Лейтенант решил создать отделение разведчиков и командовать им назначил Огаркова.

— У меня командного опыта нет, — пробормотал Огарков. — Я химик.

— Ничего, — возразил лейтенант. — Научишься. На, возьми. — Он сунул Огаркову в руки немецкий автомат.

Огарков вопросительно посмотрел на Джурабаева. Тот молчал, потупившись.

Лейтенант отошел, и, когда его зеленый плащ уже мелькал вдали, Огарков громко и жалобно крикнул:

— Я не могу командовать отделением!

Но лейтенант не слышал или не подал виду, что слышит.

Огарков молча пошел с Джурабаевым, неся автомат в руках впереди себя, как чужую хрупкую вещь. Вскоре руки устали, и он, покосившись на Джурабаева, надел автомат на ремень.

Джурабаев вдруг спросил:

— Комсомолец был?

Огарков ответил:

— Да.

— Ай-ай-ай!.. — сокрушенно закачал головой Джурабаев, выражая этими звуками и порицание, и удивление, и жалость.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Командовать отделением Огаркову не пришлось. Группа выбралась из немецкого кольца и вскоре пришла в большую станицу, где находилось множество советских частей.

Во дворе МТС, среди наполовину разобранных тракторов и грузовых машин, обосновался формировочный пункт. Седой батальонный комиссар с квадратным лицом принимал прибывающие группы отходящей пехоты и наскоро сколачивал роты и батальоны. Он сидел у маленького столика посреди двора, что-то записывал в полевую книжку и распоряжался громким и строгим голосом.

Неподалеку на грузовике стояли два лейтенанта. Они раздавали солдатам сформированных рот патроны, гранаты, сухари и консервы.

Огаркову очень хотелось попасть под начало лейтенанта в немецкой плащ-накидке, но тот куда-то исчез, и глаза Огаркова напрасно шарили по огромному двору, переполненному людьми.

Джурабаев переживал душевную борьбу. Он считал своим первейшим долгом доставить осужденного в штаб армии. С другой стороны, нельзя было так просто уйти с этого двора, где сколачивались ударные роты для особого задания. Пока он раздумывал, его с Огарковым назначили в одну из рот, они двинулись вслед за остальными к грузовику, получили патроны и гранаты и вышли за ограду, где их ожидала целая шеренга грузовиков.

Вскоре к ним вышел седой батальонный комиссар с квадратным лицом. Он постоял минуту молча, потом хмуро сказал:

— Почему вы такие хмурые? Веселее надо! Кто вы — солдаты или кто вы такие? Нечего хмуриться, вот что!

Батальонный комиссар явно не отличался красноречием, но солдаты почувствовали за его словами еще многое другое и заулыбались со смущением, свойственным взрослым людям, когда их жалеют.

Колонна грузовиков покатила по черной степной дороге на юго-запад. Ехали часа три, затем остановились возле какой-то деревеньки, лежавшей в овраге с пологими, сплошь под огородом, скатами. Здесь грузовики повернули назад, а люди двинулись дальше пешком и вскоре очутились на возвышенности, где среди колосьев пшеницы чернела свежевырытая траншея.

Получив приказ углубить мелкую траншею до полного профиля, солдаты стали рыть землю — кто большими, кто малыми саперными лопатами. Дно траншеи стелили для маскировки колосьями, колосьями же покрывали черные земляные брустверы. Работали почти молча, лишь время от времени перекидываясь ничего не значащими словами насчет жары и хорошего, но бесполезного теперь урожая.

Курносый лейтенант, оказавшийся командиром роты, вылез на бруствер и озабоченно оглянулся. Вздернутый нос и рыжий вихор придавали ему мальчишеский, несерьезный вид. Стоя с биноклем среди высоких колосьев, он выглядел как мальчик,

играющий в войну. Он повернулся к солдатам, сидящим в траншее, и спросил:

— Кто умеет косить?

Косарей нашлось много. Махнув рукой в сторону дремучей пшеницы, лейтенант сказал:

— Все это скосить надо. Из-за нее ничего не видать. Сходишь в деревню за косами, — приказал он старшине.

Старшина взял с собой двух солдат, пошел напрямик через поля вниз, в овраг, и вскоре вернулся с косами. Косари сняли и сложили в кучу гимнастерки.

— Начинай, — скомандовал лейтенант.

Дюжина кос одновременно сверкнула в лучах солнца. Руки косарей плавно вздымались и опускались, подчиняясь бессознательному древнему ритму труда. Лица косарей были сосредоточены и строги. Солдаты глядели из траншеи на падающие пласты колосьев с глубоким интересом. Все вдруг забыли про войну и про то, что колосья эти будут растоптаны и сгниют под осенними дождями. Косари шли полосой свободно и важно, — может быть, им казалось, что сзади идут бабы со свяслами.

Они уходили все дальше, оставляя за собой ровные ряды скошенного хлеба.

— Товарищ лейтенант, — взмолился кто-то из траншеи, — так они всё скосят, нам ничего не оставят. Дозвольте сменить...

Глаза сменщиков, уже снявших гимнастерки, блестели.

— Ой, хлебá! Ой, хлебá! — восхищенно крикнул кто-то из них, потирая руки.

Они пустились бегом к косарям, почти насильно отобрали у них косы и пошли косить дальше. А первые косари, полуголые, потные, улыбающиеся, медленно двинулись назад, к траншее.

Чем ближе подходили они, тем явственнее сползала с их лиц улыбка, словно пропадало какое-то очарование: то испарялось светлое воспоминание о мирных днях и вступала в свои права война, ощеренная пулеметными и ружейными стволами на черном бруствере. Они шли по обреченному хлебу, остановились возле траншеи, молча надели гимнастерки и спрыгнули вниз, превратившись снова из землепашцев в солдат.

Но так или иначе, а впереди расстилалась открытая, хорошо простреливаемая местность.

Немцы подошли на рассвете. Крича: «Рус, сдавайсь!» — они пошли вперед, но сразу же залегли под градом пуль. Лежа, один из них снова крикнул пронзительным голосом:

— Рус, сдавайсь!..

— А хрена не хошь? — зычно осведомился у немца чей-то озорной голос.

В траншее раздался негромкий и не очень веселый смех, заглушенный выстрелами.

Немцы отползли в пшеницу и стали там окапываться, не прекращая стрельбы из винтовок и подоспевших вскоре минометов. Появилась через некоторое время и вражеская авиация, по преимуществу разведчики, которые снижались над советскими позициями и осыпали траншеи пулеметными очередями.

Потом появились бомбардировщики. Когда раздалось гудение их, в траншее стало очень тихо. Опасливо поглядывая вверх, люди устраивались поудобнее, стараясь занимать как можно меньше места. Земля загудела и запрыгала. Послышались стоны раненых, змеиный шип осколков. Снова и снова самолеты заходили на цель, а когда они улетели, минометный и ружейный обстрел показался детским лепетом и почти полным покоем.

После бомбежки немцы вновь полезли вперед, и вновь их остановила своим огнем ожившая траншея. Тогда опять появились бомбардировщики и одновременно с ними заработала немецкая артиллерия — сначала одна пушка, потом штук пять. По мере подхода орудий плотность артиллерийского огня становилась все выше. Обозленные непредвиденным сопротивлением на безымянной высотке, немцы, казалось, решили начисто смести с лица земли не только узкую траншею с людьми, но и вообще все поля, луга и деревни этого края.

Джурабаев заменил у «максима» убитого пулеметчика, который лежал тут же рядом, под плащ-палаткой. Огарков стоял возле него с автоматом, и ему в этой жаре и трупном запахе казалось, что он — совсем не он. И мучается он здесь вместе со всеми потому, что некий офицер связи Огарков, посланный передать им приказ об отходе, трусил, и они тут все погибли из-за него. И он с тоской и ненавистью думал об этом офицере, — об Огаркове, — о себе самом.

В третий раз немцы пошли в атаку, и в третий раз заработали оглушенные, но все еще живые русские огневые точки. Цепкие большие руки Джурабаева мелко дрожали на ручках пулемета, и лента мелькала, жадно поедаемая приемником. И снова немцы попятились и исчезли в пшенице, оставив на скошенном поле своих убитых.

Связь была порвана снарядами и бомбами так основательно, что восстановить ее можно было только ночью, когда прекратится прицельный огонь немцев. Курносый лейтенант после тщетных попыток связаться по телефону со штабом батальона решил послать в деревню посыльного. Он остановил свой выбор на Огаркове, потому что молодой солдат все выполнял точно и быстро и показался ему толковым и славным парнем. Он приказал Огаркову ползти в деревню, передать сведения о потерях, просьбу о пополнении и об эвакуации раненых.

Огарков вылез из траншеи и пополз. Немцы били из минометов по полям, простирающимся между позициями и деревней. Поля были изрыты воронками.

Деревня горела в нескольких местах и была почти вся разрушена.

В штабе батальона на стене висели ходики. К удивлению Огаркова, они показывали всего одиннадцать часов утра, — значит, бой длился часа четыре, не больше, а казалось, что он длится век.

— Передай, чтоб держался, — сказал комбат. — До вечера чтоб держался. А вечером пришем еще людей и восстановим связь.

Огарков переждал очередной налет бомбардировщиков и медленно двинулся назад, к полю боя. Издали все представлялось еще страшнее, чем на месте. Казалось, поле встало дыбом, и трудно было поверить, что кто-нибудь там еще жив.

Огарков остановился на бахче, разбил и съел один арбуз, а два других взял с собой — люди в траншее страдали от жажды, особенно мучились жаждой раненые.

Возле траншеи его догнал комиссар батальона со связным.

— Ты чего арбузы тащишь? Тоже нашел время! — злобно сказал комиссар Огаркову.

— Для раненых, — объяснил Огарков.

— Это правильно, — сказал комиссар и пошел дальше.

Спустившись в траншею, Огарков сунул Джурабаеву в руку кусок арбуза, а остальное роздал раненым. Потом он пошел докладывать курносому лейтенанту о распоряжениях комбата и снова вернулся к Джурабаеву. Стало тише. Пули над головой посвистывали реже. Курносый лейтенант неторопливо прошелся по траншее. Он остановился возле Огаркова и сказал:

— За образцовое выполнение боевой задачи объявляю вам благодарность. Как твоя фамилия?

Огарков смешался, губы его внезапно задрожали, и он не мог вымолвить ни слова.

— Огарков, — услышал он возле себя голос Джурабаева.

Командир роты сказал:

— И насчет арбузов ты хорошо придумал, Огарков. Как стемнеет, пошлем людей за арбузами. Покажешь им место.

Лейтенант ушел, а Огарков вдруг оживился, стал очень разговорчив и даже весел, начал расспрашивать солдат о семьях, детях, матерях. Рассказал он и о своих родных, проживающих в городе Горьком.

— Отец у меня инженер, — сказал он, — и к тому же еще рыболов-любитель. Каждое воскресенье мы выезжали на лодке рыбу ловить. Обычно мы ловили удочками, но случалось и бреднем ловить. Бреднем все-таки не так интересно...

— Почему не интересно? — спросил пожилой солдат. — Только бреднем и ловить... Потому бреднем много наловишь, а удочкой что?.. Морока одна...

— Не говорите, — возразил Огарков. — Бреднем — это ловля наверняка, почти убийство, а удочка — спорт. — Помолчав, он добавил: — Иногда и мать ходила с нами удить.

Вскоре немцам под прикрытием орудий и минометов удалось приблизиться метров на двести к траншее и окопаться на скошенном поле. Курносый лейтенант, очень обеспокоенный этим, решил контратаковать и выбить немцев из новых позиций.

С трудом отрывая тела от спасительной прохлады окопа, люди полезли на бруствер. Раздался громкий крик «ура». Огарков тоже кричал без умолку «ура», сам не замечая того. Зычный и озорной голос, неизвестно кому принадлежавший, с бесконечным восторгом повторял:

— Фриц, сдавайся!

Немцы побежали на старые позиции в пшеницу. В свежоторытых окопах валялись гранаты с деревянными ручками, ломти белого хлеба, оранжевые коробки с маслом и фляжки с дешевым, но крепким ромом. Захватили и оставленный немцами ручной пулемет и, торжествуя, вернулись в свою траншею — узкое, длинное логово, показавшееся теперь обжитым и дорогим, как родной дом.

Во время контратаки был ранен в обе ноги курносый лейтенант. Он потерял пилотку и лежал теперь в траншее с обнаженной рыжей вихрастой головой и сморщенным от боли лицом, еще больше похожий на мальчишку.

Немцы уже не пытались наступать. Их авиация тоже не показывалась, только одиночные разведчики иногда гудели в голубой вышине, поблескивая на солнце металлическими плоскостями.

Вечером прибыл приказ отходить.

Когда стемнело, люди тихо оставили траншею, миновали разрушенную и со всех сторон горевшую деревню и пошли на восток.

Старшина роты, замыкавший шествие, сложил у крайней избы дюжину взятых взаймы кос. Курносый лейтенант ехал впереди роты на повозке, распоряжаясь и давая многословные инструкции другому лейтенанту, который должен был заменить его.

Лишь здесь, на дороге, стало заметно, как сильно поредела рота. Однако Огарков все еще находился в радостном и возбужденном настроении.

— А все же мы их здорово били, — говорил он. — Крепко повоевали ведь, правда? Бесстрашные мы люди, — верно ведь?

Солдаты, смертельно усталые и дремлющие на ходу, беззлобно отмахивались от него:

— Да ладно, будет тебе...

В полночь Джурабаев, несколько приотстав вместе с Огарковым от остальных, сказал:

— Штаб армия нада.

Огарков остановился как вкопанный, потом опустил голову и пошел дальше сразу отяжелевшим шагом. Они еще некоторое время шли за ротой, прошли мимо каких-то частей, занимавших оборону вдоль дороги, затем свернули на полевую тропинку и остались одни.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Что заставило Джурабаева решиться на этот шаг? Страх перед собственной жалостью. Его служба и долг — и это он знал твердо — заключались в том, чтобы привести осужденного туда, куда нужно, и передать его в распоряжение Военного трибунала. После боя он стал колебаться в своем решении, сомневаться в своем долге. Он полюбил Огаркова. И, почувствовав это, решил принять меры немедленные и жестокие.

Рослого белокурого юношу и коренастого узкоглазого солдата видели в степи многие. Их видели сидящими у дороги, поедающими арбузы и помидоры, спящими рядом на одной шинели под каким-нибудь одиноким деревом или среди колошьев и васильков в открытом поле. В огромном потоке отходящих частей они продолжали свой особый путь на восток, расспрашивая связистов и регулировщиков о местонахождении энской армии.

Их задержали в небольшом степном городе О., на железной дороге между Тацинской и Сталинградом.

Огарков, очутившись в городе после многодневных скитаний по степи, почувствовал себя почти счастливым. Он сам не подозревал раньше, что означает для него город. Растроганно улыбаясь, смотрел он на тротуары, на газетные киоски, на каменные дома и вывески. Станционный колокол, черные формы железнодорожных служащих, женщины в городских платьях, некоторые даже с зонтиками, — все это вдруг вернуло его в милый мир привычных представлений о жизни.

Не хотелось уходить из города, но Джурабаев торопился и сурово торопил товарища, умиленно глазевшего на вывески и витрины магазинов.

На окраине их задержал патруль. Напрасно Джурабаев пытался объяснить патрульному сержанту, что они направляются в свою часть. Их повели в комендатуру и назначили в саперный батальон, который направлялся на юго-западную окраину города для рытья окопов и минирования дорог.

Тогда Джурабаев решил покончить с этим делом раз и навсегда и сдать Огаркова коменданту. Взволнованный до глубины души,

он стал медленно подбирать слова для объяснения дела, но комендант был грозен, нетерпелив, окружен целой толпой кричавших людей и не обратил внимания на робкие попытки узкоглазого солдата дать какие-то никому не нужные объяснения.

Их повели в батальон.

Со смешанным чувством досады и глубоко спрятанного удовлетворения воспринял эту новую перемену Джурабаев.

Он напал на след: некий капитан сказал им, что штаб энской армии находится довольно близко, километрах в тридцати к северо-востоку. Казалось, странствиям наступает конец. И вдруг — этот саперный батальон.

Однако рядом с Джурабаевым бодро шагал Огарков, несомненно обрадованный отсрочкой своей участи. И Джурабаев втайне радовался вместе с ним, хотя и упрекал себя за это.

Батальон вышел к месту работы, и Огарков оживленно расспрашивал бывалых саперов о технике их профессии, интересовался названиями и свойствами разных мин нажимного и натяжного действия, любовался изящно упакованными пачками смертоносного тола и невинными на вид мощными взрывателями. Казалось, он всю жизнь только и мечтал о том, чтобы стать сапером.

Очутившись на окраине города, минеры стали закладывать противотанковые и противопехотные мины, укреплять надолбы, рыть контрэскарпы и ловушки для танков.

Пожилой, давно не бритый комбат, сам, сидя на корточках, пыхтел над минами, ласково беседуя с ними, как с живыми существами:

— Вот так ты и лежи, голубка... Тут тебе и место, радость моя... Теперь мы тебя засыплем песочком и заровняем, заровняем... Чтoб никому невдомек. А потом — бух!..

Он подымался, окидывал своих саперов вдруг погрузневшим взглядом и говорил ожесточенно:

— Ну что у вас там еще за гостинцы?! Ну, вынимайте, давайте...

Огарков старался выполнять все приказания быстро и точно, и саперы — в том числе и сам комбат, — польщенные вниманием и старательностью своего ученика, относились к нему с дружественной, чуть снисходительной симпатией, как к новообращенному из химической в саперную веру.

Среди саперов оказался один земляк Джурабаева, казах. Он подсел во время перерыва к Джурабаеву, и они долго говорили по-казахски. Огарков удивился даже — он никогда не подозревал, что его спутник может быть таким разговорчивым. Ни слова не поняв, Огарков уловил, однако, что говорили они и о нем.

Действительно, сапер-казах сказал казаху-стрелку, что этот высокий славный юноша всем здесь пришелся по душе своим открытым нравом и честной работой. На это казах-стрелок

ответил после непродолжительного молчания, что саперы нисколько не ошиблись и что молодой человек — хороший человек и его, Джурабаева, друг; а пробираются они вдвоем к месту своей службы, в штаб армии, куда им необходимо прибыть как можно скорее. Потом оба казаха поговорили о своей родине, Казахстане, и их замкнутые лица просветлели.

Огарков сказал Джурабаеву:

— Хорошие ребята минеры, правда? Здесь бы и остаться с ними. — И, умоляюще посмотрев на своего товарища, быстро заговорил: — Останемся с ними, а? Мы ведь большую пользу принесем! Это же такое важное дело — подрывать вражеские танки, — как вы думаете? И комбат тут такой душевный человек...

Джурабаев ничего не ответил, только покачал головой.

После окончания работ саперов отвели в станицу за восемь километров, в резерв. Там их разместили по избам и разрешили отдыхать. Огарков сразу же уснул, но Джурабаев не мог заснуть. Он глядел на спящего, шевеля губами. Потом он тихонько вышел из избы и направился в соседнюю избу, где разместился штаб батальона. Минут пять стоял он у крыльца, не решаясь войти. Затем все-таки вошел.

Никто не слышал, о чем Джурабаев говорил с комбатом, дежурный сапер уловил только заключительные слова комбата, произнесенные задумчивым и невеселым голосом:

— Ну что ж, голубчик, поделаешь... Идите, раз такое дело...

Вернувшись к Огаркову, Джурабаев разбудил его, и они вдвоем покинули деревню.

Огарков шел молчаливый и угрюмый. Молчалив и грустен был и Джурабаев. Может быть, надо было остаться у саперов? Неплохо было бы и остаться. Там и земляк, с которым можно поговорить...

Следующей ночью они увидели перед собой Дон. Он блестел при свете луны, струясь среди обрывистых берегов. Над рекой царил неумолчный шум. По переправе непрерывной лентой шли к востоку машины, пушки и люди. Берег ощерился дулами зенитных орудий.

В траве, в пшенице, в овсе, возле мельниц и вокруг мощных элеваторных башен, всюду, куда доставал глаз, лежали люди, паслись кони, стояли машины и повозки. Все ждали своей очереди, с беспокойством глядя в ночное небо. Недалеко в поле догорал недавно сбитый немецкий самолет.

Джурабаев решил переночевать в ближней станице, ниже по течению. Белые хаты станицы были отчетливо видны в лунном свете.

Пошли туда. Все дома и дворы были полны солдат, спавших где попало. Наконец их пустили в один дом. Здесь было светло от щедро горевшей под потолком лампы-«молнии». На полу и на лавках спали солдаты, однако еще оставалось место и для двух новых пришельцев.

Хозяйка, молодая женщина, закутанная в большой черный платок, так что только глаза поблескивали, угостила вновь прибывших молоком и присела на лавку. Джурабаев сразу уснул, Огарков же остался сидеть, бездумно глядя на маленькие загорелые ножки хозяйки — она была босиком.

Ей, видимо, хотелось поговорить, но она не решалась.

Из соседней комнаты, откуда-то сверху, послышался слабый старушечий голос:

— Мария!

Женщина вышла, вскоре вернулась и снова села на лавку, сказав:

— Вы, наверное, спать хотите?

— Нет, — ответил Огарков, — я спать не хочу.

— И долго еще так будет? — без предисловия начала она, словно ее прорвало. — Страшно мне. Одна я с мамой, а она у меня парализованная. Третий год на печке лежит. У нас все почти ушли за Дон, скотину угнали, а я куда денусь?.. Я бы ушла, а с мамой как? Она не хочет уходить. Говорит, чтоб сама я ушла, а она останется. А как я уйду? — Помолчав, она спросила: — Вы, может, спать ляжете?

— Нет, спасибо, — сказал он. — Я спать не хочу.

Избу оглашал тихий храп.

— Муж у меня убит еще в прошлом году, при самом начале, — продолжала женщина. — Он на границе служил, в Бессарабии. Тоже был такой, как вы, светлый, городской тоже, из Майкопа. Мы жили в совхозе... Страшно мне, — неожиданно закончила она, и он посмотрел на нее.

Платок ее упал на плечи, и он увидел круглое, молодое, красивое лицо, две черные толстые косы и строгий прямой пробор посередине головы. Черные глаза под тонкими бровями глядели на Огаркова, не видя его, с выражением недоумения и страха. Руки ее беспомощно лежали на лавке ладонями кверху.

Ее глаза потускнели, и она спросила в третий раз:

— Спать будете?

— Нет, — ответил Огарков. — Я не буду спать.

Тогда она взглянула на него очень внимательно и почувствовала, что у гостя на душе тоже тяжело. Он стал ее утешать, но смысл его слов странно не вязался с тоскливым выражением глаз.

— Это ненадолго, — сказал он. — Скоро мы... — Он хотел сказать: «Скоро мы вернемся», но поправился: — Скоро наша армия вернется.

— Мария, — позвал старушечий голос из соседней комнаты.

Мария вышла, и ее легкие шаги послышались где-то в сенях, потом хлопнула дверь раз и другой, и женщина вновь вернулась к Огаркову.

— На западе все горит, — сказала она.

Кто-то тревожно забарабанил в дверь, и солдат с винтовкой и вещмешком, войдя, торопливо растолкал спящих:

— Кто из второй роты — выходи!

Солдаты вскакивали, заправлялись и уходили. Проснулся и Джурабаев.

— Пойдем? — спросил он.

Огарков покорно поднялся. Поднялась со своего места и женщина. Джурабаев вышел на улицу. Огарков протянул женщине руку. Она сказала:

— Вернетесь когда — заходите в наши края, коли вспомните.

— Хорошо, — ответил он. — Если вернусь.

— Вернетесь, — сказала она убежденно.

Он вышел. Луна скрылась, было совсем темно. Женщина, появившись в дверях, сунула Огаркову в руку ситцевый мешочек.

— Не надо, — сказал он смущенно.

Они постояли рядом, внезапно почувствовав боль при мысли о скором конце их случайного знакомства.

Он пошел вслед за Джурабаевым, который ждал его у дороги.

Когда они прошли уже половину пути к переправе, в небе раздался гул. Заговорили зенитные орудия на берегу и одна батарея, стоявшая в овраге неподалеку. Над рекой повисли большие ослепительные фонари, и вокруг стало совсем светло. У переправы начали рваться бомбы.

Огарков с Джурабаевым прижались к земле. По соседству разорвалась бомба, и над головой жутко пронесся самолет, крепя дорогу пулями.

Огарков лежал, уткнувшись лицом в мягкую и горькую траву. Когда стало тихо, он приподнялся. Небесные фонари медленно угасали. Возле переправы слышны были крики и стоны. Взбесившаяся лошадь промчалась мимо.

Вскоре Огарков заметил, что Джурабаев лежит неестественно тихо и неподвижно. Огарков подождал минуту, потом наклонился к своему спутнику и заглянул ему в глаза. Глаза Джурабаева смотрели на Огаркова с немым вопросом. Огарков медленно встал, снова нагнулся и снова встретил вопрошающий взгляд Джурабаева.

— Держись за меня, — сказал Огарков.

Только теперь Джурабаев застонал. Его гимнастерка была вся в крови.

Огарков потащил раненого назад, к станице. Когда они доползли до околицы, на переправу опять налетели немецкие самолеты, захватив краем и северную оконечность станицы. Что-то загорелось там, самолеты ушли, Огарков снова поволок Джурабаева и наконец постучался в дверь к Марии.

Мария открыла и, не задавая никаких вопросов, помогла Огаркову втащить и уложить Джурабаева на лавку. Она малень-

кими шершавыми ручками быстро сняла с Джурабаева гимнастерку и нижнюю рубаху. Джурабаев был ранен в спину, пуля прошла навывлет в грудь.

Приложив к ранам Джурабаева мокрое полотенце, Мария сказала:

— Доктора нету, он эвакуировался с колхозом.

Огарков вышел из избы и побежал к оврагу, где заметил раньше зенитчиков. Путаясь в росшей по склону оврага высокой траве, он пробрался наконец к артиллеристам.

— У вас врача нет? — громко спросил он.

Зенитчики были очень заняты — в воздухе опять зажглись зловещие фонари и послышался гул самолетов. Однако капитан-артиллерист, выслушав Огаркова, отпустил с ним девушку-фельдшера с санитарной сумкой.

— Только не задерживайте ее, лейтенант, — сказал он Огаркову, почему-то в темноте приняв его за лейтенанта.

Началась бомбежка. Огарков, держа девушку за руку, бежал обратно в деревню.

— Ну и бешеный же вы! — жаловалась девушка, еле поспевая за Огарковым. — Разве можно бежать под бомбежкой? Отпустите же меня, у меня рука заболела.

Наконец они, запыхавшись, вбежали в избу.

Джурабаев громко стонал.

Девушка-фельдшер осмотрела его, засыпала раны белым порошком и щедро забинтовала их, хотя и ворчала при этом:

— У меня бинтов мало...

Потом она вышла в сопровождении Огаркова на улицу и сказала уныло:

— И часу не проживет... Провожать меня не надо. Уже светло, сама дойду.

Да, уже было светло. Огарков вошел обратно в избу. Мария погасила лампу и открывала ставни. Подойдя к Джурабаеву, Огарков встретил взгляд солдата — уже не вопросительный, а спокойный и очень усталый.

Джурабаев то и дело терял сознание и дышал все труднее.

За несколько минут до смерти он вдруг приподнял руку, показал Огаркову куда-то вниз, на свои ноги, и сказал:

— Нэмэц не оставим.

Он приказывал снять с себя сапоги, не оставлять их немцам. Огарков машинально посмотрел на эти сапоги — то была почти новая кожаная армейская обувь с подкованными каблуками.

С трудом оторвал он взгляд от этих сапог, а когда снова посмотрел в глаза Джурабаеву, тот был уже мертв. Великий разводящий — Смерть — снял с поста часового.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Мария принялась убирать мертвого. Она делала это тихо, бесшумно, без суеты, не стыдясь наготы мертвого тела. По-крестьянски основательно обмыла она его, сложила ему руки крест-накрест и даже нашла свечу, но потом решила, что христианский обряд тут неуместен, поскольку покойник — нерусский человек.

О гробе нечего было и думать, и она просто обернула тело в простыню.

Они похоронили Джурабаева в углу большого двора, среди кустов малины. Потом Мария ушла в дом, а Огарков остался сидеть во дворе.

Он вдруг почувствовал себя человеком, лишенным жизненной опоры и какой-либо видимой цели. Ему казалось, что только что оборвалась последняя связь его с окружающим миром и весь мир отодвинулся в туманную глубину, оставив его, Огаркова, в полном одиночестве среди малинника и больших одуванчиков.

Но нет, он был не один. В соседнем дворе раздавался непонятный шум, звенела посуда, и мужской голос пел:

Начинаются дни золотые
Воровской непробудной любви.
Эх вы, кони мои вороные,
Черны вороны — кони мои!

Вначале Огарков не обращал внимания на пьяное пение, прерываемое возгласами деланного веселья, но оно все назойливее лезло в уши. Голос пел навзрыд:

Мы уйдем от проклятой погони,
Перестань, моя крошка, рыдать...

Странно было в это утро в пустынной, почти покинутой станции слышать пение.

На пороге избы появилась Мария. Она минуту постояла, издали глядя на Огаркова, потом пошла к нему, быстро и мелко шагая по траве гибкими босыми ногами. Остановившись возле Огаркова, она прислушалась к пению и сказала:

— Это сосед наш вернулся. Отвоевался, говорит. Не пойдет за Дон. — Она протянула Огаркову белую вышитую рубашку: — Переоденьтесь. А я вашу гимнастерку постираю, она вся в крови.

Он начал переодеваться, сам не зная зачем, — вероятно, по усвоенной за последнее время привычке кому-нибудь подчиняться. При этом его рука нащупала в кармане гимнастерки бумажку. Он быстрым движением переложил ее в брючный карман.

Пение в соседнем дворе оборвалось, и тот же голос громко позвал:

— Соседка! Прошу ко мне, погуляешь с нами! И гостя своего зови. Угощу!.. Гулять так гулять...

Мария нахмурилась, ничего не ответила и ушла, унеся с собой гимнастерку Огаркова. Когда она исчезла в дверях своей избы, Огарков бережно вынул из кармана ту самую бумажку.

Он держал в руках единственный документ, удостоверяющий или, вернее, отрицающий прошлую жизнь Огаркова — приговор Военного трибунала. Он прочитал его внимательно и подробно, почти по складам, с чувством жгучего любопытства, как совсем посторонний человек. Потом его затуманившийся взгляд скользнул по свежему холмику, и он вспомнил, что вот здесь лежит не кто иной, как Джурабаев, лежит и никогда больше не встанет. И, значит, он, Огарков, свободен.

Горькая, но буйная радость охватила Огаркова. Он скомкал клочок бумаги и отшвырнул его от себя. Слабый ветер нехотя подхватил бумажку, неторопливо протащил ее по земле, чуть приподнял на воздух и равнодушно оставил валяться среди одуванчиков.

И тут над самым ухом Огаркова внезапно раздался хриплый голос:

— Мое почтение новому соседу! Давай знакомиться.

Огарков быстро оглянулся. На него сквозь плетень смотрел с настороженной ухмылкой большой краснолицый человек. Он простирал через прорехи в плетне большие руки к Огаркову, словно жаждал обнять и облобызать его, быть с ним вместе. И на нем была надета точно такая же вышитая рубашка, какая была теперь на Огаркове.

Огарков с минуту внимательно смотрел в глаза тому человеку, а тот человек тоже смотрел и молчал. Потом Огарков поднялся, медленно подобрал с травы смятую бумажку и, не оглядываясь, пошел в избу.

В избе было прохладно и тихо. Тикали ходики. За окном на веревке сушилась уже выстиранная гимнастерка. В соседней комнате слышались негромкие голоса женщин.

В углу стояло большое зеркало, и Огарков подошел к нему.

Перед ним оказался высокий статный человек в белой вышитой рубашке и, как ни странно, с короткой, но густой белокурой бородой.

Огарков с бородой? Нет, это не мог быть Огарков. Да и лицо — загорелое, обветренное, шоколадного цвета — почти не похоже было на огарковское лицо.

Он отвернулся от зеркала, чтобы не видеть своего нового обличья.

Мария внесла кипящий самовар и накрыла на стол. Они сто-

яли несколько мгновений почти вплотную друг к другу, потом она, слегка покраснев, отпрянула и сказала:

— Кушайте.

Но Огарков не садился. Где-то далеко грянул одинокий пушечный выстрел. Огарков посмотрел на Марию и встретился с ее взглядом, напряженным и ожидающим. Он сказал:

— Мне надо идти.

— Вам гимнастерку дать? — покорно спросила она.

— Да.

— Вас в части ждут?

— Да.

Они впервые посмотрели прямо в глаза друг другу, и она вздохнула с каким-то непонятным облегчением. Да, она хотела, чтобы он остался, но не так остался, как тот, распевавший песни в соседнем дворе.

Она принесла еще влажную гимнастерку и утюг, полный мерцающих угольков. Она выгладила гимнастерку и пришила оторвавшуюся на шинели пуговицу. Он любовался ее быстрыми и гибкими движениями, полный благодарности за то, что она так заботливо собирает его в дорогу, «в дальнюю, дальнюю дорогу», — думал он устало и почти совсем уже без горечи.

Он переоделся, взял оба автомата — джурабаевский и свой, трофейный, и положил в карман красноармейскую книжку и партийный билет Джурабаева, лежавшие на подоконнике.

Выйдя из станицы и поднявшись на гребень, они увидели Дон. В овраге зенитной батареи уже не было, среди зеленой травы чернели окопы, в которых раньше стояли пушки.

Внезапно раздался оглушительный взрыв. Огарков с Марией переглянулись.

— Переправу взорвали, — сказала она.

Он растерянно остановился. Она с напряжением ждала, что он скажет. Обломки моста с шумом падали в воду.

«Опоздал», — подумал он, глядя на реку ничего не видящими глазами.

— Я вплавь доберусь, — пробормотал он.

Она сказала:

— У меня здесь лодка спрятанная.

Они пошли вдоль реки обратно к станице. Спустившись по крутому берегу, Мария исчезла среди густых зарослей у самой воды. Вскоре она позвала его. Он спустился к ней и увидел в камыше маленькую душегубку с одним коротким веслом.

— Вот, — сказала Мария.

— А как с лодкой быть? — спросил он.

Она, глядя вдаль, махнула рукой.

— Пусть там остается.

В голубом высоком небе прогудел немецкий разведчик. Мария припала к плечу Огаркова и зашептала:

— Когда вернетесь, заходите к нам, если не забудете про меня.

— Не забуду, — сказал он дрогнувшим голосом.

— Управитесь один? — спросила она минуту погодя.

— Я на Волге вырос, — ответил Огарков и переступил борт душегубки.

Мария быстро и еле сдерживая слезы оттолкнула лодку от берега и сказала:

— Вот мы под немцем остаемся. Возвращайтесь поскорее.

Он машинально ответил:

— Хорошо, вернемся.

Лодка понеслась вперед, и вскоре Огарков очутился на середине реки. Одинокая фигура женщины на берегу исчезла из виду.

Оглядевшись кругом, Огарков ощутил в душе чувство необычайной свободы и даже счастья. Он сидел на корме и подгонял лодку сильными ударами весла то вправо, то влево. Нос лодки приподнялся, и поверх носа виднелся крутой склон восточного берега, крылья ветряка и труба сахарного завода, а над всем — небо с белыми облаками.

Все это было видано и перевидано много раз с детства, но никогда не было при этом того безграничного чувства свободы, которое он испытывал теперь.

И ему захотелось, чтобы его хоть на одно мгновение увидели мама и Джурабаев. И если жива маленькая химинструкторша Валя, так чтобы и она увидела его. И командир саперного батальона, и курносый лейтенант, и лейтенант в немецкой плащ-накидке, и батальонный комиссар с квадратным лицом, и старик, похожий на Льва Толстого, и Синяев, и жена командующего. Чтобы все они видели, что он не жалкий беглец, убегающий от смерти, а человек, сознающий свою вину и готовый держать за нее ответ.

Лучше всего было бы, если бы пуля с самолета — вражеская пуля! — попала не в Джурабаева, а в него. Он лежал бы под холмиком во дворе у Марии, прислушиваясь к шелесту листьев и трав и сам превращаясь в травы и листья и в красные ягоды малины. И он бы вскоре дождался знакомого топота солдатских ног, услышал бы голоса своих товарищей, с боями и песнями идущих обратно на запад. А в этой лодочке плыл бы теперь человек, достойнее его, — Джурабаев.

Но раз уже случилось так, а не иначе и он, Огарков, получил свободу и выбор — он поступит как сын своей страны, готовый умереть от ее руки, потому что не в силах жить, виновный и отринутый ею.

Лодка ударилась о берег. Огарков высадился, вытащил лодку и пошел.

Он прошел мимо саперов, роющих окопы, мимо пехотинцев, спавших на солнцепеке, мимо полевых кухонь, мимо артиллерийских батарей. Он прошел станицу и другую, здороваясь с солдатами и офицерами, он пил воду из колодцев и ел помидоры с бахчей. Его лицо было приветливо и печально, и люди, чувствуя в нем что-то значительное, сердечно встречали его.

Ему хотелось поскорее умереть, чтобы не сожалеть о жизни, суровой, но прекрасной.

На большой дороге, по которой не прекращалось движение частей и обозов, он увидел двух верховых и в едущем впереди узнал лейтенанта Синяева. Тогда он в последний раз пережил минутную слабость, — почти панический страх. Он вздрогнул, остановился и сделал движение назад, в придорожные кусты. Потом опомнился, подошел к Синяеву, ехавшему шагом, притронулся к седлу и сказал:

— Здравствуйте, товарищ лейтенант.

Синяев не узнал Огаркова и коротко осведомился:

— Чего?

— Вы меня не узнаете? — спросил Огарков.

Синяев посмотрел на Огаркова и сказал:

— Вы обознались.

Огарков снял руку с седла, некоторое время шел молча рядом с лошадью, потом назвал себя:

— Я — Огарков.

Синяев изменился в лице.

— Как? — спросил он, ошеломленный.

Огарков кратко рассказал, каким образом он очутился здесь, и сдавленным голосом спросил Синяева:

— Вы не в штаб армии едете?

— Туда, — ответил Синяев.

Он соскочил с коня и пошел рядом с Огарковым. Так шли они молча всю дорогу до той обсаженной тополями станицы, где разместился штаб.

Не будет преувеличением сказать, что в последующие дни все полевое управление армии, от солдат-посыльных до генералов, было озабочено и захвачено судьбой Огаркова. Его возвращение, по сути дела вполне добровольное, в распоряжение трибунала, приговорившего его к расстрелу, поразило и растрогало людей, хотя и ожесточенных отступлением, тяжелыми лишениями и смертью друзей.

Все ждали результатов доследования и окончательного решения с нетерпением и не без опасений, так как прекрасно знали, что трибунал, как учреждение, может и не принять во внимание возвращение Огаркова: формально поступок этот мог считаться вполне естественным и само собой разумеющимся. И неко-

торые офицеры из самых молодых (в первую очередь, разумеется, Синяев) уже заранее обвиняли трибунал в черствости и формализме.

Наконец стало известно, что дело поступило на рассмотрение Военного совета, благо приговор ранее не был утвержден. Какими рекомендациями сопровождал трибунал дело в нынешней его фазе, было покрыто тайной.

Всю ночь перед решением лейтенант Синяев не спал. Он прогуливался неподалеку от лужайки, где размещались блиндажи армейского командования. Оттуда доносились негромкие разговоры. Аппараты Бодо и Морзе выстукивали под землей слова донесений и приказов. Синяев все ходил взад и вперед и ждал. Его приятель, адъютант члена Военного совета, обещал ему, как только он что-нибудь узнает, выскочить на улицу. Но адъютант все не появлялся.

Между тем наступил рассвет, запели птицы и забегали посылные.

На востоке, там, где была Волга, встали огромные вертикальные красные полосы, похожие очертаниями на гигантских алых солдат, медленно идущих вдоль горизонта.

День вступал в свои права. Синяева вызвали и послали в дивизию с поручением, там его ранило в бедро, и только на следующий день, в госпитале, он с чувством облегчения узнал, что Огарков помилован и послан командовать взводом на передовую.

Конечно, на членов трибунала и Военного совета, как и на всех других людей, произвело впечатление возвращение Огаркова; к тому же перед этим выяснилось еще одно важное обстоятельство. Дивизия, в которой служил Огарков, не была разгромлена, как это считалось раньше. Потеряв связь с армией и обнаружив, что у него открыты фланги, командир дивизии, естественно, должен был принять и действительно принял самостоятельное решение. Дивизии удалось с боями вырваться из немецкого полукольца, она отошла, вскоре сообщила о себе и позднее была отведена за Волгу. В качестве удивительной драматической подробности передавали, что части дивизии при отступлении прошли через станицу, где днем раньше слушалось дело Огаркова, и, более того, они якобы проследовали буквально мимо той самой землянки, в которой находился приговоренный к смерти Огарков. Как бы там ни было, при пересмотре дела третий, самый грозный свидетель — дивизия — не выступил на суде.

Три года спустя, уже в Германии, Синяев напал на след Огаркова.

Синяев, к тому времени майор, приехал по служебным делам в город Бранденбург и там познакомился с неким майором Ку-

зиным, начальником разведки одной из наших дивизий. Оказалось, что Кузин знает Огаркова, они служили в одном полку в то злополучное лето.

И вот этот самый Кузин встретил Огаркова на днях здесь неподалеку, в небольшом немецком городишке. Огарков уже был капитаном и командовал саперной ротой. Люди, воевавшие вместе с ним, рассказывали о нем как о храбром человеке и отличном товарище. Правда, за ним замечали одну особенность: он иногда задумывался, становился рассеянным до странности. Однако людям, знавшим его историю, это не казалось удивительным.

Может быть, в эти минуты он вспоминал придонские места и перед его глазами вставало туманное видение: по необъятной степи бредут два человека, отбрасывая на высокую пшеницу волнистые тени — длинную и короткую.

1948

ВАСИЛИЙ ГРОССМАН

Тиргартен

Рассказ

1

Обитатели Берлинского зоологического сада волновались, слыша едва различимый гул артиллерии. Это не был привычный свист и гром ночных бомб, бабахающий рев тяжелых зенитных орудий.

Чуткие уши медведей, слонов, гориллы, павиана сразу же стали улавливать то новое, от ночных бомбардировок отличное, что несли в себе эти едва уловимые звуки, когда битва была еще далеко от окружающих железнодорожных путей Большого Берлина и круговых автострад.

Тревога среди зверей происходила оттого, что чувствовался приход нового, измененного. Часто стал слышен скрежет проезжавших мимо стены зоологического сада танков. Этот скрежет не походил на знакомое шуршание легковых машин и звон трамваев, на шум проходившей над домами городской железной дороги. Новые звучащие существа почти всегда передвигались табуном; от них шел жирный запах горелого масла, отличный от привычного запаха бензиновых существ.

Звуки каждый день разнообразились. Гудение города, которое воспринималось жителями клеток как естественный и привычный шум жесткой степной травы, или шум дождя по кожано-плотной листве в экваториальном лесу, или шум льдин, шуршащих у берегов северного моря, — этот городской гул со своими очевидными, связанными с приходом дня или ночи усилениями и ослаблениями переменялся, оторвался от движения солнца и луны. Ночью, в обычную пору городского затишья, воздух теперь был полон земного шума: человеческих голосов, топота, гуда моторов.

Небесный свист и гром, монотонное жужжание, доносившееся с неба, — все это прочно связывалось раньше с ночным вре-

менем, ночной прохладой, звездами, луной. И вот теперь небесные шумы, почти не ослабевая, продолжали существовать при солнце, и на рассвете, и на закате. В мутном воздухе стоял запах, томительно тревожный для всех существ, в чьей крови жил вечный ужас перед степными и лесными пожарами, перед гарной мутью, поднимающейся над августовской тундрой. На землю недоверчиво опускался черный, хрусткий пепел: то жгли министерские архивы, — и животные в вольерах, пугаясь, посапывая и чихая, нюхали его.

Изменение было и в том, что люди, с утра до вечера переходившие от клетки к клетке, вдруг исчезли. Остались железо и бетон — величественная, непознаваемая судьба.

Три человека в течение дня прошли перед клетками — это были старуха, мальчик, солдат. Животные, в которых, как в детях, живет простота и наблюдательность, запомнили и отличили их. Глаза старухи были полны страдания; обращенные к обитателям клеток, они просили сочувствия. Из глаз солдата в упор смотрел страх смерти; звери уже не участвовали в жизненной борьбе, но сохранили существование, и солдат завидовал им. В бледно-голубых глазах мальчика, обращенных к медведям, к горилле, была восхищенная любовь, мечта уйти из городского дома в лес.

Горе, ужас, любовь, с которыми пришли к животным старуха, солдат и ребенок, передавались от глаз к глазам и не прошли незамеченными.

Были замечены еще два посетителя: раненый в госпитальном халате с апельсиновыми отворотами, с головой, обвязанной пухлым комом ваты и бинтов, с большой гипсовой рукой, лежащей в марлевой люльке, и худенькая девушка в крахмальном чепце с красным крестом. Они сидели на скамье и ни разу не оглянулись; жители зоологического сада не видели их глаз и лиц. Они сидели, склонившись друг к другу, изгрызанный войной молодой крестьянин и девушка.

Изменились и сторожа, те существа, что внешнею походили на людей, но обладали большим могуществом. Они долгие годы делились с обитателями клеток мясом, добытым на неизменно удачной еженощной охоте.

В эти дни охота сторожей оскудела; иногда они вовсе не приносили добычи. Может быть, дичь разбежалась, напуганная шумом и пожарами. Может быть, сторожа, испытывая голод, собирались переменить место охоты, сопровождать травоядных на их новые пастбища. Чувствуя голод, тигры, львы пытались охотиться на воробьев, шнырявших по клеткам, на мышей. Но воробьи и мыши их не боялись, давно уже зная, что эти сонные, безобидные существа лишь внешнею напоминают городских кошек.

Была еще одна причина для волнения: в прелести утреннего воздуха, в молодой траве, взрывавшей асфальт, в потемневших, налившихся жизнью ветвях, в древесной листве, чья юность и нежность даже в плотоядных существах порождали желание стать травоядными.

В полные очарования апрельские дни мир и для уставших дышать стариков становится новым и непривычным. Все, что скользит мимо, не оставляя следов, становится выпукло, внятно и осязаемо. В эту пору и утрамбованная земля на площади, и вода в канавах, и темный, вечерний асфальт, и капля дождя на мутном стекле автобуса — все приходит как праздничное, непривычное.

И так случилось, что все это: и далекий подземный грохот, и запахи весны, и запахи пожаров — создало у многих жителей зоопарка чувство радостного и уверенного ожидания перемен, новой судьбы.

Одни из них были пойманы детенышами и ничего не помнили о воле, другие родились в клетке. У некоторых отцы, матери, деды, бабки родились здесь, и, казалось, даже из крови испарилось у них ощущение воли. Но существа, забывшие свободу, не знавшие ее, существа, чьи деды уже не знали ее, от одного лишь смутного предчувствия ее метались по клеткам, охваченные томлением.

2

Смотритель обезьянника Рамм был очень привязан к горилле Фрицци. Посетители, особенно женщины, вскрикивали от страха, глядя на коричневое, голое, бесшерстное лицо, желтые клыки огромной человекообразной обезьяны. Могучие длинные руки, черные базальтовые плечи гориллы казались еще толще, еще массивней от плотной шерсти.

Откованная по особому заказу на крупновском заводе решетка отделяла обездоленную обезьяну от посетителей. Когда горилла брался за железные прутья руками, люди тревожились. Но Рамм знал, что мало на свете существ добрее, чем Фрицци: его пальцы, способные скрутить в петлю толстую железину, с такой деликатной приязнью умели пожимать руку старика, благодарить его не только за лакомства, но и за улыбку приветия! Фрицци мило вытягивал свои синеватые каучуковые губы, требуя, чтобы Рамм позволил поцеловать себя.

И когда губы гориллы касались морщинистой шеи смотрителя, Рамм смущенно улыбался: мало кому придет охота целовать заброшенного судьбой старика. Рамм знал, что люди равнодушно, а иногда брезгливо смотрели на его старое лицо, на

бедную, заплатанную одежду, никто с ним не заговаривал в магазине, где он стоял в очереди за продуктами, никто не спрашивал его, какая сегодня сводка с Восточного фронта, никому не было охоты уступить ему место в автобусе. Поэтому старику делалось немного неловко, когда он видел, с каким восхищением и нежностью смотрит на него горилла.

Три сына смотрителя обезьянника погибли на фронте, четвертого сына Рамма, секретаря союза галантерейных приказчиков, забрала полиция, свирепо охранявшая жизнь немецкого народа. Спустя три года из Дахау прибыл черный пластмассовый ящичек с несколькими горстями бледно-серого пепла и извещение о том, что заключенный Теодор Рамм в возрасте двадцати девяти лет умер от воспаления легких. Серые хлопья, темные чешуйки, несколько запекшихся кусочков шлака — вот и все, что осталось от смешливого, милого кареглазого участника профсоюзного хора, который любил яркие галстуки и светлые пиджаки. Полиция была беспощадна не только к непокорным, пытавшимся бороться с Гитлером. Государственная тайная полиция считала, что нет в мире невиновных.

Черные пластмассовые урны с вожжим пеплом приходили из Дахау, Мальтхаузена во многие квартиры: так наконец возвращались домой те, кого ночью увела полиция, охранявшая бесправие народа и государственную безопасность. Рамм понимал, чувствовал, что под лакированной, немой поверхностью гитлеровского государства нет счастья и довольства. Немало людей хотели свободы. Но как он мог найти их? Ведь люди боялись полиции, боялись доносов, молчали.

Когда-то Рамм сочувствовал социал-демократам, когда-то он слышал Бебеля, и в его старческом, склеротическом мозгу, державшем решать пустые вопросы, все смешалось. Он, собственно, не предполагал обдумывать немецкую жизнь по своей воле, он был вынужден, его заставил фашизм. Каждый, кто избег всеобщей попугаизации, делал это по-своему. Старики сторожа, старики мусорщики, кассиры и счетоводы безграмотно и ненаучно определяли то, что почти столь же дилетантски пытались определить в свое время некоторые частные лица, граждане великих государств: египтяне, евреи, греки и римляне.

Звери, казалось Рамму, самые угнетенные существа в мире. И он был на стороне угнетенных: он ведь когда-то сочувствовал социал-демократии. Заключенным в зоопарке никто не писал, они ни с кем не делились горем. Их личная жизнь, их счастье никого не интересовали. И конечно, за все время существования зоосада никто из них не вернулся на родину, их прах не отсылали в леса и степи. Их бесправие было беспредельно.

Ночами Рамм в своей одинокой комнате в служебном доме зоосада слушал гудение американских и английских самолетов,

грохот орудий и бомб, а в тихие ночи прислушивался к воркотне легковых автомобилей.

Становилось жутко, когда возле служебного дома зоопарка вдруг стихал, глохнул мягкий, мурлыкающий рокот автомобильного мотора. Удивительная мощь была в новой, не знавшей колебаний породе людей, в доступных всем идеях национал-социализма, в построенном Гитлером бездумном государстве.

Когда перед каким-либо берлинским домом останавливался ночной автомобиль, все сердца замирали, не только еврейские сердца, если они по недосмотру продолжали еще биться. Быть может, бывали минуты, когда ночной ужас перед всеведующей, вездесущей и всемогущей государственной тайной полицией возникал в груди самого фюрера.

И вот старик Рамм, потерявший двух сыновей на Восточном фронте, одного сына — в африканском корпусе Роммеля, получивший урну с пеплом четвертого сына, погибшего в концентрационном лагере, похоронивший старуху жену, умершую от горя, своим склеротическим мозгом, никогда не отличавшимся развитостью и особой силой, стал думать в государстве, где думать не полагалось.

Ведь мысль — это свобода! Государство Гитлера стояло совсем на другом основании. Рамм сообразил, что национал-социалистское государство было построено на удивительной основе. Все, что гитлеровская партия провозглашала как народный идеал или как уже достигнутое в борьбе, она начисто отнимала у населения. Гитлер объявил, что борется за немецкую свободу, — и население попало в рабство. Величие национал-социалистской Германии было связано с мучительной зависимостью и беспорядком немцев внутри достигшей суверенности империи. Если развивалось и богатело германское сельское хозяйство — нищали крестьяне. Если росла промышленность — снижались заработки рабочих. Шла борьба за немецкое национальное достоинство — и отвратительным унижениям подвергались люди, в том числе и немцы. Гитлер украшал города, устраивал цветники и парки — и жизнь в этих городах становилась все тусклее и беспросветнее. Если провозглашалась тотальная война за мир — народ готовили к тотальной войне.

Оказалось, что государство, а не люди живое и свободное существо; люди в живом государстве подобны камням, которые можно и нужно взрывать, дробить, тесать, полировать. Ненужные породы людей, подобно ненужным, пустым породам камней и строительному мусору, следует вывозить на свалку, заполнять ими рвы и ямы.

Шел дьявольский отбор: ненужными оказались смелые, свободолюбивые, с ясной мыслью и добрыми сердцами — их-то и везли на свалку; гранит был побежден известняком и песчаником.

Государство Гитлера легко, охотно тучнело, когда худели дети; оно любило лакомиться мозгом и душой. Чем меньше души, свободы, разума оставалось человеку, тем полнокровней, громогласней, веселей становилось государство. Но даже не это враждебное человеку государство особо ужасало Рамма. Самым ужасным было то, что среди людей, лишенных свободы, превращенных государством в камни, многие служили ему, жизнь отдавали за него, преклонялись перед гением фюрера. И в то же время в душе Рамма жила бессознательная вера, что человек, обращенный в рабство, становится рабом по судьбе, а не по природе своей. Он ощущал: стремление к свободе можно подавить, но его нельзя уничтожить. В лагерях и тюрьмах было немало людей, сохранивших верность свободе.

Ночью из зоологического сада доносились органное рычание львов, бронхитные голоса тигров, лай шакалов. Рамм по голосу отличал, что старый лев Феникс растревожен новолунием, что тигрица Лиззи, недавно родившая двух тигрят, пытается раздвинуть решетку, вывести на свободу детей — пусть поиграют при молоденькой, зеленой луне. Эти рычания, хрипы, урчания, кашель, лай были так милы, безобидны по сравнению с теми звуками, которые порождал ночной Берлин!

Однажды к Рамму пришел сын его умершего друга Рудольф. Рудольф служил в охранных отрядах, но его демобилизовали вчистую: у эсэсовца оказался кавернозный туберкулез. Он просидел у Рамма несколько часов, и оттого ли, что много выпил, оттого ли, что чувствовал близкую смерть, а старик, сидевший рядом с ним, соединил в себе все хорошее, что хранила память эсэсовца об отце, матери, детстве, он рассказал Рамму то, чего не рассказывают на исповеди. Трясаясь от кашля, обнажая черные и золотые зубы, харкая в бутылочку оранжевого стекла, ругаясь, утирая пот, всхлипывая, он сиплым шепотом рассказывал о газовых камерах и кремационных печах Освенцима, о том, как травили газом огромные толпы детей и женщин, о том, как сжигали их тела и удобряли их пеплом огороды.

Рамм смотрел на худого парня в мундире без погон, и казалось, что от этого больного эсэсовца, которого он когда-то мальчиком держал на руках и катал на спине, пахнет трупами и горелым мясом. И самое скверное заключалось в том, что Рудольф не был чудовищем, он, в общем, был человеком. А в детстве был он славным, добрым мальчиком. Но, видимо, не только жизнь делает людей ужасными, и люди делают ужасной жизнь.

Ночью старик встал с постели, оделся и под вой сигналов воздушной тревоги пошел в блок хищников. Там просидел он почти до рассвета. Он вглядывался в больные, слезящиеся глаза старика льва Феникса; в расширенные, как у всех кормящих

матерей, глаза тигрицы Лиззи; в красно-карие, кажущиеся безумными глаза старой, начавшей сильно седеть гиены Бернара. Ничего плохого он не увидел в этих глазах. А на рассвете, возвращаясь домой, он зашел в обезьянник. Фрицци спал, лежа на боку, подложив под голову кулак, и не слышал, как подошел к нему Рамм.

Губы гориллы были приоткрыты, обнажились огромные клыки, и морда его могла показаться страшной.

Видимо, знакомый запах дошел до спящего животного, и оно, не просыпаясь, в сновидении, а может быть, еще как-то, воспроизвело в подвалах своего подсознания образ любимого существа. Губы во сне тихонько зачмокали, и лицо приняло то чудное выражение, которое бывает лишь у маленьких детей, когда они просыпаются, но еще не проснулись и все же чувствуют тепло, запах, улыбку склонившейся над ними матери.

Сколько в животных было простоты! Как они любили своих сторожей! А ведь сторожа обкрадывали их. Но Феникс радовался, слыша скрип ботинок сторожихи, хотя ботинки эти были куплены за счет Феникса. Да не только ботинки! Брючки для внуков, фартучки для внучек, мотки шерстяных ниток для вязания — все покупалось за счет обездоленных. Сторожа оправдывали такие дела тем, что жалованья едва хватает на еду, а уже одеться на эти деньги никак нельзя. Что ж тут делать? И Рамм был грешен перед животными. И он хаживал на рыночек у северной стены зоопарка, куда приходили любители животных, покупали у сторожей корм для своих белок, кроликов, птиц, тропических рыбок.

Рамм любил выпить...

Простодушный Фрицци, конечно, не знал о грехах старика, радовался, когда сторож делился с ним сахаром, апельсинами, морковкой, рисовым супом, молоком, белым хлебом. Все это вызывало у Рамма беспокойство совести, и звери ему казались особенно милыми. Конечно, у них не было цейсовской оптики и достижений в области производства синтетического бензина. Но ведь не звери придумали национал-социализм.

В своей потребности самостоятельно, без помощи фюрера понять жизнь — невольной, непреодолимой потребности человека, потерявшего четырех сыновей и похоронившего старуху жену, — он начал создавать какой-то нелепый дарвинизм наизнанку. При Гитлере развитие, казалось ему, шло в обратном порядке: живые существа не подымались, а опускались по лестнице эволюции вниз, в бездну. Процветали рабы, подлецы, посредственности, люди без совести. Гибли свободолюбивые, неподатливые, умные и добрые! Эволюция наизнанку создавала при фашизме новую, низшую, жалкую породу.

Среди сторожей зоологического сада имелось немало чудаковатых людей. Но даже среди чудаковатых людей Рамм прослыл чудаком; некоторые его перевели в высший ранг: считали сумасшедшим.

В субботу утром заместитель директора командировал Рамма на скотобойню, поручил оформить накладные и договориться, чтобы городские скотобойни отпускали для животных обрезки и кости, а не только кондиционное мясо. Зоопарк готов теперь принимать любое мясо, даже падаль. Ведь в связи с приближением фронта снабжение мясом шло очень плохо. Население получало несвежую солонину, где думать о снабжении животных!

К счастью, обезьяны и травоядные были сравнительно хорошо обеспечены: имелись запасы на складе. Но мяса нельзя напасти надолго, даже при наличии холодильника.

Теплым апрельским утром Рамм отправился на бойню в кабине грузовика. Шла утренняя уборка столицы. Разнообразные машины поливали, подметали, скребли улицы, и сверкающая, веселая, гибкая вода бежала по асфальту; шуршали круглые, жесткие щетки, вздувая радугу из водяных брызг. Огромный, охваченный военной тоской, полуразрушенный город казался веселым и беспечным в это весеннее утро.

Рамм подъезжал к конторе скотобойни в то время, когда выгруженный из товарных вагонов скот гнали по асфальтовым дорожкам к широко раскрытым воротам бойни. Обычно это происходило в полумраке, на рассвете. Но в эту ночь, объяснил Рамму водитель грузовика Бунге, из-за бомбежки западных подъездных путей выгрузка скота задержалась.

Медленно движущиеся животные преградили путь грузовику, и Рамм смотрел, прильнув к мутному, пыльному ветровому стеклу, на стада рогатого скота, овец, свиней, идущих по своей последней дороге. Коровы и быки шли, опустив мотающиеся тяжелые, лобастые головы, облизывая пересохшие от волнения губы, с виду равнодушные и покорные, но полные тревоги. Их прекрасные, тронутые туманом глаза смотрели на весело блестящую в лужах воду, которую наплескал короткий дождь, их ноздри улавливали запах цветущей сирени, утреннюю свежесть воздуха, особенно восхитительную после тьмы и духоты вагона.

Каким чужим было все вокруг: и этот асфальт под ногами, и серые бетонные заборы, и блестящие окна многоэтажного мясокомбината, где по конвейеру плавно двигались теплые, еще содрогающиеся тела умерщвленных животных! Едва уловимый запах крови витал вокруг этого построенного по всем санитарно-гигиеническим требованиям здания... Даже легкомысленные годовалые бычки и телки ощущали тревогу.

Люди в синих и белых халатах, осматривая прибывшее стадо, не били животных палками, не кричали, не пинали их подкованными сапогами. Люди в халатах определяли сортность, среднюю упитанность, процент жира движущегося, еще живого мяса. Двигалось мясо, способное мычать, кричать, смотреть, биться в конвульсиях, хрипеть, но животные, входившие в ворота бойни, не были для людей в белых и синих халатах явлением жизни — шло белковое органическое вещество, жиры, эпидерма, рога, кости.

В грубости погонщика, хлестнувшего по глазам задумавшуюся и отставшую от стада, страдающую одышкой старуху корову, заключалось признание за четвероногими скотами права считаться живыми. Злоба погонщиков вызывалась именно тем, что обреченные на убой скоты все еще, до последних часов и минут, были живыми: упрямились, пугались темных предметов, останавливались помочиться или вдруг испытывали желание торопливо коснуться сухим языком мокрого асфальта.

Бычок мотнул головой, сделал несколько шаловливых прыжков, радуясь утру, и вдруг остановился, охваченный предчувствием, словно вкопанный в землю, опустил лобастую взъерошенную головенку с детскими рожками, которые он наставил против надвигающейся на него судьбы; он негромко замычал, жалуюсь, прося успокоения и любви... И старая рыжая корова, с трудом передвигавшая ноги, оглядела его слезящимися глазами, остановилась рядом, положила морду на его теплую крутую шею и лизнула его детскую голову. Эта остановка двух скотов вызвала заминку в движении стада, и погонщик со спокойным бешенством ударил палкой бычка по бархатистому розовому носу, а старуху корову — по сухожилиям грязных задних ног.

По смежной асфальтовой дороге двигались овцы, темно-серые от дорожной пыли, с худыми, измученными мордами. Их движения были дробны, торопливы — движения растерявшихся пожилых женщин, вдруг из полусумрака своих мирных домиков попавших в гремящую гущу житейской битвы. Их жалкие усилия в последние минуты жизни заключались в том, чтобы плотней сбиться в кучу. Их беспомощность в минуту гибели представлялась необъятной: они не могли обидеть зайца, мышь, цыпленка. Их кроткие, полные библейской печали и евангельской чистоты глаза без упрека и даже без страха глядели на людей; их милые копытца отбивали последнюю дробь. Сбиваясь в плотную живую кучу грязной шерсти, они ощущали, что им нет спасения, нет для них милосердия и немыслима надежда. Они находили в горький час утешение в том, чтобы через огрубевшую, пыльную шерсть почувствовать живое тепло родственного овечьего тела, единственно не враждебного овце в величественном и прекрасном мироздании; они погружали головы в

полумрак густой овечьей шерсти, и глаза их переставали видеть на миг весну, солнце, синеву неба, и их сердца получали секундное облегчение в этой тьме, родном запахе и тепле, в горестной артельности обреченных.

А по третьей дороге шли свиньи, одни грязные, другие розовые, отмытые. Их разумные маленькие глаза были наполнены страхом. Их нервы не выдерживали перенапряжения, и крик свиней почти все время стоял в воздухе.

А по дороге, где недавно проходило в ворота скотобойни стадо коров и быков, сейчас медленно двигались, подгоняемые двумя плечистыми женщинами в желтых кожаных пальто, старые, изможденные трудом лошади. Они-то и служили пищей для обитателей зоологического сада. Они двигались медленно, припадая на искалеченные ноги, и при каждом шаге их головы мотались и всплескивались тощие, стариковские гривы и хвосты. В глазах их было много печали: казалось, взглянув в их трудовые стариковские глаза, уж никогда нельзя оставаться спокойным.

Водитель Бунге, молодой парень, отпущенный из армии после трех ранений, подтолкнул Рамма пальцем в бок и сказал:

— А, папаша, поглядываете на свинок, и, наверное, слюнки текут? Какие сосисочки, какие гороховые супчики с грудинкой? Слышите, как они кричат, толкаются? Спешат превратиться в ветчинку. Но ветчинка будет не на нашем столе, поэтому не разевайте на нее рот.

Бунге говорил весело, возбужденно, и чувствовалось, что он немного играет, что чуть-чуть, на маленькую капельку, ему неприятен вид этих животных.

Сторож из обезьянника молчал, и Бунге задумчиво проговорил:

— С детства не люблю баранины. Дай мне хоть отборного молодого барашка — никакого интереса. Я был в кавказской группе армий, там только баранов и ели. Ребята даже смеялись надо мной: отощал.

Он поглядел на молчавшего Рамма, не заснул ли он. Нет, зритель обезьянника не спал, посматривал себе в окошечко да помалкивал. Мало ли что может вспомниться старику!

4

Субботний вечер Рамм обычно проводил в пивной.

О каждом постоянном посетителе пивной у владельца, кельнерш складывается короткая, неглубокая характеристика, что-нибудь вроде: «Тот, кто пьет только мартовское пиво», «Тот, кто каждый день меняет галстук», «Тот, кто не дает на чай», «Тот, кто читает «Das Reich».

Посетители имеют прозвища, не очень уж меткие, обычно связанные с противоположным истинному определением: если посетитель толст, то его зовут «Худышка», если он расчетлив и скуп, его зовут «Кутила». Рамм получил прозвище «Болтун».

Но в этот субботний вечер смотритель обезьянника, шевелением поднятого пальца заказывающий кружку пива, стуком никеля извещавший о своем желании расплатиться, неожиданно оправдал свою кличку.

Все заметила смышленная, обладавшая в царстве пивных столиков почти Саваофовым всеведением старшая кельнерша, толстая фрау Анни. Сторож из обезьянника заказал пива, и Анни по его неестественному и размашистому жесту поняла, что он не в себе.

Скосив свой узкий, зеленовато-желтый пивной глаз, Анни увидела, что старик неумело и торопливо выливает в пиво водку из бутылки. Этого не полагалось делать. Но Анни, конечно, ничего не сказала старику. Однако потом уж, проходя мимо его столика, она выразительно вздохнула: видимо, старикан из обезьянника вылил в кружку не полстакана водки, как принято, и не стакан даже — пиво в его кружке стало совсем светлым, почти как вода.

Анни не изучала калориметрического анализа, но практические основы калориметрии она все же понимала...

Пришли грозные дни. Обыденность жизни была подобна обманной тишине воды, стремительно скользящей к водопаду. Анни не удивлялась, что привычное нарушалось и чопорный посетитель, кичившийся своими галстуками, вдруг приходил в пивную с расстегнутым грязным воротом, а многолетний потребитель мартовского пива неожиданно требовал бутылку шнапса. Случались и более странные дела.

В общем, старик напился. Он уже допивал кружку «динамита», когда к его столику подсел забредший субъект в спортивном костюме.

Анни совершала мимо маленького столика свой очередной рейс и слышала слова этого субъекта — не то насчет удачной охоты, не то насчет неудачной охоты...

Спустя день Анни встретила с Лахтом, сотрудником районного управления безопасности, уполномоченным по сбору агентурных сведений в пивных, кафе и ресторанах. Это был немолодой человек, несколько тучный, румяный, но болезненный, с высоким лбом мыслителя, с прекрасными внимательными и задумчивыми серыми глазами. Он принимал своих клиентов в одной из комнаток районного полицейского управления, в том подъезде, куда разрешалось входить без пропусков.

Анни поднялась по стертым каменным ступеням. В полутемном коридоре она столкнулась с выходившим из кабинета Лах-

та старшим кельнером ресторана «Астория». Они подмигнули друг другу. Знакомство их длилось много лет, в молодости они начинали вместе в загородном кафе. Анни, на ходу попудрив нос и подмазав и без того красные губы, вошла в кабинет шефа, ощущая влюбленность и чувство легкой тревоги. Оно обычно сопровождало ее при посещении Лахта. Это чувство исчезало, как только начинался разговор; очень уж обаятельным и милым собеседником был Лахт. Но когда Анни выходила из его кабинета, к ней возвращалось тянущее чувство тревоги и длилось минуты две-три. Иногда это чувство появлялось ночью, если Анни не могла уснуть от усталости, от гудения в голове, вызванного гудением в пивном зале.

В этот свой приход она рассказала о происшествии со стариком сторожем из зоологического сада. С уполномоченным Лахтом было легко говорить. Он не пил, а мужчины раздражали Анни тем, что, едва увидев ее, они просили принести пива.

Анни чувствовала в присутствии Лахта удивительный подъем, словно сладко сплетничала с закадычной подругой, знающей всю подноготную в жизни Анни.

— Значит, они поругались, — сказал протяжно Лахт с выражением того сдержанного, но глубокого любопытства, которое зажигает в рассказчике энтузиазм.

— Ну еще бы, получился сильный номер!

Анни умела показывать в лицах происшествия в пивной, подражать голосам, воспроизводить смешные жесты. Она гордо протянула руку, откинув голову, нацелив глаза в потолок.

— Проповедь Мартина Лютера? — спросил Лахт.

Анни, входя в роль, не ответила, презрительно сжала губы, немного отвисшие щеки ее припухли, зашевелились.

— Как вы смеете так говорить о хищниках! Вы хищники, а не они! — вдруг хрипло заголосила Анни, и Лахт мгновенно затрясся от смеха.

Талант этой женщины состоял в том, что слушатель ясно видел прежде неведомого ему человека, верил подлинности каждого жеста, слова, каждой интонации. Казалось загадкой, как эта женщина умела изобразить и сутулость худой старческой спины, и сведенные склерозом дрожащие пальцы, и прыгающую от волнения челюсть! Вот-вот — и на ее щеках зрители увидят седую щетину. Но не в щетине и не в спине заключалось главное дело. Суть состояла в том, что человек заглядывал в душу другого человека.

— Разве сытый тигр, лев совершают убийства? Животные должны питаться, кто же их обвинит в этом? А вот тебе приятно поехать в воскресенье на охоту. Тебе плевать на их раздробленные косточки, на их окровавленные лапы, головы. Заяц плачет, кричит, как дитя, а ты стоишь над ним, рыгаешь от сытости, а

потом бьешь его головой о камень! — закричала она дрожащим старческим голосом.

Лахт слушал, полузакрыв глаза, и перед ним стоял пьяный, жалкий старик с трясущимися руками, с дергающимся лицом, с безумными глазами. Лахт даже увидел пьяные лица слушателей, услышал смех и злое шиканье: «Тише, тише, не мешайте ему говорить!» Нешуточный талант у этой кельнерши!

— Что? Охота — честное дело? Подделывать запахи любви, голоса любви, травить стрихнином голодных — это все честное дело? Что? Простите, пожалуйста, я плохо слышу, если можно, повторите громче... — При этом Анни прикладывает руку к уху и, идиотски полуоткрыв рот, вслушивается. А через миг она уже вновь, подобно древнему пророку, обличает зло: — Ах, вот как! Вы считаете, что животные также охотятся из удовольствия? Это вы, вы превратили охотничьих собак в изменников, убийц! И все это не для спасения жизни, а для игры, пожрать повкусней. Что? А умерщвление состарившихся собак и кошек! Умиравших, отдавших вам свою любовь, честь, берут в научные институты и там их, прежде чем убить, подвергают пыткам. Вы видели глаза этих умирающих, когда их выволакивают из квартир и они тянутся к хозяину: «Заступись, помоги!»? — Анни в изнеможении произносит: — Не будет вам счастья!

Она откашливается, сморкается, достает из сумочки зеркальце и пудреницу — представление окончено. Но, видимо, велика сила искусства, и Лахт не сразу заговаривает профессиональным языком. Он восхищен, качает головой, разводит руками и не только смеется, но и вздыхает. Ведь что-то щемящее, тревожное все же есть в комической, пьяной проповеди полусумасшедшего старика.

— Прелестная миниатюра, законченная и отточенная. Вы бы могли выступать в варьете.

Лахт — образованный, тонкий человек. Он связан с ресторанами и клубами, где бывает и философствует подвыпившая интеллигенция. Ведь пивная, которую представляет Анни, только потому занимает его, что она находится в районе Тиргартена, недалеко от рейхсканцелярии. Он открыл ящик стола и предложил Анни шоколаду. Как все непьющие, он любил сладкое.

Но дело есть дело. Оказывается, что проповедь сумасшедшего вызвала политические намеки. Посетитель, видимо сильно пьяный, крикнул:

— В такое время надо жалеть не животных, запертых в клетки! Я тоже хочу свободы! И не я один хочу ее. Может быть, и ты ее хочешь. Но попробуй скажи об этом фюреру! Скотобойни никого сейчас не ужасают, для людей есть штуки получше!

Как обычно в таких случаях, когда пьяный вдруг ляпал антигосударственную гнусь, никто его, конечно, не поддерживал, но

и никто не опровергал: это тоже могло кончиться неприятностями — все сделали вид, что ничего не слышали, удивленно поморгали и с невинными лицами вернулись к своим столикам.

Они долго уточняли приметы этого пьяного. Анни ничего не знала о нем, люди, сидевшие с ним за столом, не были с ним знакомы.

Лахт встал, охваченный внезапным вдохновением:

— Ах, фрау Анни! У национал-социализма есть главный враг, он не слабее, чем танки и пушки, движущиеся с востока и запада, — низменное, неразумное стремление людей к свободе!

Свобода — это первая потаскуха дьявола! Как прекрасна наша задача: мощью нашего кулака и наших идей освободить от яда свободы всесильного и мудрого человека! В отказе от культа свободы — победа нового человека над зверем!

Лахт сел, отдуваясь, посмеиваясь над своей горячностью.

— В общем, ясно: этот старик — сумасшедший, — сказал Лахт, — но, по существу говоря, все, что возгласил этот озверевший старец, является плохо замаскированной проповедью антигосударственных идей. От долгого общения со зверями этот зоологический старик сам стал животным. Старик этот — враг немецкого народа, опаснейший, заклятый враг, хотя фюрер лично опекает имперское общество защиты животных. Анни, прошу вас, не обижайте меня, кушайте и возьмите эту шоколадку для внучки.

Он был внимателен и деловит, как будто война шла не на Одере, как будто не было важнее дела в Берлине, чем дело сумасшедшего сторожа. «Новый порядок» породил новых людей, высшую породу немцев.

Как всегда, Анни ушла, унося впечатление тепла. Ведь она была влюблена в Лахта — тайно, конечно. И, как всегда, на улице ее охватило минутное неприятное томление: не исчезнет ли этот сумасшедший из зоологического сада, как исчезали из жизни некоторые люди, о которых она рассказывала своему милому и умному собеседнику? Но к этому неясному томлению сегодня добавилось новое непроходящее беспокойство: на всех лицах тревога, в глазах угрюмое напряжение: по улицам мчатся машины с чемоданами, наспех увязанными узлами.

Кто половчей, бегут из Берлина на запад.

Если все записи милого Лахта, которых так много скопилось за восемь лет их знакомства, попадут в руки тех, кто идет с востока на запад, — хорошего не будет.

И Анни, несмотря на приступ тоски, математически точно пародируя жест, улыбку, интонации шефа, смеясь над самой собой, произнесла:

— Да, уважаемая Анни, это драгоценные миниатюры, вам причитается за них. Сдачи не нужно!

Последние дни Фрицци дулся на старого зрителя. Сердиться на Рамма Фрицци не мог: слишком велика была его любовь к старику. Он ревновал. У Рамма появилась новая симпатия. Это была не многодетная, погрязшая в мелких тревогах мартышка Лерхен, не двоедушная, расчетливая обезьяна капуцин, подлизывающаяся к старику, это не был веселый и общительный, но равнодушный ко всему миру, себялюбивый, курчавый, круглолицый, молодой шимпанзе Улисс. Новой симпатией Рамма оказался человек.

Внешностью он напоминал Рамма. Издали их можно было спутать. Вблизи сходство исчезало. Это был плохо одетый мужчина с впалыми, бледными щеками, с молящими, грустными глазами, с тихим, слегка заикающимся голосом, с округлыми, робкими движениями.

Утром они вместе пришли в обезьянник, и этот человек наблюдал, как Рамм, войдя в клетку к Фрицци, готовил завтрак, расставлял голубые чашки и розовые тарелки.

Рамм не стал менее внимательным к Фрицци. И желудевый кофе с молоком, и салат из капусты и брюквы, и компот из сухих болгарских яблок с вырезанной сердцевинкой, и традиционная рюмка кислого мозельского вина на десерт — все было подано им так же заботливо, как всегда. С обычным выражением внимания стоял Рамм подле Фрицци, и горилла, вытирая рот бумажной салфеточкой и протягивая коричневые пальцы за новой тарелкой, быстро, снизу вверх, глянул на старика — ценит ли Рамм его воспитанность: он не тянется к десерту, а добросовестно доедает разварной картофель с маслом. Обычно глаза их в такую минуту встречались, и Фрицци до обеда сохранял хорошее настроение, вспоминая ласковый, гордящийся взгляд своего друга. Но сейчас глаза их не сошлись: старика окликнул спутник, стоявший у клетки.

Фрицци помог Рамму сложить в горку грязные тарелки, сам установил их на поднос и проводил зрителя до двери. Там он, как обычно, поцеловал старика в плечо и щеку. Спутник Рамма рассмеялся, и этот добрый, ласковый смех огорчил Фрицци.

После завтрака горилла прошел из внутреннего помещения в летнюю, выходящую на воздух клетку.

К полудню стало необычайно жарко для этой весенней поры; после обильного ночного дождя воздух наполнился душной влагой. Парк казался в это утро особенно пустым. Фрицци подбросил деревянный мяч, с грохотом покатил его в угол и, подойдя к решетке, ухватившись за нее рукой, рассеянно огляделся.

Как и прежде, как всегда, с безумной тоской бегал по клетке живший на соседней улице худой, сутулый волк. Он пробегал от

одного угла клетки до другого, становился на задние лапы, закидывая голову и перебирая в воздухе передними лапами, делал поворот и снова бежал вдоль решетки, подгоняемый неутолимой жадной свободой. Волк увидел Фрицци, мотнул головой и продолжал бег. Ему нельзя было останавливаться. Ведь должна же кончиться эта решетка, это нищее пространство рабства, и он побежит по свободной, счастливой и нежной, прохладной лесной земле!

Так же, как обычно, два гималайских медведя с фанатическим упорством занимались разрушением клетки. Один, навалившись белой грудью на решетку, тербил толстые прутья, просовывал меж ними свой длинный черный нос; второй узким языком облизывал решетку. Казалось, прут разрыхлится от слюны и поддастся, согнется, и тогда наступит сказочный мир горных лесов и прозрачные кипучие реки поглотят прямоугольное нищее пространство клетки.

Леопард, лежа на боку, пытался своей мягкой лапой расширить расстояние между оцинкованным полом и ободом железной решетки. Когда-то старик — рурский шахтер, глядя на его работу, сказал рядом стоявшей старухе:

— Помню, как меня засыпало в шахте «Кронпринц». Я так же лежал, как этот бедняга, в завале и отдирап пальцами куски породы. Мы ведь тоже хотим свободно дышать.

— Помолчи-ка лучше, — сказала старуха.

Но Фрицци, конечно, не мог знать ни о том, что сказал старый шахтер, ни о том, что ответила ему жена.

Тигрица Лиззи, обычно занятая детьми, в это утро была охвачена тоской. Тяжело, но бесшумно и мягко ступая, она бродила по клетке, маялась, позевывала, поводила хвостом, под ее полосатой шкурой то взбухали, каменея, то вдруг исчезали, растворялись сгустки мышц... Она раздражалась на мяукающих детей, упрашивавших мать прилечь, покормить их. Видимо, в эти минуты ей казались постылыми рожденные в неволе дети.

Бернар, гиена, лежал, обессилев: откинутый хвост, красноватые, в слезах, полуприкрытые глаза Бернара выражали изнеможение и апатию.

Кондоры и орлы издали казались холодными глыбами гранита: так неподвижны были они! Вся сила их духа, выросшего в той холодной высоте, где разреженный воздух уж называется небесным простором, была собрана в глазах. В недвижной светлой пронзительности этих глаз выражалась жестокая мощь, и казалось, эти глаза могут, как алмаз, пробурить любую каменную толщу, резать стекло... Пятьдесят два года сидит в клетке широкоплечий сутулый орел, пятьдесят два года следят его неподвижные, астрономически зоркие глаза за движением облаков, а в последнее время за ходом барражирующих истребите-

лей. Страсть, бóльшую, чем тоска и мука, выражают глаза вечно-го каторжника. В свободе — богатство жизни, она отличается от нищеты рабского существования, как простор неба отличается от решетчатого куба оцинкованной клетки.

Одрахлевший лев лежит, положив тяжелую курчавую голову на склеротические лапы; его большой, похожий на микропористый старый каблук нос высох и не воспринимает, как выключенный радиоприемник, постылых запахов бензина, чадных выхлопных газов, зловония из подвалов продовольственных и винных магазинов, запаха от неполного сгорания газа в бесчисленных ванных комнатах и кухнях, скучного сернистого дыхания заводских труб Веддинга, прогоркло-маслянистого запаха речных моторных судов и дневного запаха пота и вечернего кисло-алкогольного, которым пахнут люди, живущие в каменных ущельях...

Но вот лев проводит языком по сухому носу, увлажняет его слюной и запускает на прием тончайший, многосложный аппарат. Лев лежит неподвижно, кажется куском желто-серого песчаника, но увлажненный нос его работает, ловит, фильтрует, разделяет огромный сгусток бесполезных плохих запахов, которыми пахнет столица Третьей империи.

Едва заметно каменное тело льва оживает, шевелится кончик хвоста, и дрожь волнения проходит по песчаной шкуре... И вдруг тихо, плавно поднимаются большие веки, и два огромных, светлых, суровых глаза пристально смотрят на могучую прямоствольную решетку, и вновь, как совершенный, смазанный механизм, опускаются веки, глаза исчезают под ними. Опять окаменел лев, вновь высыхает, выключается микропористый нос и перестает принимать, фильтровать запахи рода.

Так повторяется много раз в течение дня, эти почти неуловимые движения выражают горе, надежду, которые будут жить, пока лев дышит, глядит. Ведь каждый раз среди нищих запахов неволи старик различает паутинно-горький запах степи — это разгружают сено в кавалерийских казармах, — дыхание речной воды и дикорастущих деревьев. Свобода! Она в огромности освещенной луной африканской степи, в горячем, страстном воздухе пустыни... Лев с надеждой подымает глаза: вдруг исчезла решетка и свободная жизнь поглядит ему в глаза?

Ясность жаркого, душного утра неожиданно сменилась бурным ливнем. Желтые и черные тучи, клубясь, нависли над Берлином. Вихрь пронесся над улицами, белая, кремовая, красная, кирпичная пыль поднялась над сотнями и тысячами разрушенных бомбежкой зданий, песок, желтая мятая бумага, грязная вата, сжеванные сигарные окурки и красные от губной помады окурки сигарет взметнулись вверх, а сверху хлынул огромный, горя-

чий, желтый ливень, и все смешалось в водяном тумане, зашумели по асфальтовым руслам темно-коричневые, густые и плоские реки.

Фрицци сидел в креслице; грохот дождя по оцинкованной жести и листве, влажная духота, туман, желтые рыхлые облака — все это смешалось в дремлющем сознании гориллы и породило сновидение более яркое, чем сегодняшняя реальность...

Это было в лесах тропической Африки, где днем под могучей плотной массой древесины, лиан, листвы стоял мрак, где духота была так ужасна, а воздух так неподвижен, что казалось, здесь спящие молекулы газов, составляя воздух, не подчиняются законам Авогадро и Жерара. В этих лесах горячие ливни почти весь год со страшной силой, способной вызвать всемирный потоп, хлопбытали по черной, трясиноподобной земле. Здесь обезумевшие от влаги, жары, от жирного, сытного перегноя деревья, теряя индивидуальность, переплетаясь ветвями, прижимались друг к другу сочными стволами, стянутые, связанные между собой сотнями тысяч лиан, кишочек и кишок, мышц, артерий, со свинцово-тяжелой жаркой папахой толстокожей листвы, создали лес, подобный единому грандиозному телу.

Живой, дышащий, древесно-лиственный сплошняк был так плотен, неподвижен, тяжел, что мог быть сравним только с геологическим напластованием. Лес лишь казался мертвым, в нем шла бешеная жизнь. На потоки горячих ливней лес отвечал взрывом жизни — бившими вверх потоками чудовищно быстро и энергично делящихся клеток. Тяжесть лесного воздуха, равного по плотности горячей воде, была непереносима для человека и большинства зверей, здесь, как в воде, можно было задохнуться без скафандра. В промежутках между ливнями из-под каждого листа выходили, разминая лапки, прочищая свои дуделки, сотни насекомых, а листьев здесь имелось много. Гудение делалось густым, и казалось, гудит не воздух, а сам лес низко и тяжело звучит биллионами своих стволов, лиан, ветвей, листьев. Москиты и комары во тьме леса висели еще более темной, неподвижной тьмой, мешая друг другу двигаться, не умекаясь в кубе воздуха. Их количество было выразимо лишь тем же числом, каким в граммах выражается масса галактики.

Прожив здесь день, молодой человек мог состариться, одряхлеть от страдания. В этих лесах обитали гориллы. И дремлющий в клетке Берлинского зоологического сада горилла увидел себя во сне в горячей тьме леса, увидел мать, старших братьев и сестер, обмахивающихся от комаров ветвями, и слезы счастья выступили на его спящих глазах из-под коричневых век.

Во время дождя Рамм и его спутник Краузе укрылись в павильоне, где в летнее время продавалось мороженое. Павильон еще не был открыт, но плетеные кресла и столы уже были привезены со склада.

Старик сторож и Краузе, пережидая дождь, сидели в креслах, курили и разговаривали.

Краузе был переплетным мастером, ему искалечило при трамвайной катастрофе руку, помяло грудь, и теперь он жил на пенсии. Казалось, пустой случай свел их несколько дней назад, когда Рамм совершал вечерний служебный обход. У Рамма было доброе и чистое сердце, но бедный ум его не мог разобраться в вихре жизни. И его ненависть к страшным хозяевам Германии, выдумавшим расу господ, превращала его сочувствие и любовь к людям в презрение.

Именно теперь, в эти минуты, во время дождя, Рамм высказал свою главную мысль; он никому ее раньше не высказывал:

— Наша раса господ живет так, словно мир ничего не стоит по сравнению с ней. Добрые, честные, славные, бессловесные существа стали обездоленными, а раса господ захватила в свои руки все лучшее, что есть в жизни. Если господам мешают или, наоборот, нужны какие-нибудь животные, они умертвляют их целыми народами. Они для них как песок, как кирпичи. Раз они решили ради выгод или забавы истребить какую-нибудь породу животных, то уж они бьют и стариков, и беременных, и новорожденных, они их выкурят из родных нор, уморят голодом, задушат дымом.

Раньше выживали те, у кого хорошая шуба, слой жира, процветали красивые, те, у кого пышная окраска, богаче оперение. Но ныне установлен новый, сверхистребительный закон отбора, более жестокий, чем морозы, муки голода и борьба за любовь; теперь выживают голые, костистые, серые, лишенные шерсти и меха, с вонючим мясом, без красок... Вот это отбор! Он направлен на гибель всего живого. Хорьков надо причислять к лику святых.

Почему убийство животных не считается преступлением? Почему, почему? Высшее существо должно бережно, любя, жалея относиться к низшему, как взрослый к ребенку.

Каков мой вывод? — задумчиво спросил он, точно проверяя свои мысли. — Если хочешь называться царем вселенной, то надо научиться уважать даже вот этого дождевого червя.

Он указал на бледно-розового червяка, выползшего из раскисшей земли. Краузе, не жалея своего бедного, старенького пиджака, выйдя под дождь, перенес червя на высокую часть цветочной клумбы, под широкие листья канны, где ему не грозили потоки воды.

Вернувшись в павильон, вытирая воду с впалых, бледных щек и сильно притоптывая, чтобы с подошв сошла прильнувшая к ним земля, Краузе сказал:

— Вы правы. Надо учиться уважать, чтить жизнь.

До встречи с Краузе Рамму казалось, что всякий человек, узнав его взгляды, назовет его вырождаком, сумасшедшим. Но вот оказалось не так!

Краузе закурил сигарету и, указывая на клетки в дождевом тумане, сказал:

— Но вот здесь нет надежд, отсюда нет другого выхода, как на свалку.

— Это не совсем верно, — сказал Рамм. — Животных убивают на скотобойнях в течение веков. Об этой обреченности страшно даже думать, настолько привычно все это. И все же они всегда надеются! Даже те, кто перешел на сторону тюремщиков.

Краузе вдруг нагнулся к старику и, взмахнув левым пустым рукавом, сказал:

— Война идет в наш Берлин. Гитлер нас обманул. Люди хотят перемены. Чего уж говорить! Хотя многие люди в последние годы бывали хуже зверей.

Он вздохнул: того, что он сейчас сказал, по военному времени достаточно, чтобы быть казненным топором Моабита. Теперь судьба его была в руках небритого чудаковатого старика, смотрителя обезьянника.

Рамм замотал головой:

— Даже червям нужна свобода! Я все прислушиваюсь по ночам. А потом я хожу в темноте от клетки к клетке и говорю им: «Терпение, терпение...» Ведь только с ними я могу говорить.

Он посмотрел на ручьи, бегущие между клетками, и сказал:

— Настоящий потоп, но, может быть, праведники спасутся. Люди уж очень здесь несчастны, и когда их самих гонят на бойню, то кажется моему сердцу — я хочу верить — они достойны лучшей участи.

Вечером Краузе, сменив пиджак, зашел в пивную.

Кельнерша не скоро принесла ему кружку, и он, сдувая с пива пену, сказал:

— Долго, долго пришлось сегодня ждать, а у меня, как ни странно, все еще есть дело — разговор об одном праведнике.

Кельнерша посмотрела на Краузе заплаканными и одновременно насмешливыми глазами и, нагнувшись к его уху, произнесла:

— Твой праведник никому не нужен: шеф застрелился. Их дело пришло к концу.

В теплую и темную весеннюю ночь завязался бой в центре Берлина.

Могучие силы, шедшие с востока, охватили кольцом злое сердце гитлеровской столицы.

Подвижные части, танки, самоходная артиллерия прорвались в район Тиргартена.

Во мраке вспыхивали выстрелы, проносились трассирующие очереди, воздух наполнился запахами битвы, не только теми, что различает обоняние человека, — окислов азота, горящего дерева, дыма и гари, — но и теми едва различимыми, что доступны лишь чутью зверя. И эти запахи среди ночи волновали животных больше, чем выстрелы, больше, чем пламя пожаров.

Влажный океанский ветер, жар песчаной пустыни, прохлада душистых пастбищ в отрогах Гималаев, душное дыхание леса, запах весны — все смешалось, комом покатилося, закружило от клетки к клетке.

Медведи, встав на задние лапы, потрясали железные прутья, всматривались в темно-красную мглу.

Волк то прижимался брюхом к оцинкованному полу клетки, то вскакивал на лапы. Вот-вот опустятся гибкие нежные ветви лещины над его сутулой спиной, стук его когтей утонет в мягком, нежном мхе, дохнет лесная прохлада в его измученные глаза. На боку шерсть его стерлась от многолетнего бега вдоль шершавой решетки, и холодное, ночное железо прикасалось к коже; касание железа говорило о рабстве, и тогда, забывая вечно живущую в его крови осторожность, волк, охваченный опасением, что свобода пройдет мимо и не заметит его, вскидывал голову и выл, звал ее к себе.

Зарево берлинского пожара отразилось на металлическом полу клетки, отполированном когтями Феникса... Казалось, дымная луна всходит среди темных камней, над огромной, еще дышащей дневным жаром пустыней.

Фрицци ушел, как обычно, на ночь во внутреннее помещение обезьянника и не увидел огней битвы. В эту ночь он очутился совершенно один в темноте, отделенный от мира толстыми стенами.

В середине ночи район зоологического сада был очищен от немецких войск и эсэсовских отрядов. На некоторое время грохот битвы затих.

Советские танки и пехота стали накапливаться у стен зоологического сада для нового, быть может, последнего удара. Немцы поспешно подтягивали артиллерию, чтобы помешать сосредоточению танков.

Разбуженный грохотом, Фрицци стоял, ухватившись своими широко раскинутыми руками за решетку, и казалось, то распластаны огромные, трехметрового размаха, черные крылья. Его глаза часто моргали, он невнятно бормотал, вслушиваясь в затихавшие звуки боя, коротко, шумно втягивал в ноздри воздух.

Мрак в бетонных стенах, казалось, расширился и переходил в мягкий, покойный сумрак леса.

Вечером, когда Фрицци перешел из наружного помещения в свою спальню, Рамм укрыл ему одеялом плечи и сел возле него на стульчике. Фрицци не мог уснуть, если оставался один. Как всегда, Рамм гладил Фрицци по голове, пока тот не задремал. Но в этот вечер в глазах Рамма не было всегдашней грусти. Фрицци не понимал человеческую речь, но его волновало звучание торопливых негромких слов, которые произносил старик, укладывая его спать.

Он не умел не верить старику и теперь, проснувшись, стоя во мраке, тревожился, почему в эту ночь старого друга нет рядом.

Вдруг раздались тяжелые удары, от них вздрагивала земля и воздух звенел. То начался ураганный артиллерийский огонь по советским танкам, скопившимся в районе Тиргартена.

Широко распахнулись двери обезьянника, сорванные разрывом снаряда; кинжальный свет ослепил Фрицци.

Казалось, через мгновение, когда он откроет глаза, уже не будет ни бетонированных скучных стен, ни решетки, ни любимых игрушек, ни кровати с полосатым матрацем, ни одеяла, ни чашечки с молоком, которую Рамм ставил ему перед сном на маленький столик возле кровати. Пришло время вернуться в родные леса у озера Киву.

Утром представитель комендатуры, офицер интендантской службы, сутулый, очкастый человек, с утомленным, озабоченным лицом, обходил дорожки зоологического сада.

У клеток, в которых жались оглушенные ночным боем животные, стояли красноармейцы, окликали их, просовывали сквозь решетку хлеб, сахар, печенье, колбасу.

Зайдя в обезьянник, представитель комендатуры увидел старика смотрителя в форменной фуражке, сидевшего возле трупя огромной черной обезьяны с грудью, развороченной осколком снаряда.

Представитель комендатуры на ломаном немецком языке сказал, что старик — единственный, не покинувший своего поста — временно назначается директором зоологического сада, что плотоядных животных следует пока что кормить кониной:

кругом много убитых лошадей, — а через несколько дней начнут работать городские скотобойни.

Старик понял, поблагодарил и вдруг заплакал, показывая на труп обезьяны.

Представитель комендатуры сочувственно развел руками, похлопал старика по плечу, вышел из обезьянника, пошел по боковой дорожке.

На скамейке под начавшей зеленеть липой сидели двое немцев — раненый в госпитальном халате с апельсиновыми отворотами и девушка в белой наколке с красным крестом. На земле и в небе было тихо. Голова раненого была повязана грязными бинтами, рука лежала в гипсовой люльке. Солдат и девушка, как зачарованные, молча смотрели друг на друга, и представитель комендатуры, оглядев их лица, подмигнул шедшему рядом с ним патрулю.

1953–1955

МИХАИЛ ШОЛОХОВ

Судьба человека

Рассказ

Первая послевоенная весна была на Верхнем Дону на редкость дружная и напористая. В конце марта из Приазовья подул теплые ветры, и уже через двое суток начисто оголились пески левобережья Дона, в степи вспухли набитые снегом лога и балки, взломав лед, бешено взыграли степные речки, и дороги стали почти совсем непроездны.

В эту недобрую пору бездорожья мне пришлось ехать в станицу Букановскую. И расстояние небольшое — всего лишь около шестидесяти километров, — но одолеть их оказалось не так-то просто. Мы с товарищем выехали до восхода солнца. Пара сытых лошадей, в струну натягивая постромки, еле тащила тяжелую бричку. Колеса по самую ступицу проваливались в отсыревший, перемешанный со снегом и льдом песок, и через час на лошадиных боках и стегнах, под тонкими ремнями шлеек, уже показались белые пышные хлопья мыла, а в утреннем свежем воздухе остро и пьяняще запахло лошадиным потом и согретым деготьком щедро смазанной конской сбруи.

Там, где было особенно трудно лошадям, мы слезали с брички, шли пешком. Под сапогами хлюпал размокший снег, идти было тяжело, но по обочинам дороги все еще держался хрустально поблескивающий на солнце ледок, и там пробираться было еще труднее. Только часов через шесть покрыли расстояние в тридцать километров, подъехали к переправе через речку Еланку.

Небольшая, местами пересыхающая летом речушка против хутора Моховского в заболоченной, поросшей ольхами пойме разлилась на целый километр. Переправляться надо было на утлой плоскодонке, поднимавшей не больше трех человек. Мы отпустили лошадей. На той стороне в колхозном сарае нас ожидал старенький, выдавший виды «виллис», оставленный там еще зимою. Вдвоем с шофером мы не без опасения сели в вет-

хую лодчонку. Товарищ с вещами остался на берегу. Едва отчалили, как из прогнившего днища в разных местах фонтанчиками забила вода. Подручными средствами конопатили ненадежную посудину и вычерпывали из нее воду, пока не доехали. Через час мы были на той стороне Еланки. Шофер пригнал из хутора машину, подошел к лодке и сказал, берясь за весло:

— Если это проклятое корыто не развалится на воде, часа через два приедем, раньше не ждите.

Хутор раскинулся далеко в стороне, и возле причала стояла такая тишина, какая бывает в безлюдных местах только глухою осенью и в самом начале весны. От воды тянуло сыростью, терпкой горечью гниющей ольхи, а с дальних прихоперских степей, тонувших в сиреновой дымке тумана, легкий ветерок нес извечно юный, еле уловимый аромат недавно освободившейся из-под снега земли.

Неподалеку, на прибрежном песке лежал поваленный плетень. Я присел на него, хотел закурить, но, сунув руку в правый карман ватной стеганки, к великому огорчению, обнаружил, что пачка «Беломора» совершенно размокла. Во время переправы волна хлестнула через борт низко сидевшей лодки, по пояс окатила меня мутной водой. Тогда мне некогда было думать о папиросах, надо было, бросив весло, побыстрее вычерпывать воду, чтобы лодка не затонула, а теперь, горько досадуя на свою оплошность, я бережно извлек из кармана раскисшую пачку, присел на корточки и стал по одной раскладывать на плетне влажные, побуревшие папиросы.

Был полдень. Солнце светило горячо, как в мае. Я надеялся, что папиросы скоро высохнут. Солнце светило так горячо, что я уже пожалел о том, что надел в дорогу солдатские ватные штаны и стеганку. Это был первый после зимы по-настоящему теплый день. Хорошо было сидеть на плетне вот так, одному, целиком покоряясь тишине и одиночеству, и, сняв с головы старую солдатскую ушанку, сушить на ветерке мокрые после тяжелой гребли волосы, бездумно следить за проплывающими в блеклой синеве белыми грудастыми облаками.

Вскоре я увидел, как из-за крайних дворов хутора вышел на дорогу мужчина. Он вел за руку маленького мальчика, судя по росту — лет пяти-шести, не больше. Они устало брели по направлению к переправе, но, поравнявшись с машиной, повернули ко мне. Высокий, сутуловатый мужчина, подойдя вплотную, сказал приглушенным баском:

— Здорово, браток!

— Здравствуй. — Я пожал протянутую мне большую, черствую руку.

Мужчина наклонился к мальчику, сказал:

— Поздоровайся с дядей, сынок. Он, видать, такой же шофер, как и твой папашка. Только мы с тобой на грузовой ездили, а он вот эту маленькую машину гоняет.

Глядя мне прямо в глаза светлыми, как небушко, глазами, чуть-чуть улыбаясь, мальчик смело протянул мне розовую холодную ручонку. Я легонько потряс ее, спросил:

— Что же у тебя, старик, рука такая холодная? На дворе теплынь, а ты замерзаешь?

С трогательной детской доверчивостью малыш прижался к моим коленям, удивленно приподнял белесые бровки.

— Какой же я старик, дядя? Я вовсе мальчик, и я вовсе не замерзаю, а руки холодные — снежки катал потому что.

Сняв со спины тощий вещевой мешок, устало присаживаясь рядом со мною, отец сказал:

— Беда мне с этим пассажиром! Через него и я подбился. Широко шагнешь — он уже на рысь переходит, вот и изволь к такому пехотинцу приноравливаться. Там, где мне надо раз шагнуть, я три раза шагаю, так и идем с ним враздробь, как конь с черепахой. А тут ведь за ним глаз да глаз нужен. Чуть отвернешься, а он уже по лужице бредет или леденику отломит и сосет вместо конфеты. Нет, не мушкетерское это дело с такими пассажирами путешествовать, да еще походным порядком. — Он помолчал немного, потом спросил: — А ты что же, браток, свое начальство ждешь?

Мне было неудобно разуверять его в том, что я не шофер, и я ответил:

— Приходится ждать.

— С той стороны подъедут?

— Да.

— Не знаешь, скоро ли подойдет лодка?

— Часа через два.

— Порядком. Ну что ж, пока отдохнем, спешить мне некуда. А я иду мимо, гляжу: свой брат-шофер загорает. Дай, думаю, зайду, перекурим вместе. Одному-то и курить и помирать тошно. А ты богато живешь, папироски куришь. Подмочил их, стало быть? Ну, брат, табак моченый, что конь леченый, никуда не годится. Давай-ка лучше моего крепачка закурим.

Он достал из кармана защитных летних штанов свернутый в трубку малиновый шелковый потертый кисет, развернул его, и я успел прочитать вышитую на уголке надпись: «Дорогому бойцу от ученицы 6-го класса Лебедянской средней школы».

Мы закурили крепчайшего самосада и долго молчали. Я хотел было спросить, куда он идет с ребенком, какая нужда его гонит в такую распутицу, но он опередил меня вопросом:

— Ты что же, всю войну за баранкой?

— Почти всю.

— На фронте?

— Да.

— Ну, и мне там пришлось, браток, хлебнуть горюшка по ноздри и выше.

Он положил на колени большие темные руки, сгорбился. Я сбоку взглянул на него, и мне стало что-то не по себе... Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего случайного собеседника.

Выломав из плетня сухую искривленную хворостинку, он с минуту молча водил ею по песку, вычерчивая какие-то замысловатые фигуры, а потом заговорил:

— Иной раз не спишь ночью, глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь: «За что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так исказнила?» Нету мне ответа ни в темноте, ни при ясном солнышке... Нету и не дождусь! — И вдруг спохватился: ласково подталкивая сынишку, сказал: — Пойди, милоч, поиграйся возле воды, у большой воды для ребятишек всегда какая-нибудь добыча найдется. Только, гляди, ноги не промочи!

Еще когда мы в молчании курили, я, украдкой рассматривая отца и сынишку, с удивлением отметил про себя одно, странное, на мой взгляд, обстоятельство. Мальчик был одет просто, но добротнo: и в том, как сидела на нем подбитая легкой, поношенной цигейкой длиннополая курточка, и в том, что крохотные сапожки были сшиты с расчетом надевать их на шерстяной носок, и очень искусный шов на разорванном когда-то рукаве курточки — все выдавало женскую заботу, умелые материнские руки. А отец выглядел иначе: прожженный в нескольких местах ватник был небрежно и грубо заштопан, латка на выношенных защитных штанах не пришита как следует, а скорее наживлена широкими, мужскими стежками; на нем были почти новые солдатские ботинки, но плотные шерстяные носки изъедены молью, их не коснулась женская рука... Еще тогда я подумал: «Или вдовец, или живет не в ладах с женой».

Но вот он, проводив глазами сынишку, глухо покашлял, снова заговорил, и я весь превратился в слух.

— Поначалу жизнь моя была обыкновенная. Сам я уроженец Воронежской губернии, с тысяча девятьсотого года рождения. В гражданскую войну был в Красной Армии, в дивизии Киквидзе. В голодный двадцать второй год подался на Кубань, ишачить на кулаков, потому и уцелел. А отец с матерью и сестренкой дома померли от голода. Остался один. Родни — хоть шаром покати, — нигде, никого, ни одной души. Ну, через год вернулся с Кубани, хатенку продал, поехал в Воронеж. Поначалу работал в плотницкой артели, потом пошел на завод, выучился на слесаря. Вскоро-сти женился. Жена воспитывалась в детском доме. Сиротка.

Хорошая попалась мне девка! Смирная, веселая, угодливая и умница, не мне чета. Она с детства узнала, почему фунт лиха стоит, может, это и сказалось на ее характере. Со стороны глядеть — не так уж она была из себя видная, но ведь я-то не со стороны на нее глядел, а в упор. И не было для меня красивей и желанней ее, не было на свете и не будет!

Придешь с работы усталый, а иной раз и злой, как черт. Нет, на грубое слово она тебе не наругает в ответ. Ласковая, тихая, не знает, где тебя усадить, бьется, чтобы и при малом недостатке сладкий кусок тебе сготовить. Смотришь на нее и отходишь сердцем, а спустя немного обнимешь ее, скажешь: «Прости, милая Иринка, нахамил я тебе. Понимаешь, с работой у меня нынче не заладилось». И опять у нас мир, и у меня покой на душе. А ты знаешь, браток, что это означает для работы? Утром я встаю как встрепанный, иду на завод, и любая работа у меня в руках кипит и спорится! Вот что это означает — иметь умную жену-подругу.

Приходилось кое-когда после получки и выпивать с товарищами. Кое-когда бывало и так, что идешь домой и такие кренделя ногами выписываешь, что со стороны небось глядеть страшно. Тесна тебе улица, да и шабаш, не говоря уже про переулки. Парень я был тогда здоровый и сильный, как дьявол, выпить мог много, а до дому всегда добирался на своих ногах. Но случилось иной раз и так, что последний перегон шел на первой скорости, то есть на четвереньках, однако же добирался. И опять же ни тебе упрека, ни крика, ни скандала. Только посмеивается моя Иринка, да и то осторожно, чтобы я спьяну не обиделся. Разует меня и шепчет: «Ложись к стенке, Андрюша, а то сонный упадешь с кровати». Ну, я, как куль с овсом, упаду, и все поплывет перед глазами. Только слышу сквозь сон, что она по голове меня тихонько гладит рукою и шепчет что-то ласковое, жалеет, значит...

Утром она меня часа за два до работы на ноги подымет, чтобы я размялся. Знает, что на похмелье я ничего есть не буду, ну, достанет огурец соленный или еще что-нибудь по легости, нальет граненый стаканчик водки. «Похмелись, Андрюша, только больше не надо, мой милый». Да разве же можно не оправдать такого доверия? Выпью, поблагодарю ее без слов, одними глазами, поцелую и пошел на работу, как миленький. А скажи она мне, хмельному, слово поперек, крикни или обругайся, и я бы, как бог свят, и на второй день напился. Так и бывает в иных семьях, где жена дура; насмотрелся я на таких шалав, знаю.

Вскорости дети у нас пошли. Сначала сынишка родился, через год еще две девочки... Тут я от товарищей откололся. Всю получку домой несусь, семья стала числом порядочная, не до выпивки. В выходной кружку пива выпью и на этом ставлю точку.

В двадцать девятом году завлекли меня машины. Изучил автодело, сел за баранку на грузовой. Потом втянулся и уже не

захотел возвращаться на завод. За рулем показалось мне веселее. Так и прожил десять лет и не заметил, как они прошли. Прошли, как будто во сне. Да что десять лет! Спроси у любого пожилого человека, приметил он, как жизнь прожил? Ни черта он не приметил! Прошное — вот как та дальняя степь в дымке. Утром я шел по ней, все было ясно кругом, а отшагал двадцать километров, и вот уже затянула степь дымка, а отсюда уже не отличишь лес от бурьяна, пашню от травокоса...

Работал я эти десять лет и день и ночь. Зарабатывал хорошо, и жили мы не хуже людей. И дети радовали: все трое учились на «отлично», а старшенький, Анатолий, оказался таким способным к математике, что про него даже в центральной газете писали. Откуда у него проявился такой огромный талант к этой науке, я и сам, браток, не знаю. Только очень мне это было лестно, и гордился я им, страсть как гордился!

За десять лет скопили мы немного деньжонок и перед войной поставили себе домишко об двух комнатках, с кладовкой и коридорчиком. Ирина купила двух коз. Чего еще больше надо? Дети кашу едят с молоком, крыша над головой есть, одеты, обуты, стало быть, все в порядке. Только построился я неловко. Отвели мне участок в шесть соток неподалеку от авиазавода. Будь моя хибарка в другом месте, может, и жизнь сложилась бы иначе...

А тут вот она, война. На второй день повестка из военкомата, а на третий — пожалуйста в эшелон. Провожали меня все четверо моих: Ирина, Анатолий и дочери — Настенька и Олюшка. Все ребята держались молодцом. Ну, у дочерей — не без того, посверкивали слезинки. Анатолий только плечами передергивал, как от холода, ему к тому времени уже семнадцатый год шел, а Ирина моя... Такой я ее все семнадцать лет нашей совместной жизни ни разу не видал. Ночью у меня на плече и на груди рубаха от ее слез не просыхала, и утром такая же история... Пришли на вокзал, а я на нее от жалости глядеть не могу: губы от слез распухли, волосы из-под платка выбились, и глаза мутные, бессмысленные, как у тронутного умом человека. Командиры объявляют посадку, а она упала мне на грудь, руки на моей шее сцепила и вся дрожит, будто подрубленное дерево... И детишки ее уговаривают и я, — ничего не помогает! Другие женщины с мужьями, с сыновьями разговаривают, а моя прижалась ко мне, как лист к ветке, и только вся дрожит, а слова вымолвить не может. Я и говорю ей: «Возьми же себя в руки, милая моя Иринка! Скажи мне хоть слово на прощанье». Она и говорит и за каждым словом всхлипывает: «Родненький мой... Андрюша... не увидимся... мы с тобой... больше... на этом... свете...»

Тут у самого от жалости к ней сердце на части разрывается, а она тут с такими словами. Должна бы понимать, что мне тоже не легко с ними расставаться, не к теще на блины собрался. Зло

меня тут взяло! Силой я разнял ее руки и легонько толкнул в плечи. Толкнул вроде легонько, а сила-то у меня была дурачья: она попятилась, шага три ступнула назад и опять ко мне идет мелкими шажками, руки протягивает, а я кричу ей: «Да разве же так прощаются? Что ты меня раньше времени заживо хоронишь?!» Ну, опять обнял ее, вижу, что она не в себе...

Он на полуслове резко оборвал рассказ, и в наступившей тишине я услышал, как у него что-то клокочет и булькает в горле. Чужое волнение передалось и мне. Искося взглянул я на рассказчика, но ни единой слезинки не увидел в его словно бы мертвых, потухших глазах. Он сидел, понуро склонив голову, только большие, безвольно опущенные руки мелко дрожали, дрожал подбородок, дрожали твердые губы...

— Не надо, друг, не вспоминай! — тихо проговорил я, но он, наверное, не слышал моих слов и, каким-то огромным усилием воли поборов волнение, вдруг сказал охрипшим, странно изменившимся голосом:

— До самой смерти, до последнего моего часа, помирать буду, а не прощу себе, что тогда ее оттолкнул!..

Он снова и надолго замолчал. Попытался свернуть папиросу, но газетная бумага рвалась, табак сыпался на колени. Наконец он все же кое-как сделал кручонку, несколько раз жадно затянулся и, покашливая, продолжал:

— Оторвался я от Ирины, взял ее лицо в ладони, целую, а у нее губы как лед. С детишками попрощался, бегу к вагону, уже на ходу вскочил на подножку. Поезд взял с места тихо-тихо; проезжать мне мимо своих. Гляжу, детишки мои осиротелые в кучку сбились, руками мне машут, хотят улыбаться, а оно не выходит. А Ирина прижала руки к груди; губы белые как мел, что-то она ими шепчет, смотрит на меня, не сморгнет, а сама вся вперед клонится, будто хочет шагнуть против сильного ветра... Такой она и в памяти мне на всю жизнь осталась: руки, прижатые к груди, белые губы и широко раскрытые глаза, полные слез... По большей части такой я ее и во сне всегда вижу... Зачем я ее тогда оттолкнул? Сердце до сих пор, как вспомню, будто тупым ножом режут...

Формировали нас под Белой Церковью, на Украине. Дали мне ЗИС-5. На нем и поехали на фронт. Ну, про войну тебе нечего рассказывать, сам видал и знаешь, как оно было поначалу. От своих письма получал часто, а сам крылатки посылал редко. Бывало, напишешь, что, мол, все в порядке, помаленьку воюем и хотя сейчас отступаем, но скоро соберемся с силами и тогда дадим фрицам прикурить. А что еще можно было писать? Тошное время было, не до писаний было. Да и признаться, и сам я не охотник был на жалобных струнах играть и терпеть не мог таких слюнявых, какие каждый день, к делу и не к делу, женам и мила-

хам писали, сопли по бумаге размазывали. Трудно, дескать, ему, тяжело, того и гляди убьют. И вот он, сука в штанах, жалуется, сочувствия ищет, слюнявится, а того не хочет понять, что этим разнесчастным бабенкам и детишкам не слаже нашего в тылу приходилось. Вся держава на них оперлася! Какие же это плечи нашим женщинам и детишкам надо было иметь, чтобы под такой тяжестью не согнуться? А вот не согнулись, выстояли! А такой хлюст, мокрая душонка, напишет жалостное письмо — и трудящую женщину как рюхой под ноги. Она после этого письма, горемыка, и руки опустит, и работа ей не в работу. Нет! На то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы все вытерпеть, все вынести, если к этому нужда позвала. А если в тебе бабьей закваски больше, чем мужской, то надевай юбку со сборками, чтобы свой тощий зад прикрыть попышнее, чтобы хоть сзади на бабу был похож, и ступай свеклу полоть или коров доить, а на фронте ты такой не нужен, там и без тебя вони много!

Только не пришлось мне и года повоевать... Два раза за это время был ранен, но оба раза по легости: один раз — в мякоть руки, другой — в ногу; первый раз — пулей с самолета, другой — осколком снаряда. Дырявил немец мне машину и сверху и с боков, но мне, браток, везло на первых порах. Везло-везло, да и довезло до самой ручки... Попал я в плен под Лозовеньками в мае сорок второго года при таком неловком случае: немец тогда здорово наступал, и оказалась одна наша стодвадцатидвухмиллиметровая гаубичная батарея почти без снарядов; нагрузили мою машину снарядами по самую завязку, и сам я на погрузке работал так, что гимнастерка к лопаткам прилипала. Надо было сильно спешить, потому что бой приближался к нам: слева чьи-то танки гремят, справа стрельба идет, впереди стрельба, и уже начало попахивать жареным...

Командир нашей автороты спрашивает: «Проскочишь, Соколов?» А тут и спрашивать нечего было. Там товарищи мои, может, погибают, а я тут чухаться буду? «Какой разговор! — отвечаю ему. — Я должен проскочить, и баста!» — «Ну, — говорит, — дуй! Жми на всю железку!»

Я и подул. В жизни так не ездил, как на этот раз! Знал, что не картошку везу, что с этим грузом осторожность в езде нужна, но какая же тут может быть осторожность, когда там ребята с пустыми руками воюют, когда дорога вся насквозь артогнем простреливается. Пробежал километров шесть, скоро мне уже на проселок сворачивать, чтобы пробраться к балке, где батарея стояла, а тут гляжу — мать честная — пехотка наша и справа и слева от грейдера по чистому полю сыпет, и уже мины рвутся по их порядкам. Что мне делать? Не поворачивать же назад? Давлю вовсю! И до батареи остался какой-нибудь километр, уже свернул я на проселок, а добраться до своих мне, браток, не при-

шлось... Видно, из дальнобойного тяжелый положил он мне возле машины. Не слышал я ни разрыва, ничего, только в голове будто что-то лопнуло, и больше ничего не помню. Как остался я живой тогда — не понимаю, и сколько времени пролежал метрах в восьми от кювета — не соображу. Очнулся, а встать на ноги не могу: голова у меня дергается, всего трясет, будто в лихорадке, в глазах темень, в левом плече что-то скрипит и похрустывает, и боль во всем теле такая, как, скажи, меня двое суток подряд били чем попадя. Долго я на животе по земле елозил, но кое-как стал. Однако опять же ничего не пойму, где я и что со мной стряслось. Память-то мне начисто отшибло. А обратно лечь боюсь. Боюсь, что ляжу и больше не встану, помру. Стою и качаюсь из стороны в сторону, как тополь в бурю.

Когда пришел в себя, опомнился и огляделся как следует — сердце будто кто-то плоскогубцами сжал: кругом снаряды валяются, какие я вез, неподалеку моя машина, вся в ключья побитая, лежит вверх колесами, а бой-то, бой-то уже сзади меня идет... Это как?

Нечего греха таить, вот тут-то у меня ноги сами собою подкосились, и я упал, как срезанный, потому что понял, что я — уже в окружении, а скорее сказать — в плену у фашистов. Вот как оно на войне бывает...

Ох, браток, нелегкое это дело — понять, что ты не по своей воле в плену. Кто этого на своей шкуре не испытал, тому не сразу в душу въедешь, чтобы до него по-человечески дошло, что означает эта штука.

Ну вот, стало быть, лежу я и слышу: танки гремят. Четыре немецких средних танка на полном газу прошли мимо меня туда, откуда я со снарядами выехал... Каково это было переживать? Потом тягачи с пушками потянулись, полевая кухня проехала, потом пехота пошла, не густо, так, не больше одной битой роты. Погляжу, погляжу на них краем глаза и опять прижмусь щекой к земле, глаза закрою: тошно мне на них глядеть, и на сердце тошно...

Думал, все прошли, приподнял голову, а их шесть автоматчиков — вот они, шагают метрах в ста от меня. Гляжу, сворачивают с дороги и прямо ко мне. Идут молчком. «Вот, думаю, и смерть моя на подходе». Я сел. Неохота лежать помирать, потом встал. Один из них, не доходя шагов нескольких, плечом дернул, автомат снял. И вот как потешно человек устроен: никакой паники, ни сердечной робости в эту минуту у меня не было. Только гляжу на него и думаю: «Сейчас даст он по мне короткую очередь, а куда будет бить? В голову или поперек груди?» Как будто мне это не один черт, какое место в моем теле прострочит.

Молодой парень, собою ладный такой, чернявый, а губы тонкие, в нитку, и глаза с прищуром. «Этот убьет и не задумает-

ся», — соображаю про себя. Так оно и есть: вскинул он автомат — я ему прямо в глаза гляжу, молчу, — а другой, ефрейтор, что ли, постарше его возрастом, можно сказать, пожилой, что-то крикнул, отодвинул его в сторону, подошел ко мне, лопочет по-своему и правую руку мою в локте сгибает, мускул, значит, щупает. Попробовал и говорит: «О-о-о!» — и показывает на дорогу, на заход солнца. Топай, мол, рабочая скотинка, трудиться на наш райх. Хозяином оказался, сукин сын!

Но чернявый присмотрелся на мои сапоги, а они у меня с виду были хорошие, показывает рукой: «Сымай». Сел я на землю, снял сапоги, подаю ему. Он их из рук у меня прямо-таки выхватил. Размотал я портянки, протягиваю ему, а сам гляжу на него снизу вверх. Но он заорал, заругался по-своему и опять за автомат хватается. Остальные ржут. С тем по-мирному и отошли. Только этот чернявый, пока дошел до дороги, раза три оглянулся на меня, глазами сверкает, как волчонок, злится, а чего? Будто я с него сапоги снял, а не он с меня.

Что ж, браток, деваться мне было некуда. Вышел я на дорогу, выругался страшным, кучерявым, воронежским матом и зашагал на запад, в плен!.. А ходок тогда из меня был никудышный, в час по километру, не больше. Ты хочешь вперед шагнуть, а тебя из стороны в сторону качает, возит по дороге, как пьяного. Прошел немного, и догоняет меня колонна наших пленных, из той же дивизии, в какой я был. Гонят их человек десять немецких автоматчиков. Тот, какой впереди колонны шел, поравнялся со мною и, не говоря худого слова, наотмашь хлыстнул меня ручкой автомата по голове. Упав я — и он пришил бы меня к земле очередью, но наши подхватили меня на лету, затолкали в середину и с полчаса вели под руки. А когда я очухался, один из них шепчет: «Боже тебя упаси падать! Иди из последних сил, а не то убьют». И я из последних сил, но пошел.

Как только солнце село, немцы усилили конвой, на грузовой подкинули еще человек двадцать автоматчиков, погнали нас ускоренным маршем. Сильно раненные наши не могли поспевать за остальными, и их пристреливали прямо на дороге. Двое пытались бежать, а того не учли, что в лунную ночь тебя в чистом поле черт-те на сколько видно, ну, конечно, и этих постреляли. В полночь пришли мы в какое-то полусожженное село. Ночевать загнали нас в церковь с разбитым куполом. На каменном полу — ни клочка соломы, а все мы без шинелей, в одних гимнастерках и штанах, так что постелить и разу нечего. Кое на ком даже и гимнастерок не было, одни бязевые исподние рубашки. В большинстве это были младшие командиры. Гимнастерки они посымали, чтобы их от рядовых нельзя было отличить. И еще артиллерийская прислуга была без гимнастерок. Как работали возле орудий растелешенные, так и в плен попали.

Ночью полил такой сильный дождь, что все мы промокли насквозь. Тут купол снесло тяжелым снарядом или бомбой с самолета, а тут крыша вся начисто побитая осколками, сухого места даже в алтаре не найдешь. Так всю ночь и прослонялись мы в этой церкви, как овцы в темном катухе. Среди ночи слышу, кто-то трогает меня за руку, спрашивает: «Товарищ, ты не ранен?» Отвечаю ему: «А тебе что надо, браток?» Он и говорит: «Я военврач, может быть, могу тебе чем-нибудь помочь?» Я пожаловался ему, что у меня левое плечо скрипит и пухнет и ужасно как болит. Он твердо так говорит: «Сымай гимнастерку и нижнюю рубашку». Я снял все это с себя, он и начал руку в плечо прощупывать своими тонкими пальцами, да так, что я света неувидел. Скриплю зубами и говорю ему: «Ты, видно, ветеринар, а не людской доктор. Что же ты по больному месту давишь так, бессердечный ты человек?» А он все щупает и злобно так отвечает: «Твое дело помалкивать! Тоже мне, разговорчики затеял. Держись, сейчас еще больнее будет». Да с тем как дернет мою руку, аж красные искры у меня из глаз посыпались.

Опомнился я и спрашиваю: «Ты что же делаешь, фашист несчастный? У меня рука вдребезги разбитая, а ты ее так рванул». Слышу, он засмеялся потихоньку и говорит: «Думал, что ты меня ударишь с правой, но ты, оказывается, смирный парень. А рука у тебя не разбита, а выбита была, вот я ее на место и поставил. Ну, как теперь, полегче тебе?» И в самом деле чувствую по себе, что боль куда-то уходит. Поблагодарил я его душевно, и он дальше пошел в темноте, потихоньку спрашивает: «Раненные есть?» Вот что значит настоящий доктор! Он и в плену и в потемках свое великое дело делал.

Беспокойная это была ночь. До ветру не пускали, об этом старший конвоя предупредил, еще когда попарно загоняли нас в церковь. И, как на грех, приспичило одному богомольному из наших выйти по нужде. Крепился-крепился он, а потом заплакал: «Не могу, говорит, осквернять святой храм! Я же верующий, я христианин! Что мне делать, братцы?» А наши, знаешь, какой народ? Одни смеются, другие ругаются, третьи всякие шуточные советы ему дают. Развеселил он всех нас, а кончилась эта канитель очень даже плохо: начал он стучать в дверь и просить, чтобы его выпустили. Ну, и допросился: дал фашист через дверь, во всю ее ширину, длинную очередь, и богомольца этого убил, и еще трех человек, а одного тяжело ранил, к утру он скончался.

Убитых сложили мы в одно место, присели все, притихли и призадумались: начало-то не очень веселое... А немного погодя заговорили вполголоса, зашептались: кто откуда, какой области, как в плен попал; в темноте товарищи из одного взвода или знакомцы из одной роты порастерялись, начали один другого потихоньку окликать. И слышу я рядом с собой такой разговор.

Один говорит: «Если завтра, перед тем как гнать нас дальше, нас выстроят и будут выкликать комиссаров, коммунистов и евреев, то ты, взводный, не прячься! Из этого дела у тебя ничего не выйдет. Ты думаешь, если гимнастерку снял, так за рядового сойдешь? Не выйдет! Я за тебя отвечать не намерен. Я первый укажу на тебя! Я же знаю, что ты коммунист и меня агитировал вступать в партию, вот и отвечай за свои дела». Это говорит ближний ко мне, какой рядом со мной сидит, слева, а с другой стороны от него чей-то молодой голос отвечает: «Я всегда подозревал, что ты, Крыжнев, нехороший человек. Особенно, когда ты отказался вступать в партию, ссылаясь на свою неграмотность. Но никогда я не думал, что ты сможешь стать предателем. Ведь ты же окончил семилетку?» Тот лениво так отвечает своему взводному: «Ну, окончил, и что из этого?» Долго они молчали, потом, по голосу, взводный тихо так и говорит: «Не выдавай меня, товарищ Крыжнев». А тот засмеялся тихонько: «Товарищи, говорит, остались за линией фронта, а я тебе не товарищ, и ты меня не проси, все равно укажу на тебя. Своя рубашка к телу ближе».

Замолчали они, а меня озноб колотит от такой подлечности. «Нет, думаю, не дам я тебе, сучьему сыну, выдать своего командира! Ты у меня из этой церкви не выйдешь, а вытянут тебя, как падлу, за ноги!» Чуть-чуть рассвело — вижу: рядом со мной лежит на спине мордатый парень, руки за голову закинул, а около него сидит в одной исподней рубашке, колени обнял, худенький такой, курносенький парнишка, и очень собою бледный. «Ну, думаю, не справится этот парнишка с таким толстым меринком. Придется мне его кончать».

Тронул я его рукой, спрашиваю шепотом: «Ты — взводный?» Он ничего не ответил, только головою кивнул. «Этот хочет тебя выдать?» — показываю я на лежачего парня. Он обратно головою кивнул. «Ну, говорю, держи ему ноги, чтобы не брыкался! Да поживей!» — а сам упал на этого парня, и замерли мои пальцы у него на глотке. Он и крикнуть не успел. Подержал его под собой минут несколько, приподнялся. Готов предатель, и язык на боку!

До того мне стало нехорошо после этого, и страшно захотелось руки помыть, будто я не человека, а какого-то гада ползучего душил... Первый раз в жизни убил, и то своего... Да какой же он свой? Он хуже чужого, предатель. Встал и говорю взводному: «Пойдем отсюда, товарищ, церковь велика».

Как и говорил этот Крыжнев, утром всех нас выстроили возле церкви, оцепили автоматчиками и трое эсэсовских офицеров начали отбирать вредных им людей. Спросили, кто коммунисты, командиры, комиссары, но таковых не оказалось. Не оказалось и сволочи, какая могла бы выдать, потому что и коммунистов среди нас было чуть не половина, и командиры были, и, само собою, и комиссары были. Только четырех и взяли из двухсот с лишним

человек. Одного еврея и трех русских рядовых. Русские попали в беду потому, что все трое были чернявые с кучерявинкой в волосах. Вот и подходят к такому, спрашивают: «Юде?» Он говорит, что русский, но его и слушать не хотят. «Выходи», — и все.

Расстреляли этих бедолаг, а нас погнали дальше. Взводный, с каким мы предателя придушили, до самой Познани возле меня держался и в первый день нет-нет да и пожмет мне на ходу руку. В Познани нас разлучили по одной такой причине.

Видишь, какое дело, браток, еще с первого дня задумал я уходить к своим. Но уходить хотел наверняка. До самой Познани, где разместили нас в настоящем лагере, ни разу не представился мне подходящий случай. А в Познанском лагере вроде такой случай нашелся: в конце мая послали нас в лесок возле лагеря рыть могилы для наших же умерших военнопленных, много тогда нашего брата мерло от дизентерии; рою я познанскую глину, а сам посматриваю кругом и вот приметил, что двое наших охранников сели закусывать, а третий придремал на солнышке. Бросил я лопату и тихо пошел за куст... А потом — бегом, держу прямо на восход солнца...

Видать, не скоро они спохватились, мои охранники. А вот откуда у меня, у такого тощалого, силы взялись, чтобы пройти за сутки почти сорок километров, — сам не знаю. Только ничего у меня не вышло из моего мечтания: на четвертые сутки, когда я был уже далеко от проклятого лагеря, поймали меня. Собаки сыскные шли по моему следу, они меня и нашли в некошеном овсе.

На заре побоялся я идти чистым полем, а до леса было не меньше трех километров, я и залег в овсе на дневку. Намял в ладонях зерен, пожевал немного и в карманы насыпал про запас — и вот слышу собачий брех, и мотоцикл трещит... Оборвалось у меня сердце, потому что собаки все ближе голоса подают. Лег я плашмя и закрылся руками, чтобы мне они хоть лицо не обгрызли. Ну, добежали и в одну минуту спустили с меня все мое рваньё. Остался в чем мать родила. Катали они меня по овсу, как хотели, и под конец один кобель стал мне на грудь передними лапами и целится в глотку, но пока еще не трогает.

На двух мотоциклах подъехали немцы. Сначала сами били в полную волю, а потом натравили на меня собак, и с меня только кожа с мясом полетели клочьями. Голого, всего в крови и привезли в лагерь. Месяц отсидел в карцере за побег, но все-таки живой... живой я остался!..

Тяжело мне, браток, вспоминать, а еще тяжелее рассказывать о том, что довелось пережить в плену. Как вспомнишь нелюдские муки, какие пришлось вынести там, в Германии, как вспомнишь всех друзей-товарищей, какие погибли, замученные там, в лагерях, — сердце уже не в груди, а в глотке бьется, и трудно становится дышать...

Куда меня только не гоняли за два года плена! Половину Германии объехал за это время: и в Саксонии был, на силикатном заводе работал, и в Рурской области на шахте уголек откапывал, и в Баварии на земляных работах горб наживал, и в Тюрингии побыл, и черт-те где только не пришлось по немецкой земле походить. Природа везде там, браток, разная, но стреляли и били нашего брата везде одинаково. А били богом проклятые гады и паразиты так, как у нас сроду животину не бьют. И кулаками били, и ногами топтали, и резиновыми палками били, и всяческим железом, какое под руку попадет, не говоря уже про винтовочные приклады и прочее дерево.

Били за то, что ты — русский, за то, что на белый свет еще смотришь, за то, что на них, сволочей, работаешь. Били и за то, что не так взглянешь, не так ступнешь, не так повернешься... Били запросто, для того, чтобы когда-нибудь да убить до смерти, чтобы захлебнулся своей последней кровью и подох от побоев. Печей-то, наверно, на всех нас не хватало в Германии.

И кормили везде, как есть, одинаково: полтора ста грамм эрзац-хлеба пополам с опилками и жидкая баланда из брюквы. Кипятки — где давали, а где нет. Да что там говорить, суди сам: до войны весил я восемьдесят шесть килограмм, а к осени тянул уже не больше пятидесяти. Одна кожа осталась на костях, да и кости-то свои носить было не под силу. А работу давай, и слова не скажи, да такую работу, что ломовой лошади и то не в пору.

В начале сентября из лагеря под городом Кюстрином перебросили нас, сто сорок два человека советских военнопленных, в лагерь Б-14, неподалеку от Дрездена. К тому времени в этом лагере было около двух тысяч наших. Все работали на каменном карьере, вручную долбили, резали, крошили немецкий камень. Норма — четыре кубометра в день на душу, заметь, на такую душу, какая и без этого чуть-чуть, на одной ниточке в теле держалась. Тут и началось: через два месяца от ста сорока двух человек нашего эшелона осталось нас пятьдесят семь. Это как, браток? Лихо? Тут своих не успеваешь хоронить, а тут слух по лагерю идет, будто немцы уже Сталинград взяли и прут дальше, на Сибирь. Одно горе к другому, да так гнут, что глаз от земли не поднимаешь, вроде и ты туда, в чужую, немецкую землю, просишься. А лагерная охрана каждый день пьет, песни горланят, радуются, ликут.

И вот как-то вечером вернулись мы в барак с работы. Целый день дождь шел, лохмотья на нас хоть выжми; все мы на холодном ветру продрогли, как собаки, зуб на зуб не попадает. А обсушиться негде, согреться — то же самое, и к тому же голодные не то что до смерти, а даже еще хуже. Но вечером нам еды не полагалось.

Снял я с себя мокрое рвань, кинул на нары и говорю: «Им по четыре кубометра выработки надо, а на могилу каждому из нас

и одного кубометра через глаза хватит». Только и сказал, но ведь нашелся же из своих какой-то подлец, донес коменданту лагеря про эти мои горькие слова.

Комендантом лагеря, или по-ихнему лагерфюрером, был у нас немец Мюллер. Невысокого роста, плотный, белобрысый и сам весь какой-то белый: и волосы на голове белые, и брови, и ресницы, даже глаза у него были белесые, навывкате. По-русски говорил, как мы с тобой, да еще на «о» налегал, будто коренной волжанин. А матерщинничать был мастер ужасный. И где он, проклятый, только и учился этому ремеслу? Бывало, выстроит нас перед блоком — барак они так называли, — идет перед строем со своей сворой эсэсовцев, правую руку держит на отлете. Она у него в кожаной перчатке, а в перчатке свинцовая прокладка, чтобы пальцев не повредить. Идет и бьет каждого второго в нос, кровь пускает. Это он называл «профилактикой от гриппа». И так каждый день. Всего четыре блока в лагере было, и вот он нынче первому блоку «профилактику» устраивает, завтра второму и так далее. Аккуратный был гад, без выходных работал. Только одного он, дурак, не мог сообразить: перед тем как идти ему руку прикладывать, он, чтобы распалить себя, минут десять перед строем ругается. Он матерщинничает почему зря, а нам от этого легче становится: вроде слова-то наши, природные, вроде ветерком с родной стороны подует... Знал бы он, что его ругань нам одно удовольствие доставляет, уж он по-русски не ругался бы, а только на своем языке. Лишь один мой приятель москвич злился на него страшно. «Когда он ругается, — говорит, — я глаза закрою и вроде в Москве, на Зацепе, в пивной сижу, и до того мне пива захочется, что даже голова закружится».

Так вот этот самый комендант на другой день после того, как я про кубометры сказал, вызывает меня. Вечером приходят в барак переводчик и с ним два охранника. «Кто Соколов Андрей?» Я отозвался. «Марш за нами. Тебя сам герр лагерфюрер требует». Понятно, зачем требует. На распыл. Попрощался я с товарищами, все они знали, что на смерть иду, вздохнул и пошел. Иду по лагерному двору, на звезды поглядываю, прощаюсь и с ними, думаю: «Вот и отмучился ты, Андрей Соколов, а по-лагерному — номер триста тридцать первый». Что-то жалко стало Иринку и детишек, а потом жаль эта утихла, и стал я собираться с духом, чтобы глянуть в дырку пистолета бесстрашно, как и подобает солдату, чтобы враги не увидали в последнюю мою минуту, что мне с жизнью расставаться все-таки трудно...

В комендантской — цветы на окнах, чистенько, как у нас в хорошем клубе. За столом — все лагерное начальство. Пять человек сидят, шнапс глушат и салом закусывают. На столе у них початая здоровенная бутылка со шнапсом, хлеб, сало, моченые яблоки, открытые банки с разными консервами. Мигом оглядел

я всю эту жратву, и — не поверишь — так меня замутило, что за малым не вырвало. Я же голодный, как волк, отвык от человеческой пищи, а тут столько добра перед тобою... Кое-как задавил тошноту, но глаза оторвал от стола через великую силу.

Прямо передо мною сидит полупьяный Мюллер, пистолетом играет, перекидывает его из руки в руку, а сам смотрит на меня и не моргнет, как змея. Ну, я руки по швам, стоптанными каблуками щелкнул, громко так докладываю: «Военнопленный Андрей Соколов по вашему приказанию, герр комендант, явился». Он и спрашивает меня: «Так что же, русс Иван, четыре кубометра выработки — это много?» — «Так точно, говорю, герр комендант, много». — «А одного тебе на могилу хватит?» — «Так точно, герр комендант, вполне хватит и даже останется».

Он встал и говорит: «Я окажу тебе великую честь, сейчас лично расстреляю тебя за эти слова. Здесь неудобно, пойдем во двор, там ты и распишешься». — «Воля ваша», — говорю ему. Он постоял, подумал, а потом кинул пистолет на стол и наливает полный стакан шнапса, кусочек хлеба взял, положил на него ломтик сала и все это подает мне и говорит: «Перед смертью выпей, русс Иван, за победу немецкого оружия».

Я было из его рук и стакан взял и закуску, но как только услышал эти слова, — меня будто огнем обожгло! Думаю про себя: «Чтобы я, русский солдат, да стал пить за победу немецкого оружия?! А кое-чего ты не хочешь, герр комендант? Один черт мне умирать, так провались ты пропадом вместе со своей водкой!»

Поставил я стакан на стол, закуску положил и говорю: «Благодарствую за угощение, но я непьющий». Он улыбается: «Не хочешь пить за нашу победу? В таком случае выпей за свою гибель». А что мне было терять? «За свою гибель и избавление от мук я выпью», — говорю ему. С тем взял стакан и в два глотка вылил его в себя, а закуску не тронул, вежливенько вытер губы ладонью и говорю: «Благодарствую за угощение. Я готов, герр комендант, пойдемте, распишете меня».

Но он смотрит внимательно так и говорит: «Ты хоть закуси перед смертью». Я ему на это отвечаю: «Я после первого стакана не закусываю». Наливает он второй, подает мне. Выпил я и второй и опять же закуску не трогаю, на отвагу бью, думаю: «Хоть напьюсь, перед тем как во двор идти, с жизнью расставаться». Высоко поднял комендант свои белые брови, спрашивает: «Что же не закусываешь, русс Иван? Не стесняйся!» А я ему свое: «Извините, герр комендант, я и после второго стакана не привык закусывать». Надул он щеки, фыркнул, а потом как захохочет и сквозь смех что-то быстро говорит по-немецки, видно переводит мои слова друзьям. Те тоже рассмеялись, стульями задвигали, поворачиваются ко мне мордами и уже, замечаю, как-то иначе на меня поглядывают, вроде помягче.

Наливает мне комендант третий стакан, а у самого руки трясутся от смеха. Этот стакан я выпил врасстяжку, откусил маленький кусочек хлеба, остаток положил на стол. Захотелось мне им, проклятым, показать, что хотя я и с голоду пропадаю, но давить-ся ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть свое, русское достоинство и гордость и что в скотину они меня не превратили, как ни старались.

После этого комендант стал серьезный с виду, поправил у себя на груди два железных креста, вышел из-за стола безоружный и говорит: «Вот что, Соколов, ты настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я — тоже солдат и уважаю достойных противников. Стрелять я тебя не буду. К тому же сегодня наши доблестные войска вышли к Волге и целиком овладели Сталинградом. Это для нас большая радость, а потому я великодушно дарю тебе жизнь. Ступай в свой блок, а это тебе за смелость», — и подает мне со стола небольшую буханку хлеба и кусок сала.

Прижал я хлеб к себе изо всей силы, сало в левой руке держу и до того растерялся от такого неожиданного поворота, что и спасибо не сказал, сделал налево кругом, иду к выходу, а сам думаю: «Засветит он мне сейчас промеж лопаток и не донесу ребятам этих харчей». Нет, обошлось. И на этот раз смерть мимо меня прошла, только холодком от нее потянуло...

Вышел я из комендантской на твердых ногах, а во дворе меня развезло. Ввалился в барак и упал на цементовый пол без памяти. Разбудили меня наши еще в потемках: «Рассказывай!» Ну, я припомнил, что было в комендантской, рассказал им. «Как будем харчи делить?» — спрашивает мой сосед по нарам, а у самого голос дрожит. «Всем поровну», — говорю ему. Дождались рассвета. Хлеб и сало резали суровой ниткой. Досталось каждому хлеба по кусочку со спичечную коробку, каждую крошку брали на учет, ну а сала, сам понимаешь, — только губы помазать. Однако поделили без обиды.

Вскорости перебросили нас, человек триста самых крепких, на осушку болот, потом — в Рурскую область на шахты. Там и пробыл я до сорок четвертого года. К этому времени наши уже своротили Германии скулу набок и фашисты перестали пленными брезговать. Как-то выстроили нас, всю дневную смену, и какой-то приезжий обер-лейтенант говорит через переводчика: «Кто служил в армии или до войны работал шофером — шаг вперед». Шагнуло нас семь человек бывшей шоферни. Дали нам поношенную спецовку, направили под конвоем в город Потсдам. Приехали туда, и растрясли нас всех врозь. Меня определили работать в «Тодте» — была у немцев такая шарашкина контора по строительству дорог и оборонительных сооружений.

Возил я на «оппель-адмирале» немца-инженера в чине майора армии. Ох, и толстый же был фашист! Маленький, пузатый,

что в ширину, что в длину одинаковый и в заду плечистый, как справная баба. Спереди у него над воротником мундира три подбородка висят и позади на шее три толстючих складки. На нем, я так определял, не менее трех пудов чистого жиру было. Ходит, пытит, как паровоз, а жрать сядет — только держись! Целый день, бывало, жует да коньяк из фляжки потягивает. Кое-когда и мне от него перепадало; в дороге остановится, колбасы нарежет, сыру, закусывает и выпивает: когда в добром духе, — и мне кусок кинет, как собаке. В руки никогда не давал, нет, считал это для себя за низкое. Но как бы то ни было, а с лагерем же не сравнить, и понемногу стал я запوخаживаться на человека, помалу, но стал поправляться.

Недели две возил я своего майора из Потсдама в Берлин и обратно, а потом послали его в прифронтовую полосу на строительство оборонительных рубежей против наших. И тут я спать окончательно разучился: ночи напролет думал, как бы мне к своим, на родину сбежать.

Приехали мы в город Полоцк. На заре услышал я в первый раз за два года, как громыхает наша артиллерия, и знаешь, браток, как сердце забилося? Холостой еще ходил к Ирине на свиданья, и то оно так не стучало! Бои шли восточнее Полоцка уже километрах в восемнадцать. Немцы в городе злые стали, нервные, а толстяк мой все чаще стал напиваться. Днем за городом с ним ездим, а он распоряжается, как укрепления строить, а ночью в одиночку пьет. Опух весь, под глазами мешки повисли...

«Ну, думаю, ждать больше нечего, пришел мой час! И надо не одному мне бежать, а прихватить с собой и моего толстяка, он нашим сгодится!»

Нашел в развалинах двухкилограммовую гирику, обмотал ее обтирочным тряпьем, на случай, если придется ударить, чтобы крови не было, кусок телефонного провода поднял на дороге, все, что мне надо, усердно приготовил, схоронил под переднее сиденье. За два дня, перед тем как распрощался с немцами, вечером иду с заправки, вижу — идет пьяный, как грязь, немецкий унтер, за стенку руками держится. Остановил я машину, завел его в развалины и вытряхнул из мундира, пилотку с головы снял. Все это имущество тоже под сиденье сунул и был таков.

Утром двадцать девятого июня приказывает мой майор везти его за город, в направлении Тросницы. Там он руководил постройкой укреплений. Выехали. Майор на заднем сиденье спокойно дремлет, а у меня сердце из груди чуть не выскакивает. Ехал я быстро, но за городом добавил газ, потом остановил машину, вылез, огляделся: далеко сзади две грузовые тянутся. Достал я гирику, открыл дверцу пошире. Толстяк откинулся на спинку сиденья, похрапывает, будто у жены под боком. Ну, я его и тюкнул гирикой в левый висок. Он и голову уронил. Для вер-

ности я его еще раз стукнул, но убивать до смерти не захотел. Мне его живого надо было доставить, он нашим должен был много кое-чего порассказать. Вынул я у него из кобуры «парабеллум», сунул себе в карман, монтировку вбил за спинку заднего сиденья, телефонный провод накинул на шею майору и завязал глухим узлом на монтировке. Это чтобы он не свалился на бок, не упал при быстрой езде. Скоренько напялил на себя немецкий мундир и пилотку, ну, и погнал машину напрямик туда, где земля гудит, где бой идет.

Немецкий передний край проскакивал между двух дзотов. Из блиндажа автоматчики выскочили, и я нарочно сбавил ход, чтобы они видели, что майор едет. Но они крик подняли, руками махают, мол, туда ехать нельзя, а я будто не понимаю, подкинул газку и пошел на все восемьдесят. Пока они опомнились и начали бить из пулеметов по машине, а я уже на ничьей земле между воронками петляю, не хуже зайца.

Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели, из автоматов мне навстречу строчат. В четырех местах ветровое стекло пробили, радиатор пропороли пулями... Но вот уже лесок над озером, наши бегут к машине, а я вскочил в этот лесок, дверцу открыл, упал на землю и целую ее, и дышать мне нечем...

Молодой парнишка, на гимнастерке у него защитные погоны, каких я еще в глаза не видал, первым подбегает ко мне, зубы скалит: «Ага, чертов фриц, заблудился?» Рванул я с себя немецкий мундир, пилотку под ноги кинул и говорю ему: «Милый ты мой губошлеп! Сынок дорогой! Какой же я тебе фриц, когда я природный воронежец? В плену я был, понятно? А сейчас отвяжите этого борова, какой в машине сидит, возьмите его портфель и ведите меня к вашему командиру». Сдал я им пистолет и пошел из рук в руки, а к вечеру очутился уже у полковника — командира дивизии. К этому времени меня и накормили, и в баню сводили, и допросили, и обмундирование выдали, так что явился я в блиндаж к полковнику, как и полагается, душой и телом чистый и в полной форме. Полковник встал из-за стола, пошел мне навстречу. При всех офицерах обнял и говорит: «Спасибо тебе, солдат, за дорогой гостинец, какой привез от немцев. Твой майор с его портфелем нам дороже двадцати «языков». Буду ходатайствовать перед командованием о представлении тебя к правительственной награде». А я от этих слов его, от ласки сильно волнуюсь, губы дрожат, не повинуются, только и мог из себя выдавить: «Прошу, товарищ полковник, зачислить меня в стрелковую часть».

Но полковник засмеялся, похлопал меня по плечу: «Какой из тебя вояка, если ты на ногах еле держишься? Сегодня же отправлю тебя в госпиталь. Подлечат тебя там, подкормят, после этого домой к семье на месяц в отпуск съездишь, а когда вернешься к нам, посмотрим, куда тебя определить».

И полковник, и все офицеры, какие у него в блиндаже были, душевно попрощались со мной за руку, и я вышел окончательно разволнованный, потому что за два года отвык от человеческого обращения. И заметь, браток, что еще долго я, как только с начальством приходилось говорить, по привычке невольно голову в плечи втягивал, вроде боялся, что ли, как бы меня не ударили. Вот как образовали нас в фашистских лагерях...

Из госпиталя сразу же написал Ирине письмо. Описал все коротко, как был в плену, как бежал вместе с немецким майором. И, скажи на милость, откуда эта детская похвальба у меня взялась? Не утерпел-таки, сообщил, что полковник обещал меня к награде представить...

Две недели спал и ел. Кормили меня помалу, но часто, иначе, если бы давали еды вволю, я бы мог загнуться, так доктор сказал. Набрался силенок вполне. А через две недели куска в рот взять не мог. Ответа из дома нет, и я, признаться, затосковал. Еда и на ум не идет, сон от меня бежит, всякие дурные мыслишки в голову лезут... На третьей неделе получаю письмо из Воронежа. Но пишет не Ирина, а сосед мой, столяр Иван Тимофеевич. Не дай бог никому таких писем получать!.. Сообщает он, что еще в июне сорок второго года немцы бомбили авиазавод и одна тяжелая бомба попала прямо в мою хатенку. Ирина и дочери как раз были дома... Ну, пишет, что не нашли от них и следа, а на месте хатенки — глубокая яма... Не дочитал я в этот раз письмо до конца. В глазах потемнело, сердце сжалось в комок и никак не разжимается. Прилег я на койку, немного отлежался, дочитал. Пишет сосед, что Анатолий во время бомбежки был в городе. Вечером вернулся в поселок, посмотрел на яму и в ночь опять ушел в город. Перед уходом сказал соседу, что будет проситься добровольцем на фронт. Вот и все.

Когда сердце разжалось и в ушах зашумела кровь, я вспомнил, как тяжело расставалась со мной моя Ирина на вокзале. Значит, еще тогда подсказало ей бабье сердце, что больше не увидимся мы с ней на этом свете. А я ее тогда оттолкнул... Была семья, свой дом, все это лепилось годами, и все рухнуло в единый миг, остался я один. Думаю: «Да уж не приснилась ли мне моя нескладная жизнь?» А ведь в плену я почти каждую ночь про себя, конечно, и с Ириной и с детишками разговаривал, подбадривал их: дескать, я вернусь, мои родные, не горюйте обо мне, я крепкий, я выживу, и опять мы будем все вместе... Значит, я два года с мертвыми разговаривал?!

Рассказчик на минуту умолк, а потом сказал уже иным, прерывистым и тихим голосом:

— Давай, браток, перекурим, а то меня что-то удушье давит.

Мы закурили. В залитом полую водою лесу звонко выстукивал дятел. Все так же лениво шевелил сухие сережки на ольхе теплый

ветер; все так же, словно под тугими белыми парусами, проплывали в вышней синеве облака, но уже иным показался мне в эти минуты скорбного молчания безбрежный мир, готовящийся к великим свершениям весны, к вечному утверждению живого в жизни.

Молчать было тяжело, и я спросил:

— Что же дальше?

— Дальше-то? — нехотя отозвался рассказчик. — Дальше я получил от полковника месячный отпуск, через неделю был уже в Воронеже. Пешком дотопал до места, где когда-то семейно жил. Глубокая воронка, налитая ржавой водой, кругом бурьян по пояс... Глушь, тишина кладбищенская. Ох, и тяжело же было мне, браток! Постоял, поскорбел душою и опять пошел на вокзал. И часу оставаться там не мог, в этот же день уехал обратно в дивизию.

Но месяца через три и мне блеснула радость, как солнышко из-за тучи: нашелся Анатолий. Прислал письмо мне на фронт, видать, с другого фронта. Адрес мой узнал от соседа, Ивана Тимофеевича. Оказывается, попал он поначалу в артиллерийское училище; там-то и пригодились его таланты к математике. Через год с отличием закончил училище, пошел на фронт и вот уже пишет, что получил звание капитана, командует батареей «сорокаляток», имеет шесть орденов и медали. Словом, обшталовал родителя со всех концов. И опять я возгордился им ужасно! Как ни крути, а мой родной сын — капитан и командир батареи, это не шутка! Да еще при таких орденах. Это ничего, что отец его на «студебеккере» снаряды возит и прочее военное имущество. Отцово дело отжитое, а у него, у капитана, все впереди.

И начались у меня по ночам стариковские мечтания: как война кончится, как я сына женю и сам при молодых жить буду, плотничать и внучат нянчить. Словом, всякая такая стариковская штука. Но и тут получилась у меня полная осечка. Зимой наступали мы без передышки, и особо часто писать друг другу нам было некогда, а к концу войны, уже возле Берлина, утром послал Анатолию письмишко, а на другой день получил ответ. И тут я понял, что подошли мы с сыном к германской столице разными путями, но находимся один от одного поблизости. Жду не дождусь, прямо-таки не чаю, когда мы с ним свидимся. Ну, и свиделись... Аккурат девятого мая, утром, в День Победы, убил моего Анатолия немецкий снайпер...

Во второй половине дня вызывает меня командир роты. Гляжу, сидит у него незнакомый мне артиллерийский подполковник. Я вошел в комнату, и он встал, как перед старшим по званию. Командир моей роты говорит: «К тебе, Соколов», — а сам к окну отвернулся. Пронизало меня, будто электрическим током, потому что почуял я недоброе. Подполковник подошел ко мне и тихо говорит: «Мужайся, отец! Твой сын, капитан Соколов, убит сегодня на батарее. Пойдем со мной!»

Качнулся я, но на ногах устоял. Теперь и то как сквозь сон вспоминаю, как ехал вместе с подполковником на большой машине, как пробирались по заваленным обломками улицам, туманно помню солдатский строй и обитый красным бархатом гроб. А Анатолия вижу вот как тебя, браток. Подошел я к гробу. Мой сын лежит в нем и не мой. Мой — это всегда улыбчивый узкоплечий мальчишка, с острым кадыком на худой шее, а тут лежит молодой, плечистый, красивый мужчина, глаза полуприкрыты, будто смотрит он куда-то мимо меня, в неизвестную мне далекую даль. Только в уголках губ так навеки и осталась смешинка прежнего сынишки Тольки, какого я когда-то знал. Поцеловал я его и отошел в сторонку. Подполковник речь сказал. Товарищи — друзья моего Анатолия слезы вытирают, а мои невыплаканные слезы, видно, на сердце засохли. Может, поэтому оно так и болит?..

Похоронил я в чужой, немецкой земле последнюю свою радость и надежду, ударила батарея моего сына, провожая своего командира в далекий путь, и словно что-то во мне оборвалось... Приехал я в свою часть сам не свой. Но тут вскорости меня демобилизовали. Куда идти? Неужто в Воронеж? Ни за что! Вспомнил, что в Урюпинске живет мой дружок, демобилизованный еще зимой по ранению, — он когда-то приглашал к себе, — вспомнил и поехал в Урюпинск.

Приятель мой и жена его были бездетные, жили в собственном домике на краю города. Он хотя и имел инвалидность, но работал шофером в автороте, устроился и я туда же. Поселился у приятеля, приютили они меня. Разные грузы перебрасывали мы в районы, осенью переключились на вывозку хлеба. В это время я и познакомился с моим новым сынком, вот с этим, какой в песке играет.

Из рейса, бывало, вернешься в город — понятно, первым делом в чайную перехватить чего-нибудь... ну, конечно, и сто грамм выпить с устатка. К этому вредному делу, надо сказать, я уже пристрастился как следует... И вот один раз вижу возле чайной этого парнишку, на другой день — опять вижу. Этакий маленький оборвыш: личико все в арбузном соку, покрытом пылью, грязный, как прах, нечесанный, а глазенки — как звездочки ночью, после дождя! И до того он мне полюбился, что я уже, чудное дело, начал скучать по нем, спешу из рейса поскорее его увидеть. Около чайной он и кормился, — кто что даст.

На четвертый день, прямо из совхоза, груженный хлебом, подворачиваю к чайной. Парнишка мой там сидит на крыльце, ножонками болтает и, по всему виду, голодный. Высунулся я в окошко и кричу ему: «Эй, Ванюшка! Садись скорее на машину, прокачу на элеватор, а оттуда вернемся сюда, пообедаем». Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца, на подножку вска-

рабкался и тихо так говорит: «А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваней зовут?» И глазенки широко раскрыл, ждет, что я ему отвечу. Ну, я ему говорю, что я, мол, человек бывалый и все знаю.

Зашел он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой, поехали. Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался и нет-нет да и взглянет на меня из-под длинных своих, загнутых кверху ресниц, вздохнет. Такая мелкая птаха, а уже научился вздыхать. Его ли это дело? Спрашиваю: «Где же твой отец, Ваня?» Шепчет: «Погиб на фронте». — «А мама?» — «Маму бомбой убило в поезде, когда мы ехали». — «А откуда вы ехали?» — «Не знаю, не помню...» — «И никого у тебя родных нету?» — «Никого». — «Где же ты ночуешь?» — «А где придется».

Закипела тут во мне горячая слеза, и сразу я решил: «Не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать! Возьму его к себе в дети». И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю: «Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?» Он и спросил, как выдохнул: «Кто?» Я ему и говорю так же тихо: «Я твой отец».

Боже мой, что тут произошло! Кинулся он ко мне на шею, целует в щеки, в губы, в лоб, а сам, как свиристель, так звонко и тоненько кричит, что даже в кабинке глушно: «Папка, родненький! Я знал! Я знал, что ты меня найдешь! Все равно найдешь! Я так долго ждал, когда ты меня найдешь!» Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в глазах туман и тоже всего дрожь бьет, и руки трясутся... Как я тогда руля не упустил, диву можно дать! Но в кювет все же нечаянно съехал, заглушил мотор. Пока туман в глазах не прошел, побоялся ехать: как бы на кого не наскочить. Постоял так минут пять, а сынок мой все жмет ко мне изо всех силенок, молчит, вздрагивает; обнял я его правой рукой, потихоньку прижал к себе, а левой развернул машину, поехал обратно, на свою квартиру. Какой уж там мне элеватор, когда мне не до элеватора было.

Бросил машину возле ворот, нового своего сынишку взял на руки, несу в дом. А он как обвил мою шею ручонками, так и не оторвался до самого места. Прижался своей щекой к моей небритой щеке, как прилип. Так я его и внес. Хозяин и хозяйка в аккурат дома были. Вошел я, моргаю им обоим глазами, бодро так говорю: «Вот и нашел я своего Ванюшку! Принимайте нас, добрые люди!» Они оба, мои бездетные, сразу сообразили, в чем дело, засуетились, забегали. А я никак сына от себя не оторву. Но кое-как уговорил. Помыл ему руки с мылом, посадил за стол. Хозяйка щей ему в тарелку налила, да как глянула, с какой он жадностью ест, так и залилась слезами. Стоит у печки, плачет себе в передник. Ванюшка мой увидал, что она плачет, подбежал к ней, дергает ее за подол и говорит: «Тетя, зачем же вы плачете? Папа нашел меня возле чайной, тут всем радоваться надо, а вы

плачете». А той — подай бог, она еще пуще разливается, прямо-таки размокла вся!

После обеда повел я его в парикмахерскую, постриг, а дома сам искупал в корыте, завернул в чистую простыню. Обнял он меня и так на руках моих и уснул. Осторожно положил его на кровать, поехал на элеватор, сгрузил хлеб, машину отогнал на стоянку — и бегом по магазинам. Купил ему штанишки суконные, рубашку, сандалии и картуз из мочалки. Конечно, все это оказалось и не по росту и качеством никуда не годное. За штанишки меня хозяйка даже разругала. «Ты, говорит, с ума спятил, в такую жару одевать дитя в суконные штаны!» И моментально — швейную машинку на стол, порылась в сундуке, а через час моему Ванюшке уже сатиновые трусики были готовы и беленькая рубашонка с короткими рукавами. Спать я лег вместе с ним и в первый раз за долгое время уснул спокойно. Однако ночью раза четыре вставал. Проснись, а он у меня под мышкой приютится, как воробей под застрехой, тихонько посапывает, и до того мне становится радостно на душе, что и словами не скажешь! Норовишь не ворохнуться, чтобы не разбудить его, но все-таки не утерпишь, потихоньку встанешь, зажжешь спичку и любишься на него...

Перед рассветом проснулся, не пойму, с чего мне так душно стало? А это сынок мой вылез из простыни и поперек меня улегся, раскинулся и ножонкой горло мне придавил. И беспокоюсь с ним спать, а вот привык, скучно мне без него. Ночью то погладишь его сонного, то волосенки на вихрах понюхаешь, и сердце отходит, становится мягче, а то ведь оно у меня закаменело от горя...

Первое время он со мной на машине в рейсы ездил, потом понял я, что так не годится. Одному мне что надо? Краюшку хлеба и луковицу с солью, вот и сыт солдат на целый день. А с ним — дело другое: то молока ему надо добывать, то яичко сварить, опять же без горячего ему никак нельзя. Но дело-то не ждет. Собрался с духом, оставил его на попечение хозяйки: так он до вечера слезы точил, а вечером удрал на элеватор встречать меня. До поздней ночи ожидал там.

Трудно мне с ним было на первых порах. Один раз легли спать еще засветло, днем наморился я очень, и он-то всегда щебечет, как воробушек, а тут что-то примолчался. Спрашиваю: «Ты о чем думаешь, сынок?» А он меня спрашивает, сам в потолок смотрит: «Папка, ты куда свое кожаное пальто дел?» В жизни у меня никогда не было кожаного пальто! Пришлось изворачиваться: «В Воронеже осталось», — говорю я ему. «А почему ты меня так долго искал?» Отвечаю ему: «Я тебя, сынок, и в Германии искал, и в Польше, и всю Белоруссию прошел и проехал, а ты в Урюпинске оказался». — «А Урюпинск — это ближе к Германии? А до Польши далеко от нашего дома?» Так и болтаем с ним перед сном.

А ты думаешь, браток, про кожаное пальто он зря спросил? Нет, все это неспроста. Значит, когда-то отец его настоящий носил такое пальто, вот ему и запомнилось. Ведь детская память, как летняя зарница: вспыхнет, накоротке осветит все и потухнет. Так и у него память, вроде зарницы, проблесками работает.

Может, и жили бы мы с ним еще годик в Урюпинске, но в ноябре случился со мной грех: ехал по грязи, в одном хуторе машину мою занесло, а тут корова подвернулась, и я сбил ее с ног. Ну, известное дело, бабы крик подняли, народ сбежался и автоинспектор тут как тут. Отобрал у меня шоферскую книжку, как я ни просил его смириться. Корова поднялась, хвост задрала и пошла скакать по переулкам, а я книжки лишился. Зиму проработал плотником, а потом списался с одним приятелем, тоже сослуживцем, — он в вашей области, в Кашарском районе, работает шофером, — и тот пригласил меня к себе. Пишет, что, мол, поработаешь полгода по плотницкой части, а там в нашей области выдадут тебе новую книжку. Вот мы с сынком и командиремся в Кашары походным порядком.

Да оно, как тебе сказать, и не случись у меня этой аварии с коровой, я все равно подался бы из Урюпинска. Тоска мне не дает на одном месте долго засиживаться. Вот уже когда Ванюшка мой подрастет и придется определять его в школу, тогда, может, и я угомонюсь, осяду на одном месте. А сейчас пока шагаем с ним по русской земле.

— Тяжело ему идти, — сказал я.

— Так он вовсе мало на своих ногах идет, все больше на мне едет. Посажу его на плечи и несу, а захочет промяться, — слезает с меня и бежит сбоку дороги, взбрыкивает, как козленок. Все это, браток, ничего бы, как-нибудь мы с ним прожили бы, да вот сердце у меня раскачалось, поршня надо менять... Иной раз так схватит и прижмет, что белый свет в глазах меркнет. Боюсь, что когда-нибудь во сне помру и напугаю своего сынишку. А тут еще одна беда: почти каждую ночь своих покойников дорогих во сне вижу. И все больше так, что я — за колючей проволокой, а они на воле, по другую сторону. Разговариваю обо всем и с Ириной и с детишками, но только хочу проволоку руками раздвинуть — они уходят от меня, будто тают на глазах... И вот удивительное дело: днем я всегда крепко себя держу, из меня ни «оха» ни вздоха не выжмешь, а ночью проснусь, и вся моя подушка мокрая от слез...

В лесу слышался голос моего товарища, плеск весла по воде.

Чужой, но ставший мне близким человек поднялся, протянул большую, твердую, как дерево, руку:

— Прощай, браток, счастливо тебе!

— И тебе счастливо добраться до Кашар.

— Благодарствую. Эй, сынок, пойдем к лодке.

Мальчик подбежал к отцу, пристроился справа и, держась за полу отцовского ватника, засеменял рядом с широко шагавшим мужчиной.

Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы... Что-то ждет их впереди? И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек неsgiбаемой воли, выдюжит, и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина.

С тяжелой грустью смотрел я им вслед... Может быть, все и обошлось бы благополучно при нашем расставанье, но Ванюшка, отойдя несколько шагов и заплетая куцыми ножками, повернулся на ходу ко мне лицом, помахал розовой ручонкой. И вдруг словно мягкая, но когтистая лапа сжала мне сердце, и я поспешно отвернулся. Нет, не только во сне плачут пожилые, поседевшие за годы войны мужчины. Плачут они и наяву. Тут главное — уметь вовремя отвернуться. Тут самое главное — не ранить сердце ребенка, чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза...

КОНСТАНТИН СИМОНОВ

Пантелеев

(Из «Записок Лопатина»)

Повесть

1

Корреспондент «Красной звезды», интендант второго ранга Лопатин сидел в приемной члена Военного совета Крымской армии, ждал адъютанта и смотрел в окно.

Шел четвертый месяц войны. Симферополь жил полувоенной-полумирной жизнью конца сентября 1941 года. Под окнами штаба из запыленных «эмок», обтирая платками черные от пыли лица, вылезали обвешанные оружием командиры, только что приехавшие с Перекопа и Чонгара. На другой стороне, у ларька с голубой вывеской «Мороженое», толпились в очереди пестро, по-летнему одетые женщины. Стояла сухая осенняя крымская жара.

Лопатин только вчера вечером вернулся из двадцатидневного плавания на подводной лодке, застал на узле связи пачку раздраженных телеграмм редактора и, до утра просидев за машинкой, по телефону, кружным путем, через Керчь и Ростов, продиктовал статью редакционной стенографистке.

Пока Лопатин был в плавании, положение на юге ухудшилось, и хотя в утреннем сообщении Информбюро стояла та же самая фраза, что он читал двадцать дней назад — «наши войска вели бои с противником на всем фронте», — сидевшие в Симферополе газетчики рассказали, что за это время немцы переправились через Днепр у Каховки и, выйдя к Мариуполу, отрезали Крым.

Утром по телефону Лопатин не застал редактора и теперь колебался — лететь ли в Москву, как было условлено раньше, или в связи с новой обстановкой оставаться в Крыму.

Желание решить свое ближайшее будущее и привело Лопатина к члену Военного совета армии, дивизионному комиссару Пантелееву. Надо было посоветоваться с ним и попытаться дозвониться по ВЧ до редактора.

Дверь кабинета отворилась, из нее выбежал с папкой бумаг совсем молоденький младший политрук. У него было розовое, чистенькое лицо, еще сохранившее ту улыбку, с которой он выслушал последнюю шутку начальства. Положив папку на стол, он вопросительно посмотрел на Лопатина.

— Вы адъютант члена Военного совета? — спросил Лопатин, поднимаясь со стула, хотя и был старше по званию.

— Да.

— Доложите, пожалуйста, обо мне дивизионному комиссару. Лопатин назвал газету, свое звание и фамилию.

Минуту спустя он уже входил в кабинет мимо посторонившегося адъютанта. За письменным столом, сзади которого, у стены, стояла заправленная солдатским одеялом койка, сидел дивизионный комиссар Пантелеев, бритоголовый, краснолицый человек с очень черными бровями. Лопатину не пришлось быть на финской войне, но он слышал от своих товарищей, служивших в армейской газете на Карельском перешейке, много рассказов о Пантелееве как о человеке замечательной храбрости.

Здороваясь, Пантелеев привстал. Он был невысок ростом и плотен. На нем была бумажная гимнастерка с двумя орденами Красного Знамени и синие суконные бриджи. На толстые, короткие ноги были натянуты только что начищенные, резко пахнущие ваксой сапоги.

Он слушал Лопатина, глядя прямо на него своими черными глазами и потирая бритую голову то в одном месте, то в другом, словно проверяя, хорошо ли побрил его парикмахер.

Узнав, что Лопатин хочет созвониться с редактором, Пантелеев приостановил его движением руки, снял трубку ВЧ и приказал, чтобы его соединили с Москвой.

— Положение у нас в Крыму такое, — сказал он, до конца дослушав Лопатина, — войска стоят на позициях, оборона готова, немцы подошли вплитирку, но когда начнут — трудно сказать. Крыма им, пока живы, не отдадим, — значит, придется драться. — Пантелеев сказал это безо всякой аффектации и улыбнулся.

В эту секунду у него за спиной затрещал телефон, и он, быстро повернувшись, снял трубку. Судя по восклицаниям Пантелеева, Лопатин понял, что они с редактором на короткой ноге.

— А ты оставь его у меня насовсем, чего ему ездить взад-вперед, — говорил в трубку Пантелеев. — Почему жирно, ничего не жирно, у тебя их много, а мы начинающие, только еще воевать начинаем. Берите трубку, — сказал он Лопатину и снова улыбнулся.

Сквозь сухое многоголосое жужжание ВЧ Лопатин услышал знакомый кашляющий голос редактора.

— Оставайся пока у Пантелеева, — сказал редактор. — Только, когда будешь ездить с ним, — смотри! А то я его знаю — и сам угробится и тебя угробит. — Редактор хохотнул в телефон, и его далекий московский смешок оборвался где-то посередине.

— Значит, остаетесь, — сказал Пантелеев и быстро и внимательно, уже как личную собственность, оглядел своими черными глазами Лопатина.

Перед ним на стуле, нескладно растопырив ноги в сапогах со слишком широкими голенищами, сидел худощавый человек в роговых профессорских очках. Лицо у него было узкое и худое, слишком широкий воротник хомутом стоял вокруг жилистой шеи, а редкие волосы были зачесаны на пробор. Этот человек показался Пантелееву чем-то похожим на одного знакомого ему по финской войне известного писателя, но книг Лопатина он не читал, хотя в документах интенданта второго ранга тоже значилось: писатель.

— А вы не больны? — недоверчиво спросил Пантелеев, вглядываясь в бледное после долгого подводного плавания лицо Лопатина.

— Нет, не болен.

— А жилье у вас есть?

— Есть койка в гостинице, — сказал Лопатин.

— Будьте здесь завтра в шесть утра, — сказал Пантелеев, вставая и с пяток на носки покачиваясь на коротких толстых ногах. — Поедем на Перекоп. — И он пожал Лопатину руку.

Вернувшись в гостиницу, Лопатин лег в постель, так и не поев в этот день. Он рассчитывал перекусить запасами, оставленными в вещевом мешке перед уходом в плавание, но мешок был пуст, даже от сухарей остались одни крошки. Редакционный шофер Мартьянов, с которым Лопатину и раньше не удавалось поставить себя в положение начальника, за три недели его отсутствия, очевидно, совсем отбилась от рук. Ни в гостинице, ни около нее не было ни Мартьянова, ни машины, он даже не посчитал нужным оставить хотя бы записку. Усмехнувшись над своей начинавшей ему самому надоедать безрукостью, Лопатин сбросил сапоги, не раздеваясь, повалился на койку и заснул мертвым сном.

2

В пять утра, когда Лопатин проснулся, ни шофера, ни машины все еще не было. Оставалось надеяться, что у Пантелеева найдется лишнее место.

У подъезда штаба стояла «эмка». Розовый младший политрук, держа в руках небольшой чемоданчик, — «наверное, с едой», —

завистливо подумал Лопатин, — бранил немолодого шофера в плохо пригнанном новом обмундировании.

— Так ведь, товарищ Велихов, — оправдываясь, говорил шофер, прикручивая проволокой бачок с запасным бензином к заднему буферу машины, — вы же поймите...

— Во-первых, обращайтесь по званию, — строго прервал его розовый младший политрук и, увидев Лопатина, подчеркнуто официально козырнул ему. — А во-вторых, я все помню: велено было вам взять три банки, а вы взяли две.

— Так ведь для рессор будет тяжело, — не отрываясь от своего занятия, миролюбиво ворчал шофер. — Ведь дорога-то какая...

— Я не слышу, что вы там говорите. Встаньте, когда говорите с командиром.

Шофер, прикручивавший бак сидя на корточках, встал, неловко опустив руки по швам. По его лицу было видно, что он обижен, с удовольствием послал бы адъютанта к чертовой матери, но не решается.

В эту минуту из подъезда вышел Пантелеев.

— Ну как у вас, все готово? — обратился он к шоферу.

— Все в порядке, товарищ Пантелеев, — весело сказал шофер, торопливо вытирая руки тряпьем.

Младший политрук посмотрел на него уничтожающим взглядом, — он даже дивизионного комиссара ухитрился называть не по званию. Однако сделать замечание в присутствии начальника адъютант не посмел и только, зло поджав пухлые губы, глянул в спину шофера: мол, погоди, придет время, я с тобой поговорю!

— Раз все в порядке, — значит, едем, — сказал Пантелеев и, пожав руку Лопатину, сел впереди.

Лопатин и политрук сели сзади. Шофер захлопнул дверцу, и машина тронулась.

Пантелеев снял фуражку, и через минуту его бритая голова стала беспомощно склоняться то вправо, то влево. Он спал. Лопатин и адъютант ехали молча. Лопатина клонило ко сну, а младший политрук, открыв до отказа боковое стекло и высунув в него голову, неотрывно следил за воздухом.

Через два часа, когда машина подъехала к развилке дорог, из которых одна шла к Перекопу, а другая поворачивала на Чонгар, Пантелеев, как по команде, проснулся, пошарил рукой и, надев скатившуюся на пол машины фуражку, сказал шоферу, чтобы тот сворачивал направо, к Чонгару. Лопатин не собирался ничего спрашивать, но Пантелеев сам повернулся к нему, чтобы объяснить, почему они едут на Чонгар, а не к Перекопу, как собирались вчера.

Оказывается, на Перекопе по-прежнему была тишина, а на Чонгаре немцы вчера днем неожиданно вышли к станции Саль-

ково, лежавшей перед нашим передним краем, и заняли ее. Сальково по предварительному плану оборонять не предполагалось, но батальон, стоявший там в охране, после внезапной атаки немцев оказался отрезанным на той стороне, за станцией.

— Я там был вчера вечером, — сказал Пантелеев, и Лопатин понял, почему он сразу, сев в машину, заснул. Очевидно, он сегодня ночью не ложился спать. — Попытались в ночном бою отбить станцию и вывести батальон. Сегодня придется повторить — вчера ничего не вышло.

И он стал рассказывать, почему не вышло: кругом все уже было заминировано, и, для того чтобы прорваться к Салькову, оставалась только узкая полоса в несколько десятков метров с двух сторон железной дороги. Полк был еще не воевавший, да вдобавок недавно развернутый, укомплектованный из запаса, как, впрочем, и вся дивизия. В ночном бою все перепуталось — чуть не постреляли друг друга. Пришлось остановиться, чтобы навести порядок, подготовить огонь артиллерии и сегодня утром начать все сначала.

— Ну и командир дивизии вчера, по правде сказать... — Пантелеев оборвал себя на полуслове и, обращаясь к младшему политруку, сказал: — Спел бы, а, Велихов! Прилетят — услышим. Опустит стекло — пыль!

Велихов опустил стекло. Несколько секунд его лицо сохраняло обиженное выражение — он заботился о безопасности дивизионного комиссара, а тот сказал об этом так, словно адъютант следил за воздухом из трусости. Потом он задумался и негромко, душевным тенором затянул песню о коногоне, которого завалило в шахте. «...а молодого коногона его товарищи несут...» — пел он, и его розовое молодое лицо делалось с каждым куплетом песни все добрей и печальней. Лопатин никогда не слышал этой песни.

— Наша, шахтерская, — сказал Пантелеев и согнутым пальцем потер глаз.

— А вы откуда, товарищ Пантелеев? — спросил неисправимый шофер, и у младшего политрука снова сделалось сердитое лицо.

— Я-то? — воспринимая это штатское обращение к себе как самое естественное, переспросил Пантелеев. — Из-под Енакиево. А вы?

— Ворошиловградский, — сказал шофер и затормозил. — По моему, теперь налево?

— Второй раз едете, надо помнить! — сказал Пантелеев и, прищурясь, посмотрел налево. — Сворачивайте.

Через пять минут «эмка» подъехала к штабу дивизии. Он размещался в километре от видневшегося на пригорке небольшого хутора. Повсюду змеились ходы сообщения. Несмотря на здешнюю бедность лесом, штабные землянки были перекрыты

толстыми бревнами в три-четыре наката, чувствовалось, что в смысле противовоздушной защиты тут постарались на совесть.

Адъютант командира дивизии, прислушиваясь к воздуху, заметно нервничал и, покрикивая на шофера, поспешно загонял под маскировочную сетку «эмку», на которой приехали Пантелеев и Лопатин.

Командир дивизии — генерал-майор с лицом, которое было трудно запомнить, встретил приехавшего Пантелеева так подострастно, что показался Лопатину меньше ростом, чем был на самом деле. Поскрипывая новыми ремнями, он все время нагибался с высоты своего саженого роста к Пантелееву, шлепая ему губами в самое ухо, и мягко, но настойчиво теснил Пантелеева по ходу сообщения. Он хотел вести предстоявший ему неприятный разговор внизу, в блиндаже. Наконец Пантелеев отодвинулся от него, с недоброжелательным интересом посмотрел генерал-майору прямо в глаза и, выйдя из хода сообщения, сел на траву на открытом месте.

— Садитесь, — сказал он генерал-майору, сердито хлопнув рукой по земле.

Генерал-майор хотел удержаться и не взглянуть на небо, но не удержался, все-таки взглянул и только после этого сел рядом с Пантелеевым.

— Вас что, разбомбили, что ли? — взглянув сначала на небо, а потом на генерал-майора, спросил Пантелеев.

— Как? Почему разбомбили? — не поняв насмешки, переспросил генерал.

— А я думал, разбомбили, — сказал Пантелеев, — больно уж вас под землю тянет. Как с Сальково?

— В десять пятнадцать, как приказано командующим, повторим атаку, — ответил генерал-майор и, побоявшись, что задел самолюбие члена Военного совета, поправился: — Как приказано Военным советом армии, так и будет сделано.

Пантелеев поморщился.

— Приказано, приказано, — проворчал он. — Вам вчера было приказано, а вы дотянули до ночи и провалили.

— Неудача, товарищ член Военного совета, — развея руками, сказал генерал. — Случается! Вы сами вчера видели.

— Неудачу-то я видел, — проговорил Пантелеев медленно и задумчиво, словно восстанавливая перед глазами зрелище вчерашней неудачи. — Неудачу-то я видел, — повторил он, — а вот вас там, где была у вас неудача, я не видел. Командира полка видел, а вас нет.

— Совершенно правильно, — с покорным бесстыдством сказал генерал. — Я на другом боевом участке в это время был.

— На другом? — Пантелеев посмотрел на генерала, потом на щель, в конце которой виднелся вход в генеральский блиндаж,

и хмыкнул. — А сегодня, — после паузы спросил он, — тоже будете во время атаки на другом участке, или как?

— Никак нет, — сказал генерал и, завернув рукав гимнастерки, посмотрел на большие часы. — В девять тридцать прибудет командующий и двинемся вместе на НП полка.

— Командующий? — протянул Пантелеев.

То, что сюда приедет командующий, было для него неожиданностью.

— Так точно, пятнадцать минут назад звонил, предупреждал, — сказал генерал, в душе довольный тем, что с приездом командующего он уже не будет один на один с Пантелеевым — непрошеным свидетелем его вчерашней неудачи.

— Он мне с ночи не говорил, — значит, передумал, — сказал Пантелеев. — Слушайте, товарищ Кудинов, — он впервые назвал генерала по фамилии, — а как у вас все-таки на сегодня дела на Арабатской Стрелке, только не в общих чертах, а конкретно?

— Под утро прошел слух, что туда ночью просочились немцы.

— Вот именно, — перебил его Пантелеев, — об этом я и спрашиваю.

Кудинов чуть заметно пожал плечами.

— По полученным нами предварительным сведениям, это не соответствует действительности, но я дал приказание, чтобы в дальнейшем уточнили окончательно.

— Предварительно... окончательно... — пробурчал еле слышно, но сердито Пантелеев, — а конкретно — порядок там у вас или нет?

— Порядок! — набрав полную грудь воздуха, отчеканил генерал.

— Ну ладно, — сказал Пантелеев, вставая и протягивая ему руку. — Дожидайтесь командующего и воюйте.

— А вы? — удивленно спросил Кудинов.

— А я, раз у вас там все в порядке, поеду на Арабатскую Стрелку... Посмотрю, какой у вас там порядок...

Он сказал это с грубоватой иронией, к которой Лопатин начинал привыкать, — она означала, что Пантелеев ни на грош не верит в тот порядок, о котором ему доложил генерал.

— А может быть, позавтракаете в ожидании приезда командующего, — там, на хуторе, у меня все приготовлено, а, Андрей Семенович?

Кудинов жестом хозяина, показывающего на дверь в столовую, протянул руку в сторону белевшего на бугре хуторка. Он был зол и обижен на Пантелеева, но не собирался этого показывать — желание загладить вчерашнее было сильнее обиды.

— Нет уж, поеду. Спасибо, — буркнул Пантелеев. — А позавтракать все ж таки надо, — сказал он, зевая и потягиваясь, через

пятнадцать минут после того, как они отъехали от кудиновского штаба. — Вы кушали?

Лопатин подумал, что этот вопрос относится к нему, и хотел ответить, но, оказывается, Пантелеев спросил не его, а шофера.

— Немножко подзаправился, — ответил шофер.

— На немножко далеко не уедешь, — сказал Пантелеев и обратился на этот раз уже к Лопатину: — А вы?

— Не успел, — сказал Лопатин.

— И мы с Велиховым тоже не завтракали, — кивнув на адъютанта, сказал Пантелеев. — Я у Кудинова отказался, потому что боялся — он хоть и на хуторе, а все же куда-нибудь в щель засадит. Сворачивайте к копне, вон к той, дальней... — показал он шоферу.

Через минуту машина стала в тени огромной копны сена. Высоко над степью кружился немецкий разведчик. С разных сторон по нему лениво постреливали из пулеметов и винтовок.

Велихов открыл чемоданчик, раскинул на сене салфетку, достал помидоры, огурцы, хлеб, крутые яйца и термос с чаем. Разложив все на салфетке, он подошел к шоферу и стал злым, хорошо слышным шепотом снова, как в Симферополе, пилить его, требуя, чтобы тот развернул машину не так, как она стоит, а как-то по-другому, чтобы она стояла на ходу и ее не было видно сверху. Во всем этом не было никакой необходимости — в тени копны машину сверху и так не было видно, а в открытой степи она, как ее ни поверни, все равно стояла на ходу.

Пантелеев достал из чемоданчика пузырек с тройным одеколоном, вытер руки сначала одеколоном, потом насухо платком и сел рядом с Лопатиным. Он нарезал ломтями хлеб и, толстыми ловкими пальцами быстро очищая одно за другим яйца, прислушивался к разговору.

Наконец обиженный шофер не выдержал и огрызнулся.

Лопатин посмотрел на Пантелеева — ему было интересно, как тот поступит.

Пантелеев дочистил последнее яйцо, сложил скорлупу в обрывок газеты, завернул и сказал совершенно спокойно:

— Ну, что же, давайте кушать.

Велихов подошел и сел, а шофер обиженно отошел в сторону, сделав вид, что предложение Пантелеева относилось к одному адъютанту.

— А вы, — сказал Пантелеев, — идите кушать!

— Нет, спасибо, — ответил шофер. — Я не хочу кушать. Не могу.

— Почему же не можете? Со мной не хотите, что ли? — спросил Пантелеев, расстегивая воротничок и поудобнее примащиваясь на охапке сена.

— С вами я могу, а с ними не хочу, — и шофер пальцем показал на адъютанта.

— Да ведь тут я, а не он хозяин, — сказал Пантелеев. — Стол-то мой, так что, раз я зову, давайте кушать.

Шофер покосился на адъютанта, подошел и присел на корточки рядом с Лопатиным.

Завтракали минут пятнадцать. Еле видные в небе разведчики гудели сразу в нескольких местах, и теперь по ним стреляли отовсюду; в небе лопались белые шарики зенитных разрывов.

— Вы на Западном фронте были? — поглядев на небо, спросил Лопатина Пантелеев.

— Был с июня до августа, — ответил Лопатин.

— А я до сентября. Я здесь неделю всего. — И, снова посмотрев на небо, добавил: — Там, на Западном, на это уже и внимания не обращают, а здесь в щели лезут. Дело привычки; но пока один привыкает, другого уже убивают. Так и вертится чертово колесо... Собирай, Велихов, да поедем, — кивнул он на салфетку и оставшуюся еду. Велихов был единственный человек, которому он говорил «ты», наверно, это объяснялось молодостью адъютанта.

— Как по-вашему, что дороже на войне, — вставая, спросил Пантелеев у Лопатина (Велихов и шофер уже пошли к машине), — храбрость или привычка?

— Привычка, — не думая, ответил Лопатин.

Пантелеев покачал головой.

— Что, неправда? — спросил Лопатин.

— Правда, но жалко, — сказал Пантелеев. — Жалко, что много храбрых людей до этой привычки так и не доживет. Сколько раз я на маневрах был, десятки раз, а на поверку выходит: война, как вода, — пока не нырнешь — плавать не научишься. Как там, уложились?

3

К переправе на Арабатскую Стрелку подъехали только в одиннадцатом часу. На месте переправы берег был отлогий, мелкая вода пролива чуть заметно играла прохладной осенней рябью. Вдали, в семи километрах, над серой водой поднималась желтовато-серая полоска Арабатской Стрелки.

Рыбаки из Геническа, здоровые, шумные парни в закатанных до колен штанах, выскакивая из лодок, одну за другой подтаскивали их по мелководью поближе к берегу. На лодки грузилась стрелковая рота. Красноармейцы, так же как и рыбаки, разувались, подсучивали штаны и, держа в руках сапоги, перебирались в лодки. Немного подальше на берегу сидела еще одна рота, ждавшая переправы.

Переправой распоряжался толстый немолодой полковник — южанин по виду. Увидев выходящего из машины дивизионного комиссара, полковник подобрал толстый живот, сделал несколько шагов навстречу, вытянулся и, почему-то — Лопатин еще не понял почему — уже заранее волнуясь, доложил, что он командир полка полковник Бабуров и что во вверенном ему полку все в порядке.

— А чем вы сейчас заняты? — спросил Пантелеев, внимательно глядя на него.

Полковник сказал, что сейчас он занят тем, что отправляет вот эти две роты на Арабатскую Стрелку и сам тоже переправляется туда.

— А верно ли, что не то вечером, не то ночью на вашу Арабатскую Стрелку немцы пролезли? — спросил Пантелеев.

Полковник ответил, что нет, что на Арабатской Стрелке все укреплено, организована оборона и сведения о немцах неверны.

— А зачем же вы переправляете туда еще две роты и сами едете?

— Я еду... — полковник начал фразу быстро и уверенно, но посередине сник. — Я еду потому, что... потому, чтобы там все было обеспечено.

— Так вы же говорите, что у вас там и так все обеспечено, — неумолимо продолжал Пантелеев.

— Так точно, обеспечено, но я еще хочу обеспечить...

Пантелеев недоверчиво усмехнулся и приказал, чтобы ему сейчас же дали моторку — ехать на тот берег одновременно с переправлявшейся ротой.

— Поедем посмотрим, какой там у них порядок, — сказал он Лопатину, грузно перешагивая через борт моторки.

Полковник, севший в моторку вместе с ними, полунедоуменно, полузаискивающе поглядел на Лопатина, которому член Военного совета сказал «посмотрим, какой там у них порядок».

Лопатин отвел глаза. Ему стало стыдно за этого растерявшегося человека.

Пантелеев всю дорогу молчал с таким видом, что ни у кого не возникало желания с ним заговорить. «Что бы вы мне теперь тут ни болтали, я вам не верю, — говорил его вид, — не верю и не буду терять времени ни на вопросы, ни на выслушивание ваших ответов. Сам поеду, сам посмотрю и сам себе отвечу».

Берег, к которому подошла моторка, оказался таким же пологим, как и тот, от которого она отчалила. День был жаркий, сухой, всюду палило солнце. У самой переправы грелись на солнце минометчики, а чуть подальше отдыхало еще два десятка недавно переправившихся солдат. Обстановка показалась Лопатину

совершенно мирной. Еще более мирный вид придавали ей работавшие на переправе рыбаки. Не чувствуя себя ни у кого в подчинении, они на глазах у начальства курили трубки и самокрутки и, громко и весело перекрикиваясь с лодки на лодку, обсуждали, где в обед лучше будет варить уху — на том или на этом берегу.

Лопатин не сразу поверил, когда ему сказали, что эти люди всего три дня назад угнали свои лодки от неожиданно ворвавшихся в Геническ немцев, оставив родной город, жен и детей.

— Ну, где у вас штаб батальона? — едва успев ступить на землю, спросил Пантелеев у Бабурова. — Как будем добираться?

— Сейчас, через пять минут машина подойдет, товарищ дивизионный комиссар. — Судя по лицу полковника, он ожидал упрека за то, что дивизионный комиссар уже переправился, а машина ему еще не подана, но Пантелеев только кивнул, не выразив никаких чувств.

Отойдя на два десятка шагов, Бабуров поманил к себе пальцем какого-то младшего командира, должно быть виновного в том, что машины еще нет на месте, и стал неслышно, но свирепо распекать его. Лопатин видел, как у полковника сердито дрыгали заросшие седой щетиной красные обвислые щеки.

Пантелеев, по-прежнему не выражая желаний ни с кем разговаривать, угрюмо ходил по берегу — пять шагов вперед, пять шагов назад. Лопатин вынул из планшета карту, чтобы сориентироваться, в какой точке Арабатской Стрелки они высадились. Отделяя Сиваш от Азовского моря, окаймленная с двух сторон голубовато-синей водой, на карте лежала узкая и бесконечно длинная полоска земли. Южный конец ее за обрезом карты уходил к Керченскому полуострову; на севере синяя ниточка пролива отделяла ее от занятого немцами Геническа. Всего месяц назад Лопатин ехал в Крым именно через этот город, через мост, который теперь, как говорят, взорван, через эту самую Арабатскую Стрелку, на берегу которой он сейчас стоял.

Судя по карте, отсюда до северного конца Стрелки было километров пятнадцать. «А впрочем, — подумал он, — туда, до самого конца, сейчас вряд ли доберешься». Геническ стоял на горе, и месяц назад Лопатин сам смотрел оттуда, сверху на Арабатскую Стрелку, похожую с горы на очень широкое, желтовато-серое шоссе, идущее прямо через море. Немцы, которые теперь сидели в Геническе, наверное, просматривали далеко вглубь все, что было на Арабатской Стрелке.

«Смотри там, у Пантелеева, а то и сам угробится и тебя угробит, я его знаю», — вспомнил Лопатин телефонный хохоток

редактора, и его передернуло при мысли о немцах, которые смотрят на Арабатскую Стрелку сверху, из Геническа. Ему захотелось потянуться и выдохнуть из себя что-то холодное, неприятное, проползшее внутри живота. Это был один из тех приступов страха, которые Лопатин знал за собой. Как всегда, ему показалось, что другие видят его испуг. Он обернулся и взглянул на Пантелеева.

Но Пантелеев по-прежнему сердито ходил по берегу, думая о чем-то своем.

— Эй! — услышал Лопатин вместе с отчаянным скрипом тормозов пронзительный женский голос. Прямо перед ним остановилась полуторка, за рулем которой сидела белобрысая девушка в голубом выцветшем платье и белой запыленной косынке. Даже через стекло кабины было видно, какие у нее отчаянные голубые глаза и веснушки, такие крупные, какие бывают только у огненно-рыжих мальчишек.

— Эх, товарищ командир, — весело крикнула девушка, спрыгивая с подножки грузовика, — через вас мотор заглох! Хотела задавить, да пожалела!

Она прошла мимо Лопатина, сверкнув ему прямо в лицо белозубой улыбкой, мальчишеским жестом сдвинула на затылок косынку, ловко вставила заводную ручку и несколько раз подряд крутанула ее. Лопатин видел, как под выцветшим голубым ситцем напряглись ее худые лопатки.

Но машина не завелась.

— Давайте помогу, — сказал Лопатин, становясь рядом с ней.

— Помоложе вас есть, — полуобернулась к Лопатину девушка; лицо ее, которое он видел теперь совсем близко, было сплошь веснушчатым. Увидев это детское лицо, Лопатин подумал, что и в самом деле в свои сорок с лишним он, наверно, казался ей старым человеком. От этой пришедшей ему в голову мысли он не решился во второй раз предложить свои услуги.

Девушка нагнулась и снова взялась за ручку.

Машина опять не завелась.

— Дай-ка я, — подскочил коренастый маленький боец.

— Поздно собрался, — отрезала девушка. Широко раздвинув ноги, как заправский шофер-мужчина, она снова несколько раз, не разгибаясь, крутанула ручку — лопатки так и заходили у нее под платьем. Машина фыркнула и завелась.

— Вот и готово, — сказала она, задохнувшись, тыльной стороной руки устало вытерла пот со лба и снова улыбнулась Лопатину.

— С тобой поедem? — спросил подошедший Пантелеев.

— Со мной, товарищ начальник. Садитесь!

— Что у вас, бойцов, что ли, нет? — покосившись на девушку, спросил Пантелеев стоявшего за его спиной Бабурова.

— А я — боец, — смело сказала девушка.

— Какой же ты боец?

— Обыкновенный, вместе с машиной мобилизовали. Два дня служу. — Чувствовалось, что ей нравится и слово «служу», и слово «мобилизовали», и вообще то, что она оказалась в армии. — Только обмундирование не дают, вы бы уж сказали, товарищ начальник, — не очень разбираясь в знаках различия, но безошибочно угадав в Пантелееве начальника, сказала девушка. — Одни сапоги выдали, — добавила она, кивнув на свои голые коленки, вылезавшие из широких кирзовых сапог, — да винтовку. Шинель просила, и ту не дали.

— Ладно, разберемся, — сказал Пантелеев. — А стрелять из винтовки умеешь?

— Я все умею, — весело сказала девушка и полезла в кабину.

Пантелеев сел рядом с ней, а Велихов и Лопатин влезли в кузов, подсадив перед этим тяжело дышавшего, толстого Бабурова. Машина затарахтела по кочкам.

На Арабатской Стрелке стояла тишина, не было слышно ни одного звука, кроме погромохивания старой полуторки. Дорога была пустынной — слева мелькнуло несколько глинобитных домиков, а потом снова потянулась кочковатая солончаковая степь. Справа, вдоль берега Азовского моря, белели холмики соли, и Лопатин вспомнил, что он уже видел их, когда проезжал здесь в конце августа: на Арабатской Стрелке были соляные промысла.

Бабуров сидел в углу кузова, у него был несчастный и злой вид; сзади него гремели разболтанные борта, на ухабах он хватался за них, чтобы не удариться, и болезненно морщился.

Примерно на шестом километре он вскочил на ноги и, неловко пробежав по кузову, постучал в стенку кабины. Машина остановилась.

— В чем дело? — высунувшись, спросил Пантелеев.

— В штаб батальона приехали!

Прямо у дороги, в скате небольшого холма, были вырыты блиндажи и ходы сообщения.

Пантелеев вылез из машины и достал карту.

— Значит, тут у вас штаб батальона? — тыча в карту пальцем, спросил он Бабурова. Лицо его побледнело, а черные глаза стали узкими и жестокими.

— Так точно! — Приложив к козырьку руку, Бабуров так и стоял, от растерянности забыв опустить ее.

— А сколько у вас отсюда до переднего края? — спросил Пантелеев. — Не знаете? Не считали? Так я вам сосчитаю... — И он, расставив циркулем пальцы, ткнул ими в карту. — Девять километров от штаба батальона до вашей передовой роты — вот сколько.

ко! Где командир батальона? Вы командир батальона? — обратился он к подбежавшему старшему лейтенанту.

— Я начальник штаба батальона.

— А где ваш командир батальона?

— Впереди.

— Где впереди? Вызовите его к телефону.

Пантелееву ответили, что с командиром батальона нет связи.

— Как нет связи? Не протянули или прервана?

Бабуров и старший лейтенант, перебивая друг друга, ответили, что связь прервана еще ночью.

— А когда же ушел вперед командир батальона?

— Вчера вечером.

— И с тех пор нет с ним связи?

— Да, то есть нет... — все более растерянно отвечал старший лейтенант.

В конце концов выяснилось, что командир батальона еще с вечера пропал без вести, но об этом до сих пор боялись докладывать.

— Где же он пропал?

Старший лейтенант начал объяснять, что командир батальона пропал, потому что он вчера вечером пошел в передовую роту, лежавшую в окопах на берегу под самым Геническим. А в роту он пошел потому, что там вечером началась непонятная стрельба, а стрельбу, как это теперь уже ясно, открыли немцы, которые, как говорят, высадились на косе, и вообще говорят, что со всей первой ротой случилось что-то неладное.

— Кто говорит? Кто вам об этом докладывал? Покажите, где этот человек? — задавал вопрос за вопросом Пантелеев.

Но кто это говорил, кто докладывал, где человек, который докладывал, — никто не знал.

— Ну хорошо, а что там сейчас, вам известно?

Старший лейтенант недоуменно пожал плечами: командир батальона приказал ему остаться здесь, — вот он и остался здесь и ждет дальнейших приказаний. Он говорил это с видом человека, которого оставили посторожить квартиру, пока вернутся хозяева.

Пантелеев глубоко вздохнул и посмотрел на Бабунова. Он уже понял, что дело не просто в бестолковом начальнике штаба батальона и его пропавшем командире, дело в том, что на сегодняшний день в дивизии генерала Кудинова сверху донизу не было порядка. Не было вчера у самого Кудинова в бою под Сальково, не было у его командира полка Бабунова, не было порядка и здесь, в батальоне.

— Почему, скажите мне, по крайней мере, — бледнея от усилия сдержаться, спросил Пантелеев у старшего лейтенанта, — почему вы выбрали это место для командного пункта батальо-

на? Место в девяти километрах от переднего края! Вы его сами выбрали?

Старший лейтенант, оглянувшись на Бабурова, ответил, что нет, они выбирали этот пункт вместе с командиром полка.

— Почему именно этот пункт? — спросил Пантелеев, повернувшись к Бабурову.

Тот, заикаясь, сказал, что выбрал этот пункт потому, что отсюда все хорошо видно и вообще это самая ближняя от переднего края горка.

— Горка... — повторил Пантелеев, и слово «горка» прозвучало в его устах как самая грубая ругань. — Сами вы... — он оборвал себя, спросив: — А где у вас стоит тяжелая морская батарея?

Оказалось, что тяжелая морская батарея стоит в четырех километрах впереди — между ротой и командным пунктом батальона.

— Хороши, гуси-лебеди... Вот я поеду сейчас вперед, — повернулся он к старшему лейтенанту, — а когда вернусь и увижу, что ваш штаб батальона находится еще здесь, возьму и расстреляю вас, прямо на этой самой вашей горке!

И, больше не интересуясь старшим лейтенантом, снова повернулся к Бабурову.

— А вы, товарищ полковник, — слова «товарищ полковник» дышали ядом, — будьте любезны доложить мне, что у вас происходило здесь вчера вечером, сегодня ночью и сегодня утром и почему вы никому не донесли до сих пор о том, что у вас тут происходит? Вы здесь были?

Бабуров ответил, что вот он здесь, он приехал сюда вместе с товарищем дивизионным комиссаром...

— А там, в роте у себя, вы были?

Бабуров сказал, что, когда его застал на берегу товарищ дивизионный комиссар, он как раз собирался туда, в роту, а не сообщил он раньше потому, что думал ликвидировать все сам, своими силами.

— Что ликвидировать? — закричал Пантелеев. — Что ликвидировать? Вы же там не были! Вы же не знаете, что ликвидировать! Вы же не знаете, есть там немцы или нет? Живы у вас там люди или не живы? Ничего вы не знаете...

Бабуров во время этой вспышки гнева вдруг собрал остатки самолюбия и в ответ сказал громко, с некоторой даже напыщенностью, что раз есть приказ не пустить врага на крымскую землю, то чего бы это ему ни стоило, он приказ выполнит, и какие бы там немцы ни были, он пойдет и уничтожит их!

Пантелеев молча смерил его взглядом. Именно эта последняя фраза полковника превратила владевший Пантелеевым гнев в непоправимое презрение.

— Хорошо, мы с вами потом поговорим, — сказал он почти спокойно. — Поедете со мной. Дайте несколько бойцов, — обратился он к старшему лейтенанту, — пусть садятся в кузов и едут со мной.

Старший лейтенант побежал распорядиться, а Пантелеев сел в кабину и захлопнул дверь.

— Можно ехать, товарищ начальник? — спросила девушка.

— Вылезьте поглядите, когда люди в кузов сядут, тогда и поедем.

Девушка вылезла из кабины. Пантелеев оглянулся, увидел, что ее нет, и глубоко вздохнул. Он был рад, что на минуту остался один.

Нет! Все происходившее здесь на его глазах было не только следствием неопытности. С ней придется прощаться в боях, платя за нее кровью, но на первых порах ее можно объяснить, особенно в этой поспешности всего месяц назад сформированной дивизии. И не только безрукость Кудинова всему виной — командира дивизии в конце концов можно сменить, найдутся другие — и похрабрее и порукастей, чем он. Если б дело было только в этом — полбеда. А беда в том, что ни Кудинову, ни этому мордатому, растерянному Бабурову, ни старшему лейтенанту — начальнику штаба батальона, который, кто знает, быть может, еще покажет на этой же самой войне чудеса храбрости, — всем троим не хватило сегодня самого обыкновенного гражданского мужества, — а этого Пантелеев не прощал ни себе, ни другим.

Начальник штаба, надеясь, что все как-нибудь обойдется, не доложил всей правды Бабурову. Бабуров, подозревая, что ему докладывают не все, не стал докапываться, — благо это давало ему возможность на первых порах сообщить в дивизию нечто неопределенное, а тем временем исправить положение, не успев получить нагоняй. Кудинов, в свою очередь, посчитал, что с него хватит вчерашнего разноса за Сальково, и доложил в армию о событиях на Арабатской Стрелке, как о чем-то уж и вовсе незначительном; он надеялся, что все обойдется, а на случай катастрофы у него оставалась ссылка, что он хотя и не полностью, но все же кому-то и что-то заранее докладывал. Так одна лож наворачивалась на другую и росла, как снежный ком, а где-то за девять километров отсюда погибла — всем своим чутьем военного человека Пантелеев знал, что именно погибла, — рота, которую, может, и удалось бы выручить, если б сразу со вчерашнего вечера все делалось иначе.

Откуда, черт возьми, взялось это поветрие, которое он заметил еще на финской войне? Откуда в Красной Армии, в Красной, в Рабоче-Крестьянской, в той, которой он отдал всю свою жизнь и которую любит больше жизни, откуда в ней взялись эти чуждые ее гордому имени люди? Люди, которые боятся

донести о неудаче больше, чем самой неудачи, боятся ответственности за потери больше самих потерь! Люди, которых, должно быть, до конца вылечит или до конца разоблачит только сама война!

Девушка-шофер влезла в машину и захлопнула дверцу.

— Можно ехать, товарищ дивизионный комиссар! — пододвигая с другой стороны, через стекло кабины прокричал Бабуров.

Пантелеев со злостью взглянул на него. Когда человек расплачивается собственной жизнью за то, что он в свое время трусил доложить правду, — в конце концов черт с ним, с дураком, но когда за это расплачивается жизнью не он, а другие... Пантелеев даже скрипнул зубами и, отвернувшись от Бабурова, тихонько тронул за плечо девушку:

— Езжайте!

4

Лопатин ехал в грузовике стоя. Улегшись грудью на крышу кабины, он разложил перед собой карту Арабатской Стрелки и, прижав ее от ветра локтями, сверял с местностью. Через десять минут машина проехала мимо стоявшей на горке маленькой пустой деревни, так и помеченной на карте «Геническая горка». Отсюда был виден Геническ. Впереди тянулась насыпь узкоколейки, возле которой, километрах в двух, что-то чернело. «Очевидно, это и есть морская батарея, о которой говорил командир полка», — подумал Лопатин. Еще дальше виднелась пыльная зелень посадок и крыши домов. «Пионерлагерь», — прочел на карте Лопатин. За пионерлагерем стоял еще один дом, окруженный деревьями, а там, до самого взбравшегося на гору Геническа, тянулся только серо-желтый песок косы.

Машина спустилась с Генической горки, поехала вдоль насыпи узкоколейки и затормозила так резко, что Лопатин уронил очки на крышу кабины и едва успел подхватить их. К счастью, они не разбились!

Пока Лопатин ловил очки, надевал их, складывал и засовывал в планшет карту, вылезший из кабины Пантелеев проворно взобрался на насыпь узкоколейки и, прикрываясь от солнца рукой, стал смотреть то вправо, то влево. Взбравшись вслед за ним, Лопатин увидел не совсем обычную картину, которую уже с минуту молча наблюдал Пантелеев: впереди остановившейся машины, по обеим сторонам насыпи, растянувшись примерно на километр по фронту, наступала наша стрелковая рота. Она наступала, расчленившись по всем уставным правилам, по которым положено наступать роте в непосредственной близости к

противнику. Командиры шли в боевых порядках, люди то по команде залегали, то снова вставали, перебежками катя за собой пулеметы. Все это выглядело так, словно рота идет под огнем противника и вот-вот встретится с ним. Но над Арабатской Стрелкой стояла абсолютная тишина. До конца косы оставалось пять километров, впереди, за километр, теперь уже ясно видные, стояли на позициях наши орудия, а за ними виднелись ряды проволочных заграждений, верхушки надолб и насыпь противотанкового рва.

Пантелеев послал адъютанта остановить роту и позвать ее командира. Сняв фуражку, он вынул из кармана платок и вытер им потную бритую голову.

— Что вы на это скажете? — засунув платок в карман, через плечо сказал он Лопатину. — В бирюльки они тут, что ли, играют?

Лопатин пожал плечами, но не успел ответить. К Пантелееву уже подбегал молодой лейтенант — командир роты.

— Скажите мне, товарищ лейтенант, — спросил Пантелеев, жестом руки обрывая начатый доклад, — что вы тут делаете со своей ротой? На кого наступаете?

— На немцев, товарищ дивизионный комиссар. Там немцы! — Лейтенант ткнул пальцем в горизонт.

— А где именно *там*?

Лейтенант, который до этого отвечал уверенно, с сознанием своей правоты, замялся и уже менее уверенно еще раз наугад ткнул пальцем туда, где стояла наша морская батарея.

— Немцы не там, — сказал Пантелеев спокойно и терпеливо, словно он стоял с указкою в классе. — Там наша морская батарея, а немцы, они вон где... — И он показал в направлении Геническа. — Вон там и, может быть, немножко ближе. Предполагаю, километров за пять отсюда. Вы что же, так и будете наступать до них все эти пять километров перебежками? А потом, когда и в самом деле дойдет до огня и штыка, у вас для атаки ни сердца, ни ног не хватит! Вы подумали об этом?

Лейтенант ответил, что ему было приказано развернуть роту в боевые порядки и наступать. А где немцы — за пять километров или за километр, ему не сказали. Ему только сказали, что наших впереди никого нет.

Пантелеев вздохнул. Что было сказать этому стоявшему перед ним лейтенанту, совсем мальчику, только что из училища, как видно старательному и, что особенно понравилось в нем Пантелееву, не трусившему перед начальством, а только пытавшемуся честно объяснить, почему он и его рота поступали так, как они поступали. Может быть, всего через час этот самый лейтенант поведет свою роту и храбро будет стараться делать все по уставу уже не в этой почти учебной тишине, а под разрывами самых настоя-

щих снарядов. В душе Пантелеева шевельнулось отеческое чувство. Может быть, сейчас его собственный сын, такой же лейтенантик, как этот, только что окончивший такое же пехотное училище, так же делает совершенно не то, что нужно, не по глупости или трусости, а по неопытности и потому, что ему, не дай бог, тоже не повезло: попались горе-начальнички, вроде Кудинова и Бабурова, которые, кажется, два сапога — пара.

— Бабуров, — повернулся Пантелеев, намереваясь адресоваться с выговором не к лейтенанту, мало в чем повинному, а к командиру полка. Он был настолько убежден, что тот стоит за его спиной, что даже физически чувствовал это.

Но командира полка не было.

— Где Бабуров? — тихо спросил Пантелеев.

Все недоуменно молчали.

— Где Бабуров?! — уже яростно гаркнул он, и Велихов, изумленно округлив глаза на розовом горящем лице, доложил, что, когда все вылезли из машины, оказалось, что полковника Бабурова в ней не было. Должно быть, он остался там, где они в последний раз останавливались, — у штаба батальона.

— Может быть, прикажете съездить за ним на машине, товарищ дивизионный комиссар, я быстро, за пятнадцать минут в два конца, — предложил Велихов.

— Черт с ним, — сказал Пантелеев. — Поехали! Обойдемся без него.

И он побледнел так, что Лопатин понял — теперь полковнику окончательно несдобровать.

Пантелеев распорядился, чтобы большую часть роты с пулеметами посадили на три грузовика, которые к этому времени появились неизвестно откуда и остановились поодаль от машины дивизионного комиссара. Его нисколько не удивило это. Он по опыту знал, что приехавшее на передовую начальство часто обрастает непрошеным эскортом. В одном из грузовиков сидели двое инструкторов из политотдела армии; во втором — неизвестно откуда взявшийся комиссар полка; кто был в третьем, Пантелеев так и не поинтересовался. Бойцы, довольные неожиданной переменой, стали весело и шумно рассаживаться на грузовики.

— Грузовики поведете по дороге вплоть до последних строений и посадок, какие увидите. Там оставите их и уже по открытому месту, *по открытому*, понятно?..

— Понятно, — сказал лейтенант.

— ...поведете людей рассредоточенно. Но и рассредоточенно людей водят по-разному, — терпеливо объяснял Пантелеев. — Пока нет огня — одно дело, откроют огонь — другое дело. Это вам тоже понятно?

— Понятно, товарищ дивизионный комиссар.

— А тех, кто не влезет в грузовики, построить и поручить одному из ваших комвзводов вести ускоренным маршем вдоль насыпи, тоже до последних посадок. Действуйте!

Пантелеев, проводив взглядом весело побежавшего к своим бойцам лейтенанта, с угрожающим видом повернулся к молча стоявшему рядом с ним комиссару полка — черноволосому старшему политруку, и — вдруг раздумал. Комиссар, в противоположность Бабурову, все-таки догнал его; не побоялся в эту явно невыгодную минуту явиться ему на глаза. Впереди, очевидно, бой, а там, к вечеру, будет окончательно видно, кто чего стоит — и Бабуров, и комиссар полка, и командир этого батальона, если он еще жив, и лейтенант, который сейчас грузится на машины вместе со своей ротой, и многие, многие другие люди.

— Садитесь в машину, поедем, — сказал Пантелеев комиссару полка.

Машина снова тронулась. Через километр она остановилась у позиций морской батареи. По обеим сторонам насыпи, в полусотне метров друг от друга, стояли четыре тяжелых морских орудия на тумбах. У орудий была морская прислуга. Лопатин еще издавек, из кузова машины, увидел черные бушлаты моряков.

Командир батареи — морской лейтенант-артиллерист — вышел на дорогу к остановившейся машине. Пантелеев вылез ему навстречу: он не любил разговаривать с людьми, высунувшись из кабины.

Артиллерист был высокий и худой; черные клеши его брюк подметали пыль на дороге, на свежем бумажном синем френче блестел значок мирного времени «За отличную стрельбу». У него было длинное долгоносое лицо и белесые, казавшиеся подслеповатыми глаза.

— Разрешите д-д-до-ложить... — сильно заикаясь, сказал он. — Вч-ч-ера в д-д-двадцать п-пятнадцать...

— Вы что, от рождения заикаетесь? — перебил его Пантелеев. — Или вас немцы так напугали? И вообще, что вы тут все заикаетесь? Один заикается, другой заикается! — неожиданно для себя крикнул Пантелеев, и в этом восклицании прорвалось все накопившееся в нем за утро раздражение.

— Я з-з-заикаюсь о-от р-рождения, — еще сильнее заикаясь, ответил побледневший артиллерист. — И я н-н-не понимаю, по какому п-поводу вы, т-товарищ д-дивизионный комиссар, п-позволяете себе...

— Ладно, — миролюбиво перебил его Пантелеев. — Извиняюсь... Пошутил. Надоело, что все кругом только и делают, что заикаются, ничего толком не знают. — вот на вас и отыгрался, а вы как раз и не виноваты. Продолжайте докладывать.

Артиллерист, отходя от обиды и заикаясь все меньше и мень-

ше, доложил, что уже четверо суток, с тех пор как их поставили здесь, он ни от кого не получил ни одного приказа, что, несмотря на его просьбу дать им хоть какое-нибудь прикрытие, командир полка прикрытия так и не дал, сказал: «Успеется!», а вчера вечером, когда стемнело, впереди раздалась беспорядочная орудийная, пулеметная, автоматная стрельба, сначала в одном месте, потом в другом, и продолжалась около двух часов. Он не знал, куда ему бить своей батареей, потому что боялся ночью ударить по своим, а никто из пехотных начальников — ни сверху, ни снизу — не прислал ни одного связного. Тогда он приказал ночью вырыть окопы вокруг своей батареи и на всякий случай положил в них часть прислуги с винтовками и гранатами. На рассвете он увидел, что немцы двинулись от пионерлагеря по направлению к батарее. Увидев это, он отдал приказание подготовить орудия к взрыву, а сам открыл по немцам огонь прямой наводкой. Еще только светало, видимость была плохая, они били сначала прямо по немцам, по дороге, потом перенесли огонь на пионерлагерь и на дорогу за ним. Когда совсем рассвело, выяснилось, что немцев в поле зрения батареи больше нет. Не видно никакого движения и в пионерлагере.

— Единственный человек среди всех вас, который, не заикаясь, доложил, что и как было, — укоризненно обратился Пантелеев к комиссару полка, когда артиллерист закончил свой доклад. — Стыд и срам! Шестнадцать часов прошло, а в полку до сих пор не знают, что с их передовой ротой — живая она или мертвая. А в полку, между прочим, всего девять стрелковых рот! — озлясь, крикнул он. — Девять дней так провоюете, с чем — с одним штабом останетесь?!

Сердце его было полно горечи. Хотя он вслух говорил еще предположительно, но про себя знал — с передовой ротой ночью случилась катастрофа.

— Товарищ дивизионный комиссар, забыл доложить, — снова, сильно заикаясь, обратился к Пантелееву артиллерист и высказал догадку, что, очевидно, немцы ночью переправили на косу орудия, потому что, когда батарея открыла огонь, немцы, в свою очередь, выпустили по ней несколько снарядов малого калибра с близкой дистанции.

— Переправили орудия? — переспросил Пантелеев и недобро усмехнулся. — У вас там были впереди какие-нибудь пушки? — спросил он комиссара полка.

— Были два противотанковых орудия, — с готовностью, почти с радостью ответил тот. За все время Пантелеев впервые прямо спросил его о чем-то.

— Вот из них немцы и стреляли, из этих ваших двух орудий, — сказал Пантелеев убежденно и зло. — Они, немцы, не дураки, им незачем сюда свои орудия тащить, когда проще ваши взять.

В его словах была яростная ирония человека, глубоко страдающего от всего увиденного и услышанного.

За руку простившись с артиллеристом, Пантелеев сел в машину и поехал к видневшемуся впереди пионерлагерю. Три машины с бойцами, догоняя машину Пантелеева, пылили позади.

— Эй, Велихов! — высовываясь из кабины, крикнул Пантелеев адъютанту. — Встаньте на дороге и задержите их, скажите, чтоб ехали с интервалами. А то, не ровен час, влепят залп из Генерал-ка сразу по всем.

Велихов выскочил из грузовика, а машина запылила дальше. Через пять минут она подъехала к пионерлагерю. Было по-прежнему тихо. Пантелеев, а за ним все остальные вылезли из машины. «Вот оно то место, где нынешней ночью были немцы», — подумал Лопатин. Издали, с артиллерийских позиций, дома пионерлагеря казались целыми, только у одного была странно повернута крыша; здесь, вблизи, все выглядело разгромленным — в стенах были проломы, окна и двери вылетели, штукатурка была разодрана осколками.

— Ну-ка, ну-ка, — сказал Пантелеев, — посмотрим, верно ли тут были немцы, а то я за сегодня уже так к вранью привык, что на честных людей бросаюсь. — Он повернулся к Лопатину. — А ничего этот артиллерист-то мне: «Не понимаю, почему п-п-позволяете...» Заика, а с характером, не хочет, чтоб зря обижали.

Он шел первым, Лопатин вслед за ним.

У дороги в канаве валялись три вдребезги разбитых немецких мотоцикла с колясками. Тут же лежало несколько изуродованных трупов.

— Молодец, не соврал, — остановясь, сказал Пантелеев. — Немцы тоже смертные: влепил по ним залп — и сразу оглобли завернули!

Еще несколько немецких трупов лежало возле самых домов пионерлагеря. В последнем доме — столовой, в разбитых снарядом сенях валялась на боку кадка с вылившимся из нее рассолом. Куски свежесоленной розовой свинины были расшвыряны по полу; в луже рассола, прислонясь к стене, сидел мертвый немецкий лейтенант. У него было совершенно целое, не тронутое ни одним осколком, бледное, красивое лицо с упавшими на лоб волосами и словно вскрытый в мертвецкой, распахнутый сверху донизу живот, из которого вывалились на пол начавшие чернеть внутренности.

— Слезай, приехали! — шепнул на ухо Лопатину догнавший их Велихов, кивнув на мертвого немца и лежавшие у дверей обломки мотоцикла.

Пантелеев услышал это и сердито оглянулся. Он не любил, чтобы шутили над смертью.

Обойдя пионерлагерь и приказав Велихову подсчитать, сколько всего убито немцев, Пантелеев вернулся к машине, и она тронулась вслед пылившим впереди трем грузовикам с пехотой. Еще через минуту все четыре машины остановились у последнего домика с купой деревьев. Дальше, до самого Геническа, было открытое место. Все вылезли, и Пантелеев приказал отправить грузовик обратно к пионерлагерю.

— Что вы нас гоните, товарищ начальник? — быстрым южным говорком сказала девушка-шофер, выслушав это приказание. — Что же вы, пешком пойдете? Я вас под самый Геничesk разом подвезу. Дорога известная!

— Закинут в кузов мину, и как не бывало — ни тебя, ни твоей полуторки, — улыбнувшись, потому что не улыбаться, разговаривая с ней, было невозможно, ответил Пантелеев.

— Так я же не одна, вы же со мной поедете.

— А со мной не страшно, что ли?

— Конечно. — Она пожала плечами.

— А как тебя зовут, а, шоферка? — ласково и грустно посмотрев на нее, спросил Пантелеев.

— Паша.

— А фамилия?

— Горобец.

— Так вот, слушай меня, Паша Горобец. Поезжай-ка ты отсюда подальше, и чтобы я тебя поблизости больше не видел. Понятно тебе?

Ему хотелось сказать совсем не эти слова, а другие — ласковые, отеческие, сказать, что именно вот ради таких молодых, как она, он уже много раз рисковал и, не колеблясь, снова будет рисковать жизнью, чтобы они были живы и счастливы и в конце концов увидели то, до чего он вряд ли сам доживет, и что в этом, собственно говоря, и состоит цель его жизни. И хотя он вместо всего этого сказал: «И чтобы я тебя не видел поблизости, понятно?», она прочла в его глазах что-то такое, что заставило ее смутиться, как маленькую девочку, и робко, без слов, пойти к своей машине.

— Вот теперь рассредоточивайте людей, и пойдём, — сказал Пантелеев командиру роты, когда отъехали машины. — Боюсь, что теперь и правда впереди никого наших нет... живых, — добавил он после тяжелой паузы.

Он приказал лейтенанту взять с одним взводом влево, комиссару полка — вправо, а сам с Лопатиным, Велиховым, двумя политотдельскими инструкторами и несколькими бойцами пошел в центре. Впереди, в трехстах метрах от домика с деревьями, виднелась линия окопов. Комиссар полка сказал, что там вчера сидел, во втором эшелоне, один из взводов *той* роты. Он сказал «той», избегая слова «погибшей», хотя все уже чувствовали, что рота погибла.

Лопатин шел на два шага позади Пантелеева, поглядывая вперед, на Геническ, и с содроганием думая, что немцы оттуда прекрасно их видят и вот-вот начнут стрелять.

Но немцы не стреляли, на Арабатской Стрелке по-прежнему стояла тишина. С обеих сторон было видно море: справа, в километре, — Азовское, а слева, совсем рядом, — Сиваш. Земля, по которой шел Лопатин, была голая, песчаная, с редкими пучками травы, она все время осыпалась под ногами. День стоял душный, серый, без солнца, с полудня скрывшегося за облаками, Сиваш однообразно и негромко шумел. Все казалось таким пустынным, что Лопатин был уверен — впереди на косе нет ни своих, ни немцев.

Бойцы, шедшие на несколько шагов впереди Пантелеева и Лопатина с винтовками наперевес, приблизились к самым окопам. Лопатин вспомнил, что у него тоже есть наган, и вынул его из кобуры. Около окопов лежали мертвые наши, на первого из них Лопатин от неожиданности чуть не наступил. Рядом лежал второй, третий, четвертый... Судя по количеству разбросанных винтовок, подсумков и противогазов, в окопах размещалось человек тридцать, но трупов было меньше — десятка полтора, причем лишь пять или шесть из них лежало в окопах, а другие все — на открытом месте, — должно быть, люди побежали из окопов назад, и здесь-то их и убили.

«А остальных, наверное, увели в плен», — подумал Лопатин, глядя на трупы, застывшие в разных позах, но чаще всего ничком, уткнувшись мертвыми головами в песок. Его охватило уже несколько раз испытанное им на войне чувство страха, загадочности и непоправимости, которое рождается у человека, попавшего туда, где все мертвы и нет никого, кто бы мог рассказать, что здесь произошло несколько часов назад.

А Пантелеев думал в эту минуту совсем о другом. Он мысленно восстанавливал картину случившегося здесь ночью, и она вовсе не казалась ему загадочной, — наоборот, все, что здесь произошло, было видно как на ладони, и это уязвляло его в самое сердце.

— Из всего взвода только несколько человек дрались как надо, — сказал он, останавливаясь возле Лопатина. — А тех, что побежали от огня, немцы, конечно, перестреляли. Высадились, перестреляли и в плен забрали, — повторил он со злобой. Он был сейчас безжалостен к погибшим, и в то же время в нем кипела такая обида за их нелепую смерть, что, казалось, он готов был заплакать.

— А немцев, думаете, много было? Больше нас? Высадились, постреляли немножко, а мы, конечно, побежали — кого убили, кого в плен взяли, — не в силах остановиться, говорил он

с тем раздражительным самобичеванием, которое в горькие минуты появляется даже в самой сильной и деятельной русской натуре.

Обернувшись к лейтенанту, он приказал искать немецкие трупы. Через пять минут ему доложили, что немецких трупов не найдено, и это окончательно расстроило его.

— Или, когда отходили, утащили с собой, или и вовсе не было, кроме тех, что артиллеристы набили. Вполне возможно, что и так. Паника, паника! — воскликнул он. — Что она с нами делает, эта паника, сами себя не узнаём!

В двухстах шагах за окопами, на отмели, бойцы нашли еще два трупа. Какой-то боец, наверно санинструктор, тащил на себе раненого младшего лейтенанта. Так их и убили немцы, так они, один на другом, и лежали на отмели.

— Ничего, когда-нибудь за всех сочтемся, за всех и каждого! — сказал Пантелеев, с минуту молча постояв над трупами. — Вы что, с одним наганом воевать думаете? — повернулся он к Лопатину. — Винтовку возьмите, скоро в атаку пойдем.

Он кивнул на винтовку, лежавшую на песке рядом с убитым санинструктором, и Лопатин увидел, что у самого Пантелеева уже висит на плече чья-то винтовка. Пальцы убитого еще придерживали винтовку за брезентовый ремень, и Лопатину пришлось дернуть ее, чтобы освободить. При этом оба трупа, один на другом, шевельнулись, и Лопатин вздрогнул.

Над косой по-прежнему стояла такая тишина, словно немцы вымерли. Метров через восемьсот Лопатин первым увидел торчавшие впереди стволы двух пушек.

— Смотрите-ка, что это? — воскликнул он.

— Обыкновенно что, — продолжая шагать, с равнодушной язвительностью отозвался Пантелеев. — Наши брошенные противотанковые орудия. Стыд и позор, а больше ничего особенного.

Подойдя к пушкам, все остановились. У обеих были изуродованы замки.

— Ваши? — кивнул на пушки Пантелеев, обращаясь к комиссару полка.

— Наши, — угнетенно ответил тот.

— Вот из них немцы и стреляли. Захватили и повернули, а когда отошли — взорвали.

Опершись рукой о ствол пушки, Пантелеев несколько секунд рассматривал замок.

— Гранатами рванули, — сказал он, разгибаясь, и, поправив на плече винтовку, снова пошел вперед своей грузной, но быстрой походкой.

Минометный залп так внезапно нарушил странно затянувшуюся тишину этого дня, что Лопатин со всего маху бросился на землю.

Мины легли совсем близко от шедших первыми Пантелеева и Лопатина, и их обоих горячо обдало землей и дымом. Пантелеев быстро вскочил, коротким сильным движением стряхнул землю с плеч и, не оборачиваясь, пошел вперед. Лопатин последовал его примеру. У него было бессмысленное, но от этого не менее сильное желание держаться как можно ближе к этому человеку.

Когда Лопатин на другой день пробовал вспомнить эти пять, а может быть, десять минут, этот километр, который они пробежали и прошли под минометным огнем, у него осталось в памяти два чувства: во-первых, ему все время было очень страшно и, во-вторых, он все время хотел только одного — поскорей добежать до лежавших впереди окопов. Он не знал, есть ли там немцы или нет, и мысль, что ему через несколько минут придется столкнуться с ними, не вселяла в него никакого страха. Он боялся только каждую минуту рвавшихся кругом мин и этого оставшегося до окопов открытого куска косы, который лежал впереди.

Как потом сказал Пантелеев, немцы стреляли плохо, на двойку. Но это можно было сказать именно потом, добравшись до окопов и отдышавшись. А сейчас совсем близко жужжали осколки, в глаза лезли дымные воронки от недолетов, чадила зажженная трава, и люди рядом с Лопатиным все чаще ложились, задерживались, двигались ползком.

Наверно, так поступал бы и сам Лопатин, если б не Пантелеев, который в первый раз, как и все, бросившись от неожиданности на землю, теперь почти безостановочно шел вперед, не пригибаясь при перелетах, шел так спокойно, словно это было единственное, что возможно сейчас делать. Сворачивая то влево, то вправо, он шел зигзагами вдоль цепи, мимо падавших, прижимавшихся к земле людей. От времени до времени он нагибался, толкал то одного, то другого бойца в плечо и говорил так, словно тот заспался: «Эй, братчик, эй, землячок...» — и толкал еще раз сильнее. Тот поднимал голову.

— Чего лежишь? — спрашивал Пантелеев.

— Убьют, — испуганным шепотом отвечал боец, словно боясь громко произнести это слово.

— Ну что ж, что убьют, — на то и война, а ты думал, стрелять не будут? Вставай, вставай, братчик, я ж стою, и ты встань. Лежать будешь — скорей убьют. Гляди, другие-то поднимаются!

А другие, и правда, уже поднимались и шли вперед, и то, что

рядом с прижавшимся к земле оробевшим человеком стоял, не пригибаясь, другой, спокойный и неторопливый, действовало почти на всякого. Какая-то сила поднимала его с земли и ставила рядом с Пантелеевым. И как только он, встав, видел, что кто-то рядом еще продолжает лежать, он сам, молча или с руганью, начинал поднимать соседа.

Это чувство испытал и Лопатин. После трех или четырех близко разорвавшихся мин, уже не в силах заставить себя подняться, он сначала увидел стоявшие рядом на земле сапоги Пантелеева, а потом и его самого и услышал его сочувственно-укоризненные слова: «Давай, давай, вставай, корреспондент... Майор все же...»

После этого он пошел за Пантелеевым не отрываясь, — приседая, когда тот останавливался, и ложась, когда тот приседал, но каждый раз неизменно поднимаясь. Должно быть, потому, что они шли впереди, Лопатин не заметил, чтобы кого-нибудь убили. Он слышал сзади крик раненых, наверное, кроме раненых там были и убитые, но он шел не оглядываясь, и ощущение, что убитые и раненые оказываются каждый раз где-то сзади, тоже подгоняло его.

Окопы теперь были всего в двухстах метрах. Минометный огонь прекратился как по команде, и Пантелеев опытом и чутьем безошибочно понял, что мин больше не будет, что минометчики боятся ударить по своим, а в окопах впереди сидят немцы, которые сейчас, сию секунду, или не выдержат и побегут, или откроют огонь.

— Ура! — закричал он, повернувшись к поднимавшимся вокруг него с земли бойцам, сорвал винтовку с плеча и, привычно бросив ее на руку, не оглядываясь, побежал вперед.

Застрочил и смолк немецкий пулемет, треснуло несколько винтовочных выстрелов, и Пантелеев увидел, как совсем близко, из окопа, один за другим торопливо выскакивают и бегут назад, к морю, немцы. Как ему показалось, он прыгнул в окоп первым, но в ту же секунду несколько бойцов, обогнав его, перемахнули через окоп, преследуя немцев. Пантелеев на мгновение прислонился горячий, потной головой к стенке окопа, после быстрого бега ему не хватало воздуха, годы давали себя знать. Глотнув комок слюны, он выглянул из окопа. Чуть не задев его сапогами, через окоп перепрыгнули еще несколько красноармейцев. Два десятка немцев опрометью бежали вниз, туда, где из-под воды торчали пролеты плохо взорванного моста. Бойцы гнались за немцами, стреляя на ходу. Пантелеев примостился поудобнее, сдвинул локтем осыпавшуюся землю и, каждый раз тщательно прицеливаясь, выпустил по немцам обойму. Он был хорошим стрелком, и, по крайней мере, двое из

бежавших к воде немцев упали именно от его выстрелов. Второй — на самом берегу, головой в воду.

Этот немец, кажется, был последним. Красноармейцы настигли всех, кто выбежал из окопов, и теперь на прибрежном песке были видны только серо-зеленые пятна немецких трупов и фигуры суевившихся вокруг них бойцов, забирающих документы и оружие.

— Эй! — закричал Пантелеев, вылезая во весь рост на бруствер. — Эй, Велихов, прекратите, ночью соберете, сейчас они из Геническа огонь откроют! Людей потеряете!

Вошедший в азарт Велихов не слышал приказа, и вдвоем с каким-то бойцом продолжал обыскивать труп здорового немца.

— Эй ты, Велихов! — заорал Пантелеев. — Марш в окоп, сейчас убьют, как идиотов!

Боец с натугой поднял на плечи грузное тело немца и поволок его наверх, к окопу, а Велихов, придя в себя, стал звать обратно других красноармейцев.

Пантелеев боялся, что немцы откроют огонь из Геническа. Но немцы огня не открывали. Может быть, по своей самоуверенности они еще не поверили в случившееся. Увидев, что бойцы благополучно возвращаются, Пантелеев вспомнил о корреспонденте.

«Уж не убили ли этого очкастого, которого редактор просил по возможности беречь?»

— Эй, корреспондент, корреспондент! — позвал он, не в состоянии вспомнить забытую в горячке атаки фамилию Лопатина.

Лопатин был жив и находился всего в десяти шагах от Пантелеева, за изгибом окопа. Когда он вскочил сюда, вслед за Пантелеевым и бойцами, немцев тут уже не было. На дне окопа валялись солдатские ранцы, серо-зеленая немецкая пилотка, согнутая ложка и несколько гранат с длинными деревянными ручками; в полукруглой выемке, на земляном столе, стоял ручной пулемет с длинным, как червяк токарного станка, хоботом.

Лопатин стоял возле этого пулемета, слыша, как где-то впереди еще стреляют; но сам он был не в силах сдвинуться с места. У него не было ни мыслей в голове, ни страха в душе — лишь одна усталость после всего пережитого.

Выстрелы впереди смолкли. Лопатин еще раз поглядел на немецкий пулемет и решил, что надо сейчас же что-то сделать с ним, хотя бы перенести через окоп и повернуть в сторону немцев так, как немцы сделали с нашими пушками. Он только что поднял на руки пулемет, как из-за угла окопа появился Пантелеев. От неожиданности Лопатин шагнул назад и выпустил из рук пулемет.

— Тише ты, слон, — охнул Пантелеев, потирая ушибленную ногу, и сам рассмеялся, — так непохож был на слона растерянно стоявший перед ним тощий Лопатин.

— Извините, — сказал Лопатин и, начав поднимать пулемет, уронил на него очки, одна дужка которых надломилась еще во время атаки, когда он в первый раз бросился на землю. Очки звякнули по железу, одно стекло разлетелось на мелкие осколки.

Пока Лопатин поднимал очки, Пантелеев, нагнувшись, одним коротким движением подхватил пулемет и, поставив его на бруствер, стал рассматривать магазин.

— Так и есть, — сказал он, взглянув на подошедших бойцов. — Заклинило патрон — поэтому и задохся, всего две очереди выпустил. Значит, повезло нам с вами, а, братчики? — обратился он уже прямо к бойцам.

— Выходит, повезло, товарищ дивизионный комиссар, — заметно окая, отозвался один из бойцов.

— А вот и не угадал, вологодский, — чуть заметно передразнив его, сказал Пантелеев. — Напугали мы с тобой немца, смело шли на него — оттого и заклинило. Пospешил — и ленту перекошил. А если бы и перекошил, да не струсил — быстро поправил бы, вот так, — Пантелеев сделал два четких, как на уроке, движения, нажал на гашетку и дал громкую очередь в сторону Генческа. — Раз-два, и готово, а он струсил и бросил!

Пантелеев, так же как и все, отдыхал от пережитой опасности. Большой, но оставшийся позади риск; маленькая, но все-таки — победа; разговор с солдатами в только что отбитом окопе — именно такие минуты, как эта, были самыми счастливыми во фронтовой жизни Пантелеева. Он не считал обстрелянными солдатами людей, просто полежавших под огнем, но не одержавших ни одной, хотя бы самой малой победы. Люди способны привыкнуть и даже притерпеться к опасностям, — но это одно, а стать обстрелянным человеком значило, в понимании Пантелеева, одержать свою первую победу. Не просто умом, а собственной шкурой понять, что ты способен на нее.

— Товарищ дивизионный комиссар, разрешите доложить?

Пантелеев обернулся. Перед ним стоял сиявший от счастья Велихов.

— Немецкого полковника убили. Давай клади, — повернулся Велихов к здоровенному бойцу, тащившему на плечах тело громадного немца. — Опускай!

Боец отпустил одну руку, и мертвец тяжело сполз на дно окопа. Это был немолодой немец, очень большого роста, с черными усами, белым лицом и зажмуренными глазами — так в ужасе зажмуривается человек, ожидающий удара в спину. Сукно его мундира дочерна намокло от крови.

— Штыком его, — сказал принесший немца боец и коротким движением обеих рук показал, как он ударил немца штыком в спину.

— Оно и видно, что штыком, — сказал Пантелеев, разглядывая немца. — А откуда же решили, что это полковник?

— А смотрите, пожилой и нашивок сколько, — все так же счастливо улыбаясь, сказал Велихов. — И пистолет взяли у него. — Он показал на засунутый за ремень гимнастерки парабеллум.

Велихову, всем окружавшим Пантелеева бойцам и Лопатину, который без очков, близоруко нагнувшись, рассматривал немца, — всем очень хотелось, чтобы этот мертвый действительно оказался полковником. Но Пантелеев при всем желании не мог подтвердить этого. Хотя у немца, и правда, весь мундир был в нашивках, но погоны говорили, что он всего-навсего фельдфебель.

— Полковник еще впереди, а это пока фельдфебель, — помедлив, сказал Пантелеев, и лица у бойцов сразу стали разочарованными.

Подошедший командир роты доложил, что все окопы заняты и немцев по первому подсчету уничтожено до тридцати человек.

— Вчера с нашими запросто управились и решили — больше взвода не оставлять! — сказал Пантелеев. — Нахалы все-таки! Сколько у вас потерь в роте, подсчитали?

— Подсчитываем! Около сорока. Кладу одну четверть на убитых... — с не понравившейся Пантелееву легкостью начал лейтенант.

— Подождите класть, — перебил его Пантелеев, — лучше пошлите санитаров за теми, кто на косе раненый лежит. А то пока там, сзади, додумаются...

Пантелеев вспомнил Бабурова, беспорядок, с которого началось утро, и нахмурился:

— А наших, ночью убитых, возле окопов много лежит?

— Несколько человек видел.

— Командира батальона не нашли?

— Нет, не опознали.

— Похороните всех до одного, — строго сказал Пантелеев. — А то у нас так иногда рассуждают: моей роты — похороню, а не моей роты — пусть птицы клюют. Водится у нас еще такое хамство.

— Я и собирался похоронить, товарищ дивизионный комиссар.

— А я не про вас. Я просто, чтобы учли, как некоторые другие поступают.

Пантелеева беспокоило, чтобы здесь не повторилась вчерашняя история. Уж больно невыгодна была эта открытая позиция, все

подходы к которой просматривались немцами из Геническа. В то же время дать приказ отойти с этих неудобных позиций, предоставив немцам возможность снова высадиться здесь под прикрытием огня из Геническа, Пантелеев не хотел, особенно после сегодняшней удачной атаки. Он верил, что роту можно оставить здесь; теперь она не побежит и будет драться. Но одной веры было мало: следовало наладить связь и организовать поддержку из глубины огнем, а в случае необходимости — резервами.

Приказав поправить окопы, а в нескольких местах углубить их, Пантелеев отпустил командира роты и, оставшись вдвоем с комиссаром полка, сурово сказал ему, что если бы полчаса назад, во время атаки, он оказался не здесь, в роте, а там, где остался Бабуров, то пошел бы под трибунал вместе с командиром полка.

— А этого прохвоста, — свирепо, но тихо, так, чтобы слышал один комиссар, сказал Пантелеев, — я еще сегодня с чистой душой отдам под трибунал, а вынесут расстрел — подпишу расстрел. Рука не дрогнет, будьте покойны!

И он тяжело сжал в кулак свою большую волосатую шахтерскую руку.

— А люди у вас здесь, в этих окопах, на острие ножа, и им брехать нельзя. Я им сказал от вашего имени, что комиссар полка им обещает порядок, поддержку, выручку, — так будьте любезны, чтобы это было не брехаловкой, а делом. Поняли? Я сейчас пойду обратно в батальон, пойдете со мной — наведем там порядок, а к ночи вернетесь сюда. Велихов! — крикнул он адъютанту. — Дай флягу, пить хочется.

Он отхлебнул глоток воды, протянул флягу комиссару и, посмотрев на сидевшего на корточках и что-то писавшего Лопатина, обратился к нему:

— Товарищ корреспондент, простите, забыл вашу фамилию...

— Лопатин, — сказал Лопатин, отрываясь от записной книжки.

— Возьмите выпейте, небось тоже горло пересохло... Да и пойдем, не зимовать же тут. Я ротой еще в гражданскую накомандовался. Так что на сегодня с меня хватит. Тем более что у нас с вами еще и другие дела есть, а?

Лопатин в простоте душевной обрадовался, что они пойдут назад. По правде говоря, после всего пережитого он был не прочь оказаться подальше от немцев. Но комиссар полка, до этого показавшийся ему человеком безгласным, заартачился.

— Товарищ дивизионный комиссар, — сказал он, — прошу подождать здесь, пока не стемнеет. Настаиваю на этом, товарищ дивизионный комиссар.

— Это почему же? — спросил Пантелеев.

— Как только вылезете из окопа — немцы по вас бить начнут.

— Начнут или не начнут — это их забота, — сказал Пантелеев, вскидывая на плечо винтовку. — А мне тут сидеть некогда. Мне

надо у вас в тылу порядок навести и к ночи еще до Симферополя добраться.

Он повернулся к инструктору из политотдела армии, стоявшему поблизости, и приказал ему оставаться здесь, в роте, безотлучно, пока не отзовет политотдел. Потом вылез из окопа и, не оглядываясь, идут за ним или не идут, зашагал назад.

Вслед за ним вылезли Велихов, Лопатин и комиссар полка. Комиссар вылез последним, и Лопатин слышал, как он вздохнул и внятно чертыхнулся. Лопатин повернулся к нему. На молодом, усталом, выпачканном землей лице комиссара было выражение огорчения и нерешительности, словно он даже теперь, уже вылезши из окопа, все еще собирался переубедить Пантелеева, но не знал, как это сделать.

— Вытрите щеку, — сказал Лопатин. — Земля. Нет, не на этой стороне.

Комиссар вытер ладонью обе щеки.

— Как теперь?

— Стерли.

— Боюсь, убьют, — отрешенно от себя сказал комиссар, кивнув на шедшего впереди Пантелеева.

Лопатин улыбнулся. Вопреки всякой логике, ему показалось, что все опасности позади и немцы на обратном пути не будут стрелять в них. Но едва он подумал об этом, как немцы дали сверху, из Геническа, первую пулеметную очередь. Упав и вдавившись в землю, Лопатин слышал, как срезаемая пулями трава шуршит совсем рядом. Ему показалось, что это тянулось целую минуту, если не больше. Потом стало тихо; Пантелеев поднялся, крикнул: «Ходу!» — и, быстро пройдя несколько шагов, перешел на бег.

Следующая пулеметная очередь застигла их через пятьдесят шагов. Все легли, через минуту вскочили вслед за Пантелеевым, побежали и снова легли. Не отрывая голову от земли, Лопатин заметил, что комиссар полка отстал от них на одну перебежку. Когда же, опять упав еще через полсотни шагов, Лопатин снова обернулся, то увидел, как двое вылезших вслед за комиссаром бойцов волоком, не поднимая с земли, тащат его обратно к окопу. Лопатин видел, что и Пантелеев обернулся и заметил происшедшее. Может быть, теперь он решит вернуться назад?

Но Пантелеев и не думал возвращаться. Перебежка шла за перебежкой, пулеметные очереди резали траву. Лопатин вскакивал, бежал за Пантелеевым, падал, не выпуская из рук винтовки и всякий раз больно ударяясь о землю костяшками пальцев. Ему хотелось бросить винтовку, но он с утра видел столько брошенных винтовок, что ему было стыдно это сделать. Падать приходилось быстро, как подкошенному. Один раз, когда Лопатин упал особенно стремительно, проехавшись носом по

песку, Пантелеев, упавший рядом, повернул к нему лицо и усмехнулся.

— Ловко землю пашете, — сказал он.

Немцы, словно решив ни за что не упустить этих троих людей, метавшихся под их очередями по голому месту, стреляли почти непрерывно. Лопатин потерял счет перебежкам; ему казалось, что все это вообще никогда не кончится. Наконец они еще раз вскочили — и наступила долгая пауза. Еще не веря, что немцы перестали стрелять, Лопатин пробежал сто метров и вслед за Пантелеевым перешел на шаг. И вдруг снова треснуло. Очередь легла далеко впереди них.

— Теперь не вдогонку, а по рубежам стреляют, — сказал Пантелеев. — Возьмут на прицел рубеж и будут ждать, пока подойдет.

Голос у него был хриплый, и Лопатин впервые за день подумал, что Пантелееву тоже страшно.

Немцы стреляли долго. То короткими, то длинными очередями. Одна из них взрыхлила песок у самой головы Велихова. Велихов пошарил рукой и вынул из песка пулю.

— К самому носу подлетела, — сказал он, силясь улыбнуться.

Когда вслед за этим раздалась еще одна очередь, что-то сильно ударило Лопатина в бедро. Он пощупал бедро рукой, полез в карман и вытащил оттуда две обоймы от полуавтомата, которые он, сам не зная зачем, подобрал в окопе. Одна обойма была разворочена, другая поцарапана; в штанине была дырка. Не поднимая головы, Лопатин показал развороченную обойму Пантелееву.

— А вы поглядите, может, ранило? — озабоченно спросил тот.

Лопатин потрогал ногу — нога нигде не болела.

Наконец пулеметы перестали трещать. Все трое поднялись и пошли. Бежать не оставалось сил. Немцы больше не стреляли. Никому из троих не хотелось говорить.

Так молча прошли метров триста. Потом Лопатин почувствовал, как что-то мешает ему идти, колет ступню.

— Может, пуля провалилась в сапог? — неуверенно сказал он.

— Вполне возможно, — отозвался Пантелеев. — Дойдем до пинерлагеря, разуешься, посмотришь.

Когда упала первая мина, Лопатин не услышал ни свиста, ни гула, он лишь почувствовал силу удара чего-то рванувшегося совсем рядом. Потом, вспоминая, Лопатин не мог понять, как никого из них не задело ни одним осколком, но в ту секунду он не успел подумать об этом. Едва разорвалась мина, едва он успел упасть, как Пантелеев уже вскочил и, крикнув: «Скорей перебегай, пока дым не разошелся», побежал вперед. Пробежав метров сорок, он бросился на землю, Лопатин и Велихов — вслед за ним; метрах в тридцати разорвалась вторая мина.

— Левей! — снова вскочив, крикнул Пантелеев. — Левей, к воде! Он добежал до самой воды и быстрыми шагами пошел по берегу.

— Теперь те, что слева, — не страшные, в воду упадет, навряд ли убьет.

И когда, словно торопясь подтвердить его слова, метров за пятьдесят от берега взлетел высокий водяной столб и Лопатин и Велихов присели, Пантелеев даже не пригнулся.

Немцы провожали их минометным огнем еще метров триста. Потом над головами раздался сильный, булькающий, рассекающий воздух звук, непохожий на все другие, бывшие до этого, и тяжелый взрыв грохнул за их спинами, в Геническе. Снова быстрое бульканье над головами, снова тяжелый далекий взрыв за спиной, еще и еще — двенадцать раз подряд.

— Догадался артиллерист, — облегченно сказал Пантелеев. — Ударил все-таки по немецким минометам.

Он страхнул землю с колен.

— Интересно, начальство приказало или своим умом допер? Прикрыл все же нас.

Через пять минут наконец дошагали до пионерлагеря. Лопатин долго потом не мог забыть чувства, с которым он, после всех перебежек по голому месту, остановился под прикрытием крайнего дома. Ему не было видно из-за этого дома Геническа, а значит, и из Геническа не было видно его, Лопатина. Дом был жиденький, полуразбитый артиллерией, но Лопатину казалось, что он никогда еще не чувствовал себя в такой безопасности.

6

Начальник штаба батальона, которого Пантелеев утром посулил расстрелять, если тот не переменит своего командного пункта, перебрался в пионерлагерь и встретил Пантелеева старательным докладом: что свой КП, если не будет других приказаний, он расположил здесь, что связь к артиллеристам протянута, а кроме того, он выбросил вперед, в поддержку роте, два приданных ему полковых миномета.

— Куда вы их выбросили? — спросил Пантелеев.

Начальник штаба показал рукой вперед и налево. Уходящая к морю коса закрывалась пригорком, и минометы были не видны отсюда, но зато, наверно, были хорошо видны из Геническа.

Тяжелые минометы вполне можно было поставить и здесь, в пионерлагере. Но у Пантелеева была слабость: пережив в начале войны всю горечь отступления от Ломжи до Витебска и в душе не примирясь с происшедшим, он каждый раз радовался стрем-

лению людей занять позиции поближе к противнику и редко отменял в таких случаях даже нецелесообразные приказания подчиненных. Так он поступил и сейчас. Минометы были не на месте, но в батальоне начинал чувствоваться порядок.

— Товарищ дивизионный комиссар, не обнаружили старшего лейтенанта Васина? — волнуясь, спросил начальник штаба батальона, с самого начала хотевший задать этот вопрос, но не посмевший сделать это раньше доклада.

— Какого Васина?

— Командира батальона.

— В плен забрали вашего Васина, — утрюмо сказал Пантелеев, неохотно возвращаясь в мыслях к событиям ночи. — Среди убитых нет, значит, в плен забрали. Что он из себя представлял-то у вас?

— Хороший командир батальона, — горячо сказал начальник штаба. — Я его знаю с училища. И учился одним из первых и кончил хорошо.

— Кончил хорошо, — все так же утрюмо сказал Пантелеев, — а войну начал плохо. А вы как училище кончили, тоже хорошо? — вдруг спросил он.

— Средне, товарищ дивизионный комиссар.

— Ну вот, кончили средне, а теперь за командира батальона приходится вас оставлять. Доложите об этом командиру полка. Где он, кстати?

— Не знаю, товарищ дивизионный комиссар. Здесь его не было.

Пантелеев вздохнул и ничего не сказал. Всю желчь, которая накопилась у него за день на командира полка, он бережно, как бы сливая по капле в один сосуд, оставлял до предстоящей встречи с ним.

— Комиссар полка ранен, и, как видно, тяжело, — сказал он. — Как только стемнеет — вынесите. И теперь же тяните связь в роту, чтобы до полной темноты связь была! Понятно?

— Понятно, товарищ дивизионный комиссар.

— Где моя машина?

— Сейчас придет, товарищ дивизионный комиссар, — с виноватым видом сказал начальник штаба. — Поехала ящики с минами подвезти к минометам, — и он снова указал рукой налево за песчаный гребешок. — Она и минометы туда под огнем отвезла — подцепила и отвезла, один за одним. Боевая дивчина, — добавил он с нескрываемым молодым восхищением.

Пантелеев посмотрел на его залившееся румянцем лицо и сказал насмешливо, но не сердито:

— Дивчина-то боевая, да вы-то не больно боевые. Обрадовались, что одна дивчина храбрее всех вас, мужиков, нашлась, так и ездите на ней взад и вперед!

— Тут под рукой других шоферов нет, товарищ дивизионный комиссар, а она сама вызвалась, прямо говоря, напросилась.

— Между прочим, и на руках могли бы минометы подтащить вперед.

— Песок, товарищ дивизионный комиссар, долго, а нам побыстрей хотелось.

— Ну что ж, подождем. К медали представляю, если живая вернется.

В последних словах была укоризна, и начальник штаба, почувствовав это, вновь покраснел.

— Товарищ дивизионный комиссар, — сказал он, — разрешите доложить — шпионку задержали.

— Шпионку? — недоверчиво переспросил Пантелеев. — Небось какая-нибудь баба посмелей осталась в подвале, когда все ваши драпанули, а теперь вылезла, и готово — шпионка! А уполномоченный уже рад стараться! Кто ее задержал — уполномоченный?

— Так точно, уполномоченный.

— Позовите его ко мне.

Через минуту к Пантелееву подошел уполномоченный особого отдела полка — рослый парень с красивыми серыми глазами. Одет он был не по форме, вместо шинели — черная кожанка.

— Что, еще с гражданской войны таскаете? — неприязненно посмотрев на кожанку, съязвил Пантелеев. — Комиссарите?

— Нет, товарищ дивизионный комиссар, — заметив насмешку, но не теряясь, ответил уполномоченный. — Шоферская привычка. Я финскую в шоферах служил, а потом перевели в особенности.

— Шофер, значит, — сказал Пантелеев. — Мины под огнем у вас девка перебрасывает, а вы шофер!

— Я не мог отлучиться — с задержанной допрос снимал, — сказал уполномоченный.

Он держался с достоинством, но любивший это в людях Пантелеев и тут не смягчился.

— Задержанная, — пробурчал он, — наверное, тетку Марфу из-под картошки вытащил — вот и вся ваша шпионка.

— Нет, товарищ дивизионный комиссар, задержана женщина из Геническа. Переправилась сюда, на Арабатскую Стрелку, ночью вместе с немцами, а дальше пошла с заданием — посмотреть, где и что, и вернуться в Геничesk. Сообщает, что мост при взрыве только в воду осел, можно в Геничesk по пояс в воде перейти. Вообще важные показания дает — может быть, вы сами с ней поговорите?

— Ладно, посмотрим, что за птица, — сказал Пантелеев, смущенный тем, что, кажется, невпопад придрался к уполномоченному. Он был доверчив и не стеснялся этого, потому что довер-

чивость редко обманывала его в жизни. Хотя он теоретически и верил, что среди советских людей могут существовать шпионы, но душа его этого не принимала.

— Пойдем посмотрим, — сказал он Лопатину. — Когда еще живую шпионку увидишь, если, конечно, она шпионка! — продолжая гнуть свое, искоса взглянул он на уполномоченного.

Задержанная женщина сидела у стены сарая на кирпичах сушеного кизяка. Подле нее стоял скучающий конвоир. Пантелеев грузно опустился на козлы для пилки дров; уполномоченный и Лопатин стали рядом.

Женщине на вид было лет тридцать. Она была некрасива, даже уродлива: землистого цвета лицо, глубоко запавшие глаза, короткая верхняя губа, обнажавшая неровные темные зубы, прямые пряди жидких и сальных черных волос, вылезавших из-под черной, в мелкий горошек косынки. Шея у женщины была тощая, а одно плечо перекошено — она была кособока и казалась худой. Но у нее были широкие бедра и грязные босые толстые ноги, никак не сочетавшиеся с маленькой птичьей головой.

Пантелеев с минуту молча рассматривал ее и лишь потом начал задавать вопросы, к которым уполномоченный изредка добавлял свои. Женщина отвечала на все вопросы одинаковым голосом, равнодушно глядя в одну точку перед собой, независимо от того, о чем ее спрашивали и кто говорил с ней — Пантелеев или уполномоченный.

Пантелеев после первого же ее ответа понял, что уполномоченный прав — женщина действительно переправилась ночью вместе с немцами из Геническа и оставлена ими здесь. Она не отрицала этого, а когда ее спросили, что ей за это пообещали дать немцы, спокойно ответила, что они обещали ей полторы тысячи рублей.

Ее признание и полученное от нее подтверждение уже появившейся собственной догадки — что немцы могут переходить пролив по плохо взорванному мосту — исчерпывали практический интерес Пантелеева к задержанной. Однако он продолжал задавать ей все новые и новые вопросы, казалось уже не имевшие прямого отношения к делу. Он ждал ответа на один главный вопрос, который беспокоил его сейчас: что случилось, почему эта вот сидящая перед ним простая, плохо одетая женщина стала тем, чем она стала, — немецкой шпионкой? Почему она согласилась служить немцам, которые пришли в Геничesk всего три дня назад, немцам, которых она раньше не знала и не видела и с которыми ее до этого ничто не связывало?

— Пиши, Лопатин, пиши, — угрюмо говорил, все более расстраиваясь по мере допроса, Пантелеев. — Пригодится для истории. Если мы с тобой доживем до истории, — мрачно, непохоже на себя, пошутил он.

И Лопатин писал.

Женщине было 28 лет, она назвала большое село под Геническим, где она родилась в семье самого богатого из тамошних хозяев, у которого были уже после революции и мельница, и сельская лавка, и батраки, работавшие на арендованной земле. Отец в детстве, по пьяному делу, ударил ее поленом, разбил ключицу и на всю жизнь оставил свою и без того некрасивую дочь кособокой. Но он, — сказала она, терпеливо, хотя и с удивлением, отвечая на вопросы, не имевшие, казалось, никакого отношения к тому, что происходило с нею сейчас, — потом всю жизнь жалел ее и обещал за ней большое приданое.

— Всего много давал, трех коней давал, — сказала она, и впервые за время допроса потухшие, глубоко запрятанные глаза ее блеснули от этого воспоминания. Несмотря на ее уродство, небогатые женихи домогались ее. Наконец ее высватали, и ей уже мерещилась свадебная тройка, свой дом, отцовское приданое, а вместо всего этого началось раскулачивание. Отца раскулачили первым в селе, и он с матерью и старшими братьями поехал в теплушке куда-то на север — говорили, в Кемь — и сгинул там навсегда. Почему ее не выслали, оставили, она не сказала, а Пантелеев не спросил. Может быть, потому, что ей не исполнилось еще восемнадцати.

Жениха сразу как ветром сдуло, словно его и не было, потому что вместо завидной невесты с богатым приданым, домом и тройкой коней осталась уродливая девушка с перебитым плечом, никому не нужная, никем не желанная, да еще раскулаченная, без кола и двора. Она ушла из села в Геническ, ходила с постирушками, мыла полы, была на поденной работе, а под конец устроилась судомойкой в городской столовой, снимая углы то у добрых, то у недобрых людей. Кто знает, что творилось в ее душе все эти годы, но ее глаза, сверкнувшие снова, во второй раз, сказали Лопатину, который, следя за выражением ее лица, писал, почти не глядя на бумагу, что, наверное, в душе ее царил такой ад разрушенных надежд и нестерпимых воспоминаний о несостоявшемся женском счастье, что этим одиноко запертым в душе чувствам, пожалуй, не подобратьшь и названия.

За год перед войной в Геническ вернулся ее троюродный брат, тоже из раскулаченных. Вернулся с документами на имя кого-то другого, умершего в ссылке.

— Сбежал? — спросил Пантелеев.

— Может, и сбежал, — равнодушно сказала она.

На первых порах она стала подкармливать его, вынося ему по вечерам из столовой все, что попадалось под руку, а он, в благодарность за это, стал жить с ней. Потом, осенью, его, так под чужой фамилией, и взяли в армию, и он уехал в часть под Измаил. А три дня назад пришел в Геническ вместе с немцами.

Он рассказывал ей, что служит у них в комендатуре, приносил немецкую водку и по ночам спал с ней, как раньше. Вчера он пришел к ней среди ночи и сказал, чтоб она шла с ним. Она пошла, не расспрашивая. Они сначала сидели на берегу и слушали стрельбу внизу, под Геническим, на Стрелке, а потом сели в лодку вместе с немецкими солдатами и переехали сюда, на косу. При этом она видела, как другие немцы в это же время переходили пролив по взорванному мосту. Он велел ей, пока не рассвело, дойти до пионерлагеря, а потом пойти в деревню Геническая горка и еще дальше, на соляные промысла, и посмотреть, много ли там советских или немного, есть ли пушки и где они стоят. Он велел ей, если ее спросят в Генической горке, откуда она, чтобы она ответила: «С Сольпрома», а если ее спросят об этом же на Сольпроме, сказала бы наоборот, что она из Генической горки. И еще он велел ей подождать, пока стемнеет, и ночью выйти берегом обратно к мосту, он будет ждать ее там. Он сказал, что, когда она вернется, немцы дадут ей полторы тысячи, а может, и больше.

Когда она перестала вспоминать о прошлом, глаза ее снова потухли, и обо всем, что произошло вчера и сегодня, она говорила бездушно, без раскаяния и сожаления.

Она просто рассказывала все, как было, не выражая никаких чувств, в том числе и чувства страха. Лишь один раз, говоря про то, как ее сожитель пришел за ней ночью и повел ее на берег, она вдруг сказала: «И я пошла за ним, как собака...» Но это тоже не было самоосуждением: просто она до предела точно выразила одной фразой все их отношения. Он был единственный, кто снизошел до нее, жил с ней раньше и жил с ней сейчас, и она пошла за ним, как собака, туда, куда он велел, и сделала то, что он велел.

О полутора тысячах она сказала с бесстыдной простотой — это было не главное, главное было то, что он ей велел.

Ответив на последний вопрос, она подождала, не спросят ли ее еще, потом облизала пересохшие губы и вытерла их кончиком платка.

— У, ведьма, — раздался звонкий и злой девичий голос за спиной Лопатина. — Так бы и стрелила тебя!

Он повернулся. Сзади него стояла неизвестно когда взявшаяся здесь шоферка Паша Горобец.

Задержанная вскинула на нее глаза, и они долго смотрели друг на друга: черная тихая женщина, похожая в своей неподвижности на узел темного тряпья, из которого торчали только лицо и толстые ноги, и звонкая, вся, как струна, натянувшаяся от негодования, голубенькая шоферка, с голыми коленками, голыми до локтей, сжатыми в кулаки руками, с растрепавшимися во время езды и упавшими на шею косичками желтых пыльных волос.

— На Сольпроме к нам ходила, — сказала девушка, и голос ее задрожал от гнева. — За сольпромовскую хотела себя выдать... — Это, казалось, сердило ее больше всего. — Я на Сольпроме всех знаю, я сама сольпромовская, и никогда она сольпромовской не была, — обращаясь к Пантелееву, продолжала шоферка, и чувствовалось, что это очень важно для нее — что черная женщина не сольпромовская и что на Сольпроме никогда таких не бывало.

— А она и не говорит, что она сольпромовская, — сказал Пантелеев, — она геническая, да и не геническая она, а немецкая. Пришли фашисты, и пошла за ними, как собака, — по-своему повертывая то, что сказала женщина, добавил Пантелеев, вставая.

— Чего на нее смотрите, товарищ начальник, стрелите ее, и все, — просто, как о чем-то само собой разумеющемся, сказала шоферка. Потом помолчала и, уже ни к кому не обращаясь, отвечая на свои мысли, задумчиво и убежденно добавила: — Я бы ее стрелила.

— «Стрелить» успеем, — сказал Пантелеев, — а вот посмотреть на нее — что в нашей жизни бывает, это надо! Смотри на нее, Паша, — повернулся он к девушке. — Смотри как следует и запоминай.

— А чего мне ее запоминать, — с неожиданной обидой в голосе отозвалась она. — Очень мне надо ее запоминать... — И в этих простых словах была такая сила чистого девичьего презрения, что Лопатин невольно залюбовался ею.

— Оформляйте протокол допроса, — сказал Пантелеев уполномоченному, — и сегодня же отправляйте в Симферополь. — И другим, веселым голосом крикнул девушке: — Поехали, шоферка! Где твоя полуторка-то?

— За домом, сейчас выведу, — откликнулась она на бегу.

Пока шли к машине, Лопатин на ходу задумчиво вертел в руке сплюснутую пулю. Именно она, провалившись в сапог, и мешала ему идти. Он вынул ее еще раньше, вынул и забыл о ней, а сейчас захотел закурить, полез в карман за спичками и снова вспомнил.

— Повезло, — бросив взгляд на пулю, которую вертел Лопатин, сказал Пантелеев. — Будешь в Москве, подари мамаше или жене.

Он ждал, что Лопатин ответит на его шутку, но Лопатин ничего не ответил. Мамаши у него давно не было, а его жене эта пуля была так же ни к чему, как в последние годы ни к чему был и сам Лопатин.

Велихов, стоя перед машиной, крутил заводную ручку.

— Вы не так, — говорила Паша, — дайте я сама.

Но Велихов еще несколько раз с силой крутанул ручку, и машина завелась.

— Ну и спасибочко, — сказала Паша. — Только зря, я бы сама. — И полезла в кабину.

— Одну минуту, товарищ дивизионный комиссар, разрешите я сена в кузов возьму, — сказал Велихов.

— Бери, бери. А то корреспондент будет на меня потом обижаться, что я в кабине сидел, а он в кузове бока намял, а человек уже, вроде меня, не молоденький.

Велихов притащил охапку сена, швырнул ее в кузов, забрался первым и заботливо протянул руку Лопатину.

— Побольше себе подгрести, — сказал Велихов, когда полуторка тронулась, и стал подгребать сено под бок Лопатину.

Удивительно, как всего несколько часов могут переменить человека. Утром это был еще нагловатый, глупо цукавший пожилого шофера и на каждом шагу стремившийся подчеркнуть свою значительность нахальный адъютантик, а сейчас он как-то вдруг за день похудел, и даже лицо у него стало не таким розовым, как утром, а более осмысленным и взрослым. Он впервые был в бою, видел, как вокруг умирают, и у него появилось что-то, чего не было раньше: что-то понимающее и доброжелательное по отношению к людям, которые смертны, так же как и он сам. Наверное, он только сегодня это почувствовал, раньше он это знал, но не понимал. А сегодня понял, что можно не успеть сделать людям добро и не успеть исправить зло, и это подействовало на него.

«А может, и нет, может, мне все это только кажется, — подумал Лопатин. — Кажется, потому что мне самому хочется после сегодняшнего дня как-то по-другому относиться к людям, и я надеялся этим собственным чувством других, хотя они, может быть, вовсе его и не испытывают».

Около позиций морской батареи Пантелеев остановил машину и, еще прежде чем открыть дверцу, с радостью увидел спешившего навстречу маленького востроносого полковника, натуго затянутого в полевую портупею и обвешанного со всех сторон всем, что полагалось иметь по штату, — наганом, планшетом, полевой сумкой и биноклем. Даже свисток на витом кожаном шнурке был засунут у полковника на свое, положенное для свистка место на портупее.

И наган, и бинокль, и планшет, и сумка были самых обыкновенных размеров, но полковник был такой маленький, что все вещи выглядели на нем очень большими, и, хотя их было не больше, чем на любом другом полковнике, казалось, — он обвешан ими с головы до ног. Фуражка у полковника была заломлена набок, а остренький носик весело морщился.

Пантелеев вышел из машины и невольно улыбнулся.

Шедший ему навстречу полковник Ульянов, заместитель генерала Кудинова по строевой части, всю финскую кампанию

отлично командовал полком в дивизии, где Пантелеев был комиссаром. Даже на строгий суд Пантелеева он был человеком безусловно храбрым и к тому же расторопным, и Пантелеев сейчас радовался, что Ульянов появился на продолжавшей беспокоить его Арабатской Стрелке.

Ульянов отдал рапорт, чуть заметно морща при этом носик и смеясь маленькими глазками.

— Чему радуешься? — спросил Пантелеев. — Чего веселого тут обнаружил?

— Пока ничего, — сказал Ульянов. — Хвастаться нечем, порядка еще нет, но будет.

И Пантелеев понял, чему радовался Ульянов. Много лет самостоятельно прокомандовав полком, он привык полностью отвечать за порученное ему дело. Должность заместителя, да еще при лъстивом с начальством и грубом с подчиненными Кудинове, была ему не по характеру. И он откровенно радовался, что его сейчас послали подальше от Кудинова, наводить порядок здесь, на Арабатской Стрелке.

— Я здесь час пробуду, — вспомнив о Лопатине и повернувшись к машине, крикнул Пантелеев, — вылезайте, отдохните пока.

Он хотел поговорить с Ульяновым с глазу на глаз.

— Эх, Ульяныч, — сказал он, поднимаясь вместе с Ульяновым на насыпь. — Жаль, тебя вчера здесь не было. Так иногда действуем, словно взяли на себя подряд — немцам лагеря пополнять.

— А что, много пленных?

— Да, — сказал Пантелеев, — и убитых немало, и полста человек вчера в плен отдали. Вот именно, что не они взяли, а мы отдали — Бабуров ваш! Спроси такого: веришь в нашу победу? — он на тебя глаза выта

рашит — мол, только отпетая сволочь в победу не верит! А поскреби его — в нем вера отдельно от дел живет. Сам в победу верит, а своих людей в плен отдает! Что за прок в такой вере? На ней до победы не доедешь!

— Хорошо, что я вас увидел на дороге, — сказал Ульянов, бывший прежде на «ты» с Пантелеевым, но не считавший возможным обращаться к нему по-старому при его теперешней должности. — А то бы разъехались, я как раз собирался в пионерлагерь, а оттуда в роту сходить.

— Ничего, через час уеду, сходишь, — сказал Пантелеев. — Надо весь круг вопросов с тобой обсудить. А то они ведь, немцы-то, не дураки — вчера по незатопленному мосту перелезали, а завтра сядут на шаланды да где-нибудь посредине Стрелки высадутся. Хоть мы и кричим, что они все по шаблонам воюют, но это пока самоутешение; то одним шаблоном нас стукнут, то другим навернут, то третьим огреют — и все разные! А что мы

все до одной лодки из Геническа угнали, так это только по отчетности так красиво выходит, а если без отчетности — там лодок еще хватит. Мост у нас по отчетности тоже взорван, а они по этому мосту вчера пешком перешли. Командира полка видел?

— Он здесь, — сказал Ульянов. — Я его только сейчас с собой сюда прихватил.

— Откуда? — спросил Пантелеев, уже предчувствуя ответ Ульянова.

И Ульянов действительно ответил, что застал командира полка на бывшем КП батальона, то есть именно там, где он еще утром ухитрился отстать от Пантелеева.

— Где он? — тихо и свирепо спросил Пантелеев.

Они поднялись на насыпь и подошли к орудию.

— Найдите командира полка, — приказал Ульянов стоявшему у орудия моряку.

Но командир полка не спешил показаться на глаза Пантелееву. Действительно ли его не сразу нашли, или он, страшась предстоящего разговора и не в силах совладать с собой, бессмысленно оттягивал его еще на несколько минут, но Пантелеев и Ульянов долго стояли у крайнего орудия батареи, а Бабуров все не шел и не шел.

Ульянов попытался заговорить, но Пантелеев не ответил. Он неподвижно стоял, широко расставив ноги, набычившись, глядя прямо перед собой в землю. Он ожидал прихода командира полка, и ничто другое сейчас его не интересовало.

Наконец появился Бабуров — он вынырнул из-за орудия и, рысью подбежав к Пантелееву, суетливо стал объяснять, что утром не выехал вместе с дивизионным комиссаром потому, что в это время его позвали к телефону, а потом, когда он вышел из землянки, машина уже отъехала — он кричал, махал руками, но она не остановилась. Все это было вранье, но Пантелеев слушал, не перебивая. Бабуров кончил говорить, сделал паузу, радуясь, что Пантелеев ни разу не перебил его, и, ободрившись, добавил еще несколько слов в свое оправдание. Пантелеев по-прежнему молчал, и это затянувшееся молчание постепенно стало таким угрожающим, что даже Ульянов невольно передернул плечами.

— Вы трус, — негромко и медленно, в полной тишине сказал наконец Пантелеев. — Вы больше не командир полка. Я вас отстраняю от должности и отдаю под суд. Командиром полка временно назначаю вас, — повернулся Пантелеев к Ульянову и, кивнув на Бабурова, добавил: — Позаботьтесь, чтобы его к утру доставили в Симферополь.

Услышав это со смертельным равнодушием сказанное слово «доставили», Бабуров задрожал. Он задрожал в буквальном смысле этого слова, как человек, которого бьет малярия. Он трясся, как лист,

заикался, и из его трясущихся губ беспорядочно выскакивали неживые и уже никому не нужные слова о том, что он виноват, но что он не трус, что, если надо, он готов... и еще что-то, чего Пантелеев не слушал, а только терпеливо ждал, когда он кончит.

Пантелеев думал о том, что даже ему, человеку, выдавшему всякие виды на всех войнах, начиная с германской, все-таки очень редко — пять-шесть раз за всю жизнь — приходилось сталкиваться с такими патологическими трусами, как этот трясущийся полковник: это же надо представить себе — командир полка, вместо того чтобы сопровождать члена Военного совета на позиции, не садится в машину и остается. Остается потому, что боится поехать на передовую, остается, понимая, что потом его за это отдадут под суд, остается, не надеясь на пощаду, а просто будучи не в силах превозмочь себя.

«А может быть, он все-таки на что-то надеялся? — подумал Пантелеев. — На что?» И вдруг спросил вслух:

— Вы что, надеялись, авось меня убьют там, впереди? Меня убьют, другие не узнают о вашем поведении, споете им Лазаря, и будут взятки гладки! Так, что ли? Просчитались! Я еще провою до конца войны, а вас будут завтра судить, потому что вы трус и вас даже в рядовые бойцы разжаловать нет смысла. Боец — это бой. У бойца честь и совесть есть! А у вас где они?

И Пантелеев, нисколько не смягчившись оттого, что высказал наконец в лицо полковнику все накопившееся за день, и даже не считая сказанное жестокостью, прошел мимо Бабурова, не взглянув на него.

Маленький Ульянов, идя вслед за ним, не удержался, снизу вверх, мимоходом посмотрел Бабурову в лицо и встретился с ним взглядом. Командир полка стоял, бессильно опустив плечи и почти до колен свесив руки. На лице его было такое выражение тоски и отчаяния, какое бывает у людей только перед смертью. Ульянов подумал, что если бы Пантелеев сказал все это не Бабурову, а ему, Ульянову, и если бы ему нечего было на это ответить, то он бы тут же, на месте, вынул пистолет и застрелился.

— Петр Андреич, — еле слышно шепотом сказал Бабуров, глядя на Ульянова и удерживая его взглядом. — Петр Андреич, — он наклонил свое толстое, заросшее седой щетиной лицо, и две слезы выкатились из его глаз.

Ульянов хотел задержаться возле него, но Бабуров больше ничего ему не сказал, а Пантелеев, не поворачиваясь, уже звал его:

— Полковник Ульянов, где вы? — И Ульянов поспешил вслед за ним, думая о том, что, хотя не поехать вместе с начальством вперед, на позиции своего же собственного полка, конечно, неслыханная вещь, все-таки ему жаль Бабурова. Еще третьего дня Бабуров присутствовал в штабе дивизии на совещании у Кудинова и, казалось, ничем не отличался от других командиров полка,

а сегодня он уже не командир полка, а завтра его будут судить, а послезавтра, вполне возможно, разжалуют или расстреляют за трусость.

Когда Бабуров остановил взглядом Ульянова и назвал его по имени и отчеству, он, в сущности, ничего не хотел сказать ему. Если бы Ульянов остановился и спросил, что ему хочет сказать Бабуров, Бабуров не знал бы, что сказать. Ему просто безотчетно хотелось, чтобы хоть кто-нибудь понял, как все ужасно и нелепо получилось, и пожалел его. Все творившееся сегодня в его душе было совсем другим и непохожим на то, что думал о нем Пантелеев. Он не сел в машину с Пантелеевым и не догнал его потом на другой машине не потому, что, как о нем думал Пантелеев, он трусил обстрела или боялся идти в атаку — он не боялся этого, а вернее, даже не думал об этом. Но с самого утра, когда он сначала почувствовал из отрывочных донесений, что за ночь на Арабатской Стрелке у него в полку произошла катастрофа, когда потом Кудинов сразу же в ответ на доклад стал кричать по телефону, что если выяснится, что у него погибла рота, то он пойдет под суд, и когда наконец вслед за этим к нему вдруг приехал член Военного совета, — Бабуров все больше и больше терял голову.

Он настроил себя на самое худшее, на то, что рота взята в плен, а морская батарея захвачена, и представил себе всю меру своей ответственности за это. Он представил себе, как ему придется, находясь рядом с членом Военного совета, отвечать за все, что тот увидит, и, еще не сознавая до конца, что делает, взял и не поехал вперед с Пантелеевым.

Весь день, оставаясь здесь, он то придумывал разные объяснения, почему он остался, то решался ехать вслед за Пантелеевым, но, понимая, что не сможет объяснить ему, почему не поехал сразу, отказывался от этого намерения.

Весь день он делал вид, что занимается всякими необходимыми для полка делами, но, в сущности, ничего не делал и только с ужасом ждал возвращения Пантелеева. Он не думал о смерти Пантелеева, но страстно желал, чтобы на обратном пути Пантелеев вдруг проехал мимо, чтобы каким-то образом само собой вышло так, чтоб они не встретились хотя бы сегодня.

Бабуров вовсе не был трусом от природы. Во время гражданской войны он участвовал в боях и даже имел почетное оружие, но в тридцать седьмом году его, военного комиссара Керчи, вдруг пришли и арестовали. Это была та самая волна арестов тридцать седьмого года, которая теперь, в дни войны, вольно или невольно всем приходила на память. И хотя, быть может, никто еще не осознавал до конца всей меры происшедшей тогда, в тридцать седьмом году, трагедии, хотя многие внутренне сомневались, считая, что одни арестованы правильно, а другие — по

ошибке, но почти каждый, кто над этим задумывался, уже чувствовал в душе, что все эти аресты, вместе взятые, правильными быть не могли, потому что это противоречило бы и здравому смыслу, и вере в людей, и, самое главное, вере в Советскую власть, двадцать лет воспитывавшую этих людей.

Когда Бабурова арестовали и потребовали, чтобы он признал соучастие в каком-то заговоре, о котором он не имел представления, он на всю жизнь испугался. Испугался всего, в чем когда-нибудь и кому-нибудь вздумалось бы его обвинить. Испугался всякой ответственности, которую ему правильно или неправильно могли приписать.

Были люди, которые выдержали и не такое и, однако, не сломались и не согнулись, но он не был сильным человеком. И когда после двух лет тюрьмы его выпустили, сказав, что он ни в чем не виноват, то он, еще здоровый на вид мужчина, вышел оттуда больным самой страшной из человеческих болезней — он боялся своих собственных поступков.

И вдруг теперь, на четвертом месяце войны, когда ему дали полк, фашисты, в первом же бою перебив его роту, оказались в Крыму. Оказались именно там, где стоял его полк, его рота и где именно он нес всю полноту ответственности за то, чтобы фашисты не попали в Крым. Он испугался этого так, что уже никакие доводы разума не могли заставить его действовать вопреки страху ответственности.

Сейчас, после того как Пантелеев и Ульянов отошли и где-то недалеко еще слышались их голоса, Бабуров не думал о будущем, а неудержимо боялся его. Из всего, что говорил Пантелеев, самыми нестрашными были слова, что его, Бабурова, разжалуют в рядовые. Если бы минуту назад Пантелеев сказал ему, что он разжалован в рядовые, и приказал взять винтовку и идти на передовую бойцом, он бы не испугался этого, наоборот, с облегчением почувствовал бы, что с ним уже сделали все, что могли сделать за его вину, и теперь — будь что будет! Но одна мысль, что завтра его повезут в Симферополь и будут спрашивать, как он допустил, что фашисты ступили на крымскую землю, а потом трибунал удалится на совещание и он будет сидеть и ждать приговора, — одна эта мысль приводила его в такой ужас, что он боялся не только завтрашнего дня, но и сегодняшней ночи, в течение которой ему придется ждать того, что произойдет с ним завтра.

Содрогаясь от озноба, пошатываясь и плохо соображая, куда и зачем он идет, Бабуров медленно сошел с насыпи, прошел мимо машины Пантелеева, около которой сидел и разговаривал с девушкой-шофером какой-то худой человек в очках, мельком запомнившийся ему утром, прошел мимо откозырявших ему и с удивлением посмотревших на его странное, отчужденное лицо

бойцов, прошел еще сто, и двести, и триста шагов по кочковатой песчаной земле Арабатской Стрелки, все еще не зная, что он сделает, а чувствуя только одно — что он боится дальше жить. Зайдя за небольшой бугорок, из-за которого уже нельзя было видеть ни стоящих на позиции орудий, ни бойцов, ни машины, он с минуту постоял, вынул из кармана носовой платок, вытер им лицо, снова сунул платок в карман, потом достал из кобуры пистолет, несколько раз глубоко и прерывисто вздохнул и, задержав дыхание, выстрелил себе в грудь, против сердца.

7

На сухой, треснувший где-то в степи пистолетный выстрел никто не обратил особого внимания. Лопатин, который в ожидании Пантелеева сидел на подножке машины и расспрашивал Пашу Горобец о ее жизни, только на секунду повернул голову, прислушиваясь, не выстрелят ли еще, потом поправил очки с одним оставшимся в живых стеклом и по журналистской привычке сказал: «Ну, ну», показывая, что он снова весь внимание.

Паша сидела на согретшейся за день земле, прислонившись к стожку сена, и то начинала рассказывать своим быстрым южным говорком, то вдруг останавливалась, зажимала глаза и ловила лицом тепло прорвавшегося сквозь облака вечернего солнца. Она очень устала за день и радовалась, что еще не пришла пора снова ехать и можно посидеть и погреться на солнышке. Майор, с которым она говорила, чем-то нравился ей, хотя он был совсем не похож на военного — худой и смешной из-за того, что одно стекло у него в очках было целое, а другого стекла совсем не было. От этого и глаза у него были разные — один, за стеклом, далекий и строгий, а другой, без стекла, добрый, часто и растерянно щурившийся.

— Вы бы их совсем сняли, товарищ майор, — сказала Паша.

— Боюсь тогда и второе стекло раздавить, — сказал Лопатин. — Забуду, что оно в кармане, и раздавлю.

— А вы не забывайте, — назидательно сказала Паша.

Жизнь ее, как казалось ей самой, была слишком проста для того, чтобы о ней рассказывать, и она несколько раз порывалась перевести разговор на что-нибудь другое, более интересное. Но Лопатин, которого товарищи по редакции с завистью называли клейстером, не обращая внимания на Пашины уловки, продолжал расспрашивать ее, почему же все-таки в прошлом году она не пошла в соляной техникум, куда ее посылали, а поступила именно на шоферские курсы.

На самом деле Паша в техникум не пошла потому, что надо было уезжать с Сольпрома, а на шоферские курсы пошла пото-

му, что на них пошел один ее знакомый парень, который ей тогда нравился, но которого теперь не было здесь, потому что его в июне взяли в армию. Но сказать правду Паша стеснялась, а что ответить вместо этого, еще не придумала и молча крутила в пальцах рубчик подола своего голубенького ситцевого платья.

— Хотелось побольше зарабатывать, — наконец сказала она. Это была неправда, но ничего лучше она не придумала, а молчать дальше считала неудобным.

Лопатин недоверчиво улыбнулся, но промолчал, и Паша подумала, что он, наверное, умный человек, хотя и смешной — один глаз за стеклом, а другой — просто так.

Она искренне не понимала, что может интересовать этого человека в ее жизни, простой, как ладошка, где все события можно пересчитать по пальцам: окончила семилетку, потом работала на Сольпроме, сначала на сушке соли, а потом мойщицей на автобазе, потом автокурсы и эта вот, переданная ей в июле с рук на руки ушедшим на фронт шофером, старенькая полуторка.

Во всей ее жизни ей самой действительно интересными казались сейчас только последние три дня, когда она, получив винтовку и сапоги, стала возить по Арабатской Стрелке то одних, то других военных людей и все, что они грузили на ее машину, — то бревна, то термосы, то, как сегодня, ящики с минами. Особенно интересно было ей сегодня, когда она, прицепив к своей полуторке, везла минометы с большими, похожими на столы железными кругами. Когда, оставив первый миномет там, где ей велели это сделать, — около бойцов, рывших окопы на берегу Сиваша, она благополучно вернулась, ее удивило, как горячо и долго тряс ей руку отправлявший ее старший лейтенант. А потом, когда она повезла второй миномет, слева и справа от машины стали взлетать черные столбы и один осколок даже звякнул по капоту машины. Но она не испугалась и привезла второй миномет туда же, куда первый, а испугалась только на обратном пути, когда над кабиной пронесся оглушительный свистящий звук — раз, другой, третий, четвертый! Она пригнулась за рулем и погнала машину, не разбирая дороги, боясь этих свистящих звуков, пролетающих прямо над ней, и не подозревая, что именно эти звуки и были ее спасением, что это наша морская батарея бьет по немецким минометчикам, заставляя их замолчать и тем спасая ее, Пашу Горобец, с ее полуторкой.

Это ей объяснили уже потом, когда она вернулась. И она, стыдясь только что испытанного страха, вызвалась съездить еще раз и отвезти на позиции к минометам ящики с минами. И снова немцы пробовали стрелять, и опять над кабиной ее полуторки, как ангелы-хранители, пронеслись снаряды морской батареи.

Она охотно и весело рассказывала обо всем этом Лопатину, потому что это было ново и интересно для нее и потому что ее

радовало и одновременно удивляло, что все эти четыре большие, стоявшие здесь пушки стреляли своими большими снарядами, которые трудно поднять одному человеку, только для того, чтобы она могла спокойно съездить туда и обратно. Она была горда этим, и в то же время ей было немножко неудобно, словно она напрасно затруднила кого-то.

Когда она вернулась в третий раз, отвезя ящики с минами, восхищенный старший лейтенант порывисто обнял ее и неловко поцеловал в щеку. Она была так далека от сознания своего подвига, что посчитала этот непрошенный лейтенантский поцелуй просто мужским баловством, покраснела, сердито вырвала у лейтенанта руку и убежала.

Все происшедшее с ней сегодня было очень интересно ей самой, но она не понимала, почему об этом так расспрашивает сидевший перед нею майор, уже немолодой и, наверное, сам уже не раз выдававший все это.

А Лопатин сидел против нее и любовался и ее искренним непониманием собственного героизма, и ее неподдельным недоверием к тому, что она может кого-то интересовать, наконец, любовался ею самой, ее загорелыми, исцарапанными коленками, на одной из которых она все время потирала пальцем большой синяк; ее худенькой, но ладной фигуркой в голубом пыльном платье, ее разгоревшимся, радостно-усталым лицом.

В другое время, где-нибудь на улице, он, наверное, не обратил бы внимания на это полудетское-полудевичье лицо, но сейчас это лицо казалось ему прекрасным. Он глядел на девушку, и, как это иногда бывает с людьми, перешагнувшими за середину жизни, его охватывала бессмысленная тоска от всего того, что в этой жизни случилось не так, как было нужно. Он не мог представить себе ни эту девушку старше, чем она была, ни себя моложе, чем он был, и вообще оба они никак не сочетались друг с другом ни во времени, ни в пространстве, но горькая и даже завистливая мысль о том, что перед ним, прислонясь к стогу сена и потирая разбитую коленку, сидит в этом голубеньком пыльном платье чье-то, именно не его, а чье-то живое будущее счастье, — эта мысль не выходила у него из головы, как он ни старался ее прогнать.

Пантелеев вместе с полковником Ульяновым подошел к машине через час, когда начало заметно темнеть. Усталая шоферка, неожиданно для себя, среди разговора с Лопатиным задремала, сидя все в той же позе у стожка сена. Велихов накрыл ее своей шинелью и ходил, поживаясь и потирая руки, озябший, но довольный собственным поступком.

— Послезавтра еще раз приеду сюда, учтите это, — говорил Пантелеев, прощаясь с Ульяновым. — Бабурова доставьте завтра в Симферополь. Что еще? — проверяя не столько Ульянова, сколь-

ко самого себя, спросил Пантелеев. — Как будто все! Ну, бывай здоров, — и, пожимая руку Ульянову, добавил: — Раз ты здесь, я за Арабатскую Стрелку спокоен.

— Будьте здоровы, товарищ дивизионный комиссар, — сдвинув каблуки, ответил не любивший лишних слов Ульянов и только глазами добавил несказанное: «Будь уверен, я не подведу тебя».

Паша, проснувшись и смутившись от того, что она заснула у всех на глазах, поеживаясь от вечернего холода, полезла в кабину. Велихов покрутил заводную ручку, и через минуту грузовик уже трясся по дороге к переправе.

А еще через пятнадцать минут маленькая моторка, таща за собой на буксире рыбацью лодку, в которой сидели Пантелеев, Лопатин и Велихов, плыла через Сиваш.

— Товарищ начальник, если еще раз приедете, со мной поезжайте, я вас буду возить, хорошо? — крикнула с берега Паша Горобец.

Берег удалялся, в темноте смутно голубело пятнышко ее платья.

— Хорошо! — сложив руки рупором, крикнул Пантелеев. — Будет исполнено!

Лопатин думал, что Пантелеев, ласково простившийся с девушкой и даже обещавший, что представит ее к медали за храбрость, сейчас заговорит о ней, но Пантелеев молчал. Шоферка уже вышла у него из головы, он был занят другими, тяжелыми для него мыслями.

В Сиваше мелко рябила и плескалась о борт лодки вода. Сразу свалившаяся осенняя ночь с каждой минутой становилась все черней и черней. Сиваш с обеих сторон слился с берегами, вокруг лодки остались только одни звуки: тихий плеск воды у борта, одышливое фыркание моторки впереди да где-то далеко, на Чонгаре, редкие артиллерийские выстрелы.

— Сам виноват, — тихо сказал Пантелеев. — Сам виноват, — повторил он. — На всех позициях был, все до одной облазил, все укрепления смотрел, а на Арабатскую не поехал, на Кудинова понадеялся. А на него надеяться, как на... — он не закончил и, уже не желая теперь ругать никого, кроме себя, еще раз повторил: — Сам виноват!

Лопатин сидел на краю покачивавшейся лодки и перебирал в памяти все события только что отшумевшего дня. Неужели всего пятнадцать часов назад он подошел к зданию штаба армии в Симферополе и увидел Велихова с чемоданчиком в руках и шофера, прикручивавшего баки с бензином? Он вспоминал одно за другим все события дня, и перед ним снова возникал все тот же самый, еще утром родившийся вопрос.

«Неужели, — спрашивал он себя, — неужели немцы все-таки ворвутся в Крым?» И хотя кроме раболопного Кудинова и дрожащего Бабурова, кроме попавшего в плен командира батальона и перебитой роты были командиры и бойцы, смело ходившие в атаку,

и морской лейтенант, и его артиллеристы, не растерявшиеся и остановившие немцев, и Паша Горобец, возившая под огнем минометы, и уверенный в себе маленький полковник Ульянов, и сам Пантелеев, хотя в сегодняшнем дне было не только много плохого, но и много хорошего, говорившего: «Нет, не ворвутся, не может этого быть!» — предчувствие несчастья сдавливало сердце Лопатина.

Шофер, дожидавшийся Пантелеева на том берегу лимана, был рад их возвращению, как бывают рады все шоферы, чьи фронтовые пассажиры уходят вперед, в неизвестность. Обрадованный тем, что все живы и целы, он суетливо спрашивал, не замерз ли кто — у него есть в машине одеяло и даже подушка, может быть, кто захочет поспать в дороге.

— Вы лучше-ка вот что, — сказал Пантелеев, — снимите предохранительные сетки с фар.

— Нельзя, товарищ Пантелеев, — решительно сказал шофер. — Светомаскировку надо соблюдать, дороги бомбят.

— Пусть лучше бомбят, чем где-нибудь с откоса полететь, — сказал Пантелеев, — мне надо через два часа быть на Военном совете, так что вам придется восемьдесят жать, а с сетками ни черта не видно, утробимся.

— А демаскировка, товарищ Пантелеев?

— Демаскировать нам по дороге, кроме самих себя, некого, — ответил Пантелеев. — А подъедем к Симферополю — наденете сетки. Ну, быстро снимайте, да поехали, — добавил он тоном, показывавшим, что разговоры окончены.

Шофер, сердито шевеля губами и ругаясь про себя, снял предохранительные сетки, сел за руль, и машина на предельной скорости помчалась к Симферополю.

Лопатин думал, что Пантелеев, так же как и по пути сюда, захочет поспать в машине, но Пантелеев, промолчав первые пять минут дороги, сам повернулся к нему и спросил:

— О чем думаете?

Лопатин солгал, что ни о чем не думает; он думал о своей жене, но это были сложные и невеселые мысли, и ему не хотелось ими делиться.

— Неужели так-таки ни о чем не думаете? — повторил Пантелеев и, не дожидаясь ответа, сказал: — А я думаю о том, что чистой коммунистической души у нас еще некоторым людям не хватает. Живет, бывает, начальник, воротнички каждый день подшивает, сапоги при помощи ординарца до блеска чистит, а чистой коммунистической души не имеет. И вообще о коммунизме ничего не думает. Словно его и нет.

Лопатину показалось, что Пантелеев вспомнил про Кудино-ва, но при шофере не захотел называть фамилию командира дивизии.

— А этого, — имея в виду Бабурова и все еще продолжая размышлять о нем, как о живом, сказал Пантелеев, — этого, которого под суд завтра отдадим, думаете, мне не жалко? Жалко! Потому что, если бы у него загодя дня два над душой просидеть, он бы по-другому оборону подготовил. А коммунистического сознания, чтобы все самому, без подгонялки сделать, — у него не нашлось. А теперь, конечно, под суд! А этих бедных, ночью побитых, поколотых в страхе и ужасе, — их знаете как жалко, — в голосе Пантелеева, как показалось Лопатину, что-то даже дрогнуло при этих словах. — Двадцатого года рождения рота, в голодный год их матери высохшей грудью кормили — для того ли, чтобы первый фашист пришел и всех, как кур... О том ли мечтали...

Пантелеев шмыгнул носом и, как показалось Лопатину, судя по его короткому движению, вытер глаза.

— Растили, кормили, учили, говорили — растите, детки, до коммунизма доживете, а потом взяли и отдали первому попавшемуся фашисту на смерть, без боя, за просто так! Куда это годится! — крикнул он, и в машине надолго воцарилась тишина.

— Слабо воевали и под Сальково и сегодня, — после часового молчания, во время которого машина бесшумно летела по дороге, сказал Пантелеев.

Лопатин робко возразил, что все-таки сегодня все было не так уж плохо... Но Пантелеев не дал ему договорить.

— Что ж, это дело, что ли, чтобы дивизионные комиссары роты в атаку водили? Еще бы я роту в атаку не сводил! Этого недоставало! — Он невесело усмехнулся. — Четвертый месяц войны пошел, нам немца приказано перед Крымом остановить не пальцем на карте, а пулей в лоб! На Западном же остановили! И держат. А мы что тут? Опять собираемся всю шарманку с начала крутить? Кто нам это позволит? Где наша совесть? Как же так? Почему...

В двухстах метрах впереди на дороге взлетело что-то огромное и желтое, взлетело так неожиданно, что только в следующую долю секунды, услышав оглушительный взрыв, Лопатин понял, что это бомба.

— Фары! — крикнул Пантелеев и, опередив растерявшегося шофера, сам выключил свет.

— Вылезайте из машины, переждем, — сказал он громко, но спокойно, первым открывая дверцу и вылезая. — Ложись... Ложись пониже, в кювет.

Хотя Пантелеев и вылез из машины первым, но оставался около нее, ожидая, пока остальные лягут в кювет. Наконец, убедившись, что все легли, он тоже прилег на краю асфальта, подложив руку под голову и вглядываясь в небо.

Второй и третий взрывы коротко вспыхнули слева за дорогой, в поле. Четвертый, и последний, ударил так близко, что

Лопатин не услышал взрыва — ему просто в одно мгновение туго набили всю голову ватой и, казалось, еще продолжают с силой заталкивать ее туда. Он несколько минут ошеломленно пролежал, ожидая, что будет дальше, но дальше ничего не было — ни новых взрывов, ни гудения самолетов, ни голосов, только вдали, на поле, там, где упали две бомбы, быстрой змейкой бежал по сухой траве огонь.

И вдруг среди этой тишины Лопатин услышал плач. Рядом, совсем близко от него, плакал человек, плакал, всхлипывая и произнося какие-то слова, значение которых Лопатин не сразу понял. Он поднялся из кювета, сделал два шага, все еще чувствуя странную ватную тяжесть в голове, и при слабом свете оставшегося непотушенным красного заднего стоп-фонарика увидел что-то темное, без головы и одного плеча, и нагнувшегося над этим темным и страшным, навзрыд плакавшего Велихова.

8

Член Военного совета Особой Крымской армии, дивизионный комиссар Пантелеев был убит наповал большим осколком бомбы на восемьдесят втором километре Симферопольского шоссе. «Юнкеры», возвращавшиеся после налета на Симферополь и сбросившие на обратном пути несколько десятков маленьких бомб по всему шоссе от Симферополя до Джанкоя, не нанесли больше никаких потерь ни в людях, ни в технике. Ехавшие в одной машине с членом Военного совета его шофер, адъютант и корреспондент «Красной звезды» не получили ни одной царапины. Целой осталась и машина. На ней завернутое в две шинели изуродованное тело дивизионного комиссара привезли в Симферополь, прямо к штабу армии, за пять минут до начала заседания Военного совета, к которому он не хотел опоздать.

Корреспондент «Красной звезды», которому, как старшему по званию, пришлось лично доложить обстоятельства гибели дивизионного комиссара, рассказал об этом таким деревянным голосом, что даже суховатый по натуре и всего неделю знавший Пантелеева, но потрясенный случившимся командующий с неприязнью к корреспонденту выслушал этот, показавшийся ему бездушным рассказ. Потом корреспондент попросил разрешения уйти, сказав, что его в двадцать четыре часа вызывает на провод редакция.

Командующий отпустил его сердитым кивком и стал расспрашивать о подробностях то и дело заливавшегося слезами адъютанта покойного — младшего политрука Велихова.

В это время Лопатин, все чувства которого продолжали ос-

таваться в каком-то столбняке, добрался до редакции городской газеты, где еще ничего не знали о происшедшем и поэтому, слава богу, ни о чем не расспрашивали, и, сев за машинку в пустом машинном бюро, упрямо ударяя по незнакомым клавишам и попадая не в те буквы, начал выстукивать очерк в газету, стараясь не думать о смерти Пантелеева, но после каждого, через силу напечатанного слова неотвратно возвращаясь к ней. Минутами ему казалось, что этого просто не было. Но это было, и он знал, что это было, потому что он сам, сначала сидя на корточках на шоссе, вместе с шофером и Велиховым заворачивал в шинели то мертвое и страшное, что пять минут назад было сидевшим вместе с ними в машине дивизионным комиссаром Пантелеевым, а потом, втащив это в машину и уложив на сиденье, передвигал по полу машины еще теплые ноги в солдатских сапогах. А потом он ехал снова, все в той же самой машине, и хотя знал, что Пантелеев убит и что можно дотронуться рукой до его накрытых двумя шинелями останков, но в то же время ему казалось, что другой, живой Пантелеев сидит впереди рядом с шофером и сейчас повернется и договорит что-то самое главное, чего он не успел договорить, когда впереди разорвалась первая бомба.

1956–1961

ВЛАДИМИР БОГОМОЛОВ

Иван

Рассказ

1

В ту ночь я собирался перед рассветом проверить боевое охранение и, приказав разбудить меня в четыре ноль-ноль, в девятом часу улегся спать.

Меня разбудили раньше: стрелки на светящемся циферблате показывали без пяти час.

— Товарищ старший лейтенант... а товарищ старший лейтенант... разрешите обратиться... — Меня с силой трясли за плечо. При свете трофейной плошки, мерцавшей на столе, я разглядел ефрейтора Васильева из взвода, находившегося в боевом охранении. — Тут задержали одного... Младший лейтенант приказал доставить к вам...

— Зажгите лампу! — скомандовал я, мысленно выругавшись: могли бы разобраться и без меня.

Васильев зажег сплюсненную сверху гильзу и, повернувшись ко мне, доложил:

— Ползал в воде возле берега. Зачем — не говорит, требует доставить в штаб. На вопросы не отвечает: говорить, мол, буду только с командиром. Вроде ослаб, а может, прикидывается. Младший лейтенант приказал...

Я, привстав, выпростал ноги из-под одеяла и, протирая глаза, уселся на нарах. Васильев, ражий детина, стоял передо мной, роняя капли воды с темной, намокшей плащ-палатки.

Гильза разгорелась, осветив просторную землянку, — у самых дверей я увидел худенького мальчишку лет одиннадцати, всего посиневшего от холода и дрожавшего; на нем были мокрые, прилипшие к телу рубашка и штаны; маленькие босые ноги по щиколотку были в грязи; при виде его дрожь пробрала меня.

— Иди стань к печке! — велел я ему. — Кто ты такой?

Он подошел, рассматривая меня настороженно-сосредоточенным взглядом больших, необычно широко расставленных глаз. Лицо у него было скуластое, темновато-серое от въевшейся в кожу грязи. Мокрые неопределенного цвета волосы висели клочьями. В его взгляде, в выражении измученного, с плотно сжатыми, посиневшими губами лица чувствовалось какое-то внутреннее напряжение и, как мне показалось, недоверие и неприязнь.

— Кто ты такой? — повторил я.

— Пусть он выйдет, — кляца зубами, слабым голосом сказал мальчишка, указывая взглядом на Васильева.

— Подложите дров и ожидайте наверху! — приказал я Васильеву.

Шумно вздохнув, он, не торопясь, чтобы затянуть пребывание в теплой землянке, поправил головешки, набил печку короткими поленьями и, так же не торопясь, вышел. Я тем временем натянул сапоги и выжидающе посмотрел на мальчишку.

— Ну, что же молчишь? Откуда ты?

— Я Бондарев, — произнес он тихо и с такой интонацией, будто эта фамилия могла мне что-нибудь сказать или же вообще все объясняла. — Сейчас же сообщите в штаб, пятьдесят первому, что я нахожусь здесь.

— Ишь ты! — Я не мог сдержать улыбки. — Ну, а дальше?

— Дальше вас не касается. Они сделают сами.

— Кто это «они»? В какой штаб сообщить и кто такой пятьдесят первый?

— В штаб армии.

— А кто это пятьдесят первый?

Он молчал.

— Штаб какой армии тебе нужен?

— Полевая почта вэ-чэ сорок девять пятьсот пятьдесят...

Он без ошибки назвал номер полевой почты штаба нашей армии. Перестав улыбаться, я смотрел на него удивленно и старался все осмыслить.

Грязная рубашонка до бедер и узкие короткие порты на нем были старенькие, холщовые, как я определил, деревенского пошива и чуть ли не домотканые; говорил же он правильно, заметно акая, как говорят в основном москвичи и белорусы; судя поговору, он был уроженцем города.

Он стоял передо мной, поглядывая исподлобья настороженно и отчужденно, тихо шмыгая носом, и весь дрожал.

— Сними с себя все и разотрись. Живо! — приказал я, протягивая ему вафельное не первой свежести полотенце.

Он стянул рубашку, обнажив худенькое, с проступающими ребрами тельце, темное от грязи, и нерешительно посмотрел на полотенце.

— Бери, бери! Оно грязное.

Он принялся растирать грудь, спину, руки.

— И штаны снимай! — скомандовал я. — Ты что, стесняешься?

Он так же молча, повозившись с набухшим узлом, не без труда развязал тесьму, заменявшую ему ремень, и скинул портки. Он был совсем еще ребенок, узкоплечий, с тонкими ногами и руками, на вид не более десяти — одиннадцати лет, хотя по лицу, угрюмому, не по-детски сосредоточенному, с морщинами на выпуклом лбу, ему можно было дать, пожалуй, и все тринадцать. Ухватив рубашку и портки, он отбросил их в угол к дверям.

— А сушить кто будет — дядя? — поинтересовался я.

— Мне все привезут.

— Вот как! — усомнился я. — А где же твоя одежда?

Он промолчал. Я собрался было еще спросить, где его документы, но вовремя сообразил, что он слишком мал, чтобы иметь их.

Я достал из-под нар старый ватник ординарца, находившегося в медсанбате. Мальчишка стоял возле печки спиной ко мне — меж торчавшими острыми лопатками чернела большая, величиной с пятиалтынный, родинка. Повыше, над правой лопаткой, багровым рубцом выделялся шрам, как я определил, от пулевого ранения.

— Что это у тебя?

Он взглянул на меня через плечо, но ничего не сказал.

— Я тебя спрашиваю, что это у тебя на спине? — повысив голос, спросил я, протягивая ему ватник.

— Это вас не касается. И не смейте кричать! — ответил он с неприязнью, зверовато сверкнув зелеными, как у кошки, глазами, однако ватник взял. — Ваше дело — доложить, что я здесь. Остальное вас не касается.

— Ты меня не учи! — раздражаясь, прикрикнул я на него. — Ты не соображаешь, где находишься и как себя вести. Твоя фамилия мне ничего не говорит. Пока ты не объяснишь, кто ты, и откуда, и зачем попал к реке, я и пальцем не пошевелю.

— Вы будете отвечать! — с явной угрозой заявил он.

— Ты меня не пугай — ты еще мал! Играть со мной в молчанку тебе не удастся! Говори толком, откуда ты?

Он закутался в доходивший ему почти до щиколоток ватник и молчал, отвернув лицо в сторону.

— Ты просидишь здесь сутки, трое, пятеро, но, пока не скажешь, кто ты и откуда, я никуда о тебе сообщать не буду! — объявил я решительно.

Взглянув на меня холодно и отчужденно, он отвернулся и молчал.

— Ты будешь говорить?

— Вы должны сейчас же доложить в штаб пятьдесят первому, что я нахожусь здесь, — упрямо повторил он.

— Я тебе ничего не должен, — сказал я раздраженно. — И пока ты не объяснишь, кто ты и откуда, я ничего делать не буду. Заруби это себе на носу!.. Кто это пятьдесят первый?

Он молчал, сбычась, сосредоточенно.

— Откуда ты?.. — с трудом сдерживаясь, спросил я. — Говори же, если хочешь, чтобы я о тебе доложил!

После продолжительной паузы — напряженного раздумья — он выдал сквозь зубы:

— С того берега.

— С того берега? — Я не поверил. — А как же попал сюда? Чем ты можешь доказать, что ты с того берега?

— Я не буду доказывать. Я больше ничего не скажу. Вы не смеете меня допрашивать — вы будете отвечать! И по телефону ничего не говорите. О том, что я с того берега, знает только пятьдесят первый. Вы должны сейчас же сообщить ему: Бондарев у меня. И все! За мной приедут! — убежденно выкрикнул он.

— Может, ты все-таки объяснишь, кто ты такой, что за тобой будут приезжать?

Он молчал.

Я некоторое время разглядывал его и размышлял. Его фамилия мне ровно ничего не говорила, но, быть может, в штабе армии о нем знали? — за войну я привык ничему не удивляться.

Вид у него был жалкий, измученный, однако держался он независимо, говорил же со мной уверенно и даже властно: он не просил, а требовал. Угрюмый, не по-детски сосредоточенный и настороженный, он производил весьма странное впечатление; его утверждение, будто он с того берега, казалось мне явной ложью.

Понятно, я не собирался сообщать о нем непосредственно в штаб армии, но доложить в полк было моей обязанностью. Я подумал, что они заберут его к себе и сами уяснят, что к чему; а я еще сосну часика два и отправлюсь проверять охранение.

Я покрутил ручку телефона и, взяв трубку, вызвал штаб полка.

— Третий слушает. — Я услышал голос начальника штаба капитана Маслова.

— Товарищ капитан, восьмой докладывает! У меня здесь Бондарев. Бон-да-рев! Он требует, чтобы о нем было доложено «Волге»...

— Бондарев?.. — переспросил Маслов удивленно. — Какой Бондарев? Майор из оперативного,веряющий, что ли? Откуда он к тебе свалился? — засыпал вопросами Маслов, как я почувствовал, обеспокоенный.

— Да нет, какой там поверяющий! Я сам не знаю, кто он: он не говорит. Требуется, чтобы я доложил в «Волгу» пятьдесят первому, что он находится у меня.

— А кто это пятьдесят первый?

— Я думал, вы знаете.

— Мы не имеем позывных «Волги». Только дивизионные. А кто он по должности, Бондарев, в каком звании?

— Звания у него нет, — невольно улыбаясь, сказал я. — Это мальчик, понимаете, мальчик лет двенадцати...

— Ты что, смеешься?.. Ты над кем развлекаешься?! — заорал в трубку Маслов. — Цирк устраивать?! Я тебе покажу мальчика! Я майору доложу! Ты что, выпил или делать тебе нечего? Я тебе...

— Товарищ капитан! — закричал я, ошарашенный таким оборотом дела. — Товарищ капитан, честное слово, это мальчик! Я думал, вы о нем знаете...

— Не знаю и знать не желаю! — кричал Маслов запальчиво. — И ты ко мне с пустяками не лезь! Я тебе не мальчишка! У меня от работы уши пухнут, а ты...

— Так я думал...

— А ты не думай!

— Слушаюсь!.. Товарищ капитан, но что же с ним делать, с мальчишкой?

— Что делать?.. А как он к тебе попал?

— Задержан на берегу охранением.

— А на берег как он попал?

— Как я понял... — Я на мгновение замаялся. — Говорит, что с той стороны.

— «Говорит», — передразнил Маслов. — На ковче-самолете? Он тебе плетет, а ты развесил уши. Приставь к нему часового! — приказал он. — И если не можешь сам разобраться, передай Зотову. Это их функции — пусть занимается...

— Вы ему скажите: если он будет орать и не доложит сейчас же пятьдесят первому, — вдруг решительно и громко произнес мальчик, — он будет отвечать!..

Но Маслов уже положил трубку. И я бросил свою к аппарату, раздосадованный на мальчишку и еще больше на Маслова.

Дело в том, что я лишь временно исполнял обязанности командира батальона, и все знали, что я «временный». К тому же мне был всего двадцать один год, и, естественно, ко мне относились иначе, чем к другим комбатам. Если командир полка и его заместители старались ничем это не выказывать, то Маслов — кстати, самый молодой из моих полковых начальников — не скрывал, что считает меня мальчишкой, и обращался со мной соответственно, хотя я воевал с первых месяцев войны, имел ранения и награды.

Разговаривать таким тоном с командиром первого или третьего батальона Маслов, понятно, не осмелился бы. А со мной... Не выслушав и не разобравшись толком, раскричаться... Я был уверен, что Маслов не прав. Тем не менее мальчишке я сказал не без злорадства:

— Ты просил, чтобы я доложил о тебе, — я доложил! Приказано посадить тебя в землянку, — приврал я, — и приставить охрану. Доволен?

— Я сказал вам доложить в штаб армии пятьдесят первому, а вы куда звонили?

— Ты «сказал»!.. Я не могу сам обращаться в штаб армии.

— Давайте я позвоню. — Мгновенно выпростав руку из-под ватника, он ухватил телефонную трубку.

— Не смей!.. Кому ты будешь звонить? Кого ты знаешь в штабе армии?

Он помолчал, не выпуская, однако, трубку из руки, и вымолвил урюмо:

— Подполковника Грязнова.

Подполковник Грязнов был начальником разведотдела армии; я знал его не только понаслышке, но и лично.

— Откуда ты его знаешь?

Молчание.

— Кого ты еще знаешь в штабе армии?

Опять молчание, быстрый взгляд исподлобья и сквозь зубы:

— Капитана Холина.

Холин — офицер разведывательного отдела штабарма — также был мне известен.

— Откуда ты их знаешь?

— Сейчас же сообщите Грязнову, что я здесь, — не ответив, потребовал мальчишка, — или я сам позвоню!

Отобрав у него трубку, я размышлял еще с полминуты, решившись, крутанул ручку, и меня снова соединили с Масловым.

— Восьмой беспокоит. Товарищ капитан, прошу меня выслушать, — твердо заявил я, стараясь подавить волнение. — Я опять по поводу Бондарева. Он знает подполковника Грязнова и капитана Холина.

— Откуда он их знает? — спросил Маслов устало.

— Он не говорит. Я считаю нужным доложить о нем подполковнику Грязнову.

— Если считаешь, что нужно, докладывай, — с каким-то безразличием сказал Маслов. — Ты вообще считаешь возможным лезть к начальству со всякой ерундой. Лично я не вижу оснований беспокоить командование, тем более ночью. Не солидно!

— Так разрешите мне позвонить?

— Я тебе ничего не разрешаю, и ты меня не впутывай... А впро-

чем, можешь позвонить Дунаеву. Я с ним только что разговаривал, он не спит.

Я соединился с майором Дунаевым, начальником разведки дивизии, и сообщил, что у меня находится Бондарев и что он требует, чтобы о нем было немедленно доложено подполковнику Грязнову...

— Ясно, — прервал меня Дунаев. — Ожидайте. Я доложу.

Минуты через две резко и требовательно зазуммерил телефон.

— Восьмой? Говорите с «Волгой», — сказал телефонист.

— Гальцев?.. Здорово, Гальцев! — Я узнал низкий, грубоватый голос подполковника Грязнова; я не мог его не узнать: Грязнов до лета был начальником разведки нашей дивизии, я же в то время был офицером связи и сталкивался с ним постоянно. — Бондарев у тебя?

— Здесь, товарищ подполковник!

— Молодец! — Я не понял сразу, к кому относилась эта похвала: ко мне или к мальчишке. — Слушай внимательно! Выгони всех из землянки, чтобы его не видели и не приставали. Никаких расспросов и о нем — никаких разговоров! Вник?.. От меня передай ему привет. Холин выезжает за ним, думаю, часа через три будет у тебя. А пока создай все условия! Обращайся поделikatней, учти: он парень с норовом. Прежде всего дай ему бумаги и чернила или карандаш. Что он напишет — в пакет и сейчас же с надежным человеком отправь в штаб полка. Я дам команду, они немедленно доставят мне. Создашь ему все условия и не лезь с разговорами. Дай горячей воды помыться, накорми, и пусть спит. Это наш парень. Вник?

— Так точно! — ответил я, хотя мне многое было неясно.

* * *

— Кушать хочешь? — спросил я прежде всего.

— Потом, — промолвил мальчик, не подымая глаз.

Тогда я положил перед ним на стол бумагу, конверты и ручку, поставил чернила, затем, выйдя из землянки, приказал Васильеву отправляться на пост и, вернувшись, запер дверь на крючок.

Мальчик сидел на краю скамейки спиной к раскалившейся докрасна печке; мокрые порты, брошенные им ранее в угол, лежали у его ног. Из заколотого булавкой кармана он вытащил грязный носовой платок, развернув его, высыпал на стол и разложил в отдельные кучки зернышки пшеницы и ржи, семечки подсолнуха и хвою — иглы сосны и ели. Затем с самым сосредото-

точенным видом пересчитал, сколько было в каждой кучке, и записал на бумагу.

Когда я подошел к столу, он быстро перевернул лист и посмотрел на меня неприязненным взглядом.

— Да я не буду, не буду смотреть, — поспешно заверил я.

Позвонив в штаб батальона, я приказал немедленно нагреть два ведра воды и доставить в землянку вместе с большим казаном. Я уловил удивление в голосе сержанта, повторявшего в трубку мое приказание. Я заявил ему, что хочу мыться, а была половина второго ночи, и, наверно, он, как и Маслов, подумал, что я выпил или же мне делать нечего. Я приказал также подготовить Царивного — расторопного бойца из пятой роты — для отправки связным в штаб полка.

Разговаривая по телефону, я стоял боком к столу и уголком глаза видел, что мальчик разграфил лист бумаги вдоль и поперек и в крайней левой графе по вертикали выводил крупным детским почерком: «...2...4, 5...» Я не знал и впоследствии так и не узнал, что означали эти цифры и что он затем написал.

Он писал долго, около часа, царапая пером бумагу, сопя и прикрывая лист рукавом; пальцы у него были с коротко обгрызенными ногтями, в садинах; шея и уши — давно не мытые. Время от времени останавливаясь, он нервно покусывал губы, думал или же припоминал, посапывал и снова писал. Уже была принесена горячая и холодная вода, — не впустив никого в землянку, я сам занес ведра и казан, — а он все еще скрипел пером; на всякий случай я поставил ведро с водой на печку.

Закончив, он сложил исписанные листы пополам, всунул в конверт и, посплюнув, тщательно заклеил. Затем, взяв конверт побольше размером, вложил в него первый и заклеил так же тщательно.

Я вынес пакет связному — он ожидал близ землянки — и приказал:

— Немедленно доставьте в штаб полка. По тревоге! Об исполнении доложите Краеву...

Затем я вернулся, разбавил воду в одном из ведер, сделав ее не такой горячей. Скинув ватник, мальчишка влез в казан и начал мыться.

Я чувствовал себя перед ним виноватым. Он не отвечал на вопросы, действуя, несомненно, в соответствии с инструкциями, а я кричал на него, угрожал, стараясь выпытать то, что знать мне было не положено: как известно, у разведчиков имеются свои недоступные даже старшим штабным офицерам тайны.

Теперь я готов был ухаживать за ним, как нянька; мне даже захотелось вымыть его самому, но я не решался: он не смотрел в мою сторону и, словно не замечая меня, держался так, будто, кроме него, в землянке никого не было.

— Давай я спину тебе потру, — не выдержав, предложил я нерешительно.

— Я сам! — отрезал он.

Мне оставалось стоять у печки, держа в руках чистое полотенце и бязевую рубашку — он должен был ее надеть, — и помещивать в котелке так кстати не тронутый мною ужин: пшенную кашу с мясом.

Вымывшись, он оказался светловолосым и белокожим; только лицо и кисти рук были потемней от ветра или же от загара. Уши у него были маленькие, розовые, нежные и, как я заметил, асимметричные; правое было прижато, левое же топырилось. Примечательным в его скуластом лице были глаза, большие, зеленоватые, удивительно широко расставленные; мне, наверно, никогда не доводилось видеть глаз, расставленных так широко.

Он вытерся досуха и, взяв из моих рук нагретую у печки рубашку, надел ее, аккуратно подвернув рукава, и уселся к столу. Настороженность и отчужденность уже не проглядывали в его лице; он смотрел устало, был строг и задумчив.

Я ожидал, что он набросится на еду, однако он зацепил ложкой несколько раз, пожевал вроде без аппетита и отставил котелок; затем так же молча выпил кружку очень сладкого — я не пожалел сахара — чаю с печеньем из моего допайка и поднялся, вымолвив тихо:

— Спасибо.

Я меж тем успел вынести казан с темной-темной, лишь сверху сероватой от мыла водой и взбил подушку на нарах. Мальчик забрался в мою постель и улегся лицом к стенке, подложив ладошку под щеку. Все мои действия он воспринимал как должное; я понял, что он не первый раз возвращается с «той стороны» и знает, что, как только о его прибытии станет известно в штабе армии, немедленно будет отдано приказание «создать все условия»... Накрыв его двумя одеялами, я тщательно подоткнул их со всех сторон, как это делала когда-то для меня моя мать...

2

Стараясь не шуметь, я собрался — надел каску, накинул поверх шинели плащ-палатку, взял автомат — и тихонько вышел из землянки, приказав часовому без меня в нее никого не пускать.

Ночь была ненастная. Правда, дождь уже перестал, но северный ветер дул порывами, было темно и холодно.

Землянка моя находилась в подлеске, метрах в семистах от

Днепра, отделявшего нас от немцев. Противоположный, возвышенный берег командовал, и наш передний край был отнесен в глубину, на более выгодный рубеж, непосредственно же к реке выставлялись охраняющие подразделения.

Я пробирался в темноте подлеском, ориентируясь в основном по дальним вспышкам ракет на вражеском берегу — ракеты взлетали то в одном, то в другом месте по всей линии немецкой обороны. Ночная тишина то и дело всплескивалась отрывистыми пулеметными очередями: по ночам немцы методично, — как говорил наш командир полка, «для профилактики», — каждые несколько минут обстреливали нашу прибрежную полосу и самую реку.

Выйдя к Днепру, я направился к траншее, где располагался ближайший пост, и приказал вызвать ко мне командира взвода охранения. Когда он, запыхавшийся, явился, я двинулся вместе с ним вдоль берега. Он сразу спросил меня про «пацана», быть может решив, что мой приход связан с задержанием мальчишки. Не ответив, я тотчас завел разговор о другом, но сам мыслями невольно все время возвращался к мальчику.

Я вглядывался в скрываемый темнотой полукилометровый плес Днепра, и мне почему-то никак не верилось, что маленький Бондарев с того берега. Кто были люди, переправившие его, и где они? Где лодка? Неужто посты охранения просмотрели ее? Или, может, его спустили в воду на значительном расстоянии от берега? И как же решились спустить в холодную осеннюю воду такого худенького, малосильного мальчишку?..

Наша дивизия готовилась форсировать Днепр. В полученном мною наставлении — я учил его чуть ли не наизусть, — в этом рассчитанном на взрослых, здоровых мужчин наставлении было сказано: «...если же температура воды ниже +15°, то переправа вплавь даже для хорошего пловца исключительно трудна, а через широкие реки невозможна». Это если ниже + 15, а если примерно +5°?

Нет, несомненно, лодка подходила близко к берегу, но почему же тогда ее не заметили? Почему, высадив мальчишку, она ушла потихоньку, так и не обнаружив себя? Я терялся в догадках.

Между тем охранение бодрствовало. Только в одной вынесенной к самой реке ячейке мы обнаружили дремавшего бойца. Он «кемарил» стоя, привалившись к стенке окопа, каска сползла ему на глаза. При нашем появлении он схватился за автомат и спросонок чуть было не прошел нас очередью. Я приказал немедленно заменить его и наказать, отругав перед этим вполголоса и его самого, и командира отделения.

В окопе на правом фланге, закончив обход, мы присели в нише под бруствером и закурили с бойцами. Их было четверо в этом большом, с пулеметной площадкой окопе.

— Товарищ старший лейтенант, как там с огольцом, разобрались? — глуховатым голосом спросил меня один; он дежурил стоя у пулемета и не курил.

— А что такое? — поинтересовался я, настораживаясь.

— Так. Думается, не просто это. В такую ночь последнего пса из дома не выгонят, а он в реку полез. Какая нужда?.. Он что, лодку шукал, на тот берег хотел? Зачем?.. Мутный оголец — его хорошенько проверить надо! Его прижать покрепче, чтоб заговорил. Чтоб всю правду из него выдавить.

— Да, мутность есть вроде, — подтвердил другой не очень уверенно. — Молчит и смотрит, говорят, волчонком. И раздет почему?

— Мальчишка из Новоселок, — неторопливо затянувшись, соврал я (Новоселки было большое, наполовину сожженное село километрах в четырех за нами). — У него немцы мать утнали, места себе не находит... Тут и в реку полезешь.

— Вон оно что!..

— Тоскует бедолага, — понимающе вздохнул пожилой боец, что курил, присев на корточки против меня; свет сигарки освещал его широкое, темное, поросшее щетиной лицо. — Страшней нет, чем тоска! А Юрлов все дурное думает, все гадкое в людях выискивает. Нельзя так, — мягко и рассудительно сказал он, обращаясь к бойцу, стоявшему у пулемета.

— Бдительный я, — глухим голосом упрямо объявил Юрлов. — И ты меня не укоряй, не переделаешь! Я доверчивых и добрых терпеть не могу. Через эту доверчивость от границы до Москвы земля кровью напоена!.. Хватит!.. А в тебе доброты и доверия под самую завязку, одолжил бы немцам чуток, души помазать!.. Вы, товарищ старший лейтенант, вот что скажите: где одежда его? И чего он все ж таки в воде делал? Странно все это; я считаю — подозрительно!..

— Ишь, спрашивает, как с подчиненного, — усмехнулся пожилой. — Дался тебе этот мальчишка, будто без тебя не разберутся. Ты бы лучше спросил, что командование насчет водочки думает. Стилость, спасу нет, а погреться нечем. Скоро ли давать начнут, спроси. А с мальчишкой и без нас разберутся...

...Посидев с бойцами еще, я вспомнил, что скоро должен приехать Холин, и, простившись, двинулся в обратный путь. Провожать себя я запретил и скоро пожалел об этом; в темноте я заблудился, как потом оказалось, забрал правее и долго блукал по кустам, останавливаемый резкими окриками часовых. Лишь минут через тридцать, прозябнув на ветру, я добрался к землянке.

К моему удивлению, мальчик не спал.

Он сидел в одной рубашке, свесив ноги с нар. Печка давно утухла, и в землянке было довольно прохладно — легкий пар шел изо рта.

— Еще не приехали? — в упор спросил мальчик.

— Нет. Ты спи, спи. Приедут — я тебя разбужу.

— А он дошел?

— Кто он? — не понял я.

— Боец. С пакетом.

— Дошел, — сказал я, хотя не знал: отправив связного, я забыл о нем и о пакете.

Несколько мгновений мальчик в задумчивости смотрел на свет гильзы и неожиданно, как мне показалось, обеспокоенно спросил:

— Вы здесь были, когда я спал? Я во сне не разговариваю?

— Нет, не слышал. А что?

— Так. Раньше не говорил. А сейчас не знаю. Нервеность во мне какая-то, — огорченно признался он.

Вскоре приехал Холин. Рослый, темноволосый красавец лет двадцати семи, он ввалился в землянку с большим немецким чемоданом в руке. С ходу сунув мне мокрый чемодан, он бросился к мальчику:

— Иван!

При виде Холина мальчик вмиг оживился и улыбнулся. Улыбнулся впервые обрадованно, совсем по-детски.

Это была встреча больших друзей, — несомненно, в эту минуту я был здесь лишним. Они обнялись, как взрослые; Холин поцеловал мальчика несколько раз, отступил на шаг и, тиская его узкие, худенькие плечи, разглядывал его восторженными глазами и говорил:

— ...Катасоныч ждет тебя с лодкой у Диковки, а ты здесь...

— В Диковке немцев — к берегу не подойдешь, — сказал мальчик, виновато улыбаясь. — Я плыл от Сосновки. Знаешь, на середке выбился, да еще судорога прихватила — думал, конец...

— Так ты что, вплавь?! — изумленно вскричал Холин.

— На полене. Ты не ругайся — так пришлось. Лодки наверху, и все охраняются. А ваш тузик в такой темноте, думаешь, просто сыскать? Враз застучают! Знаешь, выбился, а полено крутится, выскальзывает, и еще ногу прихватило, ну, думаю: край! Течение!.. Понесло, понесло... не знаю, как выплыл.

Сосновка был хутор выше по течению, на том, вражеском берегу — мальчика снесло без малого на три километра. Было просто чудом, что ненастной ночью, в холодной октябрьской воде, такой слабый и маленький, он все же выплыл...

Холин, обернувшись, энергичным рывком сунул мне свою мускулистую руку, затем, взяв чемодан, легко поставил его на нары и, щелкнув замками, попросил:

— Пойди подгони машину поближе, мы не смогли подъехать.

И прикажи часовому никого сюда не впускать и самому не заходить — нам соглядатаи ни к чему. Вник?..

Это «вник» подполковника Грязнова привилось не только в нашей дивизии, но и в штабе армии: вопросительное «Вник?» и повелительное «Вникни!».

Когда минут через десять, не сразу отыскав машину и показав шоферу, как подъехать к землянке, я вернулся, мальчишка совсем преобразился.

На нем была маленькая, сшитая, как видно, специально на него, шерстяная гимнастерка с орденом Отечественной войны, новенькой медалью «За отвагу» и белоснежным подворотничком, темно-синие шаровары и аккуратные яловые сапожки. Своим видом он теперь напоминал воспитанника — их в полку было несколько, — только на гимнастерке не было погон; да и выглядели воспитанники несравненно более здоровыми и крепкими.

Чинно сидя на табурете, он разговаривал с Холиным. Когда я вошел, они умолкли, и я даже подумал, что Холин послал меня к машине, чтобы поговорить без свидетелей.

— Ну, где ты пропал? — однако сказал он, выказывая недовольство. — Давай еще кружку и садись.

На стол, застеленный свежей газетой, уже была выложена привезенная им снедь: сало, копченая колбаса, две банки консервов, пачка печенья, два каких-то кулька и фляжка в суконном чехле. На нарах лежал дубленый мальчиковый полушубок, новенький, очень нарядный, и офицерская шапка-ушанка.

Холин «по-интеллигентному», тонкими ломтиками, нарезал хлеб, затем налил из фляжки водку в три кружки: мне и себе до половины, а мальчику на палец.

— Со свиданьем! — весело, с какой-то удалью проговорил Холин, поднимая кружку.

— За то, чтоб я всегда возвращался, — задумчиво сказал мальчик.

Холин, быстро взглянув на него, предложил:

— За то, чтоб ты поехал в суворовское училище и стал офицером.

— Нет, это потом! — запротестовал мальчик. — А пока война — за то, чтоб я всегда возвращался! — упрямо повторил он.

— Ладно, не будем спорить. За твое будущее. За победу!

Мы чокнулись и выпили. К водке мальчишка был непривычен: выпив, он поперхнулся, слезы проступили у него на глазах, он поспешил украдкой смахнуть их. Как и Холин, он ухватил кусок хлеба и долго нюхал его, потом съел, медленно разжевывая.

Холин проворно делал бутерброды и подкладывал мальчику; тот взял один и ел вяло, будто неохотно.

— Ты ешь давай, ешь! — приговаривал Холин, закусывая сам с аппетитом.

— Отвык помногу, — вздохнул мальчик. — Не могу.

К Холину он обращался на «ты» и смотрел только на него, меня же, казалось, вовсе не замечал. После водки на меня и Холина, как говорится, «едун напал» — мы энергично работали челюстями; мальчик же, съев два небольших бутерброда, вытер платком руки и рот, промолвив:

— Хорош.

Тогда Холин высыпал перед ним на стол шоколадные конфеты в разноцветных обертках. При виде конфет лицо мальчика не оживилось радостно, как это бывает у детей его возраста. Он взял одну не спеша, с таким равнодушием, будто он каждый день вдоволь ел шоколадные конфеты, развернул ее, откусил кусочек и, сдвинув конфеты на середину стола, предложил нам:

— Угощайтесь.

— Нет, брат, — отказался Холин. — После водки не в цвет.

— Тогда поехали, — вдруг сказал мальчик, поднимаясь и не глядя больше на стол. — Подполковник ждет меня, чего же сидеть?.. Поехали! — потребовал он.

— Сейчас поедем, — с некоторой растерянностью проговорил Холин. В руке у него была фляжка, он собирался, очевидно, налить еще мне и себе, но, увидев, что мальчик встал, положил фляжку на место. — Сейчас поедем, — повторил он невесело и поднялся.

Меж тем мальчик примерил шапку.

— Вот черт, велика!

— Меньше не было. Я сам выбирал, — словно оправдываясь, пояснил Холин. — Но нам только доехать, что-нибудь придумаем.

Он с сожалением оглядел стол, уставленный закусками, поднял фляжку, поболтал ею, огорченно посмотрел на меня и вздохнул:

— Сколько ж добра пропадает, а!

— Оставь ему! — сказал мальчик с выражением недовольства и пренебрежения. — Ты что, голодный?

— Ну что ты!.. Просто фляжка — табельное имущество, — отшутился Холин. — И конфеты ему ни к чему...

— Не будь жмотом!

— Придется... Эх, где наше не пропадало, кто от нас не плакал!.. — снова вздохнул Холин и обратился ко мне: — Убери часового от землянки. И вообще посмотри. Чтоб нас никто не видел.

Накинув набухшую плащ-палатку, я подошел к мальчику. Застегивая крючки на его полушубочке, Холин похвастал:

— А в машине сена — целая копна! Я одеяла взял, подушки, сейчас завалимся — и до самого штаба.

— Ну, Ванюша, прощай! — Я протянул руку мальчику.

— Не прощай, а до свидания! — строго поправил он, сунув мне крохотную узенькую ладошку и одарив меня взглядом исподлобья.

Разведотдельский «додж» с поднятым тентом стоял шагах в десяти от землянки; я не сразу разглядел его.

— Родионов, — тихо позвал я часового.

— Я, товарищ старший лейтенант! — послышался совсем рядом, за моей спиной, хриплый, простуженный голос.

— Идите в штабную землянку. Я скоро вас вызову.

— Слушаюсь! — Боец исчез в темноте.

Я обошел кругом — никого не было. Шофер «доджа» в плащ-палатке, одетой поверх полушубка, не то спал, не то дремал, навалившись на баранку.

Я подошел к землянке, ощупью нашел дверь и приоткрыл ее.

— Давайте!

Мальчик и Холин с чемоданом в руке скользнули к машине; зашуршал брезент, послышался короткий разговор вполголоса — Холин разбудил водителя, — заработал мотор, и «додж» тронулся.

3

Старшина Катасонов — командир взвода из разведроты дивизии — появился у меня три дня спустя.

Ему за тридцать, он невысок и худощав. Рот маленький, с короткой верхней губой, нос небольшой, приплюснутый, с крохотными ноздрями, глазки голубовато-серые, живые. Симпатичным, выражающим кротость лицом Катасонов походит на кролика. Он скромн, тих и неприметен. Говорит, заметно шепелявя, — может, поэтому стеснителен и на людях молчалив. Не зная, трудно представить, что это один из лучших в нашей армии охотников за «языками». В дивизии его зовут ласково: «Катасоныч».

При виде Катасонова мне снова вспоминается маленький Бондарев — эти дни я не раз думал о нем. И я решаю при случае расспросить Катасонова о мальчике: он должен знать. Ведь это он, Катасонов, в ту ночь ждал с лодкой у Диковки, где «немцев столько, что к берегу не подойдешь».

Войдя в штабную землянку, он, приложив ладонь к суконной с малиновым кантом пилотке, негромко здоровается и становится у дверей, не сняв вещмешка и терпеливо ожидая, пока я распекаю писарей.

Они зашились, а я зол и раздражен: только что прослушал по телефону нудное поучение Маслова. Он звонит мне по утрам чуть ли не ежедневно и все об одном: требует своевременного, а подчас и досрочного представления бесконечных донесений, сводок, форм и схем. Я даже подозреваю, что часть отчетности придумывается им самим: он редкостный любитель писанины.

Послушав его, можно подумать, что, если я своевременно буду представлять все эти бумаги в штаб полка, война будет успешно завершена в ближайшее время. Все дело, выходит, во мне. Маслов требует, чтобы я «лично вкладывал душу» в отчетность. Я стараюсь и, как мне кажется, «вкладываю», но в батальоне нет адъютантов, нет и опытного писаря: мы, как правило, запаздываем, и почти всегда оказывается, что мы в чем-то напутали. И я в который уж раз думаю, что воевать зачастую проще, чем отчитываться, и с нетерпением жду: когда же пришлют настоящего командира батальона — пусть он отдувается!

Я ругаю писарей, а Катасонов, зажав в руке пилотку, стоит тихонько у дверей и ждет.

— Ты чего, ко мне? — оборачиваясь к нему, наконец спрашиваю я, хотя мог бы и не спрашивать: Маслов предупредил меня, что придет Катасонов, приказал допустить его на НП и оказывать содействие.

— К вам, — говорит Катасонов, застенчиво улыбаясь. — Немца бы посмотреть.

— Ну что ж... посмотри, — помедлив для важности, милостивым тоном разрешаю я и приказываю посыльному проводить Катасонова на НП батальона.

Часа два спустя, отослав донесение в штаб полка, я отправляюсь снять пробу на батальонной кухне и кустарником пробираюсь на НП.

Катасонов в стереотрубу «смотрит немца». И я тоже смотрю, хотя мне все знакомо.

За широким плесом Днепра — сумрачного, щербатого на ветру — вражеский берег. Вдоль кромки воды — узкая полоска песка; над ней террасный уступ высотой не менее метра, и далее отлогий, кое-где поросший кустами глинистый берег; ночью он патрулируется дозорами вражеского охранения. Еще дальше, высотой метров в восемь, крутой, почти вертикальный обрыв. По его верху тянутся траншеи переднего края обороны противника. Сейчас в них дежурят лишь наблюдатели, остальные же отдыхают, укрывшись в блиндажах. К ночи немцы расползутся по окопам, будут стреливать в темноту и до утра пускать осветительные ракеты.

У воды на песчаной полоске того берега — пять трупов. Три из них, разбросанные порознь в различных позах, несомненно, тронуты разложением — я наблюдаю их вторую неделю. А два

свежих усажены рядышком, спиной к уступу, прямо напротив НП, где я нахожусь. Оба раздеты и разуты, на одном — тельняшка, ясно различимая в стереотрубу.

— Ляхов и Мороз, — не отрываясь от окуляров, говорит Катасонов.

Оказывается, это его товарищи, сержанты из разведроты дивизии. Продолжая наблюдать, он тихим шепелявым голосом рассказывает, как это случилось.

...Четверо суток назад разведгруппа — пять человек — ушла на тот берег за контрольным пленным. Переправлялись ниже по течению. «Языка» взяли без шума, но при возвращении были обнаружены немцами. Тогда трое с захваченным фрицем стали отступать к лодке, что и удалось (правда, по дороге один погиб, подорвавшись на mine, а «язык» уже в лодке был ранен пулеметной очередью). Эти же двое — Ляхов (в тельняшке) и Мороз — залегли и, отстреливаясь, прикрывали отход товарищей.

Убиты они были в глубине вражеской обороны; немцы, раздев, выволокли их ночью к реке и усадили на виду, нашему берегу в назидание.

— Забрать их надо бы... — закончив немногословный рассказ, вздыхает Катасонов.

Когда мы с ним выходим из блиндажа, я спрашиваю о маленьком Бондареве.

— Ванюшка-то? — Катасонов смотрит на меня, и лицо его озаряется нежной, необыкновенно теплой улыбкой. — Чудный малец! Только характерный, беда с ним! Вчера прямо баталия была.

— Что такое?

— Да разве ж война — занятие для него?.. Его в школу посылают, в суворовскую. Приказ командующего. А он уперся и ни в какую. Одно твердит: после войны. А теперь воевать, мол, буду, разведчиком.

— Ну, если приказ командующего, не очень-то повоюет.

— Э-э, разве его удержишь! Ему ненависть душу жжет!.. Не пошлют — сам уйдет. Уже уходил раз. — Вздохнув, Катасонов смотрит на часы и спохватывается. — Ну, заболтался совсем. На НП артиллеристов я так пройду? — указывая рукой, спрашивает он.

Спустя мгновения, ловко отгибая ветви и бесшумно ступая, он уже скользит подлеском.

* * *

С наблюдательных пунктов нашего и соседнего справа третьего батальона, а также с НП дивизионных артиллеристов Катасонов в течение двух суток «смотрит немца», делая заметки и кроки в полевом блокноте. Мне докладывают, что всю ночь он

провел на НП, у стереотрубы, там же он находится и утром, и днем, и вечером, и я невольно ловлю себя на мысли: когда же он спит?

На третий день утром приезжает Холин. Он вваливается в штабную землянку и шумно здоровается со всеми. Вымолвив: «Подержись и не говори, что мало!» — стискивает мне руку так, что хрустят суставы пальцев и я изгибаюсь от боли.

— Ты мне понадобисься! — предупреждает он, затем, взяв трубку, звонит в третий батальон и разговаривает с его командиром капитаном Рябцевым.

— ...к тебе подъедет Катасонов — поможешь ему!.. Он сам объяснит... И покорми в обед горяченьким!.. Слушай дальше: если меня будут спрашивать артиллеристы или еще кто, передай, что буду я у вас в штабе после тринадцати ноль-ноль, — наказывает Холин. — И ты мне тоже потребуешься! Подготовь схему обороны и будь на месте...

Он говорит Рябцеву «ты», хотя Рябцев лет на десять старше его. И к Рябцеву и ко мне он обращается как к подчиненным, хотя начальником для нас не является. У него такая манера; точно так же он разговаривает и с офицерами в штабе дивизии, и с командиром нашего полка. Конечно, для всех нас он представитель высшего штаба; но дело не только в этом. Как и многие разведчики, он, чувствуется, убежден, что разведка — самое главное в боевых действиях войск и поэтому все обязаны ему помогать.

И теперь, положив трубку, он, не спросив даже, чем я собираюсь заниматься и есть ли у меня дела в штабе, приказным тоном говорит:

— Захвати схему обороны и пойдем посмотрим твои войска...

Его обращение в повелительной форме мне не нравится, но я немало наслышан от разведчиков о нем, о его бесстрашии и находчивости, я и молчу, прощая ему то, что другому бы не смолчал. Ничего срочного у меня нет, однако я нарочно заявляю, что должен задержаться на некоторое время в штабе, и он покидает землянку, сказав, что обождет меня у машины.

Спустя примерно четверть часа, просмотрев поденное дело¹ и стрелковые карточки, я выхожу. Разведотдельский «додж» с кузовом, затянутым брезентом, стоит недалеко под елями. Шофер с автоматом на плече расхаживает в стороне. Холин сидит за рулем, развернув на баранке крупномасштабную карту; рядом — Катасонов со схемой обороны в руках. Они разговаривают; когда я подхожу, замолкнув, поворачивают головы в мою сторону.

¹ Дело, куда в батальоне подшиваются все приказы, распоряжения и приказания штаба полка.

Катасонов поспешно выскакивает из машины и приветствует меня, по обыкновению стеснительно улыбаясь.

— Ну ладно, давай! — говорит ему Холин, сворачивая карту и схему, и также вылезает. — Посмотрите все хорошенько и отдохайте! Часика через два-три я подойду...

Одной из многих тропок я веду Холина к передовой. «Додж» отъезжает в сторону третьего батальона. Настроение у Холина приподнятое, он шагает, весело насвистывая. Тихий, холодный день; так тихо, что можно, кажется, забыть о войне. Но она вот, впереди: вдоль опушки свежестрытые окопы, а слева спуск в ход сообщения — траншея полного профиля, перекрытая сверху и тщательно замаскированная дерном и кустарником, ведет к самому берегу. Ее длина более ста метров.

При некомплекте личного состава в батальоне отрыть ночами такой ход (причем силами одной лишь роты!) было не так-то просто. Я рассказываю об этом Холину, ожидая, что он оценит нашу работу, но он, глянув мельком, интересуется, где расположены батальонные наблюдательные пункты — основной и вспомогательные. Я показываю.

— Тишина-то какая! — не без удивления замечает он и, став за кустами близ опушки, в цейсовский бинокль рассматривает Днепр и берега — отсюда с небольшого пригорка видно все как на ладонке. Мои же «войска» его, по-видимому, мало интересуют.

Он смотрит, а я стою сзади без дела и, вспомнив, спрашиваю:

— А мальчик, что был у меня, кто он все-таки? Откуда?

— Мальчик? — рассеянно переспрашивает Холин, думая о чем-то другом. — А-а, Иван!.. Много будешь знать, скоро состаришься! — отшучивается он и предлагает: — Ну что ж, давай опробуем твое метро!

В траншее темно. Кое-где оставлены щели для света, но они прикрыты ветками. Мы двигаемся в полутьме, ступаем, чуть пригнувшись, и кажется, конца не будет этому сырому, мрачному ходу. Но вот впереди светает, еще немного — и мы в окопе боевого охранения, метрах в пятнадцати от Днепра.

Молодой сержант, командир отделения, докладывает мне, искоса разглядывая широкогрудого, представительного Холина.

Берег песчаный, но в окопе по щиколотку жидкой грязи; верно, потому, что дно этой траншеи ниже уровня воды в реке.

Я знаю, что Холин — под настроение — любитель поговорить и побалагурить. Вот и теперь, достав пачку «Беломора», он угощает меня и бойцов папиросами и, прикуривая сам, весело замечает:

— Ну и жизнь у вас! На войне, а вроде ее и нет совсем. Тишь да гладь — божья благодать!..

— Курорт! — мрачно подтверждает пулеметчик Чупахин, долговязый, сутулый боец в ватных куртке и брюках. Стянув с голо-

вы каску, он надевает ее на черенок лопаты и приподнимает над бруствером. Проходит несколько секунд — выстрелы доносятся с того берега, и пули тонко посвистывают над головой.

— Снайпер? — спрашивает Холин.

— Курорт, — угрюмо повторяет Чупахин. — Грязевые ванны под присмотром любящих родственников...

...Той же темной траншеей мы возвращаемся к НП. То, что немцы бдительно наблюдают за нашим передним краем, Холину не понравилось. Хотя это вполне естественно, что противник бодрствует и ведет непрерывное наблюдение, Холин вдруг делается хмурым и молчаливым.

На НП он в стереотрубу минут десять рассматривает правый берег, задает наблюдателям несколько вопросов, листает их журнал и ругается, что они якобы ничего не знают, что записи скудны и не дают представления о режиме и поведении противника. Я с ним не согласен, но молчу.

— Ты знаешь, кто это там, в тельняшке? — спрашивает он меня, имея в виду убитых разведчиков на том берегу.

— Знаю.

— И что же, не можешь их вытащить? — говорит он с недовольством и презрительно. — На час дела! Все указаний свыше ждешь?

Мы выходим из блиндажа, и я спрашиваю:

— Чего вы с Катасоновым высматриваете? Поиск, что ли, готовите?

— Подробности в афишах! — хмуро бросает Холин, не взглянув на меня, и направляется чащобой в сторону третьего батальона. Я, не раздумывая, следую за ним.

— Ты мне больше не нужен! — вдруг объявляет он, не оборачиваясь. И я останавливаюсь, растерянно смотрю ему в спину и поворачиваю назад к штабу.

«Ну, подожди же!..» Бесцеремонность Холина раздражила меня. Я обижен, зол и ругаюсь вполголоса. Проходящий в стороне боец, поприветствовав, оборачивается и смотрит на меня удивленно.

А в штабе писарь докладывает:

— Майор два раза звонили. Приказали вам доложиться...

Я звоню командиру полка.

— Как там у тебя? — прежде всего спрашивает он своим медлительным, спокойным голосом.

— Нормально, товарищ майор.

— Там к тебе Холин приедет... Сделай все, что потребуется, и оказывай ему всяческое содействие...

«Будь он неладен, этот Холин!..» Меж тем майор, помолчав, добавляет:

— Это приказание «Волги». Мне сто первый звонил...

«Волга» — штаб армии; «сто первый» — командир нашей дивизии полковник Воронов. «Ну и пусть! — думаю я. — А бегать за Холиным я не буду! Что попросит — сделаю! Но ходить за ним и напрашиваться — это уж, как говорится, извини-подвинься!»

И я занимаюсь своими делами, стараясь и не думать о Холине.

После обеда я захожу в батальонный медпункт. Он размещен в двух просторных блиндажах на правом фланге, рядом с третьим батальоном. Такое расположение весьма неудобно, но дело в том, что и землянки и блиндажи, в которых мы размещаемся, отрыты и оборудованы еще немцами, — понятно, что о нас они менее всего думали.

Новая, прибывшая в батальон дней десять назад военфельдшер — статная, лет двадцати, красивая блондинка с ярко-голубыми глазами — в растерянности прикладывает руку к... марлевой косынке, стягивающей пышные волосы, и пытается мне доложить. Это не рапорт, а робкое, невнятное бормотание; но я ей ничего не говорю. Ее предшественник, старший лейтенант Востриков — старенький, страдавший астмой военфельдшер, — погиб недели две назад на поле боя. Он был опытен, смел и расторопен. А она?... Пока я ею недоволен.

Военная форма — стянутая в талии широким ремнем, отутюженная гимнастерочка, юбка, плотно облегающая крепкие бедра, и хромовые сапожки на стройных ногах, — все ей очень идет: военфельдшер так хороша, что я стараюсь на нее не смотреть.

Между прочим, она мне землячка, тоже из Москвы. Не будь войны, я, встретив ее, верно б, влюбился и, ответь она мне взаимностью, был бы счастлив без меры, бегал бы вечером на свидания, танцевал бы с ней в парке Горького и целовался где-нибудь в Нескучном... Но, увы, война! Я исполняю обязанности командира батальона, а она для меня всего-навсего военфельдшер. Причем не справляющийся со своими обязанностями.

И я неприязненным тоном говорю ей, что в ротах опять «форма двадцать»¹, а белье как следует не прожаривается и помывка личного состава до сих пор должным образом не организована. Я предъявляю ей еще ряд претензий и требую, чтобы она не забывала, что она командир, не бралась бы за все сама, а заставляла работать ротных санинструкторов и санитаров.

Она стоит передо мной, вытянув руки по швам и опустив голову. Тихим, прерывистым голосом без конца повторяет: «Слу-

¹ Проверка по «форме двадцать» — осмотр личного состава подразделения на вшивость.

шаюсь... слушаюсь... слушаюсь», — заверяет меня, что старается и скоро «все будет хорошо».

Вид у нее подавленный, и мне становится ее жаль. Но я не должен поддаваться этому чувству, — я не имею права ее жалеть. В обороне она терпима, но впереди форсирование Днепра и нелегкие наступательные бои — в батальоне будут десятки раненых, и спасение их жизней во многом будет зависеть от этой девушки с погонами лейтенанта медслужбы.

В невеселом раздумье я выхожу из землянки, военфельдшер — следом.

Вправо, шагах в ста от нас, бугор, в котором устроен НП дивизионных артиллеристов. С тыльной стороны бугра, у подножия — группа офицеров: Холин, Рябцев, знакомые мне командиры батарей из артполка, командир минометной роты третьего батальона и еще два неизвестных мне офицера. У Холина и еще у двух в руках карты или схемы. Очевидно, как я и догадывался, подготавливается поиск, и проведен он будет, судя по всему, на участке третьего батальона.

Заметив нас, офицеры оборачиваются и смотрят в нашу сторону. Рябцев, артиллеристы и минометчик приветственно машут мне руками; я отвечаю тем же. Я ожидаю, что Холин окликнет, позовет меня — ведь я должен «оказывать ему всяческое содействие», но он стоит ко мне боком, показывая офицерам что-то на карте. И я оборачиваюсь к военфельдшеру.

— Даю вам два дня. Навести в санслужбе порядок и доложить!

Она что-то невнятно бормочет под нос. Сухо козырнув, я отхожу, решив при первой возможности добиваться ее откомандирования. Пусть пришлют другого фельдшера. И обязательно мужчину.

До вечера я нахожусь в ротах: осматриваю землянки и блиндажи, проверяю оружие, беседую с бойцами, вернувшимися из медсанбата, и забиваю с ними «козла». Уже в сумерках я возвращаюсь к себе в землянку и обнаруживаю там Холина. Он спит, развалясь на моей постели, в гимнастерке и шароварах. На столе записка «Разбуди в 18.30. Холин».

Я пришел как раз вовремя и бужу его. Открыв глаза, он садится на нарах, позевывая, потягивается и говорит:

— Молодой, молодой, а губа-то у тебя не дура!

— Чего? — не поняв, спрашиваю я.

— В бабах, говорю, толк понимаешь. Фельдшерица подходящая! — Пройдя в угол, где подвешен рукомойник, Холин начинает умываться. — Если серьги вдеть, то можно... Только днем ты к ней не ходи, — советует он, — авторитет подмочишь.

— Иди ты к черту! — выкрикиваю я, озлясь.

— Грубиян ты, Гальцев, — благодушно замечает Холин. Он умывается, пофыркивая и отчаянно брызгаясь. — Дружеской под-

начки не понимаешь... И полотенце вот у тебя грязное, а могла бы постирать. Дисциплинки нет!

Вытерев лицо «грязным» полотенцем, он интересуется:

— Меня никто не спрашивал?

— Не знаю, меня не было.

— И тебе не звонили?

— Звонил часов в двенадцать командир полка.

— Чего?

— Просил оказывать тебе содействие.

— Он тебя «просит»?.. Вон как! — Холин ухмыляется. — Здорово у вас дело поставлено! — Он окидывает меня насмешливо-пренебрежительным взглядом. — Эх, голова — два уха! Ну какое ж от тебя может быть содействие?..

Закурив, он выходит из землянки, но скоро возвращается и, потирая руки, довольный сообщает:

— Эх, и ночь будет — как на заказ!.. Все же Господь не без милости. Скажи, ты в Бога веруешь?.. А ты куда это собираешься? — спрашивает он строго. — Нет, ты не уходи, ты, может, еще понадобишься...

Присев на нары, он в задумчивости напевает, повторяя одни и те же слова:

Эх, ночь темна,
А я боюсь,
Ах, проводите
Меня, Маруся...

Я разговариваю по телефону с командиром четвертой роты и, когда кладу трубку, улавливаю шум подъехавшей машины. В дверь тихонько стучат.

— Войдите!

Катасонов, войдя, прикрывает дверь и, приложив руку в пилотке, докладывает:

— Прибыли, товарищ капитан!

— Убери часового! — говорит мне Холин, перестав напевать и живо поднимаясь.

Мы выходим вслед за Катасоновым. Моросит дождь. Близ землянки — знакомая машина с тентом. Выждав, пока часовой скроется в темноте, Холин расстегивает сзади брезент и шепотом зовет:

— Иван!..

— Я, — слышится из-под тента тихий детский голос, и через мгновение маленькая фигурка, появившись из-под брезента, спрыгивает на землю.

— Здравствуй! — говорит мне мальчик, как только мы заходим в землянку, и, улыбаясь, с неожиданным дружелюбием протягивает руку.

Он выглядит посвежевшим и поздоровевшим, щеки румянятся. Катасонов отряхивает с его полушубочка сennую труху, а Холин заботливо предлагает:

— Может, ляжешь, отдохнешь?

— Да ну! Полдня спал и опять отдыхать?

— Тогда достань нам чего-нибудь интересное, — говорит мне Холин. — Журнальчик там или еще что... Только с картинками!

Катасонов помогает мальчику раздеться, а я выкладываю на стол несколько номеров «Огонька», «Красноармейца» и «Фронтowych иллюстраций». Оказывается, что некоторые из журналов мальчик уже видел — он откладывает их в сторону.

Сегодня он неузнаваем: разговорчив, то и дело улыбается, смотрит на меня приветливо и обращается ко мне, как и к Холину и Катасонову, на «ты». И у меня к этому белоголовому мальчишке необычайно теплое чувство. Вспомнив, что у меня есть коробка леденцов, я, достав, открываю ее и ставлю перед ним, наливаю ему в кружку ряженки с шоколадной пенкой, затем подсаживаюсь рядом, и мы вместе смотрим журналы.

Тем временем Холин и Катасонов приносят из машины уже знакомый мне трофейный чемодан, объемистый узел, увязанный в плащ-палатку, два автомата и небольшой фанерный чемодан.

Засунув узел под нары, они усаживаются позади нас и разговаривают. Я слышу, как Холин вполголоса говорит Катасонову обо мне:

— ...Ты бы послушал, как шпрехает — как фриц! Я его весной в переводчики вербовал, а он, видишь, уже батальоном командует...

Это было. В свое время Холин и подполковник Грязнов, послушав, как я по приказанию комдива опрашивал пленных, уговаривали меня перейти в разведотдел переводчиком. Но я не захотел и ничуть не жалею: на разведывательную работу я пошел бы охотно, но только на оперативную, а не переводчиком.

Катасонов поправляет дрова и тихонько вздыхает:

— Ночь-то уж больно хороша!..

Он и Холин полушепотом разговаривают о предстоящем деле, и я узнаю, что подготавливали они вовсе не поиск. Мне становится ясно, что сегодня ночью Холин и Катасонов должны переправить мальчика через Днепр в тыл к немцам.

Для этого ими привезена малая надувная лодка «штурмовка», однако Катасонов уговаривает Холина взять плоскодонку у меня в батальоне: «Клевые тузики!» — шепчет он.

Вот черти — пронюхали! В батальоне пять рыбацких плоскодонок — мы их возим с собой уже третий месяц. Причем, чтобы их не забрали в другие батальоны, где всего по одной лодке, я приказал маскировать их тщательно, на марше прятать под сено и в отчетности об имеющихся подсобных переправочных средствах указываю всего две лодки, а не пять.

Мальчик грызет леденцы и смотрит журналы. К разговору Холина и Катасонова он не прислушивается. Просмотрев журналы, он откладывает один, где напечатан рассказ о разведчиках, и говорит мне:

— Вот это я прочту. Слушай, а патефона у тебя нет?

— Есть, но сломана пружина.

— Бедненько живешь, — замечает он и вдруг спрашивает: — А ушами ты можешь двигать?

— Ушами?.. Нет, не могу, — улыбаюсь я. — А что?

— А Холин может! — не без торжества сообщает он и оборачивается: — Холин, ну-ка покажи — ушами!

— Всегда пожалуйста! — Холин с готовностью подскакивает и, став перед нами, шевелит ушными раковинами; лицо его при этом остается совершенно неподвижным.

Мальчик, довольный, торжествуя смотрит на меня.

— Можешь не огорчаться, — говорит мне Холин, — ушами двигать я тебя научу. Это успеется. А сейчас идем, покажешь нам лодки.

— А вы меня с собой возьмете? — неожиданно для самого себя спрашиваю я.

— Куда с собой?

— На тот берег.

— Видали, — кивает на меня Холин, — охотничек! А зачем тебе на тот берег?.. — И, смерив меня взглядом, словно оценивая, он спрашивает: — Ты плавать-то хоть умеешь?

— Как-нибудь! И гребу и плаваю.

— А плаваешь как — сверху вниз? по вертикали? — с самым серьезным видом интересуется Холин.

— Да уж, думаю, во всяком случае, не хуже тебя!

— Конкретнее. Днепр переплывешь?

— Раз пять, — говорю я. И это правда, если учесть, что я имею в виду плавание налегке в летнее время. — Свободно раз пять, туда и обратно!

— Силе-ен мужик! — неожиданно хохочет Холин, и они втроем смеются. Вернее, смеются Холин и мальчик, а Катасонов застенчиво улыбается.

Вдруг, сделавшись серьезным, Холин спрашивает:

— А ружьишком ты не балуешься?

— Иди ты!.. — раздражаюсь я, знакомый с подвохом подобного вопроса.

— Вот видите, — указывает на меня Холин, — завелся с пол-

оборота! Никакой выдержки. Нервишки-то явно тряпичные, а просится на тот берег. Нет, парень, с тобой лучше не связываться!

— Тогда я лодку не дам.

— Ну, лодку-то мы и сами возьмем — что у нас, рук нет? А случ-чего позвоню комдиву, так ты ее на своем горбу к реке припрешь!

— Да будет вам, — вступается мальчик примиряюще. — Он и так даст. Ведь дашь? — заглядывая мне в глаза, спрашивает он.

— Да уж придется, — натянуто улыбаясь, говорю я.

— Так идем посмотрим! — берет меня за рукав Холин. — А ты здесь побудь, — говорит он мальчику. — Только не возись, а отдыхай.

Катасонов, поставив на табурет фанерный чемоданчик, открывает его — там различные инструменты, банки с чем-то, тряпки, пакля, бинты. Перед тем как надеть ватник, я пристегиваю к ремню финку с наборной рукоятью.

— Ух и нож! — восхищенно восклицает мальчик, и глаза у него загораются. — Покажи!

Я протягиваю ему нож; повертев его в руках, он просит:

— Слушай, отдай его мне!

— Я бы тебе отдал, но понимаешь... это подарок.

Я его не обманываю. Этот нож — подарок и память о моем лучшем друге Котьке Холодове. С третьего класса мы сидели с Котькой на одной парте; вместе ушли в армию, вместе были в училище и воевали в одной дивизии, а позже в одном полку.

...На рассвете того сентябрьского дня я находился в окопе на берегу Десны. Я видел, как Котька со своей ротой — первым в нашей дивизии — начал переправляться на правый берег. Связанные из бревен, жердей и бочек плотики миновали уже середину реки, когда немцы обрушились на переправу огнем артиллерии и минометов. И тут же белый фонтан воды взлетел над Котькиным плотиком... Что было там дальше, я не видел — трубка в руке телефониста прохрипела: «Гальцев, вперед!..» И я, а за мной вся рота — сто с лишним человек, — прыгнув через бруствер, бросились к воде, к точно таким же плотикам... Через полчаса мы уже вели рукопашный бой на правом берегу...

Я еще не решил, что сделаю с финкой: оставляю ее себе или же, вернувшись после войны в Москву, приду в тихий переулок на Арбате и отдам нож Котькиным старикам, как последнюю память о сыне...

— Я тебе другой подарю, — обещаю я мальчику.

— Нет, я хочу этот! — говорит он капризно и заглядывает мне в глаза. — Отдай его мне!

— Не жлобься, Гальцев, — бросает со стороны Холин неодобрительно. Он стоит одетый, ожидая меня и Катасонова. — Не будь крохобором!

— Я тебе другой подарю. Точно такой! — убеждаю я мальчика.
— Будет у тебя такой нож, — обещает ему Катасонов, осмотрев финку. — Я достану.

— Да я сделаю, честное слово! — заверяю я. — А это подарок, понимаешь — память!

— Ладно уж, — соглашается наконец мальчик обидчивым голосом. — А сейчас оставь его — поиграться...

— Оставь нож и идем, — торопит меня Холин.

— И чего мне с вами идти? Какая радость? — застегивая ватник, вслух рассуждаю я. — Брать вы меня с собой не берете, а где лодки, и без меня знаете.

— Идем, идем, — подталкивает меня Холин. — Я тебя возьму, — обещает он. — Только не сегодня.

Мы выходим втроем и подлеском направляемся к правому флангу. Моросит мелкий, холодный дождь. Темно, небо затянуто сплошь — ни звездочки, ни просвета.

Катасонов скользит впереди с чемоданом, ступая без шума и так уверенно, точно он каждую ночь ходит этой тропой. Я снова спрашиваю Холина о мальчике и узнаю, что маленький Бондарев — из Гомеля, но перед войной жил с родителями на заставе где-то в Прибалтике. Его отец, пограничник, погиб в первый же день войны. Сестренка полутора лет была убита на руках у мальчика во время отступления.

— Ему столько довелось пережить, что нам и не снилось, — шепчет Холин. — Он и в партизанах был, и в Тростянце — в лагере смерти... У него на уме одно: мстить до последнего! Как рассказывает про лагерь или вспомнит отца, сестренку, — трясется весь. Я никогда не думал, что ребенок может так ненавидеть...

Холин на мгновение умолкает, затем продолжает еле слышным шепотом:

— Мы тут два дня бились — уговаривали его поехать в суворовское училище. Командующий сам убеждал его: и по-хорошему и грозился. А в конце концов разрешил сходить, с условием: последний раз! Видишь ли, не посылать его — это тоже боком может выйти. Когда он впервые пришел к нам, мы решили: не посылать! Так он сам ушел. А при возвращении наши же — из охранения в полку у Шилина — обстреляли его. Ранили в плечо, и винить некого: ночь была темная, а никто ничего не знал!.. Видишь ли, то, что он делает, и взрослым редко удается. Он один дает больше, чем ваша разведрота. Они лазят в боевых порядках немцев не далее войскового тыла¹. А проникнуть и

¹На театре военных действий тыл подразделений, частей и соединений носит название войскового тыла (или же тактического), а тыл армий и фронтов — оперативного тыла.

легализироваться в оперативном тылу противника и находиться там, допустим, пять — десять дней разведгруппа не может. И отдельному разведчику это редко удастся. Дело в том, что взрослый в любом обличье вызывает подозрение. А подросток, бездомный побирушка — быть может, лучшая маска для разведки в оперативном тылу... Если б ты знал его поближе — о таком мальчишке можно только мечтать!.. Уже решено, если после войны не отыщется мать, Катасоныч или подполковник усыновят его...

— Почему они, а не ты?

— Я бы взял, — шепчет Холин, вздыхая, — да подполковник против. Говорит, что меня самого еще надо воспитывать! — усмехаясь, признается он.

Я мысленно соглашаюсь с подполковником: Холин грубоват, а порой развязен и циничен. Правда, при мальчишке он сдерживается, мне даже кажется, что он побаивается Ивана.

Метрах в ста пятидесяти до берега мы сворачиваем в кустарник, где заваленные ельником хранятся плоскодонки. По моему приказанию их держат наготове и через день поливают водой, чтобы не рассыхались.

Присвечивая фонариками, Холин и Катасонов осматривают лодки, щупают и простукивают днища и борты. Затем переворачивают каждую, усаживаются и, вставив весла в уключины, «гребут». Наконец выбирают одну, небольшую, с широкой кормой, на трех-четыре человека, не более.

— Вериги эти ни к чему. — Холин берется за цепь и, как хозяин, начинает выкручивать кольцо. — Остальное сделаем на берегу. Сперва опробуем на воде...

Мы поднимаем лодку — Холин за нос, мы с Катасоновым за корму — и делаем с ней несколько шагов, продираясь меж кустами.

— А ну вас к маме! — вдруг тихо ругается Холин. — Подайте!..

Мы «подаем» — он взваливает лодку плоским днищем себе на спину, вытянутыми над головой руками ухватывается с двух сторон за края бортов и, пригнувшись, широко ступая, идет следом за Катасоновым к реке.

У берега я обгоняю их — предупредить пост охранения, по видимому, для этого я и был им нужен.

Холин со своей ношей медленно сходит к воде и останавливается. Мы втроем осторожно, чтобы не нашуметь, опускаем лодку на воду.

— Садитесь!

Мы усаживаемся. Холин, оттолкнувшись, вскакивает на корму — лодка скользит от берега. Катасонов, двигая веслами — одним гребя, другим табаня, — разворачивает ее то вправо, то влево. Затем он и Холин, словно задавшись целью перевернуть лодку,

наваливаются попеременно то на левый, то на правый борт, так что того и гляди зальется вода; потом, став на четвереньки, ощупывая, гладят ладонями борта и днище.

— Клевый тузик! — одобрительно шепчет Катасонов.

— Пойдет, — соглашается Холин. — Он, оказывается, действительно спец лодки воровать, дрянных не берет! Покайся, Гальцев, скольких хозяев ты обездолил?..

С правого берега то и дело, отрывистые и гулкие, над водой стучат пулеметные очереди.

— Садят в божий свет, как в копеечку, — шепелявя, усмехается Катасонов. — Расчетливы вроде и прижимисты, а посмотришь — сама бесхозяйственность! Ну что толку палить вслепую?.. Товарищ капитан, может, потом под утро ребят вытащим, — нерешительно предлагает он Холину.

— Не сегодня. Только не сегодня...

Катасонов легко подгрребает. Подчалив, мы вылезаем на берег.

— Что ж, забинтуем уключины, забьем гнезда солидоллом, и все дела! — довольно шепчет Холин и поворачивается ко мне:

— Кто у тебя здесь в окопе?

— Бойцы, двое.

— Оставь одного. Надежного и чтоб молчать умел! Вник? Я заскочу к нему покурить — проверю!.. Командира взвода охранения предупреди: после двадцати двух ноль-ноль разведгруппа, возможно, так и скажи ему: возможно! — подчеркивает Холин, — пойдет на ту сторону. К этому времени чтобы все посты были предупреждены. А сам он пусть находится в ближнем большом окопе, где пулемет. — Холин указывает рукой вниз по течению. — Если при возвращении нас обстреляют, я ему голову сверну!.. Кто пойдет, как и зачем, — об этом ни слова! Учти: об Иване знаешь только ты! Подписки я от тебя брать не буду, но если сболтнешь, я тебе...

— Что ты пугаешь? — шепчу я возмущенно. — Что я, маленький, что ли?

— Я тоже так думаю. Да ты не обижайся. — Он похлопывает меня по плечу. — Я же должен тебя предупредить... А теперь действуй!..

Катасонов уже возится с уключинами. Холин, подойдя к лодке, тоже берется за дело. Постояв с минуту, я иду вдоль берега.

Командир взвода охранения встречается мне неподалеку — он обходит окопы, проверяя посты. Я инструктирую его, как сказал Холин, и отправляюсь в штаб батальона. Сделав кое-какие распоряжения и подписав документы, я возвращаюсь к себе в землянку. Мальчик один. Он весь красный, разгорячен и возбужден. В руке у него Котькин нож, на груди мой бинокль, лицо виноватое. В землянке беспорядок: стол перевернут вверх ногами и накрыт сверху одеялом, ножки табурета торчат из-под нар.

— Слушай, ты не сердись, — просит меня мальчик. — Я нечаянно, честное слово, нечаянно.

Только тут я замечаю на вымытых утром добела досках пола большое чернильное пятно.

— Ты не сердишься? — заглядывая мне в глаза, спрашивает он.

— Да нет же, — отвечаю я, хотя беспорядок в землянке и пятно на полу мне вовсе не по нутру. Я молча устанавливаю все на места, мальчик помогает мне, он поглядывает на пятно и предлагает:

— Надо воды нагреть. И с мылом... Я ототру!

— Да ладно, без тебя как-нибудь...

Я проголодался и по телефону приказываю принести ужин на шестерых — я не сомневаюсь, что Холин и Катасонов, повозившись с лодкой, проголодались не менее меня.

Заметив журнал с рассказом о разведчиках, я спрашиваю мальчика:

— Ну как, прочел?

— Ага... Переживательно. Только по правде так не бывает. Их сразу застукают. А им еще потом ордена навесили.

— А у тебя за что орден? — интересуюсь я.

— Это еще в партизанах.

— Ты и в партизанах был? — словно услышав впервые, удивляюсь я. — А почему же ушел?

— Блокировали нас в лесу, ну, и меня самолетом на Большую землю. В интернат. Только я оттуда скоро подорвал.

— Как подорвал?

— Сбежал. Тягостно там, прямо невтерпеж. Живешь — крупу переводишь. И знай зубри: рыбы — позвоночные животные... Или значение травоядных в жизни человека...

— Так это тоже нужно знать.

— Нужно. Только зачем мне это сейчас? К чему?.. Я почти месяц терпел. Вот лежу ночью и думаю: зачем я здесь? Для чего?..

— Интернат — это не то, — соглашаюсь я. — Тебе другое нужно. Тебе бы вот в суворовское училище попасть — было бы здорово!

— Это тебя Холин научил? — быстро спрашивает мальчик и смотрит на меня настороженно.

— При чем тут Холин? Я сам так думаю. Ты уже повоевал: и в партизанах, и в разведке. Человек ты заслуженный. Теперь тебе что нужно: отдыхать, учиться! Ты знаешь, из тебя какой офицер получится?!

— Это Холин тебя научил! — говорит мальчик убежденно. — Только зря!.. Офицером стать я еще успею. А пока война, отдыхать может тот, от кого пользы мало.

— Это верно, но ведь ты еще маленький!

— Маленький?.. А ты в лагере смерти был? — вдруг спрашивает он; глаза его вспыхивают лютой, недетской ненавистью, кро-

хотная верхняя губа подергивается. — Что ты меня агитируешь, что?! — выкрикивает он взволнованно. — Ты... ты ничего не знаешь и не лезь!.. Напрасные хлопоты...

Несколько минут спустя приходит Холин. Сунув фанерный чемоданчик под нары, он опускается на табурет и курит жадно, глубоко затягиваясь.

— Все куришь, — недовольно замечает мальчик. Он любит ножом, вытаскивает его из ножен, вкладывает снова и перевешивает с правого на левый бок. — От курева легкие бывают зеленые.

— Зеленые? — рассеянно улыбаясь, переспрашивает Холин. — Ну и пусть зеленые. Кому это видно?

— А я не хочу, чтобы ты курил! У меня голова заболит.

— Ну ладно, я выйду.

Холин подымается, с улыбкой смотрит на мальчика; заметив раскрасневшееся лицо, подходит, прикладывает ладонь к его лбу и, в свою очередь, с недовольством говорит:

— Опять возился?.. Это никуда не годится! Ложись-ка отдыхай. Ложись, ложись!

Мальчик послушно укладывается на нарах. Холин, достав еще папиросу, прикуривает от своего же окурка и, набросив шинель, выходит из землянки. Когда он прикуривает, я замечаю, что руки у него чуть дрожат. У меня «нервишки тряпичные», но и он волнуется перед операцией. Я уловил в нем какую-то рассеянность или обеспокоенность; при всей своей наблюдательности он не заметил чернильного пятна на полу, да и выглядит как-то странно. А может, мне это только кажется.

Он курит на воздухе минут десять (очевидно, не одну папиросу), возвращается и говорит мне:

— Часа через полтора пойдем. Давай ужинать.

— А где Катасоныч? — спрашивает мальчик.

— Его срочно вызвал комдив. Он уехал в дивизию.

— Как уехал?! — Мальчик живо приподнимается. — Уехал и не зашел? Не пожелал мне удачи?

— Он не мог! Его вызвали по тревоге, — объясняет Холин. — Я даже не представляю, что там случилось. Они же знают, что он нам нужен, и вдруг вызывают...

— Мог бы забежать. Тоже друг... — обиженно и взволнованно говорит мальчик. Он по-настоящему расстроен. С полминуты он лежит молча, отвернув лицо к стенке, затем, обернувшись, спрашивает:

— Так мы, что же, вдвоем пойдем?

— Нет, втроем. Он пойдет с нами, — быстрым кивком указывает на меня Холин.

Я смотрю на него в недоумении и, решив, что он шутит, улыбаюсь.

— Ты не улыбься и не смотри, как баран на новые ворота. Тебе без дураков говорят, — заявляет Холин. Лицо у него серьезное и, пожалуй, даже озабоченное.

Я все же не верю и молчу.

— Ты же сам хотел. Ведь просился! А теперь что ж, трусишь? — спрашивает он, глядя на меня пристально, с презрением и неприязнью, так, что мне становится не по себе. И я вдруг чувствую, начинаю понимать, что он не шутит.

— Я не трушу! — твердо заявляю я, пытаюсь собраться с мыслями. — Просто неожиданно как-то...

— В жизни все неожиданно, — говорит Холин задумчиво. — Я бы тебя не брал, поверь: это необходимость! Катасоныча вызвали срочно, понимаешь — по тревоге! Представить себе не могу, что у них там случилось... Мы вернемся часа через два, — уверяет Холин. — Только ты сам принимай решение. Сам! И случ-чего на меня не вали. Если обнаружится, что ты самовольно ходил на тот берег, нас взгреют по первое число. Так случ-чего не скули: «Холин сказал, Холин просил, Холин меня втравил!..» Чтобы этого не было! Учти: ты сам напросился. Ведь просился?.. Случ-чего мне, конечно, попадет, но и ты в стороне не останешься!.. Кого за себя оставить думаешь? — после короткой паузы деловито спрашивает он.

— Замполита. Колбасова, — подумав, говорю я. — Он парень боевой...

— Парень он боевой. Но лучше с ним не связываться. Замполиты — народец принципиальный; того и гляди, в политдонесение попадем, тогда неприятностей не оберешься, — поясняет Холин, усмехаясь, и закатывает глаза кверху. — Спаси нас бог от такой напасти!

— Тогда Гущина, командира пятой роты.

— Тебе виднее, решай сам! — замечает Холин и советует: — Ты его в курс дела не вводи: о том, что ты пойдешь на тот берег, будут знать только в охранении. Вник?.. Если учесть, что противник держит оборону и никаких активных действий с его стороны не ожидается, так что же, собственно говоря, может случиться?.. Ничего! К тому же ты оставляешь заместителя и отлучаешься всего на два часа. Куда?.. Допустим, в село, к бабе! Решил ошастливить какую-нибудь дуреху, — ты же живой человек, черт побери! Мы вернемся через два, ну, максимум через три часа, — подумав, большое дело!..

...Он зря меня убеждает. Дело, конечно, серьезное, и, если командование узнает, неприятностей действительно не оберешься. Но я уже решил и стараюсь не думать о неприятностях — мыслями я весь в предстоящем...

Мне никогда не приходилось ходить в разведку. Правда, месяца три назад я со своей ротой провел — причем весьма успешно — разведку боем. Но что такое разведка боем?.. Это по существу тот

же наступательный бой, только ведется он ограниченными силами и накоротке.

Мне никогда не приходилось ходить в разведку, и, думая о предстоящем, я, естественно, не могу не волноваться...

5

Приносят ужин. Я выхожу и сам забираю котелки и чайник с горячим чаем. Еще я ставлю на стол крынку с ряженкой и банку тушенки. Мы ужинаем: мальчик и Холин едят мало, и у меня тоже пропал аппетит. Лицо у мальчика обиженное и немного печальное. Его, видно, крепко задело, что Катасонов не зашел пожелать ему успеха. Поев, он снова укладывается на нары.

Когда со стола убрано, Холин раскладывает карту и вводит меня в курс дела.

Мы переправляемся на тот берег втроем и, оставив лодку в кустах, продвигаемся кромкой берега вверх по течению метров шестьсот до оврага — Холин показывает на карте.

— Лучше, конечно, было бы подплыть прямо к этому месту, но там голый берег и негде спрятать лодку, — объясняет он.

Этим оврагом, находящимся напротив боевых порядков третьего батальона, мальчик должен пройти передний край немецкой обороны.

В случае если его заметят, мы с Холиным, находясь у самой воды, должны немедленно обнаружить себя, пуская красные ракеты — сигнал вызова огня, — отвлечь внимание немцев и любой ценой прикрыть отход мальчика к лодке. Последним отходит Холин.

В случае если мальчик будет обнаружен, по сигналу наших ракет «поддерживающие средства» — две батареи 76-миллиметровых орудий, батарея 120-миллиметровых минометов, две минометных и пулеметная рота — должны интенсивным артиллерийским огнем ослепить и ошеломять противника, окаймить артиллерийско-минометным огнем немецкие траншеи по обе стороны оврага и далее влево, чтобы воспрепятствовать возможным вылазкам немцев и обеспечить наш отход к лодке.

Холин сообщает сигналы взаимодействия с левым берегом, уточняет детали и спрашивает:

— Тебе все ясно?

— Да, будто все.

Помолчав, я говорю о том, что меня беспокоит: а не потеряет ли мальчик ориентировку при переходе, оставшись один в такой темноте, и не может ли он пострадать в случае артобстрела.

Холин разъясняет, что «он» — кивок в сторону мальчика — совместно с Катасоновым из расположения третьего батальона в течение нескольких часов изучал вражеский берег в месте перехода и знает там каждый кустик, каждый бугорок. Что же касается артиллерийского налета, то цели пристреляны заранее и будет оставлен «проход» шириной до семидесяти метров.

Я невольно думаю о том, сколько непредвиденных случайностей может быть, но ничего об этом не говорю. Мальчик лежит задумчиво-печальный, устремив взор вверх. Лицо у него обиженное и, как мне кажется, совсем безучастное, словно наш разговор его ничуть не касается.

Я рассматриваю на карте синие линии — эшелонированную в глубину оборону немцев — и, представив себе, как она выглядит в действительности, тихонько спрашиваю:

— Слушай, а удачно ли выбрано место перехода? Неужто на фронте армии нет участка, где оборона противника не так плотна? Неужто в ней нет «слабины», разрывов, допустим, на стыках соединений?

Холин, прищурив карие глаза, смотрит на меня насмешливо.

— Вы в подразделениях дальше своего носа ничего не видите! — заявляет он с некоторым пренебрежением. — Вам все кажется, что против вас основные силы противника, а на других участках слабенькое прикрытие, так, для видимости! Неужели же ты думаешь, что мы не выбирали или соображаем меньше твоего?.. Да если хочешь знать, тут у немцев по всему фронту напихано столько войск, что тебе и не снилось! И за стыками они смотрят в оба — дурей себя не ищи: глупенькие да-авно перевелись! Глухая, плотная оборона на десятки километров, — не весело вздыхает Холин. — Чудак-рыбак, тут все не раз продумано. В таком деле с кондачка не действуют, учти!..

Он встает и, подсев к мальчику на нары, вполголоса и, как я понимаю, не в первый раз инструктирует его:

— ...В овраге держись самого края. Помни: весь низ минирован... Чаше прислушивайся. Замирай и прислушивайся!.. По траншеям ходят патрули, значит, подползешь и выжидай!.. Как патруль пройдет — через траншею и двигай дальше...

Я звоню командиру пятой роты Гущину и, сообщив ему, что он остается за меня, отдаю необходимые распоряжения. Положив трубку, я снова слышу тихий голос Холина:

— ...будешь ждать в Федоровке... На рожон не лезь! Главное, будь осторожен!

— Ты думаешь, это просто — быть осторожным? — с едва уловимым раздражением спрашивает мальчик.

— Знаю! Но ты будь! И помни всегда: ты не один! Помни: где бы ты ни был, я все время думаю о тебе. И подполковник тоже...

— А Катасоныч уехал и не зашел, — с чисто детской непосредственностью говорит мальчик обидчиво.

— Я же тебе сказал: он не мог! Его вызвали по тревоге. Иначе бы... Ты ведь знаешь, как он тебя любит! Ты же знаешь, что у него никого нет и ты ему дороже всех! Ведь знаешь?

— Знаю, — шмыгнув носом, соглашается мальчик, голос его дрожит. — Но все же мог забежать...

Холин прилег рядом с ним, гладит рукой его мягкие льняные волосы и что-то шепчет ему. Я стараюсь не прислушиваться. Обнаруживается, что у меня множество дел, я торопливо сучусь, но толком делать что-либо не в состоянии и, плюнув на все, сажусь писать письмо матери: я знаю, что разведчики перед уходом на задание пишут письма родным и близким. Однако я нервничаю, мысли разбегаются, и, написав карандашом с полстранички, я все рву и бросаю в печку.

— Время, — взглянув на часы, говорит мне Холин и поднимается. Поставив на лавку трофейный чемодан, он вытаскивает из-под нар узел, развязывает его, и мы с ним начинаем одеваться.

Поверх бязевого белья он надевает тонкие шерстяные кальсоны и свитер, затем зимнюю гимнастерку и шаровары и облачается в зеленый маскхалат. Поглядывая на него, я одеваюсь так же. Шерстяные кальсоны Катасонова мне малы, они трещат в паху, и я в нерешимости смотрю на Холина.

— Ничего, ничего, — ободряет он. — Смелей! Порвешь — новые выпишем.

Маскхалат мне почти впору, правда, брюки несколько коротки. На ноги мы надеваем немецкие кованые сапоги; они тяжеловаты и непривычны, но это, как поясняет Холин, предосторожность: чтобы «не наследить» на том берегу. Холин сам завязывает шнурки моего маскхалата.

Вскоре мы готовы: финки и гранаты Ф-1 подвешены к поясным ремням (Холин берет еще увесистую противотанковую — РПГ-40); пистолеты с патронами, загнанными в патронники, сунуты за пазуху; прикрытые рукавами маскхалатов, надеты компасы и часы со светящимися циферблатами; ракетницы осмотрены, и Холин проверяет крепление дисков в автоматах.

Мы уже готовы, а мальчик все лежит, заложив ладони под голову и не глядя в нашу сторону.

Из большого немецкого чемодана уже извлечены порыжелый изодранный мальчиковый пиджак на вате и темно-серые, с заплатами штаны, потертая шапка-ушанка и невзрачные на вид подростковые сапоги. На краю нар разложены холщовое исподнее белье, старенькие, все штопанные фуфайка и шерстяные носки, маленькая засаленная заплочная котомка, портянки и какие-то тряпки.

В кусок рядом Холин заворачивает продукты мальчику: небольшой — с полкилограмма — круг колбасы, два кусочка сала, краюху и несколько черствых ломтей ржаного и пшеничного хлеба. Колбаса домашнего приготовления, и сало не наше армейское, а неровное, худосочное, серовато-темное от грязной соли, да и хлеб не формовой, а подовый — из хозяйской печки.

Я гляжу и думаю: как все предусмотрено, каждая мелочь...

Продукты уложены в котомку, а мальчик все лежит не шевелясь, и Холин, взглянув на него украдкой, не говоря ни слова, принимается осматривать ракетницу и снова проверяет крепление диска.

Наконец мальчик садится на нарах и неторопливыми движениями начинает снимать свое военное обмундирование. Темно-синие шаровары запачканы на коленках и сзади.

— Смола, — говорит он. — Пусть отчистят.

— А может, их на склад и выписать новые? — предлагает Холин.

— Нет, пусть эти почистят.

Мальчик не спеша облачается в гражданскую одежду. Холин помогает ему, затем осматривает его со всех сторон. И я смотрю: ни дать ни взять бездомный отрепыш, мальчишка-беженец, каких немало встречалось нам на дорогах наступления.

В карманы мальчик прячет самодельный складной ножик и затертые бумажки: шестьдесят или семьдесят немецких оккупационных марок. И все.

— Попрыгали, — говорит мне Холин; проверяясь, мы несколько раз подпрыгиваем. И мальчик тоже, хотя что у него может зашуметь?

По старинному русскому обычаю мы садимся и сидим некоторое время молча. На лице у мальчика снова то выражение недетской сосредоточенности и внутреннего напряжения, как и шесть дней назад, когда он впервые появился у меня в землянке.

* * *

Облучив глаза красным светом сигнальных фонариков (чтобы лучше видеть в темноте), мы идем к лодке: я впереди, мальчик шагах в пятнадцати сзади меня, еще дальше Холин.

Я должен окликнуть и заговорить каждого, кто нам встретится на тропе, чтобы мальчик в это время спрятался: никто, кроме нас, не должен его теперь видеть — Холин самым решительным образом предупредил меня об этом.

Справа из темноты доносятся негромкие слова команды: «Расчеты — по местам!.. К бою!..» Трещат кусты, и слышится матерный шепот — расчеты изготавливаются у орудий и минометов, разбросанных по подлеску в боевых порядках моего и третьего батальонов.

В операции, кроме нас, участвуют около двухсот человек. Они готовы в любое мгновение прикрыть нас, шквалом огня обрушившись на позиции немцев. И никто из них не подозревает, что проводится вовсе не поиск, как был вынужден сказать Холин командирам поддерживающих подразделений.

Невдалеке от лодки находится пост охранения. Он был парный, но, по указанию Холина, я приказал командиру охранения оставить в окопе только одного — немолодого толкового ефрейтора Демина. Когда мы приближаемся к берегу, Холин предлагает мне пойти заговорить ефрейтора — тем временем он с мальчиком незаметно проскользнет к лодке. Все эти предосторожности, на мой взгляд, излишни, но конспиративность Холина меня не удивляет: я знаю, что не только он — все разведчики таковы. Я отправляюсь вперед.

— Только без комментариев! — внушительным шепотом предупреждает меня Холин. Эти предупреждения на каждом шагу мне уже надоели: я же не мальчик и сам соображаю, что к чему.

Демин, как и положено, на расстоянии окликает меня; отозвавшись, я подхожу, спрыгиваю в траншею и становлюсь так, чтобы он, обратившись ко мне, повернулся спиной к тропинке.

— Закуривай, — предлагаю я, достав папиросы, и, взяв одну себе, другую сую ему.

Мы присаживаемся на корточки, он чиркает отсыревшими спичками, наконец одна загорается, он подносит ее мне и прикуривает сам. В свете спички я замечаю, что в подбрустверной нише на слежавшемся сене кто-то спит, успеваю разглядеть странно знакомую пилотку с малиновым кантом. Жадно затянувшись, я, не сказав ни слова, включаю фонарик и вижу, что в нише — Катасонов. Он лежит на спине, лицо его прикрыто пилоткой. Я, еще не сообразив, приподнимаю ее — посеревшее, кроткое, как у кролика, лицо; над левым глазом маленькая аккуратная дырочка: входное пулевое отверстие...

— Глупо получилось-то, — тихо бормочет рядом со мной Демин, его голос доходит до меня будто издалека. — Наладили лодку, посидели со мной, покурили. Капитан стоял здесь, со мной говорил, а этот вылезать стал и только, значит, из окопа поднялся и тихо-тихо так вниз сползает. Да мы и выстрелов вроде не слышали... Капитан бросился к нему, трясет: «Капитоныч!.. Капитоныч!..» Глянули — а он наповал!.. Капитан приказал никому не говорить...

Так вот почему Холин показался мне несколько странным по возвращении с берега...

— Без комментариев! — слышится со стороны реки его повелительный шепот. И я все понимаю: мальчик уходит на задание и расстраивать его теперь ни в коем случае нельзя — он ничего не должен знать.

Выбравшись из траншеи, я медленно спускаюсь к воде.

Мальчик уже в лодке, я усаживаюсь с ним на корме, взяв автомат наизготовку.

— Садись ровнее, — шепчет Холин, накрывая нас плащ-палаткой. — Следи, чтобы не было крена!

Отведя нос лодки, он садится сам и разбирает весла. Посмотрев на часы, выжидает еще немного и негромко свистит: это сигнал начала операции.

Ему тотчас отвечают: справа из темноты, где в большом пулеметном окопе на фланге третьего батальона находятся командиры поддерживающих подразделений и артиллерийские наблюдатели, хлопает винтовочный выстрел.

Развернув лодку, Холин начинает грести — берег сразу исчезает. Мгла холодной ненастной ночи обнимает нас.

6

Я ощущаю на лице мерное горячее дыхание Холина. Он сильными гребками гонит лодку; слышно, как вода всплескивает под ударами весел. Мальчик замер, притаясь под плащ-палаткой рядом со мной.

Впереди, на правом берегу, немцы, как обычно, постреливают и освещают ракетами передний край, — вспышки не так ярки из-за дождя. И ветер в нашу сторону. Погода явно благоприятствует нам.

С нашего берега взлетает над рекой очередь трассирующих пуль. Такие трассы с левого фланга третьего батальона будут давать каждые пять — семь минут: они послужат нам ориентиром при возвращении на свой берег.

— Сахар! — шепчет Холин.

Мы кладем в рот по два кусочка сахара и старательно сосем их: это должно до предела повысить чувствительность наших глаз и нашего слуха.

Мы находимся, верно, уже где-то на середине плеса, когда впереди отрывисто стучит пулемет — пули свистят и, выбивая звонкие брызги, шлепают по воде совсем неподалеку.

— МГ-34, — шепотом безошибочно определяет мальчик, доверчиво прижимаясь ко мне.

— Боишься?

— Немножко, — еле слышно признается он. — Никак не привыкну. Нервеность какая-то... И побираться — тоже никак не привыкну. Ух и тошно!

Я живо представляю, каково ему, гордому и самолюбивому, унижаться, попрошайничая.

— Послушай, — вспомнив, шепчу я, — у нас в батальоне есть Бондарев. И тоже гомельский. Не родственник случаем?

— Нет. У меня нет родственников. Одна мать. И та, не знаю, где сейчас... — Голос его дрогнул. — И фамилия моя по правде Буслов, а не Бондарев.

— И зовут не Иван?

— Нет, звать Иваном. Это правильно.

— Тсс!..

Холин начинает грести тише, видимо, в ожидании берега. Я до боли в глазах всматриваюсь в темноту: кроме тусклых за пеленой дождя вспышек ракет, ничего не разглядишь.

Мы движемся еле-еле, еще миг, и днище цепляется за песок. Холин, проворно сложив весла, ступает через борт и, стоя в воде, быстро разворачивает лодку кормой к берегу.

Минуты две мы напряженно вслушиваемся. Слышно, как капли дождя мягко шлепают по воде, по земле, по уже намокшей плащ-палатке; я слышу ровное дыхание Холина и слышу, как бьется мое сердце. Но подозрительного — ни шума, ни говора, ни шороха — мы уловить не можем. И Холин дышит мне в самое ухо:

— Иван — на месте. А ты вылазь и держи...

Он ныряет в темноту. Я осторожно выбираюсь из-под плащ-палатки, ступаю в воду на прибрежный песок, поправляю автомат и беру лодку за корму. Я чувствую, что мальчик поднялся и стоит в лодке рядом со мной.

— Сядь. И накинь плащ-палатку, — ощупав его рукой, шепчу я.

— Теперь уж все равно, — отвечает он чуть слышно.

Холин появляется неожиданно и, подойдя вплотную, радостным шепотом сообщает:

— Порядок! Все подшито, прошнуровано...

Оказывается, те кусты у воды, в которых мы должны оставить лодку, всего шагах в тридцати ниже по течению.

Несколько минут спустя лодка спрятана, и мы, пригнувшись, крадемся вдоль берега, время от времени замирая и прислушиваясь. Когда ракета вспыхивает неподалеку, мы падаем на песок под уступом и лежим неподвижно, как мертвые. Уголкем глаза я вижу мальчика — одежда его потемнела от дождя. Мы с Холиным вернемся и переоденемся, а он...

Холин вдруг замедляет шаг и, взяв мальчика за руку, ступает правее по воде. Впереди на песке что-то светлеет. «Трупы наших разведчиков», — догадываюсь я.

— Что это? — чуть слышно спрашивает мальчик.

— Фрицы, — быстро шепчет Холин и увлекает его вперед. — Это снайпер с нашего берега.

— Ух, гады! Даже своих раздевают, — с ненавистью бормочет мальчик, оглядываясь.

Мне кажется, что мы двигаемся целую вечность и уже давно

должны дойти. Однако я припоминаю, что от кустов, где спрятана лодка, до этих трупов триста с чем-то метров. А до оврага нужно пройти еще примерно столько же.

Вскоре мы минуем еще один труп. Он совсем разложился — тошнотворный запах чувствуется на расстоянии. С левого берега, врезаясь в дождливое небо у нас за спиной, снова уходит трасса. Овраг где-то близко; но мы его не увидим: он не освещается ракетами, верно, потому, что весь низ его минирован, а края окаймлены сплошными траншеями и патрулируются. Немцы, по видимому, уверены, что здесь никто не сунется.

Этот овраг — хорошая ловушка для того, кого в нем обнаружат. И весь расчет на то, что мальчик проскользнет незамеченным.

Холин наконец останавливается и, сделав нам знак присесть, сам уходит вперед.

Скоро он возвращается и еле слышно командует:

— За мной!

Мы перемещаемся вперед еще шагов на тридцать и присаживаемся на корточки за уступом.

— Овраг перед нами, прямо! — Отогнув рукав маскхалата, Холин смотрит на светящийся циферблат и шепчет мальчику: — В нашем распоряжении еще четыре минуты. Как самочувствие?

— Порядок.

Некоторое время мы прослушиваем темноту. Пахнет трупом и сыростью. Один из трупов — он замечен на песке метрах в трех вправо от нас, — очевидно, и служит Холину ориентиром.

— Ну, я пойду, — чуть слышно говорит мальчик.

— Я провожу тебя, — вдруг шепчет Холин. — По оврагу. Хотя бы немного.

Это уже не по плану!

— Нет! — возражает мальчик. — Пойду один! Ты большой — с тобой застукуют.

— Может, мне пойти? — предлагаю я нерешительно.

— Хоть по оврагу, — спрашивает Холин шепотом. — Там глина — наследись. Я пронесу тебя!

— Я сказал! — упрямо и зло заявляет мальчик. — Я сам!

Он стоит рядом со мной, маленький, худенький, и, как мне кажется, весь дрожит в своей старенькой одежке. А может, мне только кажется...

— До встречи, — помедлив, шепчет он Холину.

— До встречи! — Я чувствую, что они обнимаются и Холин целует его. — Главное, будь осторожен! Береги себя! Если мы двинемся — ожидай в Федоровке!

— До встречи, — обращается мальчик уже ко мне.

— До свидания! — с волнением шепчу я, отыскивая в темноте его маленькую узкую ладошку и крепко сжимая ее. Я ощущаю желание поцеловать его, но сразу не решаюсь. Я страшно волну-

юсь в эту минуту. Перед этим я раз десять повторяю про себя: «До свидания!», чтобы не ляпнуть, как шесть дней назад: «Прощай!»

И прежде чем я решаюсь поцеловать его, он неслышно исчезает во тьме.

7

Мы с Холиным притаились, присев на корточки вплотную к уступу, так, что край его приходился над нашими головами, и настороженно прислушивались. Дождь сыпал мерно и неторопливо, холодный, осенний дождь, которому, казалось, и конца не будет. От воды тянуло мозглой сыростью.

Прошло минуты четыре, как мы остались одни, и с той стороны, куда ушел мальчик, слышались шаги и тихий невнятный гортанный говор.

«Немцы!..»

Холин сжал мне плечо, но меня не нужно было предупреждать — я, может, раньше его расслышал и, сдвинув на автомате шишечку предохранителя, весь оцепенел с гранатой, зажатой в руке.

Шаги приближались. Теперь можно было различить, как грязь хлупала под ногами нескольких человек. Во рту у меня пересохло, сердце колотилось как бешеное.

— Verfluchtes Wetter! Hohl es der Teufel...

— Halte's Maul, Otto!.. Links halten!..¹

Они прошли совсем рядом, так что брызги холодной грязи попали мне на лицо. Спустя мгновения при вспышке ракеты мы в реденькой пелене дождя разглядели их, рослых (может, мне так показалось потому, что я смотрел на них снизу), в касках с подшлемниками и в точно таких же, как на нас с Холиным, сапогах с широкими голенищами. Трое были в плащ-палатках, четвертый — в блестящем от дождя длинном плаще, стянутом в поясе ремнем с кобурой. Автоматы висели у них на груди.

Их было четверо — дозор охранения полка СС, боевой дозор германской армии, мимо которого только что проскользнул Иван Буслов, двенадцатилетний мальчишка из Гомеля, значившийся в наших разведдокументах под фамилией «Бондарев».

Когда при дрожащем свете ракеты мы их увидели, они, остановившись, собирались спуститься к воде шагах в десяти от нас.

¹ — Проклятая погода! И какого черта...

— Придержи язык, Отто!.. Принять левее!.. (нем.)

Было слышно, как в темноте они попрыгали на песок и направились в сторону кустов, где была спрятана наша лодка.

Мне было труднее, чем Холину. Я не был разведчиком, воевал же с первых месяцев войны, и при виде врагов, живых и с оружием, мною вмиг овладело привычное, много раз испытанное возбуждение бойца в момент схватки. Я ощутил желание, вернее, жажду, потребность, необходимость немедленно убить их! Я завалю их как миленьких одной очередью! «Убить их!» — я, верно, ни о чем больше не думал, вскинув и доворачивая автомат. Но за меня думал Холин. Почувствовав мое движение, он, словно тисками, сжал мне предплечье — опомнившись, я опустил автомат.

— Они заметят лодку! — растирая предплечье, прошептал я, как только шаги удалились.

Холин молчал.

— Надо что-то делать, — после короткой паузы снова зашептал я встревоженно. — Если они обнаружат лодку...

— Если!.. — в бешенстве выдохнул мне в лицо Холин. Я почувствовал, что он способен меня задушить. — А если застучают мальчишку?! Ты что же, думаешь оставить его одного?.. Ты что: шукура, сволочь или просто дурак?..

— Дурак, — подумав, прошептал я.

— Наверно, ты неврастеник, — произнес Холин раздумчиво. — Кончится война — придется лечиться...

Я напряженно прислушивался, каждое мгновение ожидая услышать возгласы немцев, обнаруживших нашу лодку. Левее отрывисто простучал пулемет, за ним — другой, прямо над нами, и снова в тишине слышался мерный шум дождя. Ракеты взлетали то там, то там по всей линии берега, вспыхивая, искрились, шипели и гасли, не успев долететь до земли.

Тошнотный трупный запах отчего-то усилился. Я отплевывался и старался дышать через рот, но это мало помогало.

Мне мучительно хотелось закурить. Еще никогда в жизни мне так не хотелось курить. Но единственно, что я мог, — вытащить папиросу и нюхать ее, разминая пальцами.

Мы вскоре вымокли и дрожали от холода, а дождь все не унимался.

— В овраге глина, будь она проклята! — вдруг зашептал Холин. — Сейчас бы хороший ливень, чтоб смыл все...

Мыслями он все время был с мальчиком, и глинистый овраг, где следы хорошо сохраняются, беспокоил его. Я понимал, сколь основательно его беспокоило: если немцы обнаружат свежие, необычно маленькие следы, идущие от берега через передовую, за Иваном наверняка будет снаряжена погоня. Быть может, с собаками. Где-где, а в полках СС достаточно собак, выученных для охоты на людей.

Я уже жевал папиросу. Приятного в этом было мало, но я жевал. Холин, верно, услышав, поинтересовался:

— Ты что это?

— Курить хочу — умираю! — вздохнул я.

— А к мамке не хочется? — спросил Холин язвительно. — Мне вот лично к мамке хочется! Неплохо бы, а?

Мы выжидали еще минут двадцать, мокрые, дрожа от холода и вслушиваясь. Рубашка ледяным компрессом облежала спину. Дождь постепенно сменился снегом, — мягкие, мокрые хлопья падали, белой пеленой покрывая песок, и неохотно таяли.

— Ну, кажется, прошел, — наконец облегченно вздохнул Холин и приподнялся.

Пригибаясь и держась близ самого уступа, мы двинулись к лодке, то и дело останавливаясь, замирали и прислушивались. Я был почти уверен, что немцы обнаружили лодку и устроили в кустах засаду. Но сказать об этом Холину не решался: я боялся, что он осмеет меня.

Мы крались во тьме вдоль берега, пока не наткнулись на трупы наших разведчиков. Мы сделали от них не более пяти шагов, как Холин остановился и, притянув меня к себе за рукав, зашептал мне в ухо:

— Останешься здесь. А я пойду за лодкой. Чтоб случ-чего не всыпаться обоим. Подплыву — окликнешь меня по-немецки. Тихо-тихо!.. Если же я нарвусь, будет шум — плыви на тот берег. И если через час не вернусь — тоже плыви. Ты ведь можешь пять раз сплавать туда и обратно? — сказал он насмешливо.

— Могу, — подтвердил я дрожащим голосом. — А если тебя ранят?

— Не твоя забота. Поменьше рассуждай.

— К лодке подойти лучше не берегом, а подплыть со стороны реки, — заметил я не совсем уверенно. — Я смогу, давай...

— Я, может, так и сделаю... А ты случ-чего не вздумай рыпаться! Если с тобой что случится, нас взгреют по первое число. Вник?

— Да. А если...

— Без всяких «если»!.. Хороший ты парень, Гальцев, — вдруг прошептал Холин, — но неврастеник. А это в нашем деле самая страшная вещь...

Он ушел в темноту, а я остался ждать. Не знаю, сколько длилось это мучительное ожидание: я так замерз и так волновался, что даже не сообразил взглянуть на часы. Стараясь не произвести и малейшего шума, я усиленно двигал руками и приседал, чтоб хоть немного согреться. Время от времени я замирал и прислушивался.

Наконец, уловив еле различимый плеск воды, я приложил ладони рупором ко рту и зашептал:

— Хальт... Хальт...

— Тихо, черт! Иди сюда...

Осторожно ступая, я сделал несколько шагов, и холодная вода залилась в сапоги, ледяными объятиями охватив мои ноги.

— Как там у оврага, тихо? — прежде всего поинтересовался Холин.

— Тихо.

— Вот видишь, а ты боялась! — прошептал он, довольный. — Садись с кормы, — взяв у меня автомат, командовал он и, как только я влез в лодку, принялся грести, забирая против течения.

Усевшись на корме, я стянул сапоги и вылил из них воду.

Снег валил мохнатыми хлопьями и таял, чуть коснувшись реки. С левого берега снова дали трассу. Она прошла прямо над нами; надо было поворачивать, а Холин продолжал гнать лодку вверх по течению.

— Ты куда? — спросил я, не понимая.

Не отвечая, он энергично работал веслами.

— Куда мы плывем?

— На вот, погрейся! — оставив весла, он сунул мне в руку маленькую плоскую фляжечку. Закоченевшими пальцами с трудом свинтив колпачок, я глотнул — водка приятным жаром обожгла мне горло, внутри сделалось тепло, но дрожь по-прежнему была меня.

— Пей до дна! — прошептал Холин, чуть двигая веслами.

— А ты?

— Я выпью на берегу. Угостишь?

Я глотнул еще и, с сожалением убедившись, что во фляжечке ничего нет, сунул ее в карман.

— А вдруг он еще не прошел? — неожиданно сказал Холин. — Вдруг лежит, выжидает... Как бы я хотел быть сейчас с ним!..

И мне стало ясно, почему мы не возвращаемся. Мы находились против оврага, чтобы «случ-чего» снова высадиться на вражеском берегу и прийти на помощь мальчишке. А оттуда, из темноты, то и дело сыпали по реке длинными очередями. У меня мурашки бегали по телу, когда пули свистели и шлепали по воде рядом с лодкой. В такой мгле, за широкой завесой мокрого снега обнаружить нас было, наверно, невозможно, но это чертовски неприятно — находиться под обстрелом на воде, на открытом месте, где не зароешься в землю и нет ничего, за чем можно было бы укрыться. Холин же, подбадривая, шептал:

— От таких глупых пуль может сгинуть только дурак или трус! Учти!..

Катасонов был не дурак и не трус. Я в этом не сомневался, но Холину ничего не сказал.

— А фельдшерица у тебя ничего! — немного погодя вспомнил он, очевидно желая как-то меня отвлечь.

— Ни-че-го, — выбивая дробь зубами, согласился я, менее всего думая о фельдшерице; мне представилась теплая землянка медпункта и печка. Чудесная чугунная печка!..

С левого, бесконечно желанного берега еще три раза давали трассу. Она звала нас вернуться, а мы все болтались на воде ближе к правому берегу.

— Ну, вроде прошел, — наконец сказал Холин и, задев меня вальком, сильным движением весел повернул лодку.

Он удивительно ориентировался и выдерживал направление в темноте. Мы подплыли неподалеку от большого пулеметного окопа на правом фланге моего батальона, где находился командир взвода охранения.

Нас ожидали и сразу окликнули тихо, но властно: «Стой! Кто идет?..» Я назвал пароль — меня узнали по голосу, и через мгновение мы ступили на берег.

Я был совершенно измучен и, хотя выпил грамм двести водки, по-прежнему дрожал и еле передвигал заоченевшими ногами. Стараясь не стучать зубами, я приказал вытащить и замаскировать лодку, и мы двинулись по берегу, сопровождаемые командиром отделения Зуевым, моим любимцем, несколько развязным, но бесшабашной смелости сержантом. Он шел впереди.

— Товарищ старший лейтенант, а язык где же? — оборачиваясь, вдруг весело спросил он.

— Какой язык?

— Так, говорят, вы за языком отправились.

Шедший сзади Холин, оттолкнув меня, шагнул к Зуеву.

— Язык у тебя во рту! Вник? — сказал он резко, отчетливо выговаривая каждое слово. Мне показалось, что он опустил свою увесистую руку на плечо Зуеву, а может, даже взял его за ворот: этот Холин был слишком прям и вспыльчив — он мог так сделать.

— Язык у тебя во рту! — угрожающе повторил он. — И держи его за зубами! Тебе же лучше будет!.. А теперь возвращайтесь на пост!..

Как только Зуев остался в нескольких шагах позади, Холин объявил строго и нарочито громко:

— Трепачи у тебя в батальоне, Гальцев! А это в нашем деле самая страшная вещь...

В темноте он взял меня под руку и, сжав ее у локтя, насмешливо прошептал:

— А ты тоже штучка! Бросил батальон, а сам на тот берег за языком! Охотничек!

* * *

В землянке, живо растопив печку дополнительными минометными зарядами, мы разделись догола и растерлись полотенцем.

Переодевшись в сухое белье, Холин накинул поверх шинель, уселся к столу и, разложив перед собой карту, сосредоточенно

рассматривал ее. Очутившись в землянке, он сразу как-то сник, вид у него был усталый и озабоченный.

Я подал на стол банку тушенки, сало, котелок с солеными огурцами, хлеб, ряженку и флягу с водкой.

— Эх, если бы знать, что сейчас с ним! — воскликнул вдруг Холин, поднимаясь. — И в чем там дело?

— Что такое?

— Этот патруль — на том берегу — должен был пройти на полчаса позже. Понимаешь?.. Значит, или немцы сменили режим охранения, или мы что-то напутали. А мальчишка в любом случае может поплатиться жизнью. У нас же все было рассчитано по минутам.

— Но ведь он прошел. Мы сколько выжидали — не меньше часа — и все было тихо.

— Что прошел? — спросил Холин с раздражением. — Если хочешь знать, ему нужно пройти более пятидесяти километров. Из них около двадцати он должен сделать до рассвета. И на каждом шагу можно напороться. А сколько всяких случайностей!.. Ну ладно, разговорами не поможешь!.. — Он убрал карту со стола. — Давай!

Я налил водки в две кружки.

— Чокаться не будем, — взяв одну, предупредил Холин.

Подняв кружки, мы сидели несколько мгновений в безмолвии.

— Эх, Катасоныч, Катасоныч... — вздохнул Холин, насупившись, и срывающимся голосом проговорил: — Тебе-то что! А мне он жизнь спас...

Он выпил залпом и, нюхая кусок черного хлеба, потребовал:

— Еще!

Выпив сам, я налил по второму разу: себе немного, а ему до краев. Взяв кружку, он повернулся к нам, где стоял чемодан с вещами мальчика, и негромко произнес:

— За то, чтоб ты вернулся и больше не уходил. За твое будущее!

Мы чокнулись и, выпив, принялись закусывать. Несомненно, в эту минуту мы оба думали о мальчике. Печка, став по бокам и сверху оранжево-красной, дышала жаром. Мы вернулись и сидим в тепле и в безопасности. А он где-то во вражеском расположении крадется сквозь снег и мглу бок о бок со смертью...

Я никогда не испытывал особой любви к детям, но этот мальчишка — хотя я встречался с ним всего лишь два раза — был мне так близок и дорог, что я не мог без щемящего сердце волнения думать о нем.

Пить я больше не стал. Холин же без всяких тостов молча хватил третью кружку. Вскоре он опьянел и сидел сумрачный,

угрюмо посматривая на меня покрасневшими, возбужденными глазами.

— Третий год воюешь?.. — спросил он, закуривая. — И я третий... А в глаза смерти — как Иван! — мы, может, и не заглядывали... За тобой батальон, полк, целая армия... А он один! — внезапно раздражаясь, выкрикнул Холин. — Ребенок!.. И ты ему еще ножа вонючего пожалел!..

8

«Пожалел!..» Нет, я не мог, не имел права отдать кому бы то ни было этот нож, единственную память о погибшем друге, единственно уцелевшую его личную вещь.

Но слово я сдержал. В дивизионной артмастерской был слесарь-умелец, пожилой сержант с Урала. Весной он выточил рукоятку Котькиного ножа, теперь я попросил его изготовить точно такую же и поставить на новенькую десантную финку, которую я ему передал. Я не только просил, я привез ему ящичек трофейных слесарных инструментов — тисочки, сверла, зубила, — мне они были не нужны, он же им обрадовался, как ребенок.

Рукоятку он сделал на совесть — финки можно было различить, пожалуй, лишь по зазубринкам на Котькиной и выгравированным на шишечке ее рукоятки инициалам «К. Х.». Я уже представлял себе, как обрадуется мальчишка, заимев настоящий десантный нож с такой красивой рукояткой; я понимал его: я ведь и сам не так давно был подростком.

Эту новую финку я носил на ремне, рассчитывая при первой же встрече с Холиным или с подполковником Грязновым передать им: глупо было бы полагать, что мне самому доведется встретиться с Иваном. Где-то он теперь? — я и представить себе не мог, не раз вспоминая его.

А дни были горячие: дивизии нашей армии форсировали Днепр и, как сообщалось в сводках Информбюро, «вели успешные бои по расширению плацдарма на правом берегу...».

Финкой я почти не пользовался; правда, однажды в рукопашной схватке я пустил ее в ход, и, если бы не она, толстый, грузный ефрейтор из Гамбурга, наверное, рассадил бы мне лопаткой голову.

Немцы сопротивлялись отчаянно. После восьми дней тяжелых наступательных боев мы получили приказ занять оборону, и тут-то в начале ноября, в ясный холодный день, перед самым праздником, я встретился с подполковником Грязновым.

Среднего роста, с крупной, посаженной на плотное туловище головой, в шинели и в шапке-ушанке, он расхаживал вдоль обочины большака, чуть волоча правую ногу — она была пере-

бита еще в финскую кампанию. Я узнал его издалека, сразу как вышел на опушку рощи, где располагались остатки моего батальона. «Моего» — я мог теперь говорить так со всем основанием: перед форсированием меня утвердили в должности командира батальона.

В роще, где мы расположились, было тихо, поседевшие от инея листья покрывали землю, пахло пометом и конской мочой. На этом участке входил в прорыв гвардейский казачий корпус, и в роще казаки делали привал. Запахи лошади и коровы с детских лет ассоциируются у меня с запахом парного молока и горячего, только вынутого из печки хлеба. Вот и сейчас мне вспомнилась родная деревня, где в детстве каждое лето я жывал у бабки, маленькой, сухонькой, без меры любившей меня старушки. Все это было вроде недавно, но представлялось мне теперь далеким-далеким и неповторимым, как и все довоенное...

Воспоминания детства кончились, как только я вышел на опушку. Большак был забит немецкими машинами, сожженными, подбитыми и просто брошенными; убитые немцы в различных позах валялись на дороге, в кюветах; серые бугорки трупов виднелись повсюду на изрытом траншеями поле. На дороге, метрах в пятидесяти от подполковника Грязнова, его шофер и лейтенант-переводчик возились в кузове немецкого штабного бронетранспортера. Еще четверо — я не мог разобрать их званий — лазали в траншеях по ту сторону большака. Подполковник что-то им кричал — из-за ветра я не расслышал что.

При моем приближении Грязнов обернул ко мне изрытое оспинами, смуглое, мясистое лицо и грубоватым голосом воскликнул, не то удивляясь, не то обрадованно:

— Ты жив, Гальцев?!

— Жив! А куда я денусь? — улыбнулся я. — Здравия желаю!

— Здравствуй! Если жив, — здравствуй!

Я пожал протянутую мне руку, оглянулся и, убедившись, что, кроме Грязнова, меня никто не услышит, обратился:

— Товарищ подполковник, разрешите узнать: что Иван, вернулся?

— Иван?.. Какой Иван?

— Ну мальчик, Бондарев.

— А тебе-то что, вернулся он или нет? — недовольно спросил Грязнов и, нахмурясь, посмотрел на меня черными хитроватыми глазами.

— Я все-таки переправлял его, понимаете...

— Мало ли кто кого переправлял! Каждый должен знать то, что ему положено. Это закон для армии, а для разведки в особенности!

— Но я для дела ведь спрашиваю. Не по службе, личное... У меня к вам просьба. Я обещал ему подарить, — расстегнув ши-

нель, я снял с ремня нож и протянул подполковнику. — Прошу, передайте. Как он хотел иметь его, вы бы только знали!

— Знаю, Гальцев, знаю, — вздохнул подполковник и, взяв финку, осмотрел ее. — Ничего. Но бывают лучше. У него этих ножей с десяток, не меньше. Целый сундучок собрал... Что поделаешь — страсть! Возраст такой. Известное дело — мальчишка!.. Что ж... если увижу, передам.

— Так он что... не вернулся? — в волнении проговорил я.

— Был. И ушел... Сам ушел...

— Как же так?

Подполковник насупился и помолчал, устремив свой взгляд куда-то вдаль. Затем низким, глуховатым басом тихо сказал:

— Его отправляли в училище, и он было согласился. Утром должны были оформить документы, а ночью он ушел... И винить его не могу: я его понимаю. Это долго объяснять, да и ни к чему тебе...

Он обратил ко мне крупное рябое лицо, суровое и задумчивое.

— Ненависть в нем не перекипела. И нет ему покоя... Может, еще вернется, а скорей всего, к партизанам уйдет... А ты о нем забудь и на будущее учти: о закордонниках спрашивать не следует. Чем меньше о них говорят и чем меньше людей о них знает, тем дольше они живут... Встретился ты с ним случайно, и знать тебе о нем — ты не обижайся — не положено! Так что впредь запомни: ничего не было, ты не знаешь никакого Бондарева, ничего не видел и не слышал. И никого ты не переправлял! А потому и спрашивать нечего. Вник?..

...И я больше не спрашивал. Да и спрашивать было некого. Холин вскоре погиб во время поиска: в предрассветной полутьме его разведгруппа напоролась на засаду немцев — пулеметной очередью Холину перебило ноги; приказав всем отходить, он залег и отстреливался до последнего, а когда его схватили, подорвал противотанковую гранату... Подполковник же Грязнов был переведен в другую армию, и больше я его не встречал.

Но забыть об Иване, — как посоветовал мне подполковник, — я, понятно, не мог. И не раз вспоминая маленького разведчика, я никак не думал, что когда-нибудь встречу его или же узнаю что-либо о его судьбе.

9

В боях под Ковелем я был тяжело ранен и стал «ограниченно годным»: меня разрешалось использовать лишь на нестроевых должностях в штабах соединений или же в службе тыла. Мне пришлось расстаться с батальоном и с родной дивизией. Послед-

ние полгода войны я работал переводчиком разведотдела корпуса на том же 1-м Белорусском фронте, но в другой армии.

Когда начались бои за Берлин, меня и еще двух офицеров командировали в одну из оперативных групп, созданных для захвата немецких архивов и документов.

Берлин капитулировал 2 мая в три часа дня. В эти исторические минуты наша опергруппа находилась в самом центре города, в полуразрушенном здании на Принц-Альбрехтштрассе, где совсем недавно располагалась «Гехайме-стаатс-полицай» — государственная тайная полиция.

Как и следовало ожидать, большинство документов немцы успели вывезти либо же уничтожили. Лишь в помещениях четвертого — верхнего — этажа были обнаружены невесть как уцелевшие шкафы с делами и огромная картотека. Об этом радостными криками из окон возвестили автоматчики, первыми ворвавшиеся в здание.

— Товарищ капитан, там во дворе в машине бумаги! — подбежав ко мне, доложил солдат, широкоплечий приземистый коротыш.

На огромном, усеянном камнями и обломками кирпичей дворе гестапо раньше помещался гараж на десятки, а может, на сотни автомашин; из них осталось несколько — поврежденных взрывами и неисправных. Я огляделся: бункер, трупы, воронки от бомб, в углу двора — саперы с миноискателем.

Невдалеке от ворот стоял высокий грузовик с газогенераторными колонками. Задний борт был откинут — в кузове из-под брезента виднелись труп офицера в черном эсэсовском мундире и увязанные в пачки толстые дела и папки.

Солдат неловко забрался в кузов и подтащил связки к самому краю. Я финкой взрезал эрзац-веревку.

Это были документы ГФП — тайной полевой полиции — группы армий «Центр», относились они к зиме 1943/44 года. Докладные о карательных «акциях» и агентурных разработках, розыскные требования и ориентировки, копии различных донесений и спецсообщений, они повествовали о героизме и малодушии, о расстрелянных и о мстителях, о пойманных и неуловимых. Для меня эти документы представляли особый интерес: Мозырь и Петриков, Речица и Пинск — столь знакомые места Гомельщины и Полесья, где проходил наш фронт, — вставали передо мной.

В делах было немало учетных карточек — анкетных бланков с краткими установочными данными тех, кого искала, ловила и преследовала тайная полиция. К некоторым карточкам были приклеены фотографии.

— Кто это? — стоя в кузове, солдат, наклонясь, тыкал толстым коротким пальцем и спрашивал меня: — Товарищ капитан, кто это?

Не отвечая, я в каком-то оцепенении листал бумаги, просматривал папку за папкой, не замечая мочившего нас дождя. Да, в этот величественный день нашей победы в Берлине моросил дождь, мелкий, холодный, и было пасмурно. Лишь под вечер небо очистилось от туч и сквозь дым проглянуло солнце.

После десятидневного грохота ожесточенных боев воцарилась тишина, кое-где нарушаемая автоматными очередями. В центре города полыхали пожары, и если на окраинах, где много садов, буйный запах сирени забивал все остальные, то здесь пахло гарью; черный дым стелился над руинами.

— Несите все в здание! — наконец приказал я солдату, указывая на связки, и машинально открыл папку, которую держал в руке. Взглянул — и сердце мое сжалось: с фотографии, приклеенной к бланку, на меня смотрел Иван Буслов...

Я узнал его сразу по скуластому лицу и большим, широко расставленным глазам — я ни у кого не видел глаз, расставленных так широко.

Он смотрел исподлобья, сбычась, как тогда, при нашей первой встрече в землянке на берегу Днепра. На левой щеке, ниже скулы, темнел кровоподтек.

Бланк с фотографией был не заполнен. С замирающим сердцем я перевернул его — снизу был подколот листок с машинописным текстом: копией спецсообщения начальника тайной полевой полиции 2-й немецкой армии.

«№... гор. Луинец. 26.12.43 г. Секретно.

Начальнику полевой полиции группы «Центр»...

...21 декабря сего года в расположении 23-го армейского корпуса, в запретной зоне близ железной дороги, чином вспомогательной полиции Ефимом Титковым был замечен и после двухчасового наблюдения задержан русский, школьник 10–12 лет, лежавший в снегу и наблюдавший за движением эшелонов на участке Калинковичи — Клинск.

При задержании неизвестный (как установлено, местной жительнице Семиной Марии он назвал себя «Иваном») оказал яростное сопротивление, прокусил Титкову руку и только при помощи подроспевшего ефрейтора Винц был доставлен в полевую полицию...

...установлено, что «Иван» в течение нескольких суток находился в районе расположения 23-го корпуса... занимался нищенством... ночевал в заброшенной риге и сараях. Руки и пальцы ног у него оказались обмороженными и частично пораженными гангреной...

При обыске «Ивана» были найдены... в карманах носовой платок и 110 (сто десять) оккупационных марок. Никаких вещественных доказательств, уличавших бы его в принадлежности к партизанам или в шпионаже, не обнаружено... Особые приметы:

посреди спины, на линии позвоночника, большое родимое пятно, над правой лопаткой — шрам касательного пулевого ранения...

Допрашиваемый тщательно и со всей строгостью в течение четырех суток майором фон Биссинг, обер-лейтенантом Клямт и фельдфебелем Штамер, «Иван» никаких показаний, способствовавших бы установлению его личности, а также выяснению мотивов его пребывания в запретной зоне и в расположении 23-го армейского корпуса, не дал.

На допросах держался вызывающе: не скрывал своего враждебного отношения к немецкой армии и Германской империи.

В соответствии с директивой Верховного командования вооруженными силами от 11 ноября 1942 года расстрелян 25.12.43 г. в 6.55.

...Титкову... выдано вознаграждение... 100 (сто) марок. Расписка прилагается...»

Октябрь — декабрь 1957 г.

ЮРИЙ БОНДАРЕВ

Последние залпы

Повесть

Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть...

А. Твардовский

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В двенадцатом часу ночи капитан Новиков проверял посты. Он шел по высоте в черной осенней тьме — над головой густо шумели вершины сосен.

Острым северным холодом дуло с Карпат, и вся высота гудела, гулко вибрировала под непрерывными ударами воздушных потоков. Пахло снегом.

Редкие ракеты, сносимые ветром, извивались над немецкой передовой, догорали за темным полукружьем соседней высоты. В низине справа, где лежал польский город Касно, беззвучно вспыхивали, гасли неопределенные светы.

Молчали пулеметы.

Новиков не видел в темноте ни орудия, ни часовых, ветер неистово трепал полы шинели, — и странное чувство глухой затерянности в этих мрачных холодных Карпатах охватывало его. Приступы тоски появлялись в последнюю неделю не раз — и всегда ночью, в короткие затишья, и объяснялись главным образом тем, что четыре дня назад, при взятии Касно, батарея Новикова впервые потеряла девять человек сразу, в том числе командира взвода управления, и Новиков не мог простить себе этого.

— Часовой! — строго окликнул Новиков, останавливаясь и угадывая впереди землянку первого взвода, вырытую в скате высоты.

Ответа не было.

— Часовой! — повторил он громче.

— А? Кто тут?

— Что это за «а»? Черт бы драл! — выругался Новиков. — В прятки играете?

— Стой! Кто идет! — преувеличенно грозно выкрикнул из потемок часовой и щелкнул затвором автомата.

— Проснулись? Что там за колготня в землянке? — спросил Новиков недовольным тоном. — Что за шум?

— Овчинников чегой-то шумит, товарищ капитан, — робко кашлянув, забормотал часовой. — И чего они разоряются?

Новиков толкнул дверь в землянку.

Плотный гул голосов колыхался под низкими накатами, среди дыма плавали фиолетовые огни немецких плошек, мутно проступали за столом красно-багровые лица солдат — все говорили разом, нещадно курили. Командир первого взвода лейтенант Овчинников, усмехаясь тонким ртом, поднялся и, небрежно оттолкнув на бедре кобуру пистолета, скомандовал с веселой властью:

— Прекратить галдеж и слушай тост! За Леночку! А, братцы? Пить всем.

Радостный рев голосов ответил ему и стих: все увидели молча стоявшего в дверях капитана Новикова, который медленно обвел взглядом лица солдат.

— Значит, пыль столбом? — произнес он строго. — И санинструктор здесь?

То, что непонятное это празднество происходило в пятистах метрах от немецкой передовой и люди, зная об этом, не сдерживали веселья, не удивило его. Странно было то, что здесь, среди едкого махорочного дыма, среди этого нетрезвого шума, сидела на нарах санинструктор Лена Колоскова, сидела, охватив руками колени, и, разговаривая с умиленно расплывшимся замковым Лягаловым, смеялась тихим, грудным, ласковым смехом.

«Смеется каким-то жемчужным смехом, — не без раздражения подумал Новиков. — Она пьяна или хочет понравиться лейтенанту Овчинникову. Зачем ей это?» И, стараясь еще более возбудить в себе неприязнь к этому легкомысленному смеху, он быстро посмотрел на Овчинникова, спросил:

— Что у вас тут? Свадьба?..

Он произнес это, должно быть, грубо — все замолчали. Лена вопросительно прищурилась и вдруг легко и гибко прыгнула с нар, подошла к Новикову, блестя яркими, улыбающимися глазами.

— Да, именно, — сказала, откидывая голову, — здесь свадьба. Поздравьте меня и Овчинникова. Лейтенант Овчинников! — приказала она. — Дайте водки капитану!

Что это с ней? Она не была пьяна, кажется, и дерзко, смело глядела снизу вверх, — тонкая нежная шея окаймлена воротом, узкие плечи, маленькая грудь обтянута суконной гимнастеркой, сжатой в талии широким ремнем. Не раз ловил себя Новиков на том, что его непривычно смущала постоянная вызывающая смелость санинструктора, — он почувствовал, что покраснел на виду притихших солдат, и, раздосадованный, сухо сказал:

— Вы всегда неудачно шутите, товарищ санинструктор! — И, повернувшись к лейтенанту Овчинникову, договорил тоном приказа: — Прекратить! Что это за веселье? С какой радости? Всем отдыхать!

Лейтенант Овчинников, самолюбиво сузив светлые глаза, спросил:

— За что, товарищ капитан? Мой день рождения. Не признаете? Двадцать шесть стукнуло. Лягалов, налей комбату! Ломанем, товарищ капитан?.. Чтоб пыль на всю Европу, а?..

Замковый Лягалов, солдат некрасивый, низкорослый, обросший золотистой щетиной, помигал конфузливо на Овчинникова, неуверенно налил из фляги полную кружку, протянул ее комбату:

— Товарищ капитан, не побрезгуйте, стало быть... Чистая-а!

Считался Лягалов непьющим, и то, что он пил сейчас и протягивал кружку, вконец испортило настроение Новикову. Он сказал резко:

— Поздравляю, Овчинников. — И, нахмурясь, шагнул к выходу.

Но уже на пороге услышал позади неловкую тишину, и стало неприятно оттого, что он только что внес в землянку, к солдатам Овчинникова, которых любил, холод и недовольство. Он знал, что Лена была развращена постоянным мужским вниманием, — это, разумеется, было связано с ее прошлой службой в полковой разведке. Она пришла в батарею месяца два назад после непонятной истории в полку, о которой всезнающие штабные писаря вынуждены были молчать. Был слух, что она в порыве гнева едва не застрелила адъютанта командира полка, однако Новиков мало верил этому. Походили на правду иные слухи: говорили о ее особенной близости с разведчиками. И Новиков, видя ее маленькую, порочно аккуратную грудь, обрисованную гимнастеркой, лучисто-теплый свет ее глаз, когда она улыбалась, часто слыша ее смех, который тоже был как бы тайно порочен, испытывал болезненные приступы раздражительности. Оттого, что она, казалось, была доступна всем, она была недоступной для него. В первые дни пребывания нового санинструктора в батарее был он нестеснителен, полунасмешлив, иногда в присутствии ее не сдерживался в сильных выражениях, — не божий одуванчик, не то видела! — а после, лежа в своей землянке, он, мучаясь, вспоминал то чувство, какое испытывал, когда ругался, словно не замечая ее, и не находил оправдания. Его стесняла, ему мешала эта женщина в батарее. Но одновременно, даже не видя ее, он все время ощущал ее присутствие и не мог объяснить неприязненное раздражение, которое она своей смелостью, своим голосом вызывала в нем.

Выйдя из землянки, Новиков один стоял в выстуженной осенней тьме. Мысль о том, что он грубо обидел сейчас солдат, оби-

дел тогда, когда от расчетов его батареи осталось двадцать человек, когда он должен быть добрей с людьми, угнетала его.

Ветер свистел в ушах, и в тягучем скрипе сосен слышался ему пьяный гул голосов; и потому, что в землянке бездумно пили спирт и смеялись, словно забыв о тех, кого похоронили вчера, Новиков чувствовал знакомое посасыванье тоски. Он потер небритые щеки, посмотрел в потемки, туда, где за высотой, в полутора километрах отсюда, на западной окраине Касно, стояли два орудия младшего лейтенанта Алешина — второй в батарее взвод, который он, Новиков, особо берег. Там лежала мгла, не взлетали ракеты.

— Я пошла! — раздался женский голос в нескольких шагах.

Из землянки вырвался неясный говор — желтая полоса света упала на кусты, легкие шаги послышались рядом, и по голосу, по смутному очертанию фигуры он узнал Лену. Она остановилась, не видя Новикова, долго глядела на прижатые к горам близкие вспышки ракет — среди шумящих деревьев появлялось ее бледное лицо с дерзким выражением. Сквозь гудение сосен хлопнула дверь землянки, и выбежал лейтенант Овчинников в распахнутой телогрейке, окликнул сипловатым баском:

— Ты куда ж, Леночка?.. Пстой!

— Я стою. Ну, а вы зачем? — спросила она негромко. — Я и сама дойду!

Он проговорил требовательно:

— Куда?

— К разведчикам. Они здесь недалеко, — ответила она насмешливо. — Не привыкла я к вашей батарее. Не похожи вы на разведчиков, лейтенант...

Овчинников придвинулся к ней, сказал тяжелым голосом:

— Не похожи? Хочешь, я ради тебя вон там под пули встану? Хочешь? Не знаешь ты меня еще!..

— Ну, этого не надо! — Она засмеялась. — Глупость это!

Тогда он сказал с отчаянием:

— Так, да? Все равно не отпущу! Ты наших не знаешь!

Он приблизился к ней вплотную, они будто слились, и тотчас Лена сказала презрительно, протяжно, устало, переходя на «ты»:

— Уйди-и, не справишься ты со мной... Губы у тебя мокрые, лейтенант...

Она оттолкнула его, пошла прочь, а он, сделав шаг назад, позвал громко: «Леночка, пстой!» — и кинулся следом за ней. В его сбившемся дыхании, в неуверенном крике было что-то молящее, унижающее мужское достоинство, и Новиков, поморщась, пошел к своему блиндажу.

...Блиндаж был полуосвещен сонным мерцанием коптилки. Воздух здесь тепел, плотен, пахло шинелями, лежалой соломой.

Дежурный телеграфист Гусев, молодой, круглоголовый, прислонясь затылком к стене, спал — устало подергивались брови, потухшая сигарка прилипла к оттопыренной губе, другая — свернутая — заложена за ухо. Перед ним на снарядном ящике котелок, из недоеденной пшенной каши торчала деревянная ложка. Возле котелка огрызок обмусоленного чернильного карандаша, измятый листок, вырванный из тетради, ровные аккуратные строчки усыпаны хлебными крошками: видимо, ел и писал письмо. Новиков взглянул на листок, невольно усмехнулся этому аккуратному школьному почерку: «Ты меня не ревнуй, потому что у нас тут женщин нет, только одна сестра, да и то больно некрасивая...»

Он хотел спросить связиста, звонил ли командир дивизиона, но будить было жалко. Вокруг с тревожным всхлипыванием, бредовым бормотанием спали солдаты. Новиков, не раздевшись, лег на спину, сбоку нар, на обычное свое место, закрыл глаза и мигом погрузился в горячий, парной воздух, полный разлетающихся искр, в хаос несвязных людских голосов; перед ним зыбко заколыхались лица Лены, лейтенанта Овчинникова — непонятный мгновенный сон.

Он проснулся от сильного гула, давящего на голову, вскочил, озираясь.

— Позывные? — спросил отрывисто. — К телефону?..

— Дальнобойная высоту накрыла... — ответил кто-то.

Вся землянка была наполнена вонью тола, желтоватой мутью дыма. В нем вздрагивающими тенями копошились вскочившие солдаты — все глядели отяжелевшими от сна глазами на трясущийся потолок землянки. Сухо трещали бревна накатов, шевелились, перемещались над головой. А там, сверху, что-то гигантски огромное, душащее, тяжелое, с хрустом разламываясь грохотом, рушилось на высоту, и не стало слышно стонущего шума ветра, задавленного железной толщей разрывов.

— Дальнобойная... накрыла, — шепотом выдавил связист Гусев. — Воронки... с дом.

Старший сержант Ладья, командир орудия, неловко прыгая на одной ноге, торопливо вталкивал другую ногу в штанину галифе, кричал Гусеву:

— Спишь, тютя! А ну, что на передовой? Узнай!.. — И, застегиваясь, глянув на Новикова, добавил иным тоном: — Вроде началось, товарищ капитан. Слышите? Не похоже на артналет. Ишь, заваруха!

И тут же повысил сочный, зазвеневший командными переживаниями голос:

— По места-ам! Вылетай к орудию!

— Отставить, — остановил Новиков, шагнул к Гусеву, надсадно кричавшему позывные в трубку, и громко спросил: — Команда была от «Резеды»?

— Никак нет, — бормотал Гусев, обеими руками прижимая трубку к уху, и тотчас пригнулся. Куски земли оторвались от потолка, ударили по аппарату. — Никак нет, — повторил он невнятным шевелением губ, испуганно клоня круглую стриженую голову.

— Дайте трубку! Связист вы или нет? Вы должны всё знать! — сказал Новиков и не взял, а вырвал из рук Гусева мокрую от пота, нагретую трубку. — «Резеда»! «Резеда»! Какого дьявола! «Резеда»! Питания, что ли, у вас нет? — Он обернулся к связисту. — Проверяли связь?

— Я «Резеда», я «Резеда», — внезапно слышался в трубке слабый, как комариный писк, голос и сейчас же зачастил: — Кто у телефона? Шестого к аппарату, шестого к аппарату! Шестого немедленно к «Резеде», немедленно к «Резеде»!..

— Я шестой, — объявил недовольно Новиков, глядя в стоявший на снаряжном ящике котелок, полный бурой жижи. — Что там? Иду!

Он положил трубку, надел отлично сшитую, но уже обтрепанную шинель, застегнул ремень, оттянутый кобурой пистолета; потом, сдвинув брови над тонкой переносицей, вынул из кобуры ТТ и резким щелчком выбросил, проверил магазин и вновь втокнул в рукоятку пистолета. Он сделал это молча, без спешки, и солдаты, так же молча, смотрели то на капитана, то на вибрирующий потолок землянки, прислушиваясь к нарастающему реву снарядов. Новиков ни разу не взглянул вверх, все хмурясь отчего-то, и тем своим обычным грубоватым тоном, который так не шел к его мальчишески юному, всегда бледному лицу, приказал:

— Ремешков, пойдете со мной!

Подносчик снарядов Ремешков, парень лет двадцати пяти, молчаливый, замкнутый, солдат-счастливец, недавно побывавший по причине ранения в шестимесячном отпуске дома, в Рязани, обратил к Новикову свое крепкое белобровое лицо — в расширенных глазах его росла мольба. Проговорил еле слышным шепотом:

— Нога у меня... — и, дрожаще кривя губы, потер колено. — По горам ведь... нога у меня, товарищ капитан. Другого бы кого...

— Другого? — переспросил Новиков, заученным движением сунув пистолет в кобуру.

Он знал, куда надо идти сейчас, и выбрал Ремешкова, потому что тот шесть месяцев отлеживался дома, в то время как солдаты его, Новикова, батареи без отдыха находились в боях, дошли до Карпат. Выбрал, потому что считал это суровой необходимостью, тем более что Ремешков был новым человеком в батарее.

— Другого, говорите?

Блиндаж сотрясало крупной дрожью, пол туго ходил под ногами, в промежутки между разрывами, как из-под воды, вливался отдаленный пулеметный треск. И теперь уже было ясно, что это не обычный артналет, не обычная перестрелка дежурных орудий и пулеметов после недавних боев при взятии города Касно на границе Чехословакии.

И то, что Ремешков робко отказывался идти на передовую, в то время как за неделю погибло девять человек старых солдат, а Ремешков прибыл в батарею отъевшийся, раздобревший, со здоровым, молочным цветом лица от домашнего хлеба и сала, особенно было неприятно Новикову.

— У нас в батарее приказание два раза не повторяют! — проговорил он жестко и, более не обращая внимания на Ремешкова, пошел к двери.

— Товарищ капитан!..

Ремешков просительно напряг голос и, вдруг нагнувшись так, что стала видна красная, гладкая шея, со стоном и страданием прошептал:

— Товарищ капитан, разве я... Жалости нет?

— Нет, — сказал Новиков и вышел.

Дверь открылась, впустив грохот разрывов, и захлопнулась. Ремешков, искательно оглядываясь на солдат, сѣживаясь, повторил умоляющим шепотом:

— Что ж у вас жалости нет?..

— Жалости? Тютя пшенная! Он еще думает, калган рязанский! — звонким голосом воскликнул старший сержант Ладья, надвигая пилотку на выпуклый лоб. — Морду нажевал в тылу и думает, все в порядке! Еще ему приказ повторять! Воевать приехал или сало жрать?

Было командир у орудия Ладье лет двадцать. Сильный, светловолосый, он по-особому лихо носил пилотку, сдвигая ее на самые брови. Весь подогнанный, в немецких, не по уставу, новых сапожках, с немецким тесаком на немецком ремне, он казался мальчишкой, ради игры носившим военную форму, трофейное оружие.

— Ну? — крикнул он. — Думать потом будешь!

— Звери вы, звери... — жалко и затравленно бормотал Ремешков. — Человек ведь я...

Командир второго орудия сержант Сапрыкин, неуклюже грузный, пожилой, двигая непомерно квадратными плечами, в тесной, облитой по круглой спине гимнастерке, старательно кряхтя, наматывал портянку. Подмигнул Ремешкову своими ласково затеплившимися глазами и сказал доброжелательно:

— А ты лучше бери, землячок, автомат да и дуй во все лопатки. Так оно вернее. Раньше-то воевал? Понял или нет? Вот автомат возьми. — И, обращаясь к Ладье, прибавил ворчливо: — Оно

верно, после теплой печки да жены под боком умирать неохота. Сам небось так бы, Ладыя?

— А я бы и в отпуск не поехал! На кой леший он мне! — сказал Ладыя решительно и, взяв лежавший на нарах крепко набитый вещмешок Ремешкова, взвесил его с язвительной улыбкой, говоря: — Давай, давай катись колбасой, тютя!

И подтолкнул Ремешкова к выходу.

Оглушенные грохотом снарядов, рвущихся по высоте, они некоторое время стояли в ходе сообщения. С острым звоном полосовали воздух осколки, бритвенно срезали землю на брустверах, пыль сыпалась на фуражку Новикова. Отплеывая хрустевшую на зубах землю, он ощупью нашел телефонный провод, ведущий от орудий на передовую, и, не выпуская его, посмотрел в сторону города Касно. Все пространство за высотой — километра на два — было освещено, как днем... Гроздь ракет повисали там, пышно иллюминируя низкие облака. В них взвивались наискось трассы. Небо за высотой все время меняло окраску, наливалось густой багровостью — что-то горело в городе.

— Пойдете по проводу! Я за вами! — приказал Новиков Ремешкову. — Берите провод, он в моей руке!

— Провод? — глухо переспросил Ремешков.

Но когда Новиков почувствовал прикосновение чужих пальцев к своей руке, возник рев над головой — огненный шар, ослепив, разорвался в небе, — сверху ударило жарким воздухом, бросило обоих на землю: снаряд лопнул, задев о ствол сосны.

«Разобьет орудия», — беспокоило подумал Новиков и тут же услышал стонущие вскрики Ремешкова:

— Ударило... по голове ударило... товарищ капитан. Всего ударило.

— Э, черт! — с досадой сказал Новиков, подымаясь. — Ранило? Где вы... ползаете?

В бледном отблеске расцвеченного ракетами неба он увидел у стены траншеи скорчившуюся фигуру Ремешкова. Охватив руками голову, он глядел вверх рыскающим взглядом, и это выражение успокоило Новикова, — раненные смотрели иначе.

— Крови нет? — спросил он и добавил насмешливо: — Еще до передовой не дошли, а вы... Как воевать будете? Ну, пошли, берите провод.

Ремешков поднес к глазам белые ладони, облегченно всхлипывая носом.

— Взрывной волной меня...

— Не взрывной волной, а страхом.

И Новиков пошел вперед по ходу сообщения к орудиям.

В трех шагах от землянки Овчинникова он почти натолкнулся на высокую фигуру, стоявшую в рост.

— Кто? Эй! — с угрозой рявкнул человек, и автомат тупо уперся Новикову в грудь. По голосу узнал часового первого орудия Порохонько; отведя ствол автомата, сказал:

— Свои. Близко подпускаете! — И, сразу же заметив возле Порохонько освещенную заревом неясную фигуру Лены (стояла, прислонясь спиной к траншее), спросил ненужно: — И вы здесь? Вы же к разведчикам хотели идти?

— Хотела... — неохотно ответила она и спросила с вызовом: — А вы откуда знаете?

Новикову стало жарко, он не рассчитал неожиданность вопроса и, увидев в больших вопросительных глазах на ее лице горячие отблески ракет, повернулся к Порохонько.

— Орудия целы?

Порохонько лениво поскреб узкий подбородок, хихикнул.

— Ось кладет, ось кладет снаряды, як пишет... И кидает и кидает, сказывся, чи що, фриц треклятый! А орудия дышат. Куда же вы, товарищ капитан?

Не ответив, Новиков двинулся дальше по траншее, а Ремешков, поправляя на спине вещмешок, выкрикнул глуховато:

— Фрицам в зубы, куда еще!.. — И голос его покрыло разрывом.

Он нырнул головой в траншею, побежал, горбатогнувшись.

— Товарищ капитан! — безразличным голосом окликнула Лена. — Подождите.

Он приостановился.

— Я с вами на передовую, — сказала она, подойдя. — Мне нечего здесь делать. Видите, что там? А я ведь в разведке привыкла к передовой.

— Привыкли?

И это напоминание о разведке, о той непонятной легкой жизни Лены в полку вновь ревниво толкнуло Новикова на грубость.

— Что вы мешаетесь тут, товарищ санинструктор, со своими дамскими штучками! — сказал он, хотя сам не мог вложить точного понятия в эти «дамские штучки». — Что, спрашивается, я теряю с вами время?

А она как будто вздрогнула, некрасиво искривив рот, сказала страстно и тихо:

— Может быть, солдаты вас любят, товарищ капитан, может быть. А я вас терпеть не могу! Терпеть не могу! Другое бы сказала, да Ремешков здесь!..

— Спасибо, — произнес он, силясь говорить вежливо. — А я думал, что сейчас можно не терпеть только немцев.

И по тому, что она говорила с ним грубо и он увидел ее ставшее некрасивым лицо, Новиков понял, что никакие другие от-

ношения, кроме уставных, не могут связывать их, и почувствовал какое-то тоскливое облегчение, похожее на медленно уходящую боль.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Весь центр этого польского города с его острой готической высотой костела, прочно стоявшего посреди каменной площади, на которой возле чугунной ограды мертво чернели обуглившиеся немецкие танки, и пустынные улицы, отблескивающие красными черепичными кровлями, опущенными металлическими жалюзи, с тенями обнаженных осенних садов за заборами, булыжными мостовыми — все было залито недалеким заревом, пылавшим над западной окраиной.

Врезаясь в зарево, искрами рассыпались над крышами очереди пуль, захлебывающийся треск пулеметов не заглушал тонкого шитья автоматов, твякающего звона мин. Тяжелые снаряды тугим громом раскалывались на мостовых, знойный ветер вздымал, швырял ворохи сухих листьев, корябая лицо, как накалившимся наждаком. Весь город, окрашенный зловещим огнем, грохотал, сотрясаемый эхом, с крыш сыпалась на тротуар черепица.

Новиков и Ремешков упали рядом около закрытого подъезда, дважды резко, сильно подкинуло их на земле взрывной волной, этой же силой Новикова притиснуло к дрожащему плечу Ремешкова, и жаркий, разбухший от ужаса голос зашептал в лицо ему:

— Побрился я... Зачем я побрился, а?..

— Чушь! — не понял Новиков. — Что вы бормочете?

А Ремешков, втянув голову в плечи, выговорил с придыханием, как если бы из ледяной воды вынырнул:

— Побрился я, побрился... С Днепра примета... перед боем... Побреешься, или чистое белье наденешь, или в баню... У меня дружка так... под Киевом.

— Молчите! — неприязненно оборвал его Новиков. — У меня в батарее будете бриться. И в баню ходить. — И добавил тоном, не допускающим шуток: — Умрете, так хоть выбритым. А борода растет и у мертвецов. Не видали? — И злым рывком встал. — Встать! Вперед!

Ремешков поднялся, разогнувшись, по-бабьи расставив полусогнутые ноги, стоял близ наглухо запертого подъезда особняка, испуганно озирая небо, пронизанное свистами мин, бормотал:

— Куда идти? Где ж передовая? С тыла, никак, бьют... Окружают?

В конце улицы взлетали конусы разрывов. Едкий дым несло вдоль оград, мимо сгоревших на мостовых немецких танков.

Город обстреливали дальнобойные батареи с запада и юга, однако Новиков не испытывал пока большого беспокойства, — вероятно, складывалась обычная обстановка в условиях Карпат: немцы оставались в долинах, на высотах по флангам, продолжая вести огонь по дорогам.

— Окружили, отрезали, обошли! Сорок первый год вспомнили? — сказал Новиков. — Вперед! И не на полусогнутых!

И побежал в глубину улицы.

Когда достигли западной окраины города, близкие пожары ослепили их, и оба горлом ощутили неистовый, горячий ветер. Он, как в воронке, крутил по окраине огромные метели огня, искр, пепла: впереди буйно горели дачные коттеджи на берегу длинного озера. Красный отблеск воды висел в воздухе. Над озером, в дыму, перекрещивались, мелькали огненные нити пулеметных очередей; и частые вспышки орудийных зарниц в горах, мерцающие сполохи танковых выстрелов, малиново-круглые разрывы мин на берегу, звуки непрекращающейся автоматной стрельбы, — все это бросал и рвал над окраиной опаляющий до сухости в горле ветер.

— За мной, бего-ом!

Новиков первый вбежал в красный туман, ползущий над берегом, заметил впереди ход сообщения первых пехотных траншей, с разбегу спрыгнул на мелкое дно. Сразу зазвенели под ногами стреляные гильзы. Два солдата молча сидели здесь подле патронных ящиков, не шевелясь, курили в рукава и не подняли головы, только утомленно подобрали ноги в обмотках.

— Артиллеристов не видели из артполка? Почему здесь сидите?

Один из солдат, лет сорока, посмотрел снизу серьезными слезящимися глазами, неожиданно закашлялся, сделал нелепый жест оттопыренными локтями и ничего не объяснил, — видимо, наглотался гари и дыма, пока нес до траншеи патронные ящики. Другой, помоложе, точно оправдываясь в том, что сидели здесь и курили, прокричал на ухо Новикову:

— Пехота мы, товарищ капитан! Вон какое дело-то! Патроны носили... из боепитания... А артиллеристы там, во-он — на высоте...

До высоты — метров сто — шли по траншее, пригнувшись так, что тяжестью налилась шея. Над головой звенели, проносились косяки мертвенно светящихся трасс, брустверы вздрагивали в рвущемся грохоте. С хриплой руганью отряхивая землю с шинелей, солдаты вдруг выныривали головами из траншей, ложась грудью на бруствер, стреляли за озеро. Кто-то басил сорванным командами голосом:

— По домику! Вон они у забора легли!..

Впереди, на самой высоте, лихорадочно дрожали вспышки очередей — человек за пулеметом отшатнулся вбок, крикнул злоб-

но: «Ленту!» — и, вытирая рукавом пот, опустился на дно окопа, в розовую от зарева полутьну. Отстегнув флягу и запрокинув голову, он стал пить жадными глотками. Как только Новиков подошел, человек этот перевел на него узкие горячие глаза, и тот увидел потное лицо, прилипшие ко лбу мокрые кругляшки волос — это был командир отделения разведки Горбачев.

— Вы что это? Пулеметчиков не хватает? — удивился Новиков. — Где командир дивизиона?

Горбачев бедово отбросил в окоп пустую флягу.

— Вовремя, товарищ капитан! Ждут вас... Начальство. И Алешин здесь. А пулеметчиков утробило. Пока суд да дело, дай, думаю... шкуры фрицам посчитаю! — И спросил с хохотком: — Разрешите, а? Пока суд да дело!..

В просторной землянке командира дивизиона, на роскошном лакированном столике, принесенном из города, в полный огонь горела, освещая низкий потолок, лица офицеров, вычищенная трехлинейная лампа. Двое связистов, натянув на уши воротники шинелей, спали на соломе в углу.

Командир дивизиона майор Гулько сидел в расстегнутой гимнастерке, без ремня, курил сигарету и как бы нарочно ронял пепел на карту, разложенную на столике. Худощавое лицо с грустными, армянского типа глазами было, по обыкновению, едко, широкие брови, сросшиеся на переносице, брезгливо подымались. С видом неудовольствия он слушал что-то быстро говорившего младшего лейтенанта Алешина, всегда веселого без всякого повода, звонкоголосого, как синица. Алешин старательно сдувал пепел с карты, смуглые пятна волнения шли по чистому лбу, по стройной шее гимнаста. Говорил он и все оглядывался оживленно на спящих связистов, на стены землянки, задерживал взгляд на огне лампы и только не смотрел в сторону майора, опасаясь внезапно и некстати рассмеяться. Позади Гулько стоял его ординарец Петин. Он был чрезвычайно высок, огромен, белобрыс; рукава засучены до локтей. С мрачно-серьезным выражением он лил себе на широкие ладони немецкую водку из фляги и, задрав гимнастерку на майоре, растирал ему спину и поясницу: Гулько страдал радикулитом. Он ерзал, сопя носом, пригибался под нажимами ладоней ординарца и в то же время был, казалось, всецело занят Алешиним.

Когда вошел Новиков и следом за ним Ремешков, возбужденно раздувая ноздри, майор Гулько выгнул спину, всматриваясь поверх огня лампы, произнес желчно:

— А, Новиков! — и тускло улыбнулся. Но даже и эту ласковость, которую при встречах иногда замечал Новиков, майор тотчас стер ироническими морщинами на лысеющем лбу и показал на свои ручные часы, потонувшие в густых волосах запястья.

— Не торóпитесь на передовую, капитан. Тыловые настроения? Французское шампанское распиваете? Трофеи? Или с прекрасными паненками романы крутите? Под гитарку... Мм? Или санитарочка там у вас?

Был Гулько разведен еще задолго до войны, о женщинах не говорил всерьез и, быть может, поэтому постоянно подозревал подчиненных офицеров в вольности и легкомыслии, что, по его убеждению, свойственно нерасчетливой молодости.

— Прибыл по вашему приказанию, — сухо доложил Новиков и подумал: «Обычное радикулитное настроение».

— Веселенькое дело, — продолжал Гулько, обращаясь не к Новикову, а к сигарете, которую с отвращением вертел в тонких прокуренных пальцах, и вдруг, сопнув носом, спросил отрезвляюще внятно, повернувшись к ординарцу: — Ошалел? Мозолями кожу снимаешь! Рашпиль! Кактус мексиканский! Genug¹. Побереги водку.

Младший лейтенант Алешин, навалясь грудью на столик, прижав кулак ко рту, смотрел на Новикова покрасневшими в напряжении, плещущими весельем глазами, — он давился от смеха. Гулько почесал спину и, кряхтя, застегивая гимнастерку, покосился на Алешина с безгловым удивлением.

— Что, милый Алешин? Смешинка в рот попала? Прошу, товарищи офицеры, набраться серьезности. — И пригласил Новикова: — Садитесь как можете. К столу. Куда смотрите? На шнапс? Вызвал вас не водку пить.

— Я не просил водки, товарищ майор, — сказал Новиков, садясь возле Алешина.

— Совсем приятно, — скептически проворчал Гулько. — Консервы, пожалуйста, поковыряйте вилкой. Хорошие датские консервы. Свиные. Но, как ни странно, и нам годятся.

Новиков нетерпеливо нахмурился, глядя на карту. Он знал странность Гулько: чем сложнее складывалась обстановка, тем подчеркнута болтливее и вроде бы придирчивее ко всему становился он перед тем, как отдать приказ. В самые опасные минуты боя его неизменно можно было видеть около стереотрубы, откуда он бесстрастно подавал команды, сморщив лицо застывшей гримасой неудовольствия, зажав вечную сигарету в зубах. В период обороны шлепал по блиндажу в мягких комнатных тапочках, постоянно лежал на нарах, читал затрепанный томик Гете, с недоверчивым видом и, словно подчеркивая эту недоверчивость, шевелил пальцами в носках. Было похоже: хотел он жить по-холостяцки удобно, скептически презирая строевую подтянутость, однако большой вольности подчиненным офицерам не

¹ Достаточно (нем.).

давал и притом слыл за домашнего, штатского человека. Новиков же считал его чудаком, не живущим реальностью, и был с ним чрезмерно сух.

— Слушаю вас, товарищ майор, — сказал Новиков официально.

— М-да... Дело вот какого рода. — Гулько прикурил от сигареты сигарету, длинно выпустил струю дыма через нос и ядовито покривился. — Фу, пакость! Солома, а не табак! — И концом сигареты обвел круг на карте, заключая в него Касно. — Смотрите сюда, капитан. Мы прижали немцев к границе Чехословакии. Немцы вовсю жмут на город с запада, основательно жмут. Хотят вернуть Касно. А почему? Понятно. По горам с танками не пройдешь, естественно. А город — узел дорог. Обратите особое внимание, Новиков, вот на это шоссе, вдоль озера... Вся петрушка здесь. Это дорога в город Ривны. Вот он, километрах в двадцати на север от Касно. Знаете, что здесь происходит? Соседние дивизии замкнули под Ривнами немецкую группировку. Очень сильную... Много танков и прочая петрушка. Уразумели? Они рвутся из котла на единственную годную для танков дорогу, которая проходит через ущелье и Касно в Чехословакию. А там, надо сказать, события грандиозные. Словаки начали восстание против правительства Тисо. — Майор Гулько в раздумье поглядел на часы, положив волосатую руку на карту. — Два дня город Марице блокирован словацкими партизанами. Надо полагать, немецкая группировка под Ривнами стремится прорваться через Касно на Марице и вместе с немецким гарнизоном подавить восстание. Уразумели? Поэтому немцы и стали жать с запада — захватить Касно, узел дорог, помочь прорваться северной группировке. Такова обстановка. Таковы делишки. — Гулько затянулся сигаретой. — Вообще, не кажется ли вам, Новиков, что великие дни начинаются? Освобождена Болгария, Румыния, бои в Югославии, в Венгрии... Слышите музыку с запада? Мм?..

Майор Гулько невозмутимо посмотрел на дрожащие от разрывов накаты. От глухих ударов сыпалась со стуком земля на стол, звенело стекло лампы, непрерывные сильные токи проходили по земле. И Новикову почему-то хотелось сейчас придержать лампу — жалобное дребезжание раздражало его.

Младший лейтенант Алешин, напряженно и серьезно глядевший на карту, снова заулыбался, встал и начал счищать пыль с козырька фуражки, вытирать шею, весело встряхнулся, притопывая сапогами.

— Ну вот, — сказал он, — за шиворот насыпалось! Просто чудесная баня.

Никто не ответил ему. Гулько пососал сигарету, досадливо сплюнул табак, ворчливым голосом продолжал:

— Сегодня ночью вы, Новиков, снимаете свои орудия со старой позиции и ставите их на прямую наводку вот здесь. На

живописном берегу озера. Направление стрельбы — ущелье, шоссе, Ривны. Соседи у вас: танки пятого корпуса — справа. Плюс иптаповский полк и гаубичные батареи. Слева — чехословаки генерала Свободы. Воюют вместе с нами. Младший лейтенант Алешин уже видел позицию. Вот, собственно, и все. Младший лейтенант Алешин! — слегка поднял голос Гулько. — Покажите своему комбату местостояние батареи.

— Слушаюсь! — живо ответил Алешин.

— Пе-етин! Горячей воды, бриться! — крикнул Гулько, густо выпустив через ноздри дым, лениво договорил: — Я буду на местности через полтора часа. Кстати, наши саперы минируют подступы к высоте. Соблюдайте осторожность!

«Черт его возьми со всей этой чистоплотностью, — подумал Новиков, подымаясь, оглядывая прибранную землянку со слабым запахом одеколона и водки, с круглым туалетным немецким зеркальцем на столике, на котором сверкал никелем трофейный прибор, забитый ножичками и щеточками для чистки ногтей и расчесывания волос. — Устроился, как дома!» И, не скрывая презрения к этой женственно опрятной обстановке, к этой потуге удобства быта, от которой как бы веяло прежними холостяцкими привычками майора, Новиков спросил все так же официально:

— Разрешите идти?

И первый вышел из землянки в траншею.

Горьковато-сырой, пропитанный гарью ветер гулко рвал звуки выстрелов, дробь пулеметов, дальше и тупое уханье тяжелых мин, комкал все это над траншеей и нес гигантское неумолкающее эхо. Красный туман мрачно клубился над берегом, лица солдат в траншее казались сизо-лиловыми. Пулеметы длинно стреляли за озеро, в пролеты меж ярко горящих домов, где были немцы, и Новиков сверху видел это бесконечно вытянутое озеро, налитое огнем пожаров.

Пули торопливо щелкали по брустверу, сбивая землю, и Новиков тут же схватился за фуражку, ее как ветром толкнуло. Он надвинул козырек на глаза и выругался.

— Пуля? — крикнул Ремешков за спиной.

— Земля, — ответил Новиков.

— А-а...

Ремешков присел на корточки, снизу с загнанным выражением следил за капитаном. На какую-то долю секунды мелькнула мысль, что если бы Новикова ранило, хотя бы легко, то не пришлось бы идти под огонь на другой конец озера; тогда ему, Ремешкову, надо было бы вести командира батареи в тыл, в санроту. И оттого, что не случилось этого и теперь обязательно надо было идти, он почувствовал, как живот сжало холодом и ноги обмякли. А Новиков, стоя к нему спиной, позвал громко, словно ударил по сердцу Ремешкова:

— Скоро, Алешин?

— Готов, товарищ капитан! Идем! — слышался голос младшего лейтенанта.

Дверь землянки на миг выпустила свет лампы, обжитое тепло, где было, чудилось, по-домашнему покойно, то тепло, которое так не хотел покидать Ремешков.

«Эх, взял бы майор меня в ординарцы, разве таким, как Петин, был!» — пожалел завистливо Ремешков и, услышав веселый голос Алешина, подумал с отчаянием: «Фальшивят они, играют, веселость создают. Не от души это все. Кому война, а кому мать родна!»

— Э, кого сюда занесло? Кто здесь на карачках ползает? — сказал Алешин и засмеялся непринужденным молодым смехом, споткнувшись о ноги Ремешкова.

И Новиков окликнул строго:

— Где вы, Ремешков?

С трудом и тоской он встал, оторвав свинцовое тело от земли, хромая, подковылял к Новикову, тот пристально, сожалеюще глядел на него прямым взглядом.

— Ну?

— Нога... — Ремешков застонал, потирая колено; плотно набитый вещмешок нелепо торчал за его спиной бугром.

— На кой... прислали вас ко мне? — не выдержал Новиков. — Вы что, восвать приехали или задницу греть возле печки? Шесть месяцев торчали дома и ногу не вылечили. А если не вылечили — терпите! Не то терпят! Запомните, я ничего не хочу знать, кроме того, что вы солдат! Перестаньте стонать! Лучше сидор скиньте, пуда два за спиной носите!

Новиков понимал, что говорил жестоко, но не сдерживал себя. Три раза сам он после ранений лежал в госпиталях, и там, и потом в части ему не раз приходилось скрывать на людях свои страдания, стыдиться их. Новиков повторил:

— Перестаньте стонать!

Ремешков перестал стонать — неудержимо стучали только зубы, — но вещмешок не снял, потрогал ляжку трясущимися пальцами и сгорбился.

— Да оставьте его здесь, товарищ капитан! — беспечно посоветовал Алешин, удивленно разглядывая страдальчески согнутую фигуру Ремешкова. — Зачем он нам? Пусть сидит со своей ногой.

— Он пойдет с нами.

И Новиков, упершись носком сапога в нишу для гранат, с решительностью вылез из окопа.

Ремешков оставался в траншее последним. Снизу он увидел, как пули пунктирами пронеслись над головами офицеров. Ладони сразу вспотели, влажно прилипли к ложе автомата. Обминая, часто-часто задышал он ртом, будто ему воздуха не хватало.

«Если я оглянусь сначала направо, а потом налево, то меня не убьют, если не оглянусь...» — подумал он и оглянулся сначала направо, потом налево и, как в пелене, заметил розовые под светом зарева лица ближних солдат в траншее. С коротким диким вскриком он выскочил на бруствер, на резкий порыв ветра; спотыкаясь о свежие воронки, чувствуя вокруг острые, разбросанные по земле осколки, он побежал за Новиковым, готовый закричать от ожидаемого удара в спину...

«Там вещмешок за спиной, вещмешок! Пулями не пробить! — мелькало в его голове. — Нет, нет, сразу не убьет, ранит только...»

Он догнал офицеров возле крайних домов и, прислонясь вещмешком к забору, никак не мог отдышаться.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В два часа ночи, после рекогносцировки, Новиков послал Ремешкова на старую огневую с приказом немедленно снять орудия Овчинникова и в течение ночи занять позицию в районе севернее города, на новой высоте, правее озера.

Ожидая орудия, он сидел на земле в пяти шагах впереди позиции батареи. Он отчетливо слышал сочный скрип лопат о грунт, сниженные до шепота голоса солдат в темноте — копали расчеты Алешина. Озеро мерцало алыми тихими отблесками, и на той стороне, где была Чехословакия, молчали немцы.

Здесь, в четырех километрах на север от основного боя, смутное чувство тревоги охватывало Новикова. Казалось ему, что он непоправимо в чем-то ошибся, однако не мог найти, уловить точные причины того, что беспокоило его, как пристальный взгляд в затылок. Озеро уходило вперед, дымно тускнея, северная оконечность упиралась в черный кряж Карпат, далеко справа розовой стрелой уносилось из Касно на Ривны шоссе, терялось в ущелье. Оно сумрачно клубилось сизо-лиловым туманом.

— Товарищ капитан! Хотите великолепные сигареты? Польские! «Монополия»! О, черт, смотрите, что в городе!

Подошел Алешин. Молча Новиков отогнул рукав шинели, взглянул на часы, на фосфоресцирующие цифры, потом посмотрел назад — на отдаленный город, залитый заревом. Там беспрестанно возникали косматые звезды разрывов, вспышки танковых выстрелов вылетали навстречу друг другу, но ветер дул с севера и приглушал звуки боя.

— А здесь молчат, — сказал Новиков и вдруг, увидев над огневой слабый отсвет, спросил: — Кто курит? Прекратить! Богатенков терпеть не может?

В ответ тишина.

Слабое свечение над окопом исчезло, там кто-то надсадно закашлялся, поперхнувшись. Младший лейтенант Алешин вынул из кармана шинели длинную коробку трофейных сигарет, заливчато толкнул коробкой козырек фуражки, сдвинув ее на затылок, отчего юное лицо стало наивно-детским, сказал добродушно:

— Черти!.. — И, помолчав немного для приличия, заговорил веселым голосом: — Товарищ капитан, тут наши разведчики великолепный особняк нашли. Бассейн, ванна, ковры, с ума сойдешь! Роскошь! Пойдемте, рядом он. Вон внизу...

— Пустой особняк?

— Совершенно.

Особняк этот, двухэтажный дом, стоял метрах в ста пятидесяти от высоты в липовом полуоблетевшем парке за чутунной оградой с массивными железными воротами и парадной калиткой, над которой поблескивали медью оскаленные морды львов.

Они вошли в парк, угрюмо-темный, огромный, и он поглотил их печальным шорохом, шелестом опавшей листвы на дорожках, ровным текучим шумом полуоголенных лип. Сапоги с мягким хрустом уходили в плотный увядающий настил, отовсюду из засыпанных листопадом аллей веяло безлюдьем, грустно-горьковатым, дымным запахом поздней осени.

В глубине парка перед домом гладко блестел за разросшимися кустами бассейн, в густой воде мирно плавали листья, собравшись плотами, и Новиков впервые за много дней увидел здесь, между этими плотами-листьями, острый блеск звезд в черноте неподвижного водоема. Лягушка, испуганная шагами, звучно шлепнулась в воду, и звезды у берега закачались, заструились.

Новиков любил только лето, привык в годы войны ненавидеть осень за раскисшие от дождей дороги и внезапно подумал, что стал забывать неповторимые приметы того довоенного мира, ради которого ненавидел и осень, и немцев, и самого себя за тоску по прошлому. Услышав голос Алешина, Новиков остановился.

— Вот чепуховина, что это? Что за насекомое?

Младший лейтенант Алешин с детски озорным любопытством посветил в воду карманным фонариком, и Новиков проговорил, неожиданно улыбнувшись:

— Бросьте, обыкновенная лягушка!

— Вот дура! — восторженно воскликнул Алешин.

— Дайте фонарь.

Новиков взшел по ступеням застекленной террасы, зажег фонарик.

Первый этаж дома был пуст. В нем не жили, вероятно, уже несколько дней, пахло пыльными коврами, сладковатой духотой

чужого, незнакомого жилья. На полированной мебели, на сиденьях кресел — серый слой пыли со следами пальцев. Везде признаки торопливого бегства: в углу холла был замечен толстый ковер, свернутый в рулон; настесь распахнутый сервант искрился, сверкал стеклом посуды, хрустальными рюмками; ящики, заваленные столовым серебром, наполовину выдвинуты. Всюду валялись осколки фарфоровых чашек. Видимо, в поспешности искали самое ценное, что можно увезти, в злобе ломали, били то, что попадалось под руки и мешало. Зеркало трельяжа, — очевидно, прикладом, — расколото посередине, рядом на полу невинно розовела женская сорочка с кружевами.

— Балбесы! — сказал Алешин гневно. — Что наделали, идиоты дурацкие!

— Кто там? Танцуют, что ли? — Новиков указал фонариком на потолок, где дробно громыхали шаги, заглушенно проникали в нижний этаж голоса.

— Там один разведчик, старшина Горбачев, — ответил Алешин, пожав плечами.

Светя фонариком, Новиков по пружинящему ковру лестницы поднялся на второй этаж. Смешанным теплым запахом духов, едкой терпкостью нафталина пахнуло оттуда. Зеленый полумрак дымом стоял в этой пахучей комнате, вероятно спальне, с тщательно задернутыми на окнах шторами. Трое людей были здесь. Двое незнакомых — офицер и солдат — с сопением возились подле шкафов, суетливо выкидывали на пол шелковое женское белье, выбирая мужское, набивали им вещмешки, а разведчик Горбачев сидел верхом на кресле, пожевывая сигарету, презрительно цедил сквозь дымок:

— Барахольщики вы, интенданты, на передовую бы вас... — И, увидев вошедших офицеров, не без достоинства встал и несколько небрежно, снисходительно произнес: — Интенданты из медсанбата. Подштанники для солдат добывают... Да кружева все. Ха!

— Кто приказал? — спросил Новиков, подходя к интендантам. — Я спрашиваю, кто приказал?

Один из интендантов шумно повернулся, — был он потен, красен, коротконог, квадратные щеки выбрито лоснились, виски седые — капитан интендантской службы. Разгоряченный, он начальственно выкрикнул низким прокуренным баритоном:

— А вы кто такой? Что угодно? А?

— Я вас спрашиваю, кто приказал рыться здесь? — повторил Новиков, казалось, спокойным голосом и вскинул на капитана глаза, вспыхнувшие опасным огоньком. — А ну, вытряхивайте из мешков всё до последней нитки! И марш отсюда! Ко всем чертям!

Интендант зло смерил подбородком невысокую фигуру Новикова, заговорил с угрожающей самоуверенностью:

— Прошу потише, капитан! Не берите на себя много! Не для себя стараюсь, для вас же, солдат и офицеров, для медсанбата белье! Главное — спокойно, артиллерия... Васечкин! Бери и пошли! — скомандовал капитан солдату с унылой спиной. — Быстро, Васечкин!

Солдат этот растерянно топтался возле раскрытой дверцы бельевого шкафа, затем нерешительно подхватил до тесемок набитые вещмешки, и тучный интендант, предупреждающе поведя рукой в сторону Новикова, двинулся к выходу.

В то же мгновение Новиков шагнул навстречу, сказал гневно:

— Первую же сволочь, которая с барахлом переступит порог... Назад!

Сутулый солдат робко попятился, путаясь сапогами в кучах разброшенного женского белья, и тут интендант по-бычьи заревел с закипающей слюной в уголках рта:

— С дороги! Не лезь не в свое дело! Мальчишка!..

И, издав горлом сиплый звук, рванул на боку кобуру нагана.

— Младший лейтенант, отберите у него эту игрушку! — быстро и жестко сказал Новиков.

Младший лейтенант Алешин и следом Горбачев, пригнувшись, ринулись на капитана, и тотчас в углу послышалась тяжелая возня, злое сопение капитана, умоляющие вскрики сутулого солдата: «Не надо, товарищ капитан!..» И когда интенданта, грузного, с злобно налитыми кровью щеками, выводили из комнаты, он упирался, отпихиваясь, придушенно кричал:

— Наган отдайте! Личное оружие... Не имеете права! Не для себя белье, для медсанбата! Медсанбат разбомбило, ни хрена ты не понимаешь! Молокосос!

Его вывели; шаги, крики капитана удалялись, стихали на нижнем этаже. Новиков подошел к столу, налил себе полстакана воды и залпом выпил.

— Ну и мордач! Обалдел, просто обалдел! — почти восхищенно воскликнул Алешин, входя вместе с Горбачевым и оправляя ремень. — Вот игрушку взяли. — Он, возбужденный, зачем-то обтер о шинель наган, положил его перед Новиковым и, вроде бы ничего не случилось, сел к столу, независимо пощурился на свет лампы под зеленым абажуром. Затем потянулся к ящичку, набитому плитками шоколада. С удивлением увидел рисунок обертки: женская головка с опрятно расчесанными волосами, долька шоколада у полуоткрытых губ, чужие буквы на фоне башни, на железных пролетах. Сдвинув фуражку на затылок, прочитал, растягивая слова:

— Па-ри-ис, — и поднял заинтересованные глаза на Новикова. — Что такое? Что за «Парис»?

— Это по-французски — Париж. Немцы еще жрут французский шоколад, — ответил Новиков. — А это Эйфелева башня. Кон-

струкция инженера Эйфеля. Кажется, триста метров высоты. А впрочем, может быть, и вру. Забыл...

И, отодвинув наган к консервным банкам, внимательно оглядел комнату, повсюду разбросанное белье на ковре, двуспальную, с развороченной периной кровать, мягкие кресла. Потом достал из ниши над широкой тахтой запыленную книгу, полистал, швырнул ее на пол, сунул руки в карманы, — прошелся по глушащему шагу ковра.

— Немцы, — сказал он. — Здесь жили немцы, а не поляки. Отдыхали немецкие офицеры... Курортный городок.

— Да шут с ними, товарищ капитан, — успокоительно сказал Горбачев. — Садитесь, закусим, щоб дома не журились! Здесь продуктов — подвал! На год хватит. Товарищ младший лейтенант, вам, может, винца? А шоколад-то, разве это закуска? Плюньте. Ерунда!.. В подвале его штабеля...

— Вина? Пожалуйста.

Алешин отложил развернутую плитку шоколада, вопросительно посмотрел на Новикова, внезапно жарко покраснел, взял рюмку, наполненную ромом, и торопливо, неумело, давясь, выпил, после чего долго мигал, вбирая воздух ртом, наконец выговорил:

— За победу!.. — Он засмеялся, наклонясь к полу, украдкой смахнув с ресниц выжатые ромом слезы, и уже с наигранным выражением лихости откусил половину шоколадной плитки.

Горбачев выпил рюмку одним глотком, понюхал корочку хлеба, стал тыкать вилкой в банку свиных консервов, подвинул их к Алешину. Однако тот, жуя шоколад, замотал протестующе головой, говоря смело:

— Так привык. Спирт в Трамбове котелками дули и даже ничем не закусывали! Помните, товарищ капитан? Ух и рванули!

Новикову нравился этот синеглазый младший лейтенант с веселыми конопушками на носу, нравилось, как он скрывал юную свою чистоту наигранной беспечностью бывалого человека. Нет, младший лейтенант ни разу не пил котелками спирт в Трамбове, а когда разведчики принесли канистру этого трофейного спирта, он, сославшись на дурачки болевший живот, пить вовсе отказался, но сейчас Новиков сказал:

— Помню. Вы здорово тогда...

И чуть улыбнулся, наблюдая, как Алешин, красный, довольный, блестя глазами, разворачивал хрустящую серебристую обертку второй плитки шоколада.

— Очень здорово и лихо вы тогда! Ну, пошли! Батарея должна прибыть. Горбачев, вы останетесь здесь. Вернутся эти — гоните! Ясно?

— Как божий день.

Новиков встал, застегнул шинель; Алешин с видом разочарования рассовал по карманам четыре плитки шоколада, толкнул козырек фуражки со лба, строго сказал Горбачеву:

— Чтоб все как в аптеке, ясно? — и последовал за Новиковым старательно прочной походкой.

Когда шли по глухой аллее парка, уже заметно посветлел воздух, проступили среди неба верхушки оголенных лип, и Новиков шагал по шелестящим ворохам листьев, глядя сквозь узорчатые очертания ветвей на высоту. Он прислушался — и тут же по знакомому перезвону вальков, по отдаленным голосам команд, по крутой ругани ездовых понял, что орудия прибыли.

«С ума спятил Овчинников? — подумал Новиков, ускоряя шаги. — Что галдят под носом у немцев?» — и приказал Алешину:

— Бегом! Базар устроили!

— Не может быть! — ответил Алешин.

Бегом они поднялись по пологому скату на высоту, и Новиков различил пятна орудий, повозок, лошадей,двигающиеся силуэты солдат, приглушенно скомандовал:

— Тихо-о! Что у вас? Командир взвода, ко мне!

Ругань и голоса стихли, неясные силуэты застыли подле орудий, и, шумно дыша, подбежал к Новикову весь пахнущий горячим потом лейтенант Овчинников. Он доложил о прибытии.

— Вы что, Овчинников? — тихо, сдерживая себя, спросил Новиков. — Батарею без единого выстрела хотите угробить? Впереди нейтралка, немцы рядом, вам это не ясно?

— Ничего не ясно! — прошептал Овчинников возбужденным от недавних команд голосом. — Хреновина! Что, орудия на нейтралке мне ставить? Не перепутал Ремешков, товарищ капитан?

— Нет. А в чем дело?

— Минное поле тут немецкое за высотой, вот что! Орудия проскочили, а вот повозку на мину нанесло! Лошадь — вдребезги, хвоста не найдешь! Повозочного тяжело ранило. Ленка с ним возится! Значит, мне на нейтралке стоять? Без пехоты? — спросил он, еще не веря.

— Без пехоты. Алешин здесь на высоте. А за высотой на нейтралке вы, Овчинников. Почему я должен повторять приказ?

— Думал, ошибся Ремешков, — странно потухнув, ответил Овчинников.

— Никто не ошибся. Занимайте позицию, и без шума, — повторил Новиков. — Где раненый? — И, не услышав, что ответил Овчинников, пошел по высоте, в сторону нейтральной полосы.

— Куда? На мины? — крикнул Овчинников и рванулся к Новикову. — Жизнь осточертела, товарищ капитан? Ленка там, и вы еще... Надо саперов вызвать...

— Саперы вызваны. Только они не разминируют, а минируют...

Новиков не договорил, голос Овчинникова срезало на крик: «Ло-жи-ись!» — и тотчас раздался отчетливый хлопок, все нарастающее шипение. Новиков спиной почувствовал, что случилось

что-то позади, и, обернувшись, увидел: в небе стремительно взвивалась мерцающая, разгорающаяся звезда, и такая же звезда неслась из глубины озера за высотой. Верхняя звезда рассыпалась над озером зеленым огнем, осветив высоту, орудия, повозки, лошадей, фигуры солдат. И в те же секунды, пока ракета горела в небе, с конца озера, где должны были стоять орудия Овчинникова, красными стрелами посыпались на высоту трассы. Очень близко — за нейтральной полосой — четко заработал пулемет. И снова взлетела ракета, немного правее, и оттуда тоже брызнули цепочки очередей по высоте.

— Повозки — в укрытие! — скомандовал Новиков, уже не сомневаясь, что немецкое боевое охранение обнаружило батарею.

Подбежав к сгрудившимся повозкам боепитания, он увидел, как солдаты суматошно сгружали снаряжные ящики, а орудийные упряжки, грохоча передками, вскачь понеслись по высоте.

— Я приказал — в укрытие! — громко повторил команду Новиков, встретясь с лихорадочными глазами первого повозочного, который со стоном нетерпения кидал ящики на землю, и договаривал тише: — Батарея как на ладони! Вы это еще не поняли?

Над головой хлестнула очередь. Новиков нагнулся, повозочный упал животом на ящик, прохрипел:

— Товарищ капитан... Немцы совсем рядом... Целоваться можно. Мы ж не знали...

— Ма-арш! — приказал Новиков.

Эта последняя команда оторвала повозочного от земли. Он рванул вожжи, повозка покатила по скату высоты. Вокруг, озаренные ракетами, на рысях мчались мимо другие повозки, вслед им хлестали огненные струи пулеметных очередей. Бесперывно омываемая светом высота опустела и точно вымерла вся. Два пулемета вперекрест с перемещением били по ней — прочесывали каждую травинку острыми зубьями гигантского гребня. И Новиков, слыша приближающиеся тюканья пуль в землю, подумал, что немцы теперь не выпустят высоту из виду, будут прочесывать ее целую ночь — все это вдвойне осложняло дело, злило его. «Засечь батарею еще до боя!»

Пулеметы внезапно смолкли, и наконец ракеты сникли. Темнота упала на высоту. Новиков выпрямился и позвал вполголоса:

— Младший лейтенант Алешин!

— Я, товарищ капитан.

Возле зашуршала трава, быстро подошел Алешин, сказал возбужденно:

— Вот джаз устроили!.. Два пулемета я засек. Под самым носом стоят. Дать по ним огонь? Чтоб заткнулись!

— Не говорите чепухи, — оборвал его Новиков. — Батарею не демаскировать. Окапываться в полнейшей тишине. Все ясно? Раненые есть?

— Только один повозочный. Сужиков. На мину нарвался. Лена с ним.

— Знаю. Я сейчас туда. За меня остаетесь.

— Слушаюсь оставаться. — Алешин с сожалением задержал вздох, нарочито бодрым голосом добавил: — Возьмите это, товарищ капитан, Леночке, — и неловко протянул Новикову две плитки шоколада. — Подкрепиться... А то они тут в карманах понатыканы, плюнуть негде!

Новиков молча сунул шоколад в карман, как бы не обратив внимания на неловкость Алешина. Он никогда раньше не замечал между младшим лейтенантом и Леной каких-то особых отношений, какие, казалось ему, были между ней и Овчинниковым. И то, что Алешин смутился, говоря «Леночке», было Новикову неприятно. Он не хотел, чтобы этот чистый мальчик, напускавший на себя взрослость, попал под колдовство этой обманчиво непорочной Лены, знающей все, что можно только познать на войне, в окружении огрубевших от военных неудобств мужчин.

Спускаясь по высоте в район нейтральной полосы, Новиков смотрел под ноги, стараясь угадать, где начиналось неизвестное минное поле. «Наскочили на немецкую мину?» — соображал он и тут, сойдя в котловину, услышал предостерегающий голос:

— Кто идет? Осторожней! — и сейчас же заметил справа, вблизи кустов, темнеющее пятно.

Он подошел... Темное пятно справа оказалось разбитой, без передних колес повозкой, рядом возвышался труп убитой лошади. Лена стояла на коленях, перевязывала тихо стонущего Сужикова, торопливо накладывала бинт.

— Сейчас, сейчас, — говорила Лена убеждающим шепотом. — Ну, еще немножко...

— Сильно его? — спросил Новиков, наклоняясь.

Она сказала злым голосом:

— Зачем вы здесь? Одного мало, да?

— Сужиков! — позвал Новиков и опустился на корточки около раненого. — Что же ты, а? В конце войны... С Киева вместе шли...

Сужиков, пожилой солдат, воевавший в его батарее с форсирования Днепра, лежал, запрокинув голову, напряженно округленные глаза глядели в небо; обросшее лицо было серо, узко, он с усилием перевел взгляд, узнал Новикова, губы беспомощно зашевелились:

— Случайно... Разве знал?... Вот обидно, — и крупные слезы медленно потекли по его щекам. — Обидно, обидно, — сквозь kloкочущий звук в горле повторял он.

Нет, Сужиков не говорил о смерти, но Новиков понял, что война для него кончилась раньше, чем должна была кончиться, и горько кольнуло ощущение несправедливости.

— Не отчаивайтесь, Сужиков, не надо, — заговорила Лена поспешно и ласково, промокая бинтом слезы, застрявшие в щетине его щек. — Вы будете жить, Сужиков... Боль пройдет, еще немножко...

Новиков терпеть не мог тех ложных слов, какие говорят медсестры умирающим, и, испытывая неловкость огрубевшего к горю человека, подумал, что он не хотел бы, чтобы его ласково обманывали перед смертью, если суждено умереть: от этой последней ласки жизни не становилось легче.

— Не стоит его успокаивать. Он все понимает. Прощай, Сужиков. Я тебя не забуду, — сказал он и легонько сжал худое плечо солдата. Встал и, уловив снизу слабый голос Сужикова: «Спасибо, товарищ капитан» — почувствовал острое неудобство этой необъяснимой благодарности. «Вот еще один...»

Минут через десять прибыла санитарная повозка из медсанбата, и Сужикова увезли.

Они шли рядом, Новиков и Лена, молчали. Она повернулась к нему, почти касаясь его грудью, быстро заговорила:

— Я бы одна отправила его! Зачем пришли? Хотите героически погибнуть на mine? Кто вас звал? Это мое дело!

— Это мой солдат, — ответил Новиков. — Идемте к Овчинникову. Только осторожней, не петляйте по минам, шагайте рядом со мной. У меня, кажется, больше опыта. — И добавил: — Кстати, вам шоколад от Алешина.

— Какой шоколад? О чем вы? Здесь не детский сад.

Влажный блеск засветился в ее глазах, и он увидел, как то ли презрительно и ненавидяще, то ли жалко и беспомощно, как сейчас у Сужикова, задрожали ее губы. И она резко пошла вперед, по котловине, к озеру.

Новиков догнал и остановил ее.

— Я сказал вам: идите рядом со мной. Недоставало мне еще одного раненого. Слышите?

Она не ответила.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Два орудия — взвод лейтенанта Овчинникова — были выдвинуты в сторону ничьей земли на двести метров от высоты, где стоял взвод младшего лейтенанта Алешина.

Расчеты Овчинникова, вгрызаясь в твердый грунт, окапывались в полном молчании — команды отдавались шепотом, люди работали, сдерживая удары кирок, стараясь не скрипеть лопатами.

При сильных порывах ветра, налетавшего с озера, доносились тревожные голоса немцев в боевом охранении, звон пустых гильз, по которым, видимо, ходили они в своих окопах. Расчеты, замирая, не выпуская лопат из рук, ожидали взлета ракет, близкого стука пулемета, — порой, казалось, слышно было, как немцем-пулеметчиком продергивалась железная лента.

Лейтенант Овчинников, еще не остывший после слепого прорыва орудий через минное поле, полулежал на свежем бруствере огневой позиции, жадно курил в рукав шинели, командовал шепотом:

— А ну, шевелись, шевелись! Лягалов, не спать! С лопатой обнимаетесь? Или жинку вспомнили?

Он видел, как маслянисто светились во тьме белые спины раздевшихся до пояса солдат, запах крепкого пота доходил до него.

— О чем задумались, Лягалов? — опять спросил он, зорким кошачьим зрением следя за работой, и нетерпеливо приподнялся на бруствере. — Чего размечтались? Жить надоело? Действуйте, говорят!

Замковый Лягалов, солдат уже в годах, с некрасивыми толстыми губами, в постоянно сбитой поперек головы пилотке, стоял, обняв лопату, держась за оттянутый подсумком ремень, бормотал усталым голосом:

— Передохну, товарищ лейтенант, маленько... Резь в животе. После немецких консервов... Я маленько...

— Вот, хрен его расчеши! — захихикал насмешливо злой наводчик Порохонько, светлея в потемках тонким безволосым телом. — Графиню он польскую вспомнил, любовницу. Тут в замке одном... Як на марше зашли напиться в замок, бачим: графиня, руки белые, в кольцах... Шмяк на колени перед Лягаловым: «Я такая-сякая, капиталистка, туда-сюда, и от любви умираю, возьмите в жены, советской жолнеж, ум-мираю от сердца...»

— Отчепись, — смущенно и протяжно попросил Лягалов, по-прежнему держась за ремень. — Знобит меня, товарищ лейтенант... Разрешите? — И, потоптавшись неловко, полез с неуклюжестью пожилого человека наверх, осыпая ботинками землю, оглядываясь в сторону боевого охранения немцев.

— Насовсем убьет, гляди, — заметил Порохонько язвительно и поплевал на ладони. — Графиню сиротой оставишь!

Сержант Сапрыкин, тяжело посапывая, ожесточенно долбя грунт, с укором сказал:

— Ну, чего прилип к человеку? Изводишь дружка ни с того ни с сего. Язык у тебя, Порохонько, болтает, а голова не соображает. — И миролюбиво вздохнул: — Верно, с животом у него неладно, товарищ лейтенант. Перехватил консервов. Это бывает.

— У плохого солдата перед боем всегда понос! — беззлобно ответил Овчинников, вмял окуроч в землю, стал снимать

шинель. — До рассвета не окопаемся — все мертвецы. До всех дошло?

Сапрыкин негромко сказал:

— Отсель недалеко чехи, соседи наши, окапываются. Ребята хорошие. Давеча с одним разговаривал. Партизаны, говорит, восстание в Чехословакии подняли, наших ждут. Веселое время идет, ребятки! А ну нажимай, пота не жалей, все окупится!

— Это что — для агитации, парторг? Или так, для приподнятия духа? — едко засмеялся Порохонько.

— Мне тебя агитировать — дороже чихнуть, орудийный банник ты! — ответил Сапрыкин добродушно. — У тебя свой ум есть: раскидывай да уши востри куда полагается.

— Нажима-ай! — хрипло скомандовал Овчинников. — Разговоры прекратить! Жми!

Оставшись в гимнастерке, Овчинников с хеканьем вдавил сапогом лезвие лопаты в твердый грунт, сильным рывком отбросил землю на бруствер. Солдаты замолчали. То, что лейтенант взялся сам за работу, вдруг вызвало у всех обостренно-тревожное чувство. Все копали в напряженном безмолвии, обливаясь разъедавшим тело потом.

Раз Сапрыкин, не рассчитав силу, со звоном ударил киркой по камню, и тут же раздались частые хлопки у немцев. Кроваво-красные ракеты встали, развернулись в небе, залили обнажающим светом край озера, поле вокруг. И люди на огневой позиции увидели друг друга, повернутые в одну сторону головы, розовые отблески в зрачках.

— Ложи-ись! — неистовым шепотом скомандовал Овчинников.

Пульсирующее пламя вырвалось на том берегу озера, и люди упали на огневой, прижимаясь разгоряченными телами к холодной земле, — раскаленные вихри трасс бушевали над ними. В тот же миг на огневую суматошно скатился, придерживая галифе, Лягалов, бросился ничком, головой в бок лежавшему Порохонько, удушливо икая, давясь словами:

— Ка-ак он хлестанет, как хлестанет, хосподи...

— Эх ты, поно-ос, — зашептал Порохонько. — О графине подумал, икота началась на нервной почве...

Ракета упала и горела костром за бруствером, дымя, ослепляя, и хотелось горстями земли забросать ее брызгающий мертвенный свет. Казалось, бруствер не прикрывал никого и все лежали на ровном месте, как голые.

— Теперь житья не дадут, — сказал Сапрыкин.

— Заметили, фрицево отродье! Точно подзасекали, — мрачно проговорил Овчинников и выматерился от удивления: разом сникли ракеты, разом смолк и стук пулеметов. Он вскочил на ноги, подал команду: — За лопаты, наж-жимай! Душу из всех вон!

Первым поднялся неуклюжий Лягалов, — виновато поддерживая галифе, кинулся искать лопату, наткнулся на вставшего с земли деловитого Сапрыкина, тот остановил его рассудительно:

— Потихоньку. С какой стати расшумелся, как трактор? С какой стати? Голову гусеницей отдавишь! — и взялся за кирку.

— Это он герой, колхозный бухгалтер, — отозвался Порохонько. — Одно дело: то понос, то графиню прижимает, то головы отдавливает, ловка-ач! У него и фамилия такая — лягает по головам. Залез в кусты демаскировать.

— Зачем так, разве я виноват? — тихо, конфузливо спросил Лягалов. — Измываешься... Легче тебе так?

— Я ж люблю тебя за ловкость.

— Прекратить разговоры! — скомандовал Овчинников вполголоса, и мгновенно стихло на огневой.

Подождав, лейтенант выпрямился, всматриваясь в темноту.

— Идет кто-то, — произнес он и, придвинувшись к краю огневой, окликнул: — Кто идет?

— Двое идут, — сказал Сапрыкин. — Может, чехи? И по минному полю... Вот славяне! Постой, кажись, комбат с санинструктором.

Овчинников досадливо выругался. Он не скрывал своего расположения к санинструктору, никто из солдат, уважавших Овчинникова за откровенность, простоту взаимоотношений, не мог осудить его. Однако то, что Лена была не одна, не понравилось ему, хотя точно знал, что между ней и комбатом не было той, с большим намерением игры, которую умело, легко, почти удачно начал он после появления нового санинструктора в батарее.

Подошли Лена и капитан Новиков, их фигуры проступили над бруствером среди звездной темени ночи.

— Леночка, дайте руку. Упасть можно, — приветливо сказал Овчинников, поставив ногу на бруствер. — Прошу вас, Леночка. Спасибо, что пришли.

Она протянула руку, и он особо значительно стиснул ее узкую, влажную кисть своими грубо-сильными, в мозолях пальцами, помог сойти на позицию. Когда сходила она, вес ее тела, ее движения доверчиво передались на руку Овчинникова, и, внезапно задохнувшись, он почувствовал в этом прикосновении иной, обещающий смысл.

— Связь с Ладьей проложил? — спросил Новиков.

Овчинников, накидывая на плечи шинель, быстро ответил:

— Будет связь. В землянку прошу, товарищ капитан. И вас, Лена... Всем продолжать работать. Возьмите мою лопату, Лягалов.

Новиков не удивился тому, что сам командир взвода вместе с расчетом копал огневую, — хорошо знал самолюбивого лей-

тенанта, тот не привык сидеть и ждать: окапывался всегда первым и первым докладывал о готовности огня.

Когда влезли в свежевырытый блиндаж, крепко пахнущий сыростью, и, загородив вход плащ-палаткой, сели на солому, Новиков, чиркая зажигалкой, прикуривая, внимательно посмотрел на Овчинникова, сказал:

— К рассвету ты должен вкопаться в землю и замаскироваться так, чтобы тебя в упор не было видно.

— Знаю, — отрезал Овчинников, тоже прикуривая.

Помолчали.

— Скажите, разве в дивизионе не знали, что здесь минное поле? — спросила Лена сердито, улавливая от загоравшихся огоньков папирос пристальный взгляд Овчинникова.

— Дайте папиросу, заснули, товарищ лейтенант? — сказала она, обращаясь к нему, — этот устремленный его взгляд беспокоил ее.

Овчинников встrepенулcя, папироса осветила его крючковатый нос, край худощавой щеки, он вдруг заговорил игривым голосом:

— Разведчики научили? Не идет курить вам. Я лично курящих девушек не уважаю. Духи, одеколон — другое дело. Для вас обещаю. После первого боя.

И, ревниво покосившись в сторону молчавшего Новикова, протянул ей папиросу, зажег спичку. Лена не без насмешливого вызова задула огонь, сказала:

— Спасибо. У меня есть прекрасные французские духи. Разведчики подарили. Но лучше бы вместо них побольше соломы в блиндаж. Разрешите, я распоряжусь, товарищ лейтенант? — И, отдернув плащ-палатку, вышла.

— Чего это она? — Овчинников уязвленно хмыкнул. — Хитрый, скажи, орешек! Эх, после войны жена бы была, королева в постели! — проговорил он преувеличенно откровенно и добавил снисходительно: — Хороша, капитан!

Разговором этим, видимо, он хотел показать Новикову, что дела его с Леной зашли далеко, достигли того естественного положения сблизившихся людей, когда он может уже таким тоном говорить о ней.

Однако Новиков сказал не то, что ожидал от него Овчинников:

— Запомни, твои орудия примут первый удар. Шоссе — на твою ответственность. Но рассчитывай на круговой сектор обстрела.

— Знаю.

— Минные поля саперы разминировать не будут. Наоборот, саперы минируют котловину перед твоими орудиями. Вокруг тебя везде мины: и наши и немецкие. Если немцы двинут на тебя, они застрянут на этих полях. Ясно?

— Знаю.

— Что знаешь?

— Ловушка, значит? — недоверчиво произнес Овчинников.

— Какая? — Новиков усмехнулся. — Просто воюем на нейтральной полосе. Пусть твои связисты свяжутся с саперами, те отметят проход к высоте в минных полях.

— Знаю! — снова отсек Овчинников.

Это резкое «знаю» говорилось им обычно из тяжелого самолюбия, говорилось потому, что Новиков по годам был гораздо моложе его и, казалось, жизненно неопытнее, и лишь стечением обстоятельств, невезением объяснял Овчинников то, что не он, Овчинников, лейтенант в двадцать шесть лет, а слишком молодой Новиков командовал батареей.

— Что «знаю»? — миролюбиво спросил Новиков, и по этому тону Овчинников почувствовал его превосходство над собой. — Действуй. И немедленно прокладывай связь с высотой. Счастливого! Желаю увидеть тебя живым!

Новиков поднялся, откинул висевшую над входом плащ-палатку.

Звездная, неестественно тихая ночь, со свежестью, крепостью горного воздуха, с осторожным шелестом трав, влилась в накуранный блиндаж. Блеск крупной звезды синим огнем дрожал, струился над бруствером.

— Молчат и ждут, — проговорил Новиков задумчиво. И спросил не оборачиваясь: — У тебя нет такого чувства, что война скоро кончится? В Венгрии Второй Украинский вышел на Тису. В Югославии наши танки на окраине Белграда. Скоро конец...

Овчинников не пошевелился в глубине блиндажа, там разгорался и гас, подсвечивая его тонкие губы, огонек папиросы.

— Нет, капитан.

Но этот ответ был ложью. Овчинников, как и все остальные, ощущал приближение конца войны и порой в часы затишья испытывал томительное состояние некой растерянности, невнятного беспокойства о чем-то словно бы недоделанном им на войне, что успели сделать другие.

— Нет! Не думал, — хмуро повторил он, и тотчас Новиков ответил полусерьезно:

— Ну и дурак! Ладно. Пошел.

В ходе сообщения, еще не открытым полностью, он столкнулся с наводчиком Порохонько. Тот, взмокший, в телогрейке, надетой на голое тело, нес ворох соломы, стянутой в узел плащ-палаткой. Спросил, крикнув, подбрасывая зашуршавший ворох на лопатках:

— Вы чи не вы приказали, товарищ капитан? Может, разведка?..

Новиков сделал вид, что не понял намека.

— Приказ отдал я. Пора научиться жить на войне с относительным удобством. — И пошутил без улыбки: — Скоро будем спать на чистых простынях, я вам обещаю.

Порохонько протиснулся к землянке, свалил со спины ворох и понимающе, сурово даже, уставился в темноту, поглотившую комбата. Первым признаком надвигавшегося боя (он знал это) была странная спокойная веселость Новикова.

Была полная предрассветная тишина. Немцы молчали.

За полчаса до рассвета Овчинникову доложили, что все готово. Овчинников, разбуженный сержантом Сапрыкиным, некоторое время лежал на соломе в блиндаже, окутанный мутной дремотой, как паутиной, а когда сел, заболели мускулы поясицы, спросил не окрепшим после сна голосом:

— А второе орудие? Доложили о готовности?

— Нет еще.

В землянку входили истомленные солдаты с землистыми лицами, щурились на свет. На снаряжном ящике в тепло-сыром воздухе неподвижными фиолетовыми огнями горели немецкие плошки. Дымились котелки, стояла огромная бутылка красного вина. Телефонист Гусев, наклоня стриженую голову, ложкой носил из котелка к губам горячую пшеничную кашу, дул, обжигаясь, на ложку.

Сержант Сапрыкин резал буханку черного хлеба, прижав ее к груди, не соразмеряя силу, так нажимал на нож, — казалось, полоснет себя острием. Хозяйственно раскладывая крупные ломти на ящике, посоветовал с домовитым покоем в голосе:

— Поужинайте, товарищ лейтенант. С вином. Капитан Новиков прислал. Садитесь, ребятки.

— Есть не хочу.

Овчинников налил из бутылки полную кружку вязкого на вид вина, жадно выпил терпкую спиртовую жидкость, брезгливо передернулся:

— Фу, дьявол, дрянь какая! Повидло прислал! А ну, Гусев, командира второго орудия старшего сержанта Ладью!

Гусев вытер поспешно губы — он, будто ребенок, измазал их пшениной кашей, — сорвал трубку с аппарата, подул в нее, как на ложку, заговорил баском:

— Ладью, давайте Ладью... Спите? А нам неясно, что вы делаете. — И, недоуменно пожав плечами, протянул трубку Овчинникову. — Он... музыку какую-то слушает... С ума посошли.

— Какая еще музыка у тебя, Ладья? — лениво спросил Овчинников, услышав по проводу близкий голос командира второго орудия. — Трофеи, может, виноваты? Как у вас? А если все в порядке, докладывать надо. Что за музыка? Какая? Где?

Он ловко застегнул шинель на плотно слитой из мускулов, чуть сутуловатой фигуре, спросил тоном приказа:

— Лена у орудия? — И, не ожидая ответа, вышел из блиндажа.

Был тот кристально тихий час ночи, когда переместились звезды в позеленевшем небе, прозрачно поредел воздух над безмолвной землей и особой, острой зябкостью влажного рассвета несло от темной травы на бруствере, от стен ходов сообщения, от мокро блестящих лопат в ровике.

Поеживаясь от сырости, Овчинников мягкими шагами подошел к орудию, оттуда донесся негромкий разговор, у станины неясно чернел силуэт часового: по неуклюжей позе он узнал Лягалова. Рядом на снарядном ящике сидела Лена, на ее плечи была накинута плащ-палатка. Лягалов говорил, вздыхая, голос звучал сонно, ласково:

— Не женское это дело — война. Какое там! Мужчину убьют — это туда-сюда, его дело. А женщина — у ней другие горизонты. У меня тоже старшая дочь, Елизавета. Тоже, извиняюсь, фыркальщица, студентка... Парни за ней табунами ходили на Кубани-то. А разве могу я головой представить, что она вот тут бы, как вы, сидела? Не могу! Нет, не могу! Двести бы раз вместо нее согласился воевать! А вы откуда сами-то? Учились где? Школьница небось?

— Я из Ленинграда, училась в медицинском институте. Вы сказали — фыркальщица? — спросила Лена. — А что это значит?

— Да такая, если что — фырк. И пошла... Я не говорю про вас.

Лена засмеялась тихим смехом, охотно засмеялся и Лягалов, поглаживая на коленях большой крестьянской рукой автомат, точно лаская его, спросил:

— А родители как у вас?

— Я одна, — сказала Лена. — Нет, лучше один раз воевать, но навсегда. Я раньше представляла фашизм только по газетам. Потом увидела сама. Нет, с ними должны воевать не только мужчины, но и женщины, и дети. Один раз и навсегда! Иначе нельзя жить.

Замолчали.

— Лягалов! — строго позвал Овчинников и бесшумно подошел к ним. — Идите отдыхайте! Я побуду здесь. Леночка, мне поговорить с вами необходимо.

Лягалов в нерешительности потоптался, с неуклюжей покорностью заковылял от орудия, растерянно взглядывая на недвижимую фигуру Лены, затем исчез в ровике. Подождав немного, Овчинников сел на ящик, почти касаясь ее плеча, вынул из кармана кожаный трофейный портсигар, предложил, игриво улыбаясь:

— Покурим, а, Леночка? В рукав...

— Не курю.

— Та-ак... Значит, мило шутили надо мной? Что ж, очень приятно, можно сказать, — проговорил он по-прежнему игриво-про-

стодушно, однако, казалось, не без усилия владея голосом, и спросил еще: — Может, перед комбатом форсили?

Она сидела невнимательная, едва заметно хмуря брови, сказала:

— Ничего не слышите? — И повернулась к озерцу. — Послушайте. Что там у них?

— А именно? — не понял Овчинников.

Низко и свинцово, подступая из темноты, блестел край озера. Серая, застывшая по-осеннему, затянутая туманцем вода не отражала высоких звезд, кусты на берегу, откуда всю ночь стреляли пулеметы, стояли затаенно. Тишина рассвета осторожно прижалась к холодеющей воде озера. И тотчас Овчинников с тревогой и недоверием услышал, как сквозь узкую щель, нежные, звенящие звуки саксофонов, дробный грохот барабанных палочек, сентиментально-сладкий женский голос пел о чем-то томительно-незнакомом. Внезапно появилось такое чувство, будто там, за озером, приемник немцев поймал случайную, с другой планеты, музыку (которую слышали и возле орудия старшего сержанта Лады). И сразу возникшее у Овчинникова подозрение о том, что у немцев в эти самые крепкие часы сна не спали, неспокойно насторожило его.

Он сидел несколько минут, прислушиваясь. Слева, очень далеко, за ущельем, в горах, слабо тронули тишину пулеметные очереди, витиеватым узором вплелись автоматные строчки, кругло ударили танковые выстрелы, и все смолкло. В той стороне четвертые сутки шел бой в районе Ривн. Здесь смолк и патефон у немцев. Безмолвие лежало везде.

— Что вы, Леночка? — сказал Овчинников небрежно. — Обыкновенная обстановка. Вам-то что за забота? Серьезно обещаю вам — прекрасные духи достану. Встречались — не брал. А вот эту штучку взял. Хороша? Хотите, подарю?

Он вынул из кармана нагретый теплом тела, игрушечно отливающий перламутром рукоятки маленький, изящный пистолет, подбросил его, поймал в воздухе.

— Немка военная какая-то носила. Даже себя убить, должно быть, невозможно. И ранить нельзя, а так вещь, вроде игрушки. У вас оружия нет, возьмите...

— Ну-ка покажите.

Лена легко скинула зашуршавшую плащ-палатку, чтобы не сковывала движения, и будто разделась перед ним. Он увидел четко вырезанные среди свинцового свечения озера ее узкие плечи, тонкую шею; миндальный запах волос, словно бы обещающий сокровенную близость, коснулся Овчинникова при повороте ее головы.

— Дамский «вальтер», — услышал он голос Лены. — Это действительно игрушка.

Он смутно слышал ее голос, как сквозь воду, и только остро и ревниво мелькнувшая в его сознании мысль о том, что она хорошо знала то, чего не знали другие женщины, что она холодна и недоступна из-за его нерешительности, отозвалась в нем нетерпеливой дрожью, в прерывистом шепоте его.

— Как гвоздь вошли в сердце, Леночка! Клещами не вытащишь. Я тебя никому не дам!..

И сильно, по-мужски опытно обнял ее, рука его, лаская, скользнула от плеч к тайно теплым, сжатым бедрам. Он так резко повернул ее к себе, так плотно прижал грудью, что она откинула голову, замотала головой. Он начал порывисто, колюче-жадно целовать ее холодный, сопротивляющийся рот, зубами стучаясь о стиснутые ее зубы.

— Леночка, Леночка...

Она упруго вырвалась, вскочила с перекошенным лицом, ударила изо всей силы его по виску, сказала страстно и зло:

— Дурак, глупец! Убирайся к черту! Иначе я не знаю что сделаю!..

Он сидел оглушенный, глядя одеревеневшую щеку, потом неожиданно засмеялся удивленно, подставил лицо, дрогнули ноздри его крупного крючковатого носа.

— Еще... ударь... еще!.. Сильней ударь!

Она шагнула к нему.

— Да, ударю!

— Товарищ лейтенант, к телефону вас. Немедленно! — послышался робкий голос Лягалова, и оба одновременно увидели в посеревшем воздухе силуэт его головы над ровиком.

— Кто там? Лягалов? Подсматривали? — гневно спросил Овчинников. — Я спрашиваю, подсматривали?

— Никак нет, — сдерживая зевоту, ответил Лягалов. — Живот у меня. По нужде вышел. Комбат вас... А я на пост встану.

Овчинников до странности быстро потух, лишь колючий подозрительный блеск горел в зрачках. Он косо взглянул на белеющее лицо Лены и, ссутулив плечи, сказал:

— Можешь идти спать к разведчикам. Иди. Мы им в подметки не годимся. Покажи им класс.

И мягкими, щупающими шагами двинулся к ровику мимо Лягалова, вошел в душный, наполненный упоенным храпом блиндаж. Телефонист Гусев дремал в сонной полутьме и, все время сползая спиной по стене, усиленно разлеплял веки. Трубка лежала на его коленях. Овчинников схватил трубку, еще не вполне остыв, возбужденно проговорил:

— Второй у телефона!

— Почему не докладываете о проходе? — спросил голос Новикова. — С саперами связался?

— За мою жизнь беспокоишься? — произнес Овчинников, беспричинно злясь на этот спокойный голос Новикова (сидит себе

в коттедже и водку пьет!). — Я приказ выполняю! Отсюда драпать не собираюсь! За меня не беспокойся! Именно за меня!

— Если прохода не будет, отдам под суд! — тихо и внятно сказал Новиков. — Именно за тебя я не беспокоюсь.

— А-а, куда угодно! Хоть под суд, хоть к дьяволу!

Он сидел на нарах, сухолицый, с вислым носом, расставив мускулистые руки, самолюбиво сжав губы, — был похож на взъерошенную хищную птицу.

— Да для чего порох рассыпать? Схожу я к саперам, обойдется. Ложитесь, товарищ лейтенант, я потопая потихоньку...

Только сейчас Овчинников заметил сержанта Сапрыкина. Наклонясь в углу над снарядным ящиком, он, добродушно улыбаясь, приклеивал к сильно потертому, помятому партбилету отставшую фотокарточку: крупное лицо, мягкое, задумчиво-домашнее, слегка серебрились виски при слабом свете лампы.

— Вот наказание, скажи на милость. Отклеивается, и никаких! От сырости или поту? В какой карман класть? Вот шелковую тряпочку от немецкого пороха достал. Годится?

Медлительно завернул партбилет в шелк, долго засовывал его в пришитый на тыльной стороне гимнастерки карман, потом поднялся, говоря покойно, степенно взвешивая слова:

— Пошел я, товарищ лейтенант. А вам бы отдохнуть.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Командир дивизиона майор Гулько приехал на огневую Новикова к четвертому часу ночи.

Хлопая кнутом по узкому сапогу, осмотрел позицию; звеня шпорами, прошелся перед орудиями, здесь в раздумье постоял на высоте, вглядываясь в озеро левее нейтральной полосы, где в двухстах метрах от немцев были поставлены на огневые позиции орудия Овчинникова.

— Позиция дурная. Орудия как на ладони. Но лучшей нет. Как полагаете, капитан Новиков?

— Я полагаю, что немцы рядом, я приказал разговаривать шепотом. Вы же, товарищ майор, звените шпорами и разговариваете громко, как на свадьбе, — нестеснительно и прямо сказал Новиков. — Пулеметы уже пристреляли позицию.

Если в штабной землянке майор Гулько мог сидеть в присутствии офицеров в одной натальной рубашке, то в батарее он обычно приезжал по-уставному подтянутый, тщательно, до синевы выбритый, был весь крест-накрест перетянут новыми скрипучими ремнями, говорил громким голосом, с той командной интонацией, которую обычно подчеркивают интеллигентные

люди на войне. Не раздражаясь, однако, на замечание Новикова, Гулько невозмутимо хлестнул кнутом по голенищу, сказал:

— Взводу Алешина отдайте приказ отдохнуть по-человечески. Пока спокойно. В этой самой респектабельной вилле. Заслужили. Пусть спят на мягких перинах, на постелях, на чистом белье.

— Я отдал уже приказ, — ответил Новиков. — Прошу в особняк.

...В их распоряжении было несколько часов. Сколько — они не знали.

Офицерам не спалось. Сидели на втором этаже особняка, плотно задернув шторы, из тонких хрустальных рюмок пили пахучий французский коньяк, много курили, мало закусывали — и не пьянели.

Дым слоями шевелился над зеленым абажуром керосиновой лампы. Тепло было. На кожаных диванах, на расстеленных по всему полу коврах храпели утомленные за ночь солдаты; в кресле, припав к журнальному столику, ласково обняв телефонный аппарат, спал, скошенный усталостью, связист Колокольчиков, сладко чмокал губами, терся щекой о трубку, бормотал во сне:

— А ты к колодцу сходи... к колодцу...

Заряжающий Богатенков, недавно сменившийся с поста у орудий, полулежа на ковре, сосредоточенно пришивал крючок к шинели, изредка поглядывал на Колокольчикова с нежностью. Богатенков темноволос, атлетически сложен, движения больших его рук уверенны, лицо, покрытое ровной смуглотой, красиво.

— Бывает же, товарищ капитан, — сказал он, обращаясь к Новикову. — В госпитале два месяца лежал — бомбежки снились, здесь, на передовой, — полынь, степь на зорьке, терриконики снятся, лампочки в забое. Проснешься — будто гудок на шахту. А к Колокольчикову вон... колодцы привязались.

— Ложитесь, — сказал Новиков. — Не теряйте минуты.

Майор Гулько, перекатывая сигарету во рту, брезгливо морщась от дыма, перелистывал прокуренными пальцами толстую иллюстрированную книгу, лежавшую на столе, не без отвращения говорил:

— Разгул цинизма в степени эн плюс единица. Кровь, смерть, улыбки возле могил. Разрушение. «Фотографии России»... Книга для немецких офицеров. Петин! — позвал он. — Эту сволочь — в уборную, в сортир! В сортир! — заключил он и, сердясь, швырнул книгу сонно разомлевшему в кресле ординарцу.

Петин вздрогнул, стряхнул дремотное оцепенение, тоже полистал, пощупал книгу и во всю ширину лица заулыбался:

— Куда ее, товарищ майор? Наждак!

Гулько зло фыркнул волосатым носом.

— Я, с позволения сказать, инженер, всю жизнь бродил по стройкам и знаю, что такое Россия, — отчетливо заговорил он. —

И отлично знаю, что такое фашизм. Мир в руинах, распятия на деревьях, пепел городов, двуногое подобие человека с иступленной жаждой уничтожения, садизма, возведенного в идеал. Вы что так смотрите, Новиков?

— Я хотел сказать, что знаком с прописными истинами, — ответил Новиков.

— О, если бы каждый в мире знал эти прописные истины! — проговорил Гулько и насупился.

— Я не люблю, товарищ майор, когда вслух говорят о вещах, известных каждому, — сказал Новиков. — От частого употребления стирается смысл. Надо ненавидеть молча.

— Вон как? Весьма любопытно, — ворчливо произнес Гулько, косясь на затихшего за столом Алешина. — А вы, младший лейтенант? Что вы полагаете, мм?

Новиков отодвинул рюмку, вынул портсигар, звонко щелкнул крышкой.

— Он непосредственно подчиняется мне, значит, согласен со мной.

Алешин с независимым видом слушал, но после слов капитана заалел пятнами и неожиданно засмеялся тем естественным веселым смехом молодости, который так поражал Новикова в Лене.

— Россия, — задумчиво проговорил Новиков. — Я только в войну увидел и понял, что такое Россия. Вы знаете, Витя, что такое Россия?

Оттого, что капитан назвал его Витей, младший лейтенант посмотрел почти влюбленно на лицо Новикова с заметной щербинкой под левой бровью. И тогда Гулько заинтересованно взглянул в серые, мрачноватые глаза капитана, самого молодого капитана в полку, этого полувзрослого-полумальчика, спросил:

— Что же? Выкладываете...

Новиков не ответил.

— До России не достанешь. За Польшей она. Эх, километры! — проговорил Богатенков, укрываясь шинелью, натягивая ее на голову.

Новиков встал, привычным жестом передвинул пистолет на ремне, подошел к телефону. Связист Колокольчиков, по-прежнему нежно обнимая аппарат, неспокойно терся щекой о трубку, дрожа во сне синими от усталости веками, бормотал:

— Ты к колодцу иди, к колодцу... Вода хо-олодная...

— Вот она, Россия, — тихо и серьезно сказал Новиков.

Осторожно высвободил трубку из-под горячей щеки связиста, вызвал орудия Овчинникова. Подождал немного, стоя против Колокольчикова, который с сонным лепетом поудобнее устраивался щекой на ладони, заговорил вполголоса о минном поле, но закончил твердо:

— Если прохода не будет, отдам под суд, — и положил трубку.
— Слушайте, Новиков, — проговорил майор Гулько, поцарапав ногтем по стопке немецких журналов. — Вообще, сколько вам лет? Кто вы такой до войны — школьник, студент?

— Какое это имеет значение? — ответил Новиков. — Если это интересует, посмотрите личное дело в штабе дивизиона.

— Ну, время истекло, мне пора, — сказал Гулько. — Петин, лошадей! — Звеня шпорами, подтянул узкие сапоги, очевидно жавшие ему, и, не отрывая ласково погрузневших глаз от ручных часов, заговорил: — Как бы ни сложилась у вас обстановка, капитан Новиков, ваша батарея самая крайняя на фланге. На легкий бой не надейтесь.

— Не надеюсь, товарищ майор, — ответил Новиков и замолчал: Гулько явно знал то, чего не знал он.

— И прошу вас как можно меньше пить эту трофейную дрянь, — посоветовал Гулько и тихонько и нежно взял капитана под локоть, повел к двери, остановился, глядя в лицо Новикова, сказал совсем шепотом, чтобы не слышал Алешин: — В сущности, мальчик ведь вы еще, что уж там, хоть многому научились. А у вас вся жизнь впереди. Пока молоды, спешите делать добро. В молодости все особенно чутки к добру. Простите за философию. Война кончится. Всё у вас впереди. Если, конечно, останетесь живы. Если останетесь...

И, пожав Новикову локоть, вышел, машинально нагнув в дверях худую спину, вроде бы из низкой землянки выходил. С ненужным щегольством протренькали шпоры на лестнице, стихли внизу.

Новиков сунул руки в карманы, прошелся по комнате, испытывая беспокойство, похожее на досаду: никто прежде так прямо не напоминал о его молодости, которую он скрывал, как слабость, и которой стеснялся на войне. Люди, подчинявшиеся ему, были вдвое старше, а он имел непрекословные права опытного, отвечающего за их жизнь человека и давно уже свыкся с этим.

— Что это? — спросил Новиков, увидя под ногами чужие вещмешки. — Откуда тряпки?

— А это того... из медсанбата... мордача, — ответил Алешин.

— А-а, — неопределенно сказал Новиков и повторил вполголоса: — Что ж, и на войне есть добро. Добро и зло. Вы не изучали философию, Витя?

Младший лейтенант Алешин, навалившись грудью на стол, по-мальчишески внимательно рассматривал красочные фотографии немецких иллюстрированных журналов, думал о чем-то. Мягко-зеленоватый свет лампы падал на белый чистый лоб Алешина, на ровные брови, на раскрытые, по-летнему синие глаза его; они казались молодо и отчаянно прозрачны.

— Ну и везет вам, товарищ капитан! — весело, даже восхищенно воскликнул Алешин. — Просто чертовски везет!

Новиков лег на диван, не снимая сапог, накрыл грудь шинелью, сказал:

— Так кажется, Витя. Не гасите свет. Почему везет?

Алешин отодвинул кресло, с наслаждением потянулся и, разбежавшись, словно ныряя в воду, бросился на свободную, туго заскрипевшую пружинами тахту и, лежа, стал расстегивать гимнастерку и одновременно — носком о каблук — стаскивать сапоги.

Затем, кулаком подбивая пухлую, пахнущую свежей наволочкой подушку, сказал с ноткой мечтательности в голосе:

— Нет, серьезно, товарищ капитан, вы счастливец, вам везет! Вот вернетесь после войны, весь в орденах, со званием... Вас в академию. А я, черт!.. — Он вздохнул, приподнялся, по-детски подпер кулаком подбородок, белела юная шея, каштановые волосы наивно-трогательно спадали на лоб. — А я просто черт знает что, товарищ капитан. Серьезно. Орден Красной Звезды получил, вот медаль «За отвагу» — никак. — И договорил смущенно и доверительно: — А для меня самое дорогое из всех наград солдатская медаль «За отвагу». Серьезно! Вы не смейтесь!

— Добудете и медаль. Это не так сложно, — ответил Новиков и спросил: — Вас кто-нибудь ждет?.. Ну, мать, сестра, невеста?

— Мама... и Вика... ее звать Виктория, — не сразу ответил Алешин, и Новиков ясно представил, как он покраснел алыми пятнами.

— Очень хорошо, — сказал Новиков и после молчания снова спросил: — Скучаете по России, Витя?

За туманными равнинами Польши оставалась позади, в далеком пространстве, Россия, как бы овеянная каким-то чувством радостной непроходящей боли.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Товарищ капитан! Товарищ капитан!..

Новиков стремительно, рывком скинул с груди шинель: в затуманенное сном сознание ворвался звон разбитых стекол, то опадающий, то возникающий клекот снарядов, проносившихся над крышей. Треск и грохот за стенами, зыбкие толчки пола, испуганное лицо Ремешкова, наклоненное к нему, мгновенно подняли его на ноги.

— Что, Ремешков?

— Товарищ капитан... Товарищ капитан!

— Что, спрашиваю?

— Товарищ капитан... к орудиям! — захлебываясь, выговорил Ремешков и судорожно сглотнул. — Началось!.. Света не видать...

— Чего не видать? — Новиков раздраженно схватил ремень и кобур с кресла. — Этот не видать, так, может, тот видно? Где Алешин?

— Младший лейтенант сказал, сам выяснит, пока не будить... Все у орудий...

— Эти мне сосунки! Командовать начали! — выругался Новиков.

Он уже не слушал, что говорил Ремешков; затягивая на шнели ремень, перекидывая через плечо планшетку, окинул взглядом невыспавшихся глаз эту опустевшую, с разбросанными постелями комнату. Сквозь щели штор розово дымились полосы зари. На столе, среди дребезжащих пустых бутылок, консервных банок, бессильно дергаясь пламенем, чадила лампа. Атласные карты, съезжая от толчков по скатерти, ссыпались на ковер. Никого не было. Лишь в темном углу связист Колокольчиков, встретив взгляд Новикова, проговорил тонким голосом:

— Вас... Алешин к орудиям! А мне... куда?

— Туда, к орудиям!

На ходу надевая фуражку, Новиков ударом ноги распахнул дверь, сбежал по лестнице в нижний этаж, весь холодно освещенный зарей. Полувывбитые стекла янтарно горели в рамах, утренний ветер заходил по этажу, хлопая дверями, надувая портьеры. Путаясь в них, бегали тут двое пожилых заспанных ездовых из хоззвода, бестолково искали что-то; увидев Новикова, затоптались, поворачиваясь к нему, застыли, по-нестроевому потянули руки к пилоткам.

— Что за беготня? — спросил Новиков. — Всем по местам! — И выбежал через террасу по скрипящему стеклу в мокрый от росы парк.

Повозки хоззвода, покрытые брезентом, стояли под оголенными липами. Сверкала в складках брезента влага, желтели вороха листьев, занесенные на повозки взрывной волной. Лило-вый дым, не рассеиваясь в сыром воздухе, висел над дорожкой аллеи, над багровой гладью водоема.

Новиков быстро шел, почти бежал по главной аллее к воротам, смотрел меж ветвей на высоту; трассы танковых болванок пролетали там, частые вспышки мин усеивали скаты.

Плотный гул, выделяясь особым сочным бомбовым хрустом дальнобойных снарядов, нарастал, накалялся слева, в стороне города, и волнами сливался с упругими ударами танковых выстрелов справа.

И Новиков понял — началось...

Странная мысль о том, что началось слишком рано, что он не успел что-то продумать, доделать, скользнула в его сознании, но он никак не мог вспомнить, что именно не доделал.

Когда по рыжей траве, облитой из-за спины зарей, он взбежал по скату, над плечом взвизгнула светящаяся струя пулеметной очереди. Новиков, удивленный, посмотрел и сразу увидел далеко правее ущелья, в красных полосах соснового леса, черные тела трех танков, будто горевших в низком дыму.

«Что они, из ущелья вышли?» — мелькнуло у Новикова.

Ремешков упал, с одышкой пополз, припадая лицом к земле, вещевой мешок неуклюжим горбом колыхался на спине, и не то, что Ремешков упал и полз, а этот до отказа набитый его мешок внезапно вызвал в Новикове злость.

— Опять с землей целуетесь? Опять дурацкий мешок?

Ремешков, бледный, невнятно бормоча что-то, оскальзываясь по мокрой траве, бросился за Новиковым на вершину высоты. Здесь, на открытом месте, он почувствовал свое тело чудовищно огромным и пришел в себя лишь на огневой позиции, сел прямо на землю, как в пелене различая лица людей, станины орудий, между станинами открытые в ящиках снаряды, фигуру Новикова.

— Если в другой раз будете по-глупому заботиться обо мне, я вам этого не прощу! — услышал он громкий голос Новикова и заметил рядом с ним виновато-растерянное лицо младшего лейтенанта Алешина.

— Товарищ капитан! Овчинников у телефона, ждет команды! — крикнул кто-то.

— Передать орудиям: приготовиться, но огня не открывать! — скомандовал Новиков и, слегка пригибаясь в ходе сообщения, прыгнул в ровик.

Все, кто был в ровике — непроставшиеся, с помятыми лицами разведчики и связисты, — сидели на корточках вокруг толстого бумажного немецкого мешка, доставали оттуда галеты, нехотя жевали и посмеивались. Увидев Новикова, заторопились, начали отряхивать крошки с шинелей; кто-то сказал:

— Кончай дурачиться, Богатенков!

Заряжающий первого орудия Богатенков устроился по-турецки на бруствере, спиной к Новикову, откусывал галету и, не оборачиваясь, говорил со спокойной дерзостью:

— Меня, Горбачев, ни одна пуля не возьмет. Я ж шахтер. Земля меня защищает. Это ты рыбачок, так тебе вода... Всю войну на передовой, в конце не убьет! Понял?

— А ну, слазь! Капитан пришел, слышишь, шахтер?

Командир отделения разведки старшина Горбачев, подбрасывая ладонью великолепный финский нож, блестя черно-золотистыми глазами, приветливо улыбнулся как бы одними густыми ресницами, вторично приказал Богатенкову:

— А ну, слазь! — и весело заговорил: — Смотрите, товарищ капитан, что фрицы делают... Крепкую заваривают кашу. Пожрать

не дали. Да еще пехота чехословацкая подошла, товарищ капитан. Впереди нас окапываются... Видали?

В расстегнутой на груди гимнастерке, небрежный, гибкий, стоял он на пустом снаряжном ящике, доски которого глубоко были исколоты финкой, — видимо, перед приходом Новикова показывал мастерство каспийского рыбака: положив на ящик руку, быстро втыкал финку меж раздвинутых пальцев.

— Цирк устроили? — строго спросил Новиков, хорошо зная хвастливый нрав Горбачева. — Богатенков, вы что? Судьбу испытываете? А ну, вниз! Еще увижу — обоим не поздоровится!

Богатенков повернул молодое, кареглазое, красивое ровной смуглотой лицо, при виде Новикова оробело крикнул, поспешно сполз в ровик и, одергивая гимнастерку на выпуклой груди, забормотал:

— Да вот разговор всякий был... Разрешите к орудию, товарищ капитан?

— Идите!

Старшина Горбачев, втолкнув нож в чехол на ремне, вразвалку подошел к двум ручным пулеметам на бруствере, смахнул землю с дисков, сказал сожалеющим голосом:

— Эх, товарищ капитан, как же это Овчинников пулеметик забыл? Переправить бы надо.

— По места-ам! — скомандовал Новиков.

То, что увидел Новиков в стереотрубу, сначала ничего толком не объяснило ему. Весь берег озера и поле впереди и слева от высоты были усеяны вспышками танковых разрывов; неслись над полем, переkreшиваясь, трассы; пулеметы, не смолкая, дробили воздух. Со звоном хлопали немецкие противотанковые пушки.

Новиков увидел их в кустах на том берегу озера, метрах в двухстах за огневыми позициями Овчинникова. Стреляли они правее высоты, туда, где были врыты в обороне наши танки пятого корпуса — правые соседи, о которых говорил Гулько. Но странно, в первые секунды показалось, что наши танки не отвечали немецким пушкам огнем — бронебойные трассы летели в сторону соснового леса, откуда давеча обстреляли Новикова три немецких танка. И теперь Новиков до подробной отчетливости разглядел главное. Левее леса из темного, глухо клубящегося туманом ущелья, будто прорубленного в горах, муравьиной чернотой валил по шоссе, двигался плотно слитый поток танков, колонна длинных тупорылых грузовиков, лилово посверкивающих стеклами легковых машин, бронетранспортеров; растекаясь, поток этот медленно раздвигался, как ножницы, в сторону леса, куда вошли три передовых танка, и вле-

во, в сторону северной оконечности озера, где в трехстах метрах за разбитым мостом, в минном поле, стояли орудия Овчинникова.

То, что левая колонна, вырываясь из ущелья, неудержимым валом валила по шоссе, стиснутая, прикрытая бронированной стеной танков, расчищающих проход к озеру, было понятно Новикову: навести переправу, прорваться в Чехословакию. Но удивило то, что правая колонна скатывалась из ущелья прямо по долине к лесу, в направлении восточной окраины города, подходы к которому были заняты нашими танками и истребительной артиллерией, — этого он не ожидал.

Новиков на секунду оторвался от стереотрубы. Дым сплошь застилал и западную окраину Касно, ничего не видно было, только острие костела багрово светилось в пепельной мгле. Гул непрерывной артиллерийской пальбы толчками доходил оттуда — немцы атаковали и там.

И Новиков понял: немцы снова пытались взять город с запада, рассчитывая облегчить этим прорыв всей или части вырвавшейся из окружения в Ривнях группировке к границе Чехословакии.

«Ах, так вот оно что!» — с чувством понятого им положения и даже с каким-то сладким облегчением подумал Новиков и подал команду:

— Приготовиться! Овчинникова к телефону!

С гулом, точно остановившись над высотой, треснул дальний бойный бризантный; из черного облака, возникшего над орудием, ринулись осколки, зашлепали впереди ровика.

А старшина Горбачев, следя за продвижением левой колонны, за танками, вроде бы улыбнулся одними трепещущими ресницами.

— Кончай ночевать! — И ногой задвинул мешок из-под галет в нишу, посмотрел на Новикова выжидательно. Телефонист Колокольчиков, пригнувшись к аппарату, непрерывно, осиплым тенорком вызывал орудия Овчинникова. Орудия не отвечали.

— Ну? Что? — поторопил телефониста Новиков. — Связь!

Он глядел на бурные навалы позиции Овчинникова, на кусты возле нее, густо усеянные разрывами. От кустов этих бежала зигзагами человеческая фигурка, падала, ползла, вставала и вновь бежала сюда, к высоте. Колонна, вытекая из ущелья на шоссе, толстым потоком неудержимо катилась на орудия Овчинникова. И, тускло отсвечивая красным, первые танки в голове колонны ударили из пулеметов по этой одиноко бегущей фигурке, трассы веером метнулись вокруг.

— Ну? — Новиков резко оторвался от стереотрубы. — Что у Овчинникова там, Колокольчиков? Быстреей!..

Тот моргнул растерянными глазами, сказал шепотом:

— Не отвечают... Связь порвана... Перебили. Я сейчас, я сейчас... по связи, — и, опустив трубку, начал медленно подыматься в окопе, зачем-то старательно отряхивая землю с рукавов шинели.

— Бросьте свою чистоплотность! — крикнул Новиков и, теряя терпение, показал в поле: — Вон там идут по связи от Овчинникова! Видите? Давайте навстречу, по линии! Чего ждете?

— Разрешите, товарищ капитан! Как на ладони вижу. Я и пулеметик захвачу. — Покачивая плечами, пододвинулся к нему Горбачев, жгуче-золотистые глаза его спокойно и никак не прекословя блестили Новикову в лицо. — Оставайся у аппарата, парнишка. — Он оттолкнул связиста в ровик. — Куда он в мины полезет? Я здесь всё как свои пять пальцев...

— Возьмите с собой Ремешкова, — приказал Новиков. — Возьмите его...

Колокольчиков, как если бы ноги сломались под ним, сел на дно ровика около аппарата, с ненужным усилием стал продувать трубку, а дыхания не хватало. Видно было: он только что — в одну секунду — мысленно пережил весь путь от высоты до орудий Овчинникова.

Новиков, соразмеряя расстояния между орудиями Овчинникова и катящейся массой колонны, понимал, что Овчинникову пора открывать огонь. Пора... Он думал: после того как передовые немецкие танки увязнут в перестрелке, натолкнувшись на орудия и на минное поле, он, Новиков, откроет огонь с высоты вторым взводом Алешина — во фланг им, сбоку.

Не слышал он за спиной невнятного бормотания Ремешкова, вызванного разведчиком Горбачевым. Гибко изогнувшись, неся ручной пулемет, Горбачев выпрыгнул из окопа, и вслед за ним выполз на животе Ремешков, елозя по брустверу ботинками, онемело раскрыв рот, и исчез, скатился по краю высоты вниз. Новиков поискал глазами человека, что бежал от Овчинникова, — маленькая фигурка распластанно лежала на поле, ткнувшись головой, разводя ногами: чудилось, плыла, а струи пуль всё неслись к ней, выбивая из земли пыль.

«Ну, огонь, огонь! Пора! Открывай огонь, Овчинников!» — хотелось крикнуть Новикову, теперь уже не понимавшему, почему тот медлит. Это был предел, после которого была гибель.

Почти в ту же минуту рваное пламя вырвалось из земли, где темнели огневые позиции Овчинникова, мелькнули синие точки трасс, впились в черную массу колонны. Будто короткие вспышки магния чиркнули там.

Одновременно с орудиями Овчинникова справа загремели иптаповские батареи, врытые в землю танки.

— Начал!.. — крикнул кто-то в окопе за спиной. — Начал! Овчинников начал, товарищ капитан! Соседи начали!..

«Теперь ни секунды промедления! Ни секунды! Давай, Овчинников!» — с отчаянным чувством азарта и облегчения подумал Новиков. Он увидел, как низко над землей остро вылетало пламя из орудий Овчинникова, как в дыму засуетились на огневой позиции появившиеся люди, и привычно ощутил сладкие уколы в горле — знакомое возбуждение начавшегося боя.

— Товарищ капитан! Начинать? Товарищ капитан, начинать? — услышал Новиков звенящий голос младшего лейтенанта Алешина, но не обернулся на крик.

Колонна, катившаяся по шоссе темной массой на орудия Овчинникова, замедлила движение, прикрывавшие ее танки с прерывистым ревом круто развернулись позади колонны, переваливаясь через шоссе, съехали на целину и, покачиваясь тяжело и рыхло, увеличивая скорость, поползли к голове колонны. Там, обволакиваясь нефтяным дымом, горели три головных танка. Изгибаясь змейками, пульсировал на броне огонь.

С чугунным гулом ползущие по целине танки, очевидно, издали засекли орудия Овчинникова. Высокие столбы земли выросли вокруг позиций. Новиков приник к стереотрубе. Орудия исчезли в закипевшей мгле, длинные языки пламени лихорадочно и горизонтально выскакивали из черноты: нет, Овчинников вел огонь.

Две приземистые, глянцеви́то-желтые легковые машины, что двигались в центре колонны под прикрытием четырех бронетранспортеров, розово сверкнув стеклами, плоскими жуками расползлись по шоссе, повернули на скорости назад, запрыгали на рытвинах, мчась по полю в сторону соснового урочища, к ущелью, откуда непрерывно вытекала колонна.

В середине колонны из крытых брезентом машин стали поспешно спрыгивать фигурки немцев, бросились в разные стороны, скачками побежали за танками, вся котловина засветилась автоматными трассами.

И Новиков, со злой досадой увидев, как умело ушли из-под огня офицерские легковые машины, видя, как тяжелые танки, непрерывно выплевывая огонь, упорно атаковали позиции Овчинникова, подумал: «Вот оно... пора!..» — и лишь тогда посмотрел в сторону орудий Алешина, на сутуло замершие фигуры солдат.

— Внимание-е! — подал он команду особенным, страстным, возбужденным голосом. — По головным танкам — бронебойным, прицел постоянный. — Он сделал короткую паузу и выдохнул: — Ого-о-онь!

Резкий грохот, сотрясший воздух на высоте, горячо и больно толкнул в уши, Новиков не расслышал команд Алешина на огневой — стремительные огни бронебойных снарядов мчались от высоты туда, в плотный жирный дым, затянувший орудия Овчинникова, танки в котловине. Дым сносило к тускло-багровому озеру, он недвижно встал, скопился меж кустов. В просве-

тах возникали черные, низкие туловища танков: они как бы ускользали от бронебойных трасс, и Новиков с решимостью, с незавершенной злостью, которая горела в нем сейчас к тем, кто защищенно сидел в недрах танков, готовый убить его, и кого обязательно должен был убить он, крикнул:

— Наводить точнее! Точнее! Куда, к дьяволу, стреляете? — И, выпрыгнув из окопа НП, побежал к огневой позиции.

Он увидел снующего возле орудия Алешина; напряженно оттопыренные локти наводчика Степанова; широкие разводы снарядной смазки на скулах Богатенкова; бросились в глаза влажные пятна у него под мышками, огромные, дрожащие в ярой спешке руки рывком кидали снаряд в дымящийся казенник. Орудие при выстрелах откатывалось, брусья выбивало из-под сошников.

— Сто-ой! — скомандовал Новиков, переводя дыхание. — Младший лейтенант Алешин! Бегом ко второму орудию! Быть там! Самому следить за наводкой! Бегом! А ну от панорамы, Степанов! — властно крикнул он наводчику, непонимающе вскинувшему вверх мокрое, тревожное лицо. — Быстро! — И, взяв за плечо, оттолкнул его от прицела, приник к наглазнику, вращая маховики механизмов.

Перекрестие прицела стремительно ползло по наволочи дыма, выхватывая путаницу трасс, оранжево-белые всплески огня, поймало, натолкнулось на темный бок танка. Он на миг вынырнул из мглы. Новиков сжал маховики до пота в ладонях, снизил перекрестие.

— О-го-онь! — И надавил ручкой спуск.

Трасса скользнула наклонной молнией к танку, как бы уменьшаясь в дыму, врезалась в землю левее гусеницы. Он ясно увидел этот впившийся в землю огонек, повернул маховик — пот сразу облил лицо, едко ожег глаза, — поднял перекрестие.

— Огонь!

Тонкая молния ударила в тело танка, искрой брызнул и исчез фиолетовый огонек — скорее не увидел, а почти физически ощутил Новиков. И, не глядя больше на этот танк, не вытерев горячего пота со щек, снова ищуще-торопливо повел прицел. Вновь он выхватил в просвете мути живое, шевелящееся туловище другого танка. Он шел к высоте, башня косо развернулась, тоже выискивая, длинный ствол орудия вздрогнул, застыл наведенно. Черный, пусто-круглый глаз дула зорко целился, казалось, впился через панораму в зрачок Новикова, и в то же мгновение, считая секунды, он нажал спуск. Трасса досиня раскаленной проволокой выметнулась навстречу круглой, нацеленной в него смертельной пустоте, и тотчас тугой звон разрыва забил уши. Железно царapultули по стволу орудия осколки, желтый удушающий клубок сгоревшего тола вывалился из щита. И оглушенный Новиков успел

заметить свежую воронку в четырех метрах перед левым колесом орудия. Со странным чувством удивления, что этот снаряд не убил его, Новиков быстро глянул на расчет — все целы?

Заряжающий Богатенков со снарядом наготове стоял в рост среди стреляных гильз, тяжело дыша, с упорной пристальностью смотрел на танки, точно как тогда, на бруствере, испытывал судьбу.

— Что стоишь? На коленях заряжать! — крикнул Новиков и, крикнув, припал к прицелу, скрипнул зубами: сквозь перекрестие четко чернел прицеленный в его зрачок пустой глаз танкового орудия. «Он или я?.. — мелькнуло у него в сознании. — Он или я?.. Не может быть, чтобы он! Он или...»

Новиков надавил спуск, и, слившись с его выстрелом, танковый снаряд громом рванул землю впереди бруствера, на Новикова дохнуло волной тола, он чуть отшатнулся, пытаясь не потерять потного наглазника панорамы. В нем будто все звенело от нервного возбуждения: в мире уже ничего не существовало, кроме этого танка, этого немца, с зорко-быстрыми упреждениями крутящего маховик, наводящего послушное ему орудие... «Он или я?.. Он или?..»

Танк, ослепляя, полыхнул двойным оскалом пламени; одновременно с ним Новиков выстрелил два раза подряд; смутно унеслись две трассы, фиолетово блеснули вниз, и опять Новиков не увидел, а физически почувствовал, что не промахнулся. И, отирая пот онемевшими на маховике пальцами, стряхивая жаркие капли со лба, с бровей, он как бы вынырнул из противостественного состояния нервного напряжения, когда все в мире сузилось, собралось в одном глазке панорамы.

— Товарищ капитан, товарищ капитан! — бился позади чей-то крик. — Товарищ капитан...

— Ложи-и-ись!..

Крик этот, выделившийся из других звуков, заставил Новикова поднять голову. В замутневшем небе впереди дугами сверкнули хвосты комет; грубый, воющий скрежет шестиствольных минометов заколыхал воздух, обрушился на высоту, и чем-то огромным, душным накрыло задержавшееся орудие.

Отплевывая землю, плохо слыша, со звенящим шумом в ушах, Новиков оглянулся на расчет — люди лежали в дыму между станинами, лицом вниз. И в первую минуту перехватило горло, — показалось, что на огневую прямое попадание. Темная, неподвижная фигура Богатенкова, прижатая спиной к брустверу, выплыла из дымной пелены в метре от Новикова, глаза заряжающего были закрыты, брови недоуменно нахмурены, рука забыто придерживала на коленях снаряд.

— Богатенков!..

Богатенков приоткрыл глаза, особенно ясные, карие, изумленные, словно не веря чему-то. Не ответив на зов Новикова, он

медленно убрал руку со снаряда, потом недоверчиво, наклоняя голову, пощупал живот и, со спокойно-хмурым удивлением глядя на измазанную кровью ладонь, сказал тихо, сожалеюще и просто:

— Напрасно это меня...

И с тем же изумленным лицом, будто прислушиваясь к тому, что теперь не могли слышать другие, повалился на бок, успокоенно и тихо приник щекой к земле. Снаряд скатился по ногам от последнего его движения, ударил по сапогам Новикова, и Новиков очнулся.

«Что это? Я не заметил, как его ранило? Это он звал меня «товарищ капитан»? Его был голос? Как это могло убить именно его?» И странно было, что уже нет живого дыхания, спокойной силы, смуглой красоты Богатенкова, а то, что называлось Богатенковым, было не им — нечто непонятное, чужое лежало возле бруствера, прижимаясь к земле, и это чужое, казалось, мгновенно отделилось от всех, но никто еще не хотел верить этому. «Зачем он стоял в рост? Верил, что его не убьют?»

— Перевязку! Быстро!..

Новиков крикнул это, понимая ненужность перевязки, и затем сквозь зубы подал другую команду: «К орудию!» — но скрежет, удары и треск, вновь накрывшие высоту, стерли его голос. Солдаты, поднявшие было головы, опять припали к земле, но сейчас же вскочили, поднятые вторичной командой Новикова, — он стоял на огневой, не пригибаясь, он знал: так надо...

— К орудию! Степанов, заряжай!

И только тогда все поняли, почему Степанов должен заряжать. Наводчик Степанов, дрожа широким, конопатым лицом доброго деревенского парня, растерянно озираясь на тихо застывшего в неудобной позе Богатенкова, схватив снаряд, ожесточенно втолкнул его в казенник, выговорил грудью:

— Насмерть! Товарищ капитан, «ванюши» по нас бьют! Это они!..

«Товарищ капитан... Это был его голос, Богатенкова... Что он хотел мне сказать?»

— А-а!.. — продохнул Новиков, стискивая зубы, ища панорамой то место, где как бы из разбухшей массы колонны с железным скрипом взметались в разные стороны длинные хвосты огня: прямо из колонны шестиствольные минометы обрушивали огонь на высоту, на берег озера, где затерялись в пепельной метели орудия Овчинникова.

— Осколочными! По колонне!..

Он выпустил более пятидесяти снарядов по колонне. Там закрутился смерч — разлетались рваные куски, вставали факелы взрывов, несколько грузовых машин, дымясь брезентом, неуклюже разворачивались на обочине, выезжая из черно-красных

вихрей. Фигурки немцев отбегали по шоссе, ползли в поле, строча из автоматов. Тонкие малиновые перья вырвались из кузовов грузовиков, беспорядочный треск, разбросанное щелканье донесли оттуда, — видимо, рвались боеприпасы.

— Снаряды! Снаряды!.. — раздался где-то в стороне, за спиной Новикова, крик, но этот крик скользнул мимо сознания. Одновременно со взрывом боеприпасов ощутимо сотрясли высоту два других полновесных взрыва. Сизые шапки дыма, колыхаясь, выплыли над темной завесой в той стороне, где были орудия Овчинникова.

«Что это там? Это он?»

Новиков резким поворотом подвел панораму в сторону взрывов. Он всматривался сквозь обжигающий глаза пот, стараясь найти орудия Овчинникова. От мысли, что Овчинников, окруженный прорвавшимися танками, подорвал орудия, морозным холодом облило влажную спину. «Неужели он сделал это?» Но, не соглашаясь с тем, что там уже погибли люди, разбило орудия, он вдруг уловил в сумеречном тумане близ позиции Овчинникова проступивший силуэт танка и, как пьяный, обернулся, нетерпеливый, черный, крича:

— Снаряд! Заряжай!

Степанов, грязно-потный, в размазанной по лбу гари, засучив по локоть рукава, один стоял на коленях среди груды гильз — широкое лицо растерянно, спекшийся, в порохе, рот дергался судорожно.

— Товарищ капитан!.. Снаряды... — прохрипел Степанов. — Снаряды кончились. К передку расчет послал... За энзэ! И заодно Богатенкова взяли.

— Кой дьявол... помогут передки! Там двадцать снарядов! — выругался Новиков. — Во взвод боепитания! Передайте мой приказ: все снаряды сюда! Немедленно! Подождите! Вода есть у вас?

И, рванув скользкий от пота ворот гимнастерки, облизнул шершавые губы — жажда жгла его сухим огнем.

Степанов, торопясь, отцепил с ремня флягу, вытер горлышко, охотно и услужливо протянул ее Новикову.

— Теплая только... — И, удержав дыхание, осторожно попросил: — Разрешите закурить на дорожку?

— Давай!

Тогда Степанов, вмиг обмякший, налитый усталостью — все время бросал снаряды в казенник орудия, — с красными после недавнего напряжения глазами, сел прямо на закопченные гильзы между станин, одубелыми пальцами начал сворачивать самокрутку. Однако свернуть не смог — пальцы не подчинялись. И тихим, застенчивым было у него лицо сейчас, когда смотрел он, как Новиков, запрокинув голову, жадно пил.

Он так и не слепил самокрутку. Танковые снаряды вздыбили бруствер, и Степанов просыпал табак.

— Пойду я!.. — подымаясь, прокричал он, беспокожно глядя на озеро, буйно взлохмаченное фонтанами мин. — Эх, рыбы-то попортили — ужас! — И, взяв карабин, пригнулся и побежал по высоте в круглую тьму разрывов.

Новиков пил из фляги, не ощущая вкуса теплой воды; она лилась на шею, на грудь, не охлаждая его, не могла утолить жажду.

«Были взрывы... Овчинников подорвал орудия? Окружили танки? — думал он, испытывая колющую тревогу, пытаясь взвесить положение батареи. — Но люди, как с людьми там?.. Не верю, что погибли все! Где Горбачев? Где Ремешков?»

— Когда будет связь? Почему так долго?

— Товарищ капитан, к телефону!

— Связь с Овчинниковым?

Новиков резким скачком перемахнул через бруствер, спрыгнул в ровик, вырвал трубку из рук связиста.

— Овчинников? — с надеждой спросил он, забыв в этот момент про номерное обозначение офицеров, и произнес живую фамилию. Но тотчас, в потрескивание линии поймав голос майора Гулько, спрашивающего о потерях в батарее, он заговорил иным, преувеличенно спокойным, сухим тоном: — Дайте огурцов. Беру последние огурцы для кухни, товарищ первый. Пришлите огурцов. Это все, что я прошу.

— Пришлю сколько есть. Дам огурцов, — выделяя слова, ответил Гулько и необычно, будто родственно был связан с Новиковым, добавил: — Обрати внимание на Овчинникова и на переправу, мой мальчик. Обрати внимание.

Он снова ненамеренно задел Новикова своей ненужной интеллигентской нежностью.

Новиков долго глядел перед высотой на слоистую мглу, закрывавшую орудия Овчинникова. В шевелящейся этой мути, полной вспышек выстрелов, тенями продвигались к озеру танки: железный, замирающий рев их, прерывистое завывание грузовых машин рождали у Новикова впечатление, что там сконцентрировалась ударная сила колонны. Остальная ее часть, не достигшая района озера — отдельные разбросанные машины, орудийные упряжки, минометные установки на прицепах, группы людей, — обтекала пылавшие обломки грузовиков на дороге, горящие танки, стремительно уходила, разворачивалась назад, к ущелью в лесу, откуда — очевидно, по внезапному приказу — перестал вытекать первый поток колонны. (Видно было, как горели справа наши танки, врытые в землю.) И только двигался левый рукав колонны к озеру, по направлению молчавших орудий Овчинникова.

«Прорвались к озеру? Смяли Овчинникова?» — мелькнуло у Новикова, и он, чувствуя горячее нетерпение, повернулся к орудию:

— Где снаряды? Скоро снаряды?

Почти слитный троекратный взрыв опять потряс высоту, аспидные шапки дыма упруго всплыли из месива огня вокруг позиции Овчинникова. И вслед мигнул горизонтальный всплеск выстрела. И тогда Новиков понял: танки, продвигаясь к озеру, вошли в минное поле, подрывались там, и там живой взвод Овчинникова еще вел огонь по ним...

«Молодец Овчинников! Молодчина! — хотелось отчаянно крикнуть Новикову. — Молодец!..»

В то же мгновение скопище дыма растянулось над берегом, в просветах блеснула вода, и Новиков отчетливо увидел: озеро наполовину было замощено темными полосами понтонов, протянутых от левого и правого берега. Фигуры немцев бегали около стоявших на берегу грузовых машин, снимали круглые тела понтонов. И стало ясно теперь: немцы обошли Овчинникова, прорвались к озеру.

— Второе орудие! Алешина! — не скомандовал, а скорее глазами приказал Новиков, и когда связист Колокольчиков вызвал второе орудие, и когда зазвенел в трубке возбужденный голос Алешина: «Товарищ капитан! Три танка мои!» — Новиков оборвал его:

— Сколько на орудие снарядов?

— Одиннадцать! Сейчас подвезут еще!

— Посмотри внимательней на озеро. Видишь переправу?

— Вижу, товарищ капитан! — ответил Алешин и спросил быстро: — А как Овчинников?

— Наводить точнее, все одиннадцать снарядов по переправе, давай!

Снаряды Алешина вздыбили озеро вблизи понтонов, что-то смутное и длинное косо взвилось в воздух, упало в воду. Но две низкие грузовые машины не попятились, не отъехали от берега, и фигуры немцев продолжали возиться подле них, упорно стягивая, волоча грузное тело понтона.

«У них один выход — будут прорываться до последнего! Другого у них нет выхода!» — подумал Новиков и крикнул связисту:

— Долго будете налаживать связь? Когда вы мне дадите Овчинникова? Когда?

Телефонист Колокольчиков, весь хрупкий, беловолосый, светились капли пота на кончике вздернутого носа, дул в трубку, дергал с бессильным негодованием стержень заземления — делал все, что может делать связист в присутствии начальника, когда нет связи.

— Вот что! Делайте что угодно, хоть по воздуху прокладывайте линию. Но если через пять минут не будет связи с Овчинниковым, вы больше не связист! — сказал Новиков жестко. — Мне необходима связь! Зачем вы нужны, если там люди гибнут, а вы здесь стержень шупаете?

Жизнь человека на войне была для него тогда большой ценностью, когда эта жизнь не искала спасения за счет других, не хитрила, не увиливала, и хотя молоденький Колокольчиков не хитрил, а, лишь слабо надеясь, ждал, что проложат связь телефонисты Овчинникова, жизнь его потеряла свою истинную цену для Новикова, и тот признавал это. Не сказав ни слова, Колокольчиков приподнялся у аппарата, провел рукой по потному носу, расширяя вопросительные ясно-зеленые глаза, с детства и навсегда вобравшие в себя мягкую зелень северных лесов, нестерпимую синь озер и весеннего неба.

Сразу с нескольких сторон ударили по высоте танки. Вслед за этим короткие слепящие всполохи вертикально выметнулись откуда-то из лесу, правее ущелья: отрывисто, преодолевая железную одышку, закрипели шестиствольные минометы.

Все будто расплавилось в треске, в грохоте, высота стонала, ломалась, дрожала, выгибалась, как живое тело, ровик сдвинуло в сторону. Чернота с ревом падала на него. Новиков и связист упали рядом на дно окопа, дно ныряло под ними, уши забило жаркой ватой, голову тяжело налило огнем. Раскаленный осколками воздух проносился над ними, опалая волосы на затылке. И навязчиво, неотступно билась мысль о непрочности человеческой жизни: «Сейчас, вот сейчас...»

— Неужто конец, товарищ капитан? А?.. — не услышал, а угадал Новиков по серым губам Колокольчикова и увидел перед собой полные тоски и ужаса мальчишеские глаза. Этот ужас мерцал — мигали белые, в пыли, ресницы паренька.

И Новиков, оглушенный, туманно вспомнил ночь в роскошном особняке, майора Гулько, спящих солдат, Богатенкова, пришивающего крючок, и этого молоденького Колокольчикова, с неумелой нежностью обнимающего аппарат, и сонное бормотание о каком-то колодце: ему снились колодцы в конце войны...

И, подавляя жалость к той ночи, Новиков взял связиста за плечо, с силой потряс его, прокричал в хаосе грохота, накрывавшего ровик:

— Мне нужна связь с Овчинниковым! Понимаешь? Связь! Иначе нельзя! Понимаешь? Мне нужно знать обстановку!

— Я сейчас... я сейчас... глаза вот запылило... — зашевелились губы связиста, мальчишеское лицо было серым от пыли, худеньким, незащищенным, он торопливо потер кулаком глаза и, часто мигая, стал на колени, хрупкий, тоненький. Рукавом стряхнул пыль на запасном аппарате, перекинул ремень через плечо, вздохнул, вроде всхлипнул, по-детски виновато сказал: — А матери у меня совсем нету... сестра у меня... Адрес в кармашке вот тут...

И, худенький, юный, неожиданно проворно, не глядя по сторонам, выпрыгнул из окопа и исчез, растаял, оставив после себя

впечатление чего-то чистого, весенне-зеленого (глаза, что ли?), легко и невесомо выпрыгнувшего из ровика.

И спустя минуту, как только выпрыгнул он, исчез в горячей мгле разрывов, крутившихся по высоте, сквозь грохот, как в щелочку, прорезался писк, чудилось, живого существа — призывно зазуммерил телефонный аппарат. Новиков схватил засыпанную землей трубку, в ухо его пробился лихорадочно частивший голос:

— Я от третьего, я от четвертого, — и, мгновенно поняв, что это от третьего и четвертого орудия, то есть связь с Овчинниковым, он, не выпуская из рук трубки, вскочил в рост, желая сейчас одного — остановить Колокольчикова, рванулся к стене окопа.

— Колокольчиков! Наза-ад!.. Наза-ад!..

Но команду его заглушило пронзительно брызгающим визгом осколков, огненно скачущими разрывами мин, — ничего не было видно перед высотой, да и задавленный голос его не мог вернуть связиста. Новиков с мгновенной тяжестью в ногах присел подле аппарата, выдыхая в трубку:

— Овчинников? Овчинников? Да что же вы замолчали, дьяволы? Что замолчали? Отвечайте!

— Овчинникова нет, товарищ второй, — зашелестел в мембране незнакомый голос. — Четвертое орудие погибло, и все там убитые. Нас окружили. У нас Сапрыкин раненый. Я, связист Гусев, раненый. Еще Лягалов раненый. А с нами санинструктор. Я связист Гусев...

— Где Овчинников? — закричал Новиков, едва разбирая в шумах звук потухающего голоса. — Овчинникова мне!..

— Овчинникова нет, к вам пробивается, а мы трое раненые — связист Гусев, сержант Сапрыкин и замковый Лягалов. И еще санинструктор с нами, — однотонно шелестел бредовый, слабеющий голос, — а снарядов, говорят, ничего нету... Пулемет один... Кончаю говорить... Я связист Гусев...

«Овчинникова нет, к вам пробивается!» Он ко мне пробивается? Один? Кто приказал ему оставить орудия? — соображал Новиков. — Где Овчинников?»

— Вы посмотрите, посмотрите, товарищ капитан, что творится перед пехотными траншеями... Наши бегут, никак?

«Кто это сказал? Разведчик, дежуривший у ручного пулемета? Да, это он — стоит в конце ровика, расставив локти на бруствере, смотрит туда...»

— Товарищ капитан, видите? Наши?..

И все же Новиков не верил, не мог поверить, что Овчинников отходил.

— Товарищ капитан, снаряды! Снаряды есть! Снаряды принесли! — прокричал Степанов, вваливаясь в окоп, размазывая пот на грязном лице. — Мы снаряды несли, так они по нас чесанули!

Эх, жаль стереотрубу, — сказал он, поднял пробитую осколками, упавшую на землю стереотрубу и, бережно положив ее на бруствер, спросил: — Как вы без нее?

— К орудию снаряды! — скомандовал Новиков.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— Овчинников! Товарищ капитан! Овчинников!.. — метнулся за спиной испуганный крик.

В ту же секунду на скате высоты выросли трое людей, без шинелей и пилоток, держа автоматы наперевес, они бежали, карабкались слепыми толчками на высоту, — наверно, ни у кого уже не было сил. И Новиков увидел Овчинникова: в измазанной землей распахнутой телогрейке, с темным, искаженным лицом, волосы слиплись на лбу, он зло махал пистолетом, кричал задущенным голосом:

— Бего-ом! За мной!

И ненужная команда эта в нескольких метрах от орудия, и этот ненужно приказывающий голос Овчинникова остро и жарко опалили Новикова металлической горечью.

Они перескочили через бруствер, лейтенант Овчинников, Порохонько и Ремешков, задыхаясь, кашляя, ничего не могли выговорить, только поводили мутными глазами. Порохонько повалился на землю, кусая сухие, обметанные копотью губы, просипел:

— Пи-ить, братцы, воды!.. — и все искал взглядом флягу, не выпуская как бы прикипевший к ладоням раскаленный автомат. Ремешков сел на станину, не было на нем вещмешка, плечи ходили вверх, вниз, и он иступленно прижимал что-то под насквозь потной гимнастеркой, на выпукло-крепкой скуле кровоточила широкая ссадина, как от свежего удара железным. Он бормотал взахлеб:

— А Горбачев, Горбачев где? За нами шел он... прикрывал нас... Где он?

Лейтенант Овчинников не упал, не сел на землю, нетвердо стоял, пошатываясь на нетвердых ногах, обросшие за несколько часов щеки глубоко ввалились, сильная, мускулистая фигура его ссутулилась, и сухим, диким блеском горели глаза.

— Прицелы, — прохрипел он и, ткнув в грудь Ремешкова зажатым в пальцах пистолетом, подрубленно опустил на станину орудия, охватил голову руками.

— Орудие Ладьи с расчетом погибло. Танки... — негромко выговаривал он, уставясь в землю налитыми болезненным блеском глазами. — Туча танков, бронетранспортеров... шли напролом,

стеной... окружили нас... Расчет Сапрыкина стрелял до последнего... четверо убитых, трое раненых... там они... там, — повторил он и, зажмурясь так, что оттененные синевой веки его нервно задержались, выкрикнул с неистовством:

— Прицелы! Прицелы сюда, Ремешков!

Новиков шагнул к Овчинникову, взял его за подбородок, очень медленно сказал:

— Мне прицелы твои не нужны, — и спросил без жалости: — Контужен?

— Вот здесь, — выговорил Овчинников, пистолетом потирая под изодранной пулями телогрейкой левую часть груди. — Вот здесь крыса грызет, лапками копошится, раздрает... много крови, крови... Я все сделал, все... Понимаешь, Дима?

Он назвал Новикова по имени.

— Нет, — неверяще ответил Новиков. — Не понимаю. Где люди? Где люди, лейтенант Овчинников?

Он не испытывал жалости к Овчинникову, как не испытывал жалости к себе; то, что порой разрешалось солдату, не разрешалось офицеру: до последней минуты не мог он согласиться, что Овчинников даже в состоянии полного разгрома ушел от орудий, оставив людей, которые жили еще...

— Так вон ка-ак, — опадающим голосом вдруг произнес Овчинников и вскинул глаза, в упор встретясь с безжалостным, не прощающим взглядом Новикова. — Вон ка-ак? Арестуешь? Под суд отдашь? На, бери! Я готов! Я на все готов! Я восемь танков сжег... а это не в счет! Не в сче-ет?..

С перекошенным лицом он бросил под ноги пистолет, рванул на себе офицерский пояс, пытаясь растегнуть его, выкрикнул:

— Отдавай под суд!.. Отдавай!..

— Прекрати истерику! Встань! — тихо приказал Новиков, и, когда Овчинников, весь ослабнув, встал, растерянный, опустошенный бессмысленным взрывом ярости, он опять приказал: — Подыми пистолет. Вон за тем ровиком землянка. Даю тебе час. Приди в себя. Марш!

— Товарищ капитан, гляньте-ка, что это они? А? — послышался сзади голос Степанова.

— Что там?

Нежаркое осеннее солнце поднялось в скопившейся хмари над грядой Карпат. Жидкие, косые полосы лились в котловину, гремевшую боем. Она светилась автоматными трассами, вспышками выстрелов, густым пламенем горевших танков. Столбы разрывов сплошной стеной вырастали и там, где была позиция Овчинникова, и там, на берегах озера, где наводили переправу немцы: вела огонь наша артиллерия из города. Смутные квадраты танков, обтекая минное поле, отходили к лесу, в ущелье. Они

отходили, это было ясно Новикову: может быть, утро мешало им. И внезапно внизу, со стороны орудий Овчинникова, дважды мелькнуло горизонтальное пламя в направлении танков, и Новиков с дрогнувшим сердцем, не сомневаясь, что это стреляло какое-то еще живое орудие, быстро посмотрел на Овчинникова — земляная серость покрыла изуродованное тиком лицо лейтенанта.

— Горба-ачев?! — прошептал Овчинников. — Вернулся?

Он дикими глазами взглянул на Новикова и, тогда окончательно поняв все, гибко, по-кошачьи перескочил через бруствер, огромными, нечеловеческими скачками ринулся вниз по скату в сторону орудий; неистовыми крыльями бились по ветру, мотались прожженные полы его распахнутой телогрейки.

— Наза-ад! Наза-ад! — закричал Новиков, бросаясь к брустверу. — Наза-ад! Овчинников!

Овчинников, не обернувшись, в рост бежал уже по полю, правее пехотных траншей, падал, вставал и вновь огромными скачками бежал к орудиям.

Низкая автоматная очередь огненной струей полоснула по нему сбоку, затем спереди и слева, но он не изменил направления, даже головы не пригнул — видно было, как, цепляясь за кусты, карабкался по скату котловины к возвышенности, там в коричневом тумане темнели силуэты танков.

Он выбежал на возвышенность, на миг отчетливо видимый на голом месте, и тотчас из дыма, где шевелились перед минным полем танки, вылетел длинный огонь, другой огонь взорвался под ногами Овчинникова.

Он, сделав еще два шага, заваливаясь назад, упал на колени, замедленным жестом провел пистолетом по голове, будто приглаживая волосы, и плоско упал грудью на то самое место, огнем пыхнувшее под ногами, вытянул руки вперед. И неожиданно для Новикова, до физической боли стиснувшего зубы, распластанное тело Овчинникова задвигалось, извиваясь, поползло по возвышенности к кустам, к тому невидимому орудию, которое только что стреляло.

Двое людей в зеленом вышли на возвышенность, огляделись и, пригибаясь, зашагали к Овчинникову. Потом огненная точка коротко сверкнула в траве — это был выстрел из пистолета. Двое в зеленом одновременно легли. Один из них привстал, неприцельно послал очередь над головой Овчинникова, и тот снова бегло выстрелил три раза.

— У пулемета! — Новиков с бешенством прыгнул в ровик, кинулся к ручному пулемету, за которым, горбатогнувшись, ждал разведчик, сжимая ложу.

Рванувшись к брустверу, упав на него грудью сбоку разведчика, Новиков крикнул:

— Видишь фрицев? Отсекай их! Кор-роткими! Давай!

— Живым хотят взять. Ясно... — сквозь зубы сказал разведчик, и плечо его задрожало, сотрясаемое очередями пулемета.

Фонтанчики пыли взбились, замельтешили левее и выше немцев, перешли, заплясали на узком пространстве, отделявшем Овчинникова от них. Крупные капли пота выступили, выдавились на медно-красном напрягшемся лице разведчика, диск кончился. Ударом выщелкнув его из зажимов, разведчик поспешно схватил новый диск, завозился с ним, никак не мог вставить в пулемет — потом с придыханием выговорил:

— А если убью лейтенанта?.. Товарищ капитан, если убью...

— А ну прочь, — шепотом крикнул Новиков, ударил по диску, припал к пулеметной ложе, почему-то горячей, мокрой, и выпустил две короткие очереди по отползавшим в кусты немцам и не поверил тому, что увидел.

Овчинников медленно, живуче встал, опираясь стволом пистолета о землю; встал, пошатываясь, в распахнутой телогрейке, и, клоня голову, с пистолетом в опущенной руке, толчками пошел влево, к кустам, где было оружие. Двое немцев выскочили из травы наперерез ему. И телом своим, тяжело ступая, он загородил их. Немцы по нему не стреляли.

«Что с ним? Где он?» — скользнуло с обжигающей болью в сознании Новикова, сдернувшего палец со спускового крючка. И в ту минуту, поняв, почему не стреляли по Овчинникову немцы («Да, да, хотели взять живым, им нужен язык!»), он, еще не веря, что делает («Зачем? Я не имею права! Не имею!...»), нажал спусковой крючок — весь диск вылетел одной длинной строчкой.

Когда же он, придя в себя и как бы все видя через желтый песок, отпрянул от пулемета, ни немцев, ни Овчинникова около кустов не было. Никого не было...

Он неизвестно зачем посмотрел на наручные часы и так, глядя на них, опустился на дно окопа, возле безмолвно раскрывавшего рот связиста. Потом туманно увидел что-то отвратительно длинное, белесое, ползущее по рукаву связиста, никак не мог вспомнить, что это: «Мокрица?» — и хотел сказать, чтобы тот стряхнул ее, вызвал оружие Овчинникова, но лишь странный, захлебнувшийся звук вырвался из его горла.

Тогда он встал, шагнул к землянке, вырытой вплотную с огневой, перед входом обернулся ненужно, незащищенно, сказал с трудом:

— В горле что-то застряло... Воды бы... Оружие вызовите.

Когда минуты через две Новиков вышел из землянки, он казался спокойным, умытое лицо было бледным, заметно осунулось, снова сел к аппарату, взял трубку, которую, чудилось, испуганно протягивал ему связист, сказал хрипло:

— Гусев? Доложите обстановку...

— Ошибочка, я на связи, товарищ второй...

Ему отвечал не Гусев, а старшина Горбачев, и обычен был его голос, как всегда, самоуверенный, и, как всегда, слегка небрежно звучали его усмешливые нотки. Да, он тут, Горбачев, цел и невредим, даже с ногами и руками, да, рядом сидит красивенький санинструктор, а остальные тут без пяти минут от бога, и вообще людей ноль целых хрен десятых, танки покалечили, вроде бог черепаху, снарядов негусто, пять штук, но целиться через ствол и лупасить по фрицам можно, передайте Овчинникову, что можно...

Он докладывал, посмеиваясь над тем, над чем нельзя было смеяться, и Новиков в эту минуту не осудил его, а наоборот, оттого что Горбачев был там, около орудия, жил и смеялся, волна горькой нежности толкнулась в его сердце. Знал: в том состоянии, в котором находился Горбачев, позволено многое, как глоток воды перед смертью.

— Держитесь до вечера, — негромко проговорил Новиков, ничего не сказав об Овчинникове. — Потерпите. Вечером мы придем.

«Убил я его или не убил? — опять мучительно подумал Новиков. — Если убил, то имел ли я право распоряжаться его жизнью? Кто мне дал это право? Но если бы я был на месте Овчинникова, дал бы я право другому человеку застрелить меня? Да, дал бы... Но можно ли по себе мерить всех людей?»

Солдаты смотрели на него и молчали. Разведчик с хмурым лицом заправлял патроны в диски пулемета. И Новиков понял: то, что он сделал сейчас, как будто ото всех опасно отделило его, хотя он с какой-то особой определенностью и сознавал, что люди знали — он распоряжается их жизнью, судьбой во имя общего, неизмеримо огромного, того, что чувствовал сам Новиков и все они.

Новиков молча прошел к орудию.

Степанов робко улыбнулся ему своим добродушным круглым лицом; сворачивая сигарку, просыпал табак на колени, стал неловко смахивать крошки локтем.

Порохонько лежал на огневой позиции, вытянув длинное тело, на гимнастерке белой солью проступал пот под мышками. Он вспоминающе рассматривал забытый здесь истертый планшет Овчинникова, колючие выгоревшие брови изгибались, точно глаза слепило.

— Вот оно... — произнес он. — До Карпат дошел...

Ремешков сидел на снарядном ящике, где поблескивали две принесенные им от орудий панорамы, грязным носовым платком промокал кровоточащую ссадину на крепкой скуле, говорил с недоумением и тоской:

— А я бегу и вижу перед высотой — лежит Колокольчиков, на боку, колени поджаты калачиком. Ну спит — и все. Тронул я его. А он — мертвый. В руках провод зажат. Ребяенок совсем... а глаза зеленые-зеленые. Эх, кто-нибудь и любил глаза-то его... Не поймешь — одних убило уж, а мы живы...

— И у Лягалова глаза зеленые, — шепотом проговорил Порохонько.

— Встаньте с земли, — тихо сказал Новиков, обращаясь к Порохонько. — Простудитесь. В госпиталь попадете.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Его вели по полю, изрытому воронками, мимо догоравших танков; он спотыкался, ступая на задетую осколком ногу, боль морозила его, обжигала, расплзалась от предплечья к онемевшим пальцам. Он придерживал кисть левой руки, при каждом шаге чувствовал, как рот наполнялся соленой влагой, и сплевывал жидкую кровь. Он не понимал, куда его ведут и почему топят его.

И понимал одно: непоправимое случилось. Жизнь, имевшая прежде тысячи выходов, мгновенно закрыла все, кроме единственного — выход в смерть...

Он не верил в это, когда бежал к орудиям, когда лежал перед танками, когда люди, прижимая к бокам автоматы, вышли навстречу, когда он стрелял в них. Он не верил в это непоправимое и безвыходное даже тогда, когда у него кончились патроны. Тогда сзади и впереди была своя земля со своими людьми, со своими орудиями. Он плохо сознавал, как они взяли его: была боль в голове, во всем теле, была его, а не чужая кровь, которую он сплевывал и видел.

— Halt... рус, Еван! Ha-alt!¹

Ствол автомата остро и грубо ткнул его в лопатку, эта новая боль обожгла его, и он, еще лихорадочно цепляясь за надежду, еще сопротивляясь этой боли, подумал: «В рану целит, в рану...» Но тотчас, осознав, что теперь он не был хозяином собственного тела, боли, страданий, подумал другое: «Жалости хочу? Какой жалости?..»

— Ha-alt!

Дуло автомата твердо уперлось в его левое предплечье, раскаленным сверлом ввернулось в кость. Овчинников стиснул онемевшую кисть, остановился, пошатываясь, кривя усмешкой

¹ Стой... Стой! (нем.)

окровавленные, распухшие губы, оглянулся на конвоира. Был это молодой высокий немец, желтоволосый, лет двадцати, с худощавым бледным лицом, желваки играли на его втянутых щеках. На немце этом был зеленый пятнистый маскхалат, штаны заправлены в сапоги, из раструбов голенищ рогами торчали автоматные магазины. Через плечо висела сумка Овчинникова. Лицо немца передернулось; опустив автомат, он поднял свободную руку и сделал резкий жест в воздухе, словно сдирая застывшую усмешку с губ Овчинникова.

Повернулся чуть боком, расставил ноги, искоса следя за Овчинниковым, расстегнул маскхалат. Овчинников понял и отвернулся. Брызги летели на его сапоги. Он непроизвольно качнулся вперед, надавил на раненую ногу и тут же подумал: «Для чего? А не все равно?»

— Halt! — И услышал сзади громкий молодой смех.

Застегивая маскхалат, немец подошел, лицо уже не было злым, посмотрел на забрызганные сапоги Овчинникова, махнул рукой, провел пальцем по здоровой своей шее.

— Кап-пут, лейтенант! Капут!

И оттого, что он говорил эти слова не злым, а равнодушным человеческим голосом, оттого, что он, оправляясь, не стеснялся Овчинникова, как мертвеца, и рассмеялся, видя его стеснение, — все подтвердило то, что думал Овчинников.

«Не может быть, чтобы я через час или два умер. Чтобы меня не стало совсем. Так просто? Конеч?» — отчаянно соображал, весь охолонутый этой мыслью, Овчинников и, опять ощутив боль в ноге, вдруг с обнажающей ясностью почувствовал, что это последние его шаги по земле, последние мысли, последняя боль, последняя кровь во рту, и почему-то подумал еще, что двадцать шесть лет никогда не сменятся двадцатью семью годами, что не будет именно его, Овчинникова, когда другие будут еще жить, смеяться, обнимать женщин, дышать...

И то, что его убьют не так, как убивают других на войне, что не станет известно, как он погиб, при каких обстоятельствах, вызывало в нем чувство черной тоски, изжигающей до слез. Его судьба по какому-то закону внезапно отделилась от тысячи других судеб оставшихся там, за этим дымом, людей. Неужели именно он, Овчинников, должен был умереть?

— Schneller!¹

Ствол автомата сверлом врезался в раненое предплечье. От боли, от этой команды он застонал, понял, что это «schneller» все убыстряло его путь к смерти, и, сопротивляясь себе, своей послушности чужому голосу, он загорелся огнем бешенства —

¹ Быстрей! (нем.)

оглянулся резко, хищно, как бы готовый броситься мигом, выбить автомат у этого немца... «Кто взял меня? Птенец!..» Но тут же, скрипнув зубами, задохнулся, едва сдерживая слезы. Выплюнул кровь. Не было силы твердо и прочно ступить на раненую ногу; тело его потеряло гибкую, мускулистую тяжесть, невесомым каким-то стало.

«Неужели не могу? Неужто? — как в бреду, спрашивал себя Овчинников и зло замычал, скрипнув зубами. — Неужто? Значит, конец?»

Он смотрел на немца глазами, налитыми сухим, болезненным блеском, сплевывая одеревеневшими губами тягучую кровь; и ему хотелось сесть, в смертельной усталости отдышаться.

Ствол автомата подтолкнул его, и снова за спиной крик:

— Schneller, schneller!

Миновали мазутный дым горевших танков, обломки разбитых грузовых машин на дороге, потом вошли в лес. Зашуршала жухлая трава, скипидарно запахла она, облитая бензином. И Овчинников вблизи увидел набитый людьми, машинами и фургонами лес — не тот лес, солнечный, летний, с парной духотой опутанного паутиной ельника, с сухим запахом дуба, какой видел в детстве на Урале, а другой — умирающий, осенний, заваленный поблекшими листьями, с ободранными осколками стволами сосен, зияющий черными воронками на опушке; такой лес он тоже видел сотни раз, но такой почему-то не оставался в его памяти.

Немцы в расстегнутых френчах повсюду окапывались на опушке, шлепала выбрасываемая из окопов земля, раздавались незнакомые команды. Танки, тяжело лязгая гусеницами, пятясь, вползали в кусты, под тень деревьев; открывались башни, из люков машин, утомленно переговариваясь, вылезали танкисты, стягивали шлемы. Мимо — вдоль опушки — прошел тупоносый бронетранспортер, вдавливая листья в колеи. Солдаты в касках — у всех изможденные, небритые лица воскового оттенка — злобно или равнодушно смотрели на Овчинникова следящими глазами. Один, пожилой, с мясистым подбородком, до сизости набрякший багровостью, жадно сосавший сигарету, вдруг перегнулся через борт толстым телом, швырнул недокуренную сигарету в Овчинникова, крикнул ломано:

— Рус Еван, плен нихт! — и издал звук языком, точно кость ломал.

Мокрый окурок попал в щеку Овчинникова, но не обжег его. Он вздрогнул, вытер щеку, его затрясло от бессилия и унижения, он вскинул голову, затравленно озираясь. Жизнь его, имевшая ценность еще час назад, стояла теперь не дороже втопанного в землю листа. Видел он, немцы отходили в лес, бой затихал, а он, в эти минуты единственный пленный, — не солдат, а офицер, —

лейтенант Овчинников, которого они, вероятно, боялись, когда командовал он около орудий, сейчас шел здесь по чужому лесу, под этими чужими унижающими его или равнодушными взглядами, шел, утратив силу и ценность в глазах тех, кого он ненавидел...

— Куда идем?

Он приостановился, ссутулясь, покачнулся к немцу, упрямо нагнув шею. И тот, встретив глаза его, поднял белесые брови, произнес удивленно: «О!» Худощавое, мальчишески узкое книзу лицо его стало беспощадным, готовым на все. На голову выше Овчинникова, он шагнул к нему, с точной силой ткнул дулом автомата в щеку. Этим ударом поворачивая его голову, скомандовал ожесточенно:

— Vorwärts!¹

А он стоял, дрожа в бессилии, не двигаясь, не выплюнул, а трудно сглотнул наполнившую рот кровь, сипло выговорил:

— Если бы не рука, я б тебя, фрицевская сволочь, одним ударом сломал... если бы не рука... — и выругался страшным, диким ругательством.

— Was ist das² твою матку? — крикнул немец, выкатив молодые, в коровьих ресницах глаза, и, напрягая вену на бледной, с острым кадыком шее, звонко крикнул в лицо ему: — Vorwärts! — и озлобленно замахнулся автоматом.

— Что ж... пойдём, сволочь, — как-то согласно проговорил Овчинников и, спотыкаясь, зашагал быстрее по этой земле, по осенним листьям, к своему концу.

Его привели на поляну в глубине леса.

Бронетранспортеры, крытые штабные машины камуфляжной окраски стояли под соснами, в пятнистой тени. Люди в черном бесшумно ходили там. Посреди поляны зеленым лаком поблескивала приземистая легковая машина с запыленными стеклами. Вокруг нее солнечные косяки лежали на желтой траве, все здесь было обогрето теплым днем: и эта трава, и машины, и сосны, но от этого непривычно мирного тепла и покоя нервный озноб все сильнее охватывал Овчинникова.

Маленький, сухонький человек в черном плаще, в высокой фуражке, крутой козырек знойно сиял на солнце — лицо в тени, — сидел близ легковой машины на раскладном стуле перед низким раскладным столом. Закинув ногу на ногу, он рассеянно слушал женственно-стройного немца, почтительно склонившегося к нему тонким, красивым лицом.

¹ Вперед! (нем.)

² Что такое? (нем.)

На краю поляны немца-разведчика, как определил Овчинников, окликнули люди в черном. Немец, вытянувшись, прижав ладони к бедрам и растопырив локти, очень четко доложил, и он разобрал выделенное им слово — «лейтенант». Один из людей в черном, этот самый, красивый, с женственной талией, брезгливо взял у разведчика сумку, скомандовал Овчинникову знакомое «форвертс», и после этой команды немец-разведчик сделал непроницаемым лицо, щелкнул каблуками, повернулся круто, зашагал по дороге в лес, откуда пришли они, и Овчинников угадал, что его передали другой власти — власти людей в черном.

Двое немцев подвели его к легковой машине. Теперь знал он, зачем привели его сюда и почему прежде не убил его разведчик.

Он остановился, вызываясь расставив ноги, с кривой усмешкой, уже не придерживая раненую руку, не сплевывая заполнявшую рот кровь.

Он готов был к тому, что его станут унижать, причинять боль, страдания, и единственное, чем мог защититься он, была эта деревянная усмешка. Немец с женственной талией начал что-то говорить, слегка кивая в сторону Овчинникова. Сухонький, в черном плаще, медлительно зашевелился, и Овчинников увидел под крутым козырьком узкое лицо, глубокие прямые морщины у краев рта, по-стариковски выцветшие глаза. Немец смотрел внимательно, устало, смотрел на стыло усмехающиеся губы Овчинникова, не отводя взгляда, и Овчинников чувствовал, как холодный пот обливает тело.

Тотчас этот сухонький утомленно, скрипуче сказал что-то красивому, стройному немцу, что держал наготове сумку Овчинникова. И тот, покорно кивнув, расстегнул сумку и по-прежнему брезгливо, точно прикасался к вещам покойника, начал вынимать то, что было в ней, и Овчинников испытывал в эти секунды такое чувство, как если бы раздевали его догола.

«Там карта, карта с огневыми!»

Красивый немец вынул карту, истертую по краям, вежливо отодвинул на столе бутылку с фарфоровой пробкой, переставил металлический стакан, разложил карту на столе. Затем выложил, держа кончиками пальцев, насквозь пропотевшую, выгоревшую на солнце летнюю пилотку («Там в ней иголка с ниткой», — почему-то вспомнил Овчинников), и немец жестом гадливости смахнул ее на землю. Оттопырив мизинцы, развязал узелок — несвежий носовой платок, в котором были парадные, сделанные из фольги лейтенантские погоны, запасные никелированные звездочки (в госпитале лежал и сам отникелировал их Овчинников в соседней часовой мастерской). Немец бросил и это на землю. Порылся в сумке, достал офицерское удостоверение, замызганные треугольники (письма матери из Свердловска), оставил это на столе. Потом вынул испорченную зажигалку-

пистолетик, немецкую зажигалку («К чему он взял ее, зачем?»), с интересом осмотрел ее, ища метку фирмы, и, насмешливо улыбаясь, что-то сказал сухонькому немцу в черном плаще. Немец этот, не убрав старческую холеную кисть со стола, бесстрастно смотрел на разложенную карту Овчинникова, и Овчинников чувствовал, что может упасть — болезненные удары в сердце, в голове оглушали его. Не мог вспомнить, почему, почему положил он карту не в планшет, а в сумку. «Я не хотел этого, я не хотел! Что делать? Броситься, разорвать карту, успеть те места с отметками затолкать в рот... Спокойно, спокойно, не так... поближе к столу! Спокойно!..»

Глухой от шума крови в висках, он сделал шаг к столу, но тут кто-то цепко рванул его за плечи назад, а сухонький немец вновь перевел глаза на его губы, пузырящиеся кровью.

Невысокий, атлетически сложенный человек в зеленом френче, одергивая френч, поправляя парабеллум на боку, упругой походкой шел по поляне. Приблизился к столу, кинул руку к козырьку и заговорил по-немецки. Сухонький в черном плаще снял фуражку, обнажив редкие седые волосы, и, холодно глядя на карту Овчинникова, кратко и утомленно приказал что-то. Новый человек развернул удостоверение Овчинникова. У этого человека были тонкие усики на матовом лице, косые бачки вдоль вжатых, как у боксера, ушей, неизвестный Овчинникову немецкий орден мерцал эмалью, колыхаясь на его груди, выпукло обтянутой френчем.

Подвижные черные глаза ощупали Овчинникова, засветились настороженно-приветливо, и он, бросив удостоверение на стол, заговорил по-русски, чуть раздвинув губы улыбкой под опрятными усиками:

— Лейтенант Овчинников, Сергей Михайлович, командир огневого взвода первой батареи первого дивизиона двести девяносто пятого артполка?

Как от толчка, Овчинников дернулся головой, услышав это чисто русское произношение, каким не мог владеть немец, и, удивленно впиваясь зрачками в матовое, выбритое лицо человека, понял, кто этот переводчик.

И сквозь кривую, застывшую усмешку, с клокотом крови в горле спросил:

— Русский? Ты — русский?

— Лейтенант Овчинников, я хотел бы задать вам несколько вопросов. Дело в том, что несколько слов могут спасти вам жизнь. Вы, я думаю, это поняли?..

Послышался звук над вершинами сосен — тяжелое шуршание приближалось издалека, — дальнобойный снаряд летел, тяжело посапывал, дышал, расталкивая воздух. И ударил по лесу оглушительным грохотом — разорвался в чаще, за поляной. А Ов-

чинников, поглядев в ту сторону, охваченный дрожью, злобной радостью, бившей его, подумал с последней надеждой: «Сюда, сюда, братцы родные, прицел бы снизить на два деления. Давай, давай, братцы! Сюда!»

Все вопросительно повернули головы к сухонькому немцу в плаще, тот не выразил старческим лицом тревоги, слабо провел белым платком по гладким седым волосам, не без недовольства сказал переводчику какую-то фразу и холодно кивнул женственно-красивому немцу — адъютанту, по-видимому. Тот услужливо откинул фарфоровую пробку горлышка бутылки, налил в металлический стакан сельтерской воды, и сухонький немец отпил несколько глотков, устремил раздраженный взгляд на переводчика. Тот, искательно играя глазами, заторопился, заговорил резче, но Овчинников не слушал его. Пристально, не мигая, смотрел он на бутылку с фарфоровой пробкой.

И он вдруг поразительно отчетливо вспомнил, как в Польше освободили концлагерь. Полусожженные трупы мужчин и женщин лежали на плацу штабелями, с дырками в затылках: женщины в одном месте, мужчины — в другом. Оставшиеся живыми рассказывали, что немцы расстреливали их перед уходом, приказывали ложиться лицом вниз, и люди покорно ложились, живые на мертвых: женщины в одном месте, мужчины — в другом. Немецкая мораль не позволяла класть мужчин и женщин вместе. И каждый академический час — сорок пять минут, устав от выстрелов, вспотев, немцы, не забывая пунктуальную точность, садились на траву, пили сельтерскую воду. Соломенные корзины с пустыми бутылками остались там же, около штабелей трупов, и эти корзины видел Овчинников. Тогда поразило его, почему люди покорно ложились под пули? Устали от мучений? Хотели покончить с этими страданиями? Люди ждали, а они пили сельтерскую воду...

Он стоял, смутно видя смуглое лицо переводчика, тонкие усики, белые зубы под ними, и уже не усмехался — не было сил усмехаться. Он кусал губы в кровь — огромное, плотное росло, душило, захлестывало его, и нечеловеческий крик ненависти, бессилия, неистребимой злобы рвался из его горла, а он глотал этот крик, как кровь. «Что он спрашивает? Что они все спрашивают? О минных полях? Об орудиях? Карта на столе. Почему я не оставил ее в планшетке? Почему замолчала дальнобойная? Значит, конец... Конец?.. Неужели уйдут в Чехословакию? Карта на столе... Все время чего-то мне не хватало... Чего мне не хватало в жизни? Чего не хватало?..»

— Я все скажу, все скажу, вы не расстреляете меня... Я все...

Он не услышал свой голос, хрип выталкивался из его горла. Он ступил к столу, увидел: переводчик с заигравшей под усиками улыбкой поспешно сделал какой-то знак. Сухонький немец, заки-

нув ногу на ногу, выгнул брови. И охранная чужая сила не задержала Овчинникова, как прежде, не остановила его. Он видел одно — зеленый приближающийся квадрат карты на столе и повторял:

— Я все скажу... я все скажу...

Он ринулся к столу, протянул руку, с мгновенной радостью почувствовал глянец карты под пальцами, и в то же время страшный тупой удар в висок опрокинул его на землю, зазвенело в ушах. Что-то тяжело навалилось на него, сцепило горло, чьи-то голоса, как вспышки в черной мгле: «Вилли! Вилли!» — и на голову полилось жидкое, холодное. Его перевернули на спину. Он застонал, черная мгла исчезла, раскрылось небо — тоскливый, синий океан и среди синевы наклонившееся, заостренное лицо женоподобного адъютанта, его прищуренные веки. Он лил ему на голову воду из сельтерской бутылки и, торопя, звал кого-то: «Вилли! Вилли!»

«Я жив? — вихрем пронеслось в мозгу у Овчинникова. — Я еще жив...»

Кто-то сильно рванул его с земли, его подняли на ноги, заломив раненую руку, и от этой боли он пришел в ясное сознание, облизнул губы, судорожно усмехнулся. Он еле стоял на ногах, шатаясь, — живучая ненависть и унижение подпирали его бессилие. И вплотную придвинулась темная глубина стоячих, немигающих глаз переводчика, вонзилась острыми иголочками ему в зрачки, ноздри прямого носа раздувались.

— Последний раз спрашиваю, лейтенант Овчинников, последний раз... Слышите вы?

Потом вблизи лица переводчика появилось другое лицо, мясистое, багровое и вроде бы потное и сытое, как после плотного обеда. Оно сочувственно морщилось, покачивалось, толстые складки шеи наплывали на воротник с черной окантовкой. И новое лицо это зачем-то подмигнуло Овчинникову, рыхлые губы расплзлись в улыбке, показывая золотые, тусклые от еды зубы, и на мягкой, крупной ладони его взлетел парабеллум — сытый человек играл им. «Вот этот новый убьет меня, — подумал Овчинников. — Это тот, кого звали Вилли...»

— В последний раз задаю вопрос... Слышишь?

«Теперь все, вот оно», — подумал Овчинников и засмеялся диким клокочущим смехом.

— Курва ты, сволочь! Родину за три сигареты продал! — крикнул он, оборвав смех, и правой рукой ударил переводчика в подбородок. — Проститутка! Шкуру с меня сдирайте, ни слова вам не скажу! Ни слова! Вресь... — и снова засмеялся хрипло и страшно, шагнув к немцам. — Думаете, в Чехословакию прорветесь? Не-ет! Вам коне-ец! Все-ем вам конец! Ни одна сволочь не уйдет! Ни одна... Вас, как крыс, душить надо, как крыс!.. Я сам восемь танков ваших сжег! Вот они, в котловине горят! И если б...

Он задохнулся — не хватило дыхания, увидел: переводчик, вытирая платком щеку, быстро, подобострастно кланялся нахмурившемуся сухонькому немцу, словно просил и оправдывался, и в то же время вынимал из кобуры пистолет.

А толстое, мясистое лицо тоже нахмурилось и ждало. Спускающая предохранитель, переводчик подошел к Овчинникову,глянул мерцающими щелками глаз, затем жалко, просительно закивал двум немцам, державшим Овчинникова сзади, и его повели.

— Выслужиться хочешь, сволочь? — крикнул Овчинников. — Так ты увидишь, курва, как умрет лейтенант Овчинников!

Короткий возглас на немецком языке услышал он за спиной, невесомо-легко стало ему, никто не сжимал раненую руку, и он, все-таки сияясь повернуться, чтобы увидеть то, что ожидало его, прохрипел:

— Стреляй в лицо, курва предательская!..

И не успел повернуться, сзади с треском толкнуло, ударило его в бок, в грудь, и он почувствовал жесткий удар земли в щеку, а почувствовав это, хотел в последний раз вспомнить что-то ясное, чистое, синее, что было в его жизни, что должно было быть, но не мог вспомнить...

Он не знал и не мог уже видеть и чувствовать, что в эту секунду к нему, улыбаясь золотой улыбкой, вразвалку подошел тот самый вызванный Вилли, презрительно поморщась, взглянул на переводчика и спокойно расчетливо выстрелил три раза в лицо Овчинникову, который в эти секунды еще жил...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Бой постепенно затихал. Как и предполагал Новиков, ударный кулак окруженной немецкой группировки, вырвавшись из кольца под Ривнами, не сумел с ходу пробить брешь к границе Чехословакии, потерял силу атаки под массивным огнем артиллерии, увяз в минном поле. Сохраняя силы, немцы отошли в лес, левее ущелья, окапывались на опушке. Подоженные танки перед высотой, бронетранспортеры, разбитые машины на шоссе неохотно горели до полудня. И как только начал затихать здесь бой, стала особенно слышна канонада западнее Касно. Грифельная мгла косо шла над городом, занимая полнеба. Во мгле этой через каждые полчаса приходили с востока большие партии наших штурмовиков; разворачиваясь, подолгу обстреливали и бомбили окраины города.

Новиков несколько раз вызывал по проводу КП майора Гулько, но связи не было. Солдаты, истомленные боем, вповалку лежали

на огневой в неподвижном оцепенении тяжелой дремоты. Гре-
ло солнце. Даже во сне хотелось пить, кислая горечь была во рту.

В полдень принесли в термосах завтрак. Солдаты задвигались: нервнo зевая, загремели котелками, ложками выскребывали из них землю. Но ели пшеничную кашу нежадно, запивая терпким трофейным вином, всё косились на горевший город, недоверчиво взглядывали на удивительно чистый, синий край неба над Карпатами.

В кристально-студеной осенней высоте горного воздуха таяли нежнейшие, по-летнему белые облака, а внизу под ними дремотно, покойно желтели сосны, голубело, поблескивая, озеро, не по-осеннему обогретое солнцем. Туманный круг его висел над вершинами лесов, над острыми пиками Карпат.

И в молчании мирно тихой опушки леса, куда отошли немцы, была странность этой без единого выстрела тишины, этого солнечного тепла, установившегося за высотой. Непрерывные раскаты боя в городе, появление самолетов создавало чувство упорно нацеленного в спину острия.

В течение пяти часов батарея потеряла двенадцать человек и два орудия, и Новиков чувствовал, что в зависимости от успеха боя западнее Касно немцы повторят удар с севера, решающий удар для прорыва и соединения со своими частями в городе. Он думал об этом — и не повторение боя нервировало Новикова. Он ждал снарядов, обещанных майором Гулько. Ни снарядов, ни связи с дивизионом не было, и понемногу возникло тревожное предположение: немцы прорвались в город, отрезали от дивизиона батарею, нарушили связь.

— Что ж... всем завтракать. Да как полагается. Не мусолить, а по-настоящему! — сказал Новиков, сам чувствуя в своих словах фальшивую веселость. — Наминать кашу так, будто на три года в оборону здесь встали!

Ремешков, опустив глаза, поставил перед Новиковым полный котелок, нарезал тонкими ломтями душистый ржаной хлеб, старательно, долго вытирал ложку чистой паклей. Новиков, сидя на станине, взял ложку, зачерпнул из котелка и, поднеся к губам, сказал насмешливо:

— Вы становитесь образцовым солдатом, Ремешков. Только скатерти не хватает. Верно? И на кой... нарезали аристократическими ломтиками хлеб? Себе вон кусищи какие навалили! Вы за кого меня — за красную девицу принимаете? А как у вас аппетит, младший лейтенант?

И, сказав это, потянулся к большим ломтям хлеба, которые Ремешков положил отдельно для себя на расстеленную плащ-палатку.

Младший лейтенант Алешин ел не без аппетита; он вдруг смешливо посмотрел яркими глазами на замкнутое лицо Ремеш-

кова, черенком ложки сдвинул на затылок фуражку, хотел спросить: «А где ваш вещмешок?» — но поперхнулся, закашлялся и, прикрывая смущение, спросил, обращаясь к Новикову:

— Дернем, товарищ капитан? Я захватил ром, — и с видом беспечного человека отстегнул фляжку на ремне.

— Пожалуй, дергать воздержусь, — ответил Новиков. — Нет никакого смысла.

— Вот уж напрасно, — притворно-озадаченно вздохнул Алешин, разглядывая фляжку. — После такого боя стоило бы! А то каша в горло не идет! Нет, а я все же выпью! Можно? За подбитые танки, товарищ капитан. — И запрокинул голову, отхлебнул из горлышка глоток, затем, дружески, взволнованно сияя глазами, предложил фляжку солдатам: — Кто хочет, товарищи? Ну, орлы, что вы как мертвые? За подбитые танки! Всем по глотку!

Никто не поддержал его. Все лениво жевали, глядя в котелки.

— Эх вы, чудак, за танки надо! Что, плакать будем, что ли? — сказал Алешин, заалев пятнами, и так поскреб ложкой в котелке, что Новиков чуть улыбнулся.

Младший лейтенант Алешин был более других возбужден недавним боем, стрельбой по танкам, его неистребимо подмывало говорить об этом, вспоминать и удивляться той полноте ощущений, которые он пережил сегодня. Однако солдаты не были расположены к разговору.

Порохонько не ел, даже не притронулся к котелку, лежал на спине, сунув руки под затылок, блуждающе глядел в небо воспаленными глазами; подбородок его грязно оброс, галифе на длинных ногах порвались в коленях. Он сказал шепотом:

— Лопатками аж чую — земля гудить. Танки по городу идут, прорвались они... — И приподнялся, остановив тоскливый взгляд на Новикове. — Погибать не дома — все одно що мордой вышнюю давить. Двинуть они — и хана хлопцам. Туда бы, к орудиям, ползком, та помаленьку на хребтине — раненых сюда. А, товарищ капитан?

Новиков не ответил. Порохонько снова лег, губы его подрагивали.

— Если бы знал, где соломку подложить, с собой ворох бы и тягал, як Ремешков вещмешок. Да и тот вещмешок... Сбоку разрывной очередью полоснули, так оттуда белье, як кишки, полезло...

И угрюмо, исподлобья покосился на молчавшего Новикова.

Ремешков сидел над пустым котелком, отламывал, бросал в рот кусочки хлеба, жевал осторожно.

Хотя приказ оставить орудия исходил от Овчинникова и они не могли не исполнить его, люди эти, бросившие раненых, понимали и чувствовали, что потеряли свою человеческую ценность и для Новикова, и для солдат: никто всерьез не замечал обоих.

Наводчик Порохонько воевал в батарее ровно год, пришел с пополнением из освобожденной Житомирской области. Необычно длиннорукий, длинноногий, бывший учитель арифметики в сельской школе, он не был, как иные из оккупированных областей, преувеличенно тихим, исполнительным, — держался независимо, самолюбиво, спорить с ним опасались. Было в оккупации за его спиной нечто такое, чего он не стеснялся, но о чем не говорил никому. Стрелял Порохонько выверенно и точно; постоянно возил в передке банку белил; после каждого подбитого танка тщательно выводил кольцо на стволе орудия, потом, расставив циркулем ноги, подолгу любовался этим знаком и сообщал всем: «Ось так. Ясно, славно! Ось где нужна арифметика! За Петро, хлопчика-цыганка! Его медаль!»

Кто был, однако, этот Петро-цыганок — в батарее не знали, но, уже дважды награжденный, Порохонько ордена не надевал, а деловито завернув их в тряпочку, носил узелок в нагрудном кармане, как самую большую ценность.

— Нет, не могу ждать, — повторил Порохонько и с силой постучал щепоткой в неширокую грудь. — Я ж не могу ждать, товарищ капитан. Терпежу нет. Лягалов там. Я ползком... Ремешкова возьму...

— Помолчите, Порохонько! — прервал Новиков. — Ешьте лучше кашу! Я не верю в это.

Порохонько побледнел, щетина зачернела на его щеках, спросил нащупывающим голосом:

— Не верите? Что ж, может, и ордена напрасно дали? Тогда возьмите. Я ж оккупированный!.. Може, так?

И он зло достал из кармана гимнастерки узелок с орденами, длинное мрачное лицо его стало решительным.

— Тогда возьмите ж, товарищ капитан!

— Давай ордена, — сказал Новиков спокойно и протянул руку. — Значит, я ошибся...

Он много видел отчаяния на войне и знал: не надо жалеть людей в минуту слабости, и, хотя сейчас заметил в глазах младшего лейтенанта Алешина растерянность и осуждение, сухо повторил:

— Давайте ордена. А так как я ошибся, а вы это поняли, то делать нам в одной батарее нечего. После боя я переведу вас в другую батарею. Ремешков, вы что хотите сказать?

Ремешков, безмолвно собиравший котелки, чтобы помыть их, с выражением застывшего недоумения обернулся к Новикову белобровым лицом своим, произнес тихо:

— А когда с лейтенантом Овчинниковым бежали, он приказал мне: если хлопнет меня, доложи, мол, капитану, что восемь танков подбили. Порохонько, мол, четыре. — Ремешков, сглотив, глянул в его сторону. — И прицелы, мол, отдай капитану.

— Це же не мои танки, це Петро, хлопчика-цыганка, — шепотом проговорил Порохонько, стискивая в горсти узелок с орденами, и заморгал обожженными ресницами. — И ордена его... не мои...

— Спрячьте ордена, пока я не раздумал, — сказал Новиков холодно. — Батарея за несколько часов потеряла двенадцать человек. Я не хочу, чтобы было двадцать. Младший лейтенант Алешин, зайдите в землянку.

Вошли в землянку, прохладную, сыро пахнущую землей. Новиков посмотрел во взволнованные глаза Алешина, спросил:

— По лицу видел: все время хотел что-то сказать. Ну, слушаю.

— Почему вы так, товарищ капитан? Вы же обидели его... Замечательный же наводчик! — горячо заговорил Алешин. — Я за него ручаюсь! Товарищ капитан, он прав! Разве можно ждать? Да что же это такое: мы оставили раненых?

Новиков сказал:

— Учти, Витя, на тот случай, если меня убьют, такие штуки, как с Порохонько, — это нервы. Началось с Овчинникова. Не смог вытерпеть, когда это нужно было. Ты понял, Витя?

— Вы убили его? — полуутвердительно сказал Алешин. — Я видел...

— Этого я не видел, — покачал головой Новиков. — Я чувствовал, они хотели взять его живым. И если он попал к ним, я бы хотел не промахнуться.

— Не верите ему?

— Не в этом дело.

— Вы вместо наводчика сами стреляете! Тоже не верите?

— Опять не в этом дело. На войне есть такие минуты, Витя, когда многое надо делать самому.

Алешин замаялся, его каштановые волосы наивно лежали на незащитно чистом лбу, открытом сдвинутым назад козырьком фуражки. Но вид его не был беспечно лихим, как давеча, когда после боя пришел он от орудия весь налитый радостью молодого тщеславия, — расчет его подбил три танка. И Новиков подумал: они недалеко друг от друга по годам, но что-то резко отделяло их, просто он чувствовал себя гораздо старше Алешина, и странная, похожая на горечь нежность толкнулась в нем. «Он сохранил то, что потерял я, — способность жить по первому впечатлению. А это признак молодости. Как он это сохранил? Может быть, потому, что он год был рядом со мной и смог сохранить то, что я терял? — подумал Новиков. — Неужели это так?»

— У них ведь снарядов нет, товарищ капитан! — заговорил, помолчав, Алешин. — Пять снарядов — почти ничего. А Лена там... С ранеными. Нажмут фрицы из ущелья — и не успеем! Страшно подумать, что они сделают с Леной. Я раз видел одну медсестру... Почему вы медлите, товарищ капитан? Почему не отдаете приказ взять раненых?

Новиков курил, сквозь дым сигареты глядел на Алешина и не прерывал его.

«В отличие от меня он понимает только добро в чистом виде, — подумал Новиков, вспоминая недавний разговор с Гулько. — Он не умеет скрывать то, что надо иногда скрывать в себе, не научился ждать, терпеть. Он слишком поздно начал войну, чтобы понять: порой шаг к добру, стремление сейчас же прекратить страдания нескольких людей ведет к потерям, которым уже нет оправдания. Еще два года назад я думал иначе».

— Надо понять, — проговорил Новиков, — надо понять: нельзя показывать немцам, что орудия Овчинникова разбиты. А мы это сделаем, если начнем эвакуировать раненых днем, сейчас. Там есть люди — значит, орудия существуют. Пять снарядов — не один снаряд. Это пять выстрелов. По переправе. По танкам. Чувствую, Витя, в этом польском городишке мы, кажется, завершаем войну. Нет такого ощущения? Если немцы прорвутся в Чехословакию, значит, война на два, на три часа, на сутки продлится дольше. Все ясно? Вечером решим с орудиями. Топай на огневую. Я полежу малость.

Он пристегнул пуговичку на воротнике гимнастерки, сбросил ремень, лег на солому, слыша, как в замешательстве вышел из землянки Алешин. И только сейчас почувствовал каменную усталость во всем теле. После нескольких часов напряжения болели до рези глаза, ныли мускулы, горели в хромовых сапогах ноги, но не было желания двинуться, с наслаждением скинуть тесные сапоги. Он закрыл глаза — блеснули вспышки, ощутимо толкнуло в грудь душным воздухом, неясно возник чей-то голос: «Там раненые у орудий. Где Овчинников? Он убит? Богатенков убит, Колокольчиков убит... Убит? А Лена? Она убита? Не может быть...»

Сквозь этот хаос вспышек, сквозь этот незнакомый голос он с чувством мучительного преодоления дремоты пытался вспомнить, представить ее лицо, какое было оно у живой. Что это? Для чего она здесь? Он кого-то ждал в тишине под фонарем у забора, падал снег, а она смело, готовая на все, шла к нему узкими шагами, стройно покачиваясь, и в такт шагам колыбалась ее шинель. Но когда это было? В детстве? Что за чепуха! Вот ее последнее письмо, которое он все время носил с собой. «Тебя уже не было в живых, ты был убит, а мы сидели с ним три года за одним столом в пятой аудитории, помнишь? Вместе готовились к зачетам, и я привыкла к нему. Дима, об этом надо было сказать сразу, ведь ты верил, что я...»

«Молодец! В первый раз сказала прямо, лучше всего — ясность. Спасибо, милая Лена... Она убита? Не может быть! Кто это сказал? Младший лейтенант Алешин? Но он не знал никогда ту Лену, тот фонарь, тот снег... Я не говорил об этом. Откуда он знал?»

Вспышки исчезли, темное, глухое, вязкое душило его, навалиясь на грудь, и Новиков, задыхаясь, чувствовал во сне это душное беспокойство, тупую, непроходящую тоску. Весь в испарине, он застонал, точно сдавленный в накаленном солнцем мешке, и с томлением физического неудобства, очнувшись от липкой дремоты, смутно понял, что физически беспокоило его, — жали тесно, колюче сапоги. Стараясь восстановить в памяти бредовую путаницу забытья, он, упираясь носком одного сапога в каблук другого, хотел стащить их с ног, чтобы освободиться из этой горячей тесноты и наконец испытать ощущение отдыха. Но неясные отблески беспокойства оставались в его сознании.

Громкие голоса, топот ног вблизи землянки заставили Новикова разомкнуть глаза.

Он сел, привычно потянулся за ремнем с пистолетом. Отдаленные удары судорогами проходили по землянке.

— Кто там? — крикнул он, уже машинально стягивая ремень и оправляя кобуру. И, вскочив, шагнул к выходу, завешенному плащ-палаткой, отдернул ее, тревожно охваченный предчувствием.

На пороге стоял младший лейтенант Алешин, трудно переводя дыхание: он, видимо, бежал от огневой.

— Что случилось? Орудия? Лена? — тотчас спросил Новиков, по беспокойной внутренней связи соединяя все в одно.

Алешин, подавляя возбуждение, доложил:

— Петин, товарищ капитан. От Гулько... В городе черт-те что... Танки прорвались. В центр. Обстреляли машины. Одну сожгли.

— Какие машины?

— Там Петин на огневой, товарищ капитан... Одну машину привел. Вас ждет. Осторожней — автоматчики и снайперы появились. Бьют по орудиям, откуда — непонятно! Вот гады!

— Пошли!

Новиков вышел из полутьмы землянки в прозрачную чистоту осеннего воздуха, в ход сообщения, залитый солнцем, и здесь Алешин остановил его.

— Пригнитесь, товарищ капитан! Это место они пристреляли. По мне полоснули. Чуть фуражку не сбили. Вон, смотрите!

И указал на выщербленные белые отметинки — следы пуль на выступавших из земли торцах наката.

— Откуда обстреляли?

— Пригнитесь, прошу вас, товарищ капитан!

Но прежде чем пригнуться, Новиков скользнул взглядом по солнечному покойному озеру, по минному полю перед высотой. В глубокой низине струился дым догоравших угольно-черных танков, мирно желтели на солнце сосновый лес, бугры позиций Овчинникова, — настороженный, обогретый, странный покой был здесь. И только справа и за спиной, где был город, нарастали, смешивались звуки боя. В мрачно ползущей стене копоти над

городом с рокотом мелькала партия наших штурмовиков, высекая пушечные вспышки; скачкообразные глухие разрывы бомб потрясали землю.

— Пригнитесь же, товарищ капитан, прошу вас! Вы же... — Алешин не успел договорить: сухой щелчок выбил брызнувший осколок дерева из торца наката над головой Новикова. Оглянувшись — пуля легла в пулю — и посмотрел туда, где в голубой солнечной тишине мягко лопнул выстрел. Звук выстрела растаял бесследно, но показалось: стреляли недалеко.

— Надо бы выследить эту сволочь, — сказал Новиков и, все-таки нагнув голову, пошел по ходу сообщения. — Возьми на себя, Витя. А то перещелкает людей поодиночке.

— Здесь не один, — ответил Алешин, вглядываясь в торцы наката. — Расползлись, как клещи!

На огневой позиции в окружении солдат сидел, изможденно привалясь спиной к брустверу, ординарец Гулько Петин. Сидел он громоздкий, разбросав ноги в просторных запыленных сапогах, двумя руками держал котелок,пил жадными глотками, вдыхая через ноздри. Вода текла на его разорванную гимнастерку, на грязные колодки медалей. Увидев Новикова, поставил на землю котелок, расплескивая воду, попытался встать, заелозил ногами. Новиков сказал:

— Сидите! Что в городе? Рассказывайте. Подробнее. А это что у вас с глазом?

Правая сторона большого лица Петина безобразно, неузнаваемо распухла, кровоточила мелкими порезами, один глаз, сплошь красный, как от ушиба, слезился, заплыл. Вытерев слезы, Петин здоровым, удивительно светлым вопросительным глазом нерешительно обводил солдат, и Новиков поторопил его:

— Говорите при них. Они всё должны знать. Что, танки в городе?

— Прорвались... В центр, — рокотнул Петин и громкими глотками отпил из котелка, рукавом вытер губы. — Связь перерезали... Майор Гулько в боепитание послал, чтобы дорогу я, значит, сюда, к вам, показал. Нагрузили снарядами машины. Выехали в центр на площадь, глядь, а у костела танки какие-то. Думал, наши, а они как махнут по нас из орудий! Я с шофером сидел, осколки — по стеклу, что-то в глаз отлетело...

Петин замолчал, неловко потрогал кровавый глаз, с досадой ощупал разорванную гимнастерку.

— А это за ручку задел. Одну машину подбили, на два ската враз села. А мы как рванули в переулок, ну и к вам прилетели. Товарищ капитан, вам — от майора. Вот. Ответ пропишите.

Петин вынул из кармана кисет, из него — аккуратно свернутую записку, сдунул с нее табачную пыль и передал Новикову. Новиков развернул, прочитал несколько фраз, написанных ров-

ным, мелким почерком: «Посылаю с Петиным обещанные боеприпасы. Связи с вами нет. Позаботьтесь о круговой обороне. Берегите людей. Держитесь, мой мальчик. Обещаю вам — будет легче. Майор Гулько».

«Кому нужны сейчас эти сантименты?» — подумал Новиков и, хмурясь, сунул записку в карман. Сказал:

— Письма писать некогда. Передайте — батарея потеряла двенадцать человек и два орудия. Овчинников пропал без вести. О круговой обороне позаботимся. Спасибо за снаряды. Где машина?

— А внизу, под высотой, — обиженно мигнул заплывшей краснотой глаза Петин и спросил потерянно: — А как же с ответом-то, товарищ капитан? Пропишите. У меня карандашик найдется...

Новиков не смотрел на него.

— Всем — к машине, от огневой ползком, перебежать на открытых местах. Переносить снаряды к орудиям! — негромко командовал он, оглядев встрепенувшихся солдат. — А вам, Петин, в госпиталь бы надо. Не трите глаз. У вас не соринка. Жаль, санструктора нашего нет. Перевязку бы вам...

И после этих слов совсем ненужно вспомнил близкие теплые зрачки в темной, втягивающей глубине Лениных глаз, вздрагивающие от смеха ресницы, легкое, прохладное прикосновение пальцев ко лбу. «Не смотрите на губы, там ничего нет, смотрите мне в глаза! Ну?»

Как-то месяц назад в глаз ему попала соринка во время стрельбы, и Лена вытаскивала ее. Она хорошо это сделала, но и тогда раздражила Новикова своей вызывающей нестеснительностью.

— Есть индивидуальный пакет? Дайте-ка. Снимите пилотку, — приказал он Петину.

И, нетерпеливо обождав, пока тот искал, шарил по карманам, а потом вынул замусоленный, в крошках табака пакет, Новиков разорвал его, неумело, но быстро стал накладывать бинт, свежо и чисто забелевший на грубо выдубленном ветром лице солдата. Тот наклонял голову, вспотев, сопя, единственный глаз с опаской мигал в лицо Новикова.

— Да какой же госпиталь, товарищ капитан? — пытаюсь улыбнуться, бормотал он. — Так, ерундовина. Проморгается. Зачем это вы? Мне к майору надо... Спасибо, товарищ капитан! Некстати это...

— Смерть и ранение всегда некстати, — сказал Новиков, завязал узел и легонько оттолкнул Петина. — Теперь двигайте к майору. Да только пригибаться и бегом. — И чуть усмехнулся: — Для снайперов вы мишень огромная. Ну, бегом марш!

— Счастливо вам...

Петин грузно встал, старательно одернул гимнастерку, перешагнул бруствер и вдруг, неудобно пригнувшись, придерживая растопыренными пальцами медали на груди, тяжело порысил

по высоте к скату, за которым скрылись посланные за снарядами солдаты.

— Ползком! — крикнул Новиков. — Гимнастерку жалеете? Ложись!

В солнечном пространстве перед высотой, где чадили танки, поспешно треснул выстрел, синий огонек разрывной пули высекался под ногами Петина. Он, как бы очень недовольный, выпрямился всей огромной фигурой, сияя чистым бинтом на голове, поглядел туда, где щелкнул выстрел, и неуклюже сбежал, скатился по скату.

«Задело его? Нет, не должно быть, не задело!» — подумал Новиков, давно уверенный, что на войне подряд два раза не ранят, второй раз — убивают.

И тогда звонкий, отчетливый голос младшего лейтенанта Алешина заставил его обернуться.

— Товарищ капитан, вроде из-под того танка подбитого снайпер лупит! Не видите?

Алешин без фуражки — каштановые волосы светились на солнце — лежал под бруствером, смотрел куда-то в белесую дымку, плавающую в котловине.

— Пошли к пулемету, покажешь! — сказал Новиков.

В ровике НП, переступив через дремлющих связистов, Новиков спросил у дежурившего около пулемета разведчика:

— Заметили, откуда бьют снайперы? — И, не дослушав его полусонного бормотания: «Да тут солнце в глаза бьет», — снял с бруствера ручной пулемет, перенес его, меняя позицию, в дальний конец хода сообщения, установил на бровке.

Алешин лег грудью на край окопа, прошептал:

— Правее орудий Овчинникова, на минном поле — подбитый танк. Пушка к нам развернута, видите? Оттуда выстрелы.

Это было то место, где ранило Овчинникова.

— Прощупаем, — сказал Новиков.

И выпустил две короткие очереди, стремительно запылившие перед гусеницами подбитого танка. Тотчас он уловил двойной ослабленный звук выстрелов из-под днища танка. Он быстро взглянул назад, на высоту, где обстреляли Петина, и увидел человека, низкого, плотного, коротконогого, — рыхло забирая ногами, он бежал, заметный как в бинокль, к огневой позиции. Стреляли по нему. Новиков, не сняв пальца со спускового крючка, крикнул Алешину:

— Какого... там шляется? Кто это такой? А ну, наведи порядок! Может, опять от Гулько!

Он поставил удобнее локоть, прижал к плечу ложу пулемета, снова выпустил две короткие очереди под днище танка, неясно услышал позади крики Алешина: «Ложитесь, ползите! Откуда вы?» Затем тонко, мстительно взвизгнуло над ухом несколько пуль. Понял: теперь стреляли из-под танка по пулемету, и, загораясь

знакомым огоньком азарта, он вторично прицелился. Весь диск вылетел туда, откуда стрелял немецкий снайпер, и только после этого Новиков сорвал пулемет с бровки окопа, переставил на другое место, бросил разведчику:

— Новый диск! Быстро!

От орудий по ходу сообщения в сопровождении младшего лейтенанта Алешина шел, будто бодаясь, налитой и даже в талии толстый человек, квадратное лицо багрово, брови упрямо сдвинуты; и по этим бровям, по тучности Новиков, удивленный, узнал того капитана-интенданта, с которым у него произошло столкновение в особняке.

— А-а, интендант! — воскликнул Новиков. — Это за каким же лешим на огневую вас занесло? Судьбу испытываете? По снайперам соскучились? — И улыбнулся нахмуренному Алешину. — Чуете, Витя?

Интендант подошел, спотыкаясь в поспешности и волнении, едва выговорил:

— Товарищ капитан, я пришел, чтобы получить свое оружие. Я прошу оружие, оно записано под номером, — повторил он, глядя Новикову в грудь.

— Присядьте, — предложил Новиков.

Интендант присел, отпыхиваясь, вытер платком толстую шею, пылавшее багровостью лицо; делая это, поднимал и опускал руку, было видно, как тесный китель жестко давил ему под мышки. Новиков сказал полусерьезно:

— Ну вот что, если хотите, я могу извиниться. Что было, то прошло. Берите из особняка все, что необходимо для медсанбата: простыни, белье, вино, продукты, — и счастливого вам пути! От орудий, советую, ползком, иначе не вам нас, а нам вас придется отправлять в медсанбат. Кажется, все. Желаю удачи.

Интендант справлялся с одышкой, пот струями катился по его лицу, подворотничок врезался в шею, веки набрякли.

— У вас мое... оружие. Системы «наган», — сказал он упорно. — Прошу вас, мое оружие. Офицеру без оружия нельзя... Оно записано под номером. В документе...

— Младший лейтенант Алешин, отдайте оружие, — сказал Новиков. — Наган! Достали бы пистолет или парабеллум, наконец. Алешин, что вы медлите? Отдайте оружие...

Алешин, с неприязнью вперив взгляд в интенданта, нехотя вынул из сумки массивный наган, повертел его и, краснея, сказал презрительно:

— Товарищ капитан, если каждый тыловик...

— Отдайте, — оборвал его Новиков.

— Спасибо. Я сам погорячился, — сдерживая одышку, выговорил интендант. — Я рад, что познакомился с вами, капитан. Если что будет нужно...

— Я не умею говорить любезности, — вежливо ответил Новиков.

— Ладно, пусть так. Может, еще увидимся...

Всталкивая наган в кобур, интендант сгорбил тучную спину, зашагал по окопу, косясь влево на поле, где вились дымки под танками.

— А по высоте — ползком! Ползком! — гневным голосом крикнул Алешин. — Быстро!.. Приласкали, товарищ капитан, дикобраза какого-то! — возмущенно сказал он. — Тыловой комод эдакий!

А Новиков в это время, сильным ударом вщелкнув полный диск в зажимы пулемета, внимательно глядел в сторону города. Там, пульсируя тяжким громом, росла зловещая, кипящая чернота, надвигалась, заслоняя небо, краем повисла над высотой. И то, что было несколько минут назад, казалось ничтожно маленьким, ненужно пустячным, мелким по сравнению с тем, что приближалось оттуда и что создавал, чувствовал сейчас Новиков.

— Товарищ капитан, чеха ранило. В пехоту шел с термосом! Вон смотрите, в грудь его снайпер саданул!

— Где он?

— На огневой.

— Пошли.

Возле орудия сидел молоденький чех в новом, вроде еще хрустящем от свежести обмундировании, влажные, испуганные глаза старались улыбнуться Новикову, белый пушок на верхней пухлой губе в капельках пота; юношески худые пальцы сведены на груди. Рядом у ног стоял термос. Ремешков, присев подле на корточках, разрывал индивидуальный пакет, жалостливо вглядывался в ребячье лицо чеха, вздыхая по-бабьи, спрашивал скороговоркой:

— Куда ж это тебя, куда? Эх, милый человек, неосторожно ты, они туточки всё пристреляли. В пехоту шел, землячок, к своим? Понимаешь, понимаешь по-русски?

— Добрый ден... — прошептал чех и закивал быстро-быстро. — Рота... обед... Я — тр-р, катушка, связист... Шеста рота...

Он смущенно смотрел Ремешкову в лицо, взглядом умоляя понять его. Темное пятно расплывалось на гимнастерке, окрашивало молитвенно сложенные пальцы связиста.

— Снимайте с него гимнастерку! Перевязку! — приказал Новиков Ремешкову и повернулся к молча глядевшему на чеха Степанову. — Отнесите термос в шестую роту чехов. И передайте — ранен связист.

— Марице, Марице, повстани, — серыми губами шептал чех, когда Ремешков начал перебинтовывать его, и все взглядывал туда, за озеро, где лежала Чехословакия.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

А вечером стало ясно, что немцы прочно заняли центр города. Никто из дивизиона не сообщил Новикову, что на улицах идут бои, связь была прервана, и телефонисты, раз восемь пытаясь восстановить линию, в сумерки вернулись из города с опустошенными глазами, сообщили, что наравались на немецкие танки, всюду пожары, ничего понять нельзя и нет возможности восстановить линию — она перерезана. Два часа спустя из парка, где стоял хозвзвод, прибежал, дрожа в возбуждении, ездовой, доложил, что неизвестно откуда особняк и парк обстреляли автоматчики, лошадь убита, двое повозочных ранены. А доложив это, спросил подавленно: «Может, место сменить куда подальше?» Новиков знал, что такого неопасного места, куда можно было передвинуть тыл, сейчас нет, и отдал приказ окопаться хозвзводу — всем, от повозочного до повара — на юго-западной окраине парка.

Мохнатое зарево, прорезав небо километра на два, раздвинулось над городом. Там, в накаленном тумане, светясь, проносились цепочки автоматных очередей, с длинным, воющим гулом били по окраине танковые болванки. Порой все эти звуки покрывали обвальные разрывы бомб — где-то в поднебесных этажах гудели наши тяжелые бомбардировщики. Ненужные осветительные «фонари» желтыми медузами покойно и плавно опускались с темных высот к горящему городу.

Отблеск зарева, как и в прошлую ночь, лежал на высоте, где стояли орудия, и на озере, на прибрежной полосе кустов, на обугленных остовах танков, сгоревших в котловине. Впереди из пехотных траншей чехословаков беспрестанно взлетали ракеты, освещая за котловиной минное поле, — за ним в лесу затаенно молчали немцы. Рассыпчатый свет ракет тускло мерк в отблесках зарева, и мерк в дыму далекий блеск раскаленно-красного месяца, восходившего над вершинами Лесистых Карпат. Горьким запахом пепла, нагретым воздухом несло от пожаров города, и Новиков, мнилось, чувствовал на губах привкус горелого железа.

В девятом часу вечера он собрал людей на огневой позиции, сел на станину. Курить здесь никому не позволил — снайперы били на огонек, даже на громкий звук голоса. Медленно оглядел медные в зареве лица солдат, настороженные, неподвижные в ожидании приказа, потом сказал:

— Что ж, пора идти. — Помедлил и повторил: — Идти к орудиям Овчинникова и вынести раненых. Там их трое: один ходячий — сержант Сапрыкин, двоих надо нести. — Он пососал не-

зажженную самокрутку, сплюнул табак, попавший на губы. — Немцы ждут и наверняка предпримут последнюю атаку сегодня ночью или на рассвете, это ясно. Всем это ясно? — Он чуть поднял голос, снова оглядел неподвижные лица солдат. — Поэтому на всю операцию — час. Взять побольше запасных дисков. У тех, которые останутся здесь. Со мной пойдут Порохонько и Ремешков. Мы пойдем к орудиям по проходу в минном поле, по берегу озера. Вокруг огневых Овчинникова могут быть немцы. Но, какой бы перестрелки у нас ни случилось, ни орудийного, ни пулеметного огня не открывать! Чехословацкую пехоту я предупредил. Это все. — Новиков бросил под ноги незакуренную самокрутку, сказал Степанову: — Сержант, дайте-ка мне ваш автомат!

Молчаливый Степанов оборотил очень уж поспешно свое круглое, как блин, задумчиво-доброе лицо, затем, насупясь, положил автомат на колени, тщательно проверил ход затвора и, не сказав ничего, подал его Новикову.

Все молчали, освещенные заревом, глядя на розовеющее минное поле.

Новиков встал, повесил автомат на грудь, и это движение, которое словно отрезало его, Новикова, Порохонько и Ремешкова от солдат, кто оставался здесь, заставило всех непроизвольно вскочить с легким шумом.

Порохонько, пристегивая к ремню автоматные диски в чехах, подошел к Новикову, в зрачках играли красноватые хмельные огоньки, произнес вдруг отчаянно-бесшабашно:

— Ну, покурим на дорожку, чтоб дома не журились. Кто, хлопцы, даст на закрутку, тому жменю табаку дам! — И спросил чрезмерно серьезно Новикова: — Разрешите, товарищ капитан? Я замаскируюсь.

Новиков разрешил. Кто-то из разведчиков сунул Порохонько тайно обсосанный в рукаве шинели недокурок. Порохонько, крикнув, спрятался за бруствером; торопливо, наслаждаясь, сделал несколько глубоких затяжек и сейчас же растоптал, растер окурок каблуком, выпрямился, говоря:

— Ось полегчало, аж продрало, — и, покончив с этим простым житейским удовольствием, зыркнул взглядом по фигуре Ремешкова. — А ты що ковыряешься, як дедок в подсолнухах? Тыто некурящий?

— Я не... Я не курю, я ведь некурящий, — забормотал Ремешков заикающимся голосом.

Он суетливо вставлял диск в автомат, руки тряслись, и Новиков, вспомнив его вещмешок — горб на спине, недавний ужас в глазах, его унижительные жалобы на ногу, подумал, что в течение суток он беспощадно испытывал этого парня риском, близостью смерти, жестоко и сразу приучал к ощущению прочности человеческой жизни на войне, от которой Ремешков отвык

за шесть тыловых месяцев, как, возможно, отвык бы и сам Новиков. И, подавляя в себе чувство жалости, Новиков спросил, готовый на мягкость:

— Нога болит?

Ремешков не ответил, спеша повесил автомат на шею, скачущими пальцами застегивал шинель, озираясь на город, на близко фыркающие звуки танковых болванок. Он теперь знал, что никакая болезнь ноги в этой обстановке уже не поможет, как не помогла прежде, и онемело торопился, обрывая все, к тому страшному, что ждало его, что в течение суток видел, пережил не раз.

Новиков скомандовал вполголоса:

— Все по местам! Порохонько и Ремешков за мной, — и двинулся по ходу сообщения.

— Товарищ капитан!..

Его остановил неуверенный оклик Алешина. Пропуская вперед солдат, Новиков задержался, увидел в темноте светлеющее лицо младшего лейтенанта, голос его зазвучал преувеличенно равнодушно:

— Голодные они там. Передайте, пожалуйста, Лене, раненым. Это у меня от трофеев осталось. Вот. Не от меня, конечно, а так... от всех. Передайте... — Он сунул Новикову три плитки шоколада, теплые, размякшие от долгого лежания в карманах, добавил одним дыханием: — Ни пуха ни пера, — и замер, опершись о стенку окопа.

— Посылать к черту не буду. Ты слишком хороший парень, Витя. Ну, смотри здесь. Остаешься за меня.

«Я второй раз передаю от него шоколад Лене, — думал Новиков, шагая по ходу сообщения и с твердой для себя определенностью чувствуя какую-то тайну их взаимоотношений, которую не замечал. — Что ж, так и должно быть. Но почему я не знал? Что, я считал, что на войне не может быть этого?»

Они с осторожной очередностью спустились по скату высоты к озеру. Здесь, перед черной полосой кустов, Новиков приказал остановиться.

— Я в пехоту, к чехам, ждать здесь, — сказал он шепотом и пропал в темноте.

Сухое шипение осенней травы, внезапный шелест и шум катящихся из-под ног камней, шорох одежды громом отдавались в ушах, когда они спускались сюда, и теперь Порохонько и Ремешков, присев, положив автоматы на колени, слышали гулкий, учащенный стук крови в висках. Одновременно взглянули на озеро и высоту. Озеро все — до низкого противоположного берега — теплело лиловым отсветом; высота за спиной кругло и темно выгибалась среди кровавого зарева и так ясно была вычерчена, что четко вырисовывались острые стрелки травы над бруствером огневой. Канонада из города доносилась сюда приглушенно.

Справа, в стороне пехотных траншей, оглушила трескучим выстрелом, с дрожащим визгом взмыла ракета. Повисла, распалась зеленым оголяющим светом. Ремешков вздрогнул, съежил-ся, сдерживая стук зубов, заговорил прыгающим шепотом:

— Там... рядом... за кустами... Колокольчиков убитый, связист. Я давеча наткнулся на него. Лежит...

— Ты що это зубами стукаешь? Злякався? — спросил Порохонько, подозрительно-зорко вглядываясь в Ремешкова. — Чего тогда пошел? Для мебели? А ну замолчь! Идет кто-то...

Зрачки его зло вспыхнули, и Ремешков втянул шею, с покорностью замолк, наблюдая вдоль ската высоты. Там едва слышно зашелестела трава, к ним шел, приближался человек. Ремешков не выдержал, позвал сдавленным вскриком:

— Товарищ капитан!.. — И, не получив ответа, шепотом выдал: — Смотри, на связиста наткнулся... на него...

— Цыть! Какие тут тебе капитаны! Молчи! — зашипел Порохонько, стискивая трясущееся колено Ремешкова.

...Когда Новиков прыгнул в ход сообщения чехословацкой пехоты, его остановил голос из полутымы:

— Гдо там?¹

— Русский капитан. Это шестая рота?

Месяц вставал над Лесистыми Карпатами; в тени, падавшей на южную сторону траншей, двое чехов дежурили у пулемета — курили на патронных ящиках спиной друг к другу, заученно при каждой затяжке нагибаясь ко дну окопа, у ног поблескивали металлические груды стреляных гильз. Увидев Новикова, оба вскочили, улыбаясь ему, как давнему знакомому. Они узнали его — Новиков был здесь полчаса назад. Оба, с любопытством глядя на Новикова, заговорили вместе обрадованно, выделяя слова заметным акцентом:

— Товарищ кап-питанэ... О, русове... Хорошо! Разумитэ?

— Разумею, — сказал Новиков. — Здесь командир батальона?

— Ано, ано ², просим... товарищ... товарищ капитанэ. Просим...

Они проводили его до землянки, услужливо распахнули дверь, и Новиков вошел.

Командир батальона, сухощавый, узколиций чех в накинута на плечи френче, сидел за столом, освещенным «летучей мышью», задумчиво черкал по карте отточенным карандашом. Двое других офицеров, прикрыв ноги шинелями, спали на нарах — лиц не было видно в полусумраке. Фуражки, полевые сумки, ручные фонарики, новые ремни лежали на пустых патронных ящиках.

¹ Кто идет? (чеш.)

² Да, да (чеш.).

— Капитанэ? — вполголоса воскликнул командир батальона и с выправкой строевого офицера встал, надевая френч, запахивая его на груди. — Капитанэ, сосед, ано? Так по-русски? Сосед!..

Он протянул руки Новикову и, сильно сжав его пальцы, потянул книзу, этим движением приглашая сесть к столу. Лицо чеха не было молодым, однако не казалось старым, — он выглядел человеком неопределенного возраста: морщины прорезали выбритые щеки, старили высокий лоб, но из-под рыжеватых бровей живо светились глаза. Он усадил Новикова на ящик и, сядясь напротив, предлагая сигареты, заговорил по-прежнему негромко, чтобы не разбудить спящих офицеров:

— Просим! Я хотел... очень сказать... кто жив... из пушек?.. Вы имеете связь? Сигареты, просим...

— Спасибо, — ответил Новиков, закуривая сигарету. — Я бы хотел еще раз предупредить, что мы выходим на нейтральную полосу. К орудиям. Будем там около часа. Можно вашу карту?

— Да, да, очень просим. — Чех пододвинул карту.

— Мы пойдем вот сюда. За ранеными. Вы знаете эту позицию. Что бы с нами там ни случилось, прошу вас огня не открывать. И в течение часа не надо освещать минное поле ракетами.

— Разумитэ. Очень понимаю, — подтвердил чех, кивая. — Мы можем помочь... Много раненых вояку? Я дам вам чехов...

— Пока не надо, — сказал Новиков.

Говоря это, он увидел на карте Карпатский кряж, озеро, извилистую границу Чехословакии, за ней в долине, на черной нити шоссе Ривны — Касно жирно обведенный красным карандашом город Марице, возле — кружочки других городов, где партизаны начали восстание, ожидая наступления с востока. Чех заметил его взгляд, разгладил изгибы карты, мизинцем провел от ущелья по шоссе Ривны — Касно — Марице, сказал:

— Марице! Огромная война, капитанэ! Словацкие партизаны ждут русских. Боюеме сполу за свободу!¹

— Немцы вряд ли отсюда пройдут к Марице, — сказал Новиков, отодвигая карту. — Мы пройдем к Марице. — И пошутил: — Это, как говорят, не за горами! Ну, до встречи!

Он погасил сигарету в консервной банке, заменявшей пепельницу, прощаясь, улыбнулся.

— Желаю счастья, — сказал чех. — Вам стоит сказать йедно слово — и мы придем на помощь. Мы будем наблюдать.

— Спасибо. Значит, час без огня и ракет.

— Все будет так.

Командир батальона проводил его до конца траншеи.

¹ Вместе боремся за свободу! (чеш.)

После разговора с чехом Новиков, возвращаясь, метрах в двадцати от траншеи наткнулся на тело убитого.

Убитый лежал на боку, в неудобной позе, застигнутый смертью, тонкая, белая, худенькая рука, неловко торчавшая из рукава гимнастерки, простерта к высоте, голова утомленно и наивно, как у спящей птицы, подогнута под эту руку. Сбитая смертью выгоревшая пилотка валялась тут же, облитая блестящей ночной росой. Ноги его были поджаты к животу, будто холод смерти, который почувствовал он, заставил сжаться его так, сохраняя последнее тепло. И вдруг Новиков узнал своего связиста — не по лицу, а по худенькой руке и позе (тогда ночью, в особняке, он спал, так же подогнув голову). Новиков повернул Колокольчикова лицом вверх, долго глядел на него. Лицо было неподвижным, мелово-бледным, мальчишески удивленным («Зачем? Откуда по мне стреляли?»). Оно запрокинулось на слабой, тонкой шее, тусклый синий свет месяца холодно стыл в полузакрытых глазах, которые всегда поражали Новикова своей ясной зеленью.

Новиков наклонился и, трогая пальцами мокрую от росы грудь Колокольчикова, достал потертый, перевязанный веревочкой кисет, в нем были документы — кисет по-живому еще пахнул табаком. Потом отцепил две медали «За отвагу», те медали, к которым представил Колокольчикова в прошлом году... и, почувствовав мертво-холодную, гладкую их тяжесть, подумал, что теперь Колокольчикову ни документы, ни отвага не нужны.

Он вспомнил: «А матери у меня совсем нету... сестра у меня... Адрес в кармашке вот тут...» И обжигающая мысль о том, что, если бы он, Новиков, тогда не послал Колокольчикова по линии, тот бы не погиб. Сколько раз в силу жестоких обстоятельств посылал он людей туда, откуда никто не возвращался! Сколько раз мучился он один на один с бессонницей, узнав о гибели тех, кого посылал. Но где оно, добро в чистом виде? Где? Его не было на войне.

...Он услышал, как шепотом окликнул его Ремешков. Подняв голову, увидел выгнутый полукруг высоты среди красного зари, недвижно сидевшие фигуры солдат и мгновенным толчком вернулся к действительности. Он, нахмуренный, подошел к солдатам, скомандовал:

— Вперед!

Порохонько, придерживая автомат на груди, вскинулся первым, за ним в нервном ознобе привстал коренастый Ремешков, раздувая ноздри, испуганно остановил глаза на лице Новикова. И тот понял, что все время, сидя здесь, Ремешков ожидал, что неожиданно изменится что-то в пехоте и идти не нужно будет туда, вперед — в неизвестное, опасное. А поняв это, спросил дружелюбно:

— Что, не выветрилось еще тыловое настроение, Ремешков?

— Да разве к смерти привыкнешь, товарищ капитан? — ответил Ремешков слабым криком. — Разве я не понимаю?.. А совладать с собой не могу.

— Этого не хватило и Овчинникову, — сказал Новиков. — Возьмите себя в руки. Идите рядом со мной.

— Цыть ты, цуцик несуразный! — злобно и сильно дернул Ремешкова за хлястик Порохонько. — О смерти залопотал! Про себя соображай, цуцик!

Сразу же ступили в полосу кустов, и кусты поглотили их влажным прелым сумраком. Будто дымящийся, месяц мертво обливал синевой пожухлые листья; немое движение месяца и это матовое сверкание листьев создавали острое чувство затерянности, неизбывного одиночества. Ракеты больше не взлетали над пехотными траншеями, затаенная глухота распростерлась перед высотой, и, отдаленные, проникали сюда раскаты боя в городе.

Новиков шел впереди, раздвигая студено-скользкие ветви, возникал и спадал шорох листвы над головой. Срываясь с ветвей, роса брызгала в лицо, слепила глаза, овлажняла рукава шинели; упруго цеплялся за ветви ствол автомата. Новикову не было известно, тщательно ли разминировано здесь, только наверняка знал он, что наше и немецкое минное поле начиналось вплотную за кустами. Однако он шел, не останавливаясь, не изменяя направления, упорно и заведенно продираясь в мокрой чаще. Он не считал себя, вернее, приучил не быть преувеличенно осторожным, но случайная смерть от зарытой мины, на которую можно наступить лишь потому, что человеку свойственно ходить по земле, казалась ему унижительной, бесцельно-глупой, и это ожидание взрыва под ногами раздражало его.

«Где начинаются и кончаются не случайные немецкие мины? — думал он. — Кто знает, где их граница?»

Здесь, под прикрытием кустов, они двигались в рост по ничьей земле, и Новиков напряженно всматривался в холодный сумрак, в подстерегающе-металлический блеск росы на траве, на листьях, чувствовал в ногах, в мускулах знакомую настороженность, готовый мгновенно вскинуть автомат в тот последний момент, который решает все, — кто выстрелит первым. Он спешил и на ходу часто взглядывал на часы — отраженный месяц кошачьим глазом вспыхивал на стекле.

И все время, не утасая, его мучила мысль о том, что немецкая атака повторится не на рассвете, а этой ночью — через два часа, через час, через тридцать минут, но что бы ни произошло, что бы ни случилось, они должны были успеть к орудиям до начала новой атаки, должны были успеть...

— Шире шаг, не отставать! — поторопил шепотом Новиков. — Идти точно за мной. Ни на метр в сторону.

И, подав команду, остановился внезапно, отводя и с осторожностью удерживая рукой отогнутые ветви, и сзади идущим стало слышно, как зашлепала роса по палым листьям. Тишина — и лишь громкий стук капель.

Порохонько, втягивая воздух ртом, едва не натолкнулся на Новикова, зло обернулся к Ремешкову, шагавшему с низко нагнутой головой.

— Стой и не шурши! — прошипел он неприязненно.

И Ремешков дрогнул бледно-зеленым лицом, замер, часто задышал, вытягивая губы, — хотел спросить что-то, но не спросил, только сглотнул, задохнувшись.

Новиков и Порохонько неподвижно стояли в кустах.

По тому, как лунно и пустынно засинело впереди, по тому, как тихие чмокающие звуки донеслись, по-видимому, с озера, Ремешков понял, что кусты кончились и за ними голое чистое поле до самой возвышенности, где оставались орудия Овчинникова, откуда давеча бежали... Утром здесь были немцы.

Ремешков с морозящим его ужасом, с ожиданием смотрел на зашевелившиеся в кустах спины Новикова и Порохонько — они молча глядели из-за ветвей на синеющее впереди поле. И оттого, что его прерывистое, шумное дыхание, казалось, заглушало все и поэтому он плохо слышал, и оттого, что они непонятно молчали, а он не видел и боялся увидеть то, что видели они, Ремешков, сдерживая стук зубов, ощущая ознобное дрожание под ложечкой, ожидал сейчас одного — резкой, беспощадной команды Новикова: «Вперед!» («Неужто он не боится умереть?») Вот сейчас, сейчас «вперед!» — и оглушительный встречный треск пулеметных очередей, трассирующие пули, летящие в грудь... Они здесь были. Ведь здесь были немцы, танками окружили со всех сторон орудия, он сам видел их, когда отходили с Овчинниковым.

«Маманя, помоги, маманя, помоги, может, и не вернусь отсюда! Может, погибну. Маманя, спаси...» И хотя Ремешков никогда не верил в Бога, ему хотелось страстно, горячо, исступленно молиться кому-то, кто распоряжался человеческой жизнью и его жизнью и судьбой. «Если ты есть какая судьба, то помоги, не хочу умирать, рано мне! Колокольчикова убили, так спаси меня...»

— Тихо! — еле различимым шепотом приказал Новиков. — Вы что, Ремешков? Тихо! Приготовиться! Прорываться будем.

И Ремешков, не замечая того, что делал, повалился, сел на землю, хватаясь за кусты, — ноги ослабли.

Но в эту минуту ни Новиков, ни Порохонько не заметили этого. Они следили за чем-то, отгибая ветви.

Каленый свет месяца мертвенно заливал полого подымавшееся к возвышенности бесприютное пустынное пространство поля, оно росно светилось, и влево от него, в неглубокой котловине, протянувшейся к ало-голубой глади озера, возникали и пропа-

дали глухие отрывистые металлические звуки, а справа среди обугленных силуэтов сожженных танков тревожно, однотонно кричала какая-то птица, и другая призывно отвечала ей из минного поля.

— Что за черт! Слышите? И птицы... на кой здесь? — шепотом выругался Новиков, не спуская зарябивших от напряжения глаз с поблескивающей котловины; не понимал он, откуда шли эти близкие металлические звуки, зачем и откуда доносился этот ночной переклик птиц.

— Побачьте-ка, — сжав, как клещами, локоть комбата, прошептал Порохонько, обдавая табачным перегаром. — Видите? Во-он двое пошли... Видение? Не?

Две темные человеческие фигуры бесшумно шли по дну котловины метрах в сорока за кустами, один нес что-то, потом оба согнулись, исчезли; и тут же увидел Новиков еще троих. Вернее, сначала уловил справа неопределенное приближающееся позвякивание, и выдвинулись из синего сумрака в котловине эти трое, остановились, поджидая. И как бы оторвавшись от земли, на которой лежал, присоединился к ним еще один: встал на минуту против месяца, высокий, без каски, длинноголовый, на груди мотался автомат, — Новиков хорошо различил его, — и, постояв, припал к земле, слился с ней.

«Разминируют поле? Значит, это саперы, немцы, — подумал Новиков, уже сознавая, что не ошибся, не мог ошибиться. — Так вот почему они прекратили атаку!»

— Що будем делать? — опять, обжигая табачным дыханием, прошептал Порохонько. — А, товарищ капитан? Подождем, пока утопают, а? Не?

Новиков сказал, отступив на шаг, продолжая глядеть в котловину:

— Ждать нельзя, будем прорываться к орудиям! Броском вперед, больше огня — прорвемся!

И дернул с плеча автомат, беззвучно перевел рычажок на очереди, угадываяще посмотрел на Ремешкова. Ремешков вскочил, точно земля подбросила его. Цепляя ремнем за уши, за воротник шинели, стащил автомат, распрямился перед Новиковым, шатаясь на ватных ногах.

«Вот оно, в конце войны, вот она, судьба! Да как же это? — мелькнуло у Ремешкова. — Господи, как же это?»

Рвущий воздух треск распорол и громом оттолкнул к небу тишину, слепящая быстрота огня колючей болью ударила по глазам Ремешкова, и, зажмурясь, затем разомкнув веки, увидел он, как сквозь синее стекло, впереди себя Новикова. Стреляя из автомата, разбрызгивая пучки очередей, он скачками бежал в котловину, что-то кричал не оглядываясь, а в нескольких метрах от него вроде бы прыгала над землей длинная спина Поро-

хонько, а из-за этой спины рвалось нечто обжигающе-огненное. Спина на мгновение близко повернулась к Ремешкову, появился раскрытый криком рот. Тотчас мимо него наискось промчался сноп пулеметных трасс, другой, прерывистый вихрь сверкнул мимо плеч Новикова — и все впереди, справа и слева заклокотало, опрокинулось, забилося, крутясь и качаясь в раскаленной карусели. И лишь сейчас понял Ремешков, что он не в кустах, а бежит вниз, в котловину. Задел ногой за кругло-мягкое, живое, и вдруг острое, мерцающее опрокинулось на него, твердо ударило в лицо. Он нащупал колючую траву, понял, что упал, что зацепился носком за живое, мягкое, услышал рядом хрип, свистящее дыхание: разом надвинулся из темноты белый круг чьего-то лица с расширенной чернотой глазниц, жарко хрипящего рта.

Это лицо приблизилось, оно вставало, чужие потные руки скользнули по подбородку Ремешкова, вцепились в горло, рванули кожу ногтями. Ремешков откинулся, закричал дурным голосом:

— А-а-а, га-ад! — Толчок неистребимой жизни влил в него упругую силу, бросил на ноги («Автомат, автомат скорей!»), и, торопясь, сумасшедше дергая спусковой крючок, он всю очередь выпустил в это по-заячьи вскрикнувшее, отшатнувшееся лицо.

«Я убил его, — мутно пронеслось в сознании. — Сволочь, к горлу тянулся! Сволочь паршивая! К горлу...»

Весь опаленный злобой к этому человеку, который хотел его убить, для которого жизнь Ремешкова не имела значения, он, готовый защищаться, стрелять, дрожа от бешенства, оглянулся, ища глазами Новикова: «Где капитан? Где он?..»

Огненная карусель свистела, трещала, крутилась уже на противоположном скате котловины, и Ремешков, не увидев вблизи Новикова, не найдя его, бросился туда, вверх, исступленно притиснув к груди автомат. Заметил впереди зазубренное клокочущее пламя, оно мигало, увеличивалось, выбрасывая пунктиры пуль по скату, и он, охваченный бешенством, обливаясь потом при воспоминании о тех руках, о перекошенном лице, которое хрипело в траве, суетливо вскинул автомат, полоснул мстительной очередью. С наслаждением, со злобной радостью дергая спусковой крючок, заметил, как оборвался клекот там, в траве. «Задушить, сволочь паршивая, хотел, задушить!..»

А ноги несли его туда, на скат, где, перемещаясь, дробилось пламя, сталкивались, взвивались нити трасс. И оттуда, из этого бушующего круговорота огня, автоматного треска, доносились до слуха Ремешкова знакомые громкие окрики, а он не мог сразу ответить, не мог разглядеть того, кто звал его.

— Ремешков! Сюда! Ко мне!

«Это капитан Новиков, его голос, он кричит! Да что же я молчу? Ранен он, может?..» И он выдавил из себя шепотом:

— Здесь я...

Задыхаясь, он увидел в свете пуль неправдоподобно высокую фигуру Новикова — он почему-то не бежал вверх по скату, а спулся, пьяно покачиваясь, в котловину; отчетливо бросилось в глаза — до фиолетового свечения накалившийся ствол автомата и то, что на капитане не было фуражки; трассы летели над его головой, и его рост уменьшался по мере того, как он сбегал в котловину.

— Ремешков? Вы это? Быстрей! — крикнул Новиков не то радостным, не то полувопросительным голосом. — За мной! За мной!.. Ремешков!..

И, выкрикнув это, задержался на секунду, рывком поднял раскаленный автомат, выплеснул куда-то вправо очередь, прикрывая огнем подбегавшего Ремешкова, спросил резко:

— Вы ранены?

— Нет, — просипел Ремешков.

— Впереед! К Порохонько! Вверх, впереед!..

«Это он за мной вернулся, за мной?» — скользнуло в голове у Ремешкова, и, видя, как Новиков вновь вскинул сверкнувший ствол автомата, он всем телом рванулся к Новикову, навстречу сухому, захлебывающемуся треску очередей, обессиленно прохрипел со слезами, душившими его:

— Товарищ капитан... бегите... Я здесь, я... вас прикрою... товарищ капитан... бегите...

Ядовито светясь, обгоняя друг друга, трассы с визгом махнули над головой Новикова.

— Вперед!..

— Товарищ капитан!..

— Вперед! — крикнул Новиков и круто выругался.

И, ничего не поняв, глотая слезы, Ремешков побежал вверх по пологому скату.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Тишина, душная, беспокойная, распростершаяся от ущелья и леса, мертвым пространством окружала позиции Овчинникова. А они не могли уже называться позициями. Там не раздавались голоса, не вспыхивал огонек зажигалки, прикрытый полкой шинели, не звучали шаги в ходах сообщения, не сменялись часовые. Там, в пятидесяти метрах за блиндажом, лежали те, кто еще утром откликался на фамилии, ходил по ходу сообщения, наполняя позиции живым дыханием, крепким запахом табака, солдатской одежды. Эти люди приняли первый танковый удар и умерли.

А в блиндаже еще были живые.

В теплом воздухе, плотно напитанном запахом пота и бинтов, не колебались язычки немецких свечей — тянулись вертикально, фитили в плосках горели слабым огнем.

Ночь вползла на огневую, и в блиндаже все прислушивались, застывшими глазами глядели на языки свечей, ожидая, когда вздрогнут они от стрельбы, — понимали: это вздрагивание плосшек будет последним перед тем, как войдут сюда немцы.

Все знали: лишь один человек был там, наверху — в четырех шагах от блиндажа дежурил у пулемета разведчик Горбачев. Он курил (слышно было, как кресал зажигалкой), звучно сплевывал, ругаясь («Гады, что задумали? Куда расползлись все?»), иногда, громко кусая, принимался жевать галету, беззлобно ворча («Обман серый, солому прессуют!»), порой, постукивая каблуком, вполголоса напевал нечто длинное, бесшабашное, вызывавшее у Лены чувство тоски:

Ты не стой, не стой
На горе крутой,
Не целуй меня,
Хулиган такой.
Рыбачок милой,
Дурачок ты мой,
Эх, трим-би-би, эх, трим-би-би...

И когда, оборвав нелепую эту песню, перестав курить, ругаться и сплевывать, он замолкал, сырая гнетущая пустота шуршала в ходе сообщения, глухо обволакивала блиндаж. Тогда затихал, переставал стонать раненный в бедро связист Гусев и удивленно слушал, как всхлипывал, несвязно бормотал в бреду Лягалов, метаясь на нарах.

— Что это он, Лена?

Сержант Сапрыкин, с перебинтованной грудью и животом, от этого неузнаваемо белый, без кровинки в лице, пытался подняться на руках, переводил взгляд с огоньков плосшек на Лену, сидевшую на снарядном ящике, вслушивался в безмолвие наверху.

— Заснул? И петть перестал... Заснет он, возьмут нас тут фрицы ровно кур... Вот парнишку жалко, — и сожалеюще кивал в сторону Гусева.

— Вам не нужно беспокоиться, милый, не думайте об этом, — говорила Лена ласково-успокаивающим шепотом. — Все будет хорошо...

Но она не верила в то, что говорила. Она слишком серьезно понимала, что орудия отрезаны, окружены, что она и Горбачев не смогут долго выдержать здесь вдвоем. И эти наплывы тишины на блиндаж почему-то связывались с бесшумно, как из зем-

ли, возникшими фигурами немцев на бруствере. Горбачев не успеет дать очередь, крикнуть...

Маленький пистолет, вынутый из кобуры, лежал, поблескивая, на столе — либо оставленный с целью, либо забытый лейтенантом Овчинниковым. То, что было сделано лейтенантом Овчинниковым, что произошло после его ухода, виделось будто через серую, знойную пыль. Не было сил восстановить в памяти все: были бесконечные пороховые удары в уши, чесночно-ядовитый запах гильз, запах пота, крови, влажных, теплых бинтов. И невыносимо хотелось пить, а потом назойливо, липко, желанием вспомнить что-то, преследовало ощущение вязкой тишины, чувство неясного, незавершенного, тягостной необлегченности.

— Водицы бы, Леночка, глоточек бы... Жжет все...

Лена встала, подошла к нарам.

Лягалов уже не всхлипывал, не стонал в бреду, открыл глаза, почти белые от боли; некрасивое, сразу обросшее лицо его было синей бледности, обметанные, тронутые смертью губы почернели, выделялись четко. Он шептал просительно:

— Водицы бы, Леночка... холодной. — И сморщился виновато и жалко. — Или кваску бы... со льда...

— Потерпите немножко... нельзя вам, нельзя. Немножко потерпеть, несколько минут. Пожалуйста... Скоро в медсанбат, там врачи, всё, — убеждающе заговорила Лена, поправляя под головой его сложенную, пропахшую порохом шинель. — Нельзя вам воды, нельзя.

Лягалов облизывал губы, непонимающе остановив белые глаза на наклоненном лице ее: пересиливая себя, он особо внимательно слушал ее голос и нечто другое, что было слышно только ему за этим голосом. И уж очень покорно он перевалил на шинели голову вправо и влево и, глядя в потолок блиндажа, сказал с осмысленной горечью:

— До медсанбата... силов нет...

— Вы будете жить, вам только нужно потерпеть... Потерпеть...

Она зашептала эти вынужденные и нежно-обманчивые слова, что всегда говорят умирающим с надеждой зацепить их за жизнь, что не раз она говорила и другим, смутно чувствуя — эти ложные слова приносят умирающему последние муки. Но она ничего не могла сказать иначе.

Он был тяжело ранен в живот осколками сбоку. Она, перевязывая его, видела страшную рану, знала, что перевязка безнадежна, не нужна, что ни медсанбат, ни врачи не помогут. А он, не видя раны, вероятно, тоже чувствовал это непоправимое, надвигающееся, но гораздо глубже, мучительнее, сильнее, чем остальные, кто еще жил хотя бы маленькой надеждой...

И она поняла это.

Лягалов пытался не то улыбнуться, не то объяснить что-то, чего ни она, ни, может быть, все окружающие не могли знать, чувствовать, понимать, но ничего этого не объяснил, лишь жалко, умоляюще задрожали веки.

— Воды, Леночка... Холодной бы... Пospешать мне... не дотерплю...

— Хорошо, — беззвучным шепотом проговорила Лена. — Хорошо.

И чуть прикоснулась, провела ладонью по его липкому, жаркому лбу и отошла. Некоторое время с закрытыми глазами, не шевелясь, она стояла спиной к Лягалову возле снарядного ящика, чувствовала, что он терпеливо ждет, потом неуверенно достала чайную ложечку из сумки. То, что она делала, преодолевая сопротивление разума, не было жестоким обманом себя. Это было последнее, что она могла сделать для него.

«Кажется, это он сказал, что готов воевать двести раз, чтоб только не было женщин на войне, — почему-то вспомнила она, отвинчивая пробку фляжки. — Да, это он сказал тогда ночью».

— Пожалуйста, не двигайтесь, глотайте, — заговорила Лена ласково чужим голосом, садясь у изголовья Лягалова, и налила в ложечку воды. — Сейчас не будет жечь, пройдет... не будет жечь...

Лягалов пил из ложечки, глотая и всхлипывая, тянулся к ней, как ребенок, и она, тихо глядя его покрывшийся испариной лоб, с ужасом думала, что эти ложечки вливали в него глотки смерти. Но все же наполнила последнюю ложечку, зная, что жажда при ранении в живот страшна, люди, мучаясь мыслью о воде, умирают тяжело и медленно.

Она дала ему четыре ложечки, сидела, охлаждая ладонью влажный лоб его, а Лягалов застонал, глаза были закрыты, словно тени неясных мыслей бродили по его прозрачному лицу.

— Знал я, — прошептал он.

— Что? — спросила Лена. — Что?

— Как будто знал я. — Он слабо поднял безжизненную руку на грудь, обессиленно выдохнул: — Здесь вот... В сердце было...

— Что было?

— Приснилось... вчера... — выговорил Лягалов, открывая глаза, полные слез. — Вернулся я... После войны... Ребятишки вокруг. А жена отвернулась, поцеловать... не захотела... А я в ней души не чаял. Красивая... а за меня, уroda, пошла... И ребятишки, четверо... Как же это, а? Разве я виноват, что меня... убило? Разве виноват?..

И вдруг беззвучные рыдания искривили некрасивое лицо Лягалова, сотрясли его тело, и он, замычав, отвернулся к стене, захлебываясь внутренними слезами, шепча:

— Это я так... это ничего... Ты меня не слушай, Леночка... Пройдет... Мне бы Порохонько еще увидеть... Я ведь его... уважал...

Лена молчала.

— Вот тебе и герцогиня польская, шут ее возьми, — закрихтев, произнес Сапрыкин.

Он слушал Лягалова, приподнявшись на локтях, свет падал на седые виски; когда же донеслись звуки, похожие на сдавленные стоны, проговорил успокоительно:

— Порохонько тоже любил тебя, Лягалов... Конечно, остер на язык... А так добрый он человек. — И хмуро покосился в сторону Гусева. — Вон и Гусев чего-то заговариваться стал. Плохо, что ль, ему, Елена? Лопочет чегой-то мальчонка.

Гусев лежал, укрытый шинелью до подбородка, молоденькое, почти ребячье лицо его заострилось, моталось из стороны в сторону. Он бормотал, задыхаясь:

— Я связист Гусев, а остальные... убитые... Овчинникова нет, одни убитые... Снарядов пять штук... А мне постели на диване, мама... В шкафу простыни-то... в шкафу...

Осторожно положив флягу и ложечку на стол, Лена отогнула воротник шинели, корябавший Гусеву подбородок, выжидая, посмотрела на пожилого, спокойного, все понимающего Сапрыкина, а тот глядел на нее устало, сочувственно, и что-то догадливое замечала она в его глазах.

Было тихо. Давящее безмолвие висело над блиндажом. И сквозь это безмолвие вполз в блиндаж зовущий шепот сверху:

— Лена, ко мне! Сюда!..

Лена вздрогнула, решительно схватила пистолет на столе, сказала:

— Это меня. Поглядите здесь.

Сапрыкин сел.

— Сперва подала бы мне автоматик, — медлительно сказал он. — Вот сюда, под руку мне. — И заговорил, хмурясь на огни плошек: — Я свое пожил. И в ту войну Советскую власть защищал, и в эту пошел. Два сына взрослые у меня, оболтусы здоровые. — Усмехнулся глазами. — Недаром прожил. Так вот что... — Он передохнул, глянул на дверь — из тишины вторично и громче донесся голос Горбачева:

— Лена, сюда!..

И Лена, пряча игрушечно-маленький лакированный пистолет в карман гимнастерки, внезапно вспомнила недавние слова Овчинникова: «Убить из него нельзя, а так, поранить можно», — и, быстро застегнув пуговички, чувствуя неудобное прикосновение к груди, она обернулась к Сапрыкину, поторопила его взглядом: «Говорите, я слушаю».

А он с трудом сидел на нарах, опираясь руками, неглубоким дыханием подымал всю в бинтах грудь; густая седина светилась в его волосах.

— Так вот что, Елена... Запомни и с своей совести это возьми... Меня и их, — проговорил твердо Сапрыкин и моргнул в сторону

Гусева и Лягалова, — на себя возьму. Мои солдаты, мне и отвечать. На том свете разберемся... Живьем не отдам — не-ет! Только когда невтерпех станет там, наверху, ты сообщи: мол, давай, Сапрыкин, мол, последний звоночек с того света... Ну, иди, иди!.. Да больше о себе помни да о Горбачеве, вам жить да жить. А война-то вся к концу... Детей еще родишь.

Лег он, постепенно опускаясь на дрожавших, напряженных руках, влажно заблестело немолодое грубоватое лицо, неожиданно улыбнулся, обнажая щербинку в передних зубах. Никогда не видела Лена его улыбку и никогда не замечала эту щербинку у сержанта.

— Детей еще родишь, — повторил он и, ослабев, тихонько лег на солому. — Иди, не перечь мне, ради бога... Иди!..

И она не сумела ни сказать, ни возразить ему ничего. Он понимал и чувствовал то, о чем порой в эти часы ожидания и затишья думала она. В разведке она давно привыкла к тому, что тяжелораненые на нейтральной полосе не попадали в плен. За два года она и себя приучила к этому, но ни Сапрыкин, ни Лягалов, ни Гусев не были разведчиками. И, поднимаясь по земляным ступеням из блиндажа, Лена все же задержалась около выхода, ища в себе ту надежду, которая должна была быть в ней, сестре милосердия, и которая еще тлела в ослабевшем от страданий Сапрыкине, сказала не то, что хотела сказать:

— У нас осталось пять снарядов. И пулемет. Я тоже умею стрелять.

И вышла в лунную свежесть ночи.

Горбачев лежал на брезенте правее орудия; расставив локти перед ручным пулеметом, он глядел вперед, наблюдая за чем-то, и, не поворачивая головы, позвал шепотом:

— Лена, давай сюда. Что-то в башке все спуталось. — Отодвинул диски, освобождая рядом место. — Ложись, не стесняйся...

Она легла рядом на холодный сыроватый брезент, взглянула на лицо Горбачева, в упор освещенное месяцем.

— Устали? Дайте-ка я подежурю. Можете идти в землянку, — сказала она и смело коснулась его руки, охватившей спусковую скобу.

Он не пошевелился и руку свою со скобы не убрал, только подмигнул утомленно, лицо было неестественно зеленым, щеки втянулись, из широко расстегнутого ворота виднелась сильная ключица. Прошептал полушутливо:

— Мне эти санитарные жалости до феньки! Ясно, Леночка? Хоть и люблю вашего брата, за эти пальчики жизнь бы отдал, а сними их. Чуешь — обалдел? В глазах кровавые танки мерещатся. Зрение у тебя хорошее? Слух?

— Подите к черту, — сердито сказала Лена, не принимая полужутливого тона его.

— Ясно. Посмотри-ка сюда, вперед, — зашептал Горбачев, — вон туда на танки. Видишь что-нибудь? Поближе ложись, так виднее...

Не ответив, она легла поближе, узким плечом касаясь каменно-устойчивого жесткого плеча Горбачева. И это беспокоило ее, как и огненный зрачок месяца над высотами Карпат, светивший навстречу, в глаза. Поле вокруг огневой сумрачно чернело кривыми силуэтами танков. Тошнотворно пахло горелой броней. Метрах в пятидесяти впереди мутно серебрились редкие кусты, справа застывшими глыбами обрисовывались два сожженных танка. Косые тени густо падали перед ними. А между этими теньями сквозил, лежал на траве светло-лиловый коридор лунного света. И что-то еле заметно, осторожно передвигалось там, пересекая этот светлый коридор. Одинокий крик птицы донесся оттуда, прозвучал в осеннем воздухе, смолк, и скоро другой крик прерывисто, громко отозвался с минного поля, позади танков, и тоже умолк. Неясно различимое движение в светлой полосе возникло отчетливее. Двое людей привстали с земли, ясно проступили темные фигуры, тени на траве, перебежали, низко пригибаясь, несколько метров по скату и растаяли в сумраке котловины.

— Это немцы, — сказала Лена и откинула волосы со щеки. — А эти птичьи крики — сигналы. Я знаю по разведке. Что ж вы, Горбачев, смотрите? Патронов нет? — спросила она насмешливо. — Они же идут по проходу в минном поле. Нашли проход... Разве вы не видите?

Горбачев прислонился переносицей к прикладу пулемета и молчал долго, потом, вмиг очнувшись, сбоку прищурился на тонкий профиль Лены — она чувствовала его взгляд, — сказал:

— Думал, мерещится. Мозга с мозгой в прятки играют! Вот гадюки! Значит, или разведка, или поле разминируют? Так? Готовятся? — И, ожесточаясь разом, подтвердил: — Или разведка! Или саперы!

— И то и другое может быть, — ответила Лена, стараясь говорить спокойно. — Стреляйте, не ждите. Когда они пройдут по проходу, поздно будет. Тогда будет поздно!

— Эх и умна ты, девка, ох умна-а! — с восхищенным вздохом произнес Горбачев, посовываясь к пулемету. — Эх, не будь этой катавасии, раскинул бы я сети, зацеловал бы, заласкал насмерть! Рядом с тобой умирать страшно: кто тебя целовать будет — наши или чужие?

— Не беспокойтесь. Никто.

— А чья ты? А, Леночка? Алешина? Капитана Новикова? Что-то не пойму...

Сказал это уже серьезно, удобнее раздвинув локти и прижимая к ключице приклад пулемета; он ждал длительную минуту, остро прицеливаясь. Она успела заметить бесшумное перемещение теней в лунном коридоре, и вдруг над ухом разорвалась тишина, эхо гулкой волной ударило по котловине. Возле самого лица забилося, дробясь, пламя пулемета. Во всплесках его мелькали стиснутые зубы Горбачева, капли пота на лбу. И все смолкло так же неожиданно. Горбачев, не спуская черно-золотистых глаз с лунного коридора, крикнул Лене, еще полностью не ощутив после стрельбы тишину:

— Давай в блиндаж! Сейчас начнут! — И добавил непредвиденно злобно: — Не могу я видеть рядом женщину, тебя не могу! Матерюсь я, как зверь! Слышь!

Она не встала, не ушла, улыбнулась ему понимающе-мягко, взглянула из-за косой пряди, упавшей на щеку, потянулась к автомату Горбачева, взвела затвор, спросила:

— Полный диск? — И отвела прядь со щеки. — Я ведь тоже умею стрелять.

Она выпустила две длинные очереди туда, в светло-дымную полосу между танками, где сникло, прекратилось движение, и снова отвела волосы со щеки. И больше ничего не сказала, лишь по-прежнему улыбнулась мягко.

Он глянул на нее сбоку, снизу вверх, скользнул черными прищуренными дерзкими глазами по ее нежно округлой шее, подбородку, по ее губам и, пододвигаясь вплотную, сказал уверенным шепотом:

— Если что случится такое, Леночка, я расцелую тебя. Так я с этим светом не прощусь!

— Глупый, — сказала она снисходительно-ласково. — Тогда я сама поцелую тебя...

Они замолчали. Смотрели оба на залитый месяцем проем между танками. Молчали и немцы. И было непонятно: почему не отвечали они ни одним выстрелом, будто их не было там. Отдаленный крик птицы донесся теперь снизу, с минного поля, никто не ответил ему. Все стихло. Но было в этом затишье что-то необычное, подозрительно-тайное, тревожно-хрупкое.

— Слышите? — шепотом спросила Лена.

Едва уловимые тонкие звуки возникали за спиной на той стороне озера, они плыли над водой прозрачным облачком, зыбко стонали в синеве ночи. Они пели, эти звуки, о самом сокровенном, несбыточном. Саксофон звучал целлулоидной вибрацией, перламутровая россыпь аккордеона, женский голос на чужом языке томительно и бесстыдно убеждал кого-то, что мир прекрасен, влюблен, что где-то за тридцать земель есть электрические огни, блеск зеркал, люстр, рестораны, хорошее вино, незабываемый запах женских духов, чистое белье, запретные наслаж-

дения: «Потерпи, солдат, пройди сквозь грязь, нечистое белье, кровь, и ты обретишь все это».

— Успокаивают себя, — сказала Лена тихо. — И нас...

— Вроде бы. На психику нажимают, — ответил Горбачев и почесал переносицу о приклад пулемета. — Патефон крутят. Как вчера ночью. Джаз. Эх, Леночка, и давал я прежде стружку, на всю железку! — Горбачев шумно вздохнул. — Рестораны любил, музыку, девушек, жизнь любил до невероятия! Да и она любила меня! У нас, у рыбаков, деньги были легкие. Сотни шуршали в карманах. Официанты всей Астрахани знали: Григорий Горбачев с бригадой гуляет. По этому делу на собраниях чёсу нагоняли, а сейчас приятно вспомнить! А у меня бригада была — орлы парни, девчатки — красавицы. По две, по три нормы давали. Портреты, слава! Потом война — и земля на опрокид! Поняла юмор этого дела? Знаешь песню?

Стели, мать, постелюшку
Последнюю неделюшку,
А на той неделюшке
Расстелем мы шинелюшки.

Лежа с автоматом, Лена улыбнулась задумчиво. Патефон в немецких окопах стих — исчезло над озером плавающее звуковое облачко, этот далекий раздражающий отсвет чужой несбыточной жизни. Месяц переместился — лунный коридор сдвинулся по траве между угольными тенями танков, сузился, сквозил тоненькой щелью. И ничего не было видно там. Стояла в котловине тишина. Только со стороны зарева, вставшего справа за высотой, долетали перекаты боя. Лена сказала полувопросительно:

— Если они нашли проход в минном поле, то они будут продвигаться здесь. Другого прохода нет?

— Нет.

— Тогда не надо беречь патроны...

Она не договорила, плотнее положила автомат на бруствер, выстрелила торопливыми очередями по тихо-светлой щели меж танков. Ответного огня не было. Она оттолкнула волосы со щеки, возбужденно сказала Горбачеву:

— Если это разведка, то их немного. Они могли уже пройти.

Немцы молчали. Вновь поплыло звуковое облачко с той стороны озера, сосредоточенно и исступленно выбивал синкопы барабан, китайскими колокольчиками звенели тарелки...

И тут порывистый треск автоматных очередей неистово распорол, затряс воздух справа от орудия. Потом грубый вскрик команды на немецком языке донесся спереди, и сейчас же залиvisto зашили немецкие автоматы — на слух можно было угадать. Пучки трасс выметнулись из котловины в направлении высоты.

— Немцы рядом! — сказала Лена. — Это они...

Горбачев вскочил, сдернул с бруствера пулемет, рванулся к правой стороне огневой, крикнул:

— Диски неси! Быстрее!..

И, упав на колени подле бруствера, глядя на мерцающие вспышки в темноте, на спутанные трассы, изо всей силы втиснул пулеметные сошки в землю, лег, раскинув ноги. Взглядом ловил основание трасс, они рождались вблизи огневой, резали по тому скату котловины. Это стреляли по кустам немцы.

— А, гады!

И внезапно он понял, что от орудий Новикова прорывались сюда, что немцы прошли через минное поле в котловину, что наши столкнулись с ними. И когда Лена поднесла запасные диски, перекошенное злобой лицо Горбачева тряслось, щекой прижавшись к ложе, опаленное красными выплесками пулемета.

— А, гады! Прошли-таки, прошли! — И, быстро повернув голову, крикнул Лене, прицельно подымавшей над бруствером ствол автомата: — В землянку! К раненым! Да нагнись ты! Ухлопают дуриком!

И почти ударил ее по плечу, пригнув ее, припал к пулемету. А она не почувствовала боли от удара его руки, с тихим упорством слегка отодвинулась, нашла бившееся в траве пламя немецкого автомата, выстрелила бесконечно длинной очередью. Колючие живые толчки приклада прекратились, но они еще горели на плече, когда заметила она, что пламя в траве сникло. Диск был пуст. Она прислонила автомат к брустверу, сказала, удерживая дрожь в голосе:

— Нас все же двое, слышишь? Я умею стрелять, ты это помни, — и пошла к блиндажу.

Она остановилась в ходе сообщения, стараясь делать все расчетливо-спокойно, и здесь, испытывая ненависть к себе, почувствовала: что-то горькое, острое стоит в горле и трудно дышать. Она вспомнила: «...звоночек с того света», — и торопливо вошла в нагретый полусумрак блиндажа, ощупью спустилась по земляным ступеням. Запахло теплыми бинтами.

Слабо стонал, всхлипывая, Гусев, неподвижно-плоско лежал Лягалов лицом к стене. Огоньки плошек приседали, змеились. И Сапрыкин сидел на нарах, держа автомат на коленях, с напряжением устремив на Лену взгляд, догадливый, умный; судорога, похожая на улыбку, выказывала щербинку меж зубов. Спросил:

— Началось?

— Все скоро решится, — ответила Лена. — Ложитесь. Сапрыкин, поставьте автомат. Что Лягалов? Ничего не просил?

— Уснул. Все про детишек бредил, про жену. Прощения у кого-то просил. А потом уснул.

— Бедный, — сказала она шепотом.

Она наклонилась над Лягаловым, посмотрела и быстро выпрямилась, подошла к выходу из блиндажа, затем к столу, где покойно, напоминая о мирном уюте, блестела в свете колеблющихся плошек чайная серебряная ложечка, и снова вернулась к выходу и снова к столу. Глядя сухими темными глазами, присела на ящик.

— Что? — спросил Сапрыкин обеспокоенно. — Спит? Что молчишь, Елена?

А она, закрыв глаза — синие тени легли под ними, — отрицательно покачала головой с выражением страдания.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

На ходу повесив горячий автомат на грудь, он стремительно сбежал по земляным ступеням в блиндаж, вытирая рукавом пот с лица. Тонкое шитье автоматов не смолкало наверху. Горела одна плошка, тускло освещала нары, и он окликнул хриплым, сорванным голосом:

— Лена!..

Она сразу не узнала его голоса, не увидела лица — и стояла, опустив руки, глядя на него с неверием, даже испугом, она не могла понять, почему он сам здесь.

— Все живы? Здесь раненые? — спросил он громко, и это был голос Новикова.

Он шагнул из тени на свет, к столу, прямо к ней, и тут она близко увидела его лицо: незнакомо худое, осунувшееся, в потехах пота, темнели разводы крови на виске, на влажно слипшихся волосах. Был он без фуражки, на обнаженной шее — ремень автомата; непривычно распахнутая шинель открывала вольно расстегнутый воротник гимнастерки с оторванной с мясом пуговицей. И все это неузнаваемо меняло его, приближало к ней сокровенно, родственно. Она молча глядела на него взглядом, готовым к ужасу.

— Лена! Ну что это вы? — Он взял ее за плечи, легонько встряхнул. — Что с вами?

Уголки ее губ жалко и мелко задергались, мелко и горько задрожали брови, и бледное лицо стало некрасиво-беспомощным. И, не сдерживая себя, она потянулась к нему со страхом, сильно припала лбом к его пахнущей порохом и потом влажно-горячей шее, чувствуя, что руки Новикова не отпускают, скользят по спине, по затылку, прижимают ее голову и автомат больно впивается ей в грудь. И эта боль отрезвила ее. Она сказала наконец:

— Лягалов умер... Гусева немедленно в госпиталь. Немедленно...

Он, хмурясь, со смущенной неловкостью, неудобством отстранил ее, спросил:

— Только зачем слезы?

— Нет, это не слезы, я не умею плакать! — зло, ожесточенно прошептала Лена, блестя сухими глазами ему в лицо.

И, вся вытянувшись на цыпочках, отвела мокрые, слипшиеся волосы с его виска, поспешно отошла к столу, выдергивая вату из сумки.

— Ранило, да? Я посмотрю...

— Царапнуло. Сбоку, — ответил он, бегло оглядывая блиндаж. — Вот что. Немедленно выносить раненых на огневую. Порохонько и Ремешков уже делают из плащ-палатки носилки. На сборы — пять минут. Перевязку потом. Сапрыкин! — непривычно тихо позвал он, разглядев его на соломе. — А вы чего же, сержант, как вы? Дойдете — или на носилках? Вытерпите? — И добавил серьезно-грустно: — Эх, парторг, парторг, что же вы на Овчинникова не нажали? Вы ведь знали, что не было приказа об отходе.

Сапрыкин, вконец ослабленный, лежал, не поднимая головы, перебинтованная его грудь ходила тяжело; посмотрел на Новикова через силу спокойным взглядом, ответил шепотом:

— Что было — не вернешь. Меня в то время уже с ног сбило. Что ж, не поправишь. Обо мне беспокоиться нечего. Вон мальчонку выносить надо.

Новиков сказал:

— Я сейчас. Собирайтесь.

— Куда вы? Зачем? — спросила Лена, смачивая вату из пузырька со спиртом.

— К орудию Ладьи. Мне надо посмотреть.

— Там все убиты, товарищ капитан, — остановила его Лена. — Я была утром. Даже некому было сделать перевязку. Вы разве не верите?

— Мне надо увидеть самому, — ответил Новиков. — Я сам должен...

Он вышел. Было тихо. Автоматная стрельба прекратилась. Воздух стал жидким, сине-фиолетовым — месяц набрал высоту, далеко светил над проступившими вершинами Карпат.

На огневой, переругиваясь наспех, задевая сапогами за станины, громко дыша, возились с плащ-палатками согнутые фигуры Порохонько и Ремешкова. Горбачев дежурил у пулемета; звучно сплевывая за бруствер, спросил Новикова безразличным тоном:

— Этим же путем прорываться будем? Расползлись они по всей котловине, как скорпионы, и притихли...

Новиков надел фуражку, которую засунул в карман, когда прорывались к орудиям, ответил:

— Этим же путем. Вы вот что: в крайнем случае прикройте меня огнем. Пойду к четвертому орудию.

Орудие старшего сержанта Ладьи стояло в сорока метрах левее орудия Сапрыкина. С ощущением пустоты и безлюдья перешагнул он полусметенный осколками бруствер — ужасающая, развороченная воронками яма открылась перед ним, бледно озаренная месяцем. Орудие косо чернело в этой яме, щит пробит, накатник снесен. Затвор открыт, повис, круглое отверстие казенника зияло, как кричащий о помощи рот. Запах немецкого тола еще не выветрился за день и ночь, сгущенно держался здесь, будто в чаше.

Новиков огляделся, пытаясь найти то, зачем шел сюда, что было его людьми, расчетом орудия, но не нашел того, что было людьми, а то, что увидел, было страшно, кроваво, безобразно, и он никого не мог отличить, узнать по лицу, по одежде. Осколки разбитых пустых ящиков из-под снарядов валялись всюду, мешаясь с клочками шинелей, обмоток, разбросанными, втиснутыми в землю гильзами, а он все искал среди этих обломков ящиков, среди гильз, отбрасывая их в стороны, искал то, что объяснило бы ему, как погибли его люди.

Он не нашел ни одного целого снаряда даже в нишах, и стало ясно: они расстреляли боезапас. Потом шагнул к сошникам: там что-то холодно переливалось под месяцем, отблескивало в воронке. Он нагнулся, поднял влажный от росы кусок гимнастерки, на нем колючий, исковерканный, без эмали орден Красной Звезды. Он никак не мог вспомнить, чей это был орден, и, не вспомнив, сунул его в карман шинели.

Он знал, что надо уходить, но не было сил уйти отсюда, горькая неудовлетворенность притягивала его к разбитой огневой — он должен был понять, как случилось всё...

Он обошел вокруг бруствера огневой позиции, рассматривая воронки перед орудием, и здесь, в трех шагах, увидел левее позиции, в командирском ровике, нечто круглое, неподвижное, темнеющее у бруствера. Он спрыгнул в мелкий ровик и только теперь близко различил человека, грудью лежащего на бруствере. Лежал он в одной гимнастерке, сторбившийся, лицом вниз, уткнув лоб в накрепко сжатые кулаки, словно думал; полуоторванный замасленный погон вертикально торчал, на нем слабо светились вырезанные из консервной банки орудийные стволы, аккуратной полоской белел подворотничок, который, вероятно, был пришит перед боем. Бинобль валялся рядом.

Это был старший сержант Ладья.

Новиков осторожно опустил Ладью в ровик — плечи сержанта сузились, голова откинулась назад, странное выражение торопливости, невысказанного отчаяния застыло на лице его. Все шесть орденов справа и слева на его неширокой груди были залиты чем-то темным. Видимо, в последнюю минуту подавал он последнюю команду, но она не достигла орудия, — может быть, не было уже никого там в живых.

Он погиб в отчаянии, уткнувшись лицом в руки.

И тогда понял Новиков, как погиб Ладыя, весь расчет. Очевидно, в тот момент, когда кончились снаряды, три танка зашли слева, расстреливая орудие прямой наводкой. Они и сейчас чернели, эти танки. Но кто подбил, сжег их — сам ли он, Новиков, Алешин или Сапрыкин, — ни Ладыя и никто из расчета рассказать не могли.

С тяжестью в душе шел Новиков назад, будто часть себя оставил возле орудия Ладыи. Этого он никогда так остро раньше не испытывал, когда наступали по своей территории, когда не было этих мрачных, неприятных Карпат и этого незримого дуновения конца войны.

— Кто идет? — шепотом окликнули из темноты.

— Свои.

На огневой позиции все было готово к отходу, ждали его. Молча подойдя к орудью, услышал глухие, лающие звуки и заметил между станинами Порохонько. Он выкладывал из ящика снаряды, отворачивая лицо, спина его тряслась, он мычал, давился, а Ремешков с удивленным видом глядел на него, ерзая на коленях.

— Что? — спросил Новиков.

— Не надо его, — ответил негромкий, успокаивающий голос Лены. — Он Лягалова похоронил.

Беспокойно метаясь в жару, прерывисто всхлипывал Гусев на плащ-палатке; Лена что-то бесшумно делала около его ног, белели бинты. Сапрыкин, уже одетый в шинель, сидел на снарядном ящике, глубоко и хрипло дышал. Сбоку придерживал его обнимкой Горбачев; ласково похлопывая Сапрыкина по локтю, он говорил убеждающим тоном:

— Ты, парторг, на меня опирайся, понял? Цепляйся, как к буксиру, понял? Ты, папаша, тяжел, а я тяжелее тебя. Все будет в порядке. Понял?

— Эх, графиня польская, любовница... не уберет друга, — проговорил сквозь стон Сапрыкин. — Чего ж надрываться, Порохонько? Мертвых не воскресишь...

— Приготовиться! — скомандовал Новиков и спросил: — Сколько осталось снарядов, Сапрыкин?

— Пять. — Сапрыкин с выдохом подался вперед, сясь встать. — Пять. Два бронебойных. Три осколочных. Сам считал.

— Порохонько и Ремешков, ко мне! — позвал Новиков. — Готовы снаряды? Зарядить! И слушать внимательно. Сразу после огня вперед идут старшина Горбачев, Сапрыкин и Лена. — Он впервые назвал ее при солдатах по имени. — Есть автомат? Горбачев, дайте ей свой автомат. Вам достаточно ручного пулемета. За ними Порохонько и Ремешков с Гусевым. Замыкаю я... Направление не терять. Прорываться через котловину к кустам — на высоту!

...В звенящей пустоте после пяти выстрелов орудия Новиков на минуту задержался на огневой. Быстро вынул затвор, толкнул его в ровик, засыпал землей и, резко выдернув чеку, сунул ручную гранату в еще дымящийся ствол. Потом перескочил через бруствер — последний взрыв гранаты волной толкнул его сзади. Люди отходили по скату, спускались в котловину, удаляясь в черноту после слепящих выстрелов орудия. Вскоре впереди затемнели, заколыхались согнутые спины Порохонько и Ремешкова. Он увидел их среди сплошной огненной полосы — она неслась вдоль котловины: дробно забил немецкий крупнокалиберный пулемет на берегу озера. Пули летели в двух метрах над землей, не повышаясь, не понижаясь.

— По котловине — ползком! — крикнул Новиков. — Лене и Горбачеву вперед!

Он упал на скате, головой к озеру, ему хорошо был заметен этот клокочущий пулемет. «А, — сообразил он, — ждали, значит? Догадывались?» И тотчас выпалил очередью, рассчитывая патроны по нажиму пальца.

Шагах в трех позади него кто-то вел огонь короткими, экономичными очередями, и он сейчас же подумал: «Горбачев!» Но невольно повернулся на миг: там появлялось и пропадало в оранжевых сполохах близкое лицо Лены, она на коленях, целясь из автомата, стреляла туда по берегу озера, куда стрелял и он. Вспомнилось, как несколько минут назад она в непонятном порыве страстно, неуклюже приникла лбом к его шее и тогда неожиданно смутился он, — может быть, оттого, что крепко пахло от него потом и порохом, а вспомнив, даже задохнулся от несдержанной ее нежности, от того, что она сейчас стреляла рядом, эта женщина, которая беспокойно, колюче жила в нем, как он ни сопротивлялся этому. Он подполз к ней, приказал, выговаривая с трудом:

— Ползком вперед! Вперед, слышите, Лена?

Она посмотрела на него, послушно опустила автомат, не ответив, продвинулась по скату ко дну котловины — светящаяся полоса пуль стремительно потекла над ней. Он видел ее пилотку в мелькании трасс. «Ее могут убить, могут убить! — пронеслось в сознании Новикова. — Нет, нет, ее — нет!»

Не перебегая, он уже длинно стрелял по крупнокалиберному пулемету, в секундных промежутках между очередями глядел в ту сторону, куда продвинулась Лена, где, сгибаясь, бежали и шли Порохонько и Ремешков, неся на плащ-палатке Гусева. Пулемет замолк. Слева чиркнули немецкие автоматы, прочесывая дно котловины.

Впереди с противоположного ската ответно и отрывисто зачастил ручной пулемет Горбачева и тоже смолк. Синие огоньки разрывных пуль искристо лопались в траве, в том месте, где захлебнулся пулемет Горбачева, — пули резали по скату.

«Почему он замолчал? Что там? Что они? Где Лена?» — подумал Новиков, не понимая, и вскочил, побежал вниз, в котловину. Он пробежал по дну ее, стал взбираться на противоположный скат, в это время химический, желтый свет с шипением взвился над берегом, озарил весь скат до отчетливой выпуклости бугорков, рыхлую пахоту глубоких старых воронок. Над головой широко распалась ракета. Одновременно внизу, на земле, засверкал другой свет — остро резанула по скату рябящая полоса пуль. Снова четко заработал крупнокалиберный пулемет на берегу озера. Вслед за ним звенящей квадратной россыпью распустились тяжелые мины вперед.

При опадающем огне ракеты Новиков успел заметить на скате Лену и Горбачева; Лена полулежа наклонялась над Сапрыкиным, приподнимала его голову, кладя к себе на колени, другой рукой отстегивала фляжку и что-то говорила Горбачеву. А тот бешено бил кулаком по диску пулемета.

— Что у вас? Почему остановились? — крикнул Новиков, подбегая. — Почему остановились?

— Заело, сволочь! — разгоряченно выругался Горбачев и изо всех сил ударил по диску. — Перекос, как на счастье! Сволочь!

— Вперед! К кустам! — скомандовал Новиков. — Последний бросок! Черт с ним, с пулеметом! Бросьте его! Берите Сапрыкина, вперед! К кустам!

Лена отняла фляжку от губ Сапрыкина, обернулась к Новикову, сказала еле слышно:

— Он умер.

— Я говорю — вперед! Сапрыкина не бросать! С собой взять, — повторил Новиков и махнул автоматом. — К кустам! Ну?..

Горбачев с матерной руганью далеко в сторону отшвырнул пулемет и, отстранив Лену, склонился к Сапрыкину, говоря с решимостью:

— Дай-ка я его возьму, папашу. Эх, не дошел, парторг! Ведь шагал, ничего не говорил. Вон губы в крови. Губы кусал...

— Я помогу, — сказала Лена прежним, непротестующим голосом.

И, помогая Горбачеву поднять тяжелое, обмякшее тело Сапрыкина, она встала — и в новой вспышке ракеты появилось ее лицо, фигура, обтянутая шинелью. В ту же секунду их всех троих багрово ослепило пламенем, окатило раскаленным воздухом. Новиков не услышал приближающегося свиста и не сразу понял, что рядом разорвались мины, только как бы из-за тридцати земель пробился к нему тихий, удивленный, неузнаваемый голос: «Ой!» — и сквозь дым увидел, как Лена осторожно села на землю, свесив голову, слабо потирая грудь.

— Лена! Что? — с тоской и бессилием крикнул он, подползая к ней, и, встав на колени, взял ее за плечи, почему-то чувствуя,

что вот оно случилось все-таки, случилось то страшное, невозможное, чего он не хотел, что не должно было случиться, но что случилось.

— Лена! Что? Ну говори!.. Ранило? Куда?..

Он не говорил, а кричал и исступленно, нежно, требовательно встряхивал ее за плечи, впервые с ужасом перед случившимся видел, как моталась ее голова, ее упавшие на лицо волосы.

— Куда? Куда ранило?..

— Кажется... кажется... нога.

Он разобрал ее невнятный шепот, выдавленный белыми при свете ракеты, виновато улыбающимися губами, и с жарким облегчением, окатившим его потом, — вмиг гимнастерка прилипла к спине — рывком поднял ее на руки, сказал незнакомым себе, чужим голосом: «Держись за шею», — и понес ее, шагая вверх по скату, первый раз в жизни чувствуя плотное, весомое прикосновение женского тела.

Охватив его шею, она говорила покорно:

— Только в госпиталь не отправляя меня. Я потерплю немного. Я умею терпеть...

В кустах он собрал людей — Порохонько, Ремешкова и Горбачева, приказал найти ровик, похоронить Сапрыкина здесь.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

— Ты сейчас не уходи к орудиям. Когда нужно, тебя предупредят. Завтра ты отправишь меня в медсанбат. Но ведь медсанбат в городе. А город, кажется, в окружении. Никогда не думала, что в конце войны придется попасть в окружение.

— Дорога на восток уже перерезана. А впрочем, это не важно. Тебя я переправлю, как и Гусева. Горбачев переправит. Он сумеет.

— Завтра. Ранение совсем не страшное. Ничего не будет. Я знаю. Сядь, пожалуйста. Хорошо? Ты сядешь со мной?

Он присел возле нар на снарядный ящик, долго и молча искал по карманам папиросы. Блиндаж туго встряхивало близкими разрывами, земля с мышинным шорохом осыпалась в углах.

— Совсем прекрасно, — сказал Новиков, — кончились папиросы. Что ж, будем курить махорку.

Он досадливо вытряхнул из портсигара табачную пыль, как-то смешно почесал нос, по-мальчишески улыбнулся, — она редко видела его таким, — затем полез в планшет, достал остатки старой махорки. И тут же, сгоняя с усталого лица эту мальчишески досадливую улыбку, озадаченно хмурясь, вынул три плитки

шоколада, которые давеча передал ему для Лены младший лейтенант Алешин.

— Ну вот, окончательно забыл, — пробормотал он. — Для тебя. Алешин передал. Все время помнил — и забыл. Вылетело из головы. Со всей этой кутерьмой. Прошу прощения.

— Алешин? — полуудивленно спросила она. — Мне? Шоколад?

— Да. Хороший он малый. И, наверно, в тебя влюблен. Это очень похоже, — сказал Новиков спокойно, как умел говорить.

— В меня? — Лена села на нары, тряхнула волосами и засмеялась серебристым, легким смехом. — Он ребенок, — договорила она. — Он думает, что я люблю шоколад. Овчинников думал, что я люблю духи, губную помаду, черт знает что!

Посмотрела на Новикова пристально внимательными глазами, в них теплился смех, потом попросила мягко:

— Дай мне газету и табак. Я сверну тебе козью ножку или самокрутку. Я тысячу раз делала это раненым. А то ты устал, вон руки дрожат. Устал ведь?

Она оторвала кусочек от газеты, неторопливо насыпала махорку, умело свернула папироску и протянула ему; и он особенно близко вдруг увидел ее несмелую, ждущую улыбку.

— Послужи здесь. И все будет готово, — попросила она шепотом.

— Ты сама, — сказал Новиков. — Это у тебя лучше получится.

Он чувствовал: что-то нежное и горькое овеивало его, это ощущение жило, не пропадало у него после того, как она в блиндаже прислонилась лбом к его шее, после того разрыва мины, когда она осторожно села на траву, слабо потирая грудь, и эта горькая незнакомая нежность необоримо подымалась в нем к ее ласковому смеху, к этой маленькой цигарке, умело свернутой для него, к ее светлым коротким волосам, — они, падая, мешали ей, заслоняли щеку.

Все три года войны он, слишком рано ставший офицером, рано начавший командовать людьми, думал больше о других, чем о себе, жил чужой жизнью, отказывал себе в том, что порой разрешал другим, и не привык и не хотел, чтобы о нем открыто заботился кто-то. А она задумчиво-медлительно узким кончиком языка провела по краю самокрутки и отстранила ее от губ, проговорила решительно:

— Нет, ты сам.

И когда он взял папиросу, по его руке пробежали ее задрожавшие пальцы. Он удивленно посмотрел ей в лицо, заметил в неподвижных глазах тревожно-ласкающую черноту, увидел черноту замерших ресниц, спросил неловко:

— Ты что, Лена?

— Свертываю тебе папиросу... Но ты ведь не ранен. Не могу представить, чтобы тебя ранило. — И заговорила быстро, глядя,

как он прикуривает, по привычке загородив ладонью огонек зажигалки: — Я замечала, больше убивают и ранят молодых. Почему? Зачем же? Опыта у них, осторожности меньше? А вот ты неосторожен, я замечала... Ты действительно не дорожишь жизнью?

— По-настоящему я не жил, — откровенно сказал Новиков. — Нет, нарочно я под пули не лезу. Просто иначе нельзя. Всю жизнь, иногда кажется, воевал. Где-то там, в бездне лет, один курс горного института, книги, настольная лампа. Прошрое можно уложить в одну строчку. В настоящем — одни подбитые танки. Не уложишь в страницу. Может быть, поэтому так кажется? — И тотчас поправил себя с прежней и неожиданной для нее откровенностью: — А может быть, и по-другому...

— Почему «другому»?

— В сорок первом году пошел в ополчение. Нас окружили под Смоленском, согнали на шоссе тысяч десять. Были с нами, мальчишками-студентами, и пожилые профессора. Некоторые из них не верили в жестокость немцев, даже в последнюю минуту рассуждали о великой культуре, о Бахе, о Гете... А немцы подтянули танки на шоссе, расставили зенитные пулеметы на обочинах. Аккуратно выстроили нас. И расстреляли, наверно, половину. Остальных — тысяч пять — сбили в колонну, погнали на запад, мимо Смоленска.

— И что?

— В Смоленске я бежал с тремя однокурсниками, перешел фронт. Но всю войну до сих пор помню об этой «гуманности».

— Я знаю их, — сказала Лена, ненавидяще сузив глаза. — Я знаю, как и ты! Но ты береги себя... Разве нельзя как-нибудь... беречь себя?

— Но я берегу, — проговорил он и улыбнулся.

За эти часы, пока они были вместе, она несколько раз видела, как улыбался он; улыбка эта казалась случайной, беглой, но в ту минуту, когда она появлялась, сдержанное выражение на его лице пропадало, оно становилось мальчишески добрым, веселым, как бы ожидающим; и проглядывал внезапно тот Новиков, который был незнаком ей, которого она не знала и никогда не узнает, — было в этой короткой улыбке то прошлое, довоенное, школьное, неизвестное ей.

Двойной разрыв около блиндажа тяжело сдвинул, колыхнул нагретый воздух. В углах посыпались комья земли, со звоном упала гильза на столе, дребезжа, скатилась на пол и там погасла, точно ее придушило. Стало очень темно. Шуршала земля. Было слышно, как за высотой рассыпалась длинная дробь пулемета.

— Это танки, — сказал Новиков и встал.

— Новиков! — замирающим шепотом позвала Лена. — Только не зажигай гильзу, скажи... Я знаю, что ты не любил меня, когда

я пришла в батарею. И знаю, что ты думал. Слушай... ты, конечно, знаешь адъютанта Синькова из восьмьдесят пятого. В общем, он слишком надеялся на свою силу. Он ударил меня, я ударила его. И ушла из разведки. А потом обо мне стали распространяться слухи...

Он молчал.

— Ты верил этим слухам? — спросила она не шевелясь.

В темноте он не видел ее лица, бровей, губ, слышал только шелестящий, тающий шепот; часто, с щемящей сладкой болью, оглушавшей его, сдваивало сердце. Он ощупью приблизился, наклонился к ней — она лежала, — руки неуверенно нашли ее теплое, гибкое, сразу податливо потянувшееся к нему тело, ее влажные пальцы скользили по его шее, по погонам, воротнику шинели, дыхание ветерком ожгло щеку Новикова. Она крепко, исступленно обняла его, и по этому дыханию, по ее шепоту он так порывисто нашел нежно-упругие, отдающиеся губы, что они оба задохнулись.

Спаренные разрывы толкнули, затрясли накаты, рассыпчатый шорох земли потек по стенам, и опять вверх простучала пулеметная очередь. Новиков поднял голову.

— Мне надо посты проверить, посмотреть, — тихо, незнакомым голосом сказал он, оторвался от теплоты ее груди, рук и, не находя в этой полублизости, что сказать ей, договорил с хрипотцой: — Тебе не больно ногу? Я могу сделать перевязку... Зажечь лампу?..

— Нет, — ответила она и заплакала... — Не зажигай, не надо. Иди... Я жду...

После плотной тьмы землянки было в ходе сообщения почти светло. Зарево высоко и огромно, километра на три в ширину, лохмато полыхало за высотой над городом; и показалось Новикову, что горели все кварталы его и окраины. Слитные звуки боя гремели оттуда приближеннее, тяжеловеснее, — придвинулись с запада вплотную. Выгибаясь фантастическими рыбами, то и дело появлялись среди огненного моря красные хвосты реактивных мин; нагоняющие один другой разрывы землетрясением отдавались на высоте.

Новиков долго смотрел туда — на яркое мигание сигнальных ракет, на низкие траектории танковых снарядов, улавливал скрежет, отдаленное гудение моторов; и то, что испытывал он сейчас в землянке, обнимая покорные плечи Лены, еще ощутимо, пьяно жило в нем: близость ее тела, влажные пальцы на шее, ее податливые, отдающиеся губы. И не верил, что только что по-мужски впервые целовал женщину там, в землянке, и она целовала его с исступленной решимостью, готовая отдать ему себя.

Он пошел по траншее. Около огневой позиции вполголоса окликнул часового. Никто не отозвался. Перешагнул через бруствер, увидел часового — Ремешкова — и весь расчет: сидели на расстеленном между станинами брезенте, разговаривали шепотом, курили. Спал один Горбачев. Лежал на снарядных ящиках, накрыв голову плащ-палаткой, шумно посапывал, ворочался беспокойно во сне, двигал кирзовыми сапогами, из голенищ забыто торчали автоматные магазины.

Заслышав Новикова, солдаты разом повернули головы, пристально, выжидающе посмотрели на него. Ремешков растерянно сморгнул, крепкие молодые скулы отсвечивали на зареве розовым.

— Почему не спите? — спросил Новиков. — Бой начнется, носом клевать будете?

И сел на бруствер. Порохонько вдавил окурочек в землю, мрачно, с перерывами вздохнул. Потом охватил худые колени, уперся в них черным, небритым подбородком, узкий рот передернулся вспоминающей усмешкой.

— Эх, товарищ капитан...

— Танки спать не дают, — пробормотал наводчик Степанов.

Застенчиво, тихонько он поерзал на станине, короткий, толстоватый в теле, расставив ноги, туго обвитые обмотками. И оробело кашлянул, потер, потеревил широкое, как блин, лицо свое, точно очищая его, зачем-то глянул на руку — пальцы дрожали.

— На окраину танки вышли. Лупят по высоте прямой наводкой, — проговорил он виновато. — Видать, сильно жиманули наших в городе? Драпанули там... Может, наш фланг один и стоит?

— Жиманули? — переспросил Новиков.

— Может, этой ночью и в живых нас не будет, товарищ капитан, — робко проговорил Степанов, опять потирая, теребя свои круглые мягкие щеки.

— Еще на вашей свадьбе после войны водку будем пить, — сказал убежденно Новиков. — Невеста есть у вас? Ждет, наверно.

Степанов натужно улыбнулся.

— Да женат я, товарищ капитан. Как раз после школы вышло.

— Терпежу, значит, ниякого, — ядовито вставил Порохонько, по-прежнему вжимаясь подбородком в колени. — Будь ты, малец, в моей школе, посоветовал бы я твоей мамке снять с тебя штанишки да налатать по вопросительному знаку, щоб знал, яка она, алгебра жизни. С жинкой спать — нехитрое дело. — И с обычной независимостью обратился к Новикову: — Правильно чи неправильно, товарищ капитан?

Однако то, что Степанов, парень неповоротливый, добрый, застенчивый, был женат, вызвало в Новикове странное чувство, похожее на удивление и любопытство к нему, — оказывается, этот

парень испытал то, что не суждено было испытать самому Новикову.

— Это вы, Степанов, хорошо сделали, — заметил Новиков. — И дети есть?

— Не успели мы, — пробормотал Степанов.

— А это плохо, — сказал Новиков, как будто сам имел семью. — После войны солдата должны ждать дети.

Ближний выстрел выделился из звуков боя, раскатисто ударил по высоте со стороны города, разрыв вырос шагах в тридцати правее орудия. Опадала земля. Осколки, прерывисто фырча, прошли над огневой, увесисто зашлепали у бруствера. И сейчас же за высотой отчетливо простучал пулемет — пули пронеслись левее орудия.

Все смотрели на город.

— Здоровая жаба плюхнула, всамделе танки прорвались к окраинам, — произнес Ремешков, покосившись туда, где упали осколки, но голову не пригнул, только слегка подался книзу.

— Товарищ капитан, видели? Где они, фрицы? — встрепенувшись, с задышкой заговорил Степанов. — Под нос зашли. Не выдержали там, а мы стоим...

Теперь все вопросительно глядели на Новикова. Солдаты вроде бы ждали от него подтверждения, что немцы действительно прорвались к окраинам города, что на пространстве между окраиной и высотой, по-видимому, мало пехоты или вовсе нет ее.

Новиков знал: могло быть и то и другое, но что бы ни говорил он сейчас успокоительное, обнадеживающее, лживо-бодрое, это не рассеяло бы тупой тревоги, и понимал, что успокаивать солдат не имело смысла. И Новиков сказал резко:

— Убедить себя в том, что немцы захватят город и прорвутся в Чехословакию, легче всего. Но если они прорвутся, а мы их пропустим, считайте, что кровь здесь проливали мы даром. Хотите этого? Я — нет. А мы можем их пропустить, и они уйдут без боя. Спокойно уйдут, подавят восстание словаков, чтобы воевать потом. Вы поняли? На какой черт тогда положили здесь половину батареи? Да и не только мы!.. Что молчите, Степанов?

— Да что вы, товарищ капитан? Да я же просто... — забормотал тот в замешательстве, по-прежнему щупая, дергая мясистые щеки.

— Ладно, бывает. Будем считать, что этого разговора не было, — уже дружески сказал Новиков и чуть-чуть улыбнулся. — Ремешков, что вы это тут рассказывали? Не секрет — послушаю, секрет — уйду.

— Тоже чушь плел про якусь старушку, — насмешливо проговорил Порохонько и отмахнулся. — Лягалов был, тот рассказывал про мирную жизнь. Як писал. А это так — баланда, рвет с нее... Брешет лучше, чем конь бегаёт!

Ремешков помялся, заморгал белыми ресницами.

— Нет, серьезно, не врал я, честное слово, товарищ капитан, — заговорил он с запинкой, неловко оправдываясь. — Пошла у нас одна старушка в лес за ежевикой. Нет, ты, Порохонько, рукой не махай, это правда, ей-богу. Ну вот, пошла... и упала. А у нас много колодцев высохших в лесу, и змей там всяких по-олно. Ну, в общем, нашли эту старушку соседние колхозники дней через пять. Всю в змеях — мертвая...

И Ремешков таинственно, вприщур последил за полетом реактивных мин среди зарева. Он, похоже было, ждал, что его будут просить рассказать дальше и подробнее, но солдаты молчали.

— Змей? — скрипучим баритоном спросил старшина Горбачев, завозившись под плащ-палаткой: видимо, проснулся, озябнув на холодке.

Ремешков взглянул в сторону ящиков, подтвердил:

— Ну да, гадюки и всякие там...

— Ни одна бы не ушла! — заспанно рокотнул из-под плащ-палатки Горбачев и, сладко зевнув, крикнул.

— Как это так? Кто? — не понял Ремешков.

— Всех бы передушил! — сказал Горбачев, поворачиваясь на ящиках. — Нашел чем пугать.

— Так же змей много. Ну, уж брось ты!

— А-а! Чепуха гороховая! Всех бы передавил! Чего бросать? Ни одной не осталось бы. А ты бы нет?

— О себе не думал, — ответил Ремешков обиженно.

— Это кто ж тебя так учил? В каких школах?

Горбачев, сонно крикая, нажимом ног немного стянул сапоги, потом, не дождавшись ответа, затих на боку, задышал ровно — так мог спать лишь физически несокрушимый человек.

— Странная история, — сказал Новиков, скрывая улыбку; он помнил, как прорывался вместе с Ремешковым к орудиям Овчинникова, и ему не хотелось обижать его. — Очень странная, но довольно интересная. — И поднялся, добавил: — Будет связь — вызвать. Я — ко второму орудью.

Справа ударил танк по высоте.

Только наедине с самим собой, шагая к орудью Алешина, он тщательно взвесил всю серьезность создавшегося положения. Было ясно: бой в городе, длившийся вторые сутки, достиг того предела, когда достаточно малого перевеса сил немцев — и судьба города будет решена: его сдадут. И этот перевес был у немцев. Это была та прорвавшаяся из Ривн группировка, что после утреннего боя отошла в лес, сохраняя танки, и прекратила атаки перед высотой. То, что видел Новиков в котловине, когда шли к

орудиям Овчинникова, убеждало: немцы разминируют поле, открывая проходы к озеру, к переправе вблизи высоты. Но медлительность их была загадочна, до конца непонятна ему. Он хотел и не мог точно предугадать, что случится этой ночью, через минуту, через час или к утру, и, так или иначе, не верил, что наши сдадут этот город и немцы уйдут за границу, в Чехословакию. В этом была бóльшая невозможность, чем потерять все, что связывало его с людьми, с которыми он дошел до Карпат.

Второе орудие стояло на правом краю высоты.

— Стой! Кто топает?

— Капитан Новиков.

Человеческий силуэт в плащ-палатке затемнел возле низкого щита орудия; лунный свет полосами серебрился на плечах часового. Он шагнул навстречу Новикову, и тот спросил не без удивления:

— Кто это — Алешин? Что за новость? Ты часовый?

— Я, товарищ капитан, — возбужденно ответил Алешин. — Всех загнал спать в землянку. Торчат и торчат на огневой. Прямо зло берет. Пусть успокоятся.

Новиков невольно усмехнулся:

— Сегодня, Витя, сами солдаты решают — спать им или не спать. А уж если офицер часового изображает, тут не успокоишь. Ясно, Витя? Поставь солдата, не трепи им нервы.

— Слушаюсь, — охотно ответил Алешин, сдвинул козырек со лба, сбросил плащ-палатку, будто жарко было, заговорил с оживлением: — Что они молчат? Надоело ждать! Скорей бы, товарищ капитан!..

Впереди, над пехотными траншеями, встала ракета. Повисла в тихом синем воздухе, потухая, скатилась в минное поле. Новиков и Алешин присели на станины. Но немецкие и наши пулеметы молчали. В розовом сумраке зари Новиков видел, что Алешин смотрит на него прямо, не мигая, увеличенными, возбужденными глазами — резких веснушек на лице не было видно. И пахло от него не шинелью, не табаком, а каким-то приятным запахом: то ли шоколадом, то ли мятными галетами, то ли сладковатым мальчишеским потом. Этот запах был мягок, домашен, тепел, никак не вязался он ни с чем, о чем думал Новиков, идя сюда, и лишь до ясной осязаемости вдруг приблизил, напомнил Лену, недавнее тепло ее вздрагивающих пальцев.

Алешин произнес с горячей досадой:

— Без конца ракеты кидают, а надоело ждать! Даю слово, начнется бой, еще пять танков на мой счет запишете! Верите?

— Верю, верю...

Смешанное чувство любви и жалости к Алешину ветерком прошло в душе Новикова. Он, Алешин, не утратил непосредственности молодости и торопил то, что не осознавал или эгоистич-

но не хотел осознать, но что хорошо понимал Новиков. Сам Новиков не смог бы точно определить, где было начало и конец тому, что произошло, что могло произойти с ним, с его людьми, с батареей, с Леной.

— Вот что, Витя, шоколад я твой передал, — сказал Новиков. — Тебе — спасибо. Она сказала, что очень любит шоколад.

— Да? Мне спасибо? От Лены? — переспросил Алешин, не сдерживая волнения, и звонко, обрадованно засмеялся. — Как она, Леночка, товарищ капитан? Лучше? Отказалась в медсанбат? Молодец!

— Да. Но завтра я все же отправлю ее в медсанбат. Или сегодня ночью. В зависимости от обстановки.

Наступило короткое молчание. Снова взошла ракета над минным полем, источая бледный свет. Медленно угасла, и тень скользнула по щеке, по напряженным губам Алешина.

— Не отправляйте, товарищ капитан! Если легкое ранение, не отправляйте! Она же сама почти врач, в медицинском институте училась, понимает: перевязку там и... все, — захлебываясь, заговорил Алешин и умоляюще подался к Новикову. — Уедет она — и не вернется. В другую часть пошлют, вы же знаете. Простите, товарищ капитан, думаете, я от себя шоколад посылал? Она просто со мной иногда откровенничала, как с другом... или как там? Я за вас посылал. Она мне сказала о вас, что может или возненавидеть, или уйти из батареи. Честное слово! Возненавидеть — это ерунда, конечно. Это так, со зла, вы тогда с ней не разговаривали.

— Поставь часового и иди в землянку, — с прежней строгостью сказал Новиков, выпрямляясь, заученным жестом поправляя кобуру. — Часовые пусть меняются через два часа.

— Слушаюсь, все ясно, — опадающим голосом ответил Алешин.

И тоже поспешно встал, поправляя пистолет тем же жестом, как делал это Новиков. И Новиков заметил это, как раньше иногда замечал даже свою интонацию команд в голосе Алешина. И, невольно чувствуя неудобство, подумал, что он, Витя, по-мальчишески влюблен в него, видя в Новикове то внешнее, бросающееся в глаза, что почему-то всегда притягивает к себе людей и что притягивало прежде Новикова в других. Но ведь все это годами вырабатывалось независимо от его воли, — просто он слишком рано стал командовать людьми, рано носить оружие, в то время как Витя Алешин не знал ничего этого.

«Он подражает мне как старшему по годам и опыту, видит во мне идеал офицера, — подумал Новиков почти с нежностью. — Но он не знает, что мы с ним едва ли не одногодки. Не знает, что мы иногда думаем об одном и том же, что у меня никакого опыта, кроме военного, что мне тоже хочется жрать шоколад, стоять

часовым, откровенно хвастаться подбитыми танками. Но я не могу, не имею права. Наверно, и моя храбрость кажется ему какой-то храбростью высшего порядка. Эх, Витька, Витька, когда-нибудь после войны, если живы будем, расскажу я тебе все, и ты наверняка удивишься, скажешь: «Не может быть». А оказывается, может быть. Ты просто остался моложе меня, а я ведь за людей отвечаю».

— Спокойной ночи, Витя, — сказал Новиков и против обыкновения сильно пожал руку Алешина. — Впрочем, спокойной ночи не будет. А что будет — посмотрим.

— Черт с ним, товарищ капитан! — ответил Алешин, улыбаясь, и щелкнул пальцами по сдвинутому со лба козырьку. — Оборона хуже всего! Леночке привет!

Вернувшись к первому орудию, Новиков разбудил Горбачева и отдал приказ пройти в город, связаться с дивизионом, при любых обстоятельствах выяснить обстановку. Солдаты не спали. Ни слова не говоря, лежали на брезенте между станинами и слушали приказ. Оранжевые полосы все шире расползались из города, освещали высоту, лица, оружие, снарядные ящики. В тылу рокотал бой, сотрясая брустверы позиции. Разноцветные сигнальные ракеты, подавая неизвестные знаки, появлялись в глубине зарева. А перед фронтом батареи, за минным полем, немцы молчали, и чудилось: высота тесно сжата — сзади заревом, спереди — выжидательной тишиной. Там были немцы, танки, и кто-то думал, рассчитывал, определял время удара, время, о котором не мог знать Новиков.

— Пойду отдохну, — буднично сказал Новиков, чтобы как-нибудь ослабить напряжение на огневой, и обратился к Ремешкову: — Изменится что-нибудь — разбудите.

— Слушаюсь, — вскриком ответил Ремешков и сморгнул, вставая. — Да разве тут заснешь?

Темнота блиндажа, пропитанная запахом соломы, слоисто, как в крепко зажмуренных глазах, зашевелилась вокруг, обступила его, когда он вошел. Он немного постоял у входа, прислушиваясь к своему дыханию, к крупным сдвоенным ударам сердца, потом позвал негромко:

— Лена, ты спишь?

— Я жду тебя... Иди сюда. Что там, наверху?

Едва слышный мягкий шепот повеял на него из непроницаемой глубины блиндажа, и он шагнул навстречу ей, как в теплый, качающий его ветерок.

— Окружение, да? Только лампы не зажигай...

— Лена, тебе находиться здесь нельзя, — сказал Новиков. — Тебе нужно куда-нибудь в тихое место. Хотя бы в особняк. Около высоты. Я сам тебя отнесу. Оставаться здесь нет смысла.

— Ну вот, по голосу чувствую — нахмурился. Ты за меня не волнуйся. Если ты будешь рядом, мне будет спокойнее.

— Но мне — наоборот.

— Странно, но я понимаю. Слушай, что ты стоишь? Я знаю, что мы как на вокзальном положении. Ну и что же? Пусть... Сними шинель, ты ведь устал, так будет лучше. Когда ты ушел, я подумала: вернется нахмуренный или совсем не придет. Но если уж пришел, значит, ты хоть каплю любишь меня.

Она тихо засмеялась счастливым, теплым смехом, который так по-новому чувствовал теперь Новиков, но который раньше казался порочным, нарочитым, противоестественным в обстановке окружающей их грязи, нечистоты, запаха пороха, крови и пота. И то, что, дерзкая с ним прежде, она неожиданно сказала о любви к нему и засмеялась ласково, и то, что его самого непреодолимо тянуло к ней, и, может быть, давно, — не было той далекой любовью, светившей ему из бездны лет. Запах сыроватых аллей парка культуры, желтый песок под белыми босоножками, мелькание за кустами загорелых ног под ситцевым платьицем, велосипед, прислоненный к забору, неожиданная встреча возле будочки с газированной водой, серые, улыбающиеся ему глаза над стаканом пузырящейся шипучки и снег, бесшумно падающий вокруг фонарей...

Все оставшееся от того, прежнего, детского, полузабытого, было в кармане его гимнастерки — четыре письма, фотокарточки не было. И, снимая шинель, он на минуту приостановил движение свое, услышав хруст писем в кармане. Он почувствовал, что предает, разрушает далекое, прежнее, детское, это настоящее было важнее, нужнее ему, дороже и взрослее — он испытал это впервые.

— Никогда я... такого не чувствовал, как к тебе, — сказал он глухо и сел на нары, где лежала она, тихая сейчас, близкая, невидимая в потемках. — Ты веришь?.. Никогда!..

Он обнял ее. Она не поднялась, снизу руками обвила его шею, притянула к себе, и с замирающим стуком сердца он ощутил под гимнастеркой округлость ее груди, гибкий шепот дыханием коснулся его подбородка, тонкие пальцы ласкали его волосы на затылке, гладили его шею, скользили по плечам...

— Ты не жалея меня, не жалея. Делай со мной что хочешь. Разве ты не понимаешь, что завтра меня не будет с тобой!..

— Теперь ты можешь отправить меня в госпиталь... Что бы ни было — ты мой!..

Она лежала вся теплая, расслабленная, утомленно обнимала его, целовала легкими прикосновениями. Тихий, обволакиваю-

ший шепот будто черными шерстинками стоял перед глазами Новикова, был бесплотен и беззвучен; и в том, как она прижималась к нему, губами проводила по лбу, по волосам его, была сейчас усталая нежность, готовность на все, что могло еще случиться с ними. Но после того, что впервые почувствовал он, — это короткое, казалось, неповторимое бредовое счастье обладания женщиной, — он не хотел верить в ее слова о госпитале и не верил в то, что завтра или сегодня ночью Лены не будет с ним. Была ошеломляющая его, непонятная, страшная ненужность в ее ранении, в их запоздалом сближении, в этой кажущейся случайности их близости.

В потемках, стараясь разглядеть ее белеющее лицо, Новиков слушал ее тающий шепот и молчал, — он никогда не испытывал такого горького, обжигающего чувства утраты, внезапно случившейся с ним непоправимой несправедливости. Приподнявшись, он вдруг стал целовать ее слабо шевелящиеся губы, мягкие брови, мохнатую колючесть ресниц и заговорил решительно, преувеличенно бодро:

— Ни в какой госпиталь ты не поедешь. Далеко я тебя не отпущу. Только в медсанбат. Я сделаю так, что ты будешь в дивизии. Ты моя жена. И все будут относиться к тебе как к моей жене. Не говори больше о госпитале.

— Жена... — повторила Лена медленно. — Как это ты хорошо сказал: жена... — Помолчала и договорила со злой горечью: — Но здесь не может быть ни жены, ни мужа.

— Я не хочу ждать. Я с трудом находил людей, которые уезжали из батареи. Даже своих офицеров. Из тех, кто шел из Сталинграда, ни одного не осталось.

Лена не ответила, уткнувшись лицом ему в грудь, нагревая дыханием, вдыхая запах его здорового, молодого тела: так пахло от него тогда в блиндаже с ранеными — терпкий знакомый запах пороха, он был еще весь пропитан им после утреннего боя. Долго лежала не шевелясь, и он понимал по ее молчанию, что она не хотела, не могла сказать ему то, что он бы отверг, не принял. И он сказал отрывистым голосом:

— Ты молчишь? А мне все ясно.

— Все может измениться, пойми меня! — ответила она серьезно и страстно. — Все... Слишком хорошо с тобой и беспокойно. Ты послушай меня, я, наверное, чепуху говорю. Но бывает так: когда очень хорошо — начинаешь всего бояться. Боюсь за тебя, за себя, понимаешь?

Он не выдержал, обнял ее.

— Ты действительно чепуху говоришь, Лена, — сказал Новиков спокойно. — Со мной ничего не случится. Об этом не думай. Я убежден, что меня не убьют. Еще в начале войны был уверен.

Она осторожно гладила его шею, его грудь.

— Обними меня крепче. Очень крепко, — неожиданно попросила она шепотом. — Чтоб больно было.

Треск, пронесшийся над накатами блиндажа, короткий невнятный крик, топот бегущих ног в траншее заставили Новикова вскочить, в темноте одеться с привычной поспешностью. Затягивая на шинели ремень, услышал он, как после беглых разрывов на высоте заструилась по стенам земля, застучала по плечам дробным, усиливающимся ливнем.

Потом сдавленный голос — не то Ремешкова, не то Степанова — толкнулся в дверь блиндажа:

— Товарищ капитан!.. Немцы!

И, услышав это «немцы», он мгновенно понял все.

Он быстро подошел к безмолвно севшей на нарах Лене и не поцеловал ее, только сказал тихо:

— Ну вот, началось...

И вышел из блиндажа.

Побледневшее к утру зарево, холодно тлеющий над туманными изгибами Карпат лиловый восток, пронизывающая ранняя свежесть земли, влажные от росы погоны и желтое, круглое, заспанное лицо Степанова, месяц, прозрачной льдинкой тающий среди позеленевшего неба, — ничто детально и точно не было сразу замечено и выделено сознанием Новикова. Все это уже не могло интересовать его, выделиться, остановить внимание, кроме одного, что в ту минуту реально увидел он.

Вся мрачно-теневая, еще темно покрытая остатком ночи опушка соснового леса, куда днем отошли немцы, как бы раздвигалась, оскаливаясь огнем, — черные тела танков, тяжело переваливая лесной кювет, уверенно расползались в две стороны: в направлении свинцово поблескивающего озера, мимо бывших позиций Овчинникова, и через минное поле — в направлении высоты, где стояли орудия Новикова. Все, что мог увидеть он в первое мгновение, удивило его не тем, что запоздало началась атака, а тем, что незнакомое и новое что-то было в атаке немцев, в продвижении их.

Ночь, непрочно тронутая зарей, заливала темнотой низину, услужливо скрывала начавшееся движение танков к высоте. Однако по железному гулу, по длинно вырывавшимся искрам из выхлопных труб, по красным оскалам огня, по скрежету точно гигантски сжатой, а теперь разворачиваемой, упруго вибрирующей от напряжения стальной пружины Новиков отчетливо и безошибочно определил это новое направление на высоту.

Пышно и ярко встала над разными концами леса россыпь двух сигнальных ракет. Как отсвет их, ответно взмыли две высокие ракеты на окраине горящего города, в том месте, откуда ночью

с тыла высоты стреляли по орудиям ворвавшиеся в Касно танки, и Новиков, заметив эти сигналы, понял их: «Мы идем на прорыв, соединимся в городе».

Плохо видимые танки, разворачиваясь фронтом, подминая кусты, траками жадно, хищно пожирая их, уже вползали в район минного поля перед высотой, — и тогда стало ясно Новикову, что немцы успели за ночь разминировать полосу низины.

— Что стоите, Степанов? К орудию!.. — скомандовал Новиков, вдруг увидев, как нервно мят, тискал свои мясистые щеки Степанов.

Стоял он в ходе сообщения, грузно приседая, оглядываясь на кипящую разрывами высоту, крупные губы прыгали, растягивались, он медлил с желанием выдавить из себя какие-то слова, но слов Новиков не разобрал.

— Бегом!

«Что это с ним? Спокойный всегда был парень! Нервы сдали, что ли?» — подумал Новиков досадливо и удивленно, глядя на побежавшего к орудию толстоватого в поясице Степанова, который при разрывах нырял большой головой, так что уши оттопыривались воротником шинели.

Новиков два раза пригнулся, когда бежал следом за Степановым к орудию. Осколки рваными даже на слух краями резали воздух над бруствером, звенели тонко и нежно, и этот противостественно ласкающий звук смерти по-новому, до отвращения ощущал Новиков.

На огневой позиции, неистово торопясь вокруг орудия, солдаты с помятыми, серо-землистыми от бессонницы лицами суетливо подправляли брусья под сошники. Порохонько сидел на земле без шинели, сильно и жестко обрубал топором края канавки в конце станин; нетерпеливо перекашивая злой рот, кричал что-то Ремешкову, вталкивающему брус под сошники. У мигом повернувшего лицо Порохонько острые глаза налиты жгучей радостью мстительного облегчения; взгляд его острием метнулся навстречу Новикову — точно он, Порохонько, ждал своего часа и дождался. Вмиг стало горячо Новикову от этого взгляда, и, рывком сбрасывая, кинув на бруствер отяжелевшую шинель, он крикнул:

— По места-ам! Заряжа-ай!

Заметил у бросившегося к казеннику Ремешкова следы снарядной смазки на небритом подбородке, а в полуоткрытых губах выражение слепой торопливости, скользкий снаряд колыхнулся в руках его, сочно вщелкнулся в казенник, мгновенно закрытый затвором. И снова волчком метнулся Ремешков к спасительному ящику, выхватил оттуда и родственно прижал к груди снаряд, переступая крепкими ногами, вроде земля жгла его.

«С этим парнем кончено, — удовлетворенно мелькнуло у Новикова. — Кажется, солдат родился». И не осудил себя за ту жестокость, которую проявлял в эти дни к Ремешкову.

— Вы к панораме или я? Вы или я, товарищ капитан? Может, Порохонько?.. Товарищ капитан!.. — не говорил, а просяще выкрикивал Степанов, боком пятясь к панораме.

Досиня бледный, весь огрузший, потеряв прежнюю деловитую аккуратность, был он, похоже, смят, подавлен, разбит, неприятно отталкивали Новикова его опустошенно светлые дегавшиеся глаза — в них исчезло внимание, появилась бессмысленная рыскающая быстрота. И Новиков понял: это была подавленность страхом, рожденная после нестерпимого ожидания ночью тем чувством самосохранения, что, как болезнь, возникала у некоторых солдат в конце войны.

— Вы что раскисли? — Новиков взял за плечо Степанова, повернул к себе. — Выбросьте блажь из головы! Забудьте чушь в голову — убьет первым же снарядом! К панораме!

И уже с непрекословной силой подтолкнул наводчика к щиту орудия.

Степанов присел к панораме, потянулся судорожно-поспешно к маховикам механизмов, а они, чудилось, ускользали из рук его. Схватил их, широкая ссутуленная спина напряжилась, и по этой спине чувствовал Новиков дрожащее в наводчике напряжение, неточные сдвиги прицела.

— Мне бы к прицелу, товарищ капитан! Разрешите? — выплыл из-за спины голос Порохонько и исчез, стертый, раздробленный вздыбившими высоту позади орудия танковыми разрывами.

Живая танковая дуга, все увеличиваясь, все разгибаясь по фронту, охватывала высоту, левый край дуги накатывался к озеру, но не туда, где вчера немцы наводили переправу, а мимо бывших позиций Овчинникова — в направлении котловины, по которой ночью прорывался Новиков к орудиям за ранеными и где встретил немцев. Орудия Овчинникова не задерживали теперь танки на нейтральной полосе. Центр дуги, приближаясь, вытягивался к высоте, а правый край дуги пересекал прямую линию шоссе, — было видно, как танки угрюмо-черными тенями переползали через дорогу, двигались фланговым обходом на город.

Перемигиваясь, вспыхивали и затухали ракеты на разных концах дуги.

Низина наливалась катящимся гулом, но мутно различимые квадраты танков еще не вели массивированный огонь — стреляли по флангам, как бы еще выжидательно нащупывая цели, и это тоже мнилось необычным Новикову.

— К телефону Алешина! Быстро! — приказал он телефонисту и спрыгнул в ровик, — белое лицо связиста засновало у аппарата.

«Если бы целы были орудия Овчинникова, если бы... — подумал Новиков, в эту минуту ничего не прощая своему коман-

диру взвода. — У озера свободный, не прикрытый ничем проход...»

— Алешин, ты? — Он подул в трубку. — Алешин!..

Ответа не расслышал — тотчас ворвался в ровик гром артиллерийской стрельбы: выстрелы — разрывы, разрывы — выстрелы. На миг поднял голову: справа от высоты взлетало и падало рваное зарево. С неуловимой частотой сплетались там багровые выплески — открыли огонь по танкам соседние батареи. Рядом бегло гремели врытые в землю тяжелые самоходки. У Новикова не было связи с соседями, он не знал об их потерях в утреннем бою, и неожиданная радость оттого, что соседние орудия жили, зажглась в нем пьянящим азартом. Он улыбнулся жаркой улыбкой, испугавшей связиста, крикнул в трубку, прикрывая ее ладонью:

— Видишь, Алешин, справа огонь? Соседи живут! По правым танкам не стреляй! Огонь по левым. Не подпускай к озеру! Снаряды не жалея! Всё!

И, бросив трубку, повернулся к орудиям, высоким, звонким голосом подал команду:

— Внимание!.. Наводить по левым танкам... по головному!

Ракеты уже не сигналили больше, танки подтянулись из леса, атака началась одновременно на всем протяжении вытянутой дуги, и Новиков видел это без бинокля.

Левая оконечность дуги резко закруглилась — три крайних танка, набирая скорость, с вибрирующим воем моторов вырвались вперед, катились по возвышенности, где низкими буграми лиловели бывшие позиции Овчинникова. Передний танк взрыл широкими гусеницами бруствер, смело вполз на огневую, железно взревев мотором, развернулся там, дав остатки орудия, и, когда кроваво мелькнул его бок, тронутый зарей, Новиков успел выкрикнуть первую команду:

— По левому... огонь!

Но как только, взорвав воздух на высоте, ударило орудие и вслед, почти слитно, ударило орудие Алешина, что-то высокое и огненное взвилось перед глазами Новикова, земля упала под ногами, острой болью кольнуло в ушах. Его смяло, притиснуло в окопе, душным ветром сорвало фуражку, бросило волосы на глаза. Не подымая фуражки (едва заметил: как будто иззябшими руками потянулся к ней на дне окопа связист с мертвенно-стылым лицом), Новиков тряхнул заболевшей головой и встал. Дымились воронки на бруствере, тягуче звенело в ушах, частые рывки огня скачуще сверкали в глаза Новикову над приближающейся танковой дугой, — непрерывно били танки.

А высота уже перестала быть возвышенностью. Дым, вставший над ней, казалось, сровнял ее. Смутные очертания орудия проступали и исчезали, тонули во мгле. И не увидел Новиков ни

фигур спящих солдат, ни Степанова у прицела — ничего не было, кроме этой клубами валящей темноты, пронизанной трассами танковых снарядов.

— Степанов! — позвал Новиков так нетерпеливо и громко, что болью отдалось в висках, но ответа не было.

Когда подбежал он к орудию, то увидел расширенные, мутные глаза Ремешкова, упорно ползущего к орудию между станинами со снарядом, одной рукой объатым на груди. Он задыхался от гари, указывал взглядом на Степанова, ссутулившегося на коленях подле щита, а его тормозил, дергал за хлястик, кричал что-то яростно весь закопченный дымом Порохонько.

— Почему прекратили огонь? — крикнул Новиков. — Степанов!..

Но никто не ответил. Он наклонился, и кинулось в глаза: Степанов стоял на коленях, ткнувшись лбом в щит орудия, съезженным плечом упираясь в казенник. Пилотка держалась на его большой голове, прижатая ко лбу щитом, складка шеи с еще не исчезнувшим загаром, как у живого, лежала на воротнике, но то липкое, густое на вид, что выползало из-под разорванной пилотки, объяснило Новикову это странное несоответствие позы с тем, что случилось. Воронки зияли слева и позади Степанова — следы снарядов на бруствере, убивших его.

— Отнесите в нишу, похороним потом, — сказал Новиков, почти не слыша своего голоса, и, задохнувшись, вспомнил, что как-то не так говорил он со Степановым в его последние часы. Но не было времени, душевных сил возобновить в памяти, где был прав и виноват он: Новиков чувствовал темное кружение в голове, позывало на тошноту, — видимо, контузило его в рывке.

— Отнесите в нишу, похороним потом, — повторил Новиков глухо и сейчас же поднял голос до командных, отрезвляющих нот: — По места-ам!..

И сразу ушло из сознания все, что было несколько секунд назад. Веря в свою прежнюю счастливую звезду, он стал на колени к прицелу, припал к резиновой наглазнице панорамы — резина хранила еще живую теплоту и скользкость пота Степанова.

Он увидел в панораме не целую, а разжатую и разбившуюся на две части дугу атаки: тяжелые танки с ходу вели огонь, сползались с центра к левому и правому краям поля, скапливались черными косяками. Три первых танка миновали позицию Овчинникова, неуклюже и круто ныряя, катились в котловину.

— А-а, — только и произнес Новиков, машинально тиснув ладонью ручной спуск. Его била внутренняя дрожь нетерпения, азарта и злобы, и то, что делали его руки, глаза, будто бы отделилось от его сознания, а оно говорило ему: «Не торопись, не торопись, ты никогда не торопился!» И все мигом исчезло: на перекрестие прицела в упор надвинулся широкий, подымающий-

ся из котловины покатым лоб танка, качнулся, дрогнул его длинный ствол, слепя, заслонил огнем прицел и выпал из перекрестия — с громом рвануло землю слева от Новикова. И в то же мгновение, чувствуя солоноватый привкус крови на закусенной губе, Новиков поймал его вновь, выстрелил и уже не смотрел, куда впилась трасса. Лишь синяя точка спичкой чиркнула по выпуклой груди танка.

— Товарищ капитан! Быстрей! Быстрей!.. «Мессера» идут! Товарищ капитан, миленький!.. Быстрей!..

«Чей это голос, Ремешкова? Где он кричит? Спокойно, Ремешков! Ни одного звука. Я не тороплюсь потому, что так надо, так вернее...»

Сколько он сделал выстрелов? Шесть? Десять? Двадцать?.. Но дуга все распрямлялась — где следы выстрелов? Танки шли... Снова крик разбух за спиной его, накаленный опасностью, а может быть, бешеной радостью, животный крик, он никогда не слышал такой дикий, такой неестественный голос Ремешкова:

— Тринадцать штук горят! Горят! Нет, четырнадцать! Алешин три смазал! Мы — шесть!.. — И крик этот точно скосило: — Пикируют! Сюда!.. Вот они! Товарищ капитан!..

Тонкий, режущий свист возник в небе; в грохоте, в треске разрывов он начал увеличиваться, расти над самой головой — наклонно к земле скользили в дыму узкие, как бритвенные лезвия, вытянутые тела «мессершмиттов». Они пикировали прямо на высоту, выбрасывая колющее пламя пулеметных очередей. Взрывы бомб ударили в землю, вскинулось косматое и высокое там, где были пехотные траншеи, толчки передались к высоте, сдвинули орудие. С пронзительным звоном истребители вынырнули из дыма, выходя из пике, стремительным полукругом взмыли ввысь, серебристо засверкали в утреннем небе, а оттуда косо стали падать на высоту, вытянув черные жала пулеметов. Отчетливо и низко мелькнули кресты на узких плоскостях, прямо в глаза забились пулеметные вспышки. По лицу Новикова пронесся металлический ветер, фонтанчики очередей зацокали по брускам, зазвенела пробитая пустая гильза. Знойным ветром толкнуло в спину, в затылок — разрывы бомб вздыбились вокруг орудия. Новиков, ощутив эти жаркие удары волн в спину, не почувствовал большой опасности, не лег, а лишь инстинктивно прикрыл рукой головку панорамы; как во сне, просочился захлебывающийся голос Ремешкова:

— Товарищ капитан, ложитесь... ложитесь, разве не видите? Осатанели они! По головам ходят!.. Убьют вас... Пропадем без вас, товарищ капитан!..

Но слова эти не задели Новикова, прошли стороной дуновением ветра, неточным ударом бомбовой волны. Он верил в прочность земли и не верил в прямое попадание. Выжидая, смотрел,

как осиные тела истребителей пикировали в дыму над высотой на орудия.

А непрерывный писк, едва различимый сквозь окруживший огневую грохот, назойливо, требовательно звучал за спиной: кажется, зуммерил телефон.

— Аппарат! — крикнул Новиков, ничего не видя в дыму, и тут же к нему пробился прыгающий от волнения голос связиста:

— Товарищ капитан! Алешин у телефона! Докладывает! Справа танки через минное поле прошли!

— Где прошли? Где?

Новиков, опираясь на казенник, привстал над щитом и тогда увидел справа и впереди высоты, там, где было боевое охранение пехоты, немецкие танки. Несколько человек, отстреливаясь из автоматов, зигзагами бежали оттуда по полю к высоте перед ползущими танками, падали, вскакивали, тонули в полосах мглы.

В эту секунду понял Новиков, что боевое охранение смято.

— Связист! Ясно видит Алешин эти танки? Ясно видит? Передайте мой приказ Алешину!.. — скомандовал Новиков, пересиливая нарастающий свист моторов, прерывистый клекот пулеметов. — Прекратить огонь по левым танкам! Огонь по правым! Поддержи пехоту! Огонь туда! Туда! Сначала несколько фугасных!

И, скомандовав, с ощущением нависшей беды посмотрел туда, где разбросанно бежали к чехословацким траншеям несколько человек. Снаряды Алешина взорвались позади человеческих фигурок, земляная стена встала перед танками, и, словно бы очнувшись, люди неуверенно повернули назад, к траншеям боевого охранения.

— Товарищ капитан! Да что вы! Ложитесь! — снова раздались дикие, умоляющие вскрики Ремешкова. — Пикируют!

Новикова резко дернули за рукав гимнастерки: Ремешков, засыпанный землей, не в силах передохнуть, сидел против, вскинув серое лицо, в застывших от надвигающейся опасности глазах светилась, вспыхивала зеркальная точка. А эта точка падала с неба. Металлический рев оглушил Новикова, пули звеняще прошли по огневой, запылили, зыбко задвигались брустверы. Низкая тень пронеслась над ними — и хвост истребителя вертикально взмыл за высотой, врезаясь в небо.

— Не ранило, товарищ капитан? Не ранило? — говорил лихорадочно и сипло Ремешков, размазывая пот по лицу. — Что же вы так? Что же вы так?.. Товарищ капитан!..

Совсем не слыша его, Новиков стоял у щита, отчетливо видел, как впереди, мимо занявшихся дымом машин, медленно вползали в котловину танки — выходили они к берегу озера, и самолеты прикрывали их атаку. Странно, напряженно стискивались губы Новикова, и Ремешков, который не видел эти танки,

не мог знать, что чувствовал он, Новиков, судорожно кашляя, вытягивал молодое обескровленное лицо к нему.

— Худо вам, товарищ капитан? Ранило, а?

— К орудию! — сквозь зубы подал команду Новиков. — Заряжай, Ремешков! Где Порохонько? Заряжай! — И, садясь к прицелу, обернулся: — Порохонько, жив?

Порохонько лежал на спине меж станин, со злым любопытством следил за разворотом истребителей и смеялся беззвучно, захлебываясь этим жутким, душащим его смехом.

— Огонь! — скомандовал Новиков.

Сгущенный дым, закрывая котловину, как и вчера утром, кипел, слоился перед высотой. И теперь лишь по быстрым молниям выстрелов, по железному шевелению, реву моторов в дыму Новиков ощупью угадывал продвижение левых танков по берегу озера.

Пронзительный свист истребителей носился над высотой, пулеметы поролли воздух, а он, нажимая спуск, чувствовал: горло жгло сухой, горячей краской орудия — раскаленный ствол покрылся искристой синевой, — но ничего как будто уже не существовало, кроме того, что, обходя высоту, танки шли по берегу озера, никакая мысль не была логичной, кроме одной: они прорывались в город.

— Уходят! — возник крик за спиной, и он смутно ощутил: случилось что-то в воздухе.

Сверкающий на солнце клубок вьющихся в выси самолетов уносился за озеро, к вершинам Карпат, трассы перекрестились от самолета к самолету, наискось — к земле и в зенит утреннего неба, клубок мчался на запад все ниже и ниже. И тогда по этому сверканию, по извилистому ручью дыма, вытекавшего из тонкого тела «мессера», стремительно уходившего от другого истребителя, догадался Новиков, что там воздушный бой, как всегда непонятный с земли.

— Заряжай!

И он опять нащупывал прицелом шевелящуюся массу танков на краю котловины, выстрелил два раза подряд, обессиленно и машинально вытер с глаз разъедающий пот, и в эту минуту низкий гул моторов повис над землей, давя на голову, раздражающе заполнил уши. Но этот новый гул был другой, бомбардировочный, тяжелый, ровно и туго катящийся по небу. И прежде чем Новиков, готовый выругаться, увидел самолеты, крик Ремешкова захлестнул все:

— ИЛы! Товарищ капитан! Наши штурмовички! Раз, два... Глянь-те-ка! Вон выровнялись! Миленькие!

Ремешков, насквозь промокший от пота, бегал между станинами по кучам пустых гильз, забыто обнимая на груди снаряд, смеялся радостным, всхлипывающим смехом, задрал голову, пот

тек по крепкой шее его. Порохонько, без пилотки, со спутанными волосами, глядел в небо, прищурясь, шарил вокруг по земле, ища что-то, запекшийся в гари рот усмехался ядовито, недоверчиво.

Большая партия ИЛов низко шла на запад, выстраивалась в боевой порядок.

И слева из пехотных траншей, предупреждая сигналя, выгнулись в сторону немцев красные ракеты. Штурмовики, разворачиваясь, пошли на круг, и сразу бой неестественно затих, замер на земле.

«Это передышка, вот она, передышка! Может быть, больше ее не будет! — подумал Новиков, видя, как первый штурмовик клюнул в воздухе, стал пикировать над немецкими танками. — Лена в десяти шагах отсюда... Я успею снести ее в тихое место, в особняк...»

— Останьтесь за меня, — хрипло крикнул он Порохонько. — Я сейчас вернусь.

Он пошел к блиндажу по осколкам, шагал, пошатываясь, как в знойном тумане. Он совсем не замечал, что прежней огневой позиции, хода сообщения, ровиков почти не было, — все чернело, изрытое танковыми снарядами, зияло уродливыми оспинами воронок, глубоко взрыхленной, вывернутой землей, брустверы наполовину стесаны, словно бы огромные лопаты, железные метлы сровняли их.

Он распахнул дверь в блиндаж.

Он вошел, весь разгоряченный, потный, и на пороге не мог сказать ни слова — удушье сжимало его горло.

Лена сидела на нарах одетая, даже ремень узко стягивал ее в поясе, свежеперебинтованная нога свешивалась с нар, будто она готовилась встать. Но сидела сдержанная, тихая, наклонившись слегка; светлые волосы заслоняли щеку.

— Лена... Я пришел за тобой, — глухо выговорил он и шагнул к ней. — Лена, тебе пора...

Не вздрогнула она, а подняла, задержала взгляд на его лице, долго снизу вверх разглядывала, улыбаясь, лаская теплой глубиной глаз, нежно и осторожно поцеловала его в шершавые, горькие от пороха губы, сказала шепотом:

— Вот и все. Теперь я в госпиталь, в медсанбат — куда лучше и быстрее. Подожди. Ты потный весь. Жарко было?

Достала из санитарной сумки кусочек ваты и, как делала это раненым, промокнула ему лоб, подбородок, шею, чуть касаясь, вытерла то место выше правой брови, где вчера играючи царапнула пуля. А он, чувствуя эти легкие, родственные прикосновения, ее взгляд, близость ее дыхания, ничего не мог отве-

тить, боялся — слова останятся, застрянут в горле, он знал: голос его был сдавлен, хрипл, неузнаваемо чужой после команд, и было странно, чудовищно странно для самого себя — он не смог бы объяснить этим голосом все, что сейчас испытывал к ней.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В особняке Новиков нашел ездового и немедленно верхом послал его найти медсанбат во что бы то ни стало. Потом они сели на плащ-палатку, расстеленную на груди смоченных росой листьев, зная, что это их последние минуты.

Они оба молчали; сюда доносились нарастающие звуки бомбежки, накаленные очереди пулеметов за высотой; штурмовики, боком выворачивая на солнце плоскости, повторно заходили на круг, поочередно снижались над парком, наполняя его, сотрясая гулом усыпанные листьями аллеи.

Новиков задумчиво смотрел на высоту, на видимые сквозь прозрачные липы недалекие орудия, где оставались солдаты; мимо них он только что пронес на руках Лену, и она покорно обнимала его за шею. Он тогда почувствовал удивленно-понимающее внимание во фразе Ремешкова: «Выздоровливайте, сестренка, мы вас очень уважали», — и в словах Порохонько, добавленных без усмешки: «Живы будем — побачимось». Никто не имел права осудить его и Лену, и никто не осуждал их, узнав теперь правду. И это была доброта, та доброта, которую он часто скрывал в себе к Ремешкову, к Порохонько, к людям, верившим и подчинявшимся ему. Он часто не признавал ничего нарочито ласкового: был слишком молод и слишком много видел тяжкого на войне, человеческих страданий, отпущенных судьбой его поколению. Он никогда не задумывался, любили ли его солдаты и за что, и порой был недобр к ним и недобр к себе: все, что могло быть прекрасным в мирной человеческой жизни — чистая доброта, любовь, нежность, — он оставлял на после войны, на будущее, которое должно было быть, — и то, что сейчас он не в силах был найти другого выхода, не мог не отправить Лену в медсанбат, но потерять ее, как будто случайно найденную, казалось ему жестокостью, которой не было оправдания. Он знал, что у нее нетяжелое ранение, но понимал также, что нельзя было задерживать Лену даже на несколько часов вблизи орудий, — неизвестно было, чем кончится этот бой.

— Я найду тебя, — твердо сказал Новиков, веря в то, что он говорит. — Я найду тебя во что бы то ни стало, чего бы это ни стоило. В госпитале, в тылу, но я тебя найду. Ты веришь? Ты должна верить, что мы прощаемся с тобой на время.

— Нет, — сказала Лена и улыбнулась грустно, потянувшись к нему, волосами скользнула по его щеке. — Нет... ты меня не найдешь, Дима.

— Я найду тебя... И я люблю тебя. Я поздно это понял...

Она с осторожностью, взглядом запоминая, погладила его брови, его лоб и, вдруг клоня лицо, нахмурилась, уголки губ, нежный овал подбородка мелко задрожали, тонко дрогнули ноздри, но тут же, сдерживая рыдания, сотрясавшие ее плечи, сказала тихо:

— У тебя еще много будет женщин...

— Но ты уже есть! Какие женщины, когда есть ты? — заговорил он, сильно обнимая ее, прощально и горько целуя ее слабо отвечающий рот. — Мне пора. Ты слышишь? — И легонько потряс ее за плечи. — Прощай! Мне пора. Ты слышишь? Я тебя найду... Я тебя найду...

Он встал. Она смотрела на него как бы сквозными невидящими глазами, безмолвно кусая губы. И он не сумел уйти сразу. Ее шея, окаймленная воротом гимнастерки, ее волосы, ее погоны на узких плечах, край щеки — все было беспокойно-розовым в свете сочившейся в парк зари, и все, что было рядом и позади ее беспомощно сжатой фигуры, стило в полном и тревожном налив свежеского утра осени. И показалось на миг: никогда на этом кусочке земли не было войны, а была осень, утро и розовый холодный воздух без выстрелов, без гудения танков за высотой.

А в мокрых коридорах аллей столетних лип косо лежали красные полосы, отсвечивали влажные кучи листьев, золотом горели уцелевшие стекла в особняке, а над безмятежной утренней гладью бассейна поднимался зыбкий пар. И здесь были покой, осенняя сырость, запах обмытых росой листьев, студеной и чистая крепость зари — все говорило о мире вечном, естественном.

— Лена, я пойду, Лена, я должен... — глухо повторял Новиков, уже зная, что надо уходить немедленно, но не веря, что она останется одна тут, в этом страшно отделившемся от него мире.

— Сейчас, — окрепшим голосом проговорила Лена. — Вот сейчас. У тебя рукав порванный... Сейчас... Что это, осколком, пулей? Не видел? Дай я зашью. Сними... Это одна минута. Я быстро... — И вдруг испуганно расширила глаза, посмотрела на высоту. — Это за тобой. За тобой... Я зашью, Дима, а ездовой тебе передаст. Я зашью... Дима. Я зашью...

Человек бежал по высоте от орудий и, размахивая над головой пилоткой, кричал что-то, звал оттуда. Частые разрывы, поднимавшиеся по всей высоте, задавили его крик; дым оползал по скату, застилая орудия.

— Это за мной!

Он не помнил, как снял порванную на локте гимнастерку, как она положила ее рядом с собой. Ясно помнил одно: не в силах

был сказать ничего, еще раз прощально поцеловать ее — этого невозможно было сделать в последнюю минуту.

Он несколько шагов шел от нее спиной вперед, потом повернулся и побежал по аллее, по хрустящим листьям, морщась, стараясь проглотить горячий комок в горле — и не мог.

Тот человек, кричавший Новикову с высоты, был младший лейтенант Алешин. Когда Новиков, задыхаясь, взбежал по скату, то вроде бы не узнал его: возбужденный, потный, с мелово-прозрачным лицом, на котором нестерпимой синью светились глаза, в грязной, прожженной на полах шинели, Алешин, бросившись навстречу, закричал надорванным тенором:

— Прицел разбито! Товарищ капитан! У меня! Двоих ранило! Танки опять на мины нарвались... Вправо обходят! Бронетранспортеры подошли! Как без прицела? Товарищ капитан!.. Как назло, разбито... Ну что делать?.. И прицелы Овчинникова раскокошило!

И, перекосив по-мальчишески лицо, скрипнув зубами, едва не зарыдал в бессилии и резко мазнул рукавом шинели по глазам, закачался на тонких ногах, обтянутых хромовыми сапожками.

— Через ствол, Витя! Наводи через ствол! Без прицела! К орудию! Ну, Витенька, давай! — крикнул Новиков и подтолкнул Алешина в плечо. — Давай, Витя, милый!..

Автоматные очереди хлестали по высоте, сплетаясь в сеть.

Он прыжком перескочил навал бруствера, в дыму мелькнула перед глазами прочно стоящая на коленях между станинами длинная фигура Порохонько со снарядами в руках, мелькнул страшный оскал зубов Ремешкова, лежащего на бруствере за ручным пулеметом. Стреляя, он крутил головой, тряслась спина, колыхалась пилотка, сползшая на шею, и не то плакал он в голос от злости, не то смеялся:

— Не-ет!.. Не-ет!..

Все горело там, перед высотой, и густо чадило сплошной мутью, располосованной трассами снарядов. Впереди группа тяжелых танков сгрудилась на краю котловины; застигнутые бомбежкой, — видимо, уже подожженные, — они столкнулись вслепую, сцепившись гусеницами, и так пылали. Дуга распалась, ее не было, были смерчи пожаров, скопища мазутного дыма, лишь справа несколько танков шли толчками, обтекая высоту; слева же в котловину скатывались тупорылые пятнистые бронетранспортеры, фигурки немцев в рост бежали к кустам, не останавливаясь, не падая, расплескивая струи автоматных очередей. Нет, они хотели жить, эти немцы, что сидели и стреляли в бронетранспортерах и танках, и те, что бежали по полю, хотели убить тех, кто сдерживал их, хотели любой ценой прорваться в город, перешагнуть, миновать невозможное, что не должно было случиться. И Новиков почему-то подумал, что это невозможное было он, Новиков, и его люди на высоте.

— Не-ет! Не-ет! Не-ет!

По звукам танковой и автоматной стрельбы за высотой, по беглым, учащенным ударам орудий на высоте, по сплошной стене разрывов, выраставших вокруг позиций Новикова, по наискось в небе летящим пулям Лена точно ощутила, что бой вовсе не ослаб после налета штурмовиков, но усилился, что он достиг того предела, когда исчезает небо, солнце, прочность земли.

«Дима, Дима, Дима... Его не убьют... Я знаю. Он умеет стрелять, как не умеют другие... Что же это? Опять?»

Иголка прыгала в ее пальцах, она отложила гимнастерку, кусая губы, неотрывно пристально смотрела туда, на высоту, жадно искала орудие, тонувшее во мгле, в фонтанах земли: что-то белое то появлялось, то пропадало в дыму. Или это чудилось ей?

«Это он возле орудия. Он... Я вижу его... Скорей, скорей, пусть скорей конец боя!.. Только скорее конец боя. Это же должно кончиться!.. Должно когда-нибудь кончиться... Скорее, скорее!»

Черное, огромное, железное с треском, с хрустом обрушилось из мутного неба на высоту, перевернутым конусом взлетело оранжево-слепящее. Высота словно бы расплавилась и исчезла. Дым застлал всю ее, загородив, бешено кипя клубами, сдвигаясь, стекал по скатам, опадал в котловину, разнесенный утренним ветром, и, дрожа в мгновенном ознобе, стиснувшем дыхание, неясно увидела она что-то белое, ничком лежащее на бруствере.

«Что это? Что это?» — удивленно задержалось в сознании Лены, и в ту минуту она еще не могла определить все, почувствовать, она не только не могла осознать, что это он мог быть ранен или убит, а, наоборот, подумала, что это был не он.

Возникли новые звуки, скрипящие, воюющие, нарастая, распространились слева, со стороны города, над вершинами лип, оглушая ревом, сверкнули раскаленные хвосты, широкими молниями сотрясли, впились в высоту, закрутились раскаленные змеи на всем протяжении ее, и опять дым загородил небо и высоту и то белое на бруствере.

«Зачем они это? Наши «катюши»? Зачем они стреляют? Они думают, что он погиб. Он не мог погибнуть. Что они делают? Стреляют по нему! Сюда не прошли танки. Он жив!.. А как же я? Одна? Нет, он не погиб... А как же я?»

Дым снова разодрало ветром, а что-то белое, неподвижное по-прежнему ничком лежало на бруствере. И тогда, переводя взгляд на гимнастерку, пусто лежавшую у ее ног, разглаженную ее пальцами в том месте, где был разорван, не защит рукав, она вдруг поняла все. И, с ужасом схватив гимнастерку, пахнущую им, прижимая ее к лицу, комкая ее, зарыдала жаркими, обжигающими слезами, вся вздрагивая, беззвучно крича, умоляя о защите и справедливости.

Когда майор Гулько узнал о гибели Новикова, в городе был мягкий осенний полдень, с нежарким блеском солнца на каменных мостовых, потертых гусеницами танков, усыпанных битым стеклом, за железными оградами тихо дымили, догорали дома, чернели обугленные сады, летели над ними, таяли пронизанные солнцем неосенние облака. И то, что Гулько сидел на КП в шлепанцах и без гимнастерки, и то, что спали у телефонов связисты, — подчеркнуто говорило о жизни будничной, а младшему лейтенанту Алешину хотелось плакать.

Младший лейтенант Алешин, то ли выбритый, то ли умытый, с чистым подворотничком, в новой шинели, стоял перед Гулько, худой, осунувшийся, бледный — резко проступили веснушки его, — и ровным голосом, не стесняясь слез, бегущих по щекам, рассказывал о гибели Новикова. И вытирал рукавом щеки. И странно было видеть его чистый подворотничок, детские веснушки на ошеломленном недетском лице и видеть его слезы и этот мальчишеский жест, которым он вытирал их.

— Капитан Новиков?.. Тот мальчик? Не верю! Не верю! Не может быть! — почти крикнул Гулько, ударил кулаком по столу так, что подскочили карандаши на карте, и отвернулся к стене, моргая красными, воспаленными глазами. Кашляющий звук вырвался из его горла, длинный нос некрасиво, толсто набух, майор сглотнул, потер горло, пробормотал хрипло: — Идите и принимайте батарею. Идите... Через полчаса мы снимемся. Наши танки уже в Марице. Слышите — в Марице, черт возьми!..

Младший лейтенант Алешин вышел и двинулся по городу к медсанбату.

Была властная тишина в городе. И «катюши» в чехлах под уцелевшими домами, и санитарные машины, замаскированные под кленами улиц, спокойно залитых солнцем, и кухня, дымившая в соседнем дворе, и голоса солдат, столпившихся вокруг повара, — все настойчиво говорило о жизни успокоенной, будничной. Но младшему лейтенанту Алешину никогда не было так одиноко, так пусто в этом огромном, чудовищно тихом мире.

В медсанбат Лену привезли ездовые. Войдя во двор, а потом в сад, уставленный санитарными повозками, носилками, Алешин не сразу увидел ее. Она лежала на носилках, тоненькая, прозрачная, как осенний луч, прижавшись щекой к подмятой под голову шинели, ровные брови, страдальчески сдвинутые, оттеняли белизну лба, иногда они вздрагивали, словно по лицу проходили отблески того, что было в ней. Она смутно услышала голос Алешина — очень близким, знакомым повеяло на нее, — открыла глаза, но не ответила ни голосом, ни взглядом, только прощально пошевелила рукой — одними пальцами.

— Леночка... прощай... Леночка, мы тебя не забудем... Леночка, прощай...

Она не слышала, как ушел он, лежала тихо, в тяжелом забытьи, будто погружаясь в теплую воду, с единственным желанием, чтобы никто не прикасался к ней.

Слабо доносились звуки из внешнего мира: шаги в саду, шорох шинелей, мимо тенями проходили санитары, перешагивая через нее; шелестела трава; сухие листья, слетая с яблонь, невесомо падали на грудь ей, путались в волосах, и кто-то рядом протяжно стонал, просил воды, звал кого-то захлебывающимся шепотом.

«Кто это стонет? Неужели он не может сдерживать боль? Разве он знает, что такое настоящая боль?» — думала она, и лицо ее дергалось, и брови дрожали, и, кусая губы, вся сжимаясь, она старалась найти в своей памяти то, что было до его смерти, — его голос, его привычку поправлять пистолет, его взгляд, его улыбку.

Раз открыла глаза. Голые ветви яблонь уходили в низкое, кипевшее облаками небо, там выгнутыми фиолетовыми полосами сиял непонятный мягкий свет, плыл, переливаясь, под холодным осенним солнцем. «Откуда этот свет? И зачем он? — думала она. — Зачем все это? И небо, и воздух, когда его нет... Зачем все это?..»

— Ишь ты, солнце разыгралось. Красота какая! Экая тишина в мире — не поверишь! — донесся до нее крутой прокуренный баритон, и это земное жестоким рывком вытолкнуло ее из полубытья, она краем сознания поняла, о чем так красиво говорил этот неизвестный, почему-то окрашенный в серый цвет голос, и, повернув голову, почти с ненавистью увидела на крыльце дома седого человека в белом халате, с темными пятнами крови на рукавах. Прислонясь спиной к косяку двери, он медленно, утомленно курил, глядел в небо над садом.

Лена отвернулась, как бы защищаясь, приникла щекой к колючему ворсу шинели и, плача, смотрела на соседние носилки, откуда все время слышала стоны. Молоденький белокурый чех тоскливо бредил, пытаясь сорвать бинты на груди, капельки пота выступили над верхней губой, покрытой светлым пушком, чех шептал, торопясь, какие-то непонятные отрывистые слова, и она с трудом разобрала:

— Воду... воду...

Она нащупала фляжку, приподнялась, долго, обессиленно отвинчивала пробку потерявшими жизнь пальцами, а когда, сдерживая рыдания, прислонила фляжку к губам чеха, увидела сквозь слезы, как он, всхлипывая от облегчения, глотает воду, прошептала:

— Боль пройдет, боль пройдет...

И легла на левую сторону груди, где была тоска, прикусив зубами воротник шинели, чтобы не закричать от боли.

Антологию «Военная проза» составили произведения, посвященные Великой Отечественной войне, поэтому биографические справки об их авторах содержат лишь сведения о военных годах писателей — тем более что почти все они фронтовики. В тех случаях, когда для этого есть возможность, предпочтение отдается сведениям из первых рук — автобиографическим заметкам, авторским рассказам о творческой истории публикуемых в антологии произведений.

Некрасов Виктор Платонович (1911–1987)

В ОКОПАХ СТАЛИНГРАДА

Текст печатается по изданию:

Виктор Некрасов. Записки зеваки. М., «Слово/Slovo», 1991.

В автобиографии, написанной за несколько месяцев до смерти, Некрасов очень кратко рассказал о своих военных годах: «С августа 1941 года — в армии. Воевал в Сталинграде, на Украине, в Польше. После второго ранения в 1944 г. демобилизовался в звании капитана. Награды — медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды». А в послесловии к повести «В окопах Сталинграда», написанном через тридцать пять лет после ее выхода в свет, он в свойственной ему иронической манере рассказал, как она возникла:

«Второе ранение — в Польше, в Люблине. Киевский окружной госпиталь. Правая рука парализована, пуля задела нерв.

— Вам надо пальцы правой руки приучать к мелким движениям, — сказал мне лечащий врач по фамилии Шпак. — Есть у вас любимая девушка? Вот и пишите ей письма ежедневно. Только не левой, а правой рукой. Хорошее упражнение.

Любимой девушки у меня не было, и я, примостившись где-то на склонах спускавшегося из госпиталя к Красному стадиону парка, стал писать о Сталинграде — все еще было свежо».

Повесть «В окопах Сталинграда» под названием «Сталинград» была опубликована в журнале «Знамя» (1946, № 8–10). После того как в 1974 г. Некра-

¹ Комментарии к трем томам «Военной прозы» представлены в виде библиографических справок о каждом авторе

сов был вытолкнут в эмиграцию, а затем лишен гражданства, имя его стало запретным для печати, а его книги, в том числе «В окопах Сталинграда», изъяты из библиотек. Переиздаваться произведения Некрасова стали лишь в начале 90-х гг.

Платонов Андрей Платонович (1899–1951)

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Текст печатается по изданию:

Андрей Платонов. Избранное. М., «Московский рабочий», 1966.

По рекомендации и просьбе В. Гроссмана, которые понадобились, потому что официальная репутация Платонова была скверной, неудобный властям писатель в октябре 1942 г. был зачислен в штат «Красной звезды» фронтовым корреспондентом.

В этой должности он провел всю войну. Редактор «Красной звезды» Д. И. Ортенберг рассказывал о Платонове: «Его увлекали не столько оперативные дела армии или фронта, сколько люди». В письме жене с фронта Платонов писал: «Я пишу о них со всей энергией духа, какая только есть во мне». В ноябре 1944 г. Платонов заболел тяжелой формой туберкулеза, в феврале 1946 г. по болезни был демобилизован. В записных книжках военного времени Платонова есть запись, являющаяся ядром замысла рассказа «Возвращение»: «Одно из самых опасных для народа последствий войны — разрушение семьи. Где найти нравственную силу, которая может противостоять губительным страстям людей, и где находятся источники их истинной любви, которыми люди обмениваются в знак верности и взаимного чувства на всю жизнь...»

Рассказ «Возвращение» под названием «Семья Иванова» был опубликован в журнале «Новый мир» (1946, № 10–11). После заушательской статьи В. Еромилова «Клеветнический рассказ А. Платонова» («Литературная газета», 1947, 4 января) сборник рассказов Платонова, в который вошло «Возвращение», вышел лишь в 1962 г.

Катаев Валентин Петрович (1897–1986)

ОТЧЕ НАШ

Текст печатается по изданию:

*Валентин Катаев. Собр. соч. в десяти томах. Т. 1.
М., «Художественная литература», 1983.*

В годы войны корреспондент Совинформбюро, «Правды», «Красной звезды». «Я был корреспондентом на фронте и многое увидел, — писал Катаев. — Но почему-то больше всего запомнил мальчиков — обездоленных, нищих, урюмо шагавших по дорогам войны. Я увидел русских солдат. Измученные, грязные, голодные, они подбирали несчастных детей. В этом была великая гуманность советского человека».

Рассказ «Отче наш» был опубликован в журнале «Огонек» (1946, № 12).

Казакевич Эммануил Генрихович (1913–1962)

ДВОЕ В СТЕПИ

*Текст печатается по изданию:**Эм. Казакевич. Собр. соч. в трех томах. Т. 1. М., «Художественная литература», 1985.*

В первые дни войны Казакевич — «белобилетник» из-за сильной близорукости — ушел добровольцем в московское ополчение, после ранения (потом он был еще дважды ранен) и присвоения офицерского звания до конца войны служил в разведке — закончил войну в Германии на Эльбе помощником начальника разведотдела армии. Один из однополчан Казакевича писал, что он «был человеком незаурядной храбрости — и личной, так сказать, солдатской, и командирской».

По свидетельству Д. Данина — друга Казакевича, — случай, который лег в основу повести «Двое в степи», писатель услышал в случайной беседе. История эта так поразила его, что он написал повесть за две недели.

Повесть «Двое в степи» была опубликована в журнале «Знамя» (1948, № 5). Незадолго до смерти, готовя вышедший в Гослитиздате в 1962 г. сборник «Повести», Казакевич внес в повесть некоторые изменения.

Гроссман Василий Семенович (1905–1964)

ТИРГАРТЕН

*Текст печатается по изданию:**Василий Гроссман. Все течет... Поздняя проза. М., «Слово/Slovo», 1994.*

С первых дней войны до ее конца Гроссман — фронтовой корреспондент «Красной звезды». В статье «Памяти павших», опубликованной «Литературной газетой» к пятилетию начала войны, 22 июня 1946 г., Гроссман вспоминал: «Мне пришлось видеть развалины Сталинграда, разбитый зловещей силой немецкой артиллерии первенец пятилетки — Сталинградский тракторный завод. Я видел развалины и пепел Гомеля, Чернигова, Минска и Воронежа, взорванные копры донецких шахт, подорванные домны, разрушенный Крещатик, черный дым над Одессой, обращенную в прах Варшаву и развалины харьковских улиц. Я видел горящий Орел и разрушения Курска, видел взорванные памятники, музеи и заповедные здания, видел разоренную Ясную Поляну и испепеленную Вязьму». Этот впечатляющий перечень, однако, далеко не полон — Гроссман видел и форсирование Днепра, и только что освобожденный чудовищный нацистский лагерь уничтожения — Треblinkу, и агонию Берлина.

В основе рассказа «Тиргартен» — непосредственные впечатления автора от штурма Берлина. Во фронтовых записных книжках Гроссмана есть запись, сделанная 2 мая 1945 г., в первый день после капитуляции берлинского гарнизона, из этой записи родился рассказ:

«Зоологический сад — тут шла битва. Разрушенные клетки. Трупы мартышек, тропических птиц, медведей. Остров гамадрилов, малютки, подцепившиеся к материнским животам крошечными ручками. Разговор со стариком, он ходит за обезьянами 37 лет. В клетке труп убитой гориллы.

Я. Она была злой?

Он. Нет, она только сильно рычала. Люди злей.

На скамейке немецкий раненый солдат обнимает девушку, сестру милосердия. Они ни на кого не глядят. Мир для них не существует. Когда спустя час я прохожу снова мимо них, они сидят в той же позе. Мир не существует, они счастливы.

«Тиргартен» был отвергнут редколлегией альманаха «Литературная Москва». Гроссман предложил его журналу «Знамя», там рассказ в конце 50-х гг. был набран, но цензура его не пропустила в печать.

«Тиргартен» был опубликован лишь после смерти автора, в журнале «Наш современник» (1966, № 7).

Шолохов Михаил Александрович (1905–1984)

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Текст печатается по изданию:

Михаил Шолохов. Судьба человека. М., «Советская Россия», 1984.

В годы войны — корреспондент газеты «Правда». «В судьбу каждого из нас, — рассказывал Шолохов в 1943 г., — война вошла всей тяжестью, какую несет собой попытка одной нации начисто уничтожить, поглотить другую. События фронта, события тотальной войны в жизни каждого из нас уже оставили свой нестираемый след. Я потерял свою семидесятилетнюю мать, убитую бомбой, брошенной с немецкого самолета, когда немцы бомбили станицу, не имевшую никакого стратегического значения, осуществляя свой разбойничий расчет: они попросту хотели разогнать население, чтобы люди не могли увести в степи скот от надвигающейся немецкой армии. Мой дом, библиотека разрушены немецкими минами. Я потерял уже многих друзей — и по профессии, и моих земляков — на фронте».

«Судьба человека» была опубликована в двух номерах газеты «Правда» (31 декабря 1956 г. и 1 января 1957 г.).

Симонов Константин Михайлович (1915–1979)

ПАНТЕЛЕЕВ (Из «Записок Лопатина»)

Текст печатается по изданию:

Константин Симонов. Собр. соч. в шести томах. Т. 4.

М., «Художественная литература», 1968.

Боевое крещение Симонов получил в 1939 г. в Монголии на Халхин-Голе во время боев с японцами: он был сотрудником газеты нашей группы войск «Героическая красноармейская». С первых дней Великой Отечественной войны до ее конца Симонов — фронтовой корреспондент «Красной звезды». За четыре года войны он около тридцати раз ездил в короткие и продолжительные командировки на фронт. «Я свидетель многих активных действий и крупных событий, — вспоминал Симонов. — Я — за редчайшими исключениями — не ездил туда, где было тихо, меня посылали туда, где что-то готовилось или происходило. Я имел возможность сравнивать, я видел активные действия нашей армии во все годы и во все периоды войны». В автобиографии он свидетельствовал: «Почти весь материал — для книг, написанных во время войны, и для большинства послевоенных — мне дала работа корреспондентом на фронте». В основу повести «Панте-

леев» легли впечатления от поездки автора в сентябре 1941 г. на Арабатскую Стрелку (см. его фронтовые дневники «Разные дни войны»).

Повесть «Пантелеев» была опубликована в журнале «Москва» (1957, № 4). Готовя вышедшие в 1962 г. в издательстве «Советский писатель» «Южные повести», Симонов отредактировал текст «Пантелеева». Повесть эта потом вошла как часть в роман «Так называемая личная жизнь (Из записок Лопатина)», вышедший в издательстве «Московский рабочий» в 1978 г.

Богомолов Владимир Осипович (р.1926)

ИВАН

Текст печатается по изданию:

В. Богомолов. Рассказы. М., «Художественная литература», 1975.

На фронт ушел добровольцем, воевал офицером разведки и контрразведки. О рассказе «Иван» Богомолов писал: «Хотя действие «Ивана» происходит на передовой и, более того, весьма подробно описывается разведывательная операция — переброска разведчика через линию фронта, хотя большинство героев погибает, рассказ не представляется мне военным. Главное для меня в «Иване» — это гражданственность, неприятие человеком (в данном случае двенадцатилетним мальчиком) зла и несправедливости, изображение ненависти к немецким захватчикам... Рассказ недокументален: указание точного места и времени действия, введение в текст «подлинных» документов — всего лишь прием для создания иллюзии достоверности... Меня интересует не война сама по себе, а человек, главным образом молодой, причем обязательно Воин и Гражданин; основное мерило в оценке людей для меня — их полезность и активность в общей борьбе. Мальчик в «Иване» не объект жалости. Естественно сочувствие к обездоленному войной ребенку, но мужественные, суровые люди относятся к нему с любовью и нежностью не оттого, что он потерял мать, сестренку, отца, а потому, что, на каждом шагу рискуя жизнью, он умудряется делать больше, чем это удастся взрослым разведчикам. В великом фронтовом братстве он и в свои двенадцать лет труженик, а не иждивенец».

Рассказ «Иван» был опубликован в журнале «Знамя» (1958, № 6).

Бондарев Юрий Васильевич (р.1924)

ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ

Текст печатается по изданию:

Юрий Бондарев. Три повести. М., Воениздат, 1989.

С августа 1942 г. — командир орудия, воевал на Сталинградском, 1-м Украинском и 4-м Украинском фронтах. Бондарев писал о судьбе писательского поколения, названного фронтовым, и о своей судьбе: «Это те, кто ушел на фронт, когда им не было восемнадцати лет... Это были люди, которые все тяготы войны вынесли на своих плечах — от начала ее и до конца. Это были люди окопов, солдаты и офицеры; они сами ходили в атаки, до бешеного и яростного азарта стреляли по танкам, молча хоронили своих друзей, брали высоты, казавшиеся неприступными...» Повесть «Последние залпы» была опубликована в журнале «Молодая гвардия» (1959, №№ 1,2).

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Л. Лазарев</i>	
Незатихающее эхо войны	5
 <i>Виктор Некрасов</i>	
В окопах Сталинграда	13
<i>Андрей Платонов</i>	
Возвращение	223
<i>Валентин Катаев</i>	
Отче наш	245
<i>Эммануил Казакевич</i>	
Двое в степи	255
<i>Василий Гроссман</i>	
Тиргартен	305
<i>Михаил Шолохов</i>	
Судьба человека	331
<i>Константин Симонов</i>	
Пантелеев	
(из «Записок Лопатина»)	359
<i>Владимир Богомолов</i>	
Иван	415
<i>Юрий Бондарев</i>	
Последние залпы	469
 <i>Комментарии</i>	602

В 63 **Военная проза. I**/ Сост., предисл. и коммент. Л. И. Лазарева; худож. В. В. Медведев. — М.: СЛОВО/SLOVO, 1999. — 608 с.

ISBN 5-85050-411-7

ISBN 5-85050-379-X

В трехтомной антологии «Военная проза» представлены лучшие, наиболее талантливые повести и рассказы о Великой Отечественной войне. Авторы их были верны той правде, о которой не зря говорят, что она горька, поэтому нередко подвергались яростным нападкам официозной критики. Публикация этих произведений в те годы была событием в духовной жизни страны. Прошло много лет, и суд времени — самый строгий и справедливый — вынес свой вердикт: эти повести и рассказы до сих пор не утратили современного звучания.

В первый том антологии вошли повести и рассказы 50–60-х годов — В. Некрасова, А. Платонова, В. Катаева и других.

УДК 882-32

ББК 84(2Рос=Рус) 6

ВОЕННАЯ ПРОЗА

Редактор

Т. Н. Беднякова

Художественный редактор

Л. А. Комарова

Технические редакторы

Н. В. Сорокина

Н. Ю. Пекина

Верстка

О. Ю. Ярьсько

Корректоры

Л. В. Челак

Н. Г. Худякова

Н. В. Филиппова

Изд. лиц. ЛР № 040491 от 08.07.98

Подписано в печать 20.10.99. Формат 60×90/16.

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Гарнитура Garamond.

Усл. печ. л. 38,00. Уч.-изд. л. 31,73.

Заказ № 1119. Тираж 4000 экз.

Издательство СЛОВО/SLOVO

Москва, Воронцовская ул., 41

Набор текста и вывод пленок
осуществлены ООО «Полистар-Пресс».

Москва, ул. Расплетина, 12/1

Отпечатано в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат».

150049, Ярославль, ул. Свободы, 97



Scan AAW

